

1

БИБЛИОТЕКА
ПОЭТА

В.К. КЮХЕЛЬБЕКЕР

Советский
писатель



БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

Большая серия

Второе издание

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ

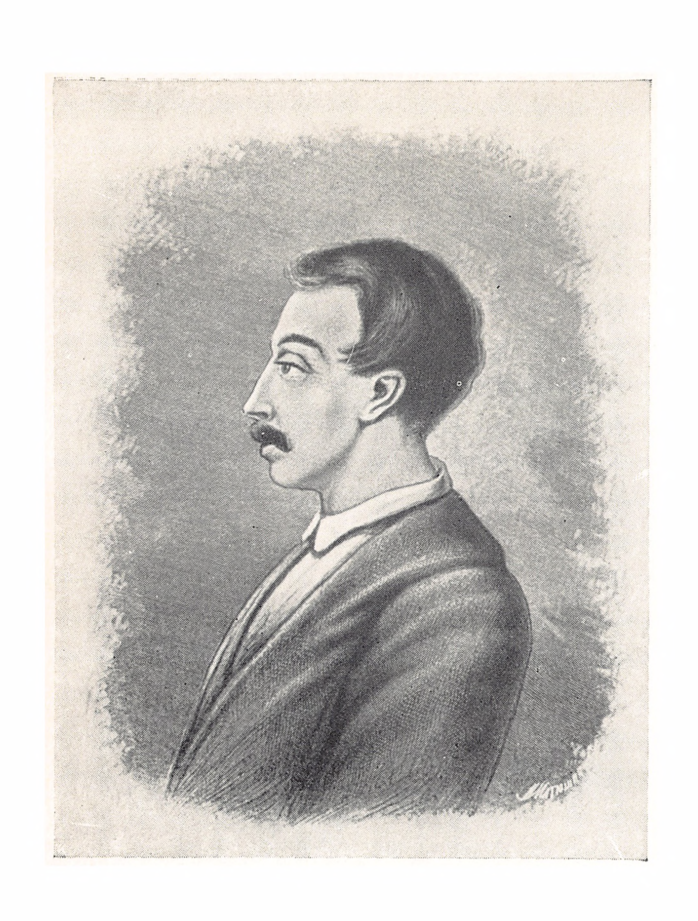
Вступительная статья,
подготовка текста и примечания
Н. В. Королевой

МОСКВА—ЛЕНИНГРАД • 1967

8 Р 1
К 99

Вильгельм Карлович Кюхельбекер (1797—1846) — один из виднейших декабристских поэтов, друг Пушкина и Грибоедова. Кюхельбекер боролся за развитие гражданской литературы, смело обличал несправедливость общественного устройства. Его творчество близко нам своим благородством, пафосом борьбы, страстной верой в будущее. Настоящее двухтомное собрание избранных произведений Кюхельбекера является наиболее полным из существующих. В него вошло все лучшее из написанного поэтом. В первом томе собраны лирические стихотворения и поэмы, во втором томе — поэмы и драмы.

7-2-2
413-66



В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР

«Когда меня не будет, а останутся эти отголоски чувств моих и дум, — быть может, найдутся же люди, которые, прочитав их, скажут: он был человек не без дарований; счастлив буду, если промолвят: и не без души...» — так писал в дневнике 18 августа 1834 года, на девятом году одиночного тюремного заключения, узник Свеаборгской крепости Вильгельм Карлович Кюхельбекер.

Поэту было двадцать восемь лет, когда он был вычеркнут из жизни литературы волей российского самодержавия: после 1825 года его имя совершенно исчезло со страниц журналов; безымянные или подписанные псевдонимами, его произведения появлялись редко. Кюхельбекер умер в безвестности и нищете, оставив огромное количество тетрадей с неопубликованными стихотворениями, поэмами, драмами, повестями и отправив В. А. Жуковскому перед смертью гордое и скорбное письмо: «Говорю с поэтом, и сверх того полуумирающий приобретает право говорить без больших церемоний: *я чувствую, знаю, я убежден совершенно, точно так же, как убежден в своем существовании,* что Россия не десятками может противоставить европейцам писателей, равных мне по воображению, по творческой силе, по учености и разнообразию сочинений. Простите мне, добрейший мой наставник и первый руководитель на поприще поэзии, эту мою гордую выходку! Но, право, сердце кровью заливается, если подумаешь, что все, все, мною созданное, вместе со мною погибнет, как звук пустой, как ничтожный отголосок!» [1]

На протяжении почти столетия после его смерти крупнейшие произведения поэта не были опубликованы; за эти годы многочис-

[1] «Русский архив», 1872, № 5, с. 1007—1008.

ленные исследования литературоведов-пушкинистов вывели на свет огромное количество острот и пародий, карикатур и нелепых случаев, связанных с именем Кюхельбекера лицейской поры. И поэт был заранее уничтожен в глазах читателя, которому еще не стали известны его произведения.

Только в 1930-е годы, трудами Юрия Николаевича Тынянова, поэт был воскрешен. Роман Ю. Н. Тынянова «Кюхля» вызвал горячую симпатию к пылкому чудаку, герою и страдальцу; в подготовленном Ю. Н. Тыняновым первом научном двухтомном собрании сочинений поэта впервые были опубликованы многочисленные никогда не печатавшиеся, а также забытые его произведения.

Сейчас Кюхельбекера уже никто не назовет забытым поэтом; его стихотворения издаются и переиздаются; выявлены и опубликованы его письма; изучаются его взгляды в области философии, литературной критики, народного творчества и даже лингвистики. Однако стихи его порой трудны для понимания, его торжественно-ораторский стиль, античные и библейские образы кажутся архаичными.

В чем же сущность творческой индивидуальности Кюхельбекера? Чем живы до наших дней произведения этого крупнейшего среди декабристов поэта — и что до сих пор затрудняет их восприятие?

1

Вильгельм Карлович Кюхельбекер родился в Петербурге 10 июня 1797 года. Отец его, саксонский дворянин, статский советник Карл фон Кюхельбекер, переселился в Россию в 70-х годах XVIII века. В Петербурге он управлял Каменным островом, принадлежавшим великому князю, позже императору Павлу I, и был первым директором и устроителем имения Павла I — Павловска. Сохранился рассказ Вильгельма Карловича о том, что в последние дни жизни Павла I «отец его вошел в случайную милость царскую и чуть ли не сделался таким же временщиком, как Кутайсов». [1]

После отставки Карл Кюхельбекер жил главным образом в Эстляндии, в имении Авинорм, подаренном ему Павлом. Отец поэта был образованным человеком. Он учился праву в Лейпцигском университете одновременно с Гете и Радищевым, был агрономом, специалистом по горному делу, в юности писал стихи.

---

[1] «Воспоминания Н. А. Маркевича о встречах с Кюхельбекером в 1817—1820 гг.». — «Литературное наследство», т. 59, М., 1954, с. 509.

Мать поэта Юстина Яковлевна, урожденная фон Ломен, была очень дружна с сыном. Хотя она плохо владела русским языком — письма к ней и стихи на дни ее рождения Кюхельбекер писал по-немецки, — именно она с детских лет поощряла занятия сына поэзией.

В 1808 году Вильгельма отдают в пансион Бринкмана в городе Верро, а в 1811 году, по рекомендации родственника матери Барклая де Толли, — в Царскосельский лицей.

Годы пребывания в Лицее (1811—1817) для Кюхельбекера были целой эпохой, сформировавшей его литературные и политические взгляды и давшей ему тот дружеский литературный круг, который сохранился у него на всю жизнь.

Первый отзыв о Кюхельбекере-лицеисте инспектора Пилецкого относится, по-видимому, к 1812 году: «Кюхельбекер (Вильгельм), лютеранского исповедания, 15-ти лет. Способен и весьма прилежен; беспрестанно занимаясь чтением и сочинениями, он не радеет о прочем, оттого мало в вещах его порядка и опрятности. Впрочем, он добродушен, искренен с некоторою осторожностью, усерден, склонен ко всегдашнему упражнению, избирает себе предметы важные, плавно выражается и странен в обращении. Во всех словах и поступках, особенно в сочинениях его, приметны напряжение и высокопарность, часто без приличия. Неуместное внимание происходит, может быть, от глухоты на одно ухо. Раздраженность нервов его требует, чтобы он не слишком занимался, особенно сочинением». [1]

Таким был Вильгельм-лицеист. Он приехал из провинциального немецкого пансиона и, по-видимому, недостаточно знал русский язык. Детская экзальтированность и романтическая мечтательность времен Авинорма превратились в необузданную пылкость чувств (в 1812 году он был полон крайней решимости идти в армию, а в 1815 году — такой же решимости жениться) и высокопарную сентиментальность — черты, сделавшие его предметом злых насмешек. Впрочем, все лицейские карикатуры, эпиграммы и пародии на «Вилю», «Кюхлю», «Клита» носят не столько личный, сколько литературный характер. Высмеиваются длинноты и тяжеловесность стихов, пристрастие Кюхельбекера к гекзаметру, самая гражданственность произведений поэта и даже ученость юноши.

Однако, несмотря на эти насмешки, Вильгельм Кюхельбекер был в числе признанных лицейских поэтов. Его произведения, хотя они

---

[1] К. Я. Грот, Пушкинский лицей (1811—1817). Бумаги I курса, СПб., 1911, с. 359.

и не соответствовали принятым в Лицее нормам, включались во все серьезные рукописные сборники — наряду со стихами Пушкина, Дельвига и Илличевского; с 1815 года Кюхельбекер начинает активно печататься в журналах («Амфион», «Сын отечества»); барон Модест Корф оставляет любопытное свидетельство об уважении лицеистов к поэтическому творчеству Кюхельбекера и его самобытности, называя его вторым лицейским поэтом после Пушкина, выше Дельвига. Целая серия лицейских дружеских посланий Пушкина и Дельвига к Кюхельбекеру убедительно говорит о высокой оценке его поэзии.

В Лицее началось и формирование политических взглядов будущего декабриста.

На следствии по делу 14 декабря 1825 года Кюхельбекеру был задан вопрос: «С какого времени и откуда заимствовали вы свободный образ мыслей?..» «Не могу с точностью сказать, когда и как родился во мне свободный образ мыслей, — отвечал поэт. — Я развился очень поздно: до Лицея я был ребенком и едва ли думал о предметах политических». [1]

В первые годы пребывания в Лицее гражданственность позиции Кюхельбекера не поднимается выше традиционного горацианско-державинского обличения «изверга», «тирана» и «честолюбца» на троне — Наполеона. Александр «Благословенный» столь же традиционно идеализируется. Однако и острота преподавания ряда общественно-политических дисциплин, и общий вольнолюбивый дух, царивший в Лицее, содействовали зарождению у Кюхельбекера республиканского образа мыслей.

«Образ правления: „Пусть народ выбирает своих представителей, а сии последние правителей государства...“ Вейс». «Пусть общее мнение решает гражданские несогласия» — такие записи появляются в «Словаре» Кюхельбекера-лицеиста. В это же время поэт вступил в первое тайное преддекабристское общество — «Священную артель» [2] офицеров Генерального штаба, большинство членов которой вошло затем в «Союз спасения». Организатора «Священной артели» Ивана Григорьевича Бурцова Кюхельбекер через много лет, в 1835 году, еще будет называть своим «хорошим приятелем». В эту же «Артель» входили друзья поэта по Лицею: Вольховский, Пущин, Дельвиг. Члены «Священной артели» вели беседы «о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка вещей и о возмож-

---

[1] «Восстание декабристов. Материалы», т. 2, М.—Л., 1926, с. 192.

[2] См. о ней: М. В. Нечкина, Движение декабристов, т. 1, М., 1955, с. 124—130.

ности изменения, желаемого многими втайне...».[1] Объединившиеся в «Артель» офицеры слушали лекции о политических науках у лицейских профессоров Германа, Галича, Куницына; в квартире, где жили артелью Иван Бурцов, братья Александр и Николай Муравьевы, Петр Колошин и после окончания Лицея Владимир Вольховский, висел «вечевой колокол», в который мог звонить каждый член артели, собирая товарищей для решения дел или беседы.

В 1817 году «Священная артель» распалась. Но именно в Лицее и здесь, в «Артели», Кюхельбекер воспринял как реальность поэтические формулы вольнолюбия, характерные для передовой преддекабристской поэзии, — формулы «святого братства» или «дружества», «святых мечтаний», «счастья отчизны» и т. д.

9 июня 1817 года в Лицее прошел выпускной акт. Вильгельм Кюхельбекер был удостоен серебряной медали. Сразу по выходе из Лицея он поступает в Главный архив иностранной коллегии и одновременно начинает читать лекции по русской литературе в Благородном пансионе при Главном педагогическом институте. «Мысль о свободе и конституции была в разгаре, Кюхельбекер ее проповедовал на кафедре русского языка», — пишет в воспоминаниях его ученик Н. А. Маркевич.[2] Для юноши начинается напряженная литературно-общественная жизнь. Он деятельно участвует в работе Вольного общества любителей словесности, наук и художеств под председательством Измайлова, а также — Вольного общества любителей российской словесности, с руководителем которого, Федором Николаевичем Глинкой, его связывают родственные и дружеские отношения. Кюхельбекер активно сотрудничает в журналах обоих обществ — «Соревнователе просвещения и благотворения» и «Благонамеренном». Он ощущает себя преуспевающим профессиональным литератором, его взгляды оригинальны и возбуждают литературные дискуссии. Его дружеский круг — Пушкин, Дельвиг, Баратынский, Плетнев.

Политический путь Кюхельбекера первых послелицейских лет тесно связан с деятельностью обществ, организуемых или возглавляемых Федором Глинкой, членом Коренной управы Союза Благоденствия. В письме из Лиона от 21/9 декабря 1820 года Кюхельбекер рассказывает: «Я вспомнил наши добрые вечерние беседы у Ф. Н. Глинки, где в разговорах тихих, полных чувства и мечтания, вылетали за рейнским вином сердца наши и сливались в выражениях, понятных только в кругу нашем, в милом семействе друзей

---

[1] И. И. Пущин, Записки о Пушкине. Письма, М., 1956, с. 47.
[2] «Литературное наследство», т. 59, с. 502.

и братий».[1] Вильгельм одновременно член околодекабристской масонской ложи «Избранного Михаила», секретарь и член «управляющего комитета» Вольного общества учреждения училищ по методе взаимного обучения и, наконец, если судить по известному доносу от 8 сентября 1821 года, член и тайного декабристского общества: «Это одна из тех пламенных голов, которым дано дурное направление известным Обществом. Воспитанный в Царскосельском лицее, с дарованиями, с желанием усовершенствоваться, рано попался он, вместе с А. Пушкиным и бароном Дельвигом, в руки Н. Тургенева и Глинки, находясь с последним в дальнем родстве. Ими введен в Общество и принят в масоны, но более служил орудием к распространению слухов, мелких сочинений и пр. Будучи слишком неопытен, вспыльчив и горяч, слепо и с жаром исполнял он их волю».[2] Широчайшие дружеские связи с декабристами, активное участие в целом ряде легальных организаций, возглавляемых деятелями Союза Благоденствия, а также все поведение Кюхельбекера в начале 1820-х годов в России и за границей позволяют предполагать, что поэт действительно мог быть принят в тайное общество кем-либо из друзей, в частности Ф. Н. Глинкой.

Возможно, что это было одно из ответвлений Союза Благоденствия, факт существования которого сравнительно недавно установлен исследователями. Это общество, связанное также с именем Ф. Н. Глинки, по воспоминаниям принятых в него Г. А. Перетца, С. М. Семенова, Д. А. Искрицкого, М. Д. Лаппы, отличалось от Союза Благоденствия по своим правилам приема. Целью его было введение конституции, средством — «распространение общего неудовольствия». Члены общества рассуждали на совещаниях «о тяжести налогов, об излишестве войск, о военном поселении, об упадке флота... о Семеновском бунте, что и у нас начинается революция... о Священном Союзе и о делах гишпанских и в Италии».[3]

Письменных расписок при вступлении в это общество не отбиралось, поэтому полный состав его членов нам не известен.

Уже в 1817 году Кюхельбекер замышляет издавать журнал. «Если ты мне достанешь подписчиков, — пишет он сестре, — буду очень обязан — подписка на полгода 20, а на целый год 35 рублей: 24 книги в год...»[4] В одном из доносов о тайных обществах также

---

[1] «Мнемозина», ч. 3, М., 1824, с. 37.

[2] «Литературное наследство», т. 59, с. 347.

[3] К. Аксенов, Северное общество декабристов, Л., 1951, с. 89—96.

[4] «Декабристы. Летописи Государственного литературного музея», кн. III, М., 1938, с. 162—163.

рассказывается о журнале, который Тургенев должен был издавать с Куницыным: «Содействовать сему обязаны были все члены; также брались: *Чаадаев,* (испытывавшийся еще для общества), *Кюхельбекер* (молодой человек с пылкою головою, воспитанный в Лицее, теперь за границею с *Нарышкиным*) и другие».[1]

Однако эта бурная общественная деятельность была внезапно оборвана. В 1820 году, одновременно с высылкой из Петербурга А. С. Пушкина, сгустились тучи и над головой Кюхельбекера. Внешне цепь событий восходит к заседанию Вольного общества любителей российской словесности, где в марте 1820 года Дельвиг прочел свое стихотворение «Поэт», в котором утверждал свободу и «в бурное ненастье», и «под звук цепей». Продолжением мысли Дельвига явилось прочитанное на заседании общества от 22 марта стихотворение Кюхельбекера «Поэты», в котором он обличал гонителей свободной поэзии, сравнивал участь своих друзей Баратынского и Пушкина с участью Мильтона, Озерова и Тассо и прославлял союз поэтов, «свободный, радостный и гордый, и в счастьи и в несчастьи твердый, союз любимцев вечных муз!».

Вице-президент Вольного общества любителей российской словесности В. Н. Каразин в апреле — июне 1820 года отправил министру внутренних дел Кочубею несколько доносов, в которых свидетельствовал о политической неблагонадежности поэтов-друзей: «Хотя надпись на сей пьесе просто «Поэты», но цель ее очень видна из многих мест, например:

В руке суровой Ювенала
Злодеям грозный бич свистит...

...Поелику эта пьеса была читана в обществе непосредственно после того, как высылка Пушкина сделалась гласною, то и очевидно, что она по сему случаю написана».[2]

Содержание этих доносов стало известным; в Вольном обществе против Каразина было произнесено несколько речей, в том числе речь Гнедича «О назначении поэта». В результате активной внутренней борьбы Каразин был исключен из общества. Но положение Кюхельбекера сильно осложнилось. Он ожидает для себя высылки, подобно Пушкину. Его душевное состояние этого времени передано в письме к другу и наставнику В. А. Жуковскому: «До сих пор не знаю я, чем решится судьба моя. Вы можете себе представить, что беспрестанное волнение, неизвестность и беспокойство —

[1] «Русский архив», 1875, № 12, с. 427.
[2] «Русская старина», 1899, № 5, с. 278.

состояние не слишком приятное...»[1] В это время по рекомендации Дельвига вельможа А. Л. Нарышкин приглашает Кюхельбекера в качестве «секретаря и собеседника» в длительное заграничное путешествие по всем странам Европы. Кюхельбекер с радостью соглашается.

8 сентября Нарышкин, его домашний врач Алиманн и Кюхельбекер выезжают за границу.

Путешественники объехали Германию, Италию и Францию, и всюду Кюхельбекер ощущал себя представителем передовой литературной мысли России.

Известно, что при отъезде он получил задание от Вольного общества любителей российской словесности присылать в общество корреспонденции о своем путешествии; целый ряд его стихотворений, а также дневник путешествия написаны в форме обращения к оставшимся в России друзьям и «братьям» — по литературе и по вольнолюбию. Кюхельбекер стремился установить связи с выдающимися людьми Запада, стремился обратить внимание Европы на Россию, русскую народную поэзию, русский язык, молодую новейшую русскую литературу. Этим целям подчинены его беседы с Гете, Новалисом и другими великими людьми Германии. С этим связана и лекция о русском языке, прочитанная Кюхельбекером в обществе «Атеней», которым руководили французские либералы во главе с Бенжаменом Констаном. В настоящее время она расценивается советскими исследователями как «поистине выдающееся произведение раннего декабризма, одно из тех, которые навсегда останутся образцами идейного наследства первых русских революционеров».[2] Лекция была обращена к передовым людям Франции от имени «мыслящих» людей России, потому что «мыслящие люди являются всегда и везде братьями и соотечественниками», потому что во всех странах Европы они предпочитают «свободу — рабству, просвещение — мраку невежества, законы и гарантии — произволу и анархии».[3] Лекция была прочитана для французов 1821 года, поэтому она должна была объяснить, что реакционная политика российского правительства, «совершенно деспотического», слишком хорошо известная французам по деятельности Священного союза («политическим сделкам»), ничего общего не имеет с историей и чаяниями русского народа и русских «мыслящих» людей, ненавидящих деспотизм и варварство. В лекции говорилось о русском языке, богатство

---

[1] «Русский архив», 1871, № 2, с. 173.
[2] М. В. Нечкина, Движение декабристов, т. 1, с. 262.
[3] «Литературное наследство», т. 59, с. 366—390.

и мощь которого являются выражением молодости, мощи и «великой восприимчивости к правде» русской нации в целом, и вся она была построена как доказательство готовности к свободе и права на свободу, «законы и гарантии» (т. е. конституцию) русского народа. Кюхельбекер утверждает здесь, что события 1820 года в Европе — «великий переворот в духовной и гражданской жизни человеческого рода и пророчат еще более значительную и всеобщую перемену».[1] Вместе с тем перемены для России ожидаются прежде всего от государя — Александра I.

Эта мысль не случайна. Сторонниками конституционной монархии были Ф. Н. Глинка и И. Г. Бурцов, избрание Михаила на царство было центральным моментом идеологии масонов, членов ложи «Избранного Михаила». Но у Кюхельбекера, опять-таки в соответствии с программой ряда петербургских декабристов начала 1820-х годов, имеется и скрытая угроза царю: сказав, что «Петр I, которого по многим основаниям назвали Великим, опозорил цепями рабства наших землепашцев» и что об этом несчастии родины «никогда не заставит забыть никакая победа, никакое завоевание», — Кюхельбекер выражает уверенность, что у русского языка будут еще свои Гомеры, Платоны и Демосфены, как у русского народа — свои Мильтиады и свои Тимолеоны. Тимолеон, коринфский полководец и будущий герой «Аргивян» Кюхельбекера, прославлен в веках как республиканец и убийца тирана Тимофана, свергнувшего республику в Коринфе.

Таковы политические взгляды Кюхельбекера к середине 1821 года.

Парижская полиция запретила лекции. Кюхельбекер был вынужден расстаться с Нарышкиным и покинуть Париж. С помощью своего нового парижского друга, поэта Туманского, он вернулся в Россию. Однако в Петербурге уже распространились слухи о его политической неблагонадежности; в доносе, написанном вскоре по

[1] Напомним, что Кюхельбекер выехал из России в то время, когда одно за другим происходили восстания с провозглашением конституций: 9 марта 1820 года на верность конституции присягает король Испании Фердинанд; в июле 1820 года происходит революция и провозглашается конституция в Неаполе; в июле же — революция в Сицилии. За время пребывания Кюхельбекера в Европе произошли революции в Пьемонте (март 1821 года), в Португалии (сентябрь 1820 года); в феврале 1821 года началось восстание в Валахии и развернулась борьба греков за независимость против турецкого ига. В это же время, 19 ноября 1820 года, конгресс монархов в Троппау принял решение о «праве вмешательства» во внутренние дела государств для подавления революционных движений.

прибытии его из-за границы в Петербург, вольнолюбивые идеи лекции связываются с мнениями русской «либеральной партии». [1]

После первых неудачных попыток найти службу или организовать курс публичных лекций Кюхельбекер и его друзья поняли, что поэту лучше на время покинуть столицы, не дожидаясь официальных репрессий. 6 сентября 1821 года А. И. Тургенев пишет Вяземскому: «Кюхельбекер едет сегодня или завтра с Ермоловым. Мы устроили его дело. Государь знал все о нем; полагал его в Греции и согласился определить его к Ермолову. Я этому душевно рад и еду благодарить Ермолова». [2]

Пребывание поэта на Кавказе было кратким (с сентября или октября 1821 года по апрель или май 1822), но этот период необыкновенно важен в формировании творческой индивидуальности Кюхельбекера. Здесь он подружился с А. С. Грибоедовым; здесь, занимаясь разбором бумаг в канцелярии наместника Кавказа А. П. Ермолова, он столкнулся с чудовищными фактами угнетения человека человеком, что углубило его неприятие существующего в России порядка. [3] Условия службы под начальством популярного среди будущих декабристов генерала и условия творчества были благоприятными; однако уже через полгода после определения к Ермолову, в апреле 1822 года, Кюхельбекер подает прошение об увольнении. Причина, официально сформулированная в бумагах, — «болезненные припадки»; действительная причина — дуэль с Н. Н. Похвисневым, дальним родственником Ермолова. История этой дуэли до сих пор неясна; известно лишь, что много позже Кюхельбекер в официальном письме Бенкендорфу будет ссылаться на «рану пулею в левое плечо» — возможно, полученную на этой дуэли.

В июле 1822 года поэт уже находится в имении сестры, Юстины Глинки, Закупе, Смоленской губернии. Он интенсивно занимается литературной деятельностью (лирические стихотворения, трагедия «Аргивяне», поэма «Кассандра», начало поэмы о Грибоедове и т. д.); он влюблен в юную Авдотью Тимофеевну Пушкину — «Eudoxie», го-

---

[1] «Литературное наследство», т. 59, с. 347.

[2] «Остафьевский архив князей Вяземских», т. 2, Пб., 1899, с. 209.

[3] «Любезный друг, — пишет Кюхельбекер В. А. Туманскому 18 ноября 1821 года, — что сказать тебе о моем положении? . . .Мои занятия здесь еще собственно не начались, однако же случалось мне уже переписать некоторые бумаги, от которых волос дыбом: тот продает людей, как скотов, поодиночке, отводит им жилье в погребах, заковывает в железа; та засекает двенадцатилетнюю девочку, — спасибо Алексею Петровичу, он приберет их к рукам». — «Русская старина», 1890, № 8, с. 383.

стящую в Закупе, и собирается жениться на ней. И вместе с тем он мечтает о возвращении из вынужденного уединения в столицы, о возможности вновь служить и издавать журнал. Он пишет отчаянные письма о безденежьи, о полной невозможности вновь найти службу. Его настроение крайне пессимистично; в письме к В. А. Жуковскому он говорит о возможности самоубийства.

Друзья пробуют найти Кюхельбекеру место службы, желательно в дальних краях, чтобы его бурная биография забылась. Энгельгардт предлагает устроить его через Крузенштерна и Моллера в кругосветную экспедицию Коцебу; товарищ по Лицею Комовский хлопочет о месте в Москве при князе Голицыне. Однако все хлопоты безрезультатны: «Твоя парижская вылазка еще здесь в свежей памяти, так что неоднократно случалось мне защищать тебя против важных и не важных людей... Да и происшествие у Ермолова и удаление от него не в твою пользу. Итого: надобно посидеть у моря и подождать погоды!», [1] — пишет Энгельгардт.

Однако Кюхельбекер больше не хочет ждать: им овладевает мысль об издании собственного журнала, сразу же пришедшаяся по душе его друзьям — Вяземскому, Пушкину, Грибоедову. Единственное препятствие, которое встретилось, — это особое постановление, по которому, как пишет Кюхельбекеру 8 сентября 1823 года П. А. Плетнев, никто не имеет права издавать журнал, если он до сих пор не издал в свет какого-нибудь особенного своего сочинения, т. е. целой книги.

Невозможность издать журнал несколько изменила планы, и с помощью приехавшего в Москву Грибоедова, в сотрудничестве с новым другом и единомышленником В. Ф. Одоевским, Кюхельбекер начинает готовить альманах «Мнемозина».

17 января 1824 года первая часть альманаха была разрешена цензурой; успех был блестящим.

Вышедший альманах собрал на своих страницах лучшие литературные силы. Там опубликовали свои произведения Пушкин, Баратынский, Вяземский, Языков, Шевырев, В. Одоевский и другие литераторы. Сам Кюхельбекер напечатал в четырех его частях отрывки из «Европейских писем», повесть «Адо», большое количество лирических стихотворений, литературно-критические статьи «Земля безглавцев» и «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие», «Разговор с Ф. В. Булгариным» и т. д. В «Благонамеренном» появилась рецензия с доброжелательной оценкой «Мнемозины» и высокой оценкой произведений Кюхельбекера в

---

[1] «Русская старина», 1875, № 7, с. 371—372.

альманахе.[1] Восторженно отозвались о «Мнемозине» впоследствии В. Г. Белинский и К. А. Полевой.

Однако «Мнемозина» принесла Кюхельбекеру не только славу и материальное благополучие, но и новые огорчения. 4-я часть альманаха была задержана и вышла с большим опозданием лишь в конце 1825 года. Кюхельбекер вынужден вновь просить денег у матери и искать более надежных средств к существованию, чем издание альманаха. Одно время он предполагает отправиться за границу, в Эдинбург, профессором русского и славянского языков; в это же время ищет для него места в Петербурге Грибоедов: «У Шишкова не удалось, в Почтамте тоже и в Горном департаменте, но где-нибудь откроется щелка».[2] Зимой 1825 года появляется надежда уехать в Севастополь, заняв место профессора литературы, учрежденное адмиралом Грейгом для образования морских офицеров. Однако все это осталось проектами. Скудные заработки же давала напряженная работа в «Сыне отечества» Булгарина и Греча, в «Благонамеренном» Измайлова. Кюхельбекер готовит вместе с последним альманах «Календарь муз». Все последующие планы — творческие, служебные, журнально-издательские — были прерваны событиями 14 декабря 1825 года, участие Кюхельбекера в которых было столь же подготовлено всем развитием предшествующей биографии и творческих исканий поэта, сколь и внезапно и неожиданно для него самого и для его близких.

Если организационная связь Кюхельбекера с декабристскими обществами с 1821 до самого конца 1825 года, по-видимому, отсутствует, то эволюция его общественно-политических взглядов прямым путем ведет его к неизбежности и закономерности появления 14 декабря 1825 года на Сенатской площади.

Самое крупное произведение Кюхельбекера этих лет — трагедия «Аргивяне» — ставит важнейшие вопросы декабристского мировоззрения: о путях уничтожения тирании, о действующих силах государственного переворота, о возможности и необходимости убийства тирана, о роли знати в государстве — и намечает вопрос о роли народа в истории. Трагедия известна в двух редакциях. Путь от первой ко второй был путем формирования общественно-политических взглядов поэта в период между 1822 и 1825 годом. В первой редакции трагедии Кюхельбекера (1822) главой заговора является злодей

---

[1] «Благонамеренный», 1824, № 8, с. 130—135. Обоснование принадлежности статьи Рылееву — см.: М. К. Константинов, О принадлежности Рылееву рецензии на «Мнемозину». — «Литературное наследство», т. 59, с. 273—284.

[2] А. С. Грибоедов, Сочинения, М.—Л., 1959, с. 562.

(Сатирос), Тимолеон же играет роль пассивно-страдательную: он мечтает убедить любимого брата отречься от власти, и только когда это не удается, пассивно санкционирует его убийство.

Если вспомнить о той тактической борьбе, которая шла в это время среди членов Северного общества (план Н. Муравьева — распространить во всех слоях общества умеренную конституцию, начать военное «возмущение», в захваченных областях приступить к выборам местных правлений и народного «веча» и лишь как крайнее средство — изгнать императорскую фамилию и установить республику; а план «левых» — убийство императора, которое должно служить сигналом для восстания, восстание, убийство членов царской семьи и созыв «веча» из народных представителей, которое должно определить тип государственного строя в стране), — то очевидно, что тактическая программа Кюхельбекера, с ее крайне осторожным решением вопроса об убийстве тирана, ближе к «правой» программе декабризма.

Вторая редакция трагедии (1825) существенно отличается от первой. В ней также осуждается всякое единовластное правление, независимо от того, добрый или злой правитель стоит во главе государства, так как в любом случае единовластное правление означает, что страной начинают править не законы, а человек, тиран, и его произвол. Убежденный республиканец, мудрый и честный вождь, Тимолеон готовит восстание народа и молодых воинов-демократов, и отсрочка выступления объясняется не его душевной борьбой, а необходимостью собрать и подготовить все силы и сделать восстание наименее кровопролитным. В обеих редакциях план Тимолеона таков: подготовлен «мятеж народных сил; весь город только знака ждет и вспыхнет», он предлагает подкупить наемное войско — единственную опору тирана, и когда будет дан знак к началу бунта, тиран окажется безоружным и без кровопролития отречется от власти. В этом плане все знаменательно для Кюхельбекера-декабриста: и опора восстания на молодых воинов (восстание декабристов замышлялось именно как восстание войска), и возможность использовать при подготовке восстания недовольство тираном всех слоев общества, в том числе и далеких от замыслов революции, и, по-прежнему, крайне осторожное решение вопроса о кровопролитии и убийстве тирана. Цель восстания, по Кюхельбекеру, — республика, а не конституционная монархия, хотя путь ее достижения должен быть по возможности мирным. И, наконец, самое существенное во взглядах Кюхельбекера, выраженных в трагедии, — это далеко опережающее идеологию декабризма решение о необходимости опираться на народ и бунт народа в государственном перевороте. Во

второй редакции народ не только присутствует в рассуждениях, но и действует на сцене: в трагедии то и дело встречаются ремарки: «Народ собирается» — и идут диалоги безымянных «граждан», так или иначе встречающих происходящие события, — вот, например, обвинение Тимофану «из-за амвона» «убегающего гражданина»:

> Умолкни, льстец! ты враг наш, тать, мятежник!
> Твои клевреты грабят нас, предатель!
> Исчезни ты и род твой окаянный!

К 1825 году ослабевают дружеские связи Кюхельбекера с москвичами-философами, прежде всего с Владимиром Одоевским, сменяясь пламенной дружбой с активнейшими деятелями петербургского тайного общества.

Именно активное, деятельное начало привлекает Кюхельбекера в петербургских декабристах; сравнивая двух своих друзей, Владимира и Александра Одоевских, он приходит к выводу, что отвлеченные философские умозрения первого бесплодны. В сентябре — октябре 1825 года, накануне вступления в общество, Кюхельбекер пишет об этом В. Ф. Одоевскому в письме, переданном через Александра: «Об тебе, мой друг, об самом: вырвись, ради бога, из этой гнилой, вонючей Москвы, где ты душою и телом раскиснешь! — Твое ли дело служить предметом удивления Полевому и подобным филинам? Что за радость щеголять молодыми, незрелыми, неулегшимися еще познаниями перед совершенными невеждами? Учись, погляди на белый свет; узнай людей истинно просвещенных, каков, напр., тот, который подаст тебе это письмо. Посмотри, какая разница! Я желал бы быть волшебником, чтоб тебя махом вырвать из кругу, в котором находишься и которого я хуже для тебя вообразить не могу; вспомни, чего от тебя ожидают истинные друзья твои». [1]

Кюхельбекер был принят в Северное общество за месяц до восстания, в ноябре 1825 года. На следствии по делу 14-го декабря ему был задан вопрос: «Вы показали, что согласились на предложение Рылеева вступить в число членов тайного общества, но будто бы не разделяли личных мнений его и не знали членов общества. Несправедливость сего показания сама по себе очевидна... Итак, отвечайте откровенно». Кюхельбекер отвечает: «С первого взгляду, конечно, всякому покажется невероятным показание мое о моем присоединении к тайному обществу без предварительного знания всех или большей части членов оного. Но да обратят внимание на лич-

---

[1] «Русская старина», 1902, № 2, с. 382.

ный характер мой, на характер человека, который — признаюсь к моему стыду — почти вовсе не жил в настоящем мире и никогда не помышлял о сетях и опасностях, его окружающих, человека, который всегда увлекался первым сильным побуждением и никогда не помышлял о пагубных для себя последствиях своих малообдуманных поступков».[1] Далее Кюхельбекер объясняет, что ему было сказано Рылеевым и повторено потом Одоевским основное правило тайного общества — «чтобы новопринятый знал одного принявшего и никому не открывался».

По-видимому, за исключением гораздо более широких связей с декабристами, о которых Кюхельбекер сознательно умалчивал на всех допросах, называя лишь самый минимум фамилий, уже названных ему допрашивающими, и перемежая их фамилиями Греча и Булгарина, Измайлова, Жуковского, Карамзина, Козлова, Сомова, Яковлева, барона Корфа и даже «госпожи Ярославовой, коей имени и отчества не упомню», и «купцов Куссовых», — кроме этого, остальная история вступления Кюхельбекера в общество, очевидно, была именно такой. Восторженный и свободолюбивый, тоскующий без друзей, Кюхельбекер всей душой привязывается к своим новым друзьям. И на предложение вступить в общество отвечает не задумываясь и не расспрашивая, тем более что он знает, в общем, республиканские взгляды предлагающего, а романтическая таинственность состава общества для него привлекательна уже сама по себе. Он не ждет близких действий, предполагая их лишь через два года, но он возбужден тайной и жаждет подвигов во имя свободы. Он знает «с одной стороны — слишком много, чтобы быть спокойным, с другой — слишком мало, чтобы быть довольным доверчивостью Рылеева», он боится проговориться и боится «неизвестных опасностей». И даже в самый день восстания он еще не помышляет о нем: перед тем он несколько раз навещал больного Рылеева, и только раз застал у него, зайдя с Одоевским, несколько совещающихся — Штейнгеля, Оболенского, А. А. Бестужева, Каховского. На пылкие вопросы о силах и намерениях заговорщиков он получал лишь уклончивые распоряжения «быть готовым и не потерять головы, если бы меня разбудили и в полночь». 12 декабря он обедает у брата Михаила, также декабриста, в казармах Гвардейского экипажа, после чего братья поехали в Смольный монастырь к девицам Брейткопф; 13 декабря он вновь с братом, но на этот раз у тайного советника В. Н. Зиновьева, «у которого пробыл заполночь». 14 декабря с утра собирается к лицейскому товарищу князю Эристову — для перегово-

---

[1] «Восстание декабристов. Материалы», т. 2, с. 159, 163, 169.

ров о готовящемся альманахе («Календарь муз»?). И в этот момент посланный слуга передает Кюхельбекеру просьбу прийти к Рылееву. Так начались для Кюхельбекера роковые события 14 декабря 1825 года.

Однако, хотя Кюхельбекер, по-видимому, действительно не знал в деталях программы общества, у него была своя четкая и продуманная программа, целиком согласная с идейными исканиями декабристов. Он излагает ее на следствии: его заставили «желать иного порядка вещей и наконец побудили вступить в тайное политическое общество» злоупотребления государственных чиновников, особенно в судопроизводстве, угнетение помещичьих крестьян «истинно ужасное», совершенный упадок торговли и промышленности, развращение нравов и невежество народа, неизбежные в состоянии рабства, поверхностное воспитание и обучение юношества «высших состояний» и «крайнее стеснение» российской словесности. Следствием всего этого явилось «желание представительного образа правления».[1]

Деятельность Кюхельбекера на Сенатской площади была кипучей и восторженной деятельностью революционера-романтика, не очень соразмеряющего силы, но готового на геройский подвиг во имя Свободы. Он был вооружен палашом и пистолетом — «для того, что в подобных случаях без оружия не бывают». Он ездил в Морской экипаж с известием о начале действий и в казармы Московского полка с вопросом: «Que voulez vous que je dise a vos frêres de l'Équipage de la Garde?» — «Что вам угодно передать вашим братьям по Гвардейскому экипажу?» Он искал заместителя неявившемуся предводителю восстания, предлагая эту роль Николаю Бестужеву, затем Евгению Оболенскому. Он пытался стрелять в великого князя Михаила Павловича и в генерала Воинова. Наконец, он пытался собрать солдат Гвардейского экипажа, расстроенного картечными выстрелами, и повести их в атаку — «единственно потому, что бежать показалось мне постыдным». Солдаты ответили ему: «Вить в нас жарят пушками. . .»[2]

Последнее, что видел Кюхельбекер на площади, — как офицеры Гвардейского экипажа сдавались генерал-майору Шипову. Он понял, что битва проиграна, и, переодевшись в платье дворового человека, вышел из Петербурга «не через въезд, а между въездами Нарвским и Московским». Так закончился для Вильгельма этот бурный и трагический день. Он вел себя как пылкий и талантливый борец, использующий целый ряд средств для возбуждения духа

---

[1] «Восстание декабристов. Материалы», т. 2, с. 166—167.
[2] Там же, с. 144.

солдатской толпы. Сумасброд, умалишенный в припадке безумия, долговязый чудак с нестреляющим пистолетом — все это было легендой, возникшей позже, отчасти для спасения друга, которому угрожала высшая мера наказания — смерть, отчасти — для осмеяния и опорочения врага.

Кюхельбекер единственный из всех декабристов попытался бежать и удачно добрался до самой Варшавы. На следствии он объяснял маршрут своего побега стремлением предстать в Варшаве перед великим князем Константином и умолять его быть заступником восставших перед царем; на самом деле, по-видимому, целью его был переход границы. Приметы Кюхельбекера были разосланы по всей России — от Варшавы до ставки Ермолова на Кавказе. Он был схвачен унтер-офицером лейб-гвардии Волынского полка Никитой Григорьевым, после первых допросов закован в «железа» — ручные и ножные кандалы — и доставлен в Алексеевский равелин. В первый же день царь лично вызвал поэта к себе для допроса; известны два распоряжения Николая I о содержании Кюхельбекера в Петропавловской крепости, отданные письменно ее коменданту А. Я. Сукину, — оставить его закованным в кандалы (26 января в половине одиннадцатого пополудни) и разрешение расковать его (во втором часу пополуночи). Затем в течение полугода бесконечные допросы и очные ставки, наконец — страшное ожидание «сентенции», приговора. Решением суда 12 июля 1826 года Кюхельбекер был приговорен к смертной казни отсечением головы; по ходатайству великого князя Михаила смерть заменена двадцатилетней каторгой и пожизненным поселением в Сибири. Далее каторга заменена пятнадцатью, а затем десятью годами крепости, где Кюхельбекер и пробыл до декабря 1835 года, после чего был отправлен на поселение в Сибирь.

Имя Кюхельбекера было вымарано из тех журналов, где должны были идти его стихи; альманах «Календарь муз», который он готовил вместе с Измайловым, первый откликнулся на события 14 декабря реакционными стихами А. Севринова «Подражание псалму XX», где проклинал преступника, скрывающегося «в местах сокрытых, недоступных», т. е. не пойманного еще тогда Кюхельбекера.[1] 19 октября 1826 года на праздновании лицейской годовщины А. Дельвиг произносит тост в честь двоих друзей — Кюхельбекера и Пущина:

---

[1] См. об этом: М. К. Константинов, Литературная деятельность Кюхельбекера накануне 14 декабря 1825 года. — «Литературное наследство», т. 59, с. 538.

Выпьем, други, в память их,
Выпьем полные стаканы.
За далеких, за родных
Будем ныне вдвое пьяны. [1]

Образ заточенного друга не раз возникнет в сознании Пушкина — то в рисунке на полях рукописи, то в виде дневниковой записи о случайной встрече с перевозимым из Шлиссельбургской крепости в Динабург узником, то в неожиданной строке любовного прощального послания:

Прими же, дальная подруга,
Прощанье сердца моего,
Как овдовевшая супруга,
Как друг, обнявший молча друга
Пред заточением его. [2]

До последних лет жизни Пушкин будет заботиться о друге и об издании его произведений, пытаться писать к нему сам, передавать вести и книги через его родных.

Память о декабристах для Кюхельбекера до конца жизни останется священной; участие в их борьбе никогда не будет сочтено ошибочным или ненужным. Не только к Рылееву, но и к себе, и ко всем поэтам-декабристам он относит слова, которые в его стихотворении «Тень Рылеева» говорит о себе казненный поэт:

Блажен и славен мой удел:
Свободу русскому народу
Могучим гласом я воспел,
Воспел и умер за свободу!
Счастливец, я запечатлел
Любовь к земле родимой кровью!..

2

Творчество Кюхельбекера периода заключения (1825—1835) необыкновенно плодотворно. Кроме лирических стихотворений и огромной поэмы «Давид», им написаны поэмы «Юрий и Ксения», «Сирота» и «Семь спящих отроков», мистерия «Ижорский», трагедия «Про-

---

[1] А. А. Дельвиг, Полное собрание стихотворений, Л., 1959, с. 193.

[2] А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в 10-ти томах, т. 3, М., 1956, с. 186.

кофий Ляпунов», начата драматическая сказка «Иван, купецкий сын» (закончена в 1842 году, в Сибири), задумано и отчасти осуществлено сложное по композиции многочастное произведение «Русский Декамерон 1831-го года», драма «Архилох» и многочисленные переводы драм Шекспира. Наконец, в крепости же начаты романтическая повесть Кюхельбекера «Последний Колонна» и обширная поэма, которую Кюхельбекер писал до самой смерти, — «Агасвер» («Вечный Жид»), — то есть здесь задумано, осуществлено или начато все, что было сделано поэтом за последние двадцать лет его жизни.

В декабре 1835 года Кюхельбекер был освобожден из заключения и с фельдъегерем отправлен в Баргузин, где в это время жил с семьей его старший брат Михаил. Опьянение чувством свободы, радость от свидания с братом, счастье видеть ребенка — дочь брата — все эти чувства очень скоро отступают на второй план перед нуждой и заботами. «В судьбе моей произошла такая огромная перемена, что и поныне душа не устоялась, — писал Кюхельбекер Пушкину 3 августа 1836 года. — Дышу чистым, свежим воздухом, иду, куда хочу, не вижу ни ружей, ни конвоя, не слышу ни скрыпу замков, ни шепота часовых при смене: все это прекрасно, а между тем — поверишь ли? — порою жалею о своем уединении. Там я был ближе к вере, к поэзии, к идеалу; здесь все не так, как ожидал даже я, порядочно же, кажись, разочарованный насчет людей и того, что можно от них требовать...»[1] Кюхельбекер несколько раз сравнивает себя в письмах с пушкинским Овидием среди цыган — он живет в семействе брата в роли нахлебника, в помещении бани, его планы заработать средства литературным трудом рушатся. Он просит родных начать хлопоты перед великим князем Михаилом о разрешении ему печататься под псевдонимом Гарпенко. 13 апреля 1836 года он вновь, как когда-то в тяжелый период своей жизни, в 1825 году, предлагает свои услуги Н. И. Гречу за «100 рублей в месяц деньгами и на 300 рублей в год книг, курительного табаку (Жукова 2-х рублевого), кофе etc». В письме он перечисляет уже готовые статьи, которые он предлагает Гречу: о юморе, о греческой дигамме, о Мерзлякове, Пушкине, Кукольнике, Марлинском, Шекспире, Шиллере, Гете, Томсоне, Краббе, Муре, Вальтере Скотте, некоторых немецких проповедниках, а также — «несколько легких статей, вроде той, которую я когда-то напечатал в «Мнемозине» и назвал, кажется, „Земля безглавцев“»[2] Тогда же он пытается завя-

---

[1] А. С. Пушкин, Переписка, т. 3, СПб., 1911, с. 359.
[2] «Литературное наследство», т. 59, с. 459.

зать отношения с Николаем Полевым, — оба письма были задержаны III Отделением.

Неудачи литературные заставили Кюхельбекера думать о занятиях хозяйством и об устройстве своего быта. Это устройство началось с женитьбы осенью 1836 года на дочери почтмейстера Дросиде Ивановне Артеновой. Кюхельбекер с самого же начала сообщил матери, что это «не роман». Впрочем, в первое время он видит в своей невесте много привлекательного, — сравнивая свою избранницу с героиней комедии Шекспира «Много шуму из ничего», он сообщает А. С. Пушкину: «Она в своем роде очень хороша: черные глаза ее жгут душу; в лице что-то младенческое и вместе с тем что-то страстное, о чем вы, европейцы, едва ли имеете понятие».[1] Однако в браке поэта с необразованной, не знающей даже грамоты баргузинской мещанкой было с его стороны много трезвого расчета. 19 октября 1836 года он писал племяннице Саше: «Если бы я нашел здешних людей мне близких[2] несколько иначе, если бы меня не разделяли с ними вкусы и понятия, совершенно противоположные моим, я, поверь мне, никогда бы не думал о связи, которая — искренно сказать — меня несколько пугает. Но мои требования довольно умеренны: в мою пользу молодость и неиспорченность той, которую я выбрал в товарищи остатка своей жизни. Впрочем, повторю то же, что уже сказал Эмилии Федоровне (Брейткопф. — *Н. К.*): не берусь за настоящее воспитание будущей жены своей; 19 лет не шутка; дай-то только бог, чтоб хоть в дочери взрастил я себе друга, существо, которое бы понимало меня, любило и было в состоянии участвовать в моих скорбях и радостях. Парней отдам их дяде: пусть будут тем, что здесь может составить их счастие».[3] Летом 1839 года у Кюхельбекера родился первенец Михаил; между супругами устанавливаются ровные и, в общем, дружеские отношения.

Физический труд, которым пришлось заниматься в Баргузине, оказался поэту не по силам.

Осенью 1839 года он принимает предложение пограничного начальника города Акши А. И. Разгильдеева взять на себя воспитание его дочерей, Анны и Вассы, и переезжает с семейством в Акшу. Вот автопортрет поэта этой поры: «Не был я красавцем никогда, — напротив, всегда был неловок и нескладен. Теперь же волос седой, зубов мало, спина сутуловатая, — чтоб не сказать — горбатая, — одно плечо высше другого: вот тебе портрет твоего дяди при росте

---

[1] А. С. Пушкин, Переписка, т. 3, с. 385.
[2] Речь идет о семье брата.
[3] «Декабристы и их время», М.—Л., 1951, с. 70.

9 с половиной вершков <то есть 2 аршина 9,5 вершков> и худощавости, что, кажется, в кольцо пролезешь. Аристократического у меня осталось — мягкие, белые руки, потому что поневоле не могу заниматься полевыми работами: сил нет, да и левой рукой не владею». [1]

Первоначально Акша показалась Кюхельбекеру культурным оазисом в Сибири; в доме Разгильдеевых он постоянно читал новые книги; его ученицы были способными; он даже задумал создать для них историю русской литературы — в письмах к девушке. В Акше наконец вновь, после долгого перерыва, он начинает заниматься творчеством. Однако вскоре страстная платоническая дружба с Анной Разгильдеевой осложнила как его семейную жизнь, так и положение в доме Разгильдеевых.

В 1842 году семейство его учениц покинуло Акшу; еще один любимый ученик, сын местного казачьего атамана Пронюшка Истомин, трагически погиб, упав с кабриолета. Ко всем бедам прибавились смерть сына Ивана и болезнь жены, и Кюхельбекер начинает добиваться перевода из Акши — либо вслед за Разгильдеевыми в Кяхту, либо в Туринск. Переезд был разрешен лишь в 1844 году — в Смолинскую слободу близ Кургана. В это время Кюхельбекер заболевает туберкулезом; быстро прогрессирует болезнь глаз. Осенью 1845 года он уже слеп. После долгих просьб ему разрешают поселиться в Тобольске — временно, для лечения. В 1846 году Кюхельбекер еще раз получил отказ на просьбу о печатании своих сочинений; слепой и умирающий, он диктует в марте свое литературное завещание И. И. Пущину, а 11 июня — отчаянное письмо В. А. Жуковскому с последней просьбой о помощи.

11 августа 1846 года Кюхельбекер скончался. О его семействе взял на себя заботы И. И. Пущин; вскоре за детьми приехала сестра поэта Юстина Глинка с дочерью Натальей, и с 1847 по 1856 год дети воспитывались в семье Глинок под фамилией Васильевых. В 1856 году им были возвращены дворянское звание и фамилия отца.

Политическая мысль Кюхельбекера после 1825 года во многом потеряла свою остроту. Одной из самых главных проблем, которую решают произведения и письма Кюхельбекера 1830-х годов, является проблема анализа духовной и общественно-политической жизни молодежи 1810-х — 1820-х годов, времени, когда он сам был активным и деятельным. Задача, которую ставит перед собой поэт, — борьба

[1] «Декабристы. Летописи Государственного литературного музея», кн. III, с. 183.

со скепсисом и опустошением души. Эти качества, лишающие человека способности и желания действовать, кажутся Кюхельбекеру самым страшным порождением времени — в этом сказывается его страстная натура декабриста-борца. По сути дела, размышления о нравственном облике человека 1810—1820-х годов были размышлениями о движущих силах исторического прогресса, о положительном (или отрицательном) герое времени. Однако эти же размышления свидетельствуют о том, что Кюхельбекер в 1830—1840-е годы уже не столько ищет героя-борца в людях 1810—1820-х годов, сколько стремится проанализировать причины невозможности борьбы. Эта тема является центральной в романтической мистерии «Ижорский»: опустошенность души и скепсис не только ведут к торжеству зла в душе человека, но и несут физическую гибель людям, окружающим его.

В образе Ижорского, написанном вослед пушкинскому Онегину, Кюхельбекер, условно говоря, создал лермонтовский образ героя «печоринского» типа — до Лермонтова. Однако если Онегин и Печорин — герои положительные, то Ижорский — «злодей», до самого финала — отрицательный герой. На образе Ижорского отчетливо видно, что в 1830-е годы политический вопрос о действующих силах общественного прогресса в творчестве Кюхельбекера становится вопросом не социальным, а моральным: вопросом о качествах человеческой души, которая, по мнению Кюхельбекера, в тех же условиях могла бы быть и иной.

Положительный идеал Кюхельбекера 1830-х — 1840-х годов определяется в основном нравственными категориями, это стойкость перед гонениями, решимость умереть за убеждения, душевное благородство и честность. Характерно, что ищет своего положительного героя поэт уже не в современности, а в истории. Герои эти — не борцы, а жертвы.

Неоднократно в эти годы его внимание привлекают деятели раннего христианства, гонимые и идущие на смерть за истину и веру. Всех их соблазняют возможности отречения от веры — и все они предпочитают смерть. Кюхельбекер останавливается и на агитационном значении жертвы во имя убеждений: пример стойкости христианки Зои убеждает римлянина Аминта в справедливости ее веры, заставляет задуматься народную толпу («Агасвер»).

Лишенный историческими условиями веры в осуществление своего политического идеала — устройства справедливого общества на земле, — Кюхельбекер все чаще обращается к идеалу религиозному, ищет высшей справедливости в боге, — что вообще было характерно для декабристов после 1825 года. Однако этот религиозный

идеал высшей справедливости претерпевает в сознании Кюхельбекера существенную эволюцию от 1830-х к 1840-м годам: от восторженного описания чудесной судьбы «семи отроков» («Семь спящих отроков») к трагическому изображению судеб мира и человечества в «Агасвере».

Агасвер Кюхельбекера видит ничтожность земной славы на примере двора Римской империи, видит людей фанатической веры — первых христиан Зою и Аминта, Лютера, священников, казненных в дни французской революции.

Однако все это в финале поэмы приводит отнюдь не к торжеству веры, а к страшной картине всеобщего разрушения мира, бесконечного одиночества оставшихся еще на земле людей и приближения страшного суда. Перед концом мира, по Кюхельбекеру, вновь воскресли первобытные чудовища — мамонты и птеродактили, и единственный живой человек свершает на безлюдной и пустой земле «тризну над вселенной». И вот тут человек приходит в отчаяние: одиночество невыносимо, он жаждет умереть — и в этот момент является Агасвер со словами, которые цензура не пропустила при публикации поэмы в 1898 году: в «Русской старине» они заменены тремя строчками точек:

Утешься! я тысячелетья ем,
Как свой насущный хлеб ты ел, бывало,
Тот яд, который в миг тебя добил...
Утешься! Нет в тебе моих проклятых сил;
Тебе отдохновение настало.

Итак, Агасвер — это самое одинокое существо, мучимое своим одиночеством, он проклинает сам свои силы, которые даны ему, чтобы справляться с этим ядом.

Эта часть поэмы писалась в 1842 году человеком, духовные и физические силы которого были уже сломлены, который сознавал, что годы его сочтены. «Мне нужно забвенье, нужна тишина...», «Все, все валятся сверстники мои...», «Горько надоел я всем, самому себе и прочим: Перестать бы жить совсем!» — таковы трагические настроения последних лирических стихотворений поэта. Это же чувство — в поэме «Агасвер», одном из сильнейших и трагических его произведений.

Пессимизм выводов Кюхельбекера, коренящийся в социально-исторической обреченности движения декабристов, не исключает, однако, пристального внимания поэта к великим историческим эпохам мировой истории, его стремления постичь характеры и сущность

народных движений и революций — французской революции XVIII века в «Агасвере», русского национально-освободительного движения 1612 года — в драме «Прокофий Ляпунов».

При этом отрицательное отношение к политике революционного насилия, к террору, намечавшееся уже во взглядах Кюхельбекера 1820-х годов (но не помешавшее ему, однако, 14 декабря 1825 года стрелять во врагов восстания), складывается окончательно. Поэт анализирует в «Агасвере» характеры и деятельность вождей французской революции 1789 года и приходит к парадоксальному выводу, что все вожди-якобинцы, сторонники террора, были плохими людьми — лишенными благородства и честности, корыстными, взяточниками и т. д. Вновь поэт ищет «морального» объяснения исторических событий: если бы якобинцы были иными, они бы не проводили политики кровавого террора, и исход революции мог бы быть иным.

Положительные герои произведений Кюхельбекера — люди сильных и противоречивых характеров, вожди сложной по составу и трудноуправляемой народной силы. Проблема народа и вождя привлекала Кюхельбекера и раньше — она намечена уже в «Аргивянах» (в первой редакции Тимофан и Сатирос — два одинаково популярных в народе полководца, борющихся между собой; Тимолеон, несмотря на личную ненависть к Сатиросу, привлекает его к заговору именно в силу популярности того в народе). В трагедии «Прокофий Ляпунов» эта проблема явилась одной из центральных. В 1830—1840-е годы Кюхельбекер уже не мыслил себе исторического движения без народа. Роль дворянства рисовалась ему как роль вождя, защитника народа и полководца вольнолюбивой рати. Но самостоятельной роли в истории народу как вершителю своей судьбы Кюхельбекер еще не отводил.

Народ не способен сам решать свою судьбу, — его надо защищать; передовые люди, вожди, вышедшие из иного класса — дворянства, должны отдавать ему свои силы и жизнь. В этой точке зрения типичная ограниченность исторического мышления дворянского революционера. Не случайно не Ивана Болотникова, а дворянина Ляпунова Кюхельбекер избирает своим героем.

Прокофий Ляпунов, по Кюхельбекеру, организатор свержения царя Василия Шуйского и тем самым косвенный виновник второго нашествия поляков на Россию в начале XVII века, возглавляет русское войско, борющееся за освобождение русских земель и за возведение на престол нового царя, либо иноземного — шведа, либо русского, из числа знатнейших бояр. Власть царя должна быть ограничена Земской думой и Разбойным и Земским приказами, избранными «всей землей» и подотчетными в своих действиях народу:

А буде те бояре не учнут
По правде делать дел земских и ратных
И нам прямить не станут, вольно нам
За кривду их сменить и вместо их
Иных и лучших выбрать всей землею.

Такой устав составляет Прокофий Ляпунов. Кюхельбекер сознательно избирает временем действия своей трагедии период отсутствия на Руси царя, период правления (практически не осуществляемого, так как Москва занята поляками) Земской думы. И Прокофий Ляпунов, по Кюхельбекеру, — страстный защитник закона, ибо только строжайшее выполнение закона может оградить народ от притеснений и несправедливости. Таким образом, Кюхельбекер как бы переносит теоретические рассуждения декабристов о представительном образе правления, о святости закона (в противоположность произволу самодержца) в конкретно-исторические условия России «смутного времени» и создает окрашенный декабристским мировоззрением романтический характер борца за высшую справедливость. Соблюдение закона несет народу благо, нарушение закона — беды и разорение. Причем народ мыслится конкретно: это крестьяне, разоряемые непосильными поборами.

Меня пускай обидят! не взыщу.
Обидеть же присягу берегись,
Да берегись обидеть земледельцев
Несчастных, разоренных: я за них
Жестокий, непреклонный, грозный мститель, —

такова позиция Прокофия Ляпунова. Крестьяне активно действуют в трагедии; неоднократно упоминается в ней фамилия великого крестьянского вождя Болотникова; жалоба крестьян деревни Черные Грязи, названной так, по-видимому, вослед Радищеву, на притеснения казаков является основным моментом развития сюжета и решающим в судьбе главного героя, Прокофия Ляпунова. Вместе с тем народ показан не как мощная сила истории, а угнетенным и робким, ищущим защиты у сильного.

Знаменательно для политических взглядов Кюхельбекера изображение им казачьего схода — кола, рады. По сути дела это форма управления, близкая к идеализируемому декабристами новгородскому вечу. Но Кюхельбекер показывает казачью «вольницу» не со стороны ее демократических принципов, но со стороны практического их осуществления. Это анархическая сила, которой руководит произвол нескольких безграмотных и идущих на предательство старшин,

сводящих с помощью схода свои личные счеты с Ляпуновым. Вместе с тем Кюхельбекер не выражает полного недоверия народному правлению: дважды Прокофию удается договориться с казаками, т. е. в руках опытного вождя казачий сход становится справедливым органом власти. И даже в третий раз, когда Прокофий гибнет, — он гибнет от руки врагов, а не по решению рады. Больше того: Кюхельбекер выводит еще одного защитника справедливости и законов вольности — казака Чупа, который на раде требует дать Ляпунову слово, потому что «где коло, тут и слово: в коле судья или судимый — все равно, имеет слово», и когда Ляпунова и Ржевского закалывают, Чуп «хочет броситься на помощь погибающим, — его оттесняют». Следовательно, органы народного правления (рада, вече) должны быть руководимы мудрыми вождями, неуклонно, даже жертвуя своей жизнью, борющимися за соблюдение закона, — к такому выводу приводит читателя Кюхельбекер.

Итак, политические взгляды Кюхельбекера не укладываются в стройную систему, они сложны и противоречивы. Пессимистический вывод относительно судеб мировой цивилизации («Агасвер») говорит о незнании им пути изменения мира и строя, несправедливости и несовершенства которого он осознавал слишком хорошо и испытал на себе. Но внимательное и многостороннее изучение исторической роли русского народа говорит о пересмотре им идейных позиций декабризма и ставит Кюхельбекера в один ряд с крупнейшими писателями и мыслителями своего времени.

3

Литературное направление и стиль творчества поэтов-декабристов можно характеризовать с различных точек зрения. Некоторые исследователи считают первую четверть XIX века временем позднего расцвета русского классицизма, называя в числе его представителей Батюшкова, Гнедича, Катенина, Грибоедова, Рылеева, Кюхельбекера, Ф. Глинку и даже Пушкина. [1] Связь литературной позиции Кюхельбекера, определяемой как позиция «младшего архаиста», с высокими гражданскими жанрами XVIII века подчеркивал Ю. Н. Тынянов. [2] Однако большинство исследователей декабристов говорят об их литературной позиции как о сочетании романтизма

---

[1] См.: Ю. Г. Оксман, Наследие Пушкина и спорные вопросы генезиса критического реализма. — Сб. «Взаимосвязи и взаимодействие национальных литератур», М., 1961, с. 367.

[2] См.: Ю. Н. Тынянов, Архаисты и Пушкин. — «Архаисты и новаторы», Л., 1929, с. 187.

и классицизма.[1] Л. Я. Гинзбург в статье «О проблеме народности и личности в поэзии декабристов» уточняет эту точку зрения, говоря о классицизме просветительского толка, легшем в основу эстетической программы декабристов. По мнению исследователя, гораздо ближе, чем общеевропейский романтизм, декабристам были «просвещение, руссоизм, буря и натиск», вообще передовой сентиментализм, который, не порывая с просветительством, разрабатывал проблемы народности и отчасти историзма.[2] Романтизм в понимании декабристов отождествлялся с народностью и самобытностью литературы. Поэтика декабристов черпала в поэтической системе XVIII века свои изобразительные средства, заимствуя оттуда представление о высоких жанрах и высоком слоге с его славянизмами, «библеизмами», — так возникает гражданский «неоклассицизм» декабристов.

Все это справедливо. Однако выдвижение на первый план «архаистического», классицистического начала в декабристском романтизме не позволяет объяснить целый ряд особенностей конкретной творческой эволюции поэтов-декабристов. Например, определение позиции Кюхельбекера 1820-х годов как «неоклассической», восходящей к одической стихии русского XVIII века, не дает объяснения ярко выраженным романтическим началам творчества Кюхельбекера тех же 1820-х годов, скажем тому парадоксальному на первый взгляд факту, что изобразительные средства одической, высокой поэзии XVIII века применялись Кюхельбекером для создания ярко романтического, героического образа поэта-борца, поэта-гонимого, поэта-страдальца.

Поэтому для определения литературного направления и стиля творчества поэтов-декабристов представляется более точным и удобным термин *гражданский романтизм* или *революционный романтизм*, предложенный в свое время Г. А. Гуковским в статье «Стиль гражданского романтизма 1810-х гг. и творчество молодого Пушкина». Г. А. Гуковский писал о том, что он предлагает термин «гражданский романтизм», «поскольку эстетическая система его явственно опирается на идеи романтизма, идеи национального самоопределения народов, и поскольку тема личности, героически сильной, порывающей путы всяческого подавления и всяческих запретов, приобретает в нем характер культа свободы этой личности».[3]

---

[1] См.: В. Г. Базанов. Очерки декабристской литературы. Поэзия, М.—Л., 1961, с. 16.

[2] Сб. «О русском реализме XIX века и вопросах народности литературы», М.—Л., 1960, с. 57.

[3] Сб. «Пушкин — родоначальник новой русской литературы», М.—Л., 1941, с. 168. См. об этом также в книге Г. А. Гуковского «Пушкин и проблемы реалистического стиля», М., 1957.

Кюхельбекер начал творческий путь как ученик школы субъективно-психологического романтизма.

При анализе элементов литературного ученичества самое важное — определить избирательную способность ученика, потому что талантливый ученик выберет из имеющегося в литературе до него свое, близкое своей индивидуальности, а значит — определяющее в какой-то степени и его дальнейшее развитие.

Культ дружбы, прославление радости жизни, элегическое уныние по поводу «отлетающей младости», патриотическая гордость русскими победами в 1812 году — все эти темы характерны для лицейского творчества Пушкина и Дельвига, равно как и для творчества Кюхельбекера. Правда, у первых преобладают темы радости жизни, вина и любви, — у Кюхельбекера же нет любовной лирики, его радость, если можно так выразиться, более платоническая, и преобладают элегические, грустные размышления о жизни и смерти, о жизни как печальном пути к старости, об увядании окружающей его природы: «Шумная радость мертва; бытие в единой печали, В горькой любви, и в плаче живом, и в растерзанном сердце!» Он многократно использует темы ночи и ночного состояния человеческого духа, восходящие к божественным откровениям Клопштока и Юнга, широко известные в поэзии немецкого романтизма и в русской поэзии Ширинского-Шихматова, Боброва и других поэтов торжественно-космических тем. У Кюхельбекера ночь несет человеку предчувствие вечности, ночная тишина порождает таинственный голос «из дальней отчизны», голос ветра, облетавшего могильные урны («Memento mori»). В стихотворениях на эти темы изобразительные средства, как правило, лишены бытовой реальности и конкретности, призваны усугубить настроение ночной таинственности и призрачности: «повилика содроглась», «холод по мне пробежал», «жизнь обмирает во мне», свет месяца — «бледный, трепещущий». В соответствии с этим образ поэта литературно условен и восходит к поэзии немецкого романтизма: это Гений с «могущей душой, в чистом мечтаньи — дитя! Сердцем высше земли» («К Пушкину»), возносящийся над реальностью жизни и толпой (злодеями и глупцами), которые могут принести его чистой душе одни муки и беды. Не случайно именно в это время Кюхельбекер переводит из Виланда «Письмо к молодому поэту»,[1] содержащее то же самое романтическое противопоставление возвышенного поэта и реальной жизни.

Ученик Жуковского и Карамзина, Кюхельбекер не воспринял самого сильного, что было в изображении ими человеческой души, —

---

[1] «Сын отечества», 1819, № 45, с. 193—216; № 46, с. 262—269.

передачи переходных состояний человеческого чувства, когда «веселья нет еще и нет уже мученья» (Карамзин, «Меланхолия»), диалектика чувства придет в его поэзию позже, через проникнутую горечью раздвоения личности поэзию Баратынского 1820-х годов, — и Кюхельбекер изобразит человеческий дух, который «и наслажденья вечно жаждет, и в наслажденьи вечно страждет, и в пресыщении грустит» («Поэты»). Однако и в ранних стихах Кюхельбекера сквозь литературные штампы направления пробивается первое самостоятельное осмысление мира. Иногда это правда бытовой детали, — избранная еще в соответствии с условной темой элегической грусти об увядающей молодости: «Первый седой волосок, Тебя меж волос моих карых Ныне, ныне уже не ожидал я найти»; иногда попытка изображения своего лично индивидуального характера — своей вспыльчивости: «Так! легко мутит мгновенье мрачный ток моей крови...»; иногда некоторое сопротивление традиционным мотивам, например — слава любимому напитку кофе вместо общепринятого прославления вина.

В многочисленных кюхельбекеровских посланиях появляется характерная для жанра, детально осмысленная поэтом правда адресата.[1] Чаще всего это конкретный, названный в стихотворении и раскрытый психологически правдиво человек: Дельвиг, друг, поэт, с которым автор делился «тайными мыслями, верою сердца», «мудрец ленивый, беспечный»; Матюшкин, друг, отъезжающий в морское путешествие; брат Михаил, также отправляющийся в дорогу на дальний Север. Именно здесь, в послании конкретному лицу, появляется точная бытовая деталь в изображении объективного мира:

Бегут и суетятся слуги:
Могущей жилистой рукой
Здесь вяжет чемодан иной,
А там, в усердном недосуге,
Широкий плащ несет другой...

Но это — самое начало творческого пути Кюхельбекера.

В последние годы пребывания в Лицее и в первые послелицейские годы образ унылого поэта с детски чистой душой, стоящего вне жизни, уже перестает удовлетворять его. «И ждать живого вдохновенья от мертвой грусти берегись!» — говорит поэт в сти-

---

[1] Подробнее о жанре послания в 1800—1810-е годы см.: Л. Я. Гинзбург, Пушкин и реалистический метод в лирике. — «Русская литература», 1962, № 1, с. 29—30.

хотворении «К самому себе». Этот поворот не случаен, — он тесно связан со становлением свободолюбивого образа мыслей Кюхельбекера-гражданина. Для выражения формирующейся энергичной и деятельной личности человека-борца субъективно-психологический романтизм Жуковского, с его принципиальным уходом от общественно-политической темы, не годился. Однако поворот к новой, гражданской правде раскрытия индивидуальной личности происходил не как разрыв с романтизмом, но на основе романтизма и внутри его. К началу 1820-х годов в творчестве Кюхельбекера появляется новый тип человеческого характера — человек-герой, борющийся с врагами или со стихиями природы (витязь в «Надовесской похоронной песни», «дивный, дерзкий человек», покоряющий суровую северную природу, в стихотворении «К брату»). Поэт превращается в пророка, учителя мира, — и он «вещает» человечеству истину; «возвращает нас Природе», как Гомер; угрожает «власти тиранов», как Ювенал, и «славит копий бранный стук», как Оссиан («Поэты»). «Поэт некоторым образом перестает быть человеком: для него уже нет земного счастия... В одних бурях, в борьбе с неумолимою судьбою взор его проясняется и грудь дышит свободнее: жизнь и движение — вот его стихия! Он с радостию погибнет средь общего разрушения под гулом грома и при зареве пожаров, но не в состоянии без ропота доживать свой век среди мелких страстей и сплетней...»[1] Темы, достойные истинной поэзии, — это «тяжелая гроза страстей, вооруженная свобода, борьба народов и царей» («Прощание»). Поэтические средства выражения этих тем черпаются в том же источнике романтизма, но уже не в уныло-элегических, а в жизнеутверждающих антологических произведениях — Батюшкова прежде всего. Таким образом, с начала 1820-х годов поэтическое творчество Кюхельбекера все больше начинает обретать черты напряженно-ораторского, высокого стиля гражданского романтизма, стиля декабристской поэзии. В его творчестве периода заграничного путешествия и пребывания на Кавказе основной является тема европейских революций, в частности восставшей Греции; основное эмоциональное начало — призыв к борьбе, обращенный к оставшимся в России друзьям. Боевое, агитационное начало определяет весь стилистический строй поэзии Кюхельбекера этих лет, и прежде всего — обилие призывно-восклицательных, фанфарных интонаций: «...ты слышишь ли глас, Зовущий на битву, на подвиги нас? — Мой пламенный юноша, вспрянь! О друг, полетим на священную брань!» («К Туманскому»); «Друзья! нас ждут сыны Эллады! Кто

---

[1] «Мнемозина», ч. 4, М., 1825, с. 69—70.

даст нам крылья? полетим!» («К Румью!»). То же агитационно-призывное начало выражается в обилии действия-движения, переданного глагольными формами: века *шагают,* народы *проснулись, смотрят и встают,* час свободы *грянул,* друзья — *полетим,* горы — *сокройтесь,* судьба — *услышь и пошли* минуту битвы. Изображения сил зла почти нет; начала добра, революции названы с помощью характерных для декабристской поэзии словосочетаний, в которых эпитеты стали уже постоянными: *веселый* час свободы, *пламенный* или *сладостный* бой, *пламенный* юноша, *божественный* труд, *торжественный* день (революции). В противоположность революционному боевому началу, отказ от борьбы — это *убийственный* сон, *бесчестная, глухая, гробовая* тишина. Для пробуждения «жара» духовного используются поэтические средства, нагнетающие атмосферу «жара» и «пылания» почти физического: если в начале стихотворения «К Туманскому» эпитет «пламенный юноша» воспринимается лишь в своем переносном значении, то после перечисления: *кипит* веселая кровь, *пылает* любовь, *запылал* огонь в сердцах, *загорится* булат — слова о *зашипевшем* раскаленном свинце и о самой битве как о *сумрачном пламенном* пире воспринимаются почти как передача багрового цвета неба или крови одновременно с передачей мрачной торжественности и восторга сражающихся за свободу. Восторженное изображение революции приводит Кюхельбекера к социальной конкретизации зла как тирании, самовластья, выше которых поставлен поэт-пророк, поэт-судья, клеймящий тиранов (см. «Ермолову»). Однако чаще зло названо обобщенно: «черная Судьба», «Немезида», «перуны». Это шире, чем прежние «злодеи» и «глупцы», и даже шире, чем конкретно-политическое: «самовластье», — и в то же время абстрактнее, что должно соответствовать общему тону восторга и эмоционального напряжения, которым проникнута поэзия Кюхельбекера этих лет. «Дифирамбический восторг» высокого стиля гражданского романтизма отнюдь не означает обязательного оптимистического решения темы, — напротив, трагизм судьбы лирического героя усиливает эмоциональную напряженность стиха и его агитационно-ораторское воздействие. Чаще всего это трагизм судьбы гонимых и несчастных поэтов. Конкретные перечисления, вроде: «Того в пути безумие схватило... Томит другого дикое изгнанье; Мрут с голоду Камоенс и Костров; Шихматова бесчестит осмеянье...» («Участь поэтов»), — очень часты в поэзии Кюхельбекера. В соответствии с требованиями усиления «дифирамбического восторга» собственная индивидуальность Кюхельбекера-поэта раскрывается также только с одной своей стороны: высокий дух, героические порывы и гонения, несчастия, трагические случаи. Всякое

психологическое углубление и самораскрытие полностью отсутствует. Отсутствует и бытовая конкретность, и психологическая правда «простого» чувства, которое еще недавно (в середине 1810-х годов) Кюхельбекер считал основой поэзии.

«В поэзии слова есть род, приближающийся к земной обыкновенной жизни, к прозе изображений и чувств; писатели, посвятившие себя этому роду, бывают стихотворцами, но не поэтами; между ними есть таланты, но нет гениев. Они обыкновенно слишком славны между современниками, но умирают в течение веков»,[1] — писал Кюхельбекер в 1824 году. В целом ряде его стихотворений субъективный элемент, присутствующий в первоначальных редакциях 1810-х — начала 1820-х годов, безжалостно изгоняется при их доработке («Жребий поэта», «Закуп», «Пятая заповедь» и др.). Так личное, имеющее конкретный адрес стихотворение «К сестре» превращается в отвлеченную формулу, глубоко и ораторски сильно выраженную, — «Жребий поэта»: строфы, обращенные к сестре поэта, отбрасываются (см. др. ред., с. 581). Лирический герой теряет индивидуальные черты, заменяясь условным образом гонимого борца-поэта, и Кюхельбекер в 1822 году страшным пророчеством опережает свою участь:

А я — и в ссылке, и в темнице
Глагол господень возвещу:
О боже, я в твоей деснице! —

это писалось в Тифлисе в 1822 году, а кажется написанным узником Шлиссельбургской, Динабургской, Ревельской или Свеаборгской крепостей.

Лирическую поэзию этого направления Кюхельбекер называет «одой». При этом он против жанровых канонов классицизма — «условных правил» Аристотеля, Лапарга, Батте. Под его определение «оды» так же подходят думы Рылеева, как и религиозные псалмы Ф. Глинки и собственные стихотворения Кюхельбекера греческого или кавказского циклов. «Одами» в 1820 году называл Кюхельбекер любовные стихотворения Батюшкова, а через много лет, 3 января 1832 года, в дневнике он назовет «одой» главы пророка Исайи из Библии.

Итак, *ода* в понимании Кюхельбекера — это лирическое произведение, исполненное «дифирамбического восторга», «силы выражений», «выспренности» и «пламени» в прославлении или же в

---

[1] «Мнемозина», ч. 1, М., 1824, с. 64.

обличении. Это уточнение термина необходимо для понимания требований Кюхельбекера к поэзии, выраженных в его статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие».[1] В контексте этой статьи термин *ода* не есть обозначение жанра поэзии классицизма. Это определение гражданской направленности и высокого эмоционального строя лирического произведения, провозглашаемых сознательно как отказ от психологического самоанализа, свойственного элегической поэзии, т. е. как сознательное эмоционально-психологическое обеднение лирики за счет ее возвышения. Едва ли эту позицию можно назвать позицией возврата поэта-декабриста в прошлое поэтики классицизма XVIII века с ее рационализмом и строжайшими жанровыми канонами.

Однако эта литературная позиция гражданского романтизма середины 1820-х годов стояла в стороне от магистральной линии развития русской поэзии — движения к реализму в творчестве крупнейшего поэта времени, А. С. Пушкина. «Господина Онегина (иначе же нельзя его назвать) читал, — пишет Кюхельбекер В. Ф. Одоевскому 5 апреля 1825 года, — есть места живые, блистательные: но неужели это поэзия? Разговор с книгопродавцем в моих глазах не в пример выше всего остального».[2] С точки зрения декабристов, и Кюхельбекера в частности, «Евгений Онегин» был лишен основного, что считали они необходимым качеством лирической поэзии, — высоты и «пламенности» стиля, боевого, гражданского, агитационного начала, которое декабристы находили в других произведениях Пушкина, видимо признавая их «одами» в своеобразном, кюхельбекеровском понимании этого слова. К. Ф. Рылеев рассказывал в письме Пушкину от апреля 1825 года: «В субботу был я у Плетнева с Кюхельбекером и с братом твоим. Лев прочитал нам несколько новых твоих стихотворений. Они прелестны; особенно отрывки из Алкорана. Страшный суд ужасен! Стихи *И брат от брата побежит И сын от матери отпрянет* превосходны. После прочитаны были твои Цыгане. Можешь себе представить, что делалось с Кюхельбекером. Что за прелестный человек этот Кюхельбекер. Как он любит тебя! Как он молод и свеж».[3] Стихи Пушкина о страшном суде, которые так потрясли присутствующих, в том числе Кюхельбекера, — третье из «Подражаний Корану», о боге, карающем нечестивых за гордыню, что близко к гражданским темам Кюхельбекера.

---

[1] «Мнемозина», ч. 2, М., 1824, с. 29—44.
[2] «Русская старина», 1904, № 2, с. 380.
[3] А. С. Пушкин, Переписка, т. 1, СПб., 1906, с. 205.

Стиль «дифирамбического восторга», соединявший в себе силу эмоционального напряжения со значительной обедненностью психологического раскрытия духовного мира человека, по сравнению со стилем субъективно-психологического романтизма, нуждался в расширении и обогащении изобразительных средств. Поиски поэтов-декабристов шли прежде всего в области изучения богатств русского языка, русской народной поэзии. Кюхельбекер приветствует освобождение русского языка от «тяжелого строя немецкого и латинского языков», что сделало язык новейшей русской литературы ясным и гибким;[1] уже в 1820 году, в статье «Взгляд на текущую словесность», он выделяет из всей новейшей поэзии баллады Катенина — как «попытку сблизить наше нерусское стихотворство с богатою поэзиею русских народных песен, сказок и преданий — с поэзиею русских нравов и обычаев».[2] Он заботится о расширении типов стихотворных размеров, используемых русской поэзией, теоретически и практически доказывает возможность существования русского гекзаметра, на первое место выдвигает «размер наших народных песен и сказок, коего феорию так хорошо и ясно изложил г. Востоков в своем опыте о русском стихосложении», на второе место — «размер, заимствованный Ломоносовым у немцев», — силлабо-тонический с конечной рифмой, и допускает, наконец, силлабо-тонический размер без рифм, «подражание количественному размеру древних».[3] Борясь за очищение великого русского языка от «германических» форм, «навязанных» языку Ломоносовым, Кюхельбекер одновременно протестует против искусственного обеднения, облегчения языка литературы в 1820-е годы. «Из слова же русского богатого и мощного силятся извлечь небольшой, благопристойный, приторный, искусственно тощий, приспособленный *для немногих* язык, un petit jargon de coterie. Без пощады изгоняются из него все речения и обороты славянские и обогащают его архитравами, колоннами, баронами, траурами, германизмами, галлицизмами и барбаризмами».[4] Кюхельбекер требовал свободы использования всех языковых средств, пригодных для создания впечатления силы, напряженности, «разительности» стиха, в том числе и славянизмов, — в противоположность «вялому и бессильному» языку элегической поэзии. Слог поэта хорош тогда, когда «ознаменован истинным вдохновением, и по сему самому мощен, живописен, разителен; а в красноречии — когда будет истинно увлекателен; что же касается до слов,

---

[1] «Литературное наследство», т. 59, с. 374—375.
[2] «Невский зритель», 1820, февраль, с. 113.
[3] Там же, с. 112.
[4] «Мнемозина», ч. 2, с. 38.

употребляемых писателем, мы не станем различать, новые ли они или древние, гражданские ли или церковные, но в точности ли выражают мысль автора и употреблены ли кстати... Не употреблять в оде, в поэме, в высокой лирической или даже описательной поэзии славянских выражений считаем столь же странным, как употреблять оные в комедии, в легком послании, в песенке или прозаической по содержанию и духу повести, хотя бы она и была в стихах и даже писана лирическими строфами».[1] Итак, славянизмы, по мнению Кюхельбекера, способны усилить и возвысить слог поэзии. Но представители высокого стиля гражданского романтизма настойчиво протестуют против отождествления их позиции с позицией классиков XVIII века и их эпигонов. Характерно в этом отношении высказывание Катенина: «Напрасно силятся защитники нового слога беспрестанно смешивать в своих нападениях и оборонах высокий слог любителей церковных книг с обветшалым слогом многих из наших сочинителей, которые, напротив, держались одинаких с новыми правил и только оттого не совсем на них похожи, что разговорный язык в скорое время переменился».[2]

В статье-обозрении «Минувшего 1824 года военные, ученые и политические достопримечательные события в области российской словесности» Кюхельбекер предлагает свое деление и свою терминологию деления литературных сил в поэзии. Все литераторы делятся в статье на «классиков» и «романтиков», «равно образовавшихся» в школе Карамзина и в школе «славян». При этом в «классики» попадают литературные староверы-догматики: Каченовский, Мерзляков, М. Дмитриев и А. Измайлов — у «карамзинистов»; Шишков и Шихматов — у «славян». «Романтики» — Жуковский, Пушкин, Вяземский у «карамзинистов»; Катенин, Грибоедов, Шаховской и Кюхельбекер — у «славян».[3]

Так определяется лагерь литературных единомышленников Кюхельбекера; при всех внутренних различиях это «романтики» обеих школ. Переход Кюхельбекера в начале 1820-х годов на позиции романтиков-«славян» (с позиций романтиков-«карамзинистов») вызвал поначалу протест и насмешку его друзей — Пушкина, Туманского, Дельвига. «Читал стихи и прозу Кюхельбекера, — писал А. С. Пушкин брату Льву 4 сентября 1822 года, — что за чудак! Только в его голову могла войти жидовская мысль воспевать Грецию, великолеп-

---

[1] «Сын отечества», 1825, № 15, с. 263—264.

[2] П. А. Катенин, Письма к Н. И. Бахтину, СПб., 1911, с. 48.

[3] «Литературные портфели. Время Пушкина», Пг., 1923, с. 72—75.

ную, классическую, поэтическую Грецию, Грецию, где все дышит мифологией и героизмом, — славяно-русскими стихами, целиком взятыми из Иеремии. Что бы сказал Гомер и Пиндар? — но что говорят Дельвиг и Баратынский?»[1] Однако даже в самый острый период протестов и насмешек противники новообращенного «славянина» не смешивали его позиции с позицией сторонников классицизма. Несогласие с выбором поэтических средств, с новым поэтическим арсеналом Кюхельбекера было, если можно так выразиться, несогласием тактическим внутри единого лагеря русского романтизма первой половины 1820-х годов (вспомним, что сам Пушкин считал себя представителем истинного романтизма, свою трагедию «Борис Годунов» — романтической трагедией). Именно поэтому не должно казаться странным, что Пушкин с огромным вниманием изучает критические и теоретические статьи Кюхельбекера о романтизме, хотя и возражает ему постоянно с позиций своего формирующегося реалистического метода. Поэтому не должно казаться странным, что к 1823 году относится сближение Кюхельбекера с крайним противником классицизма, шишковистов и «Беседы» — князем Вяземским, причем последний приходит в восторг от трагедии Кюхельбекера, написанной на материале Корана, и от его «славянских» лирических стихотворений. Кюхельбекер посвящает Вяземскому одно из самых пылких и вольнолюбивых своих стихотворений 1820-х годов, которым открывает вписанный в альбом Вяземского свой революционный «греческий цикл». Жуковскому и Байрону Кюхельбекер посвящает написанную в 1822—1823 годах поэму «Кассандра». И, наконец, в творчестве Кюхельбекера и Пушкина, при очевидном неравенстве дарований, можно найти в середине 1820-х годов целый ряд точек соприкосновения, свидетельствующих о взаимовлиянии. Неоднократно отмечалась исследователями близость кюхельбекеровского стихотворения «Рогдаевы псы», написанного по типу «дум» Рылеева, к пушкинской «Песни о вещем Олеге» (строфа «Но витязь ласкает и треплет коня. . .»). Это же произведение содержит многочисленные реминисценции из «Руслана и Людмилы», любимого пушкинского произведения Кюхельбекера (от имени и характера героя — витязя Рогдая — до отдельных строк: «Разбойник, догнать себя дай! Сорву с тебя голову. . .», — ср. у Пушкина: «Презренный, дай себя догнать, Дай голову с тебя сорвать!» и т. д.). Имеется и обратная зависимость, — сравним хотя бы стихотворение Кюхельбекера «Пророчество» 1822 года с пушкинским «Пророком» 1826 года:

---

[1] А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в 10-ти томах, т. 10, М., 1958, с. 43—44.

Кюхельбекер: Глагол господень был ко мне
За цепью гор на бреге Кира:
«Ты дни влачишь в мертвящем сне,
В объятьях леностного мира:
На то ль тебе я пламень дал
И силу воздвигать народы? —
Восстань, певец, пророк Свободы!
Вспрянь, возвести, что я вещал!»

Пушкин: И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей». [1]

Уже эта близость Кюхельбекера, «романтика-славянина», по его терминологии, к «романтикам-карамзинистам» говорит о том, что выделение им в один лагерь четырех «романтиков-славян» — Катенина, Грибоедова, Шаховского и Кюхельбекера — было в достаточной мере условным. Единство этих поэтов — в утверждении важности высоких, гражданских тем в литературе, в выборе средств выражения для них (использование славянизмов, «библеизмов» и т. д.) и в увлечении драматическим родом поэзии прежде всего. Последнее очень важно. Саму эту классификацию Кюхельбекер дал именно тогда, когда работал над высокой гражданской трагедией «Аргивяне», поклонялся трагику В. Каратыгину и добивался через последнего постановки на сцене своей комедии «Шекспировы духи». Различий между Кюхельбекером и остальными поэтами лагеря «романтиков-славян» гораздо больше. Прежде всего Кюхельбекер — поэт-лирик, создавший в своей поэзии романтический образ борца с трагической судьбой. Субъективно-романтическое, в известном смысле «байроническое» начало выделяет поэзию Кюхельбекера из лагеря «славян-романтиков».

Драматургия Кюхельбекера 1820-х годов также имеет свои резко индивидуальные черты.

И Катенин и Шаховской в своей творческой практике были теснее связаны с классицизмом, чем Кюхельбекер. Заслуга Катенина

---

[1] Оба поэта настолько далеко отошли от своего библейского источника (VI глава книги пророка Исайи), что почти текстуальное совпадение обоих стихотворений, при том что Пушкину безусловно было известно «Пророчество» Кюхельбекера, вполне может быть расценено как факт сознательного обращения Пушкина к арсеналу поэтических средств «славянина» Кюхельбекера.

в его трагедии «Андромаха» — в умении правдиво и ярко передать человеческие чувства и страсти; заслуга Кюхельбекера в «Аргивянах» — в попытке нарисовать человеческие характеры, не сводящиеся к традиционно-классическому противоречию чувства и долга.

Таковы основные особенности творческой индивидуальности Кюхельбекера до 1825 года.

Лирическая поэзия Кюхельбекера периода заточения и ссылки (1826—1846) в основных своих чертах сохраняет особенности поэзии стиля «гражданского романтизма». Отрыв от духовной жизни и исканий передового общества после 1826 года привел к тому, что в поэзии Кюхельбекера 1830—1840-х годов осталось прежним, восходящим к первой половине 1820-х годов представление о том, что именно в реальном окружающем мире и в человеческой душе достойно стать объектом лирического стихотворения. В результате центральная тема раннего творчества Кюхельбекера — тема поэта-узника, поэта гонимого — почти не меняется с изменением его судьбы. Поэт иногда говорит о себе даже в третьем лице, что должно подчеркивать отвлеченность от субъективного, условность образа. Он рассказывает о любви узника, о луне за окном темницы, о клене перед окном, и все это не открытия новых поэтических реальностей, но то, что мы уже знаем из поэзии Байрона, Жуковского, Пушкина. Даже описание железных кандалов, в которые действительно был закован Кюхельбекер какое-то время, дается в таком романтическом контексте, что сами оковы воспринимаются как некий символ, а не реальность:

И вы, мечты, вы, призраки златые,
Не позлатить железных вам оков!

В соответствии с поэтической традицией 1820-х годов, в поздней лирике Кюхельбекера по-прежнему занимает центральное место тема дружества, жанр дружеского послания. Вновь лишь в этом традиционном жанре у Кюхельбекера появляется точная деталь. И опять это не столько правда рассказа о себе, сколько реальность судеб друзей («Памяти Грибоедова», «Племяннику Д. Г. Глинке», «К Виктору Уго», «19 октября 1836 года» и др.). Именно в этой области поэт в последний период своего творчества, уже в Сибири, поднимается до высочайших поэтических обобщений, создает как бы формулу декабризма: «Лицейские, ермоловцы, поэты, товарищи...» («На смерть Якубовича»).

Однако была одна тема, в которой индивидуальность поэта раскрылась глубоко и субъективно-неповторимо и в 1830-е годы: это тема поэзии, поэтического вдохновения. Для узника одиночной

камеры литература, его глубокая убежденность в своем таланте и призвании поэта были единственной нитью, привязывающей его к жизни. Любое сомнение в этом своем призвании было для него мучительным. Любая неудача, ослабление способности и потребности творить воспринималась как величайшая трагедия всей жизни. И тогда он впадал в глубочайшую тоску — и писал «пламенные», исполненные чувства и искренности лирические строки.

После освобождения из тюрьмы к боязни утраты вдохновения прибавились ненависть и отвращение к повседневным мелким хозяйственным заботам, нахлынувшим на поэта в Сибири и убивающим «златую мечту» вдохновенья, — характерно, что только этой ненавистью и отвращением и запечатлелась в творчестве поэта реальность его жизни в Сибири:

...бледные заботы,
И грязный труд, и вопль глухой нужды,
И визг детей, и стук тупой работы
Перекричали песнь златой мечты...

Сибирь и его новый быт не стали для Кюхельбекера источником вдохновения, как это было, например, с Баратынским в Финляндии или с Федором Глинкой в Карелии. Да этого, по-видимому, и не могло быть: слишком неравны были их судьбы, слишком тяжел был переход для дворянина, поэта, романтичного чудака и мыслителя, «кому рукоплескал когда-то град надменный» Париж, — к необходимости пахать землю, сушить мох для постройки дома, искать за несколько верст заблудившегося быка — и все это для того, чтобы прокормить себя и семью. Но этот факт имеет и ряд других объяснений, не столь заземленных, коренящихся в эстетическом идеале поэтов гражданского романтизма. «Дифирамбический восторг», эмоциональная напряженность, высокий гражданский пафос, являющиеся стилистической основой декабристской поэзии, опирались на глубокую веру декабристов в положительный идеал, героический, действенный, революционный. Утрата этого положительного идеала, потеря веры в него лишала стиль «гражданского романтизма» политической, морально-психологической и эстетической опоры. Стать поэтом-реалистом, постичь социальные закономерности исторического процесса Кюхельбекер не смог. Поэтому его лирическая поэзия искала прежние опорные темы: дружбы и дружеского круга, бога и надежды на высшую справедливость.

С годами лирические стихотворения в творчестве Кюхельбекера занимают все меньшее место.

Однако несмотря на известную ограниченность эстетических позиций Кюхельбекера, выход его в 1830—1840-е годы за рамки прежней общественно-политической программы декабризма сказался и на его литературном творчестве. Не только высокое и прекрасное, но живая жизнь во всех ее проявлениях, в том числе уродливых, отвратительных, преступных, начинает интересовать поэта. Он пытается выйти за пределы своей личности в объективный мир народных преданий и простонародной жизни (баллада «Кудеяр», сказка «Пахом Степанов»), пытается создать разнообразные человеческие характеры, — эти попытки претворены в жизнь в огромном количестве поэм и драм, над которыми Кюхельбекер работал с 1820-х годов до последних дней жизни.

4

Первая поэма Кюхельбекера «Кассандра» написана в 1822—1823 году. Она создана в период перехода Кюхельбекера к высокому стилю гражданского романтизма от субъективно-психологического романтизма Жуковского, период отказа от унылого элегизма и обостренного интереса к борющейся, могучей личности в поэзии Шиллера — Байрона. Открывает поэму романтический образ Гения — Байрона, который привлекает Кюхельбекера предельной полнотой своей свободы:

И, своенравен, смел и страстен,
Отверг оковы и закон,
Лишь над собой одним не властен;
Он дик и в горесть погружен;
Поет Гаура и Манфреда,
И трепет душ его победа!

Образ античной пророчицы Кассандры романтизирован: это прорицательница бедствий, ужас перед которыми разрывает ее душу, приносит ей скорбь и мучения, он — «источник дикого страданья». Это страдание изображено в поэме в виде предельного, крайне эмоционального состояния, чему подчинен и подбор выразительных средств: «потухающие очи», «лейтесь, вопли», «плач отчаянный», «неутешный, возрыдай», «мучительное жало», терзающее «вещие перси» и т. д. Все это вместе вновь, как и в лирике Кюхельбекера, сливается в стиль «дифирамбического восторга». Так, рассказ-прорицание Кассандры о смерти Агамемнона, умерщвленного своей супругой Клитемнестрой, построен на сочетании контрастов — край-

него ужаса и крайних восторженно-восклицательных интонаций: «согнившие кости», «одежда червей и змей», «отца поил кровью детей», «дымящийся кровью чертог» — с одной стороны и, с другой, постоянный рефрен брачной песни «Гимен! о Гимен! о бог Гименей», призыв: «Приди, раздели мое ложе!», «торжественный праздничный дом» и т. д. Типично для романтической поэмы и ее сюжетное построение: рассказ Кассандры о своих терзаниях, предсказание собственной гибели — и безбоязненная, даже радостная решимость подчиниться судьбе: «В даль на вихрях полечу Встретить раннюю кончину!»

Однако дальнейшие поиски и опыты Кюхельбекера в области жанра поэмы идут в ином направлении. В статье 1825 года «Разбор поэмы князя Шихматова „Петр Великий"» Кюхельбекер дает классификацию двух типов поэм «эпико-лирических». Первый восходит к испанскому романсу, английской балладе и некоторым поэмам Байрона, это тип, «принимающий время минувшее за настоящее и говорящий о событиях в отношении к чувствам Поэта, присутствующего душою при их постепенном появлении, поражаемого ими, так сказать, в то самое мгновение, когда вещает об них». К этому типу относится «Кассандра». Второй — восходит к греческим гимнам, где «время минувшее остается минувшим, а события и с ними чувства поэта излагаются во славу главного лица, для возбуждения к нему в внимающем народе благодарности, удивления, благоговения».[1] Кюхельбекера привлекает второй тип поэмы, позволяющий дать широкое историческое или этнографическое полотно, выйти за рамки своей индивидуальной личности, создать объективные и разнообразные характеры. В 1822 году Кюхельбекер начинает работу над поэмой о Грибоедове, детально воссоздавая в ней «местный колорит» Кавказа. Новым в этой поэме является и создание образа рассказчика — персиянина Абаза, друга Грибоедова и его наставника в области изучения Востока. Кюхельбекер пытается передать в своем отрывке ви́дение мира старика персиянина, отбирая соответствующие черты в изображении людей, предметов и событий: Грибоедов в толпе мусульман — «младой гаур», Россия — «земля полуночная и снежная», Петербург — «столица славы и тумана», земляки Грибоедова — «суровые», книги восточных пророков дают «жизнь и счастие векам».

В то же время Кюхельбекер категорически отбрасывает стесняющие свободу поэмы классические нормы, его идеал — исторические хроники Шекспира, «Книга царств» Фирдоуси и, в сознании Кюхельбекера стоящие очень высоко, поэмы князя Шихматова.

---

[1] «Сын отечества», 1825, № 15, с. 258—259.

В конце 1820-х годов, в крепости, Кюхельбекер обращается к огромному эпическому замыслу — создать поэму о всей жизни библейского царя Давида от рождения до восхождения на царство. Замысел поэмы тесно связан с общественно-политическими взглядами Кюхельбекера после 14 декабря 1825 года, с его размышлениями о сущности царской власти, пути к ней через договор, через приглашение народа и о возможности «доброго» и справедливого царя, ниспосланного богом. Это обширное эпическое полотно, рисующее быт, нравы, обычаи древнееврейского народа, его труд, систему землепользования, взаимоотношение с царем, воинские подвиги. Однако это не гомеровский эпический замысел. Гомеровский эпос понимается Кюхельбекером как полная скрытность в произведении авторских оценок, полное перевоплощение автора в своих героев, постижение им мировоззрения, нравов и быта изображаемого им времени и народа.

Гомер подвергается критике Кюхельбекера — с позиций романтика, желающего, чтобы одновременно с эпической широтой и исторической достоверностью описания в поэме содержалось раскрытие «святилища сердца». В этом смысле его гораздо больше устраивает позиция поэтов итальянского Возрождения — первых истинных романтиков, по мнению поэтов русского романтизма. Читая в 1830-е годы статью В. К. Бриммера «Об истинном и ложном романтизме», Кюхельбекер записывает: «Вот замечание очень справедливое: «Кто не испытал, что творения Петрарки заставляют читателя погрузиться в самого себя, исследовать свое сердце, разобрать свои идеи etc. — Случается ли это при чтении Гомера или Софокла? — Гомер, кажется, так занимает внимание наше беспрестанным описанием битв и характерами своих героев, что нам не остается времени подумать о себе. Софокл заставляет нас трепетать перед неизбежным роком, и мы напрасно желаем хотя когда-нибудь войти в святилище сердца».[1] Решение проблемы построения эпической поэмы, которая бы «заставляла читателя погрузиться в самого себя, исследовать свое сердце», найдено Кюхельбекером в поэме «Давид» как сочетание эпически объективного повествования с романтизированными образами двух центральных героев поэмы — Давида и автора, лирического «я». Как это ни парадоксально, именно в поэме, а не в лирических стихотворениях, в лирических отступлениях эпического повествования с библейским сюжетом поэт сумел сказать о себе самое сокровенное, сумел передать самые тонкие движения своей души. 20 октября 1830 года он писал о поэме «Давид» А. С. Пушкину, что

---

[1] Дневник В. К. Кюхельбекера, Л., 1929, с. 166.

это «частная, личная исповедь всего того, что́ меня в пять лет моего заточения волновало, утешало, мучило, обманывало, ссорило и мирило с самим собою».[1]

Поэма «Давид» состоит из десяти песней, или книг, и эпилога и содержит последовательное изложение судьбы маленького пастушка Давида, ставшего прославленным псалмопевцем, воином и царем. Изложение событий ведется плавно и замедленно, развернутыми сюжетными картинами, со множеством действующих лиц, обширными батальными сценами, вставными рассказами героев и вставными псалмами. И при этом треть всей поэмы — это разговор автора о себе по поводу тех или иных коллизий в судьбе героев. Такое построение поэмы было современным, идущим вослед «Евгению Онегину» Пушкина и поэмам Байрона и в то же время основывалось на традициях жанра, восходящих к законам поэмы классицизма. Классическая поэма почти всегда открывалась вступлением, где автор обращался к богу с просьбой благословить великий труд, или к царю, которому посвящался труд, или, наконец, к вдохновению, как например «Россияда» Хераскова. Однако после того как вступление сделано, автор исчезал уже до конца поэмы. Кюхельбекер поступает иначе: автор в его «Давиде» присутствует постоянно, возникая при каждом сюжетном повороте, при каждом изменении состояния духа Давида и других героев. В годы, предшествующие событиям 14 декабря 1825 года, образ Давида был одним из любимых образов в творчестве поэтов, близких декабристам (напр., «Арфа Давида» Н. Гнедича или «Давид» А. Грибоедова). И всегда это образ прославленного царя-героя. Поэма Кюхельбекера, произведение декабристской поэзии после 14 декабря 1825 года, рисует Давида страдающим, мятущимся и гонимым. Вся огромная поэма Кюхельбекера посвящена рассказу о преодолении Давидом разных бед, испытаний и невзгод; о победах же его говорится как бы мимоходом в нескольких строках. Так, в течение первой и второй книг поэмы Давид только успел доехать до столицы царя Саула; в третьей книге о его торжестве в качестве песнопевца сказано буквально следующее:

Игрою вещих струн сын Иессеев
Не долго услаждал Саулов слух;
Не долго усмирял царя евреев
Свирепой скорбию теснимый дух:
Война!..

---

[1] А. С. Пушкин, Переписка, т. 2, СПб., 1908, с. 180.

И Давид отправлен в дом отца. В пятой книге Давид побеждает Голиафа, но едва он успел псалмом прославить бога, давшего ему победу, как царь Саул, опасаясь популярности юноши и его посягательств на власть, решает убить его. Сцена счастья Давида с любимой женой Мельхолой также обрывается бедой: Давид должен спасаться бегством (лирическая параллель автора: «Суров и горек черствый хлеб изгнанья... Не так ли я...» и т. д.). И даже в торжестве славы в десятой книге Давид печален и горюет по царю Саулу и по своему погибшему другу Ионафану (книга писалась после гибели Грибоедова). Облик Давида, таким образом, как бы вобрал в себя судьбу и переживания декабриста Кюхельбекера. Поэтому так естественно и легко переходит автор от рассказа о Давиде к рассказу о себе самом, который всегда дается в поэме как сюжетная или психологическая параллель.

Так, в первой, вступительной главе поэмы говорится о посещении старца Иессея пророком Самуилом, который предрекает его сыну Давиду великую судьбу и совершает помазание его на царство. Это наиболее важная сюжетно часть главы, и к ней дается психологическая параллель — автор тоже как бы помазан на великий труд создания поэмы, колеблется и сомневается в успехе и своих силах. Так вводится заветная кюхельбекеровская тема — о вере и неверии в свой талант поэта:

Быть может, подвиг мой — высокомерье,
Огонь и дар мой, может быть, — мечта!
Паду — и посмеется мне безверье,
Посвищут мне надменные уста...

После лирического отступления о муках совести и «огромных призра́ках», которые «борют» душу поэта, вновь следует психологический повтор: рассказ о мучениях души царя Саула. Асаил, родственник Давида, с радостью видит их общий родной город Вифлеем, — у автора рождается мысль о себе: «Меня же не увидишь, Авинора...» и т. д. При этом характерно, что повествование о библейских событиях выдержано в сгущенно архаистическом стиле, с большим количеством славянизмов в самых казалось бы «реалистических» бытовых сценах. Речь же автора о себе почти лишена архаистического колорита, но выдержана в напряженном стиле «исступления», «дифирамбического восторга» оды (в кюхельбекеровском значении этого слова). Кюхельбекер убежден, что в своей поэме он продолжает дело романтиков лагеря «славян», наибольшее число точек соприкосновения он находит у себя с Катениным, самым «на-

родным», по его мнению, русским поэтом. 7 января 1833 года Кюхельбекер записывает в дневнике: «„Мир поэта“ Катенина одно из самых лучших лирических творений, какие только имеем на русском языке... Эпизоду «Руфь» я подражал, однако же без намерения, в первой песни своего «Давида», а где Катенин говорит о Давиде, мы встретились почти слово в слово. Вот два стиха Катенина, которые у меня почти повторены:

Царь, пастырь, воин и певец
Весь жизни цвет собрал в себе едином».[1]

Но и в жанре поэмы, как и в лирике и драматургии, Кюхельбекер занимает в лагере «романтиков-славян» особое место. «Мир поэта» Катенина — это в конечном итоге не поэма, а развернутая классическая ода, написанная по типу од Державина и Мерзлякова (полет духа поэта над миром через века и страны для обзора ступеней мировой цивилизации). С поэмой Кюхельбекера она соприкасается лишь в одном сюжетном эпизоде — истории замужества Руфи — и в оценке роли Давида.

Все дальнейшие поэмы Кюхельбекера 1830—1840-х годов лишены автобиографического, субъективного начала (за исключением посвящений и эпилогов). Это исторические повествования «Зоровавель» и «Семь спящих отроков», основанные на библейских легендах, «Юрий и Ксения» — древнерусское предание, изложенное с соблюдением духа и размера простонародной поэзии; «Агасвер» — обширное историческое полотно, охватывающее все наиболее важные, по мнению Кюхельбекера, события мировой истории от распятия Христа — до конца мира и страшного суда. Главная задача, которую ставит перед собой Кюхельбекер в этих произведениях, — передача духа того или иного народа, создание правдивых и разнообразных человеческих характеров. Отказ от авторского «я» ведет к возникновению обширной галереи рассказчиков, один рассказ вводится в другой. Так, в «Зоровавеле» это, во-первых, юный поэт — автор, один из собеседников, героев «Русского Декамерона 1831 года», читающий друзьям свою поэму; во-вторых, уже в самой поэме — рассказчик-перс, участник русско-турецкой войны 1829 года, повествующий о царе Дарии (Даре) и трех его рабах, греке, персе и еврее, каждый из которых тоже является рассказчиком — участником словесного состязания. Еврей Зоровавель побеждает в состязании и в виде награды просит Дару вернуть свободу еврейскому народу, отказываясь от дружбы царя и высоких почестей «судии судей»:

---

[1] Дневник В. К. Кюхельбекера, с. 86—87.

Тогда и юношу не мог
Владыки удержать чертог:
Он стряс с себя златые узы
Честей и славы, скор и смел...[1]

Центральной темой и в этой исторической поэме становится тема тоски по свободе и освобождения от уз рабства, тема органичная для творчества и мировоззрения декабриста-узника.

В поэме «Юрий и Ксения» романтизированный облик Древней Руси со сценами гаданий, предсказаниями, ведьмой и т. д. напоминает простонародные баллады Катенина и Пушкина, а также романтизацию русской старины в творчестве поэтов-декабристов и в декабристской прозе («Страшное гаданье» Марлинского). Однако здесь имеется и ярко выраженная новая черта: Кюхельбекер наделяет своего героя, боярина Юрия, острым чувством социального неравенства. Юрий любит дочь «простого церковника» Елисея (образ последнего близок образу пушкинского Мельника в «Русалке»), но понимает, что это любовь к девушке, стоящей на низшей социальной ступени, и что она может быть осмеяна.

Слог поэмы Кюхельбекера «Юрий и Ксения» во многом теряет патетическую напряженность, приближаясь к слогу сказок А. С. Пушкина. Кюхельбекер сам заметил это нежелательное для него сходство с пушкинским стихом и объяснил его тем, что его «сбили» «на пушкинский лад» четырехстопные стихи (ямб).[2] Однако причины сближения творческих путей Кюхельбекера и Пушкина не только в размере, но и в стремлении обоих поэтов постичь дух русского народа, его предания, национальный характер. Нельзя отождествлять позиции и поиски в этом направлении реалиста Пушкина и романтика Кюхельбекера, — но этот факт отчетливо показывает, что русский романтизм с его культом национальной самобытности и национальной культуры был необходимым и прогрессивным этапом на пути к реализму, к народности. В соответствии с недооценкой Кюхельбекером активной, действенной роли русского народа он подчеркивает и в героях поэмы «Юрий и Ксения» смирение, отсутствие протеста против произвола князя, нежелание защитить себя силой. Кюхельбекеровские оскорбленные герои идут в монастырь; Пушкин рисует народного вождя Пугачева. В этом разница понимания народа двумя поэтами.

---

[1] В ранней редакции было: «Он стряс с себя златые узы, как узы рабства, бодр и смел...»

[2] Дневник В. К. Кюхельбекера, с. 88—89.

Близка по стилю к поэме «Юрий и Ксения» посвященная А. С. Пушкину поэма Кюхельбекера «Сирота» (1833). Здесь, в посвящении, поэт вновь заявляет о своем пути, отличном от пути Пушкина, — но на этот раз это отличие крайне знаменательно: Пушкин — «избранный», «пример и вождь певцов младых», «доблестный орел». Сам же Кюхельбекер отказывается от этой роли «орла», пламенного стихотворца: творение поэта — «смиренный цвет». Это уже не позиция «дифирамбического восторга» и напряженно-эмоционального строя. Исследователями многократно указывалось, что эта поэма Кюхельбекера создана под воздействием бытописательных поэм английского поэта Крабба. Кюхельбекер записывает в дневнике свои впечатления от чтения поэм Крабба: автор «остер, опытен, знает сердце человеческое, много видал, многому научился, совершенно познакомился с прозаическою стороною нашего подлунного мира и между тем умеет одевать ее в поэтическую одежду, сверх того он мастер рассказывать...».[1] Вспомним эстетическую программу Кюхельбекера 1820-х годов, его резкие протесты против изображения «прозаической стороны» жизни, обыкновенных, не высоких человеческих чувств, — программу, за пределы которой он не вышел в своей лирике и в 30—40-е годы. Очевидно, что в применении к иным жанрам, к поэме в частности, его эстетические требования изменились в сторону интереса к быту, к чувствам простого человека. В этом отношении поиски Кюхельбекера целиком лежат в русле общего развития русской литературы 1830-х годов — вспомним прежде всего «Медный всадник» и «Домик в Коломне» Пушкина. Поэма Кюхельбекера — это детальное, сочувственное описание повседневного быта провинциального мещанства, небогатого дворянства, чиновничества. Его герои — аптекарь и аптекарша, отставной гусар и его жена, чиновники, священник, слуги. Несчастья героя поэмы в основном физические: голод, нищета, побои, оскорбления. В соответствии с этим стиль поэмы — подчеркнуто разговорно-бытовой, сентиментальный, долженствующий вызвать сострадание и сочувствие к бедам маленького человека. Сентиментально-трогательна и развязка поэмы:

Приехал вечером мой избавитель
И взял меня. Он, счастливый родитель
Детей прекрасных, счастливый супруг,

---

[1] Дневник В. К. Кюхельбекера от 21 декабря 1832 года. — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР, ф. 265, оп. 1, ед. хр. 18.

Меня, одев получше, ввел в их круг.
«Вот братец вам»...

Однако при всем бытовом правдоподобии и эту поэму Кюхельбекера нельзя назвать реалистическим произведением. Несчастья героя показаны в ней не как типичные для данной социальной среды, а как результат сочетания случайных обстоятельств: женитьба старого отца на молодой легкомысленной женщине, матери героя, встреча ребенка со злодеем, опустившимся пьяницей Чудодеем, превратившим мальчика в слугу, и т. д. Не случайно поэма писалась в крепости, по литературным источникам, а не в Сибири, по живым впечатлениям: реальный быт, реальные бедность и невежество народа, с которыми столкнулся поэт в Сибири, не вошли в его поэзию и не послужили темой для эпических полотен.

5

Стихотворная драма занимает в творчестве Кюхельбекера столь же важное место, как лирика и поэмы. О драматургии декабристов чаще, чем об их лирике и поэмах, высказывалось суждение, что в своих трагедиях они стремились к возрождению классицизма на русской сцене. Однако эта точка зрения не позволяла объяснить многие литературные оценки и связи 1820-х годов.

Почему Пушкин, которого никак нельзя заподозрить в стремлении к возрождению классицизма, так высоко ценит «Андромаху» Катенина? Почему Кюхельбекер, восхищаясь французскими драматургами Расином, Корнелем, Мольером, с сожалением отмечает, что они угождали «условным правилам» Аристотеля, Лагарпа, Батте? Как объяснить факт тесного сотрудничества А. С. Грибоедова одновременно с «классиками» Катениным, Шаховским, Хмельницким — и с крайним «арзамасцем» Вяземским? Число этих вопросов можно значительно увеличить. По-видимому, ключ к их решению лежит в установлении, какие именно средства драматургии и театра классицизма и для каких целей использовали декабристы в своем творчестве. Т. М. Родина писала о Катенине, что он «стремился заставить служить средства классицизма целям романтического театра».[1] Для Кюхельбекера это характерно еще в большей степени, чем для остальных драматургов «славян-романтиков». Даже больше: Кю-

[1] Т. Родина, Русское театральное искусство в начале XIX века, М., 1961, с. 268.

хельбекер стремился освободить трагедию от стесняющих законов классицизма, превращая ее в произведение гражданского романтизма, ораторский и патетический стиль которого напоминает все те же «оды» (в кюхельбекеровском значении этого слова). Если для Катенина героем театра был «человек в действии», основой развития сюжета было развитие интриги, а задача автора сводилась к тому, чтобы «пружины сего действия» изобразить верно, а страсти — сильно и горячо, то, по мнению Кюхельбекера, уже не интрига, роль которой была столь важна в классической трагедии XVIII века, так как она подчиняла себе действия героев, а характеры и их психологические столкновения должны определять развитие событий, — таково требование Кюхельбекера к драматургии. Идеал его в этом отношении — комедия «Горе от ума». В 1830-е годы в дневнике Кюхельбекер подробно изложил свое понимание новаторства грибоедовской комедии: «Дан Чацкий, даны прочие характеры, они сведены вместе, и показано, какова непременно должна быть встреча этих антиподов, — и только. Это очень просто, но в сей-то именно простоте — новость, смелость, величие... поэтического соображения...»[1] Именно отсутствие характеров (и неприемлемые для Кюхельбекера известные три единства классицизма) заставляют его отрицательно оценить драматургию Княжнина, Хераскова и даже Сумарокова и Озерова. Вместе с тем он требует от поэта умения в драме целиком отказываться от своей личности во имя правды изображения того героя и того народа, которых избирает поэт, т. е. «народности». В этом отношении его не устраивает как драматург Вольтер: трагедии Вольтера — «теоремы», а не «свободные излияния души, не скованной никакими предубеждениями»; «природы, действующих живых лиц, сердца человеческого» не ищи в них.[2] Его Альзира — энциклопедист, «переряженный» в американку. Осуждая Шиллера за то, что у него все характеры «по немецкому образцу», что «Кассандра его живая немка», Кюхельбекер восхищается Гете, умевшим постичь «образ мыслей и душу» любого народа.

Таким образом, в своей теории драмы с ее требованием изображения характеров и «народности», т. е. национального колорита страстей и характеров, Кюхельбекер — романтик. И Гете и Шекспир воспринимаются им через призму романтического миропонимания декабризма. Любимым драматургом Кюхельбекера останется до смерти Шекспир. Кюхельбекер переводит его, пишет статью о принципах перевода драм Шекспира, восхищается его умением строить

[1] Дневник В. К. Кюхельбекера, с. 92.
[2] «Декабристы и их время», с. 61.

пьесу на сочетании жизненной правды изображения характеров с фантастическим и даже мистическим элементом. Любимый актер Кюхельбекера — В. Каратыгин. В 1834 году из Свеаборгской крепости он будет писать родным: «Бываете ли вы иногда в театре? Случается ли вам вслушиваться в собраниях в суждения об актерах? Кроме Каратыгина, который образовался еще при мне, — есть ли в русской труппе какой-нибудь отличный талант? Сам Каратыгин не испортился ли? Что другие труппы? например, немецкая?» [1]

Об отношении Кюхельбекера к тем или иным крупнейшим актерам русского театра сведений сохранилось мало, очевидно лишь, что его внимание привлекает новое направление актерской игры, выразившееся в стремлении передать на сцене тончайшие движения человеческой души, постичь характеры. Об этом говорят ремарки, которыми он сопроводил важнейшие сцены своих произведений и которые в 1820-е годы были непосредственно обращены к будущим исполнителям: Аглая (героиня «Аргивян») «глядит цепенеющим взором на труп Тимофана, потом падает в объятия одной из прислужниц; немая же и здесь чрезвычайно трудная роль Аглаи вся зависит от искусства актрисы; в ее отчаянии должно быть нечто, выражающее, что ее предчувствия сбылись. Она подходит к телу, преклоняет колени: то смотрит на небо и на него, то тихо плачет». «Аргивяне» — первая из трагедий Кюхельбекера. При сопоставлении двух ее редакций отчетливо видно, как преодолевает поэт поначалу тяготеющие над ним классические нормы. Уже в первой редакции лишь один герой — Сатирос — нарисован прямолинейным злодеем. Все остальные герои, в том числе и тиран Тимофан, показаны как довольно сложные и противоречивые характеры. При этом если в первой редакции сложность характеров достигается в основном традиционным для классической трагедии внутренним борением героев между чувством и долгом, то во второй редакции главный герой, Тимолеон, уже начисто освобожден от этого противоречия. Его характер развивается как характер свободолюбивого мыслителя, на протяжении трагедии подготавливающего и обдумывающего восстание против тирана. И дело здесь не в аллюзиях, а в общем агитационном, декабристском значении темы и образа. Монологи Тимолеона насыщены декабристскими формулами: «Отчизне друг — всегда мне будет друг!», «Коринф в цепях — расторгнем эти цепи!», «В столетьях ждет вас слава или срам!» и т. д. Однако не только главный герой, но и каждый второстепенный из двенадцати поиме-

[1] «Декабристы. Летописи Государственного литературного музея», кн. III, с. 171.

нованных героев трагедии имеет свой, резко очерченный характер. Старый жрец Протоген — свободолюбец, гражданин, но он нестоек, он боится крови и, восхищенный бесстрашием тирана, убеждает Тимолеона избегнуть убийства (а в первой редакции даже готов на предательство — готов склониться на уговоры тирана вместе с ним править страной). Он произносит известные слова, выражающие раздвоение личности 1820-х годов, впоследствии использованные А. С. Пушкиным: «Мы любим и чрез час мы ненавидим; что славим днесь, заутра проклинаем. . .» Различны характеры воинов — гордого, бескомпромиссного борца Аристона и патриота Ксантиппа.

Сложную и также не традиционно-классическую роль в трагедии выполняет хор. Тема пленных аргивян — плена, рабства, тоски по родине и т. д. — в партиях хора едва намечена. Если в первой редакции хор чаще всего — аккомпаниатор, созерцающий и словами констатирующий происходящее, то во второй редакции почти все выступления хора с констатацией происходящего сняты. Почти снята и функция хора — собеседника действующих лиц. Хор стал комментатором, «мыслящим зрителем» (по теории учителя Кюхельбекера Галича в «Опыте науки изящного», СПб., 1825) и, самое основное, пророком развивающейся кровавой трагедии. Пророчество, необходимая деталь романтических полотен, восходящая к античной драматургии, от ранней драматизированной поэмы «Кассандра» будет проходить через все творчество Кюхельбекера; вершина — его романтическая повесть «Последний Колонна», вся построенная на сочетании реалистического бытописания с романтическими мистическими предзнаменованиями, роковыми предсказаниями и предчувствиями.

В 1820-е годы Кюхельбекер пробует свои силы и в другом жанре драматического искусства — в комедии. Драматическая шутка в двух действиях «Шекспировы духи» была одним из первых его произведений, вышедших отдельной книгой.[1] Предназначенная первоначально для домашнего театра и исполнения актерами-детьми, как об этом заявил сам автор в предисловии, комедия была представлена в дирекцию императорских театров актером В. Каратыгиным 2 ноября 1825 года. Стремление Кюхельбекера поставить комедию знаменательно. Будучи поставленной, она заняла бы видное место в литературной борьбе, которая издавна велась не только на страницах журналов, но и на сцене (напр., «Липецкие воды» Шаховского, «Студент» Катенина и Грибоедова, «Аристофан» Шаховского и др.). Как и статья «О направлении нашей поэзии, особенно лирической . .»,

---

[1] Первым было стихотворение «Смерть Байрона», М., 1824.

комедия была полемически направлена против «унылых» элегиков, поэтов, оторванных от реальной жизни, и содержала целый ряд литературных намеков и выпадов, хорошо понятных зрителям тех лет. Особенно удавшееся место комедии, положительно отмеченное А. С. Пушкиным, — сцена сочинения элегии «унылым» поэтом, явно рассчитанная на взрыв хохота в зрительном зале:

Так: «Мчитеся, младые годы!» —
Прелестно! «Не сияй, лице Природы!
Грустен я, уныл и сир!»
Хем! грустен, сир? . .
Сир? слово старое; прочтут иные *сыр;*
Сир никого не тронет;
Да вспомнят лимбургский, голландский, всякий сыр!
Сир, слово *сир* мою элегию уронит!
и т. д.

Ирония Кюхельбекера обращена при этом не только на «унылого» поэта вообще, но и на себя самого. Как бы продолжая мысль статьи «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие», что и сам автор отдал значительную дань унылой элегии, Кюхельбекер наделяет поэта своими собственными чертами — и своими собственными друзьями. Так в комедии возникают «барон» — Дельвиг, «Лев Савельевич» — Лев Сергеевич Пушкин, которые восторженно слушают сочиненную поэтом элегию.

Литературная полемика — по-видимому, главная цель Кюхельбекера в «Шекспировых духах». Характеры комедии почти не разработаны, за исключением одного, также положительно отмеченного Пушкиным. Это Калибан, точнее дядюшка Фрол Карпыч, образ которого написан точными бытовыми чертами и является предшественником будущих героев Кюхельбекера в повести «Последний Колонна» и поэме «Сирота».

Тебе я выговор, голубушка, привез:
Ну! можно ли меня тревожить в сенокос? —

с этими словами Фрол Карпыч, недалекий и простоватый сельский помещик, появляется на сцене. Одевшись Калибаном, он размышляет, что его супруга, увидев его в таком одеянии, на его кафтан «вылила бы рукомойник». Отдельными репликами он напоминает героев грибоедовской комедии «Горе от ума», например: «Ученых, свет мой, не терплю: Все, все они отступники, Вольтеры».

Таким образом, период 1820-х годов в творчестве Кюхельбекера-драматурга характеризуется не только обращением к высокой гражданской теме, требующей использования высокого стиля торжественного красноречия оды или трагедии, но и возникающим реально-бытовым началом. Однако это реально-бытовое начало возникает не в трагедии. С точки зрения законов эстетики гражданского романтизма это было бы невозможно. Человек в трагедии может быть изображен не во всей полноте своей жизни, а лишь в момент высоких страстей. Это представление об основах трагедии, восходящее к нормативной эстетике классицизма, сохранится у Кюхельбекера на всю жизнь. В 1830-е годы он будет сравнивать «Торквато Тассо» Кукольника и «Бориса Годунова» Пушкина — и отдаст предпочтение первой из двух трагедий, за то что «красо́ты» в ней необычайные, а монологи Тассо исполнены «чувства и фантазии». Кюхельбекер понимает при этом, что «народные сцены» у Кукольника «вообще слабы», а трагедия Пушкина «гораздо умнее и зрелее», но псевдогероическое, романтическое начало первой определяет его оценку: «„Торквато Тассо“ Кукольника лучшая трагедия на русском языке, не исключая и „Годунова“ Пушкина».[1] Кюхельбекер здесь остается романтиком лагеря «славян», чуждым новому реалистическому направлению русской драматургии.

Главная черта Кюхельбекера-драматурга 1830—1840-х годов — углубление его интереса к раскрытию индивидуальных характеров. В 1820-е годы он еще следует завету своего учителя А. Галича: «Не твори ничего такого, что признаешь противным лепоте».

В 1830-е годы Кюхельбекер уже включает в число предметов, достойных изображения в драме, ужасное (Ижорский) и отвратительное (купец Иван), но бытовая заземленность, бытовой реализм по-прежнему кажутся ему ниже изображения «страстей». Отсюда парадоксы: восхищаясь «Горем от ума», он не принимает «Ревизора» Гоголя. Кюхельбекер сохраняет в своих новых произведениях активную гражданскую позицию автора — судьи, выносящего приговор своим героям. Ижорский пресыщен жизнью, опустошен и бездеятелен, он несет зло людям, — Кюхельбекер разоблачает его и приводит к гибели. Именно разоблачение, а не психологический анализ является целью Кюхельбекера, — в этом отличие его художественного метода, метода гражданского романтизма, от реализма Лермонтова в «Герое нашего времени».[2] При этом Кюхельбекер пользуется «би-

---

[1] Дневник В. К. Кюхельбекера, с. 232—233.

[2] Существует предположение, что «Ижорский» был известен Лермонтову и повлиял как на драматургию Лермонтова, так и, возможно, на образ Печорина в «Герое нашего времени».

чом Ювенала», т. е. сатирой, за что он сам некогда осуждал Пушкина и Байрона, — но поэзия может иметь цель — нравоучение, когда из нравоучения она берет истину поэтическую. Поэзию унизишь лишь тогда, когда она будет служить «одной одеждою и прикрытию наготы сухой истины, как, например, в поэзии дидактической», — заявляет он в предисловии к «Ижорскому». Главная особенность стиля драмы «Ижорский» — снижение, а зачастую и полное снятие высокого, пафосного, «пламенного» начала. Так, Ижорский со своим «байроническим» измученным духом постоянно дается в окружении людей из народа с их бытовыми понятиями и реальными нравами. Вот Ижорский пытается объяснить старому рыбаку, чем он напугал его невестку: «Про Каина читал ты? — Знак его Ее пугает». Старик: «Слишком строго моей невестки не суди: ведь баба глупая». Когда Ижорский попадает в героическую обстановку лагеря греческих повстанцев, даже героическая тема, данная в образах Никиты, вождя греков, и воинов, постоянно снижается. Речь Никиты напоминает еще высокий дифирамбический стиль лирических стихотворений Кюхельбекера 1820-х годов: слава битве, ее «неистовому обаянью», «восторгу роскошному, бешеному», «радостной брани», «пляске, вихрю, водовороту сраженья», утвержденья: «Наш жребий дивен и чудесен», выражения типа: «высокая, тайная цель» (освобождение Греции), клятвы: «Клянусь, не страшен бой с неистовой бездонной преисподней» и т. д. Но все это внезапно снижается, прерываясь картиной беседы бедного стихотворца с Кикиморой — стихотворец жалуется на сплетни соседей, сообщает, что его жене «недосужно: к обеду кашу нам и щи она готовит» и т. д.

Сатирическая, обличительная струя в 1830-е годы крепнет и расширяется в творчестве Кюхельбекера. Он пишет драму «Иван, купецкий сын», сатирический памфлет, в котором бытовая и социальная правда уживается с фантастикой, с духами, как в комедиях Шекспира или в «Фаусте» Гете. Отдельные сцены этого произведения близко напоминают сцены из «Фауста» — например, сцена колдовства и пляски Амфизы с Вельзевулом близка к сцене «Вальпургиевой ночи»; само условие, поставленное благородному разбойнику Булату, — не произносить роковых слов, иначе он погибнет (обратится в каменный истукан), — напоминает условие, поставленное Фаусту Мефистофелем, и т. д. Как и в 1820-е годы, в пьесу вводятся литературно-критические комедийные моменты, — в частности, роль «литературного комментатора» отводится Кикиморе, злому духу, общающемуся непосредственно с публикой. При этом образ Кикиморы играет и литературно-полемическую роль — он заменяет собой хор классической драмы:

...целый хор в себе соединил,
Но не трагический, не хор Эсхила
Или Софокла, а такой, каким
В своем бессмертном *Гарри* Уйлли Шекспир
Вас угостил: скачки поэта вам
Я пояснял...

Наконец, трагедия «Прокофий Ляпунов», задуманная Кюхельбекером в 1834 году, во многом также является пересмотром патетического стиля «гражданского романтизма». Прокофий Ляпунов, по Кюхельбекеру, тоже говорит о своем «подвиге святом», однако в нем нет безоглядного неистового пылания и жажды этого подвига — он обычный смертный человек, совершивший много ошибок и сомневающийся в своих силах: «Быть может, подвиг-то и не по мне...» Он просто не видит себе реальной замены во главе русского войска, — но исторически четко осознает, что на его месте мог бы быть и другой. Таким образом, в трагедии Кюхельбекера снят важнейший момент декабристского романтизма — идея «обреченности» на подвиг, священного призвания на гибель во имя идеи свободы. Прокофий Ляпунов тоже заявляет о себе пророчески: «Пасть мне суждено», — но это не мистическое предчувствие, не искупительная жертва, а реальная оценка внутреннего положения в своем войске: буйства казаков, грабящих и вырезающих крестьянские деревни, и своей принципиальной честности в защите «старцев, вдов, сирот, девиц». Характер Ляпунова таков, что он не уступит силе, не предаст убеждений, но сила на стороне казаков, — значит, он погибнет. Такова внутренняя психологическая пружина действия трагедии. Образы трагедии сложны и индивидуализированы и ближе всего по духу своему стоят не к многочисленным русским классическим и декабристским трагедиям о «смутном времени», но к народной реалистической драме Пушкина «Борис Годунов»: близки образ царя Бориса с его больной совестью и образ Прокофия с его сожалениями об убийстве Василия Шуйского; близки образы пушкинского юродивого и кюхельбекеровского шута Ваньки, устами которых произносится народный суд над царем или полководцем. Но, в отличие от пушкинского, образ Кюхельбекера несет в себе начало сложной и противоречивой трактовки народного духа. Как уже говорилось выше, народ Кюхельбекера смирен, любит «доброго» царя, не мстит за обиды насилием, шут Ванька — тот «бессильный», которого избирает своим орудием бог, — и этим он выше и сильнее государственной власти, исторических деятелей, и без него, т. е. без робкого и неспособного к самостоятельной деятельности народа, ничто «и воевода, и правитель грозный»:

Он был и мудр, и славен, и могущ,
И воевода, и правитель грозный,
И властвовал над Русскою землей;
А без меня истлел бы в чистом поле;
Да! псы бы растерзали труп его,
И птицы бы остатки расклевали.

Этими словами Вани о Прокофии Ляпунове заканчивается трагедия. И в них — и сила, и слабость исторической и литературно-эстетической позиции Кюхельбекера, гражданский романтизм которого именно в идее народности вплотную подошел к магистральному методу русской литературы 1830—1840-х годов — методу реализма. Разговорный, «простонародный» язык, допускающий грубые выражения, соответствующие грубым нравам («Когда бы наш пузатый не пришел, Тебя бы мы каменьями побили», — говорят у Кюхельбекера казаки), почти полное отсутствие «славянской» патетической лексики, обилие вставных песен и пословиц в речи шута Вани — все это свидетельствует о глубоком чувстве единства формы и содержания у Кюхельбекера-драматурга.

Последняя задуманная им и не оконченная драма «Архилох» (1845—1846) вновь возвращает нас к принципам построения драмы «гражданского романтизма». Она задумана по типу комедии Шаховского «Аристофан» и должна была создать романтический образ поэта-гражданина, который обесславлен подозрением в трусости в бою, которого не понимают сограждане. Истина восстановлена, поэт-герой торжествует, — но силы его на исходе, и он умирает, вспоминая смерть своего любимого друга. Эта сюжетная канва по сути своей является изложением судьбы и психологии самого Кюхельбекера. Но образ Архилоха — едкого, язвительного, злого — это самостоятельный яркий характер. Интересно, что для Кюхельбекера Архилох — представитель народа. Его враги именно народными корнями объясняют злость его язвительных стихов: «Упрямый предрассудок народных грубых чувств», — говорит о нем Ксантипп. Архилох — положительный герой Кюхельбекера, гражданин, борец с пылкой душой, и вновь для этого образа Кюхельбекер использует стиль «дифирамбического восторга»:

О друг! чье тело здесь лежит передо мною;
Ты, чья душа была одна с моей душою;
Ты, в ком одном и мир враждебный был мне мил! .. —

так горюет Архилох над телом убитого друга. Обесславленный певец изгнан; но народ на его стороне. Некий корабельщик, не зная

Архилоха в лицо, рассказывает ему с явным сочувствием о его же судьбе несправедливо изгнанного поэта. В этом заключена знаменательная для Кюхельбекера идея о единстве поэта-борца, поэта-гражданина с народом.

Так завершились творческие искания Кюхельбекера. Он был замечательным поэтом-декабристом своего времени — поэтом-мыслителем, поэтом-теоретиком. Он не стал реалистом. Но его огромное и многожанровое творчество отчетливо показывает, как в глубинах стиля романтизма, и в частности гражданского романтизма, развиваются элементы, сближающие его в основных существенных чертах с реализмом. И вместе с тем творчество Кюхельбекера ясно доказывает, что смена одного литературного метода другим не есть постепенный эволюционный процесс накопления деталей, — это обязательно взрыв, скачок, перерыв постепенности, коренящийся в замене одного мировоззрения, одного философско-политического склада мышления — другим, в выходе за пределы классово ограниченной дворянской идеологии. Таким образом, творчество Кюхельбекера, не будучи вершинным, крупнейшим явлением русской литературы XIX века, представляется значительной и важной историко-литературной проблемой, позволяющей поставить вопрос о сущности и прогрессивном значении русского гражданского романтизма, о путях русской поэзии, о соотношении литературных методов романтизма и реализма.

Н. Королева

СТИХОТВОРЕНИЯ

1814—1825

1. БЕССМЕРТИЕ ЕСТЬ ЦЕЛЬ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ

Из туч сверкнул зубчатый пламень.
По своду неба гром протек,
Взревели бури — челн о камень;
Яряся, океан изверг
Кипящими волнами
Пловца на дикий брег.
Он озирается — и робкими очами
Блуждает ночи в глубине;
Зовет сопутников, — но в страшной тишине
Лишь львов и ветра вопль несется в отдаленьи.

Увы! так жизни в треволненьи
Единый плач я зрю, стенанья полон слух;
Безвестность мрачная, мучительно сомненье
Колеблют мой смущенный дух!

Как море зла волнуется повсюду!
Венцов и скипетров на груду
Воздвигнул изверг свой престол, —
И кровью наводнил и град, и лес, и дол,
И области покрыл отчаянья туманом!
Герой, невинных щит, гоним, повержен в прах,
Неблагодарности, неистовства в ногах
Его безглавый труп терзаем хищным враном;
С сверкающим мечем на брата брат восстал,
И на родителя десницу сын подъял.
О небо! где ж перун, злодеям мститель?

Всевышний судия! почто твой глас утих?
Иль нет тебя, каратель злых,
И случай нам властитель?
Могила, знать, всему предел,
И извергов она, и добрых — всех удел!
Увянут благость и пороки,
И тленья лишь текут за гробом мрачны токи!
И совесть, и закон, и честь, и долг — мечты!

К чему ж заботы и труды?
Не льстися за добро, безумец, воздаяньем
И не внимай слезам, стенаньям!
Дух сладострастию предай
И сердце негой упояй!
Нет бога! — внемлешь ли? — нет вечныя награды
И буйству нет преграды!

Но что! возможно ли? и солнце и луна
Родились ли сами собою?
С угрюмой, хладною зимою
Цветущая весна
Сменяются по собственной ли воле?
Кому послушны ночь и день,
Когда то свет зари, то сумрачная тень
Объемлют холм и поле?

Кто одарил меня душой?
С ее сравненны быстротой
Недвижны ветр, и звук, и самый свет, и время:
Телесности отбросив бремя,
Сверкает молниной стрелой,
Миры мгновенно пролетает,
Вселенную в себе вмещает!

И случаем она
Во мне средь мрака возжена?
И случай сей не бог всесильный,
Благий, премудростью обильный?
Егова, случай ли, Ормузд или Зевес
Царя небес

Святое имя? — Но вовеки
Всему начало он, всему конец,
На нас лиет щедрот он реки,
Он чад своих отец!

Я мыслю, я тебя, творец мой, постигаю,
Горячия мольбы поток
Перед тобою изливаю,
Ума на крыльях возлетаю
В твой выспренной чертог!
И смерть в твоем бессмертном лоне
Дерзнет пожать меня, как злак,
И при моем последнем стоне,
Отец! твой не смутится зрак?
Ужель столь пышными дарами
Меня, как первенца цветами,
Ты на закланье увенчал?
О, если так! кляну тот час, где я мученья
С мгновенной жизнию приял.
Ах! лучше бы вовек я мрачного забвенья
Из недра не был извлечен,
Для бедствий лишь одних вовеки не рожден!

Почто моим страстям положены препоны?
Почто глас совести влиян во грудь мою?
Почто, лишь преступить дерзну
Суровые ее законы,
Вторгается в меня весь ад?
Счастливые, счастливей во сто крат
Попранный червь моей ногою!

Но да исчезнет с страшной мглою
Воображения призрáк!
Источник слез да иссушится —
Иль нет! да не престанет литься
Он благодарности во знак!
Бессмертие! о мысль неизреченна!
К престолу вышнего возносишь ты меня:
Погибнет вся вселенна, —
Но невредим пребуду я!

Воскреснет юный мир, порядок воцарится
И снова в бездну погрузится —
Но средь развалин сих стою неколебим,
Средь общей гибели рукой отца храним!
О сын земли, воспрянь, воспрянь от заблужденья,
И мрак сомненья
От веждей отряси,
И глас природы вопроси!
Ужели он тебя, слепец, не убеждает?
«Бессмертен ты, — вещает, —
В бессмертии с самим равняешься творцом,
Конец твой сопряжен лишь вечности с концом!
Се червь, се образ твой лежит перед тобою,
Недвижим, заключен
Во гроб самим собою;
Но лишь весеннею порою
От животворного луча
Вдруг рощи восшумят, одежду получа,
С брегами реки пробудятся,
От склянных свободясь оков,
И тенью рощи осенятся,
И прекратится царство льдов, —
Оставя дом свой тесный,
Он явится в лугах сильфидою прелестной,
Распустит крылья, воспарит,
От розы к розе полетит!»

Почто, коль жизни луч пожрется тьмою вечной,
Почто же пламенным желанием томим?
Почто же от утех ты жаждой бесконечной
К утехам новым век гоним? —
Вот сибарит перед тобою;
Рабов он шумною толпою,
Прислужниц роем окружен, —
Но пресыщением, как некою горою,
Печалью, грустью угнетен;
Ему совиного страшнее клика
Лидии нежная музыка,
Ему вино златое — яд;
Рукой он кубок отвращает
И томный, страждущий свой взгляд
Во мрак хитона погружает!

На честолюбца взор простри,
На вихря бранного воззри,
Кого кровавый след и днесь еще дымится!
С его могуществом дерзал ли кто сравниться?
Он цепью приковал блестящий сонм царей
К своей победной колеснице;
Всесокрушающей покорствуя деснице,
Тирана грозного очей
Все племена страшились, трепетали
И молча жизнь иль смерть из уст его внимали!
А он? он клял судьбу
И из торжеств своих и сердцу и уму
Единую извлек отраву;
И вот — утратил трон, и счастие, и славу!
И что ж? — он дней своих не прекратил!
Грозящей вечности злодея вид страшил,
Что слез и воплей дани,
Мученья нес ему в неумолимой длани,
И гласом громовым: «О трепещи!» вещал —
И ум ужасного вдруг ужас обуял!

1814

2. ПЕСНЬ ЛОПАРЯ

(ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ЗИМЫ)

Не беги меня, о Зами!
Лед висит в моих власах;
Хладно севера дыханье,
Грозно моря колыханье, —
Тихо в мирных шалашах.

Зами, Зами! Я сгораю,
Я любовью окрылен!
Пусть ручьи шумят с утеса,
Воет волк во мраке леса,
Путь метелью занесен —

Мне ль страшиться? Лук натянут;
Чуток верный мой олень,
Милый образ предо мною:
Вихрем мчусь я за тобою!
По снегу мелькает тень.

С высоты сосны угрюмой
На долину брошу взор:
Не узрю ль тебя в долине?
Понесуся по пустыне,
Перейду стремнины гор.

Желтый лист стряхну с березы
И сухой тростник стопчу!
Он тебя не скроет, Зами!
И за бурными морями —
Всюду милую сыщу!

Так! и там в краю далеком,
В заиртышской стороне,
Там, где вечно бури дышат,
Там леса мой зов услышат,
При трепещущей луне.

Но не лает ли лисица?
Не храпит ли там медведь?
Вкруг огня пора собраться —
И в рассказах забываться,
И плести дружнее сеть!

Не беги ж меня, о Зами!
Лед висит в моих власах;
Хладно севера дыханье,
Грозно моря колыханье,
Тихо в мирных шалашах!

<1815>, конец 1810-х
или начало 1820-х годов

8. ДИФИРАМБ

К ДЕЛЬВИГУ

Друг мой! поверь мне, никто из бессмертных
К нам одинок не сойдет:
Либер ли сень освятит моей хаты —

Вот уж слетает и мальчик крылатый —
Бог песнопенья Амуру вослед!
И все ниспустились
Великие боги:
В Олимп обратились
Земные чертоги.

Чем же, небесные! я, земнородный, вас угощу?
Дайте мне нектар в Гевееной чаше,
Дайте в удел мне бессмертие ваше!
К вам, ураниды! душою лечу!
Там, там над громами
Блаженство живет:
О, дайте ж мне чашу,
Пусть дева нальет.

Но не Зевеса ли голос я слышу?
«Чистого нектара, о Ганимеда! [1]
Полный ты кубок налей для певца!
Очи омой животворной росою,
Да не смутится Стигийской волною,
Да не увидит восторгам конца!»
Источник отрады
Сверкнул, засребрился:
И стихло волненье,
И взор прояснился.

1815
Царское Село

4. НАДГРОБИЕ

Сажень земли мое стяжанье,
Мне отведен смиренный дом:
Здесь спят надежда и желанье,
Окован страх железным сном,
Заснули горесть и веселье, —
Безмолвно всё в подземной келье.

---

[1] Одно из названий *Гебы*.

И я когда-то знал печали,
И я был счастлив и скорбел,
Любовью перси трепетали,
Уста смеялись, взор светлел;
Но взор и сердце охладели:
Растут над мертвым пеплом ели.

И уж никто моей гробницы
Из милых мне не посетит;
Их не разбудит блеск денницы:
Их прах в сырой земле зарыт;
А разве путник утружденный
Взор бросит на мой гроб забвенный.

А разве сладостной весною,
Гонясь за пестрым мотыльком,
Дитя бессильною рукою
Столкнет мой каменный шелом,
Покатит, взглянет и оставит
И в даль беспечный бег направит.

1815, начало 1820-х годов

5. ОСЕНЬ

Ветер протек по вершинам дерев; дерева зашатались —
Лист под ногою шумит; по синему озеру лебедь
Уединенный плывет; на холмах и в гулкой долине
Смолкнули птицы.

Солнце, чуть выглянув, скроется тотчас: луч его хладен.
Всё запустело вокруг. Уже отголосок не вторит
Песней жнецов; по дороге звенит колокольчик унылый;
Дым в отдаленьи.

Путник, закутанный в плащ, спешит к молчаливой
деревне.
Я одинокий брожу. К тебе прибегаю, Природа!
Матерь, в объятья твои! согрей, о согрей мое сердце,
Нежная матерь!

Рано для юноши осень настала. — Слезу сожаленья,
Други! я умер душою: нет уже прежних восторгов,
Нет и сладостных прежних страданий — всюду безмолвье,
Холод могилы!

23 сентября 1816

6. ОСЕННЕЕ УТРО

Хладное веянье гонит круги на зеркало влаги;
Звезды ночные зашли; в облаках, развеянных ветром,
Носится призрак — луна; утренний петел воскликнул
В близком селе.

Вдруг заря занялась; седые холмы загорелись;
Край небосклона горит, златой оттенен полосою;
Бор заалел: на соснах, и дробясь и трепéща, пушистый
Иней блестит!

Солнце взошло! — но бледное даже покрова не сняло
С грустной земли; за пасмурной тучею скрылося! Радость
Так улыбалася некогда мне! — но скоро исчезла
В тучах густых!

26 сентября 1816, начало 1820-х годов

7. ДИФИРАМБ

(Из Бакхилида)

В чистом парении
Дух окрыляется
Сладкой, волшебной
Силой вина!

Бросив украдкою
В чашу кипящую
Жар и желания,

Пафия греет
Сердце — надеждою, —

Царь Дионисос
Ум усыпляет,
Гонит печаль!

Так! упоенному
В гордой мечте его
Грады покорствуют:
Над многочисленным
Радостным племенем
Счастливый властвует
Вождь и судья!

Златом, резьбою,
Мрамором светится
Дом беззаботного.

Только он вздумает —
Вот из Эгипта
По морю синему,
Ветром полуденным,
Всеми богатствами
Обремененные,
Мчатся суда!

1816, <1820>

8. АДРАСТЕЯ[1]

В вечном безмолвии,
Бледные, мрачные,
Перед престолом
Зевса-хранителя,
Зевса-карателя
Дирии,[2] страшные
Сестры, стоят.

---

[1] *Адрастея,* или *Немезида,* богиня справедливости и мщения.

[2] Древние представляли вечную справедливость в трояком виде: ***Дирии*** с высоты неба наблюдали деяния смертных; на земле они **назывались** Эринниями и управляли движениями совести; ***Эвменидам,*** **или** ***Фуриям,*** предавались в *Айдесе* (преисподней) преступники,

Следуя всюду
Взором за смертными
Грозно, невидимо,
Выузнав помыслы,
Взвесив деяния,
Тихо эриннии
Перст приближают
К сжатым устам:
Бич над преступником
С свистом подъят!

Неизбежима
Власть Немезиды!
Неизбежима
Власть эвменид!
Страшные видели
Чашу Атрееву;
Видели, видели
В длани Ореста
Меч, обагренный
Кровию матери.

С ним неотступные,
Неумолимые
Переходили
Дальние области;
С ним Адрастея
В образе странницы
Переплывала
Бурны моря.

Честь и хваление
Вечным богам!
Тайно священная
Между цветами
Скрыла змею,[1]

[1] *Орест* мучился терзаниями совести в продолжение всей жизни: наконец примиренная *Немезида* скрыла змею близ дороги, по которой он возвращался в *Микены;* ужаленный ею, *Орест* лишился жизни, и при смерти душа его успокоилась. Он в *Елизиуме* находится в числе блаженных теней.

Дни прекратившую,
Муку злосчастного,
Грусть безутешную,
Ад бытия.

1816
Царское Село

9. БАКХИЧЕСКАЯ ПЕСНЬ

Что мне до стишков любовных?
Что до вздохов и до слез?
Мне, венчанному цветами,
С беззаботными друзьями
Пить под тению берез!

Нам в печалях утешенье
Богом благостным дано:
Гонит мрачные мечтанья,
Гонит скуку и страданья
Всемогущее вино.

Друг воды на всю природу
Смотрит в черное стекло,
Видит горесть и мученье,
И обман и развращенье,
Видит всюду только зло!

Друг вина смеется вечно,
Вечно пляшет и поет!
Для него и средь ненастья
Пламенеет солнце счастья,
Для него прекрасен свет.

О вино, краса вселенной,
Нектар страждущих сердец!
Кто заботы и печали
Топит в пенистом фиале,
Тот один прямой мудрец.

Между 1815 и 1817

10. К РАДОСТИ

Не порхай, летунья Радость!
Сядь и погости у нас:
Удержи златую младость,
Удержи крылатый час!

Не спеши: там в Петрограде
Скука заняла твой трон:
Праздность бродит в Летнем саде;
В залах танцы иль бостон!

Здесь не по указу моды,
Здесь не для вестей сошлись:
Мы в объятиях природы,
Мы для дружбы собрались!

Будь сладка нам жизни чаша!
Под златым твоим крылом,
Радость, Радость, гостья наша!
Мы сойдем в подземный дом!

Между 1815 и 1817, <1825>

11. КОФЕ

Пусть другие громогласно
Славят радости вина:
Не вину хвала нужна!
Бахус, не хочу напрасно
Над твоей потеть хвалой:
О, ты славен сам собой!

И тебе в ней пользы мало,
Дар прямой самих богов,
Кофе, нектар мудрецов!
Но сколь многих воспевало
Братство лириков лихих,
Даже не спросясь у них!

Жар, восторг и вдохновенье
Грудь исполнили мою —
Кофе, я тебя пою;
Вдаль мое промчится пенье,
И узнает целый свет,
Как любил тебя поэт.

Я смеюся над врачами!
Пусть они бранят тебя,
Ревенем самих себя
И латинскими словами
И пилюлями морят —
Пусть им будет кофе яд.

О напиток несравненный,
Ты живишь, ты греешь кровь,
Ты отрада для певцов!
Часто, рифмой утомленный,
Сам я в руку чашку брал
И восторг в себя впивал.

Между 1815 и 1817

12. ЗИМА

Взор мой бродит везде по немой, по унылой пустыне;
Смерть в увядшей душе, всё мёртво в безмолвной природе,
Там на сосне вековой завыванию бури внимает
Пасмурный вран.

Сердце заныло во мне, средь тягостных дум я забылся:
Спит на гробах человек и видит тяжелые грезы;
Спит — и только изредка скорбь и тоска прилетают
Душу будить!

«Шумная радость мертва; бытие в единой печали,
В горькой любви, и в плаче живом, и в растерзанном сердце!» —
Вдруг закачал заскрипевшею елию ветер: я, вздрогнув,
Очи подъял!

Всюду и холод и блеск. Обнаженны древа и покрыты
Льдяной корой. Иду; хрустит у меня под ногою
Светлый, безжизненный снег, бежит по сугробам
тропинка
В белую даль!

1816 или 1817

13. РАЗЛУКА

Длань своенравной Судьбы простерта над всею
вселенной!
Ей, непреклонной, ничто слезы печальной любви;
Милого хладной рукой отторгнув от милого друга,
Рок безмятежен, без чувств, неомрачаем вовек.
Ропот до слуха его не доходит! — Будем же тверды:
Боги покорны ему, высше Судьбы человек;
Мы никому, друзья, не подвластны душою; в минувшем,
В будущем можем мы жить, в сладостной, светлой
мечте.

Первая половина 1817

14. В АЛЬБОМ ИЛЛИЧЕВСКОМУ

Прощай, товарищ в классе!
Товарищ за пером!
Товарищ на Парнасе!
Товарищ за столом!
Прощай, и в шуме света
Меня не позабудь,
Не позабудь поэта,
Кому ты первый путь,
Путь скользкий, но прекрасный,
Путь к музам указал.
Хоть к новизнам пристрастный,
Я часто отступал
От старорусских правил,
Ты в путь меня направил,
Ты мне сказал: «Пиши»,
И грех с моей души —

Зарежу ли Марона,
Измучу ли себя —
Решеньем Аполлона
Будь свален на тебя.

Первая половина 1817

15. К ФИЛОНУ

Должно, Филон, и с тобою расстаться! Ты знал мое сердце,
Ты драгоценен мне был: ты не забудешь меня!
Счастье в самих нас: в суетном мире забот хлопотливых,
Шумных веселий и мук счастия я не ищу.
Свет не узнает меня: ему ли восторги, мечтанья,
Чувства мои оценить? В них я блаженство и боль,
Жизнь и мир находил! Но в памяти сердцу любезных
Сладостно жить, о Филон, сладостно помнить друзей.

Первая половина 1817

16. К МАТЮШКИНУ

Скоро, Матюшкин, с тобой разлучит нас шумное море:
Челн окрыленный помчит счастье твое по волнам!
Юные ты племена на брегах отдаленной чужбины,
Дикость узришь, простоту, мужество первых времен;
Мир Иапета, дряхлеющий в страшном бессильи, Европу
С новым миром сравнишь, — мрачную тайну Судеб
С трепетом сердца прочтешь в тумане столетий грядущих;
Душу твою изумит суд жизнедавцев богов!
В быстром течении жаждущий взгляд остановишь на льдинах
К небу стремящихся гор, на убегающих в даль
Пышных брегах; ты пояс земли преплывешь, и познаешь
Сон недвижных зыбей, ужас немой тишины;
Рев и боренье стихий, и вёдро, и ужасы встретишь,
Но не забудешь друзей! нашей мольбою храним,
Ты не нарушишь обетов святых, о Матюшкин! в отчизну
Прежнюю к братьям любовь с прежней душой принесешь!

Первая половина 1817

17. ЭЛЕГИЯ

Цвет моей жизни, не вянь! О время сладостной скорби,
Пылкой волшебной мечты, время восторгов, — постой!
Чем удержать его, друг мой? о друг мой, могу ли
привыкнуть
К мысли убийственной жить с хладной, немою душой,
Жить, переживши себя? Почто же, почто не угас я
С утром моим золотым? Дельвиг, когда мы с тобой
Тайными мыслями, верою сердца делились и смело
В чистом слиянии душ пламенным летом неслись
В даль за пределы земли, в минуту божественной
жажды
Было мне умереть, в небо к отцу воспарить,
К другу созданий своих, к источнику вечного света! —
Ныне я одинок, с кем вознесуся туда,
В области тайных знакомых миров? Мы розно, любезный,
С грозной судьбою никто, с жизнью меня не мирит!
Ты, о души моей брат! Затерян в толпе равнодушной,
Твой Вильгельм сирота в шумной столице сует,
Холод извне погашает огонь его сердца: зачем же
Я на заре не увял, весь еще я не лишен
Лучшей части себя — благодатных святых упований?
В памяти добрых бы жил рано отцветший певец!

6 октября 1817, С.-Петербург; начало 1820-х годов

18. СОКРАТИЗМ

Всё во вселенной и цель и к лучшему — высшему
средство!
Други! дыхание нам не для печалей дано:
Нет, за страданье мое, за терзания скорбного сердца
Бог мой мудрый, благой счастья продать не хотел
Избранным чадам своим. Не во гневе строитель
вселенной
В час, когда вызывал к жизни младые миры, —
Был земнородных творцом. Он равной любовию любит
Вас, на пиру бытия быстрых, минутных гостей,
Равной любовью священных духо́в, чьим взорам являет,
Разоблаченный, свой лик, пламенных, грозных
послов

Творческой воли своей. — Насекомого счастье для бога,
Счастье твое, человек, счастье Элои — равны.
В каждой былинке живет и дышит он, будто бы только
В ней одной его мир, в ней его полная жизнь! —
Всё велико перед ним: он слышит с надзвездного трона
Глас херувима и зрит слезы младенца: любовь
Бога Богом творит! Перестаньте же плакать и верьте,
Верьте, дыхание вам не для печалей дано!
Каждый считан ваш вздох; святым воздаянием веют
Средь испытующих мук пальмы над вашей главой.

2 ноября 1817

19. ОТЧИЗНА

В утренний час бытия, когда еще чувство восторгов,
Чувство страданий живых тихо дремало во мне, —
Ум, погруженный во мрак, не снимал с Природы покрова,
С детской улыбкой еще я на вселенну глядел.
Но и тогда волшебною силой задумчивый месяц
Неизъяснимой красой взоры мои привлекал:
Часто я, ве́чор сидя́ пред окном, исчезал в океане
Неизмеримых небес, в бездне миров утопал.
Игры, бывало, покину: над ропотом вод тихоструйных
Сладкой исполнен тоски, в даль уношуся мечтой, —
Тайна сам для себя, беспечный младенец, я слезы
(Их я причины не знал), слезы священные лил;
В полночь немую на мирном одре предчувствовал вечность;
При колыханьи лесов сладостным хладом объят,
Рано я слушать любил унылую жалобу бури.
Шорох падущих листов трепет во мне разливал;
Слышу, казалося, в воздухе голос знакомый, — безмолвен,
Слух устремляю в даль, — всюду молчанье, но даль
В тайной беседе со мной. — О сонмы светил неисчетных!
К вам улетал я душой, к вам я и ныне лечу:
Или над вами отчизна моя? над вами с родною
Чистой душой съединен, к богу любви вознесусь?

1817
Царское Село

20. ГИМН БАКХУСУ

(Из Гомера)

Славлю дитя знаменитой Семелы, царя Диониса.
Юноша — бог Дионис, на береге моря явившись,
Тихо стоял на приводном холме, одиноко пустынном,
Молод, прелестен; роскошно волною до пят упадали
Черные кудри; лежала на сильных плечах багряница.
Быстро тогда, стремясь с краснóсоруженного судна,
В темные волны стремглав тирренские ринулись мужи:
Злая судьба их вела! Увидели юношу мужи,
Подали знак и, море прошед, его изловили.
С радостным сердцем потом, воротясь на высокое судно,
Думали: «Сына могущих царей полонить мы успели!»
Тут на него возложить хотели тяжелые узы;
Но никакие связать не могли его узы, и верви
Льняные с рук и с ног упадали; с безмолвной усмешкой
Бог черноокий сидел, Дионис. Тогда челноводец
Вдруг задрожал и простер окрыленное слово к дружине:
«О злополучные! Кто из бессмертных вами поиман?
Грозного челн не снесет! То страшный Кронид, всемогущий
Юпитер; Феб-Аполлон, носитель звонкого лука,
Или Нептун... Не слабым он смертным подобен, подобен
Жителю неба: скорей отдайте опять его суше!
Рук на него не дерзайте поднять, да враждебного ветра,
Бешеной бури на вас не пошлет ваш гневный каратель!»
Но ненавистно ему отвечал пловцов повелитель:
«Трус! попутного ветра не видишь? отдай ему парус!
Отдаль, вещун, за руль усадись! о пленном же будут
Мужи радеть: мы в Египет и в Кипр, я твердо уверен,
К иперборееям его повезем и дале. Но ныне
Пусть назовет имена своих и друзей и сокровных,
Скажет богатства свои: нам добрый дарит его демон!»
Так говоря, он щеглу поднял и парус развеял;
Ветром исполненный, парус надулся: готовы к отплытью
Были пловцы; но вдруг они чудо нежданное видят!
Палуба вся зажурчала вином: нектарная влага,
Светлой рекой пролиясь, вознесла к небесам ароматный,
Сладостный пар, — и трепет нашел на мужей изумленных!

Вдруг поднялось виноградное древо; и гибкие лозы
Вдоль по снастям поползли, богатые гроздия свисли;
Щеглы плющом обвились, зарделися вкусные кисти,
Вспыхнули всюду цветы и весла и нос увенчали.
Видели чудо пловцы и, моля, к челноводцу взывали:
«К берегу правь!» — но, в ревущего льва превращенный,
Вдруг с высоты корабля погнал их неистовый Бакхос;
Там же внутри косматый медведь, сотворенный незапно
Ужасом смерти, ярясь, ужасал, и метался, и прядал;
Лев же огненным взором глядел, и пловцы укрывались,
К кормчему все притекли, мудреца Медеида обстали,
Страха полны, — и вдруг Бассарей, с разбега нагрянув,
Выхватил в сонме вождя. Повелителя гибель увидев,
Бросились в море они; но тщетно хотят устраниться
Рока, несущего казнь: все мужи дельфинами всплыли.
К кормчему был милосерд и благ Дионис чудотворный,
Он осчастливил его, к нему обратил свое слово:
«Радуйся, друг, в душе на меня уповай, челноводец!
Я Дионис, я шумно-веселый! Семела младенца,
Кадмова дочь, родила от ложа всесильного Зевса!»
— «О черноокий! о сын Кадмеиды, — хвала!
А прелестных
Песней никто не поет, забывая тебя, Дионисос!»

1817
Царское Село

21. ГИМН АПОЛЛОНУ

(Сокращенный перевод из Каллимаха)

Ветер дохнул; за ним зашумели деревья Дафнеи!
Непосвященные — прочь, о прочь! из стен изыдите!
Храм в основании вздрогнул от близости бога, и долу
Пальма делосская верх преклонила, и ветви трепещут!
В безднах эфира запел восторженным голосом лебедь!
И ни замок, ни затворы железных ворот не удержат!
С треском разверзлись они: грядет, грядет Вечноюный!

С пляской вы встретьте его, цветущие юноши! пойте!
Очи не всех его зрят: Аполлона видит лишь добрый.
Тот похвалой судьбу вознеси, кому он предстанет!
О, да будем счастливцами мы, которым предстанет!

Пойте! ничей не молчи барбитон! окриляйтеся, ноги!
Славьте его вы приход, да с негою дастся возлечь вам,
Да седины, представ алтарю, умастите под старость
И да возвысьте до крыш отцами начатые домы!

Пойте, пойте богу хвалу: священ песнопевец!
Славит ли лук, говорит ли о Фебовой лире?
Волны морские вокруг в торжественном станут
молчаньи!
О пораженном Ахилле на время забудет Фетида,
Скорбная мать, когда разнесется по воздуху глас наш,
Пламенный гимн во сретенье к нам нисходящего бога!
Шумной волной орошенный утес, сама Ниобия
(Ах, ее слезы ручьями текут!) Латоя прославит!

Пой, хоровод, пой бога! тебе золотыми дарами
(Если, певец, по сердцу его возгласишь песнопенья)
Властен воздать сидящий о руку десную Зевеса!
Пой Аполлона всегда, и в утро, и в полдень! да вечно
Сладостный ток твоих гимнов течет по устам
вдохновенным!
Кто ж и славить устанет его, хвалить его миру?
Лук, и колчан, и светлую ризу с блестящей застежкой?
В золоте весь, он сияет до пят! Во храме Пифийском
Феб-Аполлон хранит для любимцев сокровищей груды!

Вечный юноша Феб и прелестью вечной украшен:
Нежно его и румяно лицо, без брады, как у девы;
Тихой волною с чела стекают душистые кудри;
Ни благовонье, ни нард не струится по локонам бога,
Каплет целитель-бальзам, и, куда ни прольется
небесный,
Жизнью, здравьем везде города расцветают и села.

В мудрости с Фебом никто, ни в силе равняться не может!
Лук стяжанье его и сладкозвучащая лира!
Он наставляет врачей, да смерти велят удалиться!
В нем и пастыря зрела земля: любовью возженный,
Феб на Амфризском брегу водил Адметово стадо, —
Сколько тогда по лугам толпилось юниц беззаботных,
Сколько резвящихся коз! Им радостный взор Аполлона
Благословением был: ни одной не видала бездетной!

Не было счету овцам, и лилось молоко в изобильи:
Даже бесплодные стали тогда близнецов матерями!

Честь и хвала да гремит городов построителю Фебу!
Краеугольный поставлен им камень в сонме народов;
Живописуясь в водах, Ортигия им вознеслася!
Только четвертое лето еще божественный видел,
Но сорудил уж алтарь от даров сестры Артемиды:
Роги еленей, глава и клыки пораженного вепря
Хитрой рукою его превратилися в жертвенник дивный!

Баттосу Феб указал Киренские тучные паствы,
В даль предлетая ему в священном образе врана!
Благо тебе, о Латой Аполлон! весною гордятся
Всеми цветами твои алтари, приношением Геи!
Но фимиам курится зимой в святилище Феба:
Вечное пламя с дня на день! рдеющий уголь
В легкий, Зефиром свеваемый, пух не успеет одеться!
Царь Аполлон! с тобой наравне никто из бессмертных
Не обожаем у нас, у древнего племени Батта:
Мы воспеваем тебя, как Дельфы тебя воспевали
В день, где низвергся Пифон, твоими засыпан стрелами!

Только певец, чей голос шумит, как вставшее море,
Смело гремя по струнам, достойно поет Аполлона!
Но и к моим песнопениям благостный слух он преклонит!
Грозные катит валы ревущий поток Ассирийский,
Он и песок и тину несет в своем диком стремленьи!
Или в неистовой, черной реке жреца Крониона
Да совершат освящение, черпают мутную влагу!
Нет! в источнике ясном чистейшие черпают перлы,
Там, где по камышкам перебираются с ропотом воды!

1817

22. MEMENTO MORI [1]

Здесь, между падших столпов, поросших плющом
и крапивой,
Здесь, где ветер свистит между разрушенных стен,
Я, одинок на холме, под тению тлеющей башни,

---

[1] Помни о смерти (лат.). — *Ред.*

С древнего камня взгляну в даль, на равнину, на лес;
Солнце, взгляну на тебя! на пламенный запад, на небо.
О, как синева там, там надо мною тиха! —
Здесь я сокроюсь от жизни на миг, на миг позабуду
Горечь ее! или нет: скуку, и грусть, и тоску,
Все обманы судьбы и предательства смертных воспомню,
Чувства в себе пробужу, плачем живым наслажусь!
Но почему заструилась ковыль и вдруг засребрилась?
Слышу сладостный стон, сладостный шепот и вздох!
Ты ли со мной говоришь, тишина? Я слух преклоняю;
Холод по мне пробежал, слезы блеснули в очах!
Где же ты прежде дышал, о зефир? где, сладостный, веял?
Ты заунывен и тих: урны ли ты облетал?
«Урны я облетал! по безмолвным веял могилам:
Там не стонет печаль! там непробудный покой!»
О ветерок! о голос из дальней отчизны, помедли!
Но кругом всё молчит! всё в темноту облеклось! —
Солнце с лазури скатилось давно; носясь над туманом,
Месяц простер по лугам бледный, трепещущий свет;
Звезды сияют, манят и сон на глаза низсылают —
Башня, седой великан, дремлет над спящей землей.

1817

23. ГИМН ЗЕМЛЕ

(Из Гомера)

Древнюю Землю, всем общую матерь, хочу я прославить:
Дышащих всех питает она и стоит недвижима.
Добрая матерь, ты всем от своих неисчерпных сокровищ
Яствы несешь: по суше ходящему роду, пернатым,
Жителям вод! Богиня, тобою одной вожделенно
Множество сладостных чад; ты даешь бытие человекам,
Ты бытие отъемлешь у них; и благо счастливцу,
Если на ком остановишь свой взор богатящий, святая;
Все на него ты дары посылаешь отверстой рукою;
Жизнепитающим вмиг взволнуются нивы посевом;
Тучные в долах стада побредут; облекутся в сиянье
Домы его и в радостном граде средь юных прелестниц,
Кроткою властию царь, он узрит везде наслажденье!
Свежие девы кружатся пред ним и, кружася, срывают
В ясном весельи цветы и венчают душистые кудри;

Юноши с ними поют, окрыленные шумным восторгом:
Ты осчастливь их и впредь, Земля, благая богиня!
Матерь бессмертных, хвала! о звездного неба супруга!
За песнопенья певцу даруй безмятежную старость;
В новых тогда тебя помяну в торжественных гимнах!

1817 (?)

24. АНГЕЛ СМЕРТИ

В полночной темноте, в безмолвии Природы
Пустынного певца я видел над рекой;
Задумчив он глядел на дремлющие воды;
Над ним, роскошные раскидывая своды,
Склонялись древний вяз и явор вековой
И в хладе тихих волн главы свои купали. —
Я слышал песнь тоски, стон сердца, глас печали!
Лесистый холм темнел; в глубокой тишине,
При потухающей средь облаков луне
Древа верхами помовали;
Во тьме заискрилась струя
И быстро потекла в немое отдаленье,
И пробежал зефир по зеркалу ручья:
Внимало голосу певца — Уединенье:

«Давно надежда и любовь
С душой моей простились:
В моей груди остыла кровь;
Мои мечты затмились;
Прийди же наконец, покой!
Уж я насытился тоской.

Здесь вянет всё, как вешний злак,
Здесь гаснут жар и силы!
Прийми меня, подземный мрак,
Несменный мрак могилы! —
О растворися, темный дом!
О сон, покрой меня крылом!

Зовут, зовут меня в страну
Безвестную, родную!
В другом себе я жизнь начну;
Я не вотще тоскую:
Отзыв моих желаний там,
Там сбыться всем моим мечтам!

Как умирающей волны
В скалах унылый ропот,
Средь беспредельной тишины
Я слышу сладкий шепот;
Мне говорит знакомый глас:
«Желанный близок, близок час!»

Священный, радостный привет
Из-за пределов мира!
Но что? чей вижу я полет
Из тайных бездн эфира?
Кто сей парящий с высоты,
Сей ангел чистой красоты?

О Радость, Радость! это ты!
Ты это, друг небесный!
Твои я узнаю черты,
Твой это взор прелестный!
И та ж улыбка на устах,
И тот же мир в твоих очах!

О Радость, Радость, ты и там,
И там меня любила!
Судьба вняла твоим мольбам,
Ты строгую смягчила.
Здесь в жизни разлученных нас
Навек связует смертный час».

И в сладком веяньи зефира,
С далеким отзывом таинственно слиясь,
В пространствах воздуха певца исчезнул глас,
Умолкнула его восторженная лира! —
И долго я стоял в мечтанья погружен;

Взглянул — уже певца на береге не стало,
Всё было мертво, всё молчало,
И не алел еще пред утром небосклон.
Но спящая кругом долина,
Но общая святая тишина
И, неисчетных звезд полна,
Немых небес равнина —
Понятным голосом они вещали мне:
«От ней отторженный земной своей судьбиной,
Он там соединен в надзвездной стороне
С своею, лучшей, половиной!»

<1818>, 1820

25. К САМОМУ СЕБЕ

С отрадой милой заблужденья,
С последним призраком простись!
И ждать живого вдохновенья
От мертвой грусти берегись!

Веселый гром рукоплесканий,
Хвала возвышенным певцам!
Несется голос восклицаний,
Порыв невольной, чистой дани
Их пламенеющим стихам!
Они любовь сердец свободных,
И имя их в устах народных
Достигнет к поздним племенам!

А ты... забвенью обреченный...
В небесных, сладостных очах,
В очах Элизы несравненной
Ты не встречал слезы священной,
Твоим восторгом похищенной! —
Брось лиру слабую во прах!
Не думай в выспренных мечтах:
«И я — счастливец дерзновенный —
И я, потомству драгоценный,
В далеких буду жить веках!»

Ужасно жертвой посмеянья
Стоять пред хладною толпой,
Пред сим безжалостным судьей!
В печалях вянут дарованья;
В безмолвной глубине души
Сокрой угрюмые страданья;
Огонь бесплодного желанья
В увядшем сердце потуши!
И, скован мрачною тоскою,
Лететь за счастьем перестань!
Отяготела над тобою
Судьбы убийственная длань!

Ее вовек холодны взоры!
Ее неизменим закон!
Не прогневят ее укоры,
Но также и не тронет стон!
Возвышен грозно над страною,
Где бьется сердце, где с душою
Душа родная говорит,
За неподъятой пеленою
В туманах трон ее стоит!

И кто же к жребию глухому
Моленья станет воссылать? —
Терпенье мужества печать!
Не забывай: к всему святому
И ты когда-то пламенел!
Ах, некогда и ты горел
Ко славе чистою любовью!
И миром, и трудом, и кровью,
И всем ей жертвовать хотел, —
Но был иной тебе удел!
Вотще, спускаясь к изголовью,
Приникши к ложу твоему,
Она тебя в виденьях смелых,
В мечтах и грозных и веселых
Вела ко храму своему!

<1818>

26. ОТОМЩЕННЫЙ ГЕРКУЛЕС

> София берет струг и нежною, белою рукою передвигает его по доске: железо скользит и не врезывается. Кажется, я вижу Амура: он порхает над нею, бьет крылами и смеется; кажется, слышу, как он изъявляет шумную радость свою, как восклицает: «Геркулес отомщен!»
>
> *Руссо. «Эмиль»*

Всесилен, всесилен сын Цитереи: он Фебову гордость
Смирил, он наполнил Аресу мучением грудь за презренье;
Зевес младенцу покорен и царь пятиречного ада:
Небом, землей управляет дитя!
Всесилен, всесилен сын Цитереи! — лишь взглянет волшебник —
И нежная дева берет в белоснежные руки железо
И движет по грубому древу — и струг скользит, не вцепляясь, —
С тихой улыбкою смотрит Эмиль.
Но с хохотом громким, кружась и крылами махая над нею
(Не зрите ли, други?), несется Эрот, — коварный! он торжествует
И в шумном восторге ручонками бьет и, резвясь, восклицает:
«Ты отомщен, отомщен, Геркулес!»

<1818>

27. К ЛИЗЕ

Есть лучший мир: туда свои мечты,
Туда свои я перенес желанья!
Там нет тоски, нет имени страданья;
Там, там, о Лиза, ангел чистоты!
Тебя любить я смею всей душою.
Ужель любовию святою
Там оскорбишься ты?

2 января 1818

28. ПРИЗРАК

Пусть с юношей резвым
Красавица мчится
В кружении вальса
При блеске огней!

Меня вызывает
Сиянье Дианы
На берег печальный
Безмолвной Невы.

Полуночным часом
С унылым весельем
Там образ Элизы
Я некогда зрел.

И руки простер я,
И думал коснуться
Эфирной одежды:
Но призрак исчез!

Зефиром развеян,
Подобно туману
В моих он объятьях
Растаял, исчез!

О други, о други!
Мы сердцем тоскуем,
Мы жаждем блаженства,
Мы жаждем любви:

Мы ищем напрасно!
О други, о други!
Обманет надежда,
Блаженство — мечта.

14 февраля 1818

29. К СОЛОВЬЮ

Звуками сладости,
О Филомела!
Скорби на радости
Ты не умела
В сердце моем обменить:
В грудь усыпленье пролить!

Вздох упоения,
Сладость желаний;
Час утоления
Всех ожиданий,
Ты наслажденья поешь:
Душу несчастного рвешь.

Отзыву дальному
Пой, о певица!
Мне ли, печальному,
Песней царица
(Весь я подавлен тоской),
Мне ль восхищаться тобой?

Звуками сладости,
О Филомела!
Скорби на радости
Ты не умела
В сердце моем обменить:
В грудь усыпленье пролить.

19 мая 1818

30. ЦАРСКОЕ СЕЛО

Нагнулись надо мной дерев родимых своды,
Прохлада тихая развесистых берез!
Здесь наш знакомый луг; вот милый нам утес:
На высоту его, сыны младой свободы,
Питомцы, баловни и Феба, и Природы,
Бывало, мы рвались сквозь густоту древес
И слабым гладкий путь с презреньем оставляли!
О время сладкое и чуждое печали!

Ужель навеки мир души моей исчез
И бросили меня волшебные мечтаньи?
Веселье нахожу в одном воспоминаньи:
Глаза полны невольных слез!
Так, вы умчалися, мои златые годы;
Но — будь хвала судьбе: я снова, снова здесь,
В сей мирной пристани я оживаю весь!
Стою — и зеркалом разостланные воды
Мне кажут мост, холмы, брега, прибрежный лес
И светлую лазурь безоблачных небес!
Как часто, сидя здесь в полуночном мерцаньи,
На месяц я глядел в восторженном молчаньи!
Места прелестные, где возвышенных муз,
И дивный пламень их, и радости святые,
Порыв к великому, любовь к добру — впервые
Узнали мы, и где наш тройственный союз,
Союз младых певцов и чистый, и священный,
Всесильным навыком и дружбой заключенный,
Был братскою каменой укреплен!
Пусть будет он для нас до гроба незабвен:
Ни радость ясная, ни мрачное страданье,
Ни нега, ни корысть, ни почестей исканье —
Моей души ничто от вас не удалит!
И в песнях сладостных и в славе состязанье
Соперников-друзей тесней соединит!
Зачем же нет вас здесь, избранники харит?
Тебя, о Дельвиг мой, о мой мудрец ленивый,
Беспечный и в своей беспечности счастливый!
Тебя, мой огненный, чувствительный певец
Любви и доброго Руслана, —
Тебя, на чьем челе предвижу я венец
Арьоста и Парни, Петрарки и Баяна!
О други! почему не с вами я брожу?
Зачем не говорю, не спорю здесь я с вами?
Не с вами с башни сей на пышный сад гляжу?
Или, сплетясь руками,
Зачем не вместе мы внимаем шуму вод,
Биющих искрами и пеною о камень?
Не вместе смотрим здесь на солнечный восход,
На потухающий на крае неба пламень?
Мне с вами всё казалось бы мечтой,
Несвязным, смутным сновиденьем,

Всё, всё, что встретил я, простясь с уединеньем,
Увы! что у меня и счастье, и покой,
И тишину души младенческой отъяло
И сердце бедное так больно растерзало! —
При вас, товарищи, моя утихнет кровь,
И я в родной стране забуду на мгновенье
Заботы и тоску, и скуку и волненье,
Забуду, может быть, и самую любовь!

14 июля 1818
Царское Село

31. К ПУШКИНУ

Счастлив, о Пушкин, кому высокую душу Природа,
Щедрая Матерь, дала, верного друга — мечту,
Пламенный ум и не сердце холодной толпы! Он всесилен
В мире своем; он творец! Что ему низких рабов,
Мелких, ничтожных судей, один на другого похожих, —
Что ему их приговор? Счастлив, о милый певец,
Даже бессильною завистью Злобы — высокий любимец,
Избранник мощных Судеб! огненной мыслию он
В светлое небо летит, всевидящим взором читает
И на челе и в очах тихую тайну души!
Сам Кронид для него разгадал загадку Созданья, —
Жизнь вселенной ему Феб-Аполлон рассказал.
Пушкин! питомцу богов хариты рекли: «Наслаждайся!» —
Светлою, чистой струей дни его в мире текут.
Так, от дыханья толпы всё небесное вянет, но Гений
Девствен могущей душой, в чистом мечтаньи — дитя!
Сердцем высше земли, быть в радостях ей не причастным
Он себе самому клятву священную дал!

1818

32. ОТРЫВОК

Подернулись поля и холмы темнотою;
Туманы разлились холодною рекою
И медленно текли к заснувшим небесам.

Носился месяц над Невою
И сыпал искры по водам!
Недвижим и объят волшебной тишиною,
На побледневшую Природу я глядел
И легкою мечтою
За скорбный, за земной предел
Из одиночества в тот лучший мир летел,
О коем, труженик, тоскую в бедной жизни,
Как странник средь степей о сладостной отчизне.
И моря спящего пучины предо мной
Терялися во тьме прозрачной и седой,
В необозримом протяженьи.
А там — из глубины полуночи немой
Белели парусы, как будто привиденьи!

О друг единственный печальных дней моих,
Фантазия, мой бог от самой колыбели!
Под мирной сенью крыл твоих
Я веждей не смыкал на сумрачной постели;
Но быстро от меня, отозваны тобой,
И грусть и скорби отлетели
И душу посетил божественный покой!
Не ты ль казала мне в священном упоенье
Там, там, отколе сей безмолвный реет челн,
За мрачною равниной волн,
Неведомы края, златое отдаленье.
Там воздух чище был и чище свод небес,
Там негою дышал благоуханный лес,
Гуляло счастие среди лугов священных,
И радость на полях, обильем озлащенных,
И мир под ветвями задумчивых берез!
Над царственным дворцом, над темною дорогой,
Над кровом хижины блаженной и убогой,
Над мраком ближних гор
Носился и парил мой оживленный взор!
Но с горней высоты волшебное мерцанье
Исполнило, дрожа, мой тихий уголок;
В окно завеял ветерок,
И, будто бы ее небесное дыханье,
За ним лилось благоуханье!
И начал уж белеть безоблачный восток.
Тогда от мирных вод, от молчаливой Леты,

Забвением, и сном, и сумраком одеты,
Поднялись новые, прелестные мечты
И ниспустилися толпою;
И щедрой, благостной рукою
Посыпал на меня Морфей свои цветы!

1818

33. К МОЕМУ ГЕНИЮ

Приди, мой добрый, милый Гений,
Приди беседовать со мной!
Мой верный друг в пути мучений,
Единственный хранитель мой!

С тобой уйду от всех волнений,
От света убегу с тобой,
От шуму, скуки, принуждений!
О, возврати мне мой покой!

Главу с тяжелыми мечтами
Хочу на грудь твою склонить
И на груди твоей слезами
Больную душу облегчить!

Не ты, не ты моим страданьем
Меня захочешь упрекать,
Шутить над теплым упованьем
И сердце разумом терзать!

Но было время — разделенья
От братий ждал я, от друзей, —
Зачем тоски и наслажденья
Я не берег от их очей!

Безмолвный страж моей святыни, —
Я стану жить в одном себе:
О ней я говорю отныне,
Хранитель, одному тебе!

О ней! ее я обожаю,
Ей жизнь хотел бы я отдать!

Чего же я, чего желаю?
Чего желать? — любить, страдать!

Приди, о ты, мой добрый Гений,
Приди беседовать со мной,
Мой верный друг в пути мучений,
Единственный сопутник мой!

1818

84. МЕЧТА

Один над озером вечернею порою
Сижу — и сладкою мечтой душа полна!
Здесь ива гибкая любуется струею;
Над нею плавает стыдливая луна.

Молчание дубрав, осины трепетанье,
И факел Цинтии, и тишина полей,
И изредка меж роз Зефирово дыханье —
Всё, всё уныние влекло к душе моей.

И вдруг над озером спокойными тенями
Толпою пронеслись друзья отцветших лет!
И осеняет их грусть томная крылами! —
Товарищи забав! печален ваш полет!

Друзья! донес от вас Зефир ко мне призванье!
Спешу, я к вам — вы скрылись в темну даль!
И я один! — и лишь со мной в молчанье
Сестра Уныния — Печаль.

<1819>
Царское Село

85. ТОСКА ПО РОДИНЕ

На булат опершись бранный,
Рыцарь в горести стоял,
И, смотря на путь пространный,
Со слезами он сказал:

«В цвете юности прелестной
Отчий кров оставил я,
И мечом в стране безвестной
Я прославить мнил себя.

Был за дальними горами,
Видел чуждые моря;
Век сражался я с врагами
За отчизну и царя.

Но душа моя страдала —
В лаврах счастья не найти!
Всюду горесть рассыпала
Терны на моем пути!

Без отчизны, одинокий,
Без любезной и друзей,
Я грущу в стране далекой
Среди вражеских полей!

Ворон сизый, быстрокрылый,
Полети в родимый край;
Жив ли мой отец унылый —
Весть душе моей подай.

Старец, может быть, тоскою
В хладну землю положен;
Может быть, ничьей слезою
Гроб его не орошен!

Сядь, мой ворон, над могилой,
Вздох мой праху передай;
А потом к подруге милой
В древний терем ты слетай!

Если ж грозный рок, жестокой,
Мне сулил ее не зреть,
Ворон! из страны далекой
Для чего назад лететь? . .»

Долго рыцарь ждал напрасно:
Ворон всё не прилетал;

И в отчаяньи несчастный
На равнине битвы пал!

Над высокою могилой,
Где страдальца прах сокрыт,
Дремлет кипарис унылый
И зеленый лавр шумит!

<1819>

36. К МУЗЕ

Что нужды на себя приманивать вниманье
Завистливой толпы и гордых знатоков?
О Муза, при труде, при сладостном мечтанье
Ты много на мой путь рассыпала цветов!
Вливая в душу мне и жар и упованье,
Мой Гений от зари младенческих годов,
Поешь — и не другой, я сам тебе внимаю,
И грусть, и суету, и славу забываю!

<1819>

37. К БРАТУ

Прелестная весна слетела
С высоких голубых небес;
И громом песней полнит лес,
И дол, и воздух Филомела.
Повеял сладостный зефир
И пробудил дремавший Гений,
И ото сна для наслаждений
Живым дыханьем вызвал мир! —
Уж ласточка сменила врана
Под кровом хижин и дворцов,
И лед на лоно Океана
Ушел из Ингорских ручьев.
Свободно меж огромных зданий
Течет широкая Нева;
Приют для песней, для мечтаний,
Благоухают дерева!
Идут, слиянны с синевою,

Идут, белеясь, паруса,
И раздаются над рекою
Гребцов и кормчих голоса! —
А ты на долгую разлуку,
Стесненный тайною тоской,
О друг, о верный милый мой,
Мне пожимаешь молча руку!
Уж кони у крыльца стоят —
Уже колеблют поводами,
Уж машут гордыми главами
И, роя землю, вдаль глядят, —
Бегут и суетятся слуги:
Могущей, жилистой рукой
Здесь вяжет чемодан иной,
А там, в усердном недосуге,
Широкий плащ несет другой:
То их последние услуги;
То дань признательных сердец!
И вот — ты скачешь наконец!
Товарищ дней моих минувших,
В весеннем счастии мелькнувших,
С кем узы дружбы и родства
С моей зари меня связали!
Я здесь остался на печали,
На грусть и скуку сиротства!
Ты на меня уже не взглянешь,
Над важностью моей шутя,
И беззаботный, как дитя,
Уже разглаживать не станешь,
Смеясь и скорбям, и любви,
Морщины ранние мои!
Ты вырвался из их объятий,
За пуншем нареченных братий,
Беспечных сверстников своих —
И уж на шумное веселье
Толпы счастливцев молодых
Не соберешь в угрюмой келье!
От драгоценных ласк родных,
От горестных лобзаний их
Тебя отозвало прощанье!
Но за тебя их упованье,
Их нежность, слезы и мольбы

Пред троном благостной судьбы —
Ты возвратишься к ним, — а друга
(О нем воспомнишь и вздохнешь)
Среди священного их круга,
Быть может, боле не найдешь! ..
Туда — в отчизну непогоды,
Где позабыли литься воды,
Где дышит вечно строгий хлад,
Где вечно радости молчат, —
Туда летят мои мечтанья,
Туда, сопутники твои,
Стремятся лучшие желанья,
Стремятся мысли все мои! —
Подернутая влажной мглою,
Степь развернется пред тобою
Обширной, белой пеленой!
Там волк пустынный обитает,
Там в сумрак слышен дикий вой!
А дале — гробовой покой:
На льдах безмолвных возлегает,
На темном море — сон глухой,
И с самого времен начала
Природа дикая дремала
По сим далеким берегам...
А разве по сухим снегам,
Хрустящим в стужу под ногою,
Скитаясь мертвой стороною,
Сюда заблудшийся олень
Зайдет, робея, в долгий день!
А разве глыба оторвется
И в дол покатится по льду;
Иль эхо от гусей проснется,
Мрачащих неба чистоту,
Парящих шумною станицей
В холодной, ясной вышине
Перед полуночной зарницей
К полудню жаркому — к весне!
Здесь всё мертвит зима седая,
Здесь по сугробам тень лесная
Не протягалася вовек;
Но дивный, дерзкий человек
(Он обымает круги звездны,

Он мерит небо, сходит в бездны,
Ему доступны все места)
Принес заботы и сюда! —
Прелестно-грозная Природа!
За исполином исполин,
Со дна морского горы льдин
До облаков немого свода,
В туман лазоревой дали
Свои вершины вознесли!
Под кровом пасмурного неба
Тебе здесь явит ряд зеркал
(Вовек их луч не согревал)
Незаходящий образ Феба;
На мразном солнце заблестит,
Перед тобою, зыблясь, иней, —
И друг мой мыслей полетит
Туда, в страну за далью синей,
Туда, к возлюбленным своим,
Где он их памятью храним;
И будто бы дыханье мая,
О родине мечта святая,
В нем сердце, душу согревая,
Провеет сладостно над ним!
И кто же в горестной чужбине,
Под властью незнакомых звезд,
Не вспоминал родимых мест?
Горит и в полудиком сыне
Сих убивающих снегов
Живая к родине любовь!
И он, как будто бы в темнице,
Горюет в суетной столице —
Бежит веселья и пиров,
И вдруг, завидя челн забвенный,
Стремится в страны отдаленны
Отважных, милых земляков.
Как часто здесь он от ловитвы
В тепле, на кожах отдыхал!
Как жадно каждый здесь внимал
С степным медведем храбрых битвы!
Здесь сон в рассказах заставал
Веселую толпу героев!
Здесь их будил для новых боев

Ревущий у порога вал!
Среди нахмуренных колоссов,
Средь молчаливых белых скал,
Еще младенец, Ломоносов
В неопытном жару мечтал!
И неподвижных вод равнина
В нем воспитала пламень дум:
Здесь окриляла юный ум
Ужасных прелестей картина!
И в крае дальном и чужом
Пред ним их призраки стояли
И в час восторженной печали,
И в скучном шуме городском!
Сюда распростирая руки,
Он пламенел и трепетал
И, мощный, северные звуки
Из струн волшебных исторгал!
О дар Поэзии небесной,
Источник радости чудесной,
Источник непонятных мук!
Будя дремавшие страданья,
Какою силой волхованья
Ты нежишь и терзаешь вдруг!
Я вижу, вижу: в град Петровый
Плывет корабль из дальных стран;
Глядит на пенный Океан,
Недвижный, пасмурный, суровый,
Весь преисполненный тобой,
Любимец муз — вещун младой!
Не смеют, трепетом объяты,
Пловцы приблизиться к нему:
Несется дух его крылатый,
Покорный богу своему
(Вздыхает грудь, сверкают очи),
В края туманной полуночи!
Среди ленивых, мразных волн
Свой быстрый бег остановило
Его родимое светило.
По морю реет легкий челн;
Кругом ныряют с диким лаем
Стада морских, знакомых чуд —
И страшно бури вдруг ревут;

И челн до неба воздымаем,
И в бездну челн валы несут,
И разверзаются и воют,
И всё кипящей мглою кроют!
Но снова на водах покой —
И задрожал гадатель смелый:
В пустыне дикой и немой
Он видит труп оледенелый!
В сей страшный, та́инственный час,
В сем грозном, в сем святом виденьи
Судьба пред ним разоблеклась:
И в душу ворвались мученья,
И слезы хлынули из глаз! —
Он угадал отца кончину,
Но родина дороже сыну
И незабвеннее была
С ужасного того мгновенья;
И средь восторга вдохновенья,
Там, там душа его жила!
Роскошно-свежие равнины,
Необозримые леса,
Где сосны низменной долины
Восходят гордо в небеса,
О край, где дышит всё прохладой
По мшистым холмам, на водах,
Пролитых девственной наядой,
Текущих в звонких камышах!
Здесь даже летом, в полдень жаркий,
На листьях сумрачных берез
Горит и блещет пламень яркий
Авророй уроненных слез.
Здесь часто я лежал усталый,
Срывал венки брусники алой
И усыплялся в свежей тьме.
Знакомый сад, поля родные,
Наш светлый домик на холме —
Места прелестные, святые!
Здесь мы свободно возросли;
Здесь недра матери-земли
От нас (так рано, без замены!)
Сокрыли друга и отца,
Мы здесь надежд своих конца,

Мы смутной жизни перемены
И не предвидели вдали —
Здесь тихо наши дни текли!
И мы — вовек их не забудем!
И мы средь жизненных сует
Всегда и всюду видеть будем
Тебя, родного неба свет!
Тебя, пленивший наши взоры,
Манивший далеко наш дух,
Ручей прекрасной Авиноры!
Увы, — и ныне помнит слух
Друзей, взлелеянных тобою,
Как в быстром беге ты журчишь,
И ныне сладостной струею
Ты те же берега поишь,
Где мы резвились и мечтали,
Где, вместе начиная жить,
Брат брату молча обещали,
Деля и радость и печали,
По самый гроб друзьями быть.

<1819>

38. РУЧЕЙ

Мальчик у ручья сидел,
Мальчик на ручей глядел;
Свежий, краснощекий,
Он тоскующей душой
За бегущею волной
Несся в край далекий.

«Как здесь стало тесно мне!
Здесь в унылой тишине
Чуть влачатся годы.
Ах, умчусь ли я когда
В даль волшебную, куда
Льются эти воды?»

Льются, льются токи вод,
Миновал за годом год.
Он узнал чужбину;

Полетел, исполнен сил,
Жадно насладденье пил,
Жадно пил кручину.

Быстрым пламенем любовь
В нем зажгла и гонит кровь.
Сердце в нем вспылало:
Как горит он всё обнять,
Всё к груди, к душе прижать.
Всё для сердца мало.

Он за славой полетел,
Полетел навстречу стрел,
В шум и ужас боя;
Разгромил врагов герой, —
Но насытился войной:
Мрачен лик героя.

Льются, льются токи вод.
Миновал за годом год;
Бросил он чужбину
И, согбенный над клюкой,
Вот понес в свой край родной
Дряхлость и кручину.

Над ручьем старик сидел,
На ручей старик глядел:
Дряхлый, одинокий.
Он растерзанной душой
За бегущею волной
Несся в край далекий!

30 июля 1819

39. К ПУШКИНУ

ИЗ ЕГО НЕТОПЛЕННОЙ КОМНАТЫ

К тебе зашел согреть я душу;
Но ты теперь, быть может, Грушу
К неистовой груди прижал
И от восторга стиснул зубы,

Иль Оленьку целуешь в губы
И кудри Хлои разметал;
Или с прелестной бледной Лилой
Сидишь и в сладостных глазах,
В ее улыбке томной, милой,
Во всех задумчивых чертах
Ее печальный рок читаешь
И бури сердца забываешь
В ее тоске, в ее слезах.
Мечтою легкой за тобою
Моя душа унесена
И, сладострастия полна,
Целует Олю, Лилу, Хлою!
А тело между тем сидит,
Сидит и мерзнет на досуге:
Там ветер за дверьми свистит,
Там пляшет снег в холодной вьюге;
Здесь не тепло; но мысль о друге,
О страстном, пламенном певце,
Меня ужели не согреет?
Ужели жар не проалеет
На голубом моем лице?
Нет! над бумагой костенеет
Стихотворящая рука...
Итак, прощайте вы, пенаты
Сей братской, но не теплой хаты,
Сего святого уголка,
Где сыну огненного Феба,
Любимцу, и́збраннику неба,
Не нужно дров, ни камелька;
Но где поэт обыкновенный,
Своим плащом непокровенный,
И с бедной Музой бы замерз,
Заснул бы от сей жизни тленной
И очи, в рай перенесенный,
Для вечной радости отверз!

1819 (?)

40. ВДОХНОВЕНИЕ

Я слышу твой священный глас,
Живое вдохновенье!
Даруй певцу в последний раз
В страданьях утоленье!

Зови в последний раз мечты,
В последний дай мне слезы!
Я вас забыл, мои мечты,
Я вас забыл, о слезы!

Шепни о ней, небесный друг!
Поведай мне о милой;
И раз еще мой скорбный дух
Проснется над могилой!

Еще раз сердце оживет;
Для боли сердце вспыхнет!
Ах, скоро, скоро всё заснет,
Всё смолкнет, всё утихнет!

Тогда без грусти встречу день,
Без страха ужас ночи —
И, по земле пройдя как тень,
Сомкну с весельем очи!

Между 1817 и 1820

41. К N

Так! легко мутит мгновенье
Мрачный ток моей крови;
Но за быстрое забвенье
Не лишай меня любви!
Редок для меня день ясный!
Тучами со всех сторон
От зари моей ненастной
Был покрыт мой небосклон.
Глупость злых и глупых злоба
Мне и жалки и смешны;

Но с тобою, друг, до гроба
Вместе мы пройти должны!
Неразрывны наши узы!
В роковой священный час —
Скорбь и Радость, Дружба, Музы
Души сочетали в нас!

Между 1817 и 1820

42. НОЧЬ

Сон лежал на мне; глядел в окно мое месяц;
Я дышал тяжело. Дети страданий дневных,
Грезы обстали меня, кивали главами призра́ки
Мертвые, суетный сонм. Перст положа на уста,
Впалыми долго они на меня смотрели глазами, —
Долго шептали; луной их освещались плащи.
Вдруг, казалось, взвились и вдруг они снова спустились;
Веяли крылия их, их развевались власы.
Но, воздохнув, я, на локоть опершись, поднялся и взоры
На небо вверх устремил; плавают в небе стада
Легких, седых облаков; над дремлющей церковью рдеет
В сумраке пламенный крест. Длинные тени домов
Черные стелются в даль; на сон и к вечерней беседе
Взора не манит нигде звездочкой яркой свеча.
Час полуночный пробил: один среди спящего града
Глухо в обширной тиши стонет трепещущий гул.
Что же во тьме ты стоишь, слепой, но всевидящий старец,
Мой божественный Лар? или ты скорбью объят?
Так! не бьется уж сердце мое, как билось, бывало;
Без упоенья, без слез, без наслажденья тоски
В даль я на небо гляжу; ах! чуждым стало мне небо,
Многое жизнь у меня, хладная жизнь отняла!
Многое милое мне, трепетавшее здесь в моих персях!
Ныне же утро мое скрылось; мой полдень исчез;
Солнце не столько палит, мой вечер уже наступает, —
Тянется тьма и зовет раннюю вечную Ночь!

Между 1818 и 1820, начало 1820-х годов

43. ВИДЕНИЕ

Огни, сверкая, загорели
На легких облаках проснувшихся небес;
Я слышу тихий зов пастушеской свирели,
И сон мой пасмурный исчез!

Но изголовие омочено слезами,
Но я встревожен весь минувшими мечтами;
О! преклоните слух на мой рассказ, друзья:
Быть может, отдохнет при вас душа моя!

Луга сребрилися луною;
Под сению дерев, над светлою рекою
Я видел юную, прелестную чету:
Они прекрасный миг ловили на лету;

Они для счастия дышали;
В них быстрая кипела кровь;
Им чашу радости, восторгов и печали
Несла с улыбкою Любовь.

А на скале нагой и дикой
Старик угрюмый, бледноликой
Стоял над плещущей водой!
Во тьме неверной и сквозной
За трепетной завесой ночи
Его погасшие угадывал я очи
И взор холодный и немой;
Луна весь стан его сияньем обливала,
И льдяная брада по пояс упадала.
С вершины сумрачной таинственный старик
Смотрел на юношу, на деву молодую, —
Но страшен был морозный лик,
Он весь был погружен в дремоту гробовую.
Так мертвой высоты недвижимый жилец
(Его толпе на страх образовал резец)
Стоит — и, одинок, средь ужасов молчанья
На ловчего в горах льет стужу содроганья;
С лица пришельца вдруг посыплет хладный пот,
Он остановится над вечным шумом вод,

Он взглянет: на него сын дикого искусства
С немой скалы глядит без жизни и без чувства![1] —
Но близилась гроза, и воздух отягчел;
Всё небо черными оделось облаками,
И се — раздранный вдруг кровавыми браздами,
Свод звездный застонал, шатнулся, загремел!
А он, он без участья
С утеса голого по-прежнему смотрел,
Сквозь бешенство стихий, в даль черного ненастья.
Тогда я с трепетом постиг его удел:
Мне страшные уста ни слова не сказали,
Гроза, рокóча, протекла.
Но мертвая душа душе моей рекла,
И весь я полон был боязненной печали!

Между 1818 и 1820, <1824>

44. СУЕТА СУЕТСТВИЙ

Отлетающая младость
Убивающей рукой
Вырывает за собой
Всё живое: скорбь и радость!

Мне сказало сердце: «Нет!
Ты для чувств не будешь камень!» —
Но пустеет скоро свет,
В сердце скоро гаснет пламень:

Всё проходит, стынет кровь,
И падет туман на вежды,
И умчатся все надежды,
Слава, счастье и любовь.

Между 1818 и 1820

---

[1] Шатобриан в своем «Genie du Christhianisme» повествует, что в Южной Америке в Кордильерах нередко встречают огромных истуканов, коих сооружение природные жители приписывают духам и какому-то племени великанов, обитавших в древности.

45. ПЕРВОЕ РАСКАЯНИЕ

Спал Океан, брега в седую тянулись безмерность,
В даль, за песками пески, другое невлажное море.
В даль серафим Аббадона летел, посол разрушенья,
Грозный союзник и враг Сатаны; концы его крыльев,
Быстрых, широко разверзстых, касались зыбей;
но незапно
Прервал полет серафим и на камень приводный
спустился.
В оное время Зефир развевал живые ветрила.
Солнце сходило с лазурных небес; пучины пылали;
Здесь Альциона вилась и кружилась, в восторге сияя,
Там лебедей выплывало спокойное белое стадо, —
Гимном была пред творцом Природа и в самой пустыне.
Глядя невольно на прелесть ее, на скляные воды,
На потухающий в огненной влаге светильник вселенной,
На выплывающий месяца шар, трепещущий, бледный,
Силился вздох задушить в могущей груди Аббадона;
Тяжко вздымалась она, и тьмились бессмертные очи.
Он о невинности вспомнил, вспомнил о счастьи
минувшем —
Мрачен и нем и с мига на миг угрюмей и тише,
Страшен и даже красой, сидел он на камне приводном,
Будто бы мраморный лик, сотворенный ваятелем
смелым.
Ветер по воздуху черные кудри страдальца разбросил.
Долго недвижный сидел и вдруг он, растерзанный,
вспрянул.
Топнул ногой об утес, громада под ним развалилась;
Богохуленье изрек и упал, и сызнова вспрянул.
Снова взглянул на прелесть земли, зарыдал и смирился.
Сладкий, мучительный глас шептал ему беспрестанно,
Здесь, в эфирных, далеких пространствах небесного
свода,
В сонме бесчисленных звезд, бесчисленных солнц
и вселенных,
Ах, и в стенящей степи бездонного, черного царства,
В шумных сборищах падших, — шептал: «Ты их лучше,
последний
Ты отступил от добра, последний их буйством
увлекся!» —

Но никогда ему внятнее не был сей глас; он поднялся
Бешен, и буен, и дик, — но задумчив и в тихой печали
Вновь на развалины камня воссел серафим злополучный:
«Мне мучений моих не убить! не вырвать упреков
Из раздираемой ими души! Как будто бы змеи,
В сердце мое впилися они, — и ах, всемогущий
Для совершенства меня, для сладкого счастия создал!
Где я? и что? на кого восставал, возмутитель?
Он для блаженства меня сотворил; для радости вечной
Из светозарного облака в час оживления вынул! —
Горе единому мне за утрату блаженства! Напрасно
Их слепота говорит: зачем ему было создать нас?
Некогда с жаждою пил и я бытие молодое, —
Но и ныне, в ужаснейшей доле, бессмертного трепет
Холодно, страшно берет и колеблет при мысли:
Ничтожность!
Так, я свободно восстал на него, на виновника блага!
Некогда я восхищенный внимал миров песнопенью;
С солнца на солнце летал, в океан миров погружался,
Видел повсюду творца, везде совершенство и счастье.
Ныне один из рабов Сатаны, и был ему равный!
Гневом небесным дышу и должен их замыслы слушать —
Падших, забывших давно и сан свой, и прежнюю
светлость!»

Между 1818 и 1820

46. АМУР ЖИВОПИСЕЦ

(Подражание Гете)

До зари сидел я на утесе,
На туман глядел я, недвижимый;
Простирался, будто холст бесцветный,
Покрывал седой туман окрестность.
Вдруг подходит незнакомый мальчик.
«Что сидишь ты, — говорит мне, — праздный?
Что глядишь на этот холст бесцветный,
Или ты навек утратил жажду
Бодрой кистью вызывать картины?»
На него взглянул я и помыслил:

«Ныне уж учить и дети стали!»
«Брось тоску, — сказал он, — лень и скуку!
Или с ними в чем успеть мечтаешь? —
Посмотри, что́ здесь я нарисую;
Перейми, мой друг, мои картины!»
Тут он поднял пальчик, алый пальчик,
Схожий цветом с юной, свежей розой:
Им он водит по ковру тумана,
Им он пишет на холсте бесцветном.
Сверху пишет ясный образ солнца
И слепит мой взор его сияньем,
И лучи сквозь облака проводит,
И огнем края их обливает;
Он рисует зыбкие вершины
Леса, напоенного росою;
Протянув прелестный ряд пригорков,
Не забыл он и воды сребристой;
В даль он пролил светлый ручеечек,
И, казалось, в нем сверкали блески,
В нем струи́ кипели, будто жемчуг.
Вдруг цветочки всюду распустились:
Берег ими, дол, холмы пестреют,
В них багрец, лазурь и злато блещут;
Дерн под ними светит изумрудом,
Горы бледной сединой оделись,
Свод небес подъялся васильковый. . .
Весь дрожал я — и, восторга полный,
На творца смотрел и на картину.
«Не совсем дурной я живописец, —
Молвил он, — признайся же, приятель!
Подожди: конец венчает дело».
Вот он снова нежною ручонкой
Возле леса рисовать принялся:
Губки закусил, трудился долго,
Улыбался и чертил и думал.
Я взглянул, — и что же вдруг увидел?
Возле рощи милая пастушка:
Лик прелестный, грудь под снежной дымкой;
Стройный стан, живые щечки с ямкой;
Щечки те под прядью темных кудрей
Отражали сладостный румянец,
Отражали пальчик живописца.

«Мальчик! мальчик! — я тогда воскликнул, —
Так писать, скажи, где научился?» —
Восклицанья продолжать хотел я;
Но зефир повеял вдруг и, тронув
Рощу и подернув рябью воду,
Быстрый, заклубил покров пастушки, —
И тогда (о, как я изумился!)
Вдруг пастушка поднимает ножку,
Вдруг пошла и близится к утесу,
Где сидел я и со мной проказник!
Что же тут, когда всё всколебалось —
Роща и ручей, цветы и ножка,
Дымка, кудри, покрывало милой?
Други, верьте, что и я не пробыл
На скале один скалой недвижной!

Конец 1810-х или начало 1820-х годов

47. СЕМЬЯ

Беспечное дитя своей семьи родимой
Подобно нежному цветку
Средь рощи сумрачной, в тиши ненарушимой
На пышном бархатном лугу.
Росе подобны родших наставленья,
А солнцу их святые попеченья.

Блажен, кому даны в сей жизни сестры, братья! —
Он бодро мчится по земле:
Отрада в горестях их верные объятья,
Их взор звезда в унылой мгле;
В весельи светлом, в сладостном покое
Кто с ними делит счастье, счастлив вдвое!

С кем мне сравнить главу священную, драгую,
Всю покровенную сребром? —
Зрит вещий старец даль, прошед стезю земную,
Изведав бури, зная гром,
Коснея над грядущими часами,
Мудрец, он род свой пестует очами!

Конец 1810-х или начало 1820-х годов

48. БЕДА И НЕ БЕДА

Наш лирик Бардус не одет,
Наш лирик Бардус голодает;
А всё несет свой плоский бред,
А всё бумагу истребляет;
Но это не беда,
А вот беда:
Напишет ли наш лирик оду,
Он не посмотрит на погоду,
Он тотчас прикатит сюда
И ну — без всякого стыда
(Бог не дал жалости уроду!)
Начнет читать свою мне воду:
Беда, беда, беда!

Увы! всё тленно под луной,
Всё в жадный гроб должно свалиться:
Роскошин, старый дядя мой,
С землею вздумал распроститься;
Но это не беда,
А вот беда:
Я в дом к покойнику вступаю,
И что же, что же я встречаю? —
Заимодавцев два ряда!
И на злодея нет суда!
Так в честь ему велю я оду
Спиндарить лирику уроду:
Беда ему, беда!

«Голубчик мой! куда ты мил!» —
Мне каждый час твердит Лилетта:
За ней деревню я скрепил
И тысяч пять для туалета;
Но это не беда,
А вот беда:
Судить не должно слишком строго,
Но братьев у Лилетты много;
Лилетта вовсе не горда,
И я не знаю иногда...

Да что ж, скажите, ради бога:
Пусть братьев у Лилетты много,
Ведь это не беда!

Конец 1810-х или начало 1820-х годов

49. НАДОВЕССКАЯ ПОХОРОННАЯ ПЕСНЬ[1]

(Подражание Шиллеру)

Кто сидит под древней ивой
Там, в тени густой?
Кто сей витязь горделивый,
Мощный сей герой?

Дым из уст его не льется,
Не встает столпом,
К Духу мира не несется
В древний, светлый дом!

Хитрый ловчий по долинам,
По росе цветов,
В рощах взором соколиным
Не следит волков, —

Он уж не в дружине смелых,
Недвижим герой,
Не вступает с ратью белых
В страшный, дивный бой!

Но быстрее серны леса
По ее следам
Он слетал грозой с утеса,
Мчался по снегам!

Не найти врагу спасенья,
Как натянет лук:
Ныне не в пылу сраженья!
Спала сила с рук!

---

[1] Надовесцы — народ в Северной Америке.

Он унесся за стрелою
  В край, где хлада нет,
Где пшено само собою
  Зреет и цветет!

Там гнездо на каждой ели;
  Дичи полон лес;
Нет тумана, нет метели,
  Ясен свод небес.

Он на пир к духам умчался,
  Здесь оставил нас;
Но герою в честь раздался
  Наш хвалебный глас:

Пойте, братья, мужа брани,
  Мужа крепких сил;
Соберем святые дани —
  Всё, что он любил!

Страх врагов в кипящем бое,
  Дар далеких стран,
В головы — копье стальное,
  В ноги же — колчан!

Не забудем ожерелья:
  Там, среди шатров,
Он пойдет в нем, полн веселья,
  Зависть всех духов!

Конец 1810-х или начало 1820-х годов

50. ПЕСНЯ ДОРОЖНАЯ

Без лишних денег, без забот,
  Окрылены мечтою,
Мы, юноши, идем вперед,
  Мы радостны душою.

Нас в тихий сумрак манит лес,
  В объятия прохлады!
Для нас прелестен свод небес,
  Нас призывают грады;

Для нас, журча, бегут ручьи
Под темными древами,
Нас, нас зовут в свои струи
И блещут меж цветами.

Для нас поет пернатых глас,
Шумят и шепчут рощи,
Светило дня блестит для нас,
Для нас светила нощи!

И грусть не смеет омрачать
Невинных наслаждений:
Ее от сердца отогнать
Нам послан дружбы Гений!

Его священная рука
Мои отерла слезы;
И спит в моей груди тоска;
И вновь цветут мне розы!

Конец 1810-х или начало 1820-х годов

51. ПЕСНЬ ТЛЕНИЯ

Путник на заре с тоскою
Бросил сладостный ночлег,
Вот уже его стрелою
Мчит коней ретивых бег —

Он сидит и томным взором
Смотрит на седой курган,
На волнуемый над бором
Ветром утренним туман.

В даль бегут пред ним рядами
Села, холм, древа, кусты;
Странник жадными очами
Ловит скорые версты —

Быстро средь степи угрюмой
Мысль за мыслию течет,
Дума следует за думой,
Вихрем конь летит вперед,

Стали; соскочил возница;
Светлый замолчал звонок.
Их в тепло зовет светлица,
В пристань прискакал ездок.

Ах, дорогой бесконечной
Для души, еще младой,
Для мечты моей беспечной
Представлялся путь земной!

Но умолкнет хохот громкий,
Высохнет мое вино, —
Так пируйте же, потомки,
Гробу всё обречено!

Может быть, мой череп белый
Пнет сердитою ногой
Старец, в скорбях поседелый,
Ныне собутыльник мой!

Конец 1810-х или начало 1820-х годов

52. ЛЕС

Во сыром бору
Ветер завывает;
На борзом коне
Молодец несется.

Позади сидит
Красная девица;
Вороной скакун
Мчит их в лес дремучий.

«Гой еси ты, конь,
Гой еси, ретивый!
В лес не мчи меня,
Не неси в дремучий!

В том темно́м лесу,
В черной той дубраве,
Нет волков, ни лис,
Ходит, бродит леший!

В том темно́м лесу,
В черной той дубраве,
Не услышишь птиц,
А поют русалки!»

Гаснет среди туч,
Гаснет светлый месяц;
Конь несет их в глушь,
В лес и в глушь немую.

Молодец глядит,
Видит клен да ветлы;
Бодрый слух вострит,
Слышит — воет ветер.

Вся как лист дрожит
Позади девица:
«Вон, он там стоит!
Чу, хохочут, свищут!»

Занялась заря,
Буйный ветер стихнул:
Молодец рыдал
Над бездушным телом!

Конец 1810-х или начало
1820-х годов

53. МОЛИТВА ВОИНА

Бог мой хранитель и вождь!
Блещут в туманах ревущие жерла;
Брань надо мной свои тучи простерла,
В воющем мраке, сквозь огненный дождь
Бог мой хранитель и вождь!

Грозен волнуется бой:
Что мне готовится в рдеющем поле?
Боже, твоей отдаю себя воле!
К славе ли? К гробу ли? Смело с тобой!
Твой — о мой отче! — я твой!

Вождь мой! взываю к тебе!
Ангел ли смерти пожнет мои силы,
Кровью ли днесь изойдут мои жилы,
Вождь мой, веди: я в последней борьбе
Глас мой воздвигну к тебе!

Конец 1810-х или начало 1820-х годов

54. РОМАНС

Теперь узнала я, о чем
Так томно горлицы воркуют,
Когда зефиры сладко дуют
В лесу прохладном и густом.

Певица неги — Филомела!
Теперь я поняла тебя.
Увы! я и самой себя
До сей поры не разумела.

Не спалось вешней ночью мне.
Не для меня цветы дышали;
Я днем ходила, как во сне,
Я вяла в сладостной печали.

Глядя на быструю волну
Сквозь ветви сумрачной березы,
Глядя на небо, на луну,
Я часто проливала слезы! —

С тех пор как зна́ю я, о чем
Так нежно горлицы воркуют
В лесу прохладном и густом,
Когда зефиры сладко дуют.

<1820>

55. ПРОБУЖДЕНИЕ

Благодатное забвенье
Отлетело с томных вежд;
И в груди моей мученье
Всех разрушенных надежд.

Что несешь мне, день грядущий?
Отцвели мои цветы;
Слышу голос, вас зовущий,
Вас, души моей мечты!

И взвились они толпою
И уносят за собой
Юных дней моих с весною
Жизнь и радость и покой.

Но не ты ль, Любовь святая,
Мне хранителем дана!
Так лети ж, мечта златая,
Увядай, моя весна!

<1820>

56. ВОЗРАСТ СЧАСТИЯ

Краток, но мирен и тих младенческий, сладостный возраст!
Но — ах, не знает цены дням безмятежным дитя.
Юноша в буре страстей, а муж, сражаяся с буйством,
По невозвратном грустят в тяжкой и тщетной тоске.
Так из объятий друзей вырывается странник; но вскоре
Вздрогнет, настижен грозой, взглянет в унылую даль:
Ищет — бедный! — любви, напрасно хижины ищет;
Он одинок — и дождь хлещет навстречу ему,
Ветер свистит, гремят и рокочут сердитые громы,
И, осветя темноту, молния тучи сечет!

<1820>

57. ГРОБ МЛАДЕНЦА

О сын моей скорби! напрасно слезами
Твой холм орошает несчастная мать:
При чистых водах, осененный цветами,
Ты мирное место избрал отдыхать!

Младенец, еще не видал ты печали;
Ты был удален от дыхания злых:

Как светлый ручей, твои дни протекали;
Как тихие волны колосьев златых! —

Что ж так безутешно, так горько слезами
Я здесь обливаюсь — несчастная мать?
Ты спишь, осенен тишиной и цветами,
Ты мирное место избрал отдыхать!

Заснув под прощальным моим поцелуем,
Блажен, ты до жизни, до мук не дожил.
Здесь страждем, и боремся мы, и тоскуем,
А ты, о мой сын, до борьбы опочил.

<1820>

58. ЭЛЕГИЯ

Ясные грезы от вас, о бессмертные жители неба!
Не отнимайте — молю! — райской мечты у меня:
Нет оскорбления вам, когда безнадежный страдалец,
Чарами ночи пленен, счастлив обманчивым сном.
Сладостный голос ее, небесные, светлые очи,
Прелесть — улыбка и взор, прелесть — волшебная грудь —
Так! я видел Элизу! В прекрасном виденьи Элиза
Руку сжимала мою; боги! скажу ль? на меня
Нежно взглянув: «Я чистою дружбой утрату любови,
Бедный! тебе заменю!» — мне говорила она.

<1820>

59. К М. К. КЮХЕЛЬБЕКЕРУ

На смерть Т. И. Вас....ой

О друг! уж нет ее, уж нет твоей Темиры:
Но образ сладостный ея
Воскреснет на призыв моей унылой лиры,
И скорбь утешится твоя!

Гляжу — и призраки минувших дней предстали
Восторженной душе моей,
И радость прошлая, и прошлые печали
Как будто ожили для ней.

Я вижу, вдохновен, всё, всё твое теченье,
С утра до полдня твоего,
И с жизнью раннее, могущее боренье,
И всё, что дух твой вознесло.

И что ж — высокое, прелестное явленье
Слетело на землю с небес,
Мне в душу пролилось святое упоенье,
И мрак с очей моих исчез.

Он навестил сей мир, твой ангел, твой хранитель,
Он вечно над тобой парит,
И здесь таинственный, мгновенный посетитель
Приял небесной девы вид.

И мы небесную Темирой называли;
Но ты? О, весь ты полон был
Всего — и трепета, и счастья, и печали,
И новых непонятных сил.

Ты знал прекрасную еще до первой встречи,
И были в памяти твоей
Ее чело, и стан, и сладость милой речи,
И взор божественных очей.

Ты на нее взглянул и взором торопливым
Нашел знакомые черты;
Ты узнавал ее с восторгом боязливым,
И стали жизнию мечты.

Там видел ты ее, там, где твоя психея,
Обнявшись с нею пред творцом,
До бытия миров сливались, пламенея,
С превечным, благостным отцом.

Туда, о друг, туда твой ангел возвратился,
Твой обреченный отлетел;
На миг один тебе он на земле явился;
Но был завиден твой удел.

1 февраля 1820

60. ЖИЗНЬ

Юноша с свежей душой выступает на поприще жизни,
Полный пылающих дум, дерзостный в гордых мечтах;
С миром бороться готов и сразить и судьбу и печали!
Но, безмолвные, ждут скука и время его;
Сушат сердце, хладят его ум и вяжут паренье.
Гаснет любовь! и одна дружба от самой зари
До полуно́чи сопутница избранных неба любимцев,
Чистых, высоких умов, пламенно любящих душ!

8 марта 1820

61. ПОЭТЫ

И им не разорвать венца,
Который взяло дарованье!

Жуковский

О Дельвиг, Дельвиг! что награда
И дел высоких, и стихов?
Таланту что и где отрада
Среди злодеев и глупцов?
Стадами смертных зависть правит;
Посредственность при ней стоит
И тяжкою пятою давит
Младых избранников харит.
Зачем читал я их скрижали?
Я отдыха своей печали
Нигде, нигде не находил!
Сычи орлов повсюду гнали;
Любимцев та́инственных сил
Безумные всегда искали
Лишить парения и крил.
Вы, жертвы их остервененья,
Сыны огня и вдохновенья,
Мильтон, и Озеров, и Тасс!
Земная жизнь была для вас
Полна и скорбей, и отравы;
Вы в дальний храм безвестной славы
Тернистою дорогой шли;
Вы с жадностию в гроб легли.
Но ныне смолкло вероломство:
Пред вами падает во прах

Благоговейное потомство;
В священных, огненных стихах
Народы слышат прорицанья
Сокрытых для толпы судеб,
Открытых взору дарованья!
Что пользы? — Свой насущный хлеб
Слезами грусти вы кропили;
Вы мучились, пока не жили.

На небесах и для небес,
До бытия миров и века,
Всемощный, чистый бог Зевес
Создал счастливца-человека.
Он землю сотворил потом
В странах, куда низринул гром
Свирепых, буйных великанов,
Детей Хаоса, злых Титанов.
Он бросил горы им на грудь,
Да не возмогут вновь тряхнуть
Олимпа твердыми столпами,
И их алмазными цепями
К ядру земному приковал, —
Но, благостный, он им послал
В замену счастья, в утешенье
Мгновенный призрак, *наслажденье*, —
И человек его узрел,
И в призрак суетный влюбился;
Бессмертный вдруг отяжелел,
Забыл свой сладостный удел
И смертным на землю спустился!
И ныне рвется он, бежит,
И наслажденья вечно жаждет,
И в наслажденьи вечно страждет,
И в пресыщении грустит!

Но скорбию его смягченный,
Сам Кронион, отец вселенны,
Низводит на него свой взор,
Зовет духов — высокий хор,
Зовет сынов своих небесных,
Поющих звук нектарных чаш
В пеанах мощных и прелестных,

Поющих мир и жребий наш,
И рок, и гнев эринний строгий,
И вечный ваш покой — о боги!
Все обступают светлый трон
Веселой, пламенной толпою, —
И небо полно тишиною,
И им вещает Кронион:
«Да внемлет в страхе всё творенье:
Реку — судеб определенье,
Непременяемый закон!
В страстях и радостях минутных
Для неба умер человек,
И будет дух его вовек
Раб персти, раб желаний мутных,
И только есть ему одно
От жадной гибели спасенье,
И вам во власть оно дано:
Так захотело провиденье!
Когда избранники из вас,
С бессмертным счастьем разлучась,
Оставят жребий свой высокий,
Слетят на смертных шар далекий
И, в тело смертных облачась,
Напомнят братьям об *отчизне,*
Им путь укажут к полной жизни:
Тогда, с прекрасным примирен,
Род смертных будет искуплен!»

И всколебался сонм священный,
И начали они слетать
И об отчизне сокровенной
Народам и векам вещать.
Парят Поэты над землею
И сыплют на нее цветы,
И водят граций за собою, —
Кругом их носятся мечты
Эфирной, легкою толпою.
Они веселий не бегут;
Но, верны чистым вдохновеньям,
Ничтожным, быстрым наслажденьям
Они возвышенность дают.
Цари святого песнопенья!

В объятьях даже заблужденья
Не забывали строгих дев:
Они страшились отверженья;
Им был ужасен граций гнев!
Под сенью сладостной прохлады
За чашей пел Анакреон;
Он пел тебя, о Купидон,
Твои победы и награды!
И древним племенам Эллады —
Без прелести, без красоты —
Уже не смел явиться ты.
Он пел вино — и что же? Греки
Не могут уж, как скифы, пить;
Не могут в бешенстве пролить
Вина с реками крови реки!
Да внемлют же Поэтам веки!

Ты вечно будешь их учить —
Творец грядущих дарований,
Вселенная картин и знаний,
Всевидец душ, пророк сердец —
Гомер, — божественный певец!
В не связанной ничем свободе
Ты всемогущий чародей,
Ты пишешь страсти и людей
И возвращаешь нас Природе
Из светских, тягостных цепей.
Вас вижу, чада Мельпомены:
Ты вождь их, сумрачный Эсхил,
О жрец ужасных оных сил,
Которые казнят измены,
Карают гнусную любовь
И мстят за пролитую кровь.
В руке суровой Ювенала
Злодеям грозный бич свистит
И краску гонит с их ланит,
И власть тиранов задрожала.
Я слышу завыванье бурь:
И се в одежде из тумана
Несется призрак Оссиана! —
Покрыта мрачная лазурь
Над ним немыми облаками.

Он страшен дикими мечтами;
Он песней в душу льет печаль;
Он душу погружает в даль
Пространств унылых, замогильных!
Но раздается резкий звук:
Он славит копий бранный стук
И шлет отраду в сердце сильных.
А вы — благословляю вас,
Святые барды Туискона!
И пусть без робкого закона
По воле ваша песнь лилась;
Вы говорили о высоком;
Вы обнимали быстрым оком
И жизнь земли и жизнь небес;
Вы отирали токи слез
С ланит гонимого пороком!
Тебе, души моей Поэт,
Тебе коленопреклоненье,
О Шиллер, скорбных утешенье,
Во мне ненастья тихий свет!
В своей обители небесной
Услышь мой благодарный глас!
Ты был мне всё, о бард чудесный,
В мучительный, тяжелый час,
Когда я говорил, унылый:
«Летите, дни! вы мне немилы!»

Их зрела и святая Русь —
Певцов и смелых и священных,
Пророков истин возвышенных!
О край отчизны, — я горжусь!
Отец великих, Ломоносов,
Огонь средь холода и льдин,
Полночных стран роскошный сын!
Но ты — единственный философ,
Державин, дивный исполин, —
Ты пройдешь мглу веков несметных,
В народах будешь жить несчетных —
И твой питомец, Славянин,
Петром, Суворовым, тобою
Великий в храме бытия,
С своей бессмертною судьбою,

С делами громкими ея —
Тебя похитит у забвенья!
О Дельвиг! Дельвиг! что гоненья?
Бессмертие равно удел
И смелых, вдохновенных дел,
И сладостного песнопенья!
Так! не умрет и наш союз,
Свободный, радостный и гордый,
И в счастьи и в несчастьи твердый,
Союз любимцев вечных муз!
О вы, мой Дельвиг, мой Евгений!
С рассвета ваших тихих дней
Вас полюбил небесный Гений!
И ты — наш юный Корифей —
Певец любви, певец Руслана!
Что для тебя шипенье змей,
Что крик и Филина и Врана? —
Лети и вырвись из тумана,
Из тьмы завистливых времен.
О други! песнь простого чувства
Дойдет до будущих племен —
Весь век наш будет посвящен
Труду и радостям искусства;
И что ж? пусть презрит нас толпа:
Она безумна и слепа!

Между январем и мартом 1820

62. К ЕВГЕНИЮ

Contumelia non fregit eum, sed errexit.[1]

С наморщенным челом потухшими глазами
Глядит на светлый мир стоический глупец —
Что для него весна с любовью и мечтами
И что бессмертия венец?

«Всё в жизни суета, и наш удел — терпенье!» —
Впросонках говорит жиреющий Зенон —
И дураку толпа приносит удивленье,
Для черни прорицатель он!

---

[1] Поношение не сокрушило его, а вознесло (лат.). — *Ред.*

А я пою тебя, страдалец возвышённый,
Постигнутый Судьбы железною рукой,
Добыча злых глупцов и зависти презренной,
Но вечно пламенный душой!

И если я когда был полон вдохновенья —
И не вотще душа моя
Ловила Пиэрид живые песнопенья,
Бессмертна будет песнь сия!

Узнают племена, как ты друзей и радость,
Любовь и славу пел, —
А злоба между тем твою губила младость,
И музы от тебя не отвращали стрел;

Я сам, незапно Зевсом пораженный
И очернен дыханьем клеветы, —
Тогда лишь понял изумленный,
Как был велик в несчастьи ты!

И лавр, Каменой мне обещанный когда-то,
Но юной полнотой твоих душевных сил
И сладостью стихов пылающих отъятый,
Тебе я радостный вручил.

Первая половина 1820

63. СЕДОЙ ВОЛОС

Первый седой волосок, тебя меж волос моих карых
[Ныне, ныне уже не ожидал я найти].
Лето мое едва рассвело, мне казалось, и скучной
Осени долго мне ждать, долго мне быть молодым.
Пусть и, томим беспрерывною жаждой живых наслаждений
Или страданий живых, слишком я рано скорбел,
Пусть прежде времени я, безрассудный, роптал и пугался
Отдыха, друга души, пусть говорил иногда:
«Нет моей бурной весны!» — Сей самой тоской оживленный,

Званой утешен слезой, жалобу я продолжал,
Но уж не верил и сам словам своей скорби.
Так вздыхает больной, вдруг от мучительных грез
Из-под тяжелой руки твоей, Онирос, свобожденный.
Ныне не то; не мечта мучит меня: за столом
Жизни, всегда своенравной, но вечно любезной хозяйки,
Разом я выпил любовь, разом восторг и тоску,
Дар повелительниц муз и желанье свободы и славы.
Радостный пир для меня кончился вдруг, и Гермес
Явится мне, посол из Аидова тихого дома,
В путь он укажет, и я, я благодарный уйду.

Первая половина 1820

64. ПРОЩАНИЕ

Прости, отчизна дорогая!
Простите, добрые друзья!
Уже сижу в коляске я,
Надеждой время упреждая.
Уже волшебница Мечта
Рисует мне обитель Славы,
Тевтонов древние дубравы
И их живые города!
А там встают седые горы,
Влекут и ослепляют взоры
И, хмурясь, всходят до небес!
О гроб и колыбель чудес,
О град бессмертья, муз и брани!
Отец народов, вечный Рим! —
К тебе я простираю длани,
Желаньем пламенным томим.
Я вижу в радужном сиянье
И Галлию и Альбион!
Кругом меня очарованье,
Горит и блещет небосклон.
Пируй и веселись, мой Гений!
Какая жатва вдохновений!
Какая пища для души —
В ее божественной тиши
Златая дивная природа...
Тяжелая гроза страстей,

Вооруженная свобода,
Борьба народов и царей!
Не в капище ли Мельпомены
Я, ожиданий полн, вступил?
Не в храм ли тайных, грозных сил,
Взирающих на жизнь вселенны, —
Для них всё ясно, все измены,
Все сокровенности сердец,
Всех дел и помыслов конец!
Святые, страшные картины!
Но, верьте! и в странах чужбины,
И там вам верен буду я,
О вы, души моей друзья! —
И пусть поэтом я не буду,
Когда на миг тебя забуду,
Тебя, смиренная семья,
Где юноши-певцы сходились,
Где их ласкали как родных,
Где мы в мечтаньях золотых
Душой и жизнию делились!

Август или сентябрь 1820

65. БУРНОЕ МОРЕ ПРИ ЯСНОМ НЕБЕ

Дикий Нептун роптал, кипел и в волнах рассыпался,
А с золотой высоты, поздней зарей освещен,
Радостный Зевс улыбался ему, улыбался вселенной:
Так, безмятежный, глядит вечный закон на мятеж
Шумных страстей; так смотрит мудрец на ничтожное буйство:
Сила с начала веков в грозном величьи тиха.

15 (27) сентября 1820
Мемель

66. К ПРОМЕФЕЮ

О Промефей! меж Певцов земли Туискона создатель
Легких, могущих духов, в коих бессмертная жизнь!
Ты им поведал все струны сердец, поведал вселенну —
Вижу: они из твоей вечноцветущей души

Роем взвились и вдруг священным торжественным хором
Все окружили меня. Сильный, божественный — ты,
Твой Пирифой, твой Шиллер, и Гердер — мудрец-
песнопевец, —
Чарами сладостных лир сердце мое вы зажгли!
Песнелюбивое племя славян услышит с любовью
Арфу, которую ты в светло-святые часы
Подал юноше мне, — я буду тобою бессмертен.
О прийми ж, Промефей, всё мое лучшее в дар —
Не удивленье одно, но любовь и звуки простые
Робких еще, но тобой смело настроенных струн!

4 декабря 1820
Франкфурт

67

Снова я вижу тебя, прекрасное, светлое море;
Снова глядится в тебя с неба златой Аполлон!
Чистый, единый алмаз, ты горишь и, трепе́ща, светлеешь:
Там на севере ты некогда, там, у моей
Хижины тихой [1] сияло, дрожа, и взор мой пленяло! —
О благодатный Нептун! мощный и радостный бог!
Пусть не гляжу на тебя в твоей полуночной, зеленой
Ризе, которую ты в милой, в *моей* стороне
Стелешь в обширную даль от священного Невского
брега:
Синие воды твои душу волнуют мою,
Шум изумрудных пучин родимого Русского моря
Сладостным шумом своим в слухе моем пробудя:
Миг — и чудо! несусь из древнего града фокеян
В пышные стены Петра! С ними уж, с братьями я;
В мирной семье их сижу; веселым речам их внимаю;
Песни слушаю их; с ними смеюсь и грущу! —
О! быть может, от них вы течете, лазурные волны;
Взор их, быть может, на вас в светлой дали отдыхал:
Будьте ж отныне послами любви! несите на север
К милым далеким мои мысли, желанья, мечты!

Конец 1820 или январь 1821

---

[1] В Петербурге я долго жил на взмории, за Калинкиным мостом.

68. МАССИЛИЯ[1]

В суровом севере метели
Несутся по полю в густую тьму дали́;
Лежит в долинах снег; ручьи оледенели;
Холодные цветы на стеклах расцвели.
Но в сладостной стране под массилийским небом
Не смеет и дохнуть мороз:
Здесь улыбаются фиялки между роз,
И всё позлащено благотворящим фебом.
Сколь он живительно сияет с высоты!
Он силу новую в больного проливает
И неприметно пробуждает
Доселе спавшие в груди моей мечты.
Спешу на вышину скалы уединенной;
Сквозь алый, трепетный туман
Спешу взглянуть на холм, лесочком осененный,
На тихий свод небес, ничем не возмущенный,
На необъятный Океан!
Всё душу здесь манит, всё услаждает взоры:
Сей замок дерзостный, висящий над водой,
Луга в цветах весенней флоры,
Сии синеющие горы
И дол, одетый темнотой!
Я здесь один; далек от городского шума:
Едва здесь гул его доходит до меня;
О берег плещет вал и вспять бежит, стеня,
И вслед ему бежит моя живая дума!
На быстрых крыльях вы летите, корабли!
Уже вы приняты заливом;
Гляжу на ваш полет в восторге молчаливом:
Не от моей ли вы отчизны притекли?
Быть может, плаватель, встречал ты незабвенных,
Быть может, знаешь ты семью моих друзей:
О! как прядется нить их драгоценных дней
В стенах Петрополя родимых и священных? —
Здесь дивной прелестью мне чуждую страну
Живит роскошная Природа;
Здесь очи странника и в престарелость года
Встречают юную весну;

[1] Древнее название города Марселя.

По сим брегам живут воспоминанья,
И, сладкого уныния полны,
Носиться любят здесь крылатые мечтанья
При свете месяца, в объятьях тишины...
Но в родину летит мое воображенье:
Когда утихнет шум и замолчит волненье,
Ночь воды осенит завесой темных крыл
И от таинственных светил
На землю упадет немое усыпленье, —
В прекрасных благотворных снах
Не знаю с милыми разлуки:
Их вижу, слышу, жму им руки;
Я с ними! я в родных местах!
То в свежий, светлый день помчались мы в санях,
То бродим над Невой при ярком блеске снега, —
И вот поверх недвижимых зыбей
Бежит толпа румяная детей
И с смехом на коньках кружится среди бега.
Или от бурь, свистящих вдалеке,
С приятным тайным содроганьем
При тихом треске дров, при алом огоньке
Мы восхищаемся протяжным завываньем,
Поющим томно в камельке!
Или — но на заре бегут созданья ночи,
И быстро вянет жизнь видений золотых:
Волшебный сон покинул очи!
Увы! я не в стенах, для сердца дорогих!
В чужбине пробужден шумящею толпою,
Пестреющей с утра на улицах живых,
Фокеян древний град я вижу пред собою
И на Массилию в волненьи дум немых
Гляжу с невольною тоскою.
Но ныне весело с утеса зрю ее:
От светлых вод до гор далеких,
Меж диких смелых скал, между стремнин глубоких
Роскошный град простер владычество свое!
О, как прелестны эти виды!
Здесь домик на холме и роща мирт вокруг.
В кудрявых пиниях там спрятались бастиды! [1]
Я слышу дальних стад однообразный звук:

---

[1] Бастидами называются загородные домы марсельских жителей.

Гляжу — они висят на камнях надо мною,
И, отуманенный мечтою,
В разодранном плаще, под шляпою пастух
Стоит, как этих гор немой хранитель-дух!
Гудят колокола средь областей эфирных
И звоном праздничным живят и полнят слух:
Торговля шумная волнует граждан мирных;
У пристани, в садах, на площадях обширных
В согласной суете всё мчится, всё живет;
Спокойно меж дерев домашний дым встает!
И здесь — увы! — неслись из дома в дом убийцы,
В сих стогнах кровь лилась рекой!
Отсюда вырвались на дикий зов столицы
Голодной, воющей толпой,
Как стая тигров, кровопийцы:
По пеплу городов отеческой земли,
По трепетным телам безмолвного народа
В Лютецию они, беснуясь, притекли;
Падет на плахе Царь, [1] зарезана Свобода, [2]
И в хладном ужасе содроглася природа!
Не так ли грянет гром на льдяных высотах,
И вдруг с холма на холм покатятся лавины,
Стремясь, сорвут древа, сотрут утесы в прах;
Рокоча, ниспадут в глубокие долины
И похоронят вдруг окрестность всю в снегах?
Или до грозных туч Везувий бросит пламень,
От черного огня растает самый камень,
Содрогнется земля, как угль, зардеет твердь,
В пылающих ручьях польются страх и смерть!
Тогда, оцепенев, душа в груди трепещет,
И смертный смутный взор к звездам далеким мещет!
Увы! ужаснее и сих кипящих рек,
Ненасытимее голодных псов страни́цы,
Жесточе воющей, детей лишенной львицы
Объятый слепотой, безумный человек! —
Но се — текущие в ничтожество мгновенья
Уносят самый след страстей и разрушенья.
Злодеи были и прошли!

---

[1] Лудовик XVI.
[2] С ним уничтожены благосостояние и независимость, коими подданные его наслаждались спокойно под защитою законов.

Как греза мрачная, умчался век кровавый.
Ах, скрылись до него столетья мирной славы,
И здесь давно цветы Эллады отцвели!
Хариты, вам хвала! хвала и честь любви! —
В Массилии вас пел фокеянин прекрасный,
И слушал дикий галл звук арфы сладкогласной...
Всему удел — превратность на земли!
Как с дерева, дрожа, увядший лист слетает,
Как ночью долгий гул в пустынях умирает,
Так опадает жизнь народов и племен,
И их молва молчит в глухой степи времен.
Пройдут и блеск и власть, и отцветут искусства;
Но с неба чистого слетели в душу чувства:
Любовь и гроб переживет;
В отечество духов, в священную обитель
Она направит свой полет,
И там несменный наш хранитель
Вокруг себя нас соберет.

Январь 1821

69. НИЦЦА

Был и я в стране чудесной,
Там, куда мечты летят,
Где средь синевы небесной
Ненасытный бродит взгляд,
Где лишь мул на верх утеса
Путь находит меж стремнин,
Где весь в листьях в мраке леса
Рдеет сочный апельсин.

Край, любовь самой природы,
Родина роскошных муз,
Область браней и свободы,
Рабских и сердечных уз!
Был я на холмах священных,
Средь божественных гробов,
В тесных рощах, растворенных
Сладким запахом цветов!

Дивною твоей луною
Был я по морю ведом;
Тьма сверкала подо мною,
Зыбь горела за веслом!
Над истоком Полиона
Я задумчивый стоял;
Мне казалось, там Миньона
Тужит между диких скал!

К песне тихой и печальной
Преклонял я жадный слух:
Из страны, казалось, дальной
Прилетел бесплотный дух!
Он оставил ночь могилы
Раз еще взглянуть на свет;
Только край родной и милый
Даст ему забвенье бед!

На горах среди туманов
Я встречал толпу теней,
Полк бессмертных великанов,
Ратных, бардов и судей —
Вечный Рим, кладби́ще славы,
Я к тебе летел душой!
Но встает раздор кровавый,
Брань несется в рай земной!

Гром завоет; зарев блески
Ослепят унылый взор;
Ненавистные тудески
Ниспадут с ужасных гор:
Смерть из тысяч ружей грянет,
В тысяче штыках сверкнет;
Не родясь, весна увянет,
Вольность, не родясь, умрет!

Васильковою лазурью
Здесь пленяют небеса;
Под рушительною бурью
Здесь не могут пасть леса;
Здесь душа в лугах шелковых,
Жизнь и в камнях и в водах!

Что ж закон судеб суровых
Шлет сюда и месть и страх?

Всё жестоким укоризна,
Что здесь сердцу говорит!
Иль не здесь любви отчизна?
Иль не это сад харит?
Здесь я видел обещанье
Светлых, беззаботных дней:
Но и здесь не спит страданье,
Муз пугает звук цепей!

16 марта 1821

70. К БОГУ ВИДЕНИЙ

Фантазос! Фантазос! суетен сонм твоих легких созданий;
Глас твой из пропасти, из ничего, вызывает мечтанья,
Да возволнуют сердце на миг и вмиг да исчезнут!
Но глубоки в душе их следы; пусть они сами
Будто бы утренний пар улетают от света денницы, —
С ложа долго их ловят еще распростертые руки,
Долго их ищут глаза и не верят сиянию солнца!
Фантазос! Фантазос дивный! властительный! часто
Сладкой мечтой от меня ты страх и печаль отгоняешь;
Изредка только пугаешь мой дух виденьями мрака;
Реже, чем в жизни, я вижу обман, и скорбь, и болезни
Или погибель надежд и раннюю смерть наслаждений;
Реже стою над бездонною тьмой и боюсь Немезиды!
Фантазос! сладостный бог! душевной тоски утолитель!
Каждую темную ночь в мечтах оживляй предо мною
Образы милых моих! Яви мне святую отчизну,
Звук приветливых чаш повторяй в моем дремлющем слухе!
Пусть увижу я вновь вечера в убежище друга!
Каждую ночь уноси меня к ним, к товарищам сердца,
К юным певцам, пока я не с ними, пока не поставил
Посоха в угол под тихую сень милосердых пенатов!

19 марта 1821

71. К РУМЫО!

Века шагают к славной цели;
Я вижу их: они идут!
Уставы власти устарели;
Проснулись, смотрят и встают
Доселе спавшие народы:
О радость! грянул час, веселый час Свободы!

Друзья! нас ждут сыны Эллады:
Кто даст нам крылья? полетим!
Сокройтесь горы, реки, грады!
Они нас ждут: скорее к ним!
Судьба, услышь мои молитвы,
Пошли, пошли и мне минуту первой битвы!

И пусть я, первою стрелою
Сражен, всю кровь свою пролью:
Счастлив, кто с жизнью молодою
Простился в пламенном бою,
Кто убежал от уз и скуки
И славу мог купить за миг короткий муки!

Ничто, ничто не утопает
В реке катящихся веков:
Душа героев вылетает
Из позабытых их гробов
И наполняет бардов струны
И на тиранов шлет народные перуны!

Между мартом и августом 1821

72. К АХА́ТЕСУ

Ахатес, Ахатес! ты слышишь ли глас,
Зовущий на битву, на подвиги нас? —
Мой пламенный юноша, вспрянь!
О друг, — полетим на священную брань!

Истлѣвшій шарфъ въ груди лелѣя,
И ударяя по струнамъ,
Меня надзвѣздный Маниѳъ храмъ:-
Возсяду-ли счастливецъ тамъ
Близъ Пушкина и близь Тиртея?-

Къ Туманскому
(Парижъ въ Апрѣлѣ 1821.)

Туманскій, Туманскій! ты слышишь-ли гласъ,
Зовущій на битву, на подвиги насъ?
Мой пламенный юноша, вспрянь!
О другъ, полетимъ на священную брань!

* *
*

Кипитъ въ нашихъ жилахъ веселая кровь;
Къ свободѣ, къ безсмертью горитъ въ насъ любовь;
Мы Россы, мы юноши. Намъ
Летѣть къ Марафонскимъ, къ священнымъ знаменамъ!—

* *

Кипит в наших жилах веселая кровь,
К бессмертью, к свободе пылает любовь,
Мы смелы, мы молоды: нам
Лететь к Марафонским, святым знаменам!

Нет! нет! — не останусь в убийственном сне,
В бесчестной, глухой, гробовой тишине;
Так! ждет меня сладостный бой —
И если паду, я паду как герой.

И в вольность и в славу, как я, ты влюблен,
Навеки со мною душой сопряжен!
Мы вместе помчимся туда,
Туда, где восходит свободы звезда!

Огонь запылал в возвышенных сердцах;
Эллада бросает оковы во прах!
Ахатес! нас предки зовут —
О, скоро ль начнем мы божественный труд!

Мы презрим и негу, и роскошь, и лень.
Настанет для нас тот торжественный день,
Когда за отчизну наш меч
Впервые возблещет средь радостных сеч!

Тогда, как раздастся громов перекат,
Свинец зашипит, загорится булат, —
В тот сумрачный, пламенный пир,
«Что любим свободу», поверит нам мир!

Апрель 1821, Париж; начало 1820-х годов

73. НА РЕЙНЕ

Мир над спящею пучиной,
Мир над долом и горой;
Реин гладкою равниной
Разостлался предо мной.

Легкий челн меня лелеет,
Твердь небесная ясна,

С тихих вод прохлада веет:
В сердце льется тишина!

Здесь, над вечными струями,
В сей давно желанный час,
Други, я в мечтаньях с вами;
Братия, я вижу вас!

Вам сей кубок, отягченный
Влагой чистой и златой:
Пью за наш союз священный!
Пью за русский край родной!

Но волна бежит и плещет
В безответную ладью:
Что же грудь моя трепещет?
Что же душу тьмит мою?

Встали в небе великаны,
Отражает их река:
Солнце то прорвет туманы,
То уйдет за облака!

Слышу птицу предвещаний:
Дик ее унылый стон;
Светлую толпу мечтаний
И надежду гонит он.

О! скажи, жилец дубравы,
Томный, жалобный пророк,
Иль меня на поле славы
Ждет неотразимый рок?

Или радостных объятий
К милым мне не простирать?
И к груди дрожащей братий
При свиданьи не прижать?

Да паду же за свободу,
За любовь души моей,
Жертва славному народу,
Гордость плачущих друзей!

Декабрь 1820 или начало 1821

74. К ДОМОСЕДУ

Родимых стен минутный посетитель,
Едва, мой друг, тебя я мог обнять,
Едва твою благословил обитель, —
И вновь я должен в руку посох взять!
Знать, видит тот благой, но строгий гений,
Кто устрояет мой житейский путь,
Что от тоски, восторгов и мучений
Еще душой мне рано отдохнуть.
Но что же ждет меня в дали туманной
И чей зовет меня могущий глас
К седым хребтам, в край, ужасом избранный,
За страшный, мглой одеянный Кавказ?
Иль под лучом губительного Феба —
В глухой стране, в пылу нежданных сеч,
Где обнажен быть вечно должен меч,
Найдет тебя, о счастье, житель неба?
Тебя я долго ждал в родном краю,
Тебя искал под чуждою лазурью;
Я схвачен вдруг предательскою бурью,
И ты — ужель наполнишь грудь мою?
Тебя я жаждал в диком сладострастье,
В Поэзии, в Свободе и Любви,
И гаснет уж огонь моей крови, —
Но я по слуху только знаю счастье!
О, счастлив тот один, кто с чистотой
И с миром чувств не думал расставаться.
К нему хариты любят собираться,
И муз зовет их давний друг покой!
Сколь дни твои, мой домосед, прелестны!
Как тихо с милою они текут!
Не шумом, не грозой они известны, —
Хранитель их живой и верный труд!
А я — лишь об одном молю судьбину
(Иль вовсе там ко мне пощады нет?) —
Да встречу я без бурь хотя кончину,
Как ты провел всю жизнь, о мой поэт!

1821

75. К БАРОНУ РОЗЕНУ

В дороге жизни на мгновенье,
Земляк, я встретился с тобой
И полюбил тебя душой.
И грустно для меня с тобою разлученье!
Одной подвластны мы судьбе:
Ко мне она была сурова,
Не слишком ласкова к тебе;
Но что прошло, о том ни слова!
А разве ныне оживлю
Минувшей младости златые наслажденья
И их спасу на миг от жадного забвенья!
О милый мой, как я мечтать люблю
О пышных берегах, о рощах Морфонтена!
Как часто уношусь я в даль,
В Сенклуские леса, в приветливый Версаль! —
И для тебя всегда любезна будет Сена:
Когда шумели там славянские знамена
И на заре своей
Ты лавр уже успел сорвать между мечей,
От брани отдыхал средь новых ты друзей
В объятиях любви, средь сладостного плена!
Но не в одном чужом краю
С твоей мечтой моя должна слетаться дума:
Не оба ль помним мы и здесь страну свою,
Хранимую всегда от браней и от шума! —
Быть может, скоро ты увидишь те луга —
Луга Эстонии и мирной и счастливой,
Где я не знал, что есть тоска,
От коих рано нас отторгнул рок ревнивый!
Ты скоро их увидишь, друг,
Прекрасных девушек, пастушек светлооких!
Земляк! когда тебя обстанет милых круг
И спросит о странах далеких,
Тебя обворожит речей знакомых звук, —
Забудешь горы ты, стремнины и утесы,
И сечи быстрые, и сумрачный Кавказ.
Исчезнут для тебя чеченцы и черкесы;
Весь мир твой будет взор прелестных, тихих глаз, —
Земляк, я не сержусь, — не вспомнишь ты о нас!

1821
Георгиевск

76. ЕРМОЛОВУ

О! сколь презрителен певец,
Ласкатель гнусный самовластья!
Ермолов, нет другого счастья
Для гордых, пламенных сердец,
Как жить в столетьях отдаленных
И славой ослепить потомков изумленных!

И кто же славу раздает,
Как не любимец Аполлона?
В поэтов верует народ;
Мгновенный обладатель трона,
Царь не поставлен высше их:
В потомстве Нérона клеймит бесстрашный стих!

Но мил и свят союз прекрасный
Прямых героев и певцов —
Поет Гомер, к Ахиллу страстный:
Из глубины седых веков
Вселенну песнь его пленила —
И не умрет душа великого Ахилла!

Так пел, в Суворова влюблен,
Бард дивный, исполин Державин;
Не только бранью Сципион,
Он дружбой песнопевца славен:
Единый лавр на их главах,
Героя и певца равно бессмертен прах!

Да смолкнет же передо мною
Толпа завистливых глупцов,
Когда я своему герою,
Врагу трепещущих льстецов,
Свою настрою громко лиру
И расскажу об нем внимающему миру!

Он гордо презрел клевету,
Он возвратил меня отчизне:

Ему я все мгновенья жизни
В восторге сладком посвящу;
Погибнет с шумом вероломство,
И чист предстану я пред грозное потомство!

1821

77. ГРИБОЕДОВУ

Увы, мой друг, как трудно совершенство!
И мне его достигнуть ли когда?
Я рано назвал призраком блаженство —
Ужель и дар мой и восторг мечта?

А если нет, избегну ли забвенья?
Не схватит ли меня, до достиженья,
Когда уже мне видится венок,
В средине самой моего теченья
Неумолимый рок?

Жилец возвышенного мира,
Я вечно буду чужд земных цепей.
Но, ах! меня спасет ли лира?
Избегну ли расставленных сетей?
Как мне внизу приметить гнусных змей?
Быть может, их нога моя попрала,
И уж острят убийственные жала!

Но ты, ты возлетишь над песнями толпы!
Тебе дарованы, Певец, рукой судьбы
Душа живая, пламень чувства,
Веселье светлое и тихая любовь,
Златые таинства высокого искусства
И резво-скачущая кровь!

О! если я сойду к брегам туманной Леты
Как неизвестная, немая тень, —
Пусть образ мой, душой твоей согретый,
Еще раз узрит день! —

Я излечу на зов твой из могилы,
Развью раскованные крилы,
К златому солнцу воспарю —
И жадно погружусь в бессмертную зарю!

1821
Тифлис

78. РАЗУВЕРЕНИЕ

Не мани меня, надежда,
Не прельщай меня, мечта!
Уж нельзя мне всей душою
Вдаться в сладостный обман:
Уж унесся предо мною
С жизни жизненный туман!

Неожиданная встреча
С сердцем, любящим меня, —
Мне ль тобою восхищаться,
Мне ль противиться судьбе? —
Я боюсь тебе вверяться!
Я не радуюсь тебе!

Надо мною тяготеет
Клятва друга первых лет! —
Юношей связали музы,
Радость, молодость, любовь —
Я расторг святые узы!
Он в толпе моих врагов!

«Ни любовницы, ни друга
Не иметь тебе вовек!» —
Молвил гневом вдохновенный
И пропал мне из очей —
С той поры уединенный
Я скитаюсь меж людей!

Раз еще я видел счастье,
Видел на глазах слезу,
Видел нежное участье,
Видел — но прости, певец!

Уж предвижу я ненастье:
Для меня ль союз сердец?

Что же роковая пуля
Не прервала дней моих?
Что ж для нового изгнанья
Не ведут ко мне коня?
В тихой тьме воспоминанья
Ты б не разлюбил меня!

1821

79. К ПУШКИНУ

Мой образ, друг минувших лет,
Да оживет перед тобою!
Тебя приветствую, Поэт!
Одной постигнуты судьбою,
Мы оба бросили тот свет,
Где мы равно терзались оба,
Где клевета, любовь и злоба
Размучили обоих нас!
И не далек, быть может, час,
Когда при черном входе гроба
Иссякнет нашей жизни ключ;
Когда погаснет свет денницы,
Крылатый, бледный блеск зарницы,
В осеннем небе хладный луч!
Но се — в душе моей унылой
Твой чудный Пленник повторил
Всю жизнь мою волшебной силой
И скорбь немую пробудил!
Увы! как он, я был изгнанник,
Изринут из страны родной
И рано, безотрадный странник,
Вкушать был должен хлеб чужой!
Куда, преследован врагами,
Куда, обманут от друзей,
Я не носил главы своей,
И где веселыми очами
Я зрел светило ясных дней?

Вотще в пучинах тихоструйных
Я в ночь, безмолвен и уныл,
С убийцей-гондольером плыл, [1]
Вотще на поединках бурных
Я вызывал слепой свинец:
Он мимо горестных сердец
Разит сердца одних счастливых!
Кавказский конь топтал меня,
И жив в скалах тех молчаливых
Я встал из-под копыт коня!
Воскрес на новые страданья,
Стал снова верить в упованье,
И снова дикая любовь
Огнем свирепым сладострастья
Зажгла в увядших жилах кровь
И чашу мне дала несчастья!
На рейнских пышных берегах,
В Лютеции, в столице мира,
В Гесперских радостных садах,
На смежных небесам горах,
О коих сладостная лира
Поет в златых твоих стихах,
Близ древних рубежей Персиды,
Средь томных северных степей —
Я был добычей Немезиды,
Я был игралищем страстей!
Но не ропщу на провиденье:
Пусть кроюсь ранней сединой,
Я молод пламенной душой;
Во мне не гаснет вдохновенье,
И по нему, товарищ мой,
Когда, средь бурь мятежной жизни,
В святой мы встретимся отчизне,
Пусть буду узнан я тобой.

Апрель — май 1822

---

[1] Отправляясь из Виллафранки в Ниццу морем, в глухую ночь, я подвергся было опасности быть брошенным в воды.

80. ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Какой восторг меня объемлет?
Что так меня теснит и мой волнует дух?
Мой изумленный слух
Не лету ангела ли внемлет?
И хлад меня и трепет обуял:
В очах моих мечты и призраки мелькают,
Явятся вдруг, вдруг исчезают,
Весь волос поднялся и задрожал...

Знакомец мощный и прекрасный,
Ты в сердце мне вливаешь страх!
Дух благодатный, дух ужасный,
Весь утопаешь ты в лучах...
Куда с земли ты восхищаешь
Меня на огненных крылах?
На светозарных облаках
Куда с собою увлекаешь?

Он моей мольбы не слышит!
В даль и в даль меня влечет;
Мне зефир навстречу дышит:
В светлый край меня несет
Бурный, пламенный полет...
Мне знакомы эти воды,
Мил мне этот небосклон;
Здесь цвели сыны свободы:
О Пермесс! о Геликон!
О священная Эллада!
Узнаю твой храм, Паллада!
Вот народ твой, Аполлон!

И с высоты Олимпа, небу смежной,
Я вижу океан, спокойный, безмятежный,
И Пизу под собой.
Воскресли предо мной младого мира веки.
Бегут богов любимцы, греки,
На славный, всенародный бой.
О! дайте мне златую лиру,
Набросьте на меня порфиру,
Взложите на чело венок:

Совместник дерзостный Пиндара,
Я полон радости и жара:
Во мне пылающий змиегубитель бог!

Сраженье зрю певцов; пеанам их внимаю:
Над сердцем сограждан их властвуют уста;
Завидна их и сладостна мечта!
Так! соревнуя им, я слезы проливаю...
Парит над поприщем восторженный мой дух;
Свирели сладкий зов мой упояет слух,
Мне в перси льется нега...
Вдруг пыль взвилась от радостного бега.
Топóча землю, юноши текут;
На пламенных конях другие славы ищут:
Из рук иных стрела и диск и дротик свищут.
А вот и борцы поборают борцов;
Толпа на них смотрит друзей и отцов.
Их руки и ноги сплелись,
Их мышцы и груди срослись,
И длится их бой роковой;
Но вдруг молодой и прекрасный герой,
Прелестного Рóдоса счастливый житель,
Повергнул соперника, всех победитель.
Рыдает его престарелый родитель,
Боец знаменитый, седой Диагор;
Ожившего старца сияющий взор
С любимцем не может, не хочет расстаться:
Он первый теперь из пелажских сынов,
Из внуков Тантала и внуков богов.
В блаженстве посмеет ли с ним кто равняться?

Едва лишь сияние новой денницы
Края золотит облаков —
Бой новый для сильных готов.
Как вихорь летят колесницы,
До туч поднимается прах...
Но вот на родосских, на белых конях
Второй Диагóрид: он всех упреждает,
Он пальму у цели срывает.

Живого благочестья пóлны,
Народа потекли бесчисленные волны

В священный, благодатный лес
(Там сам присутствует Зевес,
Там пламень жертв пред ним и день и ночь
пылает).
На светлых юношей его маститый жрец
Венец бессмертный возлагает.
Минувших дней прославленный боец,
В небесном Диагор восторге утопает:
В сынах для старца жизнь былая воскресает.
Но вдруг они берут с главы своей венец:
Увенчан их венцом, руками их отец;
Они пред ним колена преклоняют,
Они родителя пред хором воздвигают,
И плещет и рыдает хор:
«Тебе уж нет желанья,
Все лучшие твои свершились упованья;
Умри, блаженный Диагор!»
И вот среди торжеств и воплей восклицанья
Он радостный смежил в объятьях милых взор.

Сколь сладостно блестишь, прелестное виденье,
Из тьмы давно исчезнувших веков!
Тебя постигло вдохновенье,
Но не возвысит дар стихов...
Блаженна та страна, где ты могло явиться:
Там целый был народ — поэт;
Но ныне наша жизнь, как вялый торг, влачится,
И состарел наш свет.

1822
Тифлис

81. ПРОРОЧЕСТВО

Глагол господень был ко мне
За цепью гор на береге Кира:
«Ты дни влачишь в мертвящем сне,
В объятьях леностного мира:
На то ль тебе я пламень дал
И силу воздвигать народы? —
Восстань, певец, пророк Свободы!
Вспрянь, возвести, что я вещал!

Никто — но я воззвал Элладу;
Железный разломил ярем:
Ее душа не дастся аду;
Она очистится мечем,
И, искушенная в горниле,
Она воскреснет предо мной:
Ее подымет смертный бой;
Она возблещет в новой силе!»

Беснуясь, варвары текут;
Огня и крови льются реки;
На страшный и священный труд
Помчались радостные греки;
Младенец обнажает меч,
С мужами жены ополчились,
И мужи в львов преобразились
Среди пожаров, казней, сеч!

Костьми усеялося море,
Судов могущий сонм исчез:
Главу вздымая до небес,
Грядет на Византию горе!
Приспели грозные часы:
Подернет грады запустенье;
Не примет трупов погребенье,
И брань за них подымут псы!

Но тщетны будут все крамолы:
Святая сила победит!
Бог зыблет и громит престолы;
Он правых, он свободных щит! —
Меня не он ли наполняет
И проясняет тусклый взор?
Се предо мной мгновенно тает
Утесов ряд, твердынь и гор!

Блестит кровавая денница;
В полях волнуется туман:
Лежит в осаде Триполицца,
И бодр, не дремлет верный стан!
Священный пастырь к богу брани
Воздел трепещущие длани;

В живых молитвах и слезах
Кругом вся рать простерлась в прах.

С бойниц неверный им смеется,
Злодей подъемлет их на смех:
Но Кара в облаках несется;
Отяжелел Османов грех!
Воспрянул старец вдохновенный,
Булат в деснице, в шуйце крест:
Он вмиг взлетел на вражьи стены;
Огонь и дым и гром окрест!

Кровь отомстилась убиенных
Детей и дев, сирот и вдов!
Нет в страшном граде пощаженных:
Всех, всех глотает смертный ров! —
И се вам знаменье Спасенья,
Народы! — близок, близок час:
Сам Саваоф стоит за вас!
Восходит солнце обновленья!

Но ты, коварный Альбион,
Бессмертным избранный когда-то,
Своим ты богом назвал злато:
Всесильный сокрушит твой трон!
За злобных тайный ты воитель;
Но будет послан ангел-мститель;
Судьбы ужасной не минешь:
Ты день рожденья проклянешь!

Тебя замучают владыки;
На чад твоих наляжет страх;
Во все рассыплешься языки,
Как вихрем восхищенный прах.
Народов чуждых песнью будешь
И притчею твоих врагов,
И имя славное забудешь
Среди бичей, среди оков!

А я — и в ссылке, и в темнице
Глагол господень возвещу:
О боже, я в твоей деснице!

Я слов твоих не умолчу! —
Как буря по полю несется,
Так в мире мой раздастся глас
И в слухе Сильных отзовется:
Тобой сочтен мой каждый влас!

1822
Тифлис

82. ПРОКЛЯТИЕ

Проклят, кто оскорбит поэта
Богам любезную главу;
На грозный суд его зову:
Он будет посмеяньем света!

На крыльях гневного стиха
Помчится стыд его в потомство:
Там казнь за грех и вероломство,
Там не искупит он греха.

Напрасно в муках покаянья
Он с воплем упадет во прах;
Пусть призовет и скорбь и страх,
Пусть на певца пошлет страданья;

Равно бесстрашен и жесток,
Свой слух затворит заклинанью,
Предаст злодея поруганью
Святый, неистовый пророк.

Пройдет близ сумрачного гроба
Пришелец и махнет рукой,
И молвит, покивав главой:
«Здесь смрадно истлевает злоба!»

А в жизни — раб или тиран,
Поэта гнусный оскорбитель, —
Нет, изверг, — не тебе был дан
Восторг, бессмертья похититель!

Все дни твои тяжелый сон,
Ты глух, и муз ты ненавидишь,
Ты знаешь роковой закон,
Ты свой грядущий срам предвидишь.

Но бодро радостный певец
Чело священное подъемлет,
Берет страдальческий венец
И место меж богов приемлет!

1822

83. ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ

Тот дух, который к Моисею
В горящей купине сходил,
Дух славы, и огня, и сил, —
Объял меня: им пламенею!
Закон его поведать рвусь;
А вы смиритесь, человеки!
Да смолкнут ваши мне упреки:
Над вами я не возношусь!

Так! давит бремя преступлений
Всех более мою главу:
Я на себя же суд зову;
Но не спасусь от вдохновений!
Благоухающий ливан
Пребудет чист и в ломкой чаше;
Окуйте же вниманье ваше;
Я весь восторгом обаян.

В моих руках трепещут струны;
Блестит огонь в моих очах,
И веет буря в волосах,
И с уст моих падут перуны...
Летит: туман его покров;
Послы ему предъидут громы;
На крыльях ангелов несомый,
Вещает к смертным Саваоф:

«Да будет вами чтим родитель,
И мать да будет почтена!
Тогда земля, всех благ полна,
Вам долголетняя обитель.
Благословляющий отец
Сынам и дщерям зиждет домы;
Но клятвой матери зовомый,
Их рушит гибельный конец!»

Кто буйным, яростным теченьем
Родимых отравит сердца,
Тот будет взят с земли лица,
Младой и скорбный, жадным тленьем;
А в кратком жизненном пути
Ему сопутствует несчастье,
Зовет и грозы и ненастье,
И кормит грусть в его груди.

Но кто, нечестьем диким шумный,
Слезой предвиденной кропит
Морщины их святых ланит, —
Проклят, проклят злодей безумный!
Ему на кару возрастут,
Как он свирепы, злые чада:
Он их проводит к дверям ада:
Не прежде сгинет, как умрут.

Для слабых смертных лик родимых
Есть божий благодатный лик:
Их драгоценен каждый миг, —
Не возвратить невозвратимых!
Из тьмы могильной не воззвать
Тяжелым дерном покровенных
Детей виною убиенных,
Разгневанных отца и мать!

Сам бог детей покорных любит,
Блюдет их, пестует, хранит:
Над их главой господень щит;
Их мир коварный не погубит.
Кого отец благословил,
Благословят того и братья;

А мать превысит и проклятья
Мольбами пред владыкой сил.

Да будет вами чтим родитель,
Да будет матерь почтена!
Не ею ли вам жизнь дана?
Не он ли чад своих хранитель?
Их драгоценен каждый миг:
Не возвратить невозвратимых;
Для слабых смертных лик родимых
Есть божий благодатный лик.

Между 1821 и 1823

84. К ЕВМЕНИЮ ОСИПОВИЧУ КРИШТОФОВИЧУ

Не осуждай меня, Евмений:
Я своенравен, как дитя;
Не на заказ и не шутя
Беседует со мною Гений.

Он, неожиданный, слетает:
Не приманит его мольба,
Он так таинствен, как судьба;
Из бездны сердца он вещает.

Крыло прострет ли надо мною, —
Огонь горит в моих очах;
Восторг и боль, любовь и страх
Играют млеющей душою.

Он будит прошлые страданья,
За счастьем в будущность летит,
Зовет эринний и харит,
Богов, героев и мечтанья.

Вовеки не скует искусство,
Не купит злато гордых муз:
Их вечен с вольностью союз,
И в песнях их пророчит чувство.

Когда люблю и ненавижу,
Из жизни скорбь и радость пью:
Тогда свободно я пою,
Олимп, бессмертье, Феба вижу.

Но чтоб я в скучный час досуга,
Холодный, не влюбленный в них,
Точил на милых акростих, —
Напрасно требуешь от друга.

1822 или 1823

85. УПОВАНИЕ НА БОГА

На бога возложу надежду:
Не он ли в мир меня облек?
Не он ли черную одежду,
Хулу и скорбь с меня совлек?

Мои враги торжествовали;
«Погибни!» — их вещал язык.
Но бог богов на них приник:
Злодеи в козиях обнищали.

Он правоту мою явил,
Как луч полуденный и чистый,
Как блеск бесчисленных светил;
Воздвиг меня на холм кремнистый
И кровом крыл своих покрыл!

Десницу к звучному орга́ну
Простру и воскрылюсь душой:
Тебя, мой боже, славить стану;
Ты меч, и щит, и панцирь мой!

Глагол, с небес в меня вложенный,
Как гром, промчится в времена, —
Дивясь, умолкнут племена;
Свой слух преклонят изумленный
Моря, и дол, и вышина.

Гремите же, святые струны,
Пред богом: он хранит певца!
Раздайтесь до миров конца;
Летите, звучные перуны,
Разите гордые сердца!

1822 или 1823

86. <ПЕСНИ ИЗ ПОВЕСТИ «АДО»>

1

Государь ты, светлый месяц,
Что сверкаешь в облаках?
Не блистай, отец, над нами,
Не открой пришельцу нас!

Волк за хатой завывает,
Но я волка не боюсь!
Мне ужасен барский голос,
Голос твой, железный муж!

Мадли, дней моих подруга,
В Майцме вместе мы росли.
Ах, убит жених твой, Мадли,
Ты ж — убийц его раба.

Ты для немца ложе стелешь,
На него прядешь и ткешь!
Что ж еще ты, Мадли, дышишь?
Мадли, я бы умерла!

2

Ах! не чайка, кружася, носится,
Не лебедь крыльями взмахивает, —
Плывут молодцы корабельщики,
Корабельщики, гости русские,
Плывут молодцы к Новугороду,
К Новугороду, ко великому!
Гой ты, батюшка, славный Новгород,
Гой ты, город наш белокаменный,

Изукрашен церквями божьими, —
Ко святым мощам мы приложимся,
Образам святым мы помолимся;
Мы на детушек полюбуемся,
Полюбуемся на сожительниц,
На младых девиц, на невест своих!
Красным девушкам подареньице —
Серги светлые красна золота;
Женам ласковым подареньице —
Платье новое, камки хрущятой!
Гой ты, батюшка, славный Новгород!
Кто поднимется против стен твоих?
Кто восстанет на бога русского?

3

Вдаль плыву по Пейпусу,
Горестный изгнанник.
Воспою Отечество —
Слушай, слушай, странник!

Наши нивы тучные
Кони немцев топчут,
Под бичом мучителя
Старцы тщетно ропщут;

Девы обесславлены,
Юноши в неволе,
Кости наших витязей
Тлеют в чистом поле!

Вдаль плыву по Пейпусу,
Горестный изгнанник.
Воспою Отечество —
Слушай, слушай, странник!

4

На брегу чужой реки
Одинок тоскую;
Грустно в дальней стороне
Воду пить чужую!

Ах, зачем я не сокóл?
Полетел бы к милым!
В их дремучие леса,
К их холмам унылым!

В те места, где злой пришлец
Зрит, смеясь, их слезы,
Где одна глухая ночь
Слышит их угрозы!

Полетел бы я туда,
К ним, к родным, в объятья!
На пришельцев бы восстал!
С вами б умер, братья!

———

На брегу чужой реки
Ты почто тоскуешь?
Нор, воздвигнись! потеки!
Вспомни край родимый!

Что ты медлишь, храбрый Нор?
Нас пришлец терзает!
Варвар долы, луг и бор
Кровью напояет!

5

Душа моя полна боязни!
Однажды долгу изменив,
Злодей не минет поздней казни:
Суд божий справедлив!

Пусть был решителем сражений,
Высокой башней среди сеч:
Вдруг сломится, как лед весенний,
В его деснице меч!

Как жатву зрелую, Каратель
Пожнет главы его друзей;
Их жизнь неведомый предатель
Погубит в цвете дней!

Увы! почто певец оставил
Твои струи, родной поток?
Почто в чужбину путь направил?
Я раб твой, грозный рок!

Деля беспечно хлеб надменных,
Смиренный делит жребий их, —
Судьбу на гибель обреченных,
Возданье дел чужих!

6

Что ты, Машенька, призадумалась?
Что, голубушка, пригорюнилась?
Ах! пришла пора тебе, Машенька,
Пора бросить житье девичье,
Расплести свои косы черные,
Дом покинуть родного батюшки!
Не за тем ли ты пригорюнилась?
Не на то ли, свет, призадумалась?

7

Уж вы девицы, вы затейницы,
Вы, головушки неразумные!
Что вы шутите над невестою?
Что смиренницу в краску вводите?

Вы зачем сами льете олово?
Петуха овсом зачем кормите?
За ворота те, за широкие,
Вы зачем вечор выбегаете?

Имя молодца зачем просите:
«Расскажи ты нам, добрый молодец!
Как зовешься, сударь, по имени?
Как по отчеству, сударь, кличешься?»

1822 или 1823

87. А. С. ГРИБОЕДОВУ
ПРИ ПЕРЕСЫЛКЕ К НЕМУ В ТИФЛИС МОИХ «АРГИВЯН»

Воспрянь, душа моя, покинь унылый берег
Днепровских помертвелых вод:
Приветствуй полдень и восход!
За яростный, кипящий Терек
Теки, как в облаках младой орел течет,
Стреми, расширь златые крила,
Стреми за горы свой полет,
Купайся в пурпуре весеннего светила!

Над сладким долом понесись,
Лети за скалы Ананура,[1]
В высококаменный Тифлис,
На острова живого Кура
С пределов горних ниспустись!

В одежде легкого тумана
Предстань певцу в прозрачной тьме
На тихом злачном том холме,
Где ныне, может быть, он запах Гулистана[2]
Вбирает жадною душой,
Где старец вечно молодой,[3]
Где музы пышные святого Фарзистана[4]
Парят над вещею главой!

Уже я зрю тебя, тебя, страна златая!
Поэту я вручу камен ахейских дар:
Не он ли воспитал во мне их чистый жар?
Они его: моя прелестная Аглая,[5]
Мой пылкий Протоген,[6] мой гордый Тимофан,[7]
Им был мне новый пламень дан!
И се под светлым небосклоном
Мне вдруг явилась их воздушная семья!
С любимцем дум моих, с моим Тимолеоном,[8]

---

[1] Первое пограничное Кавказу местечко в Грузии.
[2] Гулистан, цветник, творение Саади.
[3] Саади.
[4] Фарзистан — Персия.
[5] [6] [7] [8] Аглая, Протоген, Тимофан, Тимолеон — действующие лица моей трагедии.

Как матерь нежная, носился долго я,
Но неисторгнутый, о милый друг, тобою,
Он был бы подавле́н враждебной мне судьбою!

20 января 1823
Закуп

88. К КРИШТОФОВИЧУ

Будь счастлив, друг, в своем приюте тихом
В объятиях подруги молодой!
А я — прости! дорога предо мной:
Не помяни меня, Евмений, лихом!
Ты в пристани, ты можешь отдохнуть
В семье своей от жизненной работы;
Прошли твои печали и заботы,
Но мой еще суров и мрачен путь!
И что ж скажу тебе я на прощанье,
Приятель мой и бывший мой сосед? —
Пусть оживет в тебе о мне воспоминанье
Хоть изредка! и ты скажи: «Поэт
Из всех встречавшихся мне человеков,
Господ, и слуг, и нищих, и вельмож,
Смолян, жидов, французов, немцев, греков,
Ни на кого — признаться — не похож!
Но я его причуды забываю:
Не может тот, кто заключил союз
С высоким богом своенравных муз,
Во всяком деле походить на стаю
Соседей, дядей, тетушек, родных,
Своих друзей и недругов своих!»

Июль 1823

89. 17 СЕНТЯБРЯ
(1823)

Надежда, Вера и Любовь,
Куда, волшебницы, умчались?
Вас в жизни я узрю ли вновь?
Сколь вы прелестны мне являлись!
Я нежил вас в душе моей.

Я вас берег, лелеял с страхом.
Так! вами возвышен над прахом,
Бестрепетен среди мечей,
Я бодро гнался бы за славой,
Я бы достиг меты своей,
И, падая, герой кровавый,
Я имя отдал бы векам,
А дух бессмертный небесам!
Но ах — однажды, в день унылый
Я вас ищу в моей груди —
По неизвестному пути
Вы улетели, легкокрылы,
И все мои завяли силы!

17 сентября 1823

90. НАДЕЖДЕ ПАВЛОВНЕ ШУЛЬЦОВОЙ

Над путником ревели громы;
При блеске змиивидных стрел
Из туч и дождь и град шумел.
Но светлой радугой ведомый,
Прелестной в дальних небесах,
Он с свежей бодростью в очах
Идет и презирает бури.
И вдруг средь сладостной лазури
В живых, пленительных лучах
Златое прорвалось светило,
Хаос свирепый победило
И гонит пагубу и страх.
И мне явилась в день ненастный
Пророчица веселых дней,
Надежда, свет души моей;
И соименницы своей
Она приняла вид прекрасный,
Ее приветный, тихий взор,
Ее улыбку, разговор,
Ее и поступь и одежду.
Но я небесную Надежду
Познал и благостным богам
Возжег священный фимиам.

Сентябрь 1823

91. СВЯТОПОЛК

(Сага)

ЧАСТЬ I

1

Светило дня ликует в полдень ясный;
Но вечер: вдруг исчез
В грозе ревущей лик его прекрасный,
Шатнулся свод небес.

2

Был славен на Руси Владимир старый,
Счастливый властелин;
Он поседел; возникли скорбь и свары;
Отпал мятежный сын:

3

Склонился Ярослав на голос веча,
С себя свергает дань...
На Русь нахлынет казнь, начнется сеча,
Дрожите! грянет брань.

4

Трубят в поход: властитель раздраженный
Сам вспрянул на коня.
Но вдруг с коня, недугом пораженный,
На ложе пал, стеня.

5

И старец закатился средь печали.
Рыдает верный полк,
Бояре, Киев, витязи взрыдали;
Подъялся Святополк,

6

Багровой, бедоносною луною
Взошел на нашу твердь;
Шумящей льются от него рекою
Стон, пáгуба и смерть.

7

Взошел, — и кровью братьев драгоценной
Насытиться спешит:
Погиб Борис, умучен Глеб смиренный,
Князь Святослав убит.

8

Губитель их родимый край терзает,
Пьет кровь и слезы он:
Сам бог на Русь злодея насылает,
От бога плач и стон.

9

Вотще встает за падших Новград смелый:
Не клятвой ли отца
Завеян вождь в варяжские пределы
От вражия лица?

10

Он свой мятеж оплакивает ныне,
Он по стране родной
Тоскует в мрачной, западной пустыне,
Он сердцем рвется в бой.

11

«Мы согрешили, мы виновны сами:
О господи! Ты прав! —
Так, пав на землю и всплеснув руками,
Промолвил Ярослав. —

12

Ты ж юности безумной преступленье
На мне взыщи, на мне!
Помилуй их! о! дай отдохновенье
Родной моей стране!»

13

Назад плывет отчизны защититель
От скал далеких тех:
«Святой Борис! ты щит наш и хранитель,
Ты выкупил наш грех».

14

А Святополк зовет на край родимый
Разлитье польских сил:
Полками Болеслав неукротимый
Весь север наводнил.

15

Сгубил свое дитя отец жестокой:
Вручил злодею дщерь;
Стал под венец с княжною светлоокой
Коварный, лютый зверь.

16

Стремишься ты, потомок Ванды, к бою,
Воюешь ты по нем;
А он, твой сын, стоит он над тобою
В глухую ночь с ножом!

17

Но что? увы! какой позор плачевный!
Что бедный наш народ?
Был тяжек твой приход, властитель гневный,
Ужасен твой исход!

18

Сними, Владимир, родины святитель,
Проклятье с наших глав!
Из-за моря приплыл наш избавитель,
Отец наш, Ярослав.

19

Всесильный боже! ты простри десницу,
Как древле простирал:
Ты ужас, стон, трясенье на убийцу,
На Каина наслал. . .

20

Ужели новый Каин, кровопийца,
Убийца братьев брат,
Не так падет, как с неба пал Денница
В кипящий, жадный ад?

ЧАСТЬ II

21

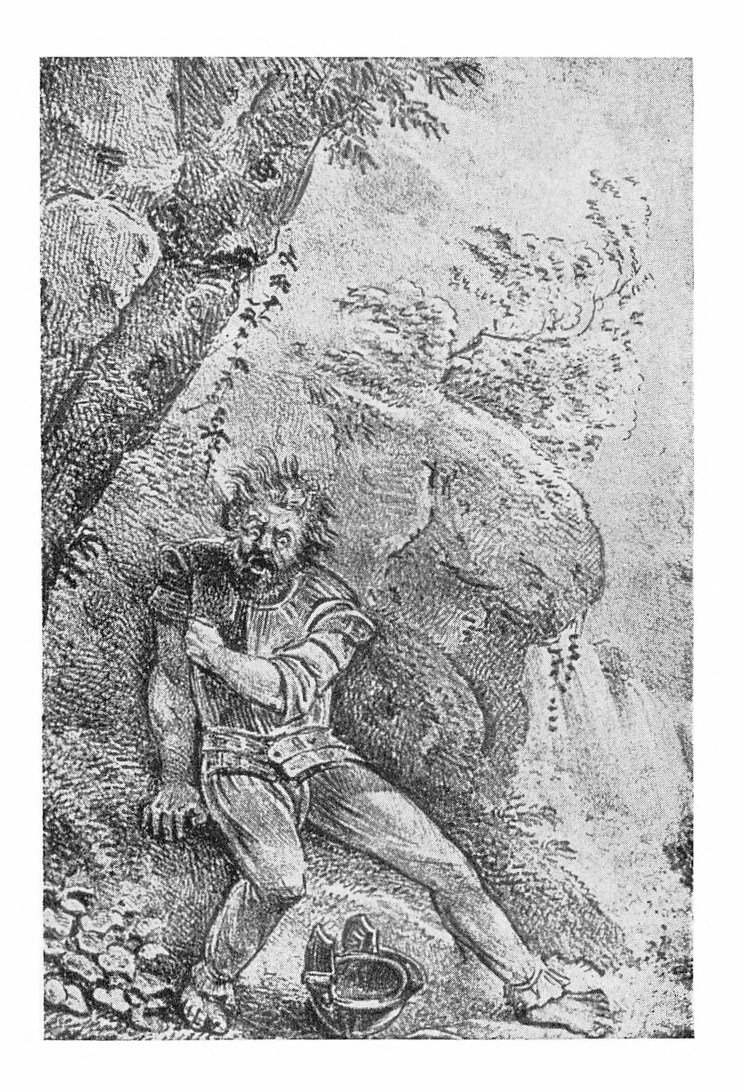
Хоругвям нет числа, нет сметы чолкам,
Не умолкает гром:
Князь Ярослав со князем Святополком
Воюет над Днепром.

22

Трикраты день, тяжелой мглой объятый,
Багровит небеса.
За мрачным днем скрывает ночь трикраты
Поля, холмы, леса;

23

Блеснет звезда — и воют трубы брани;
Закатится звезда —
Враги меча не выбросят из длани,
Не сбросят с плеч щита.



[illegible]
сиянье солнца в полусне...
[illegible] средь [illegible]
Сквозь радостных небес
Сквозь вечер — лик его
прекрасный
С чистых полях исчез.

[illegible] на Руси Великий
Счастливый Влади[illegible]
Закат [illegible] его [illegible]
Мрачный [illegible]

[illegible] Великий [illegible]
[illegible]
[illegible] бояре [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] казалась [illegible]
[illegible]
[illegible] вечной [illegible]
[illegible]
Над Волховом, [illegible]
Как часто [illegible]
Он [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] на [illegible]
[illegible]
[illegible] за [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] в кремль [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

24

Воздвиглись дети древнего Славена,
Восстал на брата брат:
Не скоро же совьются их знамена;
Их голоден булат.

25

Прах топотом их ног до туч взлетает,
Разливом ярых волн
От тел из русла Альта выступает;
Весь воздух стона полн.

26

Не все свои, — есть и чужие гости
За трапезой войны:
Здесь, пришлецы, оставите вы кости,
В песках моей страны!

27

Да! ляжешь здесь и ты, варяг отважный!
Грабитель и герой,
Ты к нам примчался по равнине влажной
На славу и разбой. . .

28

Послышал свар своих врагов суровых
Злодей наш печенег:
За Доном кочевал в лугах шелковых,
Но радостен прибег.

29

Без пастыря в равнине необъятной
Блуждайте ж, табуны:
Обратно в свой шатер с потехи ратной
Не вступит сын войны.

30

Ты только не пришел за Болеславом,
Надменный, шумный лях!
Ты не упьешься на пиру кровавом
В черниговских полях:

31

Руки железной не прострет к булату
За зятя грозный тесть;
Уж он изведал Святополка плату,
А в Храбром память есть.

32

И с часу на́ час возрастает боле
Трехдневный, страшный бой;
Вздымилося от смрада трупов поле,
Оделось небо мглой.

33

Дол гробом стал, гора и холм могилой;
На трепетных телах
Враг режется с врагом... Вдруг дивной силой
Их разнимает страх:

34

Открылся среди облак сонм блестящий,
Крылатый, чудный полк;
Их лица жгут, перун их меч горящий!..
Затрясся Святополк,

35

Заво́пил: «Побежим, спасемся, други!
Преполнен мой сосуд;
Вы видите: живого бога слуги
Несутся, — нас женут!»

36

Тогда орел над Ярославом взвился:
Шатнулся печенег;
Удалый рус в ряды его врубился,
Ударились в побег.

37

Не вепрь, копьем навылет пораженный,
В заглохший кроясь бор,
Грозит клыком и мещет раскаленный
На стаю гончих взор, —

38

Под градом стрел, в уход от них стремится
Кровавый Святополк;
Так в облаках зловещий вран кружится,
Так в дебри рыщет волк.

39

Бежит тиран, муж крови, раб боязни,
Являет тыл врагам;
С ним на коне несется ангел казни,
Смерть скачет по пятам.

40

Его душа добыча всех мучений,
В свирепом сердце ад;
Дрожит, как лист, своей трепещет тени,
Не взглянет он назад.

41

Но тише, тише: смолкнул гул сраженья,
Укрыл разбитых лес;
Всех впереди в туманах отдаленья
Князь Святополк исчез.

42

Над тучами возносят свод безмерный
Огромные врата;
Вблизи ж прохладу в глубине пещерной
И ночь найдут стада.

43

Тут две горы: их темя оснежает
Бессменная зима,
И по себе им имя нарекает;
Их кроет лед и тьма.

44

Средь этих камней и лесов дремучих
Ждет путника разбой;
Здесь удальцов бездомных и могучих
Витает дерзкий рой.

45

Но есть пришлец, который страх и трепет
Льет даже в их сердца;
Угрозу в их устах сменяет лепет,
Как встретят пришлеца.

46

Отчизна гор, страна отважных чехов!
Во мрак твоих ли скал
Покрытого остатками доспехов
Ад выходца исслал?

47

Свирепый пес, алчбою изнуренный,
В зной тяжкий одичал;
Вдруг вспрянул, — зев покрылся смрадной пеной,
Трясется — побежал, —

48

Так здесь и он блуждает сквозь туманы,
Дик, про́клят и один;
Его бичует струп и гложут раны;
Он мчится меж стремнин.

49

Вот сел на камень; мутен взор безумный:
Ревет в долине гром,
В ущельях завывает ветер шумный.
Он сорвал свой шелом,

50

Вперил во мглу неистовые очи,
Во мглу шелом метнул;
Медь звукнула, сверкнула в мраке ночи,
Трикраты звукнул гул.

51

«Примите череп брата, духи ада!
Примите, — вас зову!
Терзает, жжет огонь немого взгляда...
Прочь страшную главу!

52

Ты это, ты, Борис неумолимый!
Убит, зарезан мной...
И вот же ты поднялся невредимый
Из ночи гробовой!

53

А там, а там слиянный с паром неба
Несется Святослав;
О страх! о ужас! призрак, образ Глеба,
С чела до ног кровав!

54

А вы, страдальцы, вы, мучений чада,
Клевреты, — слышу вас:
Вы воете в вратах отверстых ада!
Зовет, зовет ваш глас...»

55

Он замолчал и встал, власы подъялись,
Он бел как саван был,
Всплеснул руками, воды всколыхались:
Он в бездну соскочил.

56

В ту бездну, всю окрестность оглашая,
С раската на раскат,
Гора валит, огромная, седая,
Кипящий водопад;

57

Извергнув труп, волнами сокрушенный,
Он ощущает гнев,
Заклокотал, испуган, раздраженный,
И утрояет рев.

1823

92. ЗАКУП

Сладкий глагол элегической, нежно тужащей камены,
Ты, о Тибуллов размер, о вожделеннейший стих,
Мною покинутый в час роковой, когда я впервые,
Зов Мельпомены познав, ямбом себя воружил! —
Снова к тебе обращаюсь теперь, утешитель в печалях:
Я тишину воспою, счастье родимой семьи!
Вас воспою, золотые холмы, вас, мирные долы;
Благословляю тебя, тихий, возлюбленный прах!
С каждою поздней зарей, при закате вечернего солнца
Дети, младенцы твои, гроб твой молитвой святят;

Пе́стун их, их осеняешь с небес незримою дланью,
Ловишь в пределах святых лепет невинных сердец!
Счастлив и в лоне могилы немой семьянин безмятежный,
В доме вдовицы твоей дух твой поныне парит!
Рядом с нею течет праматерь детей твоих милых, —
Пламень души молодой греет в ней древнюю кровь!
Лики отважных мужей, героев веков улетевших
В час одинокий зовут думы ее; и тогда
Вдруг для певца оживают они на устах ее мудрых;
Он готов их воспеть; витязей славить готов;
Рвется предать устремленным ушам удивленных потомков
Чистых, возвышенных дев, строгих, божественных жен,
В бой устремлявших их длань, за правду их меч извлекавших!
Ты же, матерь моя, будь для меня образец,
Памятник тех отцветших времен! да буду достойным
Сыном твоим! Клянусь именем вечно святым:
Честь до нисхода в могилу мне будет дороже блаженства,
Жизни ее предпочту! — Если же некогда я
В перси твои мятежным течением горести пролил, —
Нежная матерь, прости! Слезы твои осушу!
В образе доброй сестры мне посланный ангел-хранитель,
Или забуду тебя, Юлия, сладостный друг?
В скорбях не ты ль утешаешь меня; мои бури смиряешь?
Я ж, безрассудный, не раз жестокою платой тебе,
Словом суровым платил; угрюм, из очей твоих светлых
Плач выжимал и терзал нежную душу не раз!
Ах! с рождения я, обреченный мучитель любезных,
Грозной судьбою гоним, грусть за собою веду:
Ваш благодатный покой возмутил я неистовым сердцем!
Рощи, простите! луга, вы помяните меня!
К милым, о песни, падите ногам! мне добрую память
Тщитесь вымолить вы в дикий мой, сумрачный путь!
Песни, богатство мое! вы мне ль измените ныне?
Или из дома родных в даль без любви потеку?

1823

93. ПОЩАДА ПЕВЦА

Зевс, нахмурясь, глядел на древнюю грешницу землю;
Вдруг он из орлих когтей взял окрыленный перун;
Черные тучи созвал и небо завесил грозою,
Руку подъял и хотел казнями мир посетить.
В оное время поклонник богов и страстный любовник
К милой, в темную даль, шел беззаботный певец.
Пылкое сердце билось, шаги, удвояясь, летели.
Кары не зря над собой, он уже лес миновал:
Сад открылся ему, белеющий сладостным снегом
Флоры, в который она любит Помону рядить;
Там, между яблонь и груш, меж лип и берез благовонных,
Высится радостный дом, храм чудотворный туда
К теплым молитвам зовет толпу земледельцев смиренных;
Юноша добрый туда, к месту драгому, спешил.
Вдруг огонь разорвал темноту, и грянули громы,
Вихорь, кружась, поднялся; по полю черным столпом
Прах перед ним побежал; затмилась, смешалась окрестность:
Зевс раздраженный приник грозный на трепетный мир!
Феб из-за облака зрел, как яростный царь Уранидов
Страшного града схватил пагубный полную горсть,
Как он молнии шуйцей метал и десною занесся,
Да ударом одним юный посев истребит;
Ниву, заботу бессонных ночей, надежду селений;
Гибель предвидел Латой, жалостный бог, и печаль
Вкралася в душу его; пред отцом преклоняя колена:
«О Кронион! — возопил, — всё сокрушает твой гнев:
Дхнешь — и вселенна дрожит, речешь — и смущаются бездны!
Гордых титанов карай: горе и горе полкам
Злостных, дерзнувшим восстать на тебя, на царя-громовержца!
Но человеков щади — жаждущих, быстрых гостей
Там за ничтожным столом скупой, улетающей жизни!
В племени сем еще есть чтители вечных богов!
С трона склонись и взгляни: се мой и Киприды любимец!

Юпитер, если когда гласом камен я возмог
Скуку с бессмертного свеять чела и если Даная,
Мая и Леда тебе в отдых от царственных дел
Чашу отрад подносили когда — не пре́зри моленья,
Голосу сына внемли, будь милосерд и щади!»
Феб-Аполлон замолчал, всемощный отец улыбнулся:
Град дождем восшумел, в жаркой растаяв руке! —
Ожили рощи под ним, освежились холмы и долины:
Но лобызал до дождя милую страстный певец.

1823

94. УЧАСТЬ ПОЭТОВ

О сонм глупцов бездушных и счастливых!
Вам нестерпим кровавый блеск венца,
Который на чело певца
Кладет рука камен, столь поздно справедливых!
Так радуйся ж, презренная толпа,
Читай былых и наших дней скрыжали:
Пророков гонит черная судьба;
Их стерегут свирепые печали;
Они влачат по мукам дни свои,
И в их сердца впиваются змии.
Ах, сколько вижу я неконченных созданий,
Манивших душу прелестью надежд,
Залогов горестных за пламень дарований,
Миров, разрушенных злодействами невежд!
Того в пути безумие схватило
(Счастливец! от тебя оно сокрыло
Картину их постыдных дел;
Так! я готов сказать: завиден твой удел!),
Томит другого дикое изгнанье;
Мрут с голоду Камоенс и Костров;
Ш<ихматова> бесчестит осмеянье,
Клеймит безумный лепет остряков, —
Но будет жить в веках певец Петров!
Потомство вспомнит их бессмертную обиду
И призовет на прах их Немезиду!

1823

95. ПРИ ПЕРЕСЫЛКЕ И. И. ДМИТРИЕВУ СТИХОТВОРЕНИЯ «ПРОЩАНИЕ С ИТАЛИЕЮ»

Вас дождется ли мой Гений
Здесь, среди дворцов Москвы,
Рой крылатых вдохновений?
Некогда спускались вы
В блесках радостной денницы
На мой зов к утесам Ниццы!
В тихий и волшебный час
Я встречал, о музы, вас
Там, где сладостные волны
Нежат пышную страну,
Где пришлец, восторга полный,
Видит вечную весну!
Там при заунывном стоне
Рощ Орфея, Соловья,
Вспоминая о Миньоне,
Был объят восторгом я;
Там на голос Корифея
Бардов, Германа сынов,
Дивным жаром пламенея,
Славил древний край богов.
Вас, прелестные камены,
О небесные друзья,
Снова призываю я!
Патриарх певцов родных,
Ныне вторю, умиленный,
Пред тобою гул забвенный
Из времен моих былых,
Эхо песней молодых!

1823

96. <ВЯЗЕМСКОМУ>

Когда, воспрянув ото сна,
Воздвиглась, обновясь, Эллада
И вспыхла чудная война,
Рабов последняя ограда;
Когда их цепи пали в прах
И обуял крылатый страх
Толпу свирепых отоманов,

Толпу союзных им тиранов,
Гнетущих вековым жезлом
Немые Запада народы,
Казнящих ссылкой и свинцом
Возвышенных сынов Свободы, —
С Секванских слышал я брегов
Ваш клич, воскресшие герои,
Ваш радостный я слышал зов,
О вы, торжественные бои!
Хватая в нетерпеньи меч,
Я думал: там средь дивных сеч
Найду бессмертную кончину!
Но мне унылую судьбину
Послал неумолимый рок:
Мой темный жизненный поток
Безвестный потечет в истленье;
Увы, меня пожрет Забвенье!
А разве сохранит певца
Отважный голос упованья,
Мой стих, гремевший из изгнанья,
Разивший гордые сердца!
Развейся же, святое знамя,
Играй в воздушных высотах!
Не тщетное дано мне пламя;
Я волен даже и в цепях!
Чистейший жар в груди лелея,
Я ударяю по струнам;
Меня надзвездный манит храм —
Воссяду ли, счастливец, там
Близ Пушкина и близ Тиртея?

1823

97. ОХОТНИЧЬЯ ПЕСНЯ

Что в свете сравнится
С ловитвою смелой?
Ключ жизни веселой
Для ловчего бьет!

Рога загремели:
Олень устремился,

Помчалися кони,
Псы рвутся вперед!

Из дебри тенистой
Ловитель приносит
Рассказы и радость
На дружеский пир!

Под ивой ветвистой,
За чашей душистой
Не помнит заботы,
Пьет бодрость и мир.

Дианой серебрится
Час сладостной ночи;
С Дианой несемся
В прохладу лесов!

Там роющих ниву
Кабанов сражаем,
Волков кровожадных
При звуке рогов!

Что в свете сравнится
С ловитвою смелой?
Как счастлив, о други,
Отважный ловец!

Чрез мир пролетает
Могущий, веселый;
Без страха встречает
Нежданный конец!

Между 1821 и 1824

98

Судьбою не был я лелеян
В странах далеких и чужих,
Но бурный дух мой не утих:
Из Петрограда в град фокеян
За мной перуны понеслись;

В столице западного мира
Душе не обретал я мира;
Кавказ, и Терек, и Тифлис
На берегах волшебных Кира
Людьми гонимого певца
Грозой объятого встречали;
Но надо мной был щит отца,
Сень низсылателя печали!
Он не дал пасть мне до конца!
Смягчив жестокие сердца,
Он в грудь прольет мне утешенье,
В семье любезной и родной
Найду отраду и покой,
И сменит мир во мне волненье!

Между 1822 и 1824

99. К А. Т. ПУШКИНОЙ

Цветок увядший оживает
От чистой, утренней росы;
Для жизни душу воскрешает
Взор тихой, девственной красы.
Когда твои подернет щеки
Румянец быстрый и живой, —
Мне слышны милые упреки,
Слова стыдливости немой,
И я, отринув ложь и холод,
Я снова счастлив, снова молод,
Гляжу: невинности святой
Прекрасный ангел предо мной!

1823 или 1824

100. ЖРЕБИЙ ПОЭТА

Как путник, ветрами носимый
По диким, тягостным волнам,
По бездне вод необозримой, —
Стремит к невидимым звездам
Сквозь мрак ревущей полуночи
Спасенья жаждущие очи;
Как в страхе к дальным берегам

В слезах распростирает руки
(Там все его исчезнут муки,
Усталого ждет пристань там), —

Так я средь сердца грез мятежных,
Размучен бурною душой,
Добыча бедствий неизбежных,
Звал тщетно сладостный покой!
Нигде мне не было пощады:
Из края в край, из весей в грады
Я был преследован судьбой;
Нет, не могли святые струны
Гром оковать, связать перуны;
Ревели бури надо мной.

О! страшно быть сосудом бренным,
Пророком радостных богов!
Снедаемый огнем священным,
Внушителем златых стихов,
Тот предан в жертву грозной власти,
В ком песней жар питает страсти:
Его и самая любовь
Порабощает мрачным силам;
В нем шумно, яростно по жилам
Течет неистовая кровь.

В замену пред лицом Кронида
Всесилен вещих песней глас:
Им в темном аде Немезида,
Им в светлом небе Локсиас,
Им на земле века внимают,
И на главе певца считают
И сохраняют каждый влас.
Он входит в горние пределы,
Берет из длани Зевса стрелы —
И нечестивых страх потряс.

Гремят его хвалы и клятвы
До запада позднейших дней:
Он сеет их для верной жатвы.
Злодей, содрогнись и бледней,
Беги за волны Ахерона!

Вот лук, даянье Аполлона:
Он губит извергов и змей...
Уж роги тетива стянула;
Исчезни же! утроба тула
Полна мучительных смертей!

1823 или 1824

101. К БОГУ

Воздвигся на мою главу
Злодеев сонм ожесточенный:
Их жадным воплем оглушенный,
К тебе, о боже, воззову!
Во гласе чистых песнопений
Прославив в радостях тебя,
Тебя прославлю средь гонений!
Вручаю господу себя.
Какой влиялся мир чудесный
В мою растерзанную грудь!
Незапно светлостью небесной
Оделся мой житейский путь...
Восстал господь! бог мещет громы
На нечестивые толпы.
На вихрях яростных несомый,
Грозой подъялся царь судьбы.
Летят пред ним его рабы,
Летят, облачены в перуны,
Повиты молнией и мглой:
Одни златые движут струны,
Другие мощною рукой
Из облак, бурей окрыленных,
Погибель мещут на надменных.
Нет! не покинет он меня:
Исчезнет скорбь, промчится горе;
Благой десницей осеня,
Бог зрит меня в кипящем море.
Теките ж, гневные валы,
Разите, хляби, отовсюду:
Вы встретите отпор скалы;
К нему взываю; тверд пребуду!

<1824>

102. РОГДАЕВЫ ПСЫ

1

Венчав Александра главой своих сил,
Славяне и русы отважной рукою
Сражали соседей за светлой Невою:
Но город великий татарам служил.
Пусть ужас наслала святая София
На дикую душу злодея Батыя, —
Срда не ярилася в древних стенах,
Не пали священные храмы во прах,
Зажженные светочем брани:
Но всех ослепляющий страх
В Сарай отправляет позорные дани.

2

Бывало, пристанет надменный посол:
Он волк ненасытный; берет и хватает,
Богатых и бедных гнетет, и пугает
Упорных угрозой неслыханных зол.
На нем и средь мира воинские латы;
На вече под буркою, в шапке косматой
Он ходит; гремит в его туле стрела;
Он даже пред князем не склонит чела.
Все, храбрые даже, трепещут:
Гость, гра́жданин, житель села
Боязненный взор на грабителя мещут.

3

В то время был славен могучий Рогдай,
Разумный посадник и смелый воитель;
В советах и битвах успеха решитель,
Не раз защитил он отеческий край;
Повсюду срывал торжество и победы:
Пред сильным дрожали литовцы и шведы,
На сеймах крамольник пред ним умолкал.
Он, тверже бойницы, вернее забрал,
За Русь не щадил своей крови:
Но что же? могучий попал
В опасный полон неисходной любови.

4

Он вывез добычу, подарок войны,
За грозные сечи златую награду,
В трудах и заботах и скуке усладу —
Прелестную деву из дальной страны:
Однажды он, с горстию ратников дерзких,
Вломившися в сердце земель кавалерских,
Взял замок на скате ливонских холмов. —
Вторгаются россы по трупам врагов,
    Нежданные в час полунощи;
    С моста низвергают их в ров;
Колеблют победными кликами рощи.

5

Сквозь дротиков лес и сверканье мечей,
Под гулом последнего, дикого боя,
Вдруг дева является взорам героя,
Средь ужасов мрака, при блеске огней!
Он слышит: теряется стон ее томный;
Он видит: влечет ее хищник наемный,
Десницу опутавши шелком власов;
Широк в раменах, и силен, и суров,
    Из рук ее вырвав презренных,
    Вождь шепотом ласковых слов
Ее оживил среди стен полоненных.

6

Она зарыдала; ему отдалась;
Неделю казалась грустна и уныла,
Но скоро блистательных предков забыла
И в верности вечной Рогдаю клялась;
Построил ей терем Рогдай восхищенный
Над Волховом, рощею лип осененный:
Как часто туда на ретивом коне
Он мчался при сумрачной, тихой луне
    На отдых от славы и шума!
    Меж тем в православной стране
Всех дух растревожила тяжкая дума.

7

Сейм кончен; напрасно посадник один,
Один восставал на свирепого хана;
Уж собрана дань для неверного стана,
Уж с нею унесся баскак Нурредин.
Рогдая снедает живая досада,
Клянет малодушие древнего града;
Вступает в родительский пасмурный дом,
И бросился в креслы, и бросил шелом;
За стены дневное светило,
Златя их последним лучом,
Спокойное — в трепетный мрак заходило.

8

Сидит он безмолвный в разлившейся мгле
И смотрит в раздумьи на путь одинокой;
Но вдруг он воспрянул из скорби глубокой,
Вдруг радость блеснула на темном челе:
На крыльях любови, полетом отваги
Он рыщет чрез холмы, мосты и овраги
В свой терем любезный, в объятья драгой!
«При ней, — говорит, — я расстанусь с тоской:
Спеши же, спеши же, ретивый!»
Ретивый несется стрелой,
И вихорь восстал от разметанной гривы!

9

Сбивая в раздолах алмазы росы,
Травы прикасается звонкое стремя,
Но тихо для витязя катится время,
Лениво и тяжко влачатся часы! —
И вот сквозь пары уступающей нощи,
Сквозь ветви густые возлюбленной рощи
Пожаром зари загорелось стекло;
Тут страстное сердце в нем вдруг расцвело,
Воскреснули падшие силы,
Всю кровь его пламя зажгло,
Забилися бурно кипящие жилы!

10

«Заря! не свети моей милой в окно;
О солнце! постой: не всходи из-за леса;
Одень ее алою тьмою, завеса!
Помедли, о сумрак! мгновенье одно:
Пусть радость моя под твоими крылами
Еще и еще насладится мечтами!
Ты ж, сладостный ветер! от ропщущих струй
Повей ей дремотою, негой подуй!
  А ты, голубок пробужденный,
  Над гнездышком тише воркуй;
Храни, береги ее сон драгоценный!»

11

Коня привязав к золотому кольцу,
«Покоится, — шепчет он, — счастье Рогдая!»
И крадется витязь, едва наступая,
И с трепетом тайным идет по крыльцу.
Вот спальня, и в спальне роскошное ложе!
«Ее разбужу поцелуем!» — и что же?
Подходит и смотрит: ах! девицы нет!
Зовет — тишина ему грозный ответ!
  Колеблясь, он ищет опоры;
  Померкнул в очах его свет,
Смертельною тьмою подернулись взоры!

12

Вдруг страшный и яростный он побежал,
Как найденный лев из пустынной берлоги;
Беснуясь, летит из чертогов в чертоги,
И чу! — не гулит ли забытый подвал?
К подвалу! разрушил замок и заклепы;
Дворецкого видит и кличет свирепый:
«Где барышня? Кто, злополучный старик,
Здесь запер тебя? кто в мой терем проник?
  Главы не снесут его плечи!
  Молвь имя злодея и вмиг. . .»
Старик прерывает суровые речи:

13

«Здесь в доме тебе я был верен один:
Холопы твои разбежалися, барин!
Украл же девицу поганый татарин,
Коварный язычник, баскак Нурредин;
А с ней удалося бесстыдному вору
С собою увлечь твою лучшую свору!»
Пот хладный с геройского катит лица;
Он горестных слов не дослушал конца:
    В душе его дикие бури;
    Коня отвязав от кольца,
Он скачет под сводом рассветшей лазури.

14

Глядит — полосу через юный посев,
Их след обрели его жадные взоры;
Он рвется вперед через долы и горы,
И рвы, и заборы, и чащу дерев.
Просвищет ли в поле незапной грозою, —
Не тронув травы оперенной ногою,
Обымется облаком пышущий конь,
Посыплет от камней и дым и огонь,
    Весь потом и пылью покрытый;
    Хлыстом ретивого не тронь,
Он сам без бодцев окрыляет копыты.

15

Но витязь ласкает и треплет коня:
«Дай сбросить мне изверга в пропасть могилы;
Скорее, надежа, сбери свои силы;
В последний раз вынеси, верный, меня!
Последнюю, брат мой! яви мне услугу,
Последнюю дружбу бесчастному другу!
Будь ветром, товарищ! лети соколо́м!
За сеном душистым, за крупным овсом
    В прохладное примешься стойло;
    Сам я твоим буду рабом
И будет драгое вино тебе пойло!»

16

Вперед и вперед! — но за злачным холмом
Вдали не туман белоснежный синеет;
Над буркой крыло лебединое веет;
Зардевшись, горит дамаскинский шелом, —
И молодец гаркнул, перуном ретивый
Пустился по глыбам распаханной нивы;
Настиг своих выжлят могучий Рогдай:
Псы верные подняли радостный лай!
    Но кличет отчаянный мститель:
    «Разбойник, догнать себя дай!
Сорву с тебя голову; стой, похититель!»

17

Тогда богатырь на курган соскочил:
Он, гневный, трепещет от дерзостной речи;
Он ждет с нетерпением радостной сечи —
Вдруг дол застонал от удара их сил;
Свет гаснет средь вихрей подъятого праха,
И, выглянув, зверь, преисполненный страха,
Побегнул от места ужасного прочь
И кроется в глушь, в непроходную ночь;
    Но тщетно чингалища блещут;
    Равны их искусство и мочь,
И очи их равное бешенство мещут.

18

Давно уже длится их бой роковой:
«Ты добрый, скажу я, и храбрый воитель! —
Насилу дыша, говорит похититель. —
Послушай же умное слово, герой!»
Усталый посадник булат опускает.
«Напрасно мы бьемся! — злодей продолжает. —
Быть может, то будет угодно судьбе,
Ты сломишь меня в сей тяжелой борьбе;
    Но бойся, дрожи, победитель!
    Или ты уверен в себе?
Как знаешь, ей будет ли мил мой губитель?

19

Не лучше ли, витязь, решить ей самой?
Зачем нам сражаться? — Когда, выбирая,
Она предпочтет Нурредину Рогдая,
Клянусь, без нее ускачу я домой!»
Стал витязь и в тяжком раздумии мыслит:
«Кто женского сердца изгибы исчислит?
Но тщетной удачей себя он польстил:
Я свежую душу любить приучил.
Так! наши сердца породнились;
Я был ей, я буду ей мил!»
Весельем глаза его вдруг прояснились...

20

«Баскак, я согласен: мне верен успех!» —
Ордынцу он молвил и к ней обернулся.
Ах, как же жестоко герой обманулся:
Она поднимает убийственный смех,
Она подает похитителю руку!
Расскажет ли кто его адскую муку?
Увы! не глядит на их быстрый побег:
Он ходит и шепчет, хохочет и лег;
Плащом завернувшись широким,
Он хочет заснуть, и навек!
И вот они скрылись за холмом высоким!

21

В пустыне над ним протекают часы;
Но машут хвостом и кругом его скачут,
Вдруг станут над ним и завоют, заплачут,
Ласкают несчастного верные псы:
Заботливо лижут суровые раны!
Слетели с него гробовые туманы;
Взглянул злополучный, взглянул, зарыдал,
К ним руки простер, их к сердцу прижал:
«Придите в мои вы объятья,
Придите, о други! — сказал. —
Вы дороги мне, как бы кровные братья!»

22

Встает и на блеск велелепного дня
Задумчивый смотрит и пасмурным взором
Парит над холмами, над полем и бором,
Вздохнул и зовет ретиво́го коня;
Но в стремя занесть едва успел ногу,
Вдруг пыль поднялась и затьмила дорогу,
Вдруг гром от копыт поразил его слух;
Несется ордынец назад во весь дух:
«Собак уступи мне без драки;
Прошу у тебя их как друг!
Их девица хочет!» — «Хотят ли собаки? —

23

Тот молвил. — Татарин! пусть сами решат!
Без них ускачу я, когда, выбирая,
Они на тебя обменяют Рогдая!»
Сверкает от ярости хищника взгляд;
Но мощной рукой не хватая булата,
Он с смехом вещает на речь супостата:
«Расстанься же с ними! забудь своих псов!»
Он манит их сладостью ласковых слов;
Он свищет и бьет по колену,
Но видит ряд грозных зубов
И их не преклонит ничем на измену!

<1824>

103. ПЕРВОЕ МАРТА

А. Т. Пушкиной

Я ль день драгой и горестный забуду,
Когда на праздник твой сбиралися совсюду
Родные и друзья,
Когда безжалостной судьбою
Единый я
Был разлучен с тобой, с моей душою?
К тебе рвалося сердце, — ах! вотще!
Мелькал твой образ предо мною
В прелестной, сладостной, мучительной мечте;

Но, далеко от милой,
Напрасно в путь туманный я глядел, —
Мне в одиночестве блеснул и смеркнул день унылый!
Увы! и ныне тот же мне удел:
И ныне стала между нами
Тяжелая судьба моя!..
Но пусть морями, пусть горами,
Пусть злобой от тебя отторгнусь я:
Тебе принадлежу навеки, жизнь моя!
Ты ангел мой, ты мой хранитель-гений!
Нет! не для скорби создал нас творец:
В твоих объятьях наконец
От всех житейских отдохну волнений!

1 марта 1824 (?)

104. СМЕРТЬ БАЙРОНА

Уже с давнего времени предисловия не читаются, разве при книгах антиквариев; сочинители были от того в величайшем затруднении, ибо часто им встречалось писать о вещах, известных не всем читателям и, следственно, требующих пояснения. Для отвращения такой беды предисловия обратились в выноски внизу страницы; но сии выноски, полезные, даже необходимые в сочинении ученом, — вовсе неудобны в произведениях стихотворных, ибо совершенно развлекают внимание и некоторым образом уничтожают ту быстроту и живость чувства, которые составляют одно из необходимых условий всякого стихотворения.

По сей причине мы в настоящем случае вынуждаемся объявить тем из наших читателей, которым поэт Байрон известен только по слуху, что видения, возвещающие певцу Руслана и Людмилы о смерти Байрона, суть олицетворенные произведения последнего, каковы: Дант (см. «Пророчество Данта»), Гяур, Манфред, Тасс (см. «Сетования Тасса»), Мазепа.

Стихи: *Главу свою находит Дож, Бессмертную и в гробном прахе* — также требуют пояснения: предмет байроновой трагедии «Дож» почерпнут из истории Венеции средних веков. Фалиери, дож сей республики, 80-летний старец, оказав важнейшие услуги своему отечеству, обижен молодым патрицием в лице своей прекрасной супруги; требует от сената наказания наглого юноши; не получает

его, вступает в заговор, составленный некоторыми людьми низкого звания против вельмож и Верховного Совета, — сей заговор открыт, а дож приговорен к смерти и обезглавлен.

Вспылал далекий минарет;
Иман, над прахом возвышенный,
Трикрат провозгласил вселенной:
«Бог только бог — иного нет!» —

В арабском тексте: «Нет бога кроме бога, а Магомед пророк его» — обыкновенный зов на вечернюю молитву мусульман.

Змеятся быстрые зарницы,
Бегут — и вдруг завесу тьмы
Срывают с мраморной чалмы,
С объятой розами гробницы;
И соловей, любовник роз,
Вспорхнул, слетел с надгробных лоз.

На мусульманских гробницах обыкновенно находятся каменные чалмы, а кладбища всегда обсажены цветами!

Соловей назван здесь любовником роз в подражание восточным поэтам.

Сверх того, долгом считаем объявить, что сие стихотворение написано прежде, нежели получено сюда стихотворение на тот же предмет Казимира Делавиня. *Изд.*

За небосклон скатило шар
Златое, дневное светило
И твердь и море воспалило;
По рощам разлился пожар;
Зажженное зыбей зерцало,
Алмаз огромный, трепетало.

Вспылал далекий минарет;
Иман, над прахом возвышенный,

Трикрат провозгласил вселенной:
«Бог только бог — иного нет...»
Услышали; в мгновенье ока
Все пали ниц сыны пророка.

Но душен воздух; стадо туч
Парит над знойною землею;
Погас прощальный солнца луч;
Заснувший холм оделся мглою;
Простерлась всюду тишина;
Взошла багровая луна,

Взошла и посребрила скалы,
Звезда открылась за звездой;
Сеть сóбрал рыболов усталый,
Оратай поспешил домой;
С высот эфирных в дол и рощи
Толпой слетают духи нощи!

И кто же в сей священный час
Один не мыслит о покое?
Один в безмолвие ночное,
В прозрачный сумрак погружась,
Над морем и под звездным хором
Блуждает вдохновенным взором?

Певец, любимец россиян,
В стране Назонова изгнанья,
Немым восторгом обуян,
С очами, полными мечтанья,
Сидит на крутизне один;
У ног его шумит Евксин —

Шумит и белыми рядами
За валом приближает вал;
Встал хладный ветер между скал.
Пронесся стон их над водами;
Скользя поверх свинцовых волн,
Качаясь, реет утлый челн.

Змеятся быстрые зарницы;
Бегут и вдруг завесу тьмы

Срывают с мраморной чалмы,
С объятой розами гробницы;
И соловей, любовник роз,
Вспорхнул, слетел с надгробных лоз.

На крае неба город дальный
Чернеет в тусклой белизне:
Не звон ли звукнул погребальный,
Нежданный в общей тишине?
Земля содроглась; в блесках молний,
Дрожа, шатнулись колокольни!

Гром грянул; пышут небеса;
В селеньи стая псов завыла;
Расширив блещущие крыла,
Взревела дикая гроза:
Волк гладный бросил логови́ще,
Сошлись чакалы на кладбище!

Тогда (но страх объял меня!
Бледнею, трепещу, рыдаю;
Подавлен скорбию, стеня,
Испуган, лиру покидаю!) —
Я вижу — сладостный певец
Во прах повергнул свой венец.

Он зрит: от дальних стран полдневных,
Где возвышался Фебов храм,
Весь в пламени, средь вихрей гневных,
По мрачным, тяжким облакам
Шагает призрак исполина;
Под ним сверкает вод равнина!

Он слышит: с горней высоты
Глагол раздался чародея!
Волшебный зов, над миром вея,
Созданья пламенной мечты
В лицо и тело облекает;
От Стикса мертвых вызывает!

Земля их кости выдает;
На зов того, кто их прославил,

Их сонм могильный прах оставил,
Взвился, слетелся в хоровод;
Со тьмой слились их одеянья;
О страх! их слышу завыванья!

Всех, всех воскресших вижу вас,
Героев, им воспетых, — тени!
Зловещий Дант, страдалец Тасс
Исходят из подземной сени;
Гяур воздвигся, встал Манфред:
Их озаряет грозный свет.

Стрясая с вежден смертный сон,
Встал из бездонного вертепа
Неистовый ездок Мазепа;
Смущенный вопрошает он:
«Иль нас гонит рать Петрова?
Коня! за мной! — помчимся снова!»

Главу свою находит дож
Бессмертную и в гробном прахе;
Он жив, погибнувший на плахе;
Отец народа, страх вельмож, —
И вновь за честь злосчастный мститель
Идет в бесчестную обитель,

Туда, где темные рабы,
Пылая жаждой кровопийства,
Готовят гибель и убийства
И цепи рвут с слепой толпы,
И вновь с бесстрашьем неизменным
Он предстоит судьям надменным.

О искра вечного отца!
Огонь святого песнопенья!
Глас вдохновенного певца!
Не мрут в веках твои творенья!
Ничтожен, тленен человек;
Но мысль живет из века в век!

Я зрю блестящее виденье:
Горé парящий великан
Раздвигнул пред собой туман!

Сколь дерзостно его теченье!
Он строг, величествен и дик!
Как полный месяц, бледный лик.

Шумя широкими крылами,
Летит — и скрылся дивный дух.
Так водопад между скалами
Ревет, пугает взор и слух;
Ярясь, стремится в край надзвездный:
Вдруг исчезает в мраке бездны.

Или единая от звезд,
Отторгшись, мчится, льет сиянье
Чрез поле неизмерных мест,
Чрез сумрачных небес молчанье —
И око, зря ее полет,
За ней боязненно течет!

Упала дивная комета!
Потухнул среди туч перун!
Еще трепещет голос струн:
Но нет могущего Поэта!
Он пал — и средь кровавых сеч
Свободный грек роняет меч!

Руками закрывает очи
Эллада, матерь светлых чад!
Вражда и Зависть, дети Ночи,
Ругаться славному спешат. . .
Прочь, чернь презренная! прочь, злоба!
Беги!— не смей касаться гроба

Того, чьи песни и дела
Почтит дальнейшее потомство!
Беги! умолкни, вероломство!
Его бессмертью обрекла —
Душой блестящей пораженна —
Не ты, Британия, — вселенна!

Бард, живописец смелых душ,
Гремящий, радостный, нетленный,
Вовек пари, великий муж,
Там над Элладой обновленной!

Тиртей, союзник и покров
Свободой дышащих полков!

Ты взвесил ужас и страданья,
Ты погружался в глубь сердец
И средь волнений и терзанья
Рукой отважной взял венец,
Завидный, светлый, но кровавый,
Венец страдальчества и славы!

И се! .. из лона облаков
Твои божественные братья,
Певцы, наставники веков,
Тебя зовут в свои объятья!
Утешься, горестная тень!
Тебе сияет вечный день!

Да мимойдет укоризна!
О! заглуши упреки, стон!
Изгнавшая его отчизна,
Рыдай, несчастный Альбион!
Он пал — непримирен, в чужбине!
Плачь, сетуй по великом сыне!

Увы! ударит час судьбы!
Веков потоком поглощенный,
Исчезнет твой народ надменный,
Или пришельцовы стопы
Лобзать, окован рабством, будет, —
Но Байрона не позабудет

Тебя гнетущий властелин;
Он на тебя перстом укажет;
Друзьям, главой поникнув, скажет:
«Ужель родиться исполин
Мог в сей земле, судьбой забвенной?»
И смолкнет, в думу погруженный!

Между июнем и октябрем 1824

105. ПАН ТАДЕУШ

Тадеуш, убедясь, что брань его не жалит,
Переменил теперь и тактику и речь:
Чтобы Талантина упечь,
Талантина в своем журнале хвалит;
Не может ничего он фонарем прижечь,
То хоть надеется, что, прислужась, засалит!

1824 или 1825

106. <НА СМЕРТЬ ЧЕРНОВА>

Клянемся честью и Черновым:
Вражда и брань временщикам,
Царей трепещущим рабам,
Тиранам, нас угнесть готовым.
Нет, не отечества сыны
Питомцы пришлецов презренных:
Мы чужды их семей надменных;
Они от нас отчуждены.
Там говорят не русским словом,
Святую ненавидят Русь;
Я ненавижу их, клянусь,
Клянусь и честью и Черновым.
На наших дев, на наших жен
Дерзнет ли вновь любимец счастья
Взор бросить полный сладострастья —
Падет, перуном поражен.
И прах твой будет в посмеянье,
И гроб твой будет в стыд и срам.
Клянемся дщерям и сестрам:
Смерть, гибель, кровь за поруганье!

А ты, брат наших ты сердец,
Герой, столь рано охладелый!
Взнесись в небесные пределы!
Завиден, славен твой конец!
Ликуй: ты избран русским богом
Всем нам в священный образец;
Тебе дан праведный венец,
Ты будешь чести нам залогом.

Сентябрь 1825

107

Чем подарю тебя, Наташа,
В день вожделенный имении?
В деревне жизнь спокойна наша,
И я, камен ленивый сын,
Лелеян быстрыми мечтами,
Забыл о городских рядах,
Об лентах их и их платках! —
Мой друг, довольна будь стихами!
Быть может, знаешь, что поэт,
Когда его восторг тревожит,
Пророчить будущее может:
Прими ж мой дружеский привет!
Расти друзьям и кровным в радость,
Расти, любезное дитя!
Резвясь, играя и шутя,
Ты перейди из детства в младость!
Тогда — с шестнадцатой весной
В твоей груди проснутся чувства;
Тогда природа и искусства
Предстанут в блеске пред тобой,
И ты — с весельем и томленьем,
Ты станешь с жадностью внимать,
Когда, внушенна вдохновеньем,
Прольется песнь твой слух ласкать.
В груди и чистой и беспечной —
Едва твой оживленный взгляд
Посмотрит на златой закат —
Найдешь тоску и жар сердечный,
И потечет живее кровь,
Как узришь чудеса востока!
Тогда — о, верь словам пророка! —
Узнаешь тайную любовь;
И мать заботливой рукою
Твое с ним сердце сопряжет —
С ним, с милым. . . а передо мною,
Как бы живой, к тебе идет
Прекрасный юноша и гордый,
О очами, полными огня,
Равно в любви и в правде твердый!
Быть может, встретит он меня

И скажет: «Слушай, старый дядя,
Брось скучный и печальный строй;
На радость струны переладя,
Мой брак с Наташею воспой».

Первая половина 1820-х годов

108

Река светла, река ясна,
В реке играет рыбка!
Проворна рыбка и красна:
Мелькает, блещет шибко:
Но попадет в котел она!

Река светла, река ясна,
Река течет свысока;
Прелестна с долу вышина:
Веселье, пир для ока, —
Но глубь под вышиной страшна!

Река светла, река ясна;
В ней светит лик лазури;
Являет стадо звезд она,
Но лодку топят бури —
Грозна пред бурей тишина!

Первая половина 1820-х годов

109. СОНЕТ

Объяты сладким сном, благоуханья
Таятся в лоне нежного шипка:
Так и любви всесильная тоска
В закрытом сердце дремлет без желанья.

Развили розу солнцевы лобзанья;
Вдаль аромат лиется, как река:

Эрот, который, прикорнув, пока
Казался без движенья, без дыханья,

Тут вдруг вскочил и сердце вдруг расторг;
Он пробужден ее очей лучами, —
Но им не греть, нет! властвовать рабами.
Умри же, сердце, и прости, восторг,
И ты, надежда, с сладкими мечтами:
Увы! я предан, я обманут вами!

Первая половина 1820-х годов (?)

110. ТЕНЬ РЫЛЕЕВА

Петру Александровичу Муханову

В ужасных тех стенах, где Иоанн,
В младенчестве лишенный багряницы,
Во мраке заточенья был заклан
Булатом ослепленного убийцы, —
Во тьме на узничьем одре лежал
Певец, поклонник пламенной свободы;
Отторжен, отлучен от всей природы,
Он в вольных думах счастия искал.
Но не придут обратно дни былые:
Прошла пора надежд и снов,
И вы, мечты, вы, призраки златые,
Не позлатить железных вам оков!
Тогда — то не был сон — во мрак темницы
Небесное видение сошло:
Раздался звук торжественной цевницы;
Испуганный певец подъял чело
И зрит: на облаках несомый,
Явился образ, узнику знакомый.
«Несу товарищу привет
Из области, где нет тиранов,
Где вечен мир, где вечен свет,
Где нет ни бури, ни туманов.
Блажен и славен мой удел:
Свободу русскому народу
Могучим гласом я воспел,
Воспел и умер за свободу!
Счастливец, я запечатлел
Любовь к земле родимой кровью!

И ты — я знаю — пламенел
К отчизне чистою любовью.
Грядущее твоим очам
Разоблачу я в утешенье...
Поверь: не жертвовал ты снам;
Надеждам будет исполненье!» —
Он рек — и бестелесною рукой
Раздвинул стены, растворил затворы.
Воздвиг певец восторженные взоры
И видит: на Руси святой
Свобода, счастье и покой!

1827
Шлиссельбургская крепость

111. НОЧЬ

Ночь, — приди, меня покрой
Тишиною и забвеньем,
Обольсти меня виденьем,
Отдых дай мне, дай покой!

Пусть ко мне слетит во сне
Утешитель мой ничтожный,
Призрак быстрый, призрак ложный,
Легкий призрак милых мне!

Незабвенных, дорогих
Наслажуся разговором:
Повстречаюся с их взором,
Уловлю улыбку их!

Предо мной моя семья:
Позабыты все печали,
Узы будто не бывали,
Будто не в темнице я!

<1828>

112. ЛУНА

Тебя ли вижу из окна
Моей безрадостной темницы,
Златая, ясная луна,
Созданье божией десницы?

Прими же скорбный мой привет,
Ночное мирное светило!
Отраден мне твой тихий свет:
Ты мне всю душу озарило.

Так, может быть, не только я,
Страдалец, узник в мраке ночи, —
Быть может, и мои друзья
К тебе теперь подъемлют очи!

Быть может, вспомнят обо мне;
Заснут, — с молитвою, с любовью
Мой призрак в их счастливом сне
Слетит к родному изголовью,

Благословит их. . . но когда
На своде неба запылает
Передрассветная звезда —
Мой призрак, будто пар, растает.

<1828>

113. СМЕРТЬ

Не в блеске алого сиянья
Мой Гений предо мной стоит;
Его суров и важен вид,
Не радостны его вещанья;
Я слышу, слышу прорицанья:
Он мне о смерти говорит.

Но что же смерть? покой ли вечный?
Ночь? без рассвета темнота?

Всех чувств, всех мыслей немота?
Полет ли к жизни бесконечной?
Увы! мой Гений быстротечный,
Твои безмолвствуют уста!

Не указуй перстом на землю,
Но да воздвигнешь светлый взор
К звездам далеким, высше гор!
К тебе молящий вопль подъемлю:
Пусть слову утешенья внемлю!
Вступлю ли в ангельский собор?

Так! я изыду из могилы,
Бесплотным приобщусь духам;
К моим бесплотным раменам
Прильнут сияющие крилы;
Исполненный бессмертной силы,
Помчусь в перунах к небесам!

Здесь тьмой душа моя одета;
Но, будто дальной церкви звон,
И здесь сквозь тайный, вещий сон
Гул слышу райского привета:
Я погружусь в то море света,
Которому источник Он!

<1828>

114. 19 ОКТЯБРЯ 1828 ГОДА

Какой волшебною одеждой
Блистал пред нами мир земной!
С каким огнем, с какой надеждой,
С какою детской слепотой
Мы с жизнию вступали в бой.
Но вскоре изменила сила,
И вскоре наш огонь погас;
Покинула надежда нас,
И жизнь отважных победила!
Моих друзей далекий круг!
Под воплями осенних вьюг,
Но благостным хранимый небом,

При песнях, вдохновенных Фебом,
От бурь и горя вдалеке,
В уютном, мирном уголке
Ты празднуешь ли день священный,
День, сердцу братьев незабвенный?
Моих друзей далекий круг!
Воспомнит ли в сей день священный,
В день, сердцу братьев незабвенный,
Меня хотя единый друг?
Или судьба меня лишила
Не только счастья — и любви?
И не взяла меня могила,
И кончилися дни мои?

1828

115. ВЕТЕР

Слышу стон твой, ветер бурный!
Твой унылый, дикий вой:
Тьмой ненастной свод лазурный,
Черным саваном покрой!

Пусть леса, холмы и долы
Огласит твой шумный зык!
Внятны мне твои глаголы,
Мне понятен твой язык.

Из темницы безотрадной
Преклоняю жадный слух:
За тобою, ветер хладный,
Рвется мой стесненный дух!

Ветер! ветер! за тобою
К необъятной вышине
Над печальной мглой земною
В даль бы понестися мне!

Был бы воздух одеянье,
Собеседник — божий гром,
Песни — бурей завыванье,
Небо — мой пространный дом.

Облетел бы круг вселенной,
Только там бы отдохнул,
Где семьи, мне незабвенной,
Речи вторит тихий гул;

Среди летней светлой ночи,
У часовни той простой,
Им бы там мелькнул я в очи,
Где почиет их родной!

К милым я простер бы руки,
Улыбнулся бы, исчез,
Но знакомой лиры звуки
Потрясли бы близкий лес.

<1829>

116. ЛЮБОВЬ

Податель счастья и мученья,
Тебя ли я встречаю вновь?
И даже в мраке заточенья
Ты обрела меня, любовь!

Увы! почто твои приветы?
К чему улыбка мне твоя?
Твоим светилом ли согретый
Воскресну вновь для жизни я?

Нет! минула пора мечтаний,
Пора надежды и любви:
От мраза лютого страданий
Хладеет ток моей крови.

Для узника ли взоров страстных
Восторг, и блеск, и темнота? —
Погаснет луч в парах ненастных:
Забудь страдальца, красота!

<1829>

117. ГНОМЫ

1

Веселых, умных слов не я ль искал напрасно?
Вот наступили злые дни:
За словом слово ежечасно
Без просьбы мне дают они!

2

Суровый жезл разумных речи,
И больно бьют бездушных плечи.

3

Есть языки, которые, как меч,
Глубокой язвой души поражают;
Но сладостна благого мужа речь:
Уста премудрых сердце исцеляют.

4

В поступках дурака ошибок нет;
Его лишь бесят наставленья:
Но мудрый, весь исполненный сомненья,
Рад выслушать совет.

5

По маслу вся бы наша жизнь текла,
Когда бы дважды делались дела.

6

Суд кончен; повели преступника на казнь;
За ним валит народ бессмысленный и шумный;
Издалека ж увидел муж разумный:
Он ощущает ужас и боязнь,
Воспомнил силу искушенья,
Предался думам о земной судьбе,

Вообразил всю власть несчастного мгновенья,
Вздохнул, — и к господу воздвиг моленья
О погибающем и о самом себе.
Вот подошел к нему сосед беспечный
И говорит: «О чем тоскуешь, друг сердечный?»
— «Ты видел ли?» — тот отвечал стеня.
«Злодея? что же? вот причина!
Меня бы, брат, взяла кручина,
Когда бы вешали меня».

7

Споткнется тот, чьи слишком скоры ноги:
Дурак
Сам попадет впросак,
А виноваты. . . боги!

8

Он мух убил бесчисленную тьму;
А муха ж не дала заснуть ему.

9

Вы вечно в облаках ненастья,
Ни в чем не видите добра:
Не пожелать ли вам несчастья?
Рукою снимется хандра!

10

Довольно чудаков таких бывало:
Хотя бы с неба полилися щи,
Для них всё мало;
Нет, ложку им сыщи!

11

Сплету веночек в полчаса:
В полгода голову найду ли, небеса?

12

Он в честь мою сварганил праздник:
Не пóзвал же меня, проказник.

13

Быть может, странное сравненье,
А устрицам подобно вдохновенье:
Не откажусь от свежих никогда,
Но полежали — не моя еда.

14

Приятна в добрый час веселая беседа;
Но ближних береги покой:
Не учащай шагать за праг соседа,
Не дай насытиться собой;
Не то — тобой подавленные други
Забудут все твои заслуги
И назовут любовь твою враждой.

15

«Вам эти книги не по нраву!»
«Нет, находил и я когда-то в них забаву;
Но сами знаете: смиренный червь
Предчувствует Психеи окриленье,
Начнет сплетать таинственную вервь, —
И уж листок ему не в наслажденье».

16

«Ужели не смутят тебя его проклятья?»
— «Не стою клятвы я и, признаюся, рад;
А он — ему иного нет занятья —
Пожалуй, призывай весь ад!
Слова его, я знаю,
С меня слетят, как прах,
Как воробьев с двора сгоняет стаю
Руки подъятой быстрый мах».

17

«Дом плача, — говорит Экклезиаст, —
Да предпочтешь, о сын мой, дому пира!
Мертвец тебе премудрость преподаст:
И ты не вечный житель мира».

18

Бранит ли враг твое благое дело?
Когда-нибудь, — ручаюсь смело, —
И сам не зная как,
Точь в точь поступит так.

19

Не сознается друг в своей вине,
Но прикрывает всё завесой благовидной.
Сию завесу с истины постыдной
Сорвать ли мне?—
Но это самое старанье,
Хотя не ослепит моих очей,
Порукой служит за желанье
Не потерять любви моей.

20

Давно лазурь небесная светла;
Хлопочет муравей трудолюбивый,
Сбирает мед прилежная пчела:
А ты — доколе нежишься, ленивый?
Доколе средь роскошной тишины
Ты ловишь улетающие сны?
Еще ты час поспишь, еще ты час подремлешь;
Потом подымешься; руками грудь объемлешь,
Садишься. . . Но зачем же облекла
Незапная убийственная бледность
Округлость твоего беспечного чела?
Кто эта гостья? — Бедность
К тебе, как добрый путник, притекла.

21

Ленивого подобие — покойник;
Он на одре лежит, как средь берлоги зверь.
«Пойдем же», — скажешь; он: «Нет, не теперь;
Лев при пути, а на пути разбойник».

22

Приятель! кушай на здоровье фиги;
Да не клянись: «Не буду есть вязиги!»

23

Сóздала дом, на семи столпах сорудила
Премудрость;
Жертвы заклала; вина нáлила в чаши; сама
Пир уготовила; чадам рекла, рабам повелела:
«В град теките, рабы; чада, сзовите ко мне
Всех лишенных ума; соберите ко мне безрассудных
Хлеб со мной преломить, чашу мою разделить!»
Вышли рабы, — нечестивый же им поругался;
безумец
Руку подъял и жезлом в гневе послов поразил.

<1829>

118. ПАМЯТИ ГРИБОЕДОВА

Когда еще ты на земле
Дышал, о друг мой незабвенный!
А я, с тобою разлученный,
Уже страдал в тюремной мгле, —
Почто, виденьем принесенный,
В отрадном, благодатном сне
Тогда ты не являлся мне?
Ужели мало, брат мой милый,
Я, взятый заживо могилой,
Тоскуя, думал о тебе?
Когда в боязненной мольбе
Слова в устах моих коспели,
Любезный образ твой ужели
Без слез, без скорби звал к себе?
Вотще я простирал объятья,
Я звал тебя, но звал вотще;

Бессильны были все заклятья,
Ты был незрим моей мечте.
Увы мне! только раз единый
Передо мной полночный мрак
Воззвал возлюбленный призрак —
Не в страшный ль час твоей кончины?
Но не было глубоких ран,
Свидетелей борьбы кровавой,
На теле избранного славой
Певца, воспевшего Иран [1]
И — ах! — сраженного Ираном! —
Одеян не был ты туманом,
Не искажен и не уныл,
Не бледен... Нет, ты ясен был:
Ты был в кругу моих родимых,
Тобой незнанных, но любимых,
Тебя любивших, не видав.
В виденьи оной вещей ночи
Твои светлее были очи,
Чем среди смехов и забав,
В чертогах суеты и шума,
Где свой покров нередко дума
Бросала на чело твое, —
Где ты прикрыть желал ее
Улыбкой, шуткой, разговором...
(Но дружбе взор орлиный дан:
Великодушный твой обман
Орлиным открывала взором.)
Так! мне однажды только сон
Тебя представил благотворный;
С тех пор, суровый и упорный,
Отказывал мне долго он
Привлечь в обитель испытанья
Твой дух из области сиянья.
И между тем мои страданья
Копились и росли. — Но вдруг
Ты что-то часто, брат и друг,

---

[1] Относится к поэме Грибоедова, схожей по форме своей с Чайлдом-Гарольдом; в ней превосходно изображена Персия. Этой поэмы, нигде не напечатанной, не надобно смешивать с драмой, о которой упоминает Булгарин.

Златую предваря денницу,
Спускаться стал в мою темницу.
Или зовешь меня туда,
Где ты, паря под небесами,
Ликуешь с чистыми духами,
Где вечны свет и красота,
В страну покоя над звездами?
Или же (много я любил!)
Те, коих взор и в самом мраке,
Как луч живительных светил,
Как дар былого, я хранил,
Все, все в твоем слиялись зраке?

1829

119. ЗАКУПСКАЯ ЧАСОВНЯ

Кресты, часовни и холмы
Задумчивостью полнят взоры,
Но смежно с царством вечной тьмы
Владычество роскошной Флоры.

Священный сердцу уголок!
Там дышит всё благоуханьем,
Там с розы сорванный листок
Кружится ветерка дыханьем.

Младенцев почивает прах
Под свежей тьмой дерев душистых.
На легких носятся листках
Не души ли младенцев чистых?

Они! средь полночи немой,
Как бы Зефирову шептанью,
Не эхо ль вторит над рекой
Их сладостному лепетанью?

Меж ними спит мой брат и друг,
Отец семьи мне драгоценной:
Всё тихо, всё молчит вокруг,
Мир над могилою священной.

Когда свершу свою судьбу, —
В твоей обители спокойной
(Услышь, о друг, мою мольбу!)
Пусть отдохну от жизни знойной!

1829 или 1830

120. К***

Так! счастлив ты, мой юный, милый друг:
К златому, безмятежному покою,
В приют от жизненных и бурь и вьюг
Тебя ведет судьба благой рукою.
Постигнул рано ты всю суету,
Все призраки и все обманы света,
И жалких честолюбцев слепоту
Ты верно оценил в младые лета.
Отныне средь наследственных полей
Ты станешь жить для кровных и друзей, —
И призовешь в свое уединенье
Высокий труд, отрадное ученье,
И вкруг тебя прелестные мечты
Рассыплют светлые свои цветы. . .
Ты встретишь их в тех рощах, мне священных,
Где некогда с цевницей я бродил,
Где некогда с таинственных светил
Моих предтеч, поэтов вдохновенных,
Ко мне могущий, дивный гимн сходил!
О мне спроси седого земледельца
(Меня любили дети простоты), —
И от него мой холм узнаешь ты,
Любимый холм злосчастного пришельца.
Там тишина и запах роз окрест,
И сень немого дремлющего бора,
И мирный гроб, и над часовней крест;
Там брат мой спит, и отдаль близ забора
Определил я место и себе. . .
Когда увидишь край родной, счастливый
И дорогие мне луга и нивы,
Когда предстанет оный холм тебе,
Тогда ты вспомнишь о моей судьбе.

1829 или 1830

121. ДВА ГРОБА

Горемыка бесталанный
Одинок бредет домой.
Ночь одета в плащ туманный,
Холм и дол покрыты мглой;
Вправо видится кладбище;
Далеко еще жилище;
Путь ведет в дремучий бор;
Путник встал и поднял взор:

«Отдохну; ослабли силы,
Ноги гнутся подо мной;
Вы, безмолвные могилы,
Дайте сирому покой!
Защитит плетень забора,
От зверей меня и вора;
Мертвых — не боюся их —
Мертвых сон глубок и тих».

Вот уж там страдалец бедный;
Месяц озарил кресты,
Льет таинственный и бледный
Свет на тусклые щиты.
Будто духи меж собою,
Ветер шепчется с травою.
Он на пышный гроб взглянул,
Лег на камень и — заснул.

Вдруг, как будто чьей рукою,
С гроба сорвало его.
Снова лег он; нет покою;
Слышит, кажется, кого:
«Прочь отсюда, подлый нищий!
Нет! ни помощи, ни пищи,
Ни ночлега не давал
Я бродягам, — прочь, нахал!»

Путник встал, — перекрестился:
Что ж? незапно вопль и стон

Не из гроба ль испустился?
Путник молвил: «Тяжкий сон!
Филин поднял эти крики,
Этот вой глухой и дикий
Средь ночи́ с часовни той.
Гроб я выберу другой».

Под крестом простым, смиренным,
Тенью двух согбенных ив,
Древних, мшистых, осененным,
Спит страдалец: он счастлив;
Он на лоне наслаждений
В жизни сладостных видений,
Райских, благотворных грез
Жизнь забыл скорбей и слез.

Во дворец вступил блестящий. —
Блеск от тысячи свечей;
Пир готов, уста манящий;
Много во дворце людей.
Стройный лик певиц согласных
Хором песен сладкогласных
Просят странника присесть,
Отдохнуть, попить, поесть.

И старик к нему подходит,
Светлый, радостный старик,
И к столу его подводит;
Стол пространен и велик:
Не исчислить мест всех, сметы
Нет гостям, и все одеты,
Словно в ризы от икон,
В жемчуг, синету, виссон.

Все молчат; но свет их взоров,
Но улыбка их ланит
Лучше слов и разговоров
Слуху сердца говорит:
«Насладися яствой нашей!» —
Странник пьет златою чашей

Искрометное вино;
Но не тьмит души оно.

Ест от яств бескровных, чистых:
Легки яствы, как эфир,
Слаще сотов золотистых.
Встали; кончен дивный пир:
Нет гостей, умолкли гимны;
Лишь старик гостеприимный
В плат для гостя своего
Вяжет лучшего всего.

Между тем лучом светила,
Озаряющего день,
Позлатилася могила:
Бросил пахарь бодро лень;
Поспешил пастух ко стаду,
Силу, свежесть и отраду
Мир, воскреснув, ощутил, —
Он проснулся средь могил.

В небе жаворонок вился,
Пел в незримой вышине;
Путник в тяжкий путь пустился,
Но вдруг стал, дошед к стене,
Посмотрел на гроб смиренный,
Молвил: «Прах благословенный
Лег вон в этот гроб простой!
Там же. . .» Он махнул рукой.

25 января 1830

122. НА НОВЫЙ ГОД

Итак, протек и он, сей год, событий полный!
Его кровавые, сверкающие волны
Над Русью пронеслись разливом горьких бед;
Но духом русские не пали:
Промчалось лето слез, и стона, и печали,
Исчезнет их и самый след,
А уцелеют те скрижали,

29. Декабр.

Все ближе и ближе конец этого рокового года: что-то будет в следующем? — Я, который теперь отмечаю чувства свои, перечту ли эту тетрадь через год? — При наступлении нового года у всех сердце бьется сильнее, все ожидают чего-то лучшего, нового: — отчего бы? — Но в сиротстве моем этот, 1831-й год, в сиротстве и в темноте жизни давно не один не лишь, между тем, сколько с этой судьбе по-[redacted] лучших благодеяний и в этом даже тяжелый год. — «Аще благая прияхом от руки Господней, злых ли не стерпим?» Иов Гл. 2 ст. 10. Сверх того, уповаю, что самое зло служит часто ко благу! — Окончательно пора [redacted] [redacted] отыскивать блага не в этой, а в другой, лучшей жизни.

30. Декаб.

Вот сколько радостей перед новым годом: получил я письма от Федора и список братнина [illegible] и дорогу книги Русские и Английские; Русские прислал мне добрый мой Владимир Андреевич. Некогда, — замечают что-то, радость не приходит одна: так-то и со мною сегодня случилось, после довольно продолжительного отсутствия Бауэра, работа [illegible] и стихами на Новый год ~~вот~~

И так прошёл и он, сей год совсем последний,
Тяжелый роковой
~~И славный [illegible]~~ страны родной!
Его тревоги, держава ещё! вели
Над Русью пронесясь разливными горами
Не дух их Русские не пали:
~~[illegible]~~
Пронесясь [illegible] и [illegible] не пали
И с края до края [illegible] слава
А [illegible] сердцами
Не [illegible] Руси [illegible]
Блестящий новый ряд победы

Блестит [illegible] будет в [illegible],
Нет! не умрет дара твоего
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] одни [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Что [illegible] когда-то [illegible] в [illegible]
в [illegible] [illegible] [illegible]
Твоих не умру дара моего
[illegible] остави[illegible]
[illegible] всего: —
Но [illegible] [illegible] [illegible]
Но [illegible] кто тогда не колебим
Когда [illegible] [illegible] перун
И [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] мира да [illegible] струны.
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Петра [illegible]
[illegible] чрез моря [illegible] свои [illegible]
[illegible] Поставил [illegible] Росси;
[illegible]
Так в [illegible]
По [illegible] [illegible]
Заводит [illegible] [illegible]
За [illegible] [illegible] [illegible]
И [illegible] [illegible]
[illegible] и [illegible]
О сколь [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
Да [illegible] [illegible]
На [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] с сынами
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
2. [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] твоего
[illegible] и [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] его!

На коих россы начертали
Блестящий, новый ряд побед!

Не лесть мне будет вдохновеньем;
Нет! не унижу дара своего:
Благих судеб определеньем
Его я не утратил одного,
Когда ужасным, общим потопленьем
Вдруг были сорваны и в даль увлечены
Все, все мои златые сны,
Мои надежды и мечтанья
Все алчной бездною поглощены,
И самые желанья
В растерзанной моей груди задушены
Рукою хладного страданья...
Нет! не унижу дара своего,
От истребления всего
Единственного мне оставленного блага. —
Но песней требует бесстрашная отвага;
Но мужа, кто тогда неколебим,
Когда падут, как дождь, перуны
И расступается земля пред ним, —
Такого мужа да прославят струны!

Венца и доблести Петра наследник юный
Чрез сей и бедственный и вместе славный год,
Герой бестрепетный, окончил смелый ход;
Чрез море жадных зол могущий свой народ
Поставил в пристань царь России;
Так в шумном поле разъяренных вод,
По черному хребту неистовой стихии
Заводит мудрый кормчий челн
За пагубный, в пучине скрытый камень
И презирает гром и быстрых молний пламень,
Свирепых ветров рев и вопли диких волн!

О, сколь отраден после бури
Безоблачный и чистый блеск лазури!
О, сколь сладка по брани тишина!
Да осенится же ее крылами
Надолго полуночная страна!
Не расставайтесь, матери, с сынами!

В объятьях мира, средь родимых стен,
Бойцы, вещайте слуху чад и жен
Опасность, и труды, и честь своих знамен,
И незабвенные в веках грядущих битвы;
А бледный мор и дерзостный мятеж
Да не шагнут за наш святой рубеж!
Отечество мое! единые молитвы
Я в дар могу принесть тебе;
Но день и ночь я в пламенной мольбе
О счастии твоем взываю к всеблагому:
Пусть бог мой повелит архангелу святому
И станет стражем он у прага твоего,
И отобьет и страх, и скорбь, и бедства
От древнего Славенова наследства
Алмазный щит его!

30 декабря 1831

123

Година скорбная Россию тяготила;
Громадами туманных, черных гор
Оделся весь полуночный обзор;
Зашли, казалося, счастливые светила.

Геенны бледный сын, убийственный мятеж,
Вздымая ветрами вздымаемое знамя,
Ногою дерзкой стал на западный рубеж
И лютое возжег междуусобий пламя.

Взвились славянские орлы
И громы понесли на сопостата.
Но твердь тлетворной мглой объята
И смертью веет из-под крыльев мглы.

И застонал тогда под бременем страданья,
И на колени пал трепещущий народ,
И слышен был, как шум пустынных, многих вод,
Дрожащий глас всеобщего рыданья.

На оный глас склонился с неба бог
И рек: «Я наказал, но днесь утешу снова,
Им благости моей нежданной дам залог!»

И не скончал еще всевышний слова,
Как вдруг твердыня города Петрова
Поведала устами ста громов:
«Родился в мир младенец, внук Петров!»
«Младенец сей, отцу-герою соименный,
В задаток послан вам, в залог благословенный,
Как посылается за тьмой отрадный свет
Блаженных тихих дней и безмятежных лет!»

1831

124. БРАТУ

Повсюду вижу бога моего:
Он чад своих отец и не покинет,
Нет! не отвергнет никогда того,
В ком вера в милосердого не стынет.

Господь — мой бог на суше и водах,
И в шумном множестве, в мирском волненьи,
И в хижине, и в пышных теремах,
И в пристани души — в уединеньи.

Нет места, коего лучом своим
Не озарял бы он, повсюдусущий;
Нет мрака, нет затменья перед ним:
Всем близок благостный и всемогущий.

Он близок: я уже его узнал
И здесь, в глухих стенах моей темницы,
И здесь, среди седых, угрюмых скал,
Меня покрыла сень его десницы.

Он близок, близок и тебе, мой друг!
К нему лети на крыльях упованья;
Его услышишь в самом гласе вьюг
И у́зришь в льдинах твоего изгнанья!

1831

125. НОВЫЙ ГОД

> Господи! прибежище был еси нам в род и род *и пр.*
>
> *Псалом 89*

Как в беспрерывном токе вод
Струи несутся за струями,
Так убегают дни за днями,
За годом улетает год. . .

И вот еще один протек!
Он скрылся, как мечта ночная,
Которую, с одра вставая,
Позабывает человек;

И как в пустой, глухой дали
Без следа умирают звуки,
Так радости его и муки
Все, будто не были, прошли.

Прошли оне, — пройдут и те,
Которые судьба господня
Заутра нам или сегодня
В святой готовит темноте.

Не пред завесой ли стою?
Я жив и здрав, но что за нею?
Чрез год, чрез день, быть может, тлею,
И ветр развеет персть мою.

Не вянем ли, как вешний цвет?
Мы жизнь приемлем на мгновенье:
Нас видит солнца восхожденье,
Луна восходит — и нас нет!

Сыны греха и суеты!
Наш век не нить ли паутины?
Без изменения единый,
О вечный, пребываешь ты.

Ты был и до сложенья гор,
И до создания вселенной;
Ты был, когда зарей червленой
Не просиял еще обзор.

Как с ветви лист, так с оси мир
Сорвет стихий мятежных сила;
Поглотит жадная могила,
Как каплю, землю, твердь, эфир;

И будто плат, ты свьешь тогда
Шатер безмерный, многозвездный;
Но сам над беспредельной бездной
Пребудешь, чем ты был всегда.

Пред богом тысяча веков
Не боле срока часового,
Что среди сумрака немого
Стоит на страже у шатров.

И что же? каждый день и час
Непостижимый Вседержитель,
Защитник наш, покров, спаситель,
Блюдет и зрит и слышит нас.

О дивный в благости своей!
О милостью повсюдусущий!
Будь близок нам и в день грядущий!
Отец, храни своих детей!

Всё молча примем, что бы нам
Судьбы твои ни даровали:
Твое ж посланье и печали;
Ты жизни силу дал слезам.

Избавь нас только от грехов
И влей нам в перси дух смиренья, —
И громким гласом песнопенья
Тебя прославим, бог богов!

1 января 1832

126. СОНЕТЫ

1
РОЖДЕСТВО

Сей малый мир пред оными мирами,
Которые бесчисленной толпой
Парят и блещут в тверди голубой,
Одна пылинка; мы же — что мы сами?

Но солнцев сонм, катящихся над нами,
Вовеки на весах любви святой
Не взвесит ни одной души живой;
Не весит вечный нашими весами.

Ничто вселенна пред ее творцом;
Вещал же так творец и царь вселенной:
«Сынов Адама буду я отцом;
Избавлю род их, смертью уловленный, —
Он не погибнет пред моим лицом!» —
И бог от девы родился смиренной.

2 января 1832

2
ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРВЫЙ

Меня беды и скорби посещали
От дней младенчества до седины;
Я, наконец, и горе и печали
Так встречу, как утес напор волны.

Но что — хулы меня ли взволновали?
Все чувства чем во мне возмущены?
Слуга Христов, бесславлен миром, я ли
Лишился вдруг сердечной тишины?

Кто я? ничтожный грешник! А чудесный,
Божественный, господь, владыка сил,
Явился ли, одетый в блеск небесный?
Нет! в прахе он, светлейший всех светил,
Он в низости окончил путь свой тесный
И дух на древе срама испустил!

3 марта 1832

8

ПАСХАЛЬНЫЙ ВТОРОЙ

«Почто я не перунами владею
И грянуть не могу велеть громам?
Нет! не стерплю: коварному злодею,
Ковавшему погибель мне, воздам!» —

Так, пьян от мести, рьян и шумен ею,
Свирепым, адским жертвуя духам,
О боже мой! пред благостью твоею
Возносит грешник вопли к небесам.

Но тот, который с самого созданья
Единый был безвинен пред тобой,
Приял неизреченные страданья,
А весь, исполненный любви святой:
«Отец мой, отпусти им грех незнанья!» —
Молился за объятых слепотой.

4 марта 1832

4

МАГДАЛИНА У ГРОБА ГОСПОДНЯ

Мария, в тяжкой горести слепая,
Назвала вертоградарем того,
Кто, гроб покинув, ей вещал: «Кого
Здесь в гробе ищешь, плача и рыдая?»

И отвечала: «Тела не нашла я...
Ах! Господа отдай мне моего!»
Но вдруг он рек: «Мария!» — и его
В восторге узнает жена святая...

Не так ли, больший, чем она, слепец,
Взывал я, с промыслом всевышним споря:
«Почто меня оставил мой творец?»
А ты — ты был со мной и среди горя!
Я утопал, но за руку, отец,
Ты удержал меня над бездной моря.

6 марта 1832

5

ВОЗНЕСЕНИЕ

Божественный на божием престоле;
Христос на небо, высше всех светил,
В свое отечество, туда, отколе
Сошел на землю, в славе воспарил.

Своих же не покинул он в неволе,
Их не оставил в узах темных сил;
Нет! слабых их и трепетных дотоле
Неколебимым сердцем одарил.

И всех стремящихся к его святыне,
Горé на крыльях душ ему вослед,
Он свыше укрепляет и поныне:
Им песнь Эдема слышится средь бед,
Средь бурь, в юдоли слез, в людской пустыне,
И так вещает: «Близок день побед!»

19 мая 1832

127. САШЕ В ДЕНЬ ЕЕ РОЖДЕНИЯ

В даль и в даль несется время,
Снег бросает мне на темя:
Я не тот, чем был вчера;
Входит в мир иное племя;
Наша минула пора;
Жизнь для плеч усталых — бремя.

Коротка дорога наша:
Мы цветем мгновенье, Саша!
Но тебе шестнадцать лет,
Дни твои — очарованье:
Нет, — не наведет поэт
Грустных туч на их сиянье.

Друг! тоску считай ошибкой;
Всё кругом живи улыбкой;
Сердцем верь благой судьбе;

Будь твой мир мечтой украшен:
Пусть летят часы! тебе
Грозный их полет не страшен.

Что со мною, друг мой милый? —
Я объят чудесной силой:
Ток лучей, река огня,
Жар святого вдохновенья
Вдруг вливается в меня;
Вижу светлые виденья! —

Предо мной жена младая:
Всюду радость изливая,
Честь и счастие она,
Рай того, с кем не одною
Лишь рукой сопряжена,
С кем слиялася душою!

Вижу дочерей пригожих,
На нее во всем похожих,
Вижу резвых сыновей;
Правит мать толпой их шумной
Взглядом ласковых очей —
Или речию разумной. . .

Призрак, сердцу вожделенный! —
Саша, в той семье блаженной
Я узнал твою семью. . .
Но восторг, мой вождь дотоле,
Вдруг исчез; не узнаю,
Ничего не вижу боле. . .

Ах! почто же дух мой жадный
Не узрел в дали отрадной
Старца, дряхлого певца?
Он почто, страдалец хилый,
В той семье не ждет конца,
Встретив счастье пред могилой?

Сон унесся благосклонный
Прежде, чем ты Антигоной

Мне явилась! — Но судьбы
Не страшись моей плачевной:
Сильны, верь, того мольбы,
Кто судьбой испытан гневной.

14 апреля 1832

128. ВОПРОСЫ

Ужель и неба лучшие дары
В подлунном мире только сновиденье?
Ужель по тверди только до поры
Свершают звезды дивное теченье?
Должно ли ведать гнев враждебных лет,
Душа души, святое вдохновенье?
Должно ли опадать в одно мгновенье,
Как в осень сорванный со стебля цвет?
Увы мне! с часу на час реже, реже
Живительным огнем согрет мой дух!
И тот же мир, и впечатленья те же,
Но прежних песней не уловит слух,
Но я не тот, — уж нет живого чувства,
Которым средь свободных, смелых дум
Бывал отважный окрыляем ум:
Я робкий раб холодного искусства —
Седеет волос, в осень скорбных лет
Ни жару, ни цветов весенних нет.

1 июня 1832

129. КЛЕН

Скажи, кудрявый сын лесов священных,
Исполненный могучей красоты,
Средь камней, соков жизненных лишенных,
Какой судьбою вырос ты?

Ты развился перед моей тюрьмою. . .
Сколь многое напоминаешь мне!
Здесь не с кем мне. . . поговорю с тобою
О милой сердцу старине:

О времени, когда, подобно птице,
Жилице вольной средь твоих ветвей,
Я песнь свободную певал деннице
И блеску западных лучей;

Тогда с брегов смиренной Авиноры,
В лесах моей Эстонии родной,
Впервые жадно в даль простер я взоры,
Мятежной мучимый тоской.

Твои всходящие до неба братья
Видали, как завешанную тьмой
Страну я звал, манил в свои объятья, —
И покачали головой.

А ныне ты свидетель совершенья
Того, что прорицали братья мне;
О ты, последний в мраке заточенья
Мой друг в далекой стороне! [1]

2 июня 1832

180. В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Вот день, в который для надежды,
Желаний, страха и скорбей,
Для чувств и дум открыл я вежды,
Для испытаний жизни сей;
Вот день, в который я впервые
Отверз уста свои немые. . .
Ах! свету плач был мой привет
В тот день, когда узрел я свет!

И много, много мне печали
Наставшие часы и дни,

---

[1] На этот же мотив автор, вдохновенный предчувствием, в 1818 или 19 году, еще свободный, написал следующую <пьесу>, которую помещает здесь для сравнения. <Далее следует стихотворение «Ручей» — см. с. 107. >

Страданья много даровали, —
И темны впереди они!
Но бог отец чадолюбивый:
Мне день, и не один, счастливый
Был послан им: благословен
Да будет он, господь времен!

Приял я от него благое,
И злого я ли не приму?
Мое желание слепое
Что может предписать ему?
Он знает пору: вёдро, грозы,
Веселье, горе, смех и слезы
Его святый и дивный рок
Дает вселенной в должный срок.

Сгоняют вар и мглу с лазури
И возрождают вновь эфир
Всевышним посланные бури;
От них юнеет дряхлый мир;
И как они моря и сушу,
Так точно бури жизни душу
Подъемлют с гибельного сна, —
И обновляется она.

Мой путь не путь ли к совершенству?
Итак, вперед с сего же дня
Без страха к вечному блаженству!
Вперед: мой бог ведет меня!
Ведет из края искушенья
В священный край успокоенья,
Туда, в страну своих духов,
Где буду чист и без грехов.

10 июня 1832

131. ЭЛЕГИЯ

«Склонился нá руку тяжелой головою
В темнице сумрачной задумчивый Поэт...
Что так очей его погас могущий свет?
Что стало пред его померкшею душою?

О чем мечтает? Или дух его
Лишился мужества всего
И пал пред неприязненной судьбою?»
— Не нужно состраданья твоего:
К чему твои вопросы, хладный зритель
Тоски, которой не понять тебе?
Твоих ли утешений, утешитель,
Он требует? оставь их при себе!
Нет, не ему тужить о суетной утрате
Того, что счастием зовете вы:
Равно доволен он и во дворце и в хате;
Не поседели бы власы его главы,
Хотя бы сам в поту лица руками
Приобретал свой хлеб за тяжкою сохой;
Он был бы тверд под бурей и грозами
И равнодушно снес бы мраз и зной.
Он не терзается и по златой свободе:
Пока огонь небес в Поэте не потух,
Поэта и в цепях еще свободен дух.
Когда ж и с грустью мыслит о природе,
О божьих чудесах на небе, на земле:
О долах, о горах, о необъятном своде,
О рощах, тонущих в вечерней, белой мгле,
О солнечном, блистательном восходе,
О дивном сонме звезд златых,
Бесчисленных лампад всемирного чертога,
Несметных исповедников немых
Премудрости, величья, славы бога, —
Не без отрады всё же он:
В его груди вселенная иная;
В ней тот же благости таинственный закон,
В ней та же заповедь святая,
По коей высше тьмы и зол и облаков
Без устали течет великий полк миров.
Но ведать хочешь ты, что сумрак знаменует,
Которым, будто тучей, облегло
Певца унылое чело?
Увы! он о судьбе тоскует,
Какой ни Меонид, ни Камоенс, ни Тасс,
И в песнях и в бедах его предтечи,
Не испытали; пламень в нем погас,
Тот, с коим не были ему ужасны встречи

Ни с скорбным недугом, ни с хладной нищетой,
Ни с ветреной изменой
Любви, давно забытой и презренной,
Ни даже с душною тюрьмой.

18 июня 1832

132. СЕСТРЕ Ю. К. ГЛИНКЕ

Мешается с печалью радость
В груди твоей,
Когда глядишь на младость
Своих цветущих дочерей.
Ты говоришь: «Как сердце восхищают!
Как душу тешат мне!
Но ах! поблекнут и оне,
Увянут так, как розы увядают!» —
Сколь мне понятна скорбь твоя!
На цвет прекрасный, но мгновенный,
С рожденья самого на гибель обреченный,
Не без участия ж смотрю и я...
А ты — ты мать! — Но младость есть иная:
Ее источник — дух, отчизна — небеса;
Но есть бессмертная краса:
В сравненьи с нею что земная?
Чудесною, нетленною красой
Равно цветут, когда в них чистота святая,
И девы юные и старцы с сединой;
И цвет божественный из вертоградов рая
Нет, не увянет в дочерях твоих:
Благоухание на небо воссылая,
Он с небом на земле связует их.
Всегда прекрасны, вечно юны,
Подруги ангелов, они взлетят туда,
Где серафимов радостные струны
Не умолкают никогда,
Где гром молчит, где не разят перуны,
Куда стремлюсь с сердечной жаждой я,
Где возродится младость и моя.

15 июля 1832

133. МОРЕ СНА

Мне ведомо море, седой океан:
Над ним беспредельный простерся туман,
Над ним лучезарный не катится щит;
Но звездочка бледная тихо горит.

И пусть океан сокровен и глубок, —
Его не трепещет отважный нырок:
В него меня манит незанятый блеск,
Таинственный шепот и сладостный плеск.

В него погружаюсь один, молчалив,
Когда настает полуночный прилив,
И чуть до груди прикоснется волна,
В больную вливается грудь тишина.

И вдруг я на береге: будто знаком!
Гляжу и вхожу в очарованный дом:
Из окон любезные лица глядят
И гласы приветные в слух мой летят.

Не милых ли сердцу я вижу друзей,
Когда-то товарищей жизни моей?
Все, все они здесь: удержать не могли
Ни рок их, ни люди, ни недра земли.

По-прежнему льется живой разговор,
По-прежнему светится дружеский взор:
При вещем сиянии райской звезды
Забыта разлука, забыты беды.

Но ах! пред зарей наступает отлив
И слышится мне неотрадный призыв:
Растаяло всё,— и мерцание дня
В пустыне глухой осветило меня!

4 сентября 1832

134. ИЗМЕНА ВДОХНОВЕНИЯ

Итак, опять мелькнул ты предо мною,
Итак, опять меня обворожил:
И льняных кудрей шумною рекою,
И радужным мерцаньем легких крыл,
И взором, в коем блеск златых светил,
Катящихся над твердью голубою!
К тебе бросаюсь жадною душою,
К тебе, прекрасный гость мой, Исфраил![1]

Сойди же, вестник дивный, вожделенный,
Давно желанный, из страны чудес!
Но что? — туманом жадным поглощенный,
Ужели в серой бездне ты исчез?
Увы! там дебрь и холод, мрак и лес,
Где цвел эдем, тобою насажденный;
Там, где жемчу́г дробился оживленный,
Там жажду ждет один нагой утес.

И вот! сдается, в глубине воздушной,
Отколе гулы рая ты свевал
Мне на душу, моим мольбам послушный, —
Там дикий хохот вдруг задребезжал;
И чудится: из-за угрюмых скал,
Из-под покрова мглы густой и душной,
Насмешкой злобной на привет радушный
Мне кто-то адским взором засверкал.

Между августом и ноябрем 1832 года

135. ВОЗВРАТ ВДОХНОВЕНИЯ

Не до конца меня покинул ты...
Увы! я унывал, я таял.
«Сокрылися, исчезли, — так я чаял, —
Живившие меня мечты;
Огонь небесный вдохновенья
Потух, потух в моей груди,
Уж светлый ангел песнопенья

[1] Исфраил — ангел поэзии по персидской мифологии.

По радужному не слетит пути,
Болезней сердца исцелитель,
В мою печальную обитель».
И я душою пал и к жизни охладел.
И ждал и думал: «Скоро ли предел
Моих увядших дней?» — Но милосердый, вечный!
Услышал ты мой стон сердечный;
Ты ведаешь: еще я слаб;
Еще земных страстей, мирских желаний раб;
Твоя, всевышний, благодать
Еще не блещет надо мною. . .
Божественную звать, искать,
О ней в слезах молиться не устану;
А ныне. . . не Исраилю ли манну,
Отец, создатель, боже мой,
Так точно ты послал в безжизненной пустыне,
Как был тобой мне послан ныне
Мой утешитель временной?
Он пестун мой, он с самой колыбели
Меня в объятия приял:
Уста младенца приучал к свирели,
Растил меня, не покидал
Нигде питомца: обитал со мною
Над зеркальной, широкою Невою;
Со мною странствовал среди Кавказских скал;
Являлся мне с улыбкою и думой
На высоте суровой и угрюмой
Надоблачных, покрытых льдами гор;
Сияньем сладостной лазури
Живил и упоял в Гесперии мой взор;
На севере ж вещал мне в воплях бури
И в жалобе взволнованных лесов. . .
Он мне не изменил единый
Ни под ударами неистовых врагов,
Ни под тяжелым бременем кручины. . .
И что же? наконец и он
Исчез, казалось, как ничтожный сон;
Казалось, он махнул воздушными крылами,
Взвился, исчез за облаками,
Меня покинул и — навек!
Я застонал, мне душу мрак облек. . .
Ах! кто такие испытал утраты,

Какие суждено мне было испытать,
Чьи лучшие надежды все пожаты,
Тот может ли не трепетать,
Когда последнее в страданьях утешенье
С ним расстается навсегда?
Но маловерье — слепота:
Ты, дивный в чудесах! приял мое моленье;
Ты щедр и благостен, ты весь любовь;
Ты рек — и возвратился вновь
В мою расцветшую обитель
Болезней сердца исцелитель.
Нет! не потух в моей груди
Огонь небесный вдохновенья:
Опять, опять по светлому пути
Ко мне слетает ангел песнопенья.

11 ноября 1832

136. МОЕЙ МАТЕРИ

Предел безмолвный, темный уголок,
Немая пристань, где наставник-рок,
Спасительный, но в строгость облеченный,
Назначил мне приют уединенный, —
Святыней будь сегодня для меня!
Я ныне полон чистого огня:
Объемлет горний пламень грудь поэта;
Нет дыму в нем, ни духоты страстей,
Источник силы, теплоты и света,
Он мне перуном не слепит очей,
Не жжет мне сердца пылом исступленья;
Из жилы в жилу токи вдохновенья
Переливаются без волн и бурь.
Так некогда по вертограду рая
Текла, луга и рощи напояя,
Являя неба чистую лазурь,
Река, родительница рек святая!

К кому ж простру я в благодатный час
Парящий на крылах восторга глас?
Не ветреным друзьям, питомцам мира,
Бряцает под моей рукою лира:

Забытый, не ищу вниманья их.
Но ты да слышишь звуки струн моих,
О лучший друг мой! о моя родная!
Ты, коей имя на моих устах,
Ты, коей память, вечно мне драгая,
В душе моей, — когда, покинув прах,
Я узнаю, я зрю на небесах
Не бога, воруженного громами,
Властителя над бледными рабами,
Но кроткого и падших чад отца,
Но близкого, того, кто, благ без меры,
Врачует сокрушенные сердца
Елеем дивным животворной веры.
Так! он пошлет отраду и тебе!
Утешься: видит он, как о судьбе
Своих сынов рыдаешь и тоскуешь
И нас сынами скорби именуешь...
Родимая! — мы под его рукой:
Не ясною ль и твердою душой,
Не бодрою ль и мощной даже в горе
Им брат мой наделен? — Пусть мрак кругом,
Пусть катится в ночи ревущий гром,
Но светлый день в его спокойном взоре.
«Жив бог мой!» — он вещает и с челом
Бестрепетным, без страха, без смятенья
Смиренно все встречает искушенья.
Скажу ли? — и меня благословил
Бесценными дарами датель сил:
Пусть упиваются любимцы счастья
Отравою земною сладострастья;
Пусть одеваются в ничтожный блеск,
Пусть слышат купленный за брашно плеск, —
Они умрут, и сгложет червь их кости,
Имен их не помянут даже гости,
Участники распутных их пиров:
Я узник, но мой жребий не таков.
Меня взлелеял ангел песнопенья,
И светлые, чудесные виденья
За роем рой слетают в мой приют;
Я вижу их: уста мои поют,
И райским исполняюсь наслажденьем.
И (да вещаю ныне с дерзновеньем!)

Не все, так уповаю я, умрут
Крылатые души моей созданья:
С лица земного свеется мой прах,
Но тот, на чьем челе печать избранья,
Тот и в далеких будет жить веках;
Не весь истлею я: с очей потомства
Спадет покров мгновенной слепоты,
И стихнет гул вражды и вероломства;
Умолкнет злоба черной клеветы,
Забудут заблужденья человека,
Но воспомянут чистый глас певца,
И отзовутся на него сердца
И дев и юношей иного века.

Наступит оный вожделенный день, —
И радостью встрепещет от приветов
Святых, судьбой испытанных поэтов
В раю моя утешенная тень.
Тогда я робко именем клевретов,
Великие! назвать посмею вас:
Тебя, о Дант, божественный изгнанник!
О узник, труженик бессмертный Тасс,
Тебя! — и с ним тебя, бездомный странник,
Страдалец, Лузитании Гомер!
Вы, образцы мои, вы мне пример.
Мне бед путем ко славе предлетели,
Я бед путем стремлюся к той же цели.
Не плача же достоин жребий мой:
Я на земле, в тюрьме я только телом,
Но дух в полете радостном и смелом
Горé несется, за предел земной
И в ваш собор вступает светозарный.
Нет! мне не страшен смех толпы коварной:
Я в скорби, в заточеньи, в нищете;
Но лучший ли удел вкушали те,
Которых имена в столетьях громки,
Избранников победоносный хор,
Певцы, к которым поздние потомки
Подъемлют блеском ослепленный взор?

Между 12 и 15 декабря 1832

137. ПЛЕМЯННИКУ Д. Г. ГЛИНКЕ

ПРИ ПЕРЕСЫЛКЕ ПРИТЧИ СВ. ДИМИТРИЯ

Ты далеко от нас: в стране чужой,
Ты там, где в старину король морской,[1]
Бывало, спустит в пенистые волны
Коней пучины, дерзостные челны,
И отплывет с дружиной удалой
В седую даль на славу и разбой.
Ты там, где голос скальдов вдохновенных
И вещий строй полночных арф гремел,
И юный витязь трепетал, кипел
От пламенных стихов певцов священных
И в дождь бросался кровожадных стрел;
В отчизне ты и песней и отваги,
В земле Одена, Бальдера и Браги;
В земле, которой чудотворный дух
Великого очаровал поэта,
И он склонил к ее преданьям слух
И завещал бессмертию Гамлета.

Но Русь святую помнишь ты и там;
Ты верен всюду и всегда друзьям.
Нет! праведника мудрое сказанье
Смиренного, чье имя носишь ты,
Не об отечестве напоминанье, —
Один залог любви сии черты!
Прими же притчу! Я обрел отраду,
Души болезням в ней обрел цельбу:
Да будет и тебе она в усладу!
Благословляю вышнего судьбу:
Стоишь, как пальма в красоте могущей,
Ты тверд и светел в юности цветущей;
Надежды полн, и доблестен, и смел. . .
Дай бог тебе безбурных дней удел!
Но не поднять завесы с тьмы грядущей;
Земля юдоль искуса, а не рай:

---

[1] Королями морскими — викингами — назывались вожди норманских удальцов, опустошавших приморья Европы с IX по XIII столетие. Они обыкновенно были младшие братья королей.

И ты, мой друг, ненастья ожидай;
Лишь не забудь: и радость и страданье
Одной отеческой руки даянье.

16 февраля 1833

138. ПЛЕМЯННИЦАМ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИХ МАТЕРИ

Вы в Закупе, вы радостные гости
Тех самых рощ, лугов, холмов, полей,
Где расцветало утро ваших дней,
На берегах игривой, светлой Хмости.
За вами шумный, пыльный Петроград;
Вы там, где твердь ясна и блещут воды,
Где ароматом дышат лес и сад;
Вы на пиру, на празднике Природы.
Там солнце ране слышит ваш привет,
И луч его живительней и краше,
И ваших щек свежее нежный цвет,
И бьется веселее сердце ваше.
Но смерклось: по знакомым вы тропам
Бредете в злате лунного мерцанья,
И тихие парят воспоминанья
И сладко шепчут о минувшем вам.
Не там ли встретите в сени родимой
И день, любовью вашею святимый,
Тот день, в который к бытию призвать
Благоволил всевышний вашу мать?
И что ж являет мне воображенье?
Сдается, вижу вас, — вы предо мной;
Вы молитесь за счастие родной:
Сливаю к вашим и свое моленье.
О, в сей священный, в сей небесный час
Сколь пламень ваших душ и чист и ярок!
Но вы подъялись: каждая из вас
Несет любезный матери подарок. . .
Подарок малый, но он дорог ей:
Он изготовлен вашими руками.
Соединиться в том приносе с вами
Блаженством было бы душе моей;
Но — одинокий встречу я денницу:
Мое богатство — грусть о старине.

Напрасно бы и дева песней мне
Нарвала сладостных цветов кошницу;
Напрасно! — Кто услышит голос мой?
Кого обрадую смиренной данью?
Но посвящу и я воспоминанью,
Но освящу и я сей день мольбой:
Воспоминанью с вами проведенных,
Прекрасных, быстро улетевших дней,
Мольбой за вас, за мать и за детей,
Бесценных мне и вечно незабвенных.

18 июля 1833

139. ЛУЧ ИЗ-ЗА ОБЛАК

(Притча с немецкого)

Стоял на горе я, на самой вершине,
Очам утомленным покоя искал;
Но море тумана кипело в равнине,
Но вмиг изменялся синеющий вал.

Вдруг ветер — и тьму разодрал, — и светило
Воскресшего дня в глубине подо мной
Одеянный роскошью край озарило,
Чудесный эдем, насажденный весной.

Из персей исторгнулся крик упоенья;
Но ах! набежали тогда же валы,
Пожрали эдем, как мечту сновиденья:
Мрачнее повсюду владычество мглы.

О други! хотя бы однажды, не боле,
Расторг облака ваши радостный луч. . .
Но луч сей мгновенный посол же оттоле,
Где ваша отчизна над областью туч!

22 июля 1833

140. КУДЕЯР

(Баллада)

1

Над зеркалом Истьи, реки тихоструйной,
Не светлый булатный шелом
Блестит на головушке храброй и буйной, —
Над речкой красуется дом;
Тот дом не жилье ли тиуна Истомы?
Что полная чаша тиуна хоромы,
А нивы, что море, кругом.

2

В забеглой Печоре, над Истьей-рекою
В покое Истома сидит
И правит привольной Запронской страною
И суд и расправу творит;
Но бился и он под неверной Казанью,
Он, витязь отважный, воскормленный бранью,
Прославил и меч свой и щит.

3

Он семь молодцов и могучих и красных
Взрастил у себя в терему
И вместе их выпустил, соколов ясных,
И ввек не видать их ему:
Все семеро вместе под Полоцком пали,
И с дочкой Истома остался в печали
Сам-друг в опустелом дому.

4

Еще ли казна старика не богата?
В подвале мешки в три ряда;
Но пусть! и душа же его торовата:
К нему приведет ли нужда, —
Советом и деньгами всякому служит,
Напоит, накормит, дает — и не тужит,
И ласков ко всем и всегда.

5

Все любят Истому, а девицу втрое!
Она ли не счастие всех?
Изронит ли Маша словцо золотое —
Кручиниться, хмуриться — грех;
С приветной улыбкой поднимет ли очи —
Кажись, посветлеет угрюмость и ночи,
Найдет и уныние смех.

6

Отцу же сердечная жизни дороже:
Пусть ляжет на мир тишина, —
Старик не прострется на мягкое ложе,
Не вкусит отрадного сна,
Пока заступления ей не испросит
У той, ее ж имя небесное носит
С священной купели она.

7

На Истье спокойно и мирно в Печоре
Не первый — двенадцатый год;
Но по свету рыщет крылатое горе,
Но, знать, согрешил же народ:
Зима миновала; с наставшей весною
И в поле невзгода, и страх над рекою,
Опасны дорога и брод.

8

Узнали на Истье-реке Кудеяра, —
И трепет напал на людей,
Он ночь освещает огнями пожара,
Он режет и жен и детей;
Добро бы ордынец, добро бы язычник,
А ведь окаянный опальный опричник,
Ведь не из татар же злодей!

9

Что там пастухом позабыта скотина?
Зачем без коров, без овец
Пастух прибежал и дрожит как осина?

Он молвил Истоме: «Отец!
Познали мы тягости гнева господня:
Зарезан твой гость, отпущённый сегодня,
Московский богатый купец».

10

Тиун еще первому не дал ответа,
А в двери вломился другой:
«Отправился поп наш и рано до света
К больному со требой святой:
Ждала попадья, не дождалась — выходит,
И что ж? — Его мертвым у брода находит
С дрожащею в сердце стрелой. . .»

11

Вот третий, да должен же быть издалеча,
С усталого спрянул коня:
«Людей истребила кровавая сеча,
Их избы — несытость огня;
Ни старых, ни малых не минула кара,
Побил и младенцев кистень Кудеяра,
Девиц не щадила резня».

12

Тиуна не грохот нежданного грома,
Не рев облаков оглушил, —
От вести ужасной трясется Истома,
Насилу и крест сотворил;
Но вдруг закипело, зажглось ретивое.
Не время ль Истома воспомнил былое?
Не время ли цвета и сил?

13

Те дни, когда, Грозного славному деду
Усердный и верный слуга,
И он помогал роковую победу
Исхитить из рук у врага,

Когда от удара его рокового,
Как сноп, повалился с коня вороного
Наездник Исма́ил Ага?

14

«За мной! — закричал, — по горячему следу!
Ребята! проворней за мной!»
И слово летит от соседа к соседу,
И вмиг собралися толпой:
Один появился с копьем долгомерным,
Другой с самопалом надежным и верным,
А тот с опущенной косой.

15

Но путь ли заметят унесшейся птицы
В пучине воздушных зыбей?
В пустыне ли сыщут берлогу убийцы?
Безбрежное море степей
На юге синеет, теряясь для взора,
На севере ночь беспредельного бора,
Жилище ворон и зверей.

16

Пешком и верхом, по степям и по лесу
Искали с утра до поры,
Как вечер накинул седую завесу
На темя приречной горы,
Как пахарь ушел под убогую кровлю,
Как вышла лиса на полночную ловлю
Из темной и тайной норы.

17

Искали злодея и влево и вправо, —
Нигде отыскать не могли,
Искали в равнине, искали в дубраве,
Но нет, — и следа не нашли.
Когда же померкнула твердь голубая
И чуть озарила луна золотая
Лице задремавшей земли, —

18

Они повернули к жилищу тиуна,
Назад повернули к реке,
И что ж? не змеятся ли блески перуна
На крае небес вдалеке?
Но молния вьется не боле мгновенья, —
А свет-то горит и горит без затменья;
Заныла душа в старике.

19

Дрожит за дитя свое бедный Истома:
«Царю мой небесный! пожар!
По полю ношусь, — а здорово ли дома?
Что, если злодей Кудеяр? . .»
Отцовское сердце болит и тоскует,
Ох! вещее сердце недоброе чует,
Предчувствует тяжкий удар!

20

И бурею мчится Истома, и вскоре
До Истьи-реки доскакал:
Узнал бесталанный, узнал свое горе,
Бесчастный беду отгадал!
Он стал и взглянул, обомлел и трепещет:
Над Истьей не зарево, полымя блещет;
От крови поток ее ал!

21

И чу! зазвучало — не конский ли топот?
Навстречу лететь ли? — Но нет!
Тиун заглушает души своей ропот,
Горит, разрывается, свет!
Ретивое в нем обливается кровью,
Он мучится местью, тоской и любовью;
А держит разумный совет.

22

Сам страшен, и бледен, и тих, как покойник,
А верной дружине шепнул:
«Беды не поправим; всё кончил разбойник:

Избил на горе караул,
И терем зажег, и разграбил селенье;
Сгубленным, зарезанным поздно спасенье...
Но слушайте, слушайте: гул!»

23

«С кровавого пиршества пес нечестивый
Несется прямешенько к нам, —
Те молвили, — Предал же бог справедливый
Губителя нашим рукам! —
В траву и тростник и кустарник заляжем.
Пускай подойдет: ему дружбу докажем,
Заплатим ему по делам!»

24

Легли, выжидают, молчат, едва дышат,
Отчаяньем каждый объят.
И ближе, и ближе! и явственно слышат:
По камню копыта звучат;
И вот из-за рощи, гремя и сверкая,
Не шайка ли вдруг показалась лихая?
Не в лес ли злодеи спешат?

25

Они! впереди Кудеяр кровожадный...
Прорезала тучи луна:
И что же, и что же? Отец безотрадный!
В руках его, чувств лишена,
Как горлица в пасти свирепого змия,
Твое ли дитя — ах! твоя ли Мария? —
Старик злополучный, — она!

26

«Мария!» — тиун простонал и перуном
Ударил на шайку, — и вой,
Неистовый вой поднялся за тиуном,
Печора бросается в бой!

Разбойники дрогли — назад! но и с тыла,
С боков и совсюду печора завыла,
Совсюду напала толпой!

27

Не ждали губители хитрой засады,
И нет избавления им;
А думают: «Нам не просить же пощады;
Мольбой никого не смягчим!
Невыгодно драться, — да сдаться не прибыль:
Ведь нам и полон неминучая гибель;
Без битвы ли жизнь продадим?»

28

И бешено бьются, но силы их мало,
Но бешено бьются ж и те:
И вот уже трети злодеев не стало,
Изранены все в тесноте.
Не ранен один атаман их ужасный:
Истома боится Марии безгласной
Удар нанести в темноте.

29

И вдруг Кудеяр булавою граненой
В шишак старика улучил:
Шишак разлетелся, — тиун оглушенный
Не взвидел на небе светил;
А тот повернулся, — и прорвал печору,
Коня по бокам и — на ближнюю гору
Из-под их пищалей и вил. . .

30

Смутило дружину Истомы паденье;
Но, громко к дружине воззвав,
Воспрянул Истома и в то же мгновенье
К горе устремился стремглав.

Нет, ныне побег не избава злодею:
Сломить на горе ему буйную шею,
Не вырваться, — сколь ни лукав.

31

Резвы и проворны проклятого ноги:
Но в степь ли, в дубраву ль уйти?
В дубраву и степь переняты дороги!
За речку ли? — взвейся, лети,
Умчись сизым вороном, белою чайкой,
Удалою будет ли выручен шайкой?
Да ей и себя не спасти.

32

Глядит Кудеяр во все стороны с горки:
Не вести ли ждет молодец?
Не ищет ли тепленькой, темненькой норки?
Вдруг — ах! милосердый творец!
Плеснула река под горою крутою, —
И что-то белеет, и крик над рекою;
«Мария! — завопил отец. —

33

О господи, боже! дитя мое тонет!»
И пал, словно громом убит:
И рвется печора, и воет, и стонет;
К реке не бежит, а летит;
Вмиг вся побросалася в реку дружина:
Да! выдала Машу речная пучина;
Но дух ее кто возвратит?

34

Не месяц на тверди лазоревой, ясной,
Не яра свеча в алтаре —
Потухнула жизнь души-девицы красной,
Погасла на самой заре:
С приречной горы ее, с черного яра
В пучину столкнула рука Кудеяра;
Сам он хохотал на горе.

85

Ушел, убежал окаянный! но кара
Ужели его не найдет?
Спасет ли из божиих рук Кудеяра
Быстрейший, орлиный полет?
Сразит его завтра, когда не сегодня,
Сразит душегубца десница господня,
Проклятого бездна пожрет.

26 июля — 17 августа 1833

141. ПОЛНОЧЬ С 31 ДЕКАБРЯ НА 1-Е ЯНВАРЯ

1

Не часов ли томный вой?
В бездну ночи роковой,
В гроб свой старец год упал...
Чу! гудит над ним металл!

2

В мраке колокола звон
Будто над могилой стон...
Сколько и утех и слез
Этот год с собой унес!

3

На крылах в немую даль
Мчатся радость и печаль;
Дети мы седой земли,
Все потонем в той дали.

4

Был я молод и сказал:
«Мой житейский срок не мал»;
Я мечтал в своей весне:
«Далеко до цели мне».

5

Так! казался без конца
Краткий век очам слепца!
Вот я дряхлости достиг:
Что же век мой? — Только миг!

6

Вверх еще, — в жилище бурь,
В необъятную лазурь,
Вверх парит столпом седым, —
А уж тает легкий дым.

7

С крутизны кипит жемчуг:
Блеск и радуга вокруг;
Но померк в долине свет,
Шум умолк, — и пены нет.

8

Обольщает душу сон;
Всходит солнце: где же он?
Унесен волнами тьмы. . .
Сон, и дым, и пена — мы!

9

Восхищает роза нас;
Но и роза же на час;
С ней сравню ли бытие?
Ветер оборвет ее!

10

Многоводна, широка,
Пышно катится река. . .
Смертный, гордый суетой!
Не река ли образ твой?

11

В ней волна теснит волну,
Все несутся в глубину,
В море без брегов спешат. . .
Кто же видел их возврат?

12

Как теченье быстрых вод,
Так бежит за годом год:
Смотришь — и девятый вал,
Год последний, набежал.

13

Да храним же каждый час!
Ночь, как тать, настигнет нас,
Ночь, нерадостный предел
Наших замыслов и дел.

1 сентября 1833

142. БРАТУ

Короче день, — и реже с океана
Снимается седая ткань тумана;
Желтеет мой любимец, гордый клен,
Который прихотливою судьбою
Был с рощей разлучен родною
И здесь меж камней возращен. . .
Так! осень царствует, — и скоро, скоро птицы
Подымутся с полночных, грозных скал:
На полдень путь им начертал
Всемощный перст невидимой десницы.
Усмотрит над собой их вереницы
С высокой палубы пловец
И скажет: «Красным дням на севере конец».
Мертвеет бледная природа;
На сумрачный полет дряхлеющего года
Взирает, в думы погружен, певец.

Но и без летнего блестящего светила
Мне свят и дорог праздник Михаила. [1]
Давно не для меня и аромат цветов,
И роскошь нив, и вид с присолнечных холмов,
Не для меня дубравы томный шепот,
И песни соловья,
И водопада рев, и плеск и шум и ропот
Прозрачного ручья;
Давно покинул я все красоты вселенной:
В стенах угрюмых заключенный,
Давно от них оторван я;
Остались мне одни воспоминанья...
Но, друг мой, в день твоих ли именин
Я буду в одиночестве один?
Сберется мой народ, крылатые мечтанья,
И с ними сяду я за пир,
Забуду стражей и затворы,
Забуду целый мир
И вдруг перенесусь за степи, реки, горы,
В твой тихий дом, — к тебе!
Там, сердца счастливым обманом упоенный,
Воскликну: «Будь хвала судьбе!
Мне возвращен мой брат, со мною разлученный».
И что ж? пространство ли одно
По воле сокращать мечтаниям дано?
Их ветреное племя
Не покорило ли и самый рок и время?
Не призрак ли былых, прекрасных дней
Они подъемлют из могилы?
От веянья их чудотворной силы
Вдруг предо мной всплывает сонм теней;
Я вижу утра моего друзей:
Всех вижу их, как их видал, бывало!
Так, — вот и тот, кого давно уже не стало,
И тот, который жив, но дружбе изменил;
Те с высоты честей, те из степей изгнанья,
Из шумных городов, из тишины могил, —
Все, все стеклися для свиданья!
Сдается: только сон все наши испытанья:
Их образ тот же, — тот же разговор,

[1] Лютеранский — 29 сентября.

И слышу тот же смех, и тот же резвый спор...
Но миг — и нет их! — Я на бреге Авиноры,
Над зеркалом реки моей родной...
Здесь за струей когда-то наши взоры
Бежали, жадные, в туман дали седой;
Мы здесь, мой брат, рука с рукой
Бродили, сча́стливые дети,
Глядели, как рыбак закидывает сети,
Или как челн скользит над светлой глубиной.
Напомнить ли тебе робинсонады,
Романы пылкие младенческой мечты,
Какие слуху нам внимающей наяды
Рассказывали здесь когда-то я и ты?
Пойти ли в садик посетить цветы,
Взглянуть на дерева, посаженные нами?
Увы! давно цветы те отцвели,
Давно смешались с перстию земли,
И узнаны не будем деревами...
Всё минуло; быть может, не найти
Нам даже места на кладбище,
Где наш старик, сошед с житейского пути,
Обрел последнее жилище.
О! да покоится на лоне тишины!
Он вовремя сомкнул страдальческие вежды:
Еще тогда его сыны
Вливали в грудь отца и радость и надежды.
Но полно! — чувствую, как голос мой дрожит,
Как слезы брызнуть из очей готовы.
Мой утешитель-гений прочь летит:
Уже не светлы — мрачны и суровы
Те гостьи, коих в уголку своем
На праздник друга созвал твой пустынник...
Бог с ними! Пользы нет тужить вдвоем:
Умолкну, милый именинник!
Очнулся я, — и нет уже картин,
Какими тешило меня воображенье;
Подъемлю взоры — я по-прежнему один;
Склоняю слух — кругом уединенье.

25 сентября 1833

148. ПАХОМ СТЕПАНОВ

(Сказка)

Целовальника нет дома,
Да проворная жена
Всех употчует одна;
Просит посидеть Пахома;
А уж кружку допил он,
Встал и хочет выйти вон.

«Что торопишься, служивый?»
— «Нет, хозяюшка-душа,
Брага ваша хороша,
Да капрал старик сварливый;
Поплетусь-ко я домой».
— «Путь счастливый! Бог с тобой!»

Спотыкнулся у порога
И немного под хмельком
Вышел из корчмы Пахом.
Через лес лежит дорога,
Всё еловник да сосна,
Ночь, глаз выколи, темна.

Пусть темна, — не для Пахома!
Ночью, днем — нам всё равно:
Молодцу давным-давно
Та дороженька знакома.
Вот и песню затянул,
Песне отвечает гул.

Он бредет, а лес дремучий,
Будто баня, душен стал;
Тяжко филин простонал,
Тяжко громоздятся тучи;
Вдруг с берез понесся лист,
Вихорь встал и поднял свист.

Небо разразилось громом,
По лесу раздался треск,
Тьму разрезал яркий блеск:

Целовальник пред Пахомом. . .
«А! Потапыч! здравствуй, брат!» —
Молвил старику солдат.

«Где гулял, Пахом Степаныч?» —
Говорит старик ему.
«К вам я заходил, в корчму».
— «Что же не остался на ночь?»
— «К перекличке тороплюсь:
Служба! палок, брат, боюсь».

— «Э! Степаныч! что за служба?
Твой капрал храпит давно:
Отвечать уж всё равно;
Воротись! вот будет дружба!
Горе мы зальем вином:
Не упрямься, свет Пахом!»

Тускло светится лучина;
Холодна изба, темна.
Нацедил старик вина:
«Пей же, веселись, детина!
Нынче праздник: выпей! что ж?»
А того подрала дрожь:

«Да зачем же эти очи
Так и блещут и горят?
Что за дикий, чудный взгляд?»
И, сдается в мраке ночи,
То поднимет старика
Мигом вверх до потолка,

То опять на землю скинет;
Глядь: он как ребенок мал;
Глядь: до крыши лбом достал!
Смотрит гость, — и кровь в нем стынет;
Вон и пара чертенят
Языком его дразнят.

«Что бледнеешь? вместо фабры
Не прикажешь ли румян?
Что тут думать? ведь ты пьян!»

— «В самом деле! — шепчет храбрый. —
Знать, то мальчики в глазах;
Нет! не для солдата страх.

Ну, старик! налей же чару;
Да смотри же, пополней:
Я прозяб в избе твоей;
Надо, брат, прибавить пару. . .
Вот! — (и разом) — спать пора. . .»
— «Так прощай же до утра».

Лег служивый на полати,
Целовальник был не скуп,
Дал служивому тулуп,
Вот и сам уж на кровати, —
И заснули крепким сном
И хозяин и Пахом.

Оба спят; а месяц ясный
Из тяжелых туч сверкнул,
К ним в окошко заглянул;
Месяц с синевы ненастной
Смотрит молодцу в глаза:
Реже дождь, — прошла гроза.

Просыпается Степанов. . .
Где же? — в глубине лесной!
Мрак угрюмый и глухой
В сизой епанче туманов
Из-за сосен черный зев
Разевает, будто лев.

Там же, где луна светила,
Где лежал и спал Пахом, —
Под свалившимся крестом
Одинокая могила;
Вздрогнул, млеет молодец:
Целовальник-то — мертвец;

Саван — теплая овчина,
Платье мертвеца того,
Дар Пахому от него;

Пил из черепа детина;
Что же пил? — не знаю я;
Но не вышел он, друзья!

В том лесу поныне бродит
Средь медведей и волков,
Ждет разгульных молодцов
И в болото их заводит;
А солдат был хоть куда.
Где вино, — там и беда.

<1834>

144. РОДСТВО СО СТИХИЯМИ

Есть что-то знакомое, близкое мне
В пучине воздушной, в небесном огне;
Звезды полуночной таинственный свет
От духа родного несет мне привет.

Огромную слышу ли жалобу бурь,
Когда умирают и день и лазурь,
Когда завывает и ломится лес, —
Я так бы и ринулся в волны небес.

Доне́льзя постыли мне тина и прах...
Мне там в золотых погулять бы парах:
Туда призывают и ветер и гром,
Перун прилетает оттуда послом.

Туман бы распутать мне в длинную нить,
Да плащ бы широкий из сизого свить,
Предаться бы вихрю несытой душой,
Средь туч бы лететь под безмолвной луной!

Всё дале и дале и путь бы простер
Я в бездну, туда, за сафирный шатер! —
О! как бы нырял в океане светил!
О! как бы себя по вселенной разлил!

1 и 22 сентября 1834

145. ТРИ ИМЕНИННИЦЫ

Не вином заздравной чаши,
Не за шумным пиром я
Встречу именины ваши...
Нет! души моей друзья, —
Смеху, играм и веселью
Не в тюрьму же заглянуть;
Им в страдальческую келью
Загражден судьбою путь.
Но что есть и что отъято,
Что в грядущем мне светло,
Что в минувшем сердцу свято, —
Пред душой моей всплыло.
Вдохновение в преданьях:
Ум измерил мир и твердь,
Всё изведал, — но в писаньях
Вместе с светом хлад и смерть.
Так! наука тощий камень,
В книгах — труп отцветших дней;
В песнь спаслись восторг и пламень;
Жизнь — в живой рассказ семей!
В тонкий сумрак облеченный,
Вещий предо мной возник
Гений старины священной
И приял родимой лик —
Не над всеми небо ясно...
Всё же будь хвала судьбе!
Многое в наш век прекрасно:
Он мне мил, сестра, в тебе.
В нежной деве, соименной
Вам обеим, я зарю
В лоне рока сокровенной,
Светлой будущности зрю.
Смолкла скорбь, затихли муки...
В сей восторга полный час
К вам я простираю руки,
В *ней* благословляю вас!

23—25 сентября 1834

146. МОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Замолк и меркнет вещий дух,
Не брызжут искры вдохновенья,
Исчезли дивные виденья:
В груди певца восторг потух.
Так постепенно тише рдеет
Без жизнедатного огня
И остывает и чернеет
Под мертвым пеплом головня.
Внимает томный слух поэта
Не гулу арфы с рубежей
Отчизны истины и света, —
Нет! свисту и шипенью змей...
Обвили чешуей холодной
Они добычу; жала их
Над ним трепещут, — бледен, тих,
Угрюм, без жалобы бесплодной,
Слабеет он... Вдруг чьих-то крыл
Эфирный шорох... В бездну ночи,
В безбрежный океан светил,
Спасенья жаждущие очи
Страдалец молча устремил...
И се! великий Исфраил
Стоит пред ним. — В одно мгновенье
Расторг могущий кровы мглы,
Раздрал кровавых змей узлы
И сдул с души певца мученье;
Потом вещал: «Питомец мой,
Как стал ты жертвою чудовищ?
Еще ли мало над тобой
Иссыпал я своих сокровищ?
Молил, взывал ты: «Песней мне!
В бессмертном, чистом их огне
Все скорби я сожгу земные».
И внял я: в звуки я одел
Виденья вечно молодые,
И с роем их к тебе слетел,
И так поведал: твой удел —
И думы, и мечты, и лира;
Но не желай блаженства мира;
А да прольешь с священных струн
Крылатый, радостный перун!

И он помчится в хляби дали,
Разрежет тучу — и лазурь
Укажет смертным, высше бурь,
В пределах тех, где нет печали.
Ты часть свою благословил,
Ты взял ее. . . Так что же ныне
Ты вдруг без мужества и сил?
Или ты изменил святыне?
Кумирам жаждешь ты служить,
Кадить и неге и гордыне?»

Поэт

Святыне верен я и ныне,
И мне ли идолам кадить?
Пусть сумрачна моя обитель,
Пусть дней моих уныла нить,
Но ты со мною, мой хранитель!
И вновь судьбу благословить
Готов я. — Мощный и прекрасный
Посланник из страны чудес,
Ты претворяешь, сын небес,
Глухую полночь в полдень ясный:
С тобою бодр и силен я,
С тобою верую в избранье.
Но отлетишь — опять страданье
Сжимает душу; грудь моя
Полна терзанья и сомнений,
И сам ты, светозарный гений
(Прости безумью слепоты!), —
Тогда мне кажешься и ты
Коварным духом обольщений. . .
Или мой жребий не жесток?
Из сонма дышащих творений
Меня не выхватил ли рок?
Без устали бежит поток
И дней и лет. . . Какого ж века?
Не ум ли ныне человека
Творит из мира мир иной?
Что ж? неприступною стеной,
До самой тверди взгроможденной,
Я отделен от всей вселенной.
Немеет слабый гул наук,

За мой порог не пролетая.
Здесь, ухо всуе поражая,
Часов однообразный стук
Над временем насмешка злая:
Оно стоит. И мне ль мечтать
Из мертвой тьмы уединенья
Учить живые поколенья
И миру бога возвещать?

Исфраил

Ты отделен от суеты,
Отрезан ты от преткновений.
Жалеешь о науках ты?
Но, полный и теперь сомнений,
Скажи: что было бы с тобой,
Когда бы легкою душой
Ты несся по порогам прений,
Раздравших ныне быт людской?
Непостоянен лик науки,
Как лик изменчивой луны;
Но из сердечной глубины
Текут одни и те же звуки
И вторятся из века в век.
Их слышит, как сквозь сон мятежный,
Дрожит и млеет человек,
И рвется в оный край безбрежный,
Где всё покорно красоте,
Где правда, свет и совершенство.
Да разгадаешь звуки те!
Вот долг твой, вот твое блаженство!
Бог — бог безмолвия и дум;
И здесь, где умер мира шум,
Где окружен ты тишиною,
Не он ли пред твоей душою
Стоит, отец своих детей?
Как горный ток, падущий в долы,
Так в сердце братий, в грудь друзей
Излей могущие глаголы
О нем, предвечном, трисвятом.
Да совершишь предназначенье, —
И по труде в успокоенье
Он призовет тебя в свой дом.

31 декабря 1834

147. ОН ЕСТЬ

Он есть! — умолкни, лепетанье
Холодных, дерзостных слепцов!
Он есть! — я рук его созданье;
Он царь и бог своих миров;
В нем жизнь, и свет, и совершенство;
Благоговеть пред ним блаженство,
Блаженство называть творца
Священным именем отца.

«Не рвися думой за могилу:
Дела! дела! — вот твой удел!
Опрись о собственную силу,
Будь тверд, и доблестен, и смел!
Уверен ты в себе едином:
Так из себя всё почерпай, —
И мира будешь властелином,
И обретешь в себе свой рай».

Денницы падшего ученье!
Слиянье истины и лжи!
Мудрец! — я есмь в сие мгновенье;
А был ли прежде? — мне скажи!
Теперь я мыслю, — а давно ли?
И стал я от своей ли воли?
И как из недр небытия
Вдруг просияло это я?

«Владей страстьми!» — брось лицемерье,
Поведай: радость и печаль,
Любовь и гнев, высокомерье,
И страх, и зависть ты всегда ль
Смирял успешно? Крови пламень
Тушил всегда ли? — Я. . . не камень:
Бывал я высше суеты,
Но помощию с высоты.

Пусть ум не постигает бога:
Что нужды? — вижу я его:
Там среди звездного чертога,

Здесь в глуби сердца моего
И в чудесах моей судьбины!
Так буду жить я без кончины
Неразрушимым бытием,
Могущий, вечный, — но о нем!

Он недоступен для гордыни,
Он тайна для очей ума;
Блеснуть был должен луч святыни,
Чтобы расторглась наша тьма:
И се блеснул! Я вести внемлю:
Всевышний сам сошел на землю;
Отец духов, владыка сил,
Бог в сыне нам себя явил.

4—5 января 1835

148. ОССИАН

(Воспоминание о картине Жироде)

Пастух

Сын отдаленной чужбины,
Муж иноземный, — куда?
В бездне лазурной пучины
Теплится искра-звезда;
Там же в парах белоснежных
Спит золотая луна;
Нет еще вихрей мятежных,
Всюду еще тишина.
Но уже пали на очи
Брови седой полуночи;
Бурь просыпается дух.

Странник

Жаждут и сердце и слух
Песней Улина и Гала:
Дом благодатный Фингала
Близко ли, древний пастух?

Пастух

Хладный, немой, обгорелый,
В сизой трепещущей мгле,

Остовом дом опустелый
Черный стоит на скале;
Смотрит на синие волны:
Из дружелюбной страны
Уж не приносятся челны
Шумно к подножью стены;
Уж за трапе́зой Фингала
Арфа давно замолчала:
Рино и Гал и Улин,
Да и мужей властелин,
Сам он, отец Оссиана,
Все они в царстве тумана;
Сын только бродит один.

Скорбью ведом и мечтами,
Бродит унылый певец
Между родными гробами,
Сирый и дряхлый слепец.
Строгой судьбой пораженный,
Он полонен темнотой,
Но его дух дерзновенный
Мир созидает иной,
Мир сладкозвучья и стона:
Там еще дышит Минона,
Юноша Рино не пал,
Жив и Оскар и Финга́л;
Кровные барда обстали,
Слушают песни печали
Призраки с облак и скал.

Пастырь умолкнул, — и взоры
Муж иноземный подъял
С дола на мрачные горы:
Камни мостов и забрал,
Своды упавшей бойницы,
Сельму и поле могил
Змий быстротечной зарницы
Белым огнем осребрил;
Грома огромные струны
Задребезжали; перуны
Весь очертили обзор;
Вздрогнул от ужаса бор,

Скалы трепещут от гула...
Чу! Чья-то арфа дерзнула
С арфой небесною в спор!

Смелы и резки удары,
Тверд повелительный глас,
Грозны священные чары:
С дивных и пламень угас
И улеглися стихии;
В лоно безмолвья и сна
Пали воздушные змии;
Снова на небе луна;
Старца луна осветила:
Будто широкие крыла,
Вьется с рамен его плед;
Молча и прадед, и дед,
Сын, и отец, и клевреты,
В лунное злато одеты,
Слушают барда побед...

Помню эфирное племя...
Некогда зрел их и я
В юное мощное время.
(Где оно? где вы, друзья?)
В райские годы, когда мы
Из упованья и снов
Строили пышные храмы
Для небывалых богов!
Часто я в светлые лета
Вдруг из святыни поэта
Гнедича, сына камен,
Несся ко гробу племен,
Полн необъятного чувства,
В дивном созданьи искусства
Видел воскресший Морвен! —

Ах! и мой Дельвиг, Вильгельму
Он с вдохновенным челом
В Лору вождем был и Сельму,
В радостный царственный дом.
Рек же владыка: «Чужбина
В Сельму прислала певцов;

Чашу привета, Мальвина,
Дева, царица пиров! . .»
Гнедич и Дельвиг! и оба
В дверь безответного гроба,
Оба и вдруг вы ушли! —
В глубь беспредельной дали
Ухо вперяю напрасно;
Всё и темно и безгласно:
Там они, высше земли!

Тихо; по звездному своду
Ходит немая луна;
Ночь обаяла природу
Маками мертвого сна;
Дремлют и стоны и бури.
Вдруг. . . по дрожащим лучам
Что-то скользнуло с лазури,
Зримое вещим очам. . .
Чудится чей-то мне голос,
Холодно! млею; мой волос
Весь поднялся как живой;
Всею моею душой
Делятся радость и трепет;
Песнью становится лепет. . .
Братья! не вы ли со мной?

6 января 1835

149. ЦВЕТ ПОМЕРАНЦА, СОРВАННЫЙ С МОГИЛЫ КОРСАКОВА

Поэт

Здесь опять ты, Исфраил?
Рад я гостю дорогому,
Рад, хотя бы и спарил
В дол по своду голубому,
Как недавно, — не с толпой
Легких, радостных видений,
А с запасом поучений,
А с суровою журьбой.
Но сегодня, кроткий, ясный,
Не браниться хочешь ты. . .

Мне сказать ли, дух прекрасный?
В час иной ты с высоты
В темный уголок мой сходишь,
Силу шлешь, восторг и свет,
Жизнью пышешь, — а наводишь
Всё же трепет; ныне — нет!
Ныне, ангел, друг небесный!
Будто брата твой привет.
Ты не в грозный блеск одет,
Нестерпимый и чудесный;
На ланитах розы цвет. . .
Словно звезды, дети ночи,
На усталую волну,
Мне лазоревые очи
В грудь пролили тишину.
Радужные крылья даже,
Дивный признак, данный страже
Вертоградов неземных,
Долов и полей Эфира,
Даже их, посланник мира,
Прядью кудрей золотых
Ты завесил.

Исфраил

Из отчизны
Не принес я укоризны,
Бедный труженик, тебе!
Мой страдалец одинокий,
Предоставил я судьбе
Долг печальный, долг жестокий
За уныние в борьбе,
За бессилие в усильях —
Выговаривать тебе.
Мчуся я на звучных крыльях,
Рассекаю я эфир,
Не исправить грешный мир,
А убрать его цветами. —
Встань! Веселыми глазами
На меня ты посмотри:
Вот гостинец! у зари,
У подруги вечноюной
Сладкопевца-соловья

Варвитон сереброструнный
Выпросил нарочно я.

И, восторгом оживленный,
Я колена преклонил:
Но дал варвитон священный,
Улыбаясь, Исфраил.
«Струн коснись, — вещал хранитель, —
Их теперь же обнови,
Огласи свою обитель
Гимном веры и любви!»
Струны тронул я: звездами
Засверкали под рукой,
Раздались, запели сами,
Будто движимы душой.
Просветлело! — Грусть глухая
С сердца спала, как гора...
Что ж? — не ты ли вдруг, сестра!
Предо мною как живая?
Так! — ты помнишь обо мне
Средь полуденного рая!
Ночью при немой луне
Листьев заунывный шепот,
Вздох глубокий, томный ропот
Струй, лепечущих во сне,
Вещий голос темной дали,
Ветер, веющий с небес,
В волны думы погружали,
В хладный край наш увлекали
Дух твой из страны чудес!
Там, в Италии прелестной,
Ты нашла и холм безвестный,
Гроб, который свят для нас,
Для друзей певца младого...
Рано с пиршества земного
Он ушел! — он там угас
Под роскошной твердью юга...
Для меня с могилы друга
Там сорвала ты цветок,
Дар, залог благословенный
Дружбы вечной, неизменной!
Непостижно грозен рок;

Но над нею рок без власти:
Дружбы Юлии моей
Не лишат меня напасти,
Ни злословие, ни страсти,
Ни гонения людей!

8 января 1835

150. ЕЛИСАВЕТА КУЛЬМАН

Берег ли священной Леты,
Ты ли, тихая луна, —
Но я верю: есть страна,
Где герои, где поэты
Не страдают, где они
В плоть нектарную одеты,
Где и их безбурны дни.
Там ни зол, ни гроз, ни ночи
Их божественные очи
Уж не видят; вход туда
Загражден для черни шумной;
Там не во́пят никогда
Дикий смех и рев безумный;
Вся волшебная страна
Тонет в багряце заката;
Воздух весь из аромата;
Там, гармонии полна,
В ясных токах, вечно чистых,
Под навесом лоз душистых,
Как алмаз, горит волна.

Там, в прохладе райской сени,
Без вражды овца и лев;
В слух мужей и жен и дев
Уж не стоны и не пени
Льются в песни соловья;
Там блаженству внемлют тени
В самом лепете ручья.
Там все тучи, все печали
Светлой радостию стали;
Там дыханье клеветы
Не затмит сиянья славы;

Там в святыне красоты
Нет ни лести, ни отравы.
Отдохну же там и я!
Нужно мне отдохновенье:
Бед забвенье, ран целенье
Там найдет душа моя. . .
Слышу неземные звуки,
К теням простираю руки:
Ждут бессмертные друзья!

И я сбросил ношу тлена;
Зрю и я же наконец
Чад избранья, я, певец
Из наследия Славена!
Светоч дивных не погас:
Вот Камоенс, — на колена!
Вот Марон, и Дант, и Тасс;
Вот, обнявшись, из тумана
Вдруг шагнули три титана,
Ше́кспир, Ка́льдерон, Эсхил!
Вот Гомер. . . кто деду равен?
Он весь мир в себе вместил.
Вот — не наш ли? — Так! Державин,
Хора русских корифей!
Он предводит не толпою;
Но не слиты ж и со тьмою
Барды, честь земли моей:
Их восторженные лица
Так мерцают, как денница
Из-за трепетных ветвей.

К вам, родные! — вдруг, движенья
Сладким ужасом лишен,
Не в кумир ли претворен
Я от хлада изумленья?
Будто камень при пути,
Стал в плену самозабвенья,
Стал — и с места не сойти!
Знаю: я в стране чудесной,
Всё ж не в области небесной:
Гостья ль с оной высоты,

Из отчизны совершенства,
В мирный вертоград мечты,
В край смиренного блаженства,
К вам спустилась? — Кто она?
Между вами словно дома;
Мне безвестна, а знакома...
Или в вещем царстве сна,
Или в храме идеала,
А душа ее встречала:
Ею мысль и грудь полна!

Там я зрел ее! — Оттоле
В прах свергаем, в шум земной,
Я спасал призрáк святой;
Я ж и в роковой неволе
Бурь, обманов и скорбей,
В нашем грустном, темном доле
Тайно тосковал по ней!
И с улыбкой величавой
Старец, увенчáнный славой,
Бард Фелицы, провещал:
«Сын, ты прав; земная риза
Облачила идеал, —
И родилася Элиза:
Но прекрасной (я горжусь)
Не далекое светило
Колыбелию служило,
Нет! моя родная Русь.
Здесь я дочерью своею
Называть Элизу смею,
А — скажу ль? — порой боюсь!

Здесь не может быть раздора:
Рай и мир одно для нас;
Что ж? и здесь великий Тасс
Уступил мне не без спора
Милое мое дитя...
На земле бы Леонора
Ревновала, не шутя.
Без досады и без гнева,
А и Шиллер: «Наша дева!» —

Мне три раза повторил.
Сам Гомер, наш вождь державный,
Вскрикнул: «Сонмы горних сил!
Я ей предок, и не давный!»
Ждали мы: судьбе хвала!
Дева потупила взоры,
Как от отблеска Авроры
Покраснела до чела,
Поклонилась славным теням,
Но к укромным *нашим* сеням,
В *наши* кущи потекла! —

С той поры без опасенья
Смотрим мы на сонм теней:
Только я нередко к ней
Обращаюсь, полн сомненья:
«Не мечта ты, дочь моя?
Не созданье вдохновенья?
Точно *мы* тебе семья?
А не дети бездн эфира,
О которых наша лира
Проповедала земле?
Ах, тебе ли, горней розе,
Было цвесть в тяжелой мгле,
В душегубящем морозе?»
Часто мыслю: что для ней
Наш Коцит и наша Лета?
На мгновенье дева света
К нам спорхнула в Элизей;
Вдруг в отечество святое,
В небо улетит родное,
В царство духа и лучей!»

29—30 января 1835

151. РОСИНКА

(Притча)

Сон побежденный
С выси янтарной
Канул за лес:
Шар лучезарный,

Око вселенной,
Сердце небес,
Всходит и — пало
Тьмы покрывало,
Сумрак исчез.

С синего свода
Токи ли злата
Льются на мир?
С ложа подъята,
Встала Природа,
Села за пир;
Пышет и блещет,
Жизнью трепещет
Легкий эфир.

Сладостный пламень
Горней пучины
Всюду горит:
Холмы, долины,
Море и камень
Мощный живит;
Твердью ли стала
Капля кристалла?
В ней его щит:

В лоне росинки,
Малой, дрожащей
(Дунешь и — нет!),
Чуть тяготящей
Чашу былинки, —
Слава и свет,
Трон исполина,
Зрак властелина
Дней и планет!

С ясной лазури
Солнце вещало:
«Хляби! валы!
Мне ли зерцало
Пленники бури,
Узники мглы?

Дики, свирепы,
Рвите заклепы,
Рушьте скалы!

Капле смиренной
Вас ли, мятежных,
Я предпочту?
С стран безрубежных
К черни надменной,
К вам, в темноту,
В бездну, где грохот,
Скрежет и хохот,
В ад ли сойду?»

Благостный, вечный,
Дивный не в шуме,
Бог не в грозе;
Нет! — в тихой думе,
В глуби сердечной,
В чистой слезе,
В скорби незлобной, —
В деве, подобной
Чистой росе.

16 февраля 1835

152. СОН И СМЕРТЬ

О Сон безмолвный! благотворный Гений!
Таинственный! — Сколь ты могущ и тих!
Ты царь, — и правишь племенем видений;
Тот счастлив, кто в объятиях твоих
Забвенье всех житейских пьет волнений;
Ты повелишь ли, кроткий дух утех, —
И вмиг тоску страдальца сменит смех.

Тому, кто разлучен навек с друзьями,
Священные, родные имена
Не ты ль твердишь волшебными устами?
Тобой пустыня вдруг населена, —
На *них* восторга полными очами

Он смотрит, внемлет сладким их речам,
Их руку жмет; он с милыми, — он там!

Скажи же мне, мой горний утешитель,
Душе моей встревоженной открой:
Кто тот другой могучий усыпитель,
Тот дух немой и грозный? — брат ли твой?
Его земли мгновенный посетитель,
Страшливый гость под солнцем — человек
Суровым, тяжким именем нарек...

Твой брат или ты сам, но измененный,
В венце из звезд, с завешанным челом?
Готов я, зноем жизни изнуренный,
Назвать могилу сладостным одром.
Властитель дивный, мраком покровенный,
Поставивший средь ночи свой престол!
Да внемлешь мне, да примешь мой глагол:

Когда закроешь мне надолго вежды
И остановишь ток моей крови́,
И снимешь бремя тягостной одежды
С рамен моих, — тогда ты мне яви
Не тщетными обеты той надежды,
Обеты тех божественных светил,
Для коих я дышал, страдал и жил!

Первая половина 1830-х годов

153. МОЛИТВА

Прибегну к господу с мольбою,
Небесного взыщу отца:
Не дай мне, боже, пасть душою,
Но да креплюся до конца!

Ты знаешь испытаний меру,
Что мне во благо, знаешь ты:
Пролей живительную веру
В меня с надзвездной высоты!

Душа моя не есть ли поле,
Иссохшее в тяжелый зной?
О боже, боже мой, доколе
Отринут буду я тобой?

Не презри твоего созданья;
Твое творенье я, творец!
Нечистые мои мечтанья
Сорви, исторгни, как волчец;

Низвергни в море преступленья
Грех буйной юности моей;
Даруй мне тихие моленья;
Очисти взор моих очей!

Да устремлю туда желанья,
Где ужаса и скорби нет,
Где блеском вечного сиянья
Господень вертоград одет.

Первая половина 1830-х годов

154. МОЛИТВА УЗНИКА

Руку простри над моею темницей,
Господи! сирую душу мою
Ты осени милосердой десницей!
Господи! боже! к тебе вопию!

Нет! своего не погубишь созданья!
Скорбных ли чад не услышит отец?
Зри мои слезы, сочти воздыханья,
Веры моей не отвергни, творец!

Мне не избавиться смертных рукою:
Друг мой и ближний мне гибель изрек.
Так! я спасуся единым тобою!
Господи! что пред тобой человек?

Боже мой! тяжки мои преступленья,
Мéрила нет моим тяжким делам...
О! да воскресну из уз заточенья
Чист и угоден господним очам!

Будь для меня исцеляющей чашей,
Чашей спасения, горестный плен!
Слезы! омоясь купелию вашей,
Нов я изыду из сумрачных стен;

Нов и для жизни, ему посвященной.
Он мой спаситель, заступник и бог;
С неба внимает молитве смиренной:
Милостив он, он отечески строг.

Первая половина 1830-х годов

155. АНГЕЛ

На небесах небес пред славою господней
Блаженный некий ангел предстоял;
От звезд бесчисленных до мрака преисподней
Вселенную он взором обтекал;

И се — на темный шар свои низводит очи,
Где средь гробов и тлеющих костей
Витает человек, слиянье дня и ночи,
Брат серафимов, брат червей.

И что же? Сатана, бессмертных искуситель,
Воздвигся шумен и покинул ад, —
И потряслась за ним бездонная обитель,
И он из проклятых навеки врат,

Ревущий, алчный лев, ловец ненасытимый,
Хулитель древний, темный, падший дух,
Вступает в светлый сонм, единым богом зримый,
И шепчет ангелу в отверстый слух:

«Непостижимый — благ... Почто же на страданье
Он землю, дело рук своих, обрек?»
Внял ангел: вдруг его померкнуло сиянье;
Уже он на земле — он человек.

Борим боязнию, игралище надежды,
Он жизнию за грех казнится днем;
Но ночию, когда его сомкнутся вежды,
Воспомнив о товарище своем,

Толпою ангелы из рая прилетают,
Изгнанника на радужных крылах
Быстрее молнии в отчизну восхищают:
Он ангел вновь, — он вновь на небесах;

И видит он духо́в, страданьем омовенных,
Как золото, очищенных огнем,
И раздается песнь восторгом окрыленных:
«Отца страданий славим и поем!»

Увы! и я тужу, и я изгнан из рая:
Узрю ли, встречу ли мою семью?
По вас тоскую я, к вам руки простирая,
Блаженствую, когда я слезы лью.

И вы, родимые, вы брата посещали!
Я вас видал в златых, счастливых снах.
Являлись — исчезал туман моей печали;
Был с вами я, был в закупских лугах.

Первая половина 1830-х годов

156. 19 ОКТЯБРЯ 1836 ГОДА

Шумит поток часов; их темный вал
Вновь выплеснул на берег жизни нашей
Священный день, который полной чашей
В кругу друзей и я торжествовал...
Давно! — Европы страж, седой Урал,
И Енисей, и степи, и Байкал
Теперь меж нами. — На крылах печали
Любовью к вам несусь из темной дали.

Поминки нашей юности — и я
Их праздновать хочу, — воспоминанья,
В лучах дрожащих тихого мерцанья,
Воскресните! — Предстаньте мне, друзья;
Пусть созерцает вас душа моя,
Всех вас, Лицея нашего семья!
Я с вами был когда-то счастлив, молод, —
Вы с сердца свеете туман и холод!

Чьи резче всех рисуются черты
Пред взорами моими? Как перуны
Сибирских гроз, его златые струны
Рокочут... Пушкин! Пушкин! это ты!
Твой образ — свет мне в море темноты;
Твои живые, вещие мечты
Меня не забывали в ту годину,
Как пил и ты, уединен, кручину!

Тогда и ты, как некогда Назон,
К родному граду простирал объятья;

И над Невой затрепетали братья,
Услышав гармонический твой стон:
С седого Пейпуса, волшебный, он
Раздался, прилетел и прервал сон,
Дремоту наших мелких попечений,
И погрузил нас в волны вдохновений!

О брат мой! много с той поры прошло:
Твой день прояснел, мой — покрылся тьмою:
Я стал знаком с торкватовой судьбою, —
И что ж? опять передо мной светло:
Как сон тяжелый, горе протекло;
Мое светило из-за туч чело
Вновь подняло, — гляжу в лицо Природы;
Мне отданы долины, горы, воды!

И, друг! хотя мой волос поседел,
Но сердце бьется молодо и смело:
Во мне душа переживает тело,
Еще мне божий мир не надоел.
Что ждет меня? Обманы наш удел;
Но в эту грудь вонзалось много стрел,
Терпел я много, обливался кровью:
Что, если в осень дней столкнусь с любовью?

17 октября 1836

157. РАЗОЧАРОВАНИЕ

Скажи: совсем ли мне ты изменил,
Доселе неизменный мой хранитель?
Для узника в волшебную обитель
Темницу превращал ты, Исфраил;
Я был один, покинут всеми в мире,
Всего страшился, даже и надежд;
Бывало же, коснешься томных вежд,
С них снимешь мрак, дашь жизнь и силу лире, —
И снова я свободен и могуч:
Растаяли затворы, спали цепи,
И, как орел под солнцем из-за туч
Обозревает горы, реки, степи, —

Так вижу мир раскрытый под собой
И радостно сквозь ужас хладной ночи
Бросаю полные восторга очи
На свиток, писанный судьбы рукой!..
А ныне пали стены предо мной:
Я волен; что же? — бледные заботы,
И грязный труд, и вопль глухой нужды,
И визг детей, и стук тупой работы
Перекричали песнь златой мечты;
Смели, как прах, с души моей виденья,
Отняли время и досуг творить, —
И вялых дней безжизненная нить
Прядется мне из мук и утомленья.

22 мая 1837

158. ТЕНИ ПУШКИНА

Итак, товарищ вдохновенный,
И ты! — а я на прах священный
Слезы не пролил ни одной:
С привычки к горю и страданьям
Все высохли в груди больной.
Но образ твой моим мечтаньям
В ночах бессонных предстоит,
Но я тяжелой скорбью сыт,
Но, мрачный, близ жены мне милой
И думать о любви забыл...
Там мысли, над твоей могилой!
Смолк шорох благозвучных крыл
Твоих волшебных песнопений,
На небо отлетел твой гений;
А визги желтой клеветы
Глупцов, которые марали,
Как был ты жив, твои черты,
И ныне, в час святой печали,
Бездушные, не замолчали!
Гордись! Ей-богу, стыд и срам
Их подлая любовь! — Пусть жалят!
Тот пуст и гнил, кого все хвалят;
За зависть дорого я дам.

Гордись! Никто тебе не равен,
Никто из сверстников-певцов:
Не смеркнешь ты во мгле веков, —
В веках тебе клеврет Державин.

24 мая 1837

159. БРАТУ

Минули же и годы заточенья;
А думал я: конца не будет им!
Податели молитв и вдохновенья,
Они парили над челом моим,
И были их отзывы песнопенья.
И что ж? обуреваем и томим
Мятежной грустию, слепец безумный,
Я рвался в мир и суетный и шумный.

Не для него я создан: только шаг
Ступить успел я за священный праг
Приюта тихих дум — и уж во власти
Глухих забот, и закипели страсти,
И дух земли, непримиримый враг
Небесного, раздрал меня на части:
Затрепетали светлые мечты
И скрылися пред князем темноты.

Мне тяжела, горька мне их утрата
(Душа же с ними свыклась, жизнь срослась) —
Но пусть! — я и без них любовью брата
Счастлив бы был; с ним вместе, не страшась,
Вступил бы я в борьбу — и сопостата
Мы побороли бы; нет, дружных нас
Не одолел бы! — Может быть, и лира
Вновь оживилась бы на лоне мира!

О! почему, неопытный борец,
Рукой неосторожной грудь родную
Я сжал и ранил? — пусть восторжествую,
Пусть и возьму столь лестный мне венец, —
Ах! лучше бы я положил, певец,

Забытый всеми, голову седую
В безвестный темный гроб, чем эту грудь
И без того больную оттолкнуть!

Где время то, когда, уединенный,
К нему я вдаль объятья простирал,
Когда и он, любовью ослепленный,
Меня к себе под кров свой призывал?
Я наконец перешагнул Урал,
Перелетел твой лед, Байкал священный;
И вот свою суровую судьбу
Я внес в его смиренную избу!

Судьбу того, кто с самой колыбели
Был бед звездою всем своим друзьям. . .
За них подъемля руки к небесам,
Моляся, чтобы скорби пролетели
Над милыми, — сердца их я же сам,
Бывало, растерзаю! Охладели,
Заснули многие; ты не отъят,
Ты мне один остался, друг и брат!

А между тем. . . Покинем и забудем,
Забудем бури, будто злые сны!
Не станем верить ни страстям, ни людям:
Оставь мне, отпусти мои вины;
Отныне в жизни неразлучны будем!
Ведь той же матерью мы рождены.
Сотрем все пятна с памятной скрижали;
Всё пополам: и радость, и печали!

3 сентября 1837
Баргузин

160. 19 ОКТЯБРЯ 1837 ГОДА

Блажен, кто пал, как юноша Ахилл,
Прекрасный, мощный, смелый, величавый,
В средине поприща побед и славы,
Исполненный несокрушимых сил!
Блажен! лицо его всегда младое,

Сиянием бессмертия горя,
Блестит, как солнце вечно золотое,
Как первая эдемская заря.

А я один средь чуждых мне людей
Стою в ночи, беспомощный и хилый,
Над страшной всех надежд моих могилой,
Над мрачным гробом всех моих друзей.
В тот гроб бездонный, молнией сраженный,
Последний пал родимый мне поэт...
И вот опять Лицея день священный;
Но уж и Пушкина меж вами нет!

Не принесет он новых песней вам,
И с них не затрепещут перси ваши;
Не выпьет с вами он заздравной чаши:
Он воспарил к заоблачным друзьям.
Он ныне с нашим Дельвигом пирует;
Он ныне с Грибоедовым моим:
По них, по них душа моя тоскует;
Я жадно руки простираю к ним!

Пора и мне! — Давно судьба грозит
Мне казней нестерпимого удара:
Она меня того лишает дара,
С которым дух мой неразлучно слит!
Так! перенес я годы заточенья,
Изгнание, и срам, и сиротство;
Но под щитом святого вдохновенья,
Но здесь во мне пылало божество!

Теперь пора! — Не пламень, не перун
Меня убил; нет, вязну средь болота,
Горою давят нужды и забота,
И я отвык от позабытых струн.
Мне ангел песней рай в темнице душной
Когда-то созидал из снов златых;
Но без него не труп ли я бездушный
Средь трупов столь же хладных и немых?

19 октября 1838

161. ОНИ МОИХ СТРАДАНИЙ НЕ ПОЙМУТ

Они моих страданий не поймут,
Для них смешон унылый голос боли,
Которая, как червь, таится тут
В груди моей. — Есть силы, нет мне воли.
Хоть миг покоя дайте! — нет и нет!
Вот вспыхнуло: я вспрянул, я поэт;
Божественный объемлет душу пламень,
Толпятся образы, чудесный свет
В глазах моих, — и всё напрасно: нет!
Пропало всё! — Добро бы с неба камень
Мне череп раздвоил, или перун
Меня сожег: последний трепет струн
Разорванных вздохнул бы в дивных звуках
И умер бы, как грома дальный гул;
Но я увяз в ничтожных, мелких муках,
Но я в заботах грязных утонул!
Нет! не страшусь убийственных объятий
Огромного несчастья: рок, души!
Ты выжмешь жизнь, не выдавишь души...
Но погибать от кумушек, от сватий,
От лепета соседей и друзей!..
Не говорите мне: «Ты Промефей!»
Тот был к скале заоблачной прикован,
Его терзал не глупый воробей,
А мощный коршун. — Был я очарован
Когда-то обольстительной мечтой;
Я думал: кончится борьба с судьбой,
И с нею все земные испытанья;
Не будет сломан, устоит борец,
Умрет, но не лишится воздаянья
И вырвет напоследок свой венец
Из рук суровых, — бедный я слепец!
Судьба берет меня из стен моей темницы,
Толкает в мир (ведь я о нем жалел) —
А мой-то мир исчез, как блеск зарницы,
И быть нулем отныне мой удел!

15 января 1839

162. ДВА СОНЕТА

1

Уранионов друг, божественный Тантал
На небо восходил в чертог их светозарный
И за амврозией, за чашею нектарной,
Гость, собеседник их, меж ними пировал.

И что же? согрешил Тантал неблагодарный,
Похитил пищу их и в ад с Олимпа пал!
Очнулся в Лете он и слышит: плещет вал.
Испил бы труженик, — прочь вал бежал
коварный...

Прочь от засохших уст, поток обильных вод
Над жаждою его смеется. — Будто дева
Прелестная, так свеж висит румяный плод;
Кажись, зовет: «Сорви!» — а в нем огонь Эрева,
Свирепый голод... Но умрет за родом род,
Плода не схватит муж проклятия и гнева!

2

«Ты пыльной древности преданья воскресил;
К чему? Мы знаем все от велика до мала
Рассказы о судьбе несчастного Тантала:
Вперед побереги запас и рифм и сил».

Не спорю; правы вы: так, сказка обветшала,
И мифов греческих давно забытый ил
Теперь уже не тот, которым, словно Нил,
Река времен умы когда-то утучняла.

Но что? не я ли сам страдалец тот Тантал?
И я живал в раю; за чашею нектарной
Молитв и песней я на небе пировал!
И вот и я, как он, с Олимпа в бездну пал;
Бежит от уст моих засохших вал коварный;
Ловлю — из-под руки уходит плод янтарный!

23 января 1839

163. ЭМИЛИИ

У вас всё было без раздела:
И мысль, и радость, и печаль;
Но вдруг в таинственную даль
Твоя подруга отлетела!
Твои легчайшие мечты
В ее груди ответ встречали;
Она была другая — ты;
В ней из могильной темноты
Твои родные воскресали.
Вдруг нет ее! — стоишь одна
В пустыне жизни безотрадной:
От сердца твоего она
Без жалости оторвана
Судьбой бесчувственной и хладной!
Не ропщешь ты: несешь свой крест,
Таишь страданья, — молча тужишь,
Сирот лелеешь, бедным служишь
И шепчешь: «Друг мой высше звезд,
Но смотрит на меня оттоле.
Покорствую небесной воле:
Ведь с нею ненадолго я
Рассталась! Ангелы-друзья,
Давно утраченные нами,
Мою Наташу обо мне
Расспрашивают в той стране.
И вскоре быстрыми крылами
И я взмахну и, от земли
Скрываясь в радужной дали,
Там, где отец, и мать, и братья,
С восторгом брошусь к ней в объятья!»

26 февраля 1839

164. НА СМЕРТЬ НИКОЛАЯ ГЛИНКИ

Ты жил, ты подавал блестящие надежды;
Ты вдруг исчез — и не исполнил их;
Пред роком мы стоим, унылые невежды,
И говорим: «Зачем покинул ты своих?

Зачем расстался с жизнью молодою
И сле́да не оставил на земле?»
Ты был для нас отрадною звездою
В житейской, безотрадной мгле.
Звезда погасла: огненной струею,
Разрезав небо, твой мгновенный свет,
Подобно быстрому ночному метеору,
Пронесся по обзору, —
И мы глядим, и — нет!
Что ж? о тебе воспоминанье,
Как смутное, несвязное мечтанье,
Изгладится из памяти друзей?
О мой питомец! сын души моей!
Ужели даром я, поэт, тебя взлелеял?
От плевел заблужденья и страстей
Я самого себя пред всюдусущим взвеял
И в грудь твою из собственной своей
Всё лучшее, что было в ней,
С болезненной любовью сеял...
И это всё напрасно? — ты
Сокрылся в лоно темноты!
А думал я: «Мое моленье
Угодно будет благостной судьбе;
Без слабостей и пятен обновленье
Себе предвижу; возрожусь в тебе».
Но одного еще удара
Недоставало мне, — и он меня сразил!
Единой не было средь милых мне могил, —
И вот над нею, как отец Оскара,
Сижу я, одинок, осиротелый бард!
И даже звуков погребальных
Мне не извлечь из струн моих печальных:
Ах! дух мой не обнимет, будто нард,
Твоих прекрасных черт, мой юноша, нетленьем;
Под бременем страданья он поник,
И не в моих стихах возлюбленный твой лик
Восторжествует над забвеньем!

Сентябрь 1839

165. А. И. ОРЛОВУ

Я простился с Селенгою,
Я сказал: «Прости, Уда!»
Но душа летит туда,
Где я сблизился с тобою,
Где, философ и поэт,
Ты забыл коварный свет.
Там, где подал ты мне руку,
Там и я было забыл
Жребий свой — изгнанья муку.
Я взглянул, полууныл:
Чувств прервалось усыпленье;
Пробудилось на мгновенье
Что-то прежнее во мне;
Прежний друг мой — вдохновенье
Пронеслось, будто во сне,
Над моей седой главою...
Незабвен мне дом певца:
Исфраил живет с тобою!
Холь же милого жильца,
Береги: он ангел света;
Он Эдем создаст тебе;
С ним, с хранителем поэта,
Ты в лицо смотри судьбе!
Песнь его не та ли Лета,
Из Элизия река,
Коей сладостные волны,
Дивных волхований полны,
Плещут в райские брега?
Там не область испытанья,
Там не помнят, чтó страданья,
Там неведома тоска.

9 февраля 1840

166. АННУШКЕ РАЗГИЛЬДЕЕВОЙ

Если путник утомленный
Обретет в степи сухой
Цвет душистый и смиренный,
Воскресает он душой:

Обещает цвет прекрасный
Вечер сладостный и ясный
После тягостного дня.
«Ждет меня ручей прохладный,
Роща под свой щит отрадный
Примет до утра меня», —
Так шепнул пришлец усталый
И сорвал цветочек алый
И к устам его прижал.
Друг! и я было устал:
Горьки были испытанья,
Ношу тяжкого страданья
Средь пустынь и тундр и скал
Я влачил в краю изгнанья, —
Вдруг ко мне спорхнула ты,
Будто с горней высоты
Ангел мира, ангел света,
Из-за грозных, черных туч
Мне мелькнул веселый луч,
Луч радушного привета:
Дол угрюмой темноты
Вкруг меня ты озарила
Блеском детской красоты.
Мне дана обратно сила,
Я с судьбой мирюся вновь:
Здесь знакомым чем-то веет,
Здесь *семьи моей* любовь
Душу труженика греет.

11 февраля 1840

167. ТРИ ТЕНИ

ἠ ῥά τις ἐστι λαι ἐὶς Αιδαο δομοισιν
ψνχή χαι ἐιδωλον.[1]

На диком берегу Онона я сидел,
Я, чьей еще младенческой печали
Ижора и Нева задумчивы внимали,
Я (странный же удел!),

[1] Так подлинно есть и в подземном царстве Аида дух человека и образ (греч.). — *Ред.*

Кому рукоплескал когда-то град надменный,
Соблазн и образец, гостиница вселенной.
И кто в Массилии судьбу народов пел,
А вслед за тем, влекомый вещим духом,
Родоначальником неизреченных дум,
Средь грозных, мертвых скал, склонялся жадным слухом
На рев и грохот вод, на ветра свист и шум,
На голос чад твоих, Кавказ-небогромитель!
И напоследок был темницы душной житель.
Свинцовых десять лет, как в гробе, протекло;
Однообразный бой часов без измененья
До срока инеем посыпал мне чело
В глухих твердынях заточенья.
Все обмануло, кроме вдохновенья:
Так! и судьбы неумолимый гнев
Не отнял у меня любви бессмертных дев;
Слетали к узнику священные виденья.
Что ж? — в мире положен всему предел:
За старым новое отведал я страданье;
Уж ныне не тюрьма мой жребий, а изгнанье...
На диком берегу Онона я сидел,
И вот раздумывал причудливую долю
Свою и тех, с которыми ходил
Во дни моей весны по жизненному полю,
Питомцев близких меж собой светил.
Их дух от скорби опочил,
Но тени их, моих клевретов,
Жертв сердца своего, страдальцев и поэтов,
Я вызывал из дальних их могил.
Угрюмый сын степей, хранительниц Китая,
Роптал утесами стесняемый Онон,
Волнами тусклыми у ног моих сверкая.
И, мнилось, повторял *их* передсмертный стон,
И, словно факел *их* унылых похорон,
Горела нá небе луна немая.
Был беспредельный сон на долах, на горах, —
Тут нé спал только я с своей живой тоскою...
Вдруг — будто арфы вздох пронесся над рекою;
Таинственный меня обвеял страх;
И что ж? то был ли бред больного воображенья,
Или трепещутся и там еще сердца,

И в самом деле друг, податель утешенья,
Явиться может нам, расторгнув узы тленья?
Почудилися мне родные три лица:
Их стоп не видел я — скользили привиденья
(Над каждым призраком дрожало по звезде,
И следом каждого была струя мерцанья),
Воды не возмущая, по воде, —
Я вспрянул, облитый потоком содроганья,
И в ужасе студеном, как со сна,
Вскричал и произнес любезных имена:
«Брат Грибоедов, ты! Ты, Дельвиг! Пушкин, —
ты ли?»
Взглянул — их нет; они уж вдаль уплыли;
Вотще я руки простирал к друзьям, —
Как прежде, всё померкло и заснуло;
Мне только что-то будто бы шепнуло:
«Так, верь же, есть свиданье там!»

13 и 14 июня 1840

168. М. А. ДОХТУРОВУ

Так, знаю: в радужные дни
Утех и радостей, в круженьи света
Не вспомнишь ты изгнанника поэта;
Хоть в непогоду друга помяни!
Молюсь, чтобы страданья и печали
Летели и тебя в полете миновали;
Но не был никому дарован век
Всегда безоблачный и ясный:
Холоп судьбы суровой человек.
Когда нависнет мрак ненастный
И над твоею головой, —
Пусть об руку с надеждою и верой,
Как прóсвет среди мглы взволнованной и серой,
Тебе предстанет образ мой!

22 июня 1840

169. ВАСИНЬКЕ РАЗГИЛЬДЕЕВОЙ

Фантазия, Ундина, Пери
(Любое имя выбирай),
Ах! скоро за тобою двери
Затворятся. — Прощай! прощай!
Услышит скоро дальный край
Твои затеи, смех и шутки;
Резвиться перестанешь ты
Вокруг меня... Твои ж черты,
Черты бесценной мне малютки,
Я в сердце сохраню, поверь!
И буду ожидать с тоскою,
Чтобы опять твоей рукою
Вдруг отворилась наша дверь,
Чтобы, предшествуя веселью,
Опять в мою впорхнула келью
И здесь всё было, как теперь!

22 июня 1841

170. ПРИ ИСХОДЕ 1841 ГОДА

Что скажу я при исходе года?
Слава богу, что и он прошел!
Был он для изгнанника тяжел.
Мрачный, как сибирская природа.

Повторять ли в сотый раз: «Всё тленно,
Всё под солнцем дым и суета»?
Не поверят! Тешит их мечта!
Для людей ли то, что совершенно?

Ноша жизни однозвучной, вялой,
Цепь пустых забот и мук и снов,
Глупый стук расстроенных часов,
Гадки вы душе моей усталой!

13 декабря 1841

171. А. А. МОРДВИНОВУ

Прощай, приятель! не забудь
Отшельника. — В его больную грудь
Живой беседою ты пролил утешенье:
Он говорил с тобой и мог вольней вздохнуть
И бед и мук своих мгновенное забвенье
В твоих словах и взорах почерпнуть.
Прими же, юноша, его благословенье,
Его молитву в твой житейский путь:
Да спутствуют тебе три девы, дщери бога,
Надежда, Вера и Любовь;
Приют им в чистом сердце приготовь, —
И не приметишь ты, трудна ль твоя дорога.

1841

172. СОВЕТ

Когда же злая чернь не клеветала,
Когда же в грязь не силилась втянуть
Избранников, которым горний путь
Рука господня в небе начертала?
Ты говоришь: «Я одарен душой»;
Зачем же ты мешаешься с толпой?

Толпе бессмысленной мое презренье.
Но сына Лаия почтил Фезей;
Так пред страдальцем *ты* благоговей, —
Иль сам свое подпишешь осужденье.
Певцу в твоем участьи нужды нет;
Но сожалеет о тебе поэт.

Глубоких ран, кровавых язв сердечных
Мне много жадный наносил кинжал,
Который не в руке врагов сверкал,
Увы! — в руке друзей бесчеловечных.
Что ж? знать, во мне избыток дивных сил;
Ты видишь: я те язвы пережил.

Теперь я стар, слабею; но и эту
Переживу: ведь мне насущный хлеб

Терзанья; ведь наперснику судеб
Не даром достается путь ко свету;
Страдать, терпеть готов я до конца:
С чела святого не сорвут венца.

Умру — и смолкнет хохот вероломства;
Меня покроет чудотворный щит,
Все стрелы клеветы он отразит...
Смеются? — пусть! проклятие потомства
Не минет их — осмеян был же Тасс;
Быть может, тот, кто здесь стоит средь вас,

Не мене Тасса. — Будь же осторожен,
К врагам моим себя не приобщай,
Бесчестного бессмертья не желай:
Я слаб, и дряхл, и темен, и ничтожен,
Но только *здесь*, — моим злодеям *там*
За их вражду награда — вечный срам.

22 февраля 1842

173. АРГУНЬ

Еще одну я к тем рекам причислил,
Которых берег я, скиталец, посетил, —
И там с утратою своих сердечных сил
Терзался и молчал, но чувствовал, но мыслил,
Разлуку вечную предвидел, — но любил.
Да! вот и эти дни, как призрак, пролетели!
До гроба ли ты будешь молодым,
Мучитель сердце? — Ты скажи: ужели
Всегда блуждать, стремясь к недостижимой цели,
Твоим желаниям несытым и слепым?
Любить и мыслить... Почему ж не может
Не мыслить, не любить душа моя?
Какой ее злой дух без устали тревожит —
И хочет, и велит, чтоб вечно тратил я?
Увы! с последним другом расставанье!
По крайней мере без пятна
Хоть это сбережет воспоминанье
И чувств и дум моих скупая глубина.
Прими же, о Аргунь, мое благословенье!

Ты лучше для меня, чем пасмурный Онон:
И там мне было разлученье;
Но перед тем меня прельщал безумный сон
И чуть не умертвило пробужденье.

30 ноября 1842

174. ЧЕТЫРЕХСТИШИЕ

Чем вязнуть в тинистой, зловонной луже,
Так лучше в море! Нет, убийцы хуже
Подлец, который, с трусостью губя,
Сосет и точит сердце у тебя.

22 января 1843

175. <ПЕСНЯ НАСТИ ИЗ ПОВЕСТИ «ПОСЛЕДНИЙ КОЛОННА»>

По полям ли я ходила,
У ручья ль сидела я,
Белой ручкой я манила,
Призывала соловья.

Соловью я говорила:
«Соловей мой, соловей!
Ветру выскажи кручину,
Боль, тоску души моей!»

Ветер, ты метешь равнину,
Пыль метешь с горы крутой:
Замети мою кручину
В край далекий и глухой!

Не черешни, и не вишни,
И не груши там растут:
Там растет и медь и злато,
Там копают и куют.

Там и он, соко́л мой ясный:
В клетке мой сокол сидит,

А кафтан на нем-то красный,
А на ножках цепь бренчит.

Долго я ждала певичку,
Ту певичку — соловья...
Приманила же я птичку:
Вот послушалась меня! —

Ай, спасибо, соловейко!
Прилетел, да и в мороз:
Душу, светик, обогрей-ко
И возьми от наших слез;

Принеси их ты в гостинец,
В память другу моему;
Ведь шепнул же мне мизинец:
Улететь тебе к нему!

1843

176. К ВИКТОРУ УГО,
ПРОЧИТАВ ИЗВЕСТИЕ, ЧТО У НЕГО ПОТОНУЛА ДОЧЬ

Не суждено мне было в мире
С тобою встретиться, поэт,
И уж на западе моих унылых лет
Я внял твоей волшебной лире.
Я миг гостил в земле твоей,
Я сын иной судьбы, иного поколенья,
Я не видал твоих очей,
В них не приветствовал перунов вдохновенья, —
Но дорог ты душе моей.
Успехов и похвал питомец, нег и блеска,
Ты к буре бешеного плеска
С рассвета своего привык;
И не одной толпы ничтожный, шумный крик
Превозносил тебя: младенческие руки
Исторгли первые из струн дрожащих звуки, —

И встрепенулся вдруг божественный старик;
С живою жаждою к потоку их приник
Не льстец победы, не удач служитель,

Но он, поэзии и веры воскреситель,
Он, рыцарь, и певец, и честный человек,
И жертв судьбы бесстрашный защититель
В продажный и распутный век, —
«Гигант-дитя!» — *он* о тебе изрек.
Когда завидел, как, покинув мрак и долы,
Ты, полный юных, свежих сил,
Отважно к солнцу воспарил,
Когда послышал те чудесные глаголы,
Какие из-за туч ты, вдохновенный, лил!

Под властью я рожден враждебных мне светил,
И рано крылья черной бури
Затмили блеск моей лазури;
Я тяжких десять лет в темнице изнывал,
Умру в глухих степях изгнанья;
Однако же, как ты, такой же я кристалл,
В котором радужно дробится свет созданья;
Один из вещих гулов я
Рыданий плача мирового;
Душа знакома и моя
С наитьем духа неземного.
Уго! не вечно и тебе
Смеялось ветреное счастье:
Ты также заплатил свой долг судьбе.
Увы, мой брат! и ты вкушал же сладострастье —
Неизреченную утеху жгучих слез...
И вот же рок тебе нанес
Удар убийственно-жестокий!
Воображаю я, как стонешь одинокий,
Как вопрошаешь ты немую эту ночь:
«Итак, моя любимица и дочь?
Ужели в самом деле зев пучины? ..»
Не договаривай! плачь, труженик-певец!
Тебе сочувствую: ах! ведь и я отец,
Нож и в моей груди негаснущей кручины:
С могилы сына моего
Над дочерью твоей, Уго, рыдаю ныне...
В столице мира ты, я в ссылке, я в пустыне:
Но родственная скорбь не то же ли родство?

20 января 1844

177. МАРИИ НИКОЛАЕВНЕ ВОЛХОНСКОЙ

Людская речь пустой и лицемерный звук,
И душу высказать не может ложь искусства;
Безмолвный взор, пожатье рук —
Вот переводчики избытка дум и чувства.
Но я минутный гость в дому моих друзей,
А в глубине души моей
Одно живет прекрасное желанье:
Оставить я хочу друзьям воспоминанье,
Залог, что тот же я,
Что вас достоин я, друзья...
Клянуся ангелом, который
Святая, путеводная звезда
Всей вашей жизни: на восток, сюда,
К ней стану обращать трепещущие взоры
Среди житейских и сердечных бурь, —
И прояснится вдруг моя лазурь,
И дивное сойдет мне в перси утешенье,
И силу мне подаст, и гордое терпенье.

29 марта 1845
Курган

178

Еще прибавился мне год
К годам унылого страданья;
Гляжу на их тяжелый ход
Не ропща, но без упованья —

Что будет, знаю наперед:
Нет в жизни для меня обмана.
Блестящ и весел был восход,
А запад весь во мгле тумана.

10 июня 1845

179

Работы сельские приходят уж к концу,
Везде роскошные златые скирды хлеба;
Уж стал туманен свод померкнувшего неба
И пал туман и на чело певцу...

Да! недалек тот день, который был когда-то
Им, нашим Пушкиным, так задушевно пет!
Но Пушкин уж давно подземной тьмой одет,
И сколько и еще друзей пожато,
Склонявших жадный слух при звоне полных чаш
К напеву дивному стихов медоточивых!
Но ныне мирный сон товарищей счастливых
В нас зависть пробуждает. — Им шабаш!

Шабаш им от скорбей и хло́пот жизни пыльной,
Их не поднимет день к страданьям и трудам,
Нет горю доступа к остывшим их сердцам,
Не заползет измена в мрак могильный,
Их ран не растрави́т; их ноющей груди
С улыбкой на устах не растерзает злоба,
Не тронет их вражда: спаслися в пристань гроба,
Нам только говорят: «Иди! иди!
Надолго нанят ты; еще тебе не время!
Ступай, не уставай, не думай отдохнуть!» —
Да силы уж не те, да всё тяжеле путь,
Да плечи всё больнее ломит бремя!

26 августа 1845

180

И ты на небо воспарило,
Унылых дней моих светило!
Любви, души моей звезда,
Ты возвратилася туда,
Куда тебя давно манило
Всё, что тебе когда-то было
Святым и милым! — Ты опять
Там обняла отца и мать,
И вновь к тебе простерли братья
С улыбкой радости объятья,
Пред богом ты — и не одна.
Тебе сестра возвращена!
И что же? хладный и угрюмый,
Я только полн тяжелой думы
При вести, что ты отошла!
А между тем чиста, светла,
Звезда любви, краса лазури;

Когда я пал, добыча бури,
Когда меня схватила мгла,
Когда, студеного чела
Касаясь, падали перуны
И рвали жизненные струны,
Ты на небо меня влекла!..
Увы! ужель и впрямь неложно,
Что всё мгновенно, всё ничтожно,
Что может и душа отцвесть,
Что и любовь мечта пустая,
Что нам, изгнанникам из рая,
Уж вечно рая не обресть?

10 октября 1845

181

До смерти мне грозила смерти тьма,
И думал я: подобно Оссиану,
Блуждать во мгле у края гроба стану;
Ему подобно, с дикого холма
Я устремлю свои слепые очи
В глухую бездну нерассветной ночи,
И не увижу ни густых лесов,
Ни волн полей, ни бархата лугов,
Ни чистого, лазоревого свода,
Ни солнцева чудесного восхода;
Зато очами духа у́зрю я
Вас, вещие таинственные тени,
Вас, рано улетевшие друзья,
И слух склоню я к гулу дивных пений,
И голос каждого я различу,
И каждого узнаю по лицу.
Вот первый: он насмешливый, угрюмый,
С язвительной улыбкой на устах,
С челом высоким под завесой думы,
Со скорбию во взоре и чертах!
В его груди, восторгами томимой,
Не тот же ли огонь неодолимый
Пылал, который некогда горел
В сердцах метателей господних стрел,
Объятых духом вышнего пророков?

И что ж? неумолимый враг пороков
Растерзан чернью в варварском краю...
А этот край он воспевал когда-то,
Восток роскошный, нам, сынам заката,
И с ним отчизну примирил свою! —
И вот другой: волшебно-сладкогласный
Сердец властитель, мощный чародей,
Он вдунул, будто новый Промефей,
Живую душу в наш язык прекрасный...
Увы! погиб довременно певец:
Его злодейский не щадил свинец!
За этою четою исполинской
Спускаются из лона темноты
Еще две тени: бедный Дельвиг, ты,
И ты, его товарищ, Баратынский!
Отечеству драгие имена,
Поэзии и дружеству святые!
Их музы были две сестры родные,
В них трепеталася душа — одна!

25 и 26 октября 1845

182. УЧАСТЬ РУССКИХ ПОЭТОВ

Горька судьба поэтов всех племен;
Тяжеле всех судьба казнит Россию:
Для славы и Рылеев был рожден;
Но юноша в свободу был влюблен...
Стянула петля дерзостную выю.

Не он один; другие вслед ему,
Прекрасной обольщенные мечтою,
Пожалися годиной роковою...
Бог дал огонь их сердцу, свет уму,
Да! чувства в них восторженны и пылки, —
Что ж? их бросают в черную тюрьму,
Морят морозом безнадежной ссылки...

Или болезнь наводит ночь и мглу
На очи прозорливцев вдохновенных,
Или рука любовников презренных
Шлет пулю их священному челу;

Или же бунт поднимет чернь глухую,
И чернь того на части разорвет,
Чей блещущий перунами полет
Сияньем облил бы страну родную.

28 октября 1845

183. <СВЯТОМУ ДИМИТРИЮ РОСТОВСКОМУ>

Я часто о тебе с друзьями говорю,
Я привлечен к тебе таинственным влеченьем;
В незаходимую ты погружен зарю,
Но близок ты ко мне любовью и жаленьем.

Угодник господа! Какая связь, скажи,
Между тобою, муж, увенчанный звездами,
И мною, узником грехов, и зол, и лжи,
Вдрожь перепуганным своими же делами.

К тебе влекуся, но — и ты влеком ко мне...
Ужели родственны и впрямь-то души наши
И ты скорбишь в своей надзвездной вышине,
Что я, твой брат, пью жизнь из отравлённой чаши?

20 ноября 1845

184. УСТАЛОСТЬ

Мне нужно забвенье, нужна тишина:
Я в волны нырну непробудного сна,
Вы, порванной арфы мятежные звуки,
Умолкните, думы, и чувства, и муки.

Да! чаша житейская желчи полна;
Но выпил же эту я чашу до дна, —
И вот опьянелой, больной головою
Клонюсь и клонюсь к гробовому покою.

Узнал я изгнанье, узнал я тюрьму,
Узнал слепоты нерассветную тьму

И совести грозной узнал укоризны,
И жаль мне невольницы милой отчизны.

Мне нужно забвенье, нужна тишина
. . . .

Ноябрь 1845

185. НА СМЕРТЬ ЯКУБОВИЧА

Все, все валятся сверстники мои,
Как с дерева валится лист осенний,
Уносятся, как по реке струи,
Текут в бездонный водоем творений,
Отколе не бегут уже ручьи
Обратно в мир житейских треволнений!..
За полог все скользят мои друзья:
Пред ним один останусь скоро я.

Лицейские, ермоловцы, поэты,
Товарищи! Вас подлинно ли нет?
А были же когда-то вы согреты
Такой живою жизнью! Вам ли пет
Привет последний, и мои приветы
Уж вас не тронут? — Бледный тусклый свет
На новый гроб упал: в своей пустыне
Над Якубовичем рыдаю ныне.

Я не любил его... Враждебный взор
Вчастую друг на друга мы бросали;
Но не умрет он средь Кавказских гор;
Там все утесы — дел его скрижали;
Им степь полна, им полон черный бор;
Черкесы и теперь не перестали
Средь родины заоблачной своей
Пугать *Якубом* плачущих детей.

Он был из первых в стае той орлиной,
Которой ведь и я принадлежал...
Тут нас, исторгнутых одной судьбиной,
Умчал в тюрьму и ссылку тот же вал...

Вот он остался, сверстник мне единый,
Вот он мне в гроб дорогу указал:
Так мудрено ль, что я в своей пустыне
Над Якубовичем рыдаю ныне?

Ты отстрадался, труженик, герой,
Ты вышел наконец на тихий берег,
Где нет упреков, где тебе покой!
И про тебя не смолкнет бурный Терек
И станет говорить Бешту седой...
Ты отстрадался, вышел ты на берег;
А реет всё еще средь черных волн
Мой бедный, утлый, разснащенный челн!

25 января 1846

186

Мой бедный Рихтер, я тебя обидел,
Не я тебя обидел, а недуг:
Я самого себя возненавидел
За вспышку глупую: прости мне, друг!
Слепому ипохондрику поэту
Ведь и простить-то можно кое-что:
Возьмем же, брат, все дрязги бросим в Лету,
И пусть с тобой не ссорит нас никто!

25 января 1846

187. СЛЕПОТА

Льет с лазури солнце красное
Реки светлые огня.
День веселый, утро ясное
Для людей — не для меня!

Всё одето в ночь унылую,
Все часы мои темны, —
Дал господь жену мне милую,
Но <не> вижу и жены.

Слышу крики ликования,
Шум и смех моих детей...
Ах, ответ мой — стон страдания!
Нет их для моих очей!

Так бы и нырнул я в чтение,
Им бы душу освежил, —
Но мой жребий ведь затмение;
Нет мне никаких светил!

Жизнь моя едва колышется,
В тяжком изнываю сне...
Счастлив, если хоть послышится
Шаг царицы песней мне!

3 февраля 1846

188

...Ты сидишь, но только трубы
Прокричат вверху: война! —
Задрожат, бормоча, губы,
Рвешься сбросить узы сна;
Там кровавая работа,
Там огонь, и блеск, и гром, —
Но сильнее их дремота, —
Ты опять поник челом.

Только раз... Не в ту годину,
Как империю расшиб
В дряхлую ее кончину
Тот, кто сам потом погиб
На скале средь океана;
Не тогда, когда цари
Поборали великана
Три полудня, три зари;

Не при взятьи гордой Вены,
Или как в Париж вошли,
Вслед Мармонтовой измены,

Все народы всей земли, —
Но когда, сражен судьбою,
Кликал смерть Наполеон,
И едва его из бою
Сульт увлек, и пал Комброн...

На ноги старик державный,
Гневный, грозный, полный сил,
Ухвативши меч свой славный,
В роковой тот час вскочил...
Жаждал выручить собрата
Царь-воитель; но тогда
Уж померкла без возврата
Корса дивная звезда.

Барбаросса пал на камень,
Он челом опять поник;
Борода же, рыжий пламень,
Вновь буравит серовик;
Щит у ног, копьем пробитый,
Шлем и ржавый кладенец,
На главе <его> маститой
Императорский венец.

3 и 18 февраля 1846

189. СОНЕТ

«Опомнись! долго ли? приди в себя и встань
За искру малую чуть тлеющейся веры,
Я милосерд к тебе был без цены и меры,
К тебе и день и ночь протягивал я длань...

Не думаешь вступать с самим собою в брань;
Не подняли тебя бойцов моих примеры, —
Ты спишь под лживые стихов своих размеры,
Приносишь ты и мне, но и Ваалу дань.

Чтоб разлучить тебя с греховной суетою,
Чтоб духу дать прозреть, я плоть поверг во тьму,
Я посетил тебя телесной слепотою».

Он рек — и внемлю я владыке своему...
О, да служу умом, и чувством, и мечтою,
И песнями души единому ему!

22 февраля 1846

190

Благодарю! Наш разговор
Почти всегда борьба и спор,
И вы всегда мой победитель...
Но этот разговор чудесный оживитель:
Дремало сердце, спал мой ум —
Вы сколько чувств, вы сколько дум
В них разбудили, зародили!
Не будут эти три дня без плода:
Я вновь способен стал для радостных усилий,
Для благотворного труда;
Я здесь помолодел, я вышел из могилы. —
Не так ли в тот счастливый век,
Когда с духами жил младенец-человек
И посещали нас неведомые силы,
Бредет, бывало, слабый, хилый,
Ведомый феею старик,
Пришел, к источнику волшебному приник.
И жадно, жадно пьет, и что же?
Куда девался он, пришлец полуживой,
Который и теперь еще на том же ложе
Лежал бы, если бы не феиной рукой
Был поднят? Юноша, красавец и герой,
С блестящими огнем и гордостью глазами
Стоит могучий перед нами!

4 марта 1846
Ялуторовск

191

Да! ровно через год мы свиделись с тобою,
Но, друг и брат, тогда под твой приветный кров
Вступил я полн надежд, и весел и здоров —
Теперь, измученный и телом и душою,



Беспомощным, больным, трепещущим слепцом
Поник я под своим страдальческим венцом
И смерти говорил: приди же, избавитель!
Вот я вошел в твою смиренную обитель.
И ожил вдруг душой; и вера и любовь
Вновь встретили меня: уж не бунтует кровь,
И сердце улеглось, и тешусь я мечтою,
И с богом я мирюсь, и с миром, и с собою!

5 марта 1846

192. 14 МАРТА 1846 ГОДА

Мир праху твоему! Старик больной и хилый,
Я плачу над твоей безвременной могилой.
Бедняжка, ты под дерн надгробного креста,
Под землю спряталась от злобы и гоненья;
Ты ныне под рукой спасителя Христа.
Он бог любви, он бог прощенья,
И пред его лицем бессильна клевета.

14 марта 1846
Тобольск

193

Он умер, — и его мне друг
Сказал: «Спасибо! догадался!
Он редко посещал наш круг:
Нечистого наш круг чуждался». —
И что ж? — меня схватили вдруг
И боль, и дрожь, и состраданье;
Мне с другом спорить недосуг:
Убьет мои слова рыданье.
О люди, братья вы мои!
Неумолимые вы судьи...
Но суд иного есть судьи:
Есть память в оном правосудьи
Того, чем бренный человек
Бывал когда-то до паденья:

Оно считает все мгновенья;
Пред ним раскрыт не час, а век...
И я клянуся тем судом:
Померкший ангел Оболенский
Когда-то думал: «Я ль рабом
Скотских страстей и грязи буду?
Нет, что я, — вечно не забуду».
За гордость бог его смирил;
Но благородное ж созданье
Упало в тот зловонный ил,
В тот смрад, который содроганье
И омерзенье в вас пролил.

29 марта 1846
Курган

194

Горько надоел я всем,
Самому себе и прочим:
Перестать бы жить совсем!
Мы о чем же здесь хлопочем?
Ждешь чего-то впереди...
Впереди ж всё хуже, хуже;
Путь грязней, тяжеле, уже —
Ты же всё вперед иди!
То ли дело лоно гроба!
Там безмолвно и темно,
Там молчат мечты и злоба:
В гроб убраться бы давно!

13 апреля 1846
Тобольск

195

Вот, слава богу, я опять спокоен:
Покинула меня тяжелая хандра;
Я снова стал доступен для добра,
И верить и любить я снова стал достоин.
Охотно руку протяну врагу,
Скажу охотно: будем жить друзьями,

Мой добрый Б<асаргин>, и с вами я могу
Теперь беседовать стихами...
Как ангел божий, милый друг,
Вы предо мной явились вдруг
С радушным, искренним участьем;
Был истомлен житейским я ненастьем:
Опальный и больной слепец,
Обманутый людьми, растерзанный страданьем...
Но вот опять согрет я тихим упованьем, —
И этим одолжен вам труженик певец!
О, да услышит бог мои молитвы,
Пусть будут вам не трудны битвы
С коварным миром и с самим собой;
Пусть сохраните вы средь бурь души покой;
Не разлучайтеся с Любовью животворной,
С святою Верою, с Надеждой неземной, —
И да не встретитесь с любовию притворной,
Ни с суетной надеждою-мечтой,
Ни с верой мертвою, надменной и холодной,
Подобной той смоковнице бесплодной,
Которую сухую проклял Спас...
Их трудно отличить подчас
От дивных дочерей Софии... Искупитель
И тут единственный наш друг-руководитель,
И он вещает ясно нам:
«Познайте их по их делам».

13 апреля 1846
Тобольск

196

Счастливицы вольные птицы:
Не знают они ни темницы,
Ни ссылки, ни злой слепоты.
Зачем же родился не птицею ты?

Да! ласточкой, легкой касаткой!
Глядел бы на мир не украдкой,
Весь видел бы вдруг с высоты.
Зачем же родился не птицею ты?

Счастливицы вольные птицы:
Купаются в море денницы,
Им прах незнаком суеты.
Зачем же родился не птицею ты?

. . .

Нет божией птичке работы,
Ни страха, ни слез, ни заботы,
Не слышит она клеветы!
Зачем же родился не птицею ты?

С утра и до вечера бога
Ты славил бы в выси чертога
Чудесной святой красоты.
Зачем же родился не птицею ты?

Ты пел бы с утра до зарницы
Созданье премудрой десницы,
И звезды, и луг, и цветы,
Зачем же родился не птицею ты?

Ты грязь ненавидишь земную,
Ты просишься в твердь голубую,
Ты рвешься из уз темноты,
Верь: некогда птицею будешь и ты!

Прильнут к раменам тебе крылья,
Взлетишь к небесам без усилья,
И твой искупитель и бог
Возьмет тебя в райский нетленный чертог!

29 апреля 1846

197. КЛЕВЕТНИКУ

. . . . :

Полковник некогда преториян России,
Ты ныне атаман опасных, черных жаб,
Мужчин по имени, на деле старых баб,
Они твои послы, разносчики, витии,
Ты Какодемон их, незримый ты паук.
Но ткань <вся> от тебя, <и> от тебя все сети;

Их выдумки — твои и крестники и дети,
Им шепчешь каждый склад, внушаешь каждый
звук.
Вот русский Фальстаф: он военным был, и славным
. . . . : своенравным
. . . .
Посадишь, и потом <ты вышлешь> простяка
Нелепость возглашать преклонно, свысока;
Жестокость! всё равно: вело бы только к цели...
Нет у тебя друзей: лжецы и пустомели
Твои орудия: ты выгоняешь их
Как бешеных собак на всех врагов твоих!
Но есть, поверь мне, есть на свете Немезида,
И ею всякая приемлется обида
И в книгу вносится, и молча книгу ту
Читает день и ночь таинственная дева;
И выбирает жертв, и их казнит без гнева,
Но и без жалости. За ложь и клевету
Заплатят некогда такою ж клеветою,
И в сердце и твое убийственной стрелою
Вонзится злая ложь... Берет меня печаль;
Клянуся господом, в душе тебя мне жаль:
Наказан будешь ты сообщников рукою,
И, рано ль, поздно ли, они когда-нибудь
Вольют смертельный яд тебе в больную грудь.

1846

ПОЭМЫ

198. КАССАНДРА

Jacet ingens litore truncus,
Avulsumque umeris caput, et
sine nomine corpus.

Aeneidos Lib. II, vers 557—558.[1]

В. А. ЖУКОВСКОМУ

В уединеньи сладком возрастая,
В твой голос вслушалась душа моя;
И се! вдруг оперилась молодая:
Тобой впервые стал Поэтом я!
С того чáса, меня не покидая,
Небесных муз прелестная семья
Мне подала восторженную лиру,
Мне показала путь к иному миру!
Певец! прими певца родного дар!
Внемли, чему был первый ты виновник,
И если мой тебя подвигнет жар, —
О верь! — мне лавром будет тот терновник,
Который растерзал мое чело, —
И гордый прéзрю я земное зло!

К АНГЕЛУ ВДОХНОВЕНИЯ

Тебя назвать я не умею,
Но чувствую в своей крови,
Но пламенем священным тлею
И знаю радости твои.

---

[1] Лежит на берегу величавый труп, отделена от плеч голова, и без имени тело. «Энеида», кн. II, с. 557—558 (лат.). — *Ред.*

Невежде ужас, страх злодею,
Дух песней, света и любви,
Сердечной ночи ясной зритель,
Тебя зову, о мой властитель! —

Не ты ль вселяешься в пророка
И возжигаешь в нем пожар?
Берешь весь мир из урны рока
И отдаешь любимцу в дар!
Гляди ж, — сияющего ока
Не тьмит земной сгущенный пар:
Века, судьбы́ и поколенья
Он зрит в минуту вдохновенья!

Но ах! едва восторг покинет
Тобой пылавшего певца
И жар, прелестный жар остынет, —
Ему затворятся сердца,
Видение златое минет;
Лишен волшебного венца,
Игра страстей, добыча хлада,
Он ринут с неба в бездну ада!

Кто ты, о мощный, дивный гений,
Источник счастия и мук,
Отец крылатых песнопений,
Наставник смертных, бич и друг,
Живой податель наслаждений,
Убийственный душе недуг?
Речешь — и процветут народы;
Речешь — и в бурях гибнут роды!

Кто ты? — не падший ли Денница,
Кого в день кары и чудес
Сразила вечная десница?
Из сонма чистых ты исчез, —
Так гаснет ночию зарница!
Но в ссылку райский блеск принес —
И, полный невредимой жизни,
Тоскуешь о святой отчизне!

Ты любишь имя Аполлона,
Камен прекрасного царя,
Ты сходишь в рощи Геликона
И, воздух в пламень претворя,
Летишь по своду небосклона,
Бежит впреди тебя заря;
Пылает твердь, тобой объята;
Ты льешь моря огня и злата!

Не много их, тобой избранных,
В сынах праматери земли;
Мал сонм бессмертием венчанных;
Тебя не многие нашли!
Но славных жертв, тебе закланных,
Горе́ возникших из пыли,
Тобой растерзанных стрелами,
Ты кроешь вечными лучами!

Тебе тот чудный ум причастен,
Который пре́зрел Альбион,[1]
И, своенравен, смел и страстен,
Отверг оковы и закон,
Лишь над собой одним не властен;
Он дик и в горесть погружен;
Поет Гаура и Манфреда,
И трепет душ его победа!

И я за ним парить дерзаю;
Кассандру скорбную пою:
Ему, о музы, посвящаю,
Ночному барду, песнь сию! —
Но что и что я ощущаю? —
Проходит холод грудь мою,
Дрожу, колеблюсь, и перуны
И рвут и движут сердца струны!

Звезды яркие сияют,
Не колыхнет океан,
Гулы песней умолкают,
Умолкает шумный стан.

Но на черном лоне мрака
Дым восходит к облакам,
Бледный, тусклый свет призра́ка
Бродит грозный по горам.
Вся в лучах пылает Ида:
К ней неистовый Зевес
Сходит с трепетных небес,
С ним воссела Немезида!

Путник искры взоров гневных
Видит в пасмурной ночи;
Робкий гость краев полдневных,
В страхе шепчет: «То мечи,
То доспехи в тучах душных;
Шлем сверкает, блещет щит,
Вспыхла брань полков воздушных!» [2]
Взглянет, станет и дрожит.
Вдруг послышит клик победный,
Дикий вой средь тишины
И далече той страны
Побежит немой и бледный!

В камень плещут, пенясь, волны.
Между черных кораблей
Изредка мелькают челны,
Окрыленный рой теней;
Вслед за ними в недрах бездны
Реют локоны огней; [3]
Стан и свод глядятся звездный
В пропасть дремлющих зыбей,
Но костры уж потухают;
Полуночной стражи зов
Реже слышен меж шатров:
Брег и море засыпают!

Из унылого тумана,
Из раздранных облаков
Не выглядывай, Диана,
Не всходи из-за лесов! —
О, не лей лучей отрадных
На пустынную страну,

Где лишь крики вранов жадных
Будят смерть и тишину!
Слух мой полон слез и стона,
В душу входят боль и страх:
Троя стала угль и прах!
Нет уж боле Илиона! —

С треском рухнули чертоги,
Пал священный Фебов храм!
Все разгневанные боги,
Все покинули Пергам!
Падших стен его обломки
Озаряет свет луны;
Зевса смелые потомки
В хладной тьме погребены!
Там, где некогда герои
С звучных, гордых колесниц
Смерть метали из десниц,
В поле ратном смолкли бои!

Чья здесь высится могила?
Ах! на бреге вражьих вод
Не увидят уж Ахилла:
Быстрый в брань не потечет!
Не поверит он обиды,
Не прольет горючих слез
В лоно матери Фетиды!
Он блеснул и вмиг исчез! —
Здесь, в виду аргивян стана,
Близ плачевных, падших стен,
Он возлег в покой и тлен.
Мрачен вид его кургана!

Но кто на нем младая эта дева?
Или в прозрачной тьме
Вдруг вышла тень из мертвого Эрева
И стала на холме?
Власы ее развеял ветр порывный;
Уныла и бледна,
Лицо красы пленительной и дивной,
В ночи стоит она!

Кто близ нее, кто старец сей угрюмый,
К ней устремивший взгляд?
Почто на нем мучительные думы,
Как камень, тяготят?
Святая дщерь кровавого Скамандра,
На жертву эвменид,
Так на тебя, злосчастная Кассандра,
Он трепетный глядит!

Окрест всё спит, весь мир, как в недрах гроба,
Повержен в немоту;
Они стоят, они безмолвны оба
И смотрят в темноту! —
И се — или тужащей Филомелой
Дубрава потряслась?
О стон души, навек осиротелой!
Се твой, Кассандра, глас!

Кассандра

Почто я встретилась с тобою,
Любимец Локсиев,[4] Калхас?
Почто, в молчанье погружась,
Идешь за скорбною рабою?
Что, что возводишь на меня
Сей взор живого ожиданья? —
Безумец, устрашись огня!
Не жди благого предреканья!
Ужасен бог груди моей,
Источник дикого страданья!
Едва сорвет покров с очей,
Вдруг умирают упованья!
Счастлив, в ком призраки и сны
Живят надежды и желанья!
В годину светлой тишины,
Не слепотою ли блаженны,
Текли Пергамовы сыны
Под свод дерев уединенный?
Не сном ли были обольщенны,
Когда в услышанье луны,
Да мирно и́дут их печали, —
Духам подземной глубины
Болезни жизни возвещали?[5]

Увы! священной Трои нет!
Рассказы их минувших бед
От звезд пощады не призвали!
И я — бессильная мечта
Меня изгнала в мрак тумана
На зов прелестного обмана —
Я с верой притекла сюда.
Мне миг из чаши заблужденья
Вкусить дозволил Аполлон, —
На миг единый умягчен,
Не прояснял Кассандры зренья!
Уже чрез ночь крыло забвенья
Простер на греков демон снов, —
Я поднялась от их шатров,
Да совершу обряд отцов,
Да утолю души влеченья...
Вдруг вижу Фебова жреца
На темной высоте кургана,
И вдруг очнулась бездыханна:
Узнались вещие сердца!
О старец, взор твой исступленный
Разрушил отдых мой мгновенный!
Зрю снова бедства без конца!

Калхас

Дева скорби, жрица Феба,
Старца ветхого забудь!
Под щитом немого неба
Облегчи святую грудь.
В бездну дремлющей лазури,
В тишину, и в ночь, и в даль,
В уши моря, гор и бури
Лей души своей печаль!
И меня своим пророком
Мне на гибель назвал он!
Эти перси Аполлон
Посетил ужасным роком!
В сане светлого жреца
Знаю я твой плач кровавый;
Проклинаю блеск венца,
Блеск унылый мертвой славы!

Кассандра

Как струился Симоис,
Отражая твердь Пергама,
Так для дочери Приама
Дни весны ее лились!

Нежность матери любезной
Деву чистую блюла,
От болезней грусти слезной
Утро жизни берегла!

Я росла в дому родимом;
В мирной, радостной крови,
В сердце, Ге́рою хранимом,
Я не ведала любви!

По струям ручьев прозрачных,
С тощих скал и пышных гор
Раздавался в долах злачных
Наш веселый, громкий хор!

Ксанф, твои святые воды,
Вы, священные леса,
Вы, родные небеса,
Зрели наши хороводы!

Ах! с пустынной высоты
Их узрели очи Феба!
Ах, зачем поникнул с неба
На смиренные цветы?

Он на златых конях, на ветрах быстротечных
Летел, сияя и звеня;
И се — среди подруг беспечных
Избрал губительный меня!
Сошел с колес высокопарных,
Их бег гремящий удержал
И, страшный, в блесках лучезарных,
Пред деву робкую предстал!

Воспален незапной страстью,
Стал он следовать за мной:

Он разрушил мой покой,
Он обрек меня несчастью.
Вы, безмолвные древа,
Вы внимали клятвам бога;
Но из мирного чертога
Мудрой матери слова
Стерегли мое блаженство:
«Ясных дней залог равéнство;
Бойся общества богов!
Их не свяжут смертной руки!
Ты проснешься средь гробов
В час убийственной разлуки!
Сонм их в горний край влеком,
Он исчезнет пред тобою,
Он умчится в Зевсов дом!
И с растерзанной душою,
В безответной страшной мгле,
Повлечешься сиротою
По враждующей земле!
Рано снидешь в Айдес жадный,
Но без отдыха и там,
Вечно в скорби безотрадной,
Вечно течь твоим слезам!»
Так голос матери от сладостных мечтаний
К суровой истине Кассандру пробуждал.
Вотще прекрасный бог, ко мне простерши длани,
Любовию ко мне размученный, рыдал!
Вотще забыл Олимп, и блеск, и пир нектарный,
Пеан младых камен и радости искусств, —
Он не рождал в моей груди неблагодарной,
Не обретал в ней чувств!

Почто дерзнула я в надменности безумной,
Презрев его мольбу,
В немую ночь, когда утихнул город шумный,
Вступить в Латоев храм и вопросить судьбу?

Калхас

Сын громовержца, всевидящий, чудный,
Тайны твои не для смертных племен!
Горе тому, кто глядит безрассудный
В черную ночь нерожденных времен!

Кассандра

Горе, горе мне несчастной!
Он на смерть мою притек!
Горе, горе мне изрек
Страшный мститель, Феб ужасный!

«Тебе грядущее вручаю, —
Так мне поведал гневный глас, —
Завесу мрака с бренных глаз
Тебе на пагубу снимаю!
Глагол, напрасный для глухих,
Для Трои будь зловещей птицей,
Стыдом и смехом для родных,
Моею жертвою и жрицей!»

Тогда восколебался храм,
И вздрогли основанья града,
И я побегла по стенам,
Восторга полная менада!

Обратитесь в две реки,
Потухающие очи!
Лейтесь, вопли, в лоно ночи!
Плач отчаянный, теки!

Помяни отчизны край,
Помяни святые бои,
Над паденьем древней Трои,
Неутешный, возрыдай.

Я вотще будила их!
Я вотще их гибель знала:
Брань их кости разметала.
Зевс-каратель их постиг!

Вотще я в трепете пророческого страха,
Когда блистательный доспех
Супругу принесла младая Андромаха,
Провидела сосуд его родного праха, —
Ах! я в слепой толпе, рождала только смех.
И он, как зрелый клас, косою пораженный,

Он пал незапно ниц —
И труп кровавый, искаженный
Отчаянный Пелид помчал вокруг бойниц!

Но и быстрого Пелида
Кара мимо не прошла;
Неизбежная стрела,
Длань предателя Парида
Смерть в его послала грудь,
Указала другу путь
В царство бледного Аида!
Гость в Приамовых стенах —
Новый щит троянских башен,
Всеми прелестьми украшен,
С тихим пламенем в очах,
Он стоял пред Поликсеной
И, опутанный изменой,
Пал, божественный, во прах!

Так! тогда и я впервые
Позна́ла тебя, любовь!
Кудри пышно-золотые,
Взоры сердца, сладость слов,
На устах живая радость,
Расцветающая младость,
Сила в смелых раменах,
Нежность к ней в душе столь бурной,
Над Патрокловою урной
Скорбь в полуночных слезах —
Всё в нем, всё обворожало!
Но из пасмурной дали
Уж эриннии текли!
Мне мучительное жало
Перси вещие терзало!
Неотступная боязнь
Среди дней беспечно-ясных
В гулах песней сладкогласных
Мне его вещала казнь!

О место святое! тебя узнаю;
Мне в грозное, полное муки мгновенье

Явило тебя роковое виденье!
Увы! я над гробом Ахилла стою!

Завидна участь Поликсены,
Латоев жрец! Ножом твоим
Благоговейные гелены
Ее соединили с ним!
На берег безмятежной Леты
Она умчалася к нему;
Там, в Персефонином дому,
Любовью тою же согреты,
Живут блаженные они!
Как ветерка легчайший шепот,
Как вод подземных сладкий ропот,
Текут бесплотные их дни!

Калхас

Их божественные тени
Узрит радостный поэт;
Их из гроба старых лет
В час крылатых вдохновений
Воззовет его привет!

Он воспоет бессмертный гнев Ахилла
И светлых Уранидов суд;
К тебе народы притекут,
О возвышённая могила!
Народы и века, о холм, тебя почтут!

Кассандра

Мир тебя не позабудет,
Древний, горестный Приам,
Отдаленным племенам
Пепел твой священным будет!
Бурный, яростный Коцит
Не всего тебя умчит!
По тебе взрыдает лира!
И проклятьем заклеймит
Зверство бешеного Пирра!

Ты, почиющий герой,
Ужас падшего Пергама, —

Ты состраждущей рукой
Из пыли воздвиг Приама;
И воспомнил жребий свой,
И восплакал победитель
Над враждующей главой!
Кроткий старца утешитель,
Нет, ты Пирру не родитель!

Не тобой рожден злодей,
Богохульный кровопийца, —
Кто под сенью алтарей
На телах его детей
Был бессильного убийца!

Не дщерь могущего Тиндара
Тебя сразила, Илион,
Тебя поел огнем пожара
Небес незыблемый закон!
Над сирых лар твоих жилищем
Парят глухие божества, —
Во дни побед и торжества
Уже ты зрелся мне кладбищем!
Уже давно в ночи немой
Слыхала я, о Гекатея!
Над Троею надгробный вой;
Ступлю и вижу, цепенея,
Везде призра́ки, бледный рой,
Из ада высланный тобой!
Гляжу — трезубец Посейдона
Отцов моих святую твердь
Подъемлет из земного лона,
Текут Паллада и Юнона,
За ними бешенство и смерть
Врата Пергама разверзают,
Трясут Троянские столпы,
В горящий город выгоняют
Данаев дикие толпы!
Гремели песни, смех и игры
В родимых храмах и домах,
А я, я зрела: псы и тигры
Сошлись на трепетных телах.
Но день и ночь мечты и грезы

Напрасно мучили мой дух:
Кровавые лила я слезы;
Но их не растворялся слух!
Я глас вещаний бесполезных
Напрасно в уши их несла,
Нет, никого из мне любезных,
Увы! спасти я не могла!
Почто ко мне пылал любовью
Злосчастный юноша, Хореб,
Он презрел приговор судеб
И заплатил своею кровью.
«Оставь Фригийские края! —
Как часто я его молила, —
Тебя не Троя породила,
Иди! не здесь твоя семья!»
Отверг герой мои молитвы.
Нам верный до последней битвы,
Он выждал наш смертельный час!
И се — беснуясь, ворвалась
Ахеян рать во град Приама;
Се за власы меня из храма
Повлек неистовый Аяс,[6] —
На умирающий мой глас
Бежит Хореб; он, исступленный,
Исторг, освободил меня;
Но вдруг я падаю, стеня,
И победитель их мгновенный,
На копья греков восхищенный,
Пронзенный в перси и хребет,
Летит и пал, вздохнул и нет!

Калхас

О дева! страшен Феб ревнивый.
Никто без казни не горит
К его добыче несчастливой, —
Она под властью эвменид!

Кассандра

Ты внял ли словам вдохновенным, Атрид?[7]
Приди, раздели мое ложе!
Приди; уже брачный твой светоч горит:
Он в Оркус дорогу твою озарит!

О боги, вы будете строже
К исполненным смерти Микенским стенам,
Чем зрел вас низринутый вами Пергам!

Чьи это воздвиглись согнившие кости?
Покрытый одеждою червей и змей,
Из гроба восстал нечестивый Атрей!
Вы были ему вожделенные гости,
Когда он отца поил кровью детей.
Эриннии, Айдеса дщери, проснитесь,
Проснитесь! в знакомый вам Аргос помчитесь!

Гимен! о Гимен! о бог Гименей!
Зажегся светильник смертельного брака,
Горит над бездонною пропастью мрака.
Гимен! о Гимен! о бог Гименей!

В Микены течет путешественник дальний,
Я вижу торжественный, праздничный дом:
Иссякните, воды последней купальни,
Царя поразил неожиданный гром!

Увы! устраните тельца от телицы: [8]
Ползет же семейственный, мерзостный змей!
Исторгните льва из сих жадных когтей,
Из гнусных зубов побеждающей львицы.
Гимен, о Гимен, о бог Гименей!

О Феб-Аполлон, Аполлон-сокрушитель,
Чей это дымящийся кровью чертог?
И ты не дрожишь, потаенный губитель?
Кто, кто их удержит? — герой изнемог!

Супруг от супруги приял покрывало,
Оно его мощные руки связало;
Так час роковой без возврата пробил,
Он гибнет, лишенный защиты и сил! [9]

Какая песнь меня терзает?
Какой ужасный вижу хор?

Мертвеет слух, темнеет взор,
Толпа эринний завывает,
Их дикий, радостный припев
Сынов Фиэста поминает,
И, внемля им, дрожит Эрев!

Но снова, снова исступленье
Стремит горé мои власы!
Я зрю Танталово паденье!
Кронидовы, ночные псы,
Ненасытимые мегеры,
Ореста ли я зрю? — он трепетный елень,
Его пугает даже тень!
За ним в леса, за ним в пещеры,
Чрез степь, чрез горы — ночь и день! —
В него чудовищ адских стая
Впилась и жизнь его сосет.
Вотще, от алчных убегая,
Вотще из края в край течет!

Он утешил тень родителя
Кровью милой и святой;
Но свирепый фурий вой
Воет над главою мстителя!

Воет гибель над убийцею:
Он мольбам ее не внял,
Сын, он в мать вонзил кинжал
Богохульною десницею!

Зачем слепоту с моих веждей берешь,
О Феб-Аполлон, Аполлон-сокрушитель?
Там ждет и меня потаенный губитель!
Куда свою жрицу, жестокий, ведешь?

Калхас

Так! глас ее подобен гласу Прогны,
Когда она по Итисе грустит:
Но чем тебе, о Аргос, он грозит?
Дворец царей, Микен святые стогны,
Увы! какой над вами рок парит?

Кассандра

Вас я зрю, святые стогны!
Спите вы в громовой мгле;
Ах, зачем мне с гласом Прогны
Не даны ее крыле?
К вам я взвиться бы хотела,
К вам, златые облака! —
Но на мне отяготела
Феба гневная рука!
Вижу черную судьбину,
Но ее не отвращу.
Вдаль на вихрях полечу
Встретить раннюю кончину!

Кассандра взгляд к дымящейся отчизне
Стремит в последний раз,
И к кораблям, без чувства и без жизни,
Понес ее Калхас!

Восходит Феб из бледного тумана,
Попутный ветр подул,
И песнь пловцов, и клик веселый стана
В утесах вторит гул!

И се! суда уж приняла Фетида,
Их славный сонм бежит.
Но из-за туч суровый лик Кронида
Над греками висит!

1822—1823

[1] Бейрон, гениальный и обожаемый англичанами, не слишком уважает их суждения и живет в Италии.

[2] Здесь описывается так называемая Фата-Моргана — явление нередкое в странах полуденной Европы, похожее на северное сияние.

[3] Средиземное море светится ночью.

[4] Локсий — Λοξίας —Аполлон.

[5] Древние имели обыкновение, волнуемые предчувствиями, уединяться и вслух рассказывать события жизни своей: они надеялись

отвратить тем угрожающие им бедствия. Вот источник Прологов Эврипидовых и всех монологов.

[6] Аяс — Аякс.

[7] В сем пророчестве, как вообще во всей почти поэме, автор имел в виду Эсхилова «Агамемнона».

[8] ...устраните тельца от телицы — ...ἄπεχε τῆς βοῦς τὸν ταῦρον. Агамемнон.

[9] Клитемнестра умертвила супруга своего в купальне, опутав его длинным покрывалом.

199. ⟨НАЧАЛО ПОЭМЫ О ГРИБОЕДОВЕ⟩

Уже взыграл Зефир прохладный
И день стремится отдохнуть,
На запад солнце клонит путь,
Бог наших предков, луч отрадный,
Прекрасный отблеск божества,
Грядет на сон от торжества —
Друзья, рассказов чудных жадный
Ваш слух открыт моим устам,
Но вдаль по саклям, по мостам
Из лавок шумного базара
Несутся клики к облакам,
Здесь вяжет всё криле мечтам.
Тебя могу ли вспомнить, Дара,
Владыка всех подлунных стран,
Тебя, Хожроев бранный стан,
Вас, битвы грозного Шапура?
Здесь на брегах плененных Кура
Гремит оружием урус;
Былую славу вспоминая,
Невольной грусти предаюсь.
Прелестных жен семья святая,
Меня в чужбине не покинь!
Зулейка, Мириямь, Ширинь,
Цветы утраченного рая,
Пусть миг один в саду земли,
Благоухая, вы цвели, —
В веках седых и отдаленных
Поэтов, вами вдохновенных,
Востока племена почли.

Там, где в Эдем чрез ужас ада
Арагву катит Кашаур,
В палящий полдень скачет тур
На дальный ропот водопада, —
Там я, когда твердыни града
Объемлют ночь и тишина
И всходит чистая луна,
Об вас спешу начать беседы
[В кругу родимых земляков;]
Но мира требует любовь;
Ее восторги и победы
Средь стука суетных торгов
Едва слегка коснутся слуха
И нежной цепью сладких слов
Не окуют вниманьем духа.

О чем же поведу рассказ,
Пока всех верных с минарета
Можема протяженный глас
Не распрострет в последний раз
Пред ангелом златого света?
Но что — кто сей младой гаур,
Потерянный в толпе безумной,
Валящей по мосту чрез Кур? —
Задумчив средь заботы шумной
Армян, евреев и грузин,
Он в многолюдстве их один
Идет нескорыми шагами
И смотрит тихими очами
На искры яростных пучин,
Зажженных запада лучами.
Сей образ — так знаком он мне,
Знаком сей взор живой и нежный!
В чужой и дальной той стране,
В земле полуночной и снежной,
Куда посольство привело
Меня сопутником Гасана,
В столице славы и тумана
Не раз я зрел сие чело, —
Потом к престолу Таерана
Слугою русского царя,
Любезным гостем Бабы-Хана,

Сопровождая сардаря,
Он с ним притек из Гурджистана.
Здесь я раскрыл его глазам
Премудрость сладостных уроков
Восточных старцев и пророков,
И приковал его к стихам,
Лиющим тысячью потоков
И жизнь, и счастие векам;
Но вскоре, с нами разлученный,
Он в край умчался отдаленный
К своим суровым землякам,
И я — летами искаженный —
Стал ныне чужд его очам.
Явлюсь заутра Исандеру;
И в дряхлости лелею веру
К младым, пылающим сердцам:
Он вспомнит бедного Абаза;
А ныне братьям передам,
Что посреди садов Шираза
В роскошной, светлой тишине
Он, сетуя, поведал мне.

1822—1823

200. ДАВИД

Эпическое стихотворение,
взятое из «Священного писания»

I

КНИГА «ПРЕДДВЕРИЕ»

Персты мои ли по струна́м блуждают?
Завешен тучами весь мой обзор,
Перуны смерти надо мной сверкают.
За тучи устремлю молящий взор...
Спаситель мой ко мне приник оттоле,
Бог усмирил души моей раздор!
Судьба моя в святой, господней воле:
Заступник мой, надежда и покров,
Сидящий на сияющем престоле,
Превыше всех и солнцев и миров;
К нему мой глас, к нему мольбы подъемлю!
Так! Без него главы моей власов
Ниже́ единый не падет на землю.
Не без него начну и песнь сию;
Опасный, трудный подвиг предприемлю:
Царя, певца, воителя пою;
Все три венца Давид, пастух счастливый,
Стяжал и со́брал на главу свою.

И был в Эфрафе[1] муж благочестивый,
Десницей бога вышнего храним:
Струились шумные под ветром нивы
Златые, необъятные пред ним;
Паслись его стада в лугах цветущих,
Он был ущедрен господом благим,
Проклявшим всех врагов, его клянущих,
Благословившим всех его друзей.

[1] Вифлеем назывался также Эфрафою.

И возрастил он семерых могущих,
Высоких станом, крепких сыновей.
Осьмой же мал; но, в братьях небрегомый,
Он кровь твою прославил, Иессей.
Им были овцы отчие пасомы:
С холма на холм за ними восходил,
И, чистым, радостным огнем жегомый,
Невинный отрок славил и хвалил
В псалмах священных, в песнях сладкозвучных
Избравшего Исраиль бога Сил...

...Молва несется: «Прозорливец[1] здесь!
Что возвестит всевышнего служитель?»
Его приход волнует город весь.
Вступают града старшины в обитель:
«Эфрафе мир ли ты приносишь днесь?
Или на нас разгневан вседержитель?»
— «Мир вам! сюда я жертвовать притек,
И ныне освятитеся со мною
И радуйтесь! — так сын Элькaны рек. —
Но се гряду и Вифлеем спокою!»
Из стен исходит божий человек;
За ним толпа стремится за толпою.
Предстали алтарю, и Самуил
Елеем совершает освященье
И руку на главу тельца взложил...
(Телец могущий жертва за спасенье.
Сего же сам он первенца вскормил:
Благое без порока приношенье.)
И се уже огромный пал телец,
Краса и честь Ефремлих паств веселых.
Но кровь лиет вкруг жертвенника жрец,
Роскошный тук, от чресл отъяв дебелых,
Возносит к господу благих сердец,
Смиренной верой радостных и смелых.
Обрядов строго держится во всем:
По жертве соль завета рассыпает,
И грудь и рамо раздробив ножем,
На часть их Аарону отлагает;
Священным воспаляет сруб огнем,

[1] Пророк Самуил. — *Ред.*

Встает и весь народ благословляет.[1]
Тогда, избранник ото всех колен,
Иуда громкий глас подъял хвалений
Властителю языков и времен;
Текут... Отзы́в их шумных песнопений
Встречает их с холмов, и рощ, и стен!
Под сумрак же прохладной, темной сени
Овидов сын и Самуил спешат.
Никто вослед не простирает ока;
Всех дерзких устраняют и страшат
Суровый лик и строгий взгляд пророка.
Цвел на горе обильный тьмою сад
От врат Вефильских на страну востока.
На полночь открывался конный путь,[2]
К полудню зрелся тихий гроб Рахили:
В Эфрафе ей судилося заснуть,
Прекрасную в Эфрафе схоронили;
И скорбь Исраиля терзает грудь;
Но дети с ним на полночь поспешили.
Воссели старцы в вертограде том
Под кров смоковницы широколистой;
Пророк поникнул сумрачным челом,
Повел перстами по браде сребристой,
Вздохнул, подъял главу и рек потом:
«Бог отвратился от души нечистой;
Отвержен царь от божиих очей! —
Со мною раздели печали бремя;
Ко мне склонися слухом, Иессей!
Забыл отступник бога в оно время,
Когда господь наш отдал в снедь мечей
Злодеев наших мерзостное племя!
Издавна нам враждует Амалик;
Не убоялся бога блудородный:[3]

---

[1] Об обрядах жертвоприношения см. Книгу Левит.

[2] Умре же Рахиль и погребоша ю на пути ипподрома в Эфрафы: сия есть Вифлеем. И постави Иаков столп на гробе ея, сей есть столп над гробом Рахилиным даже до дня сего. Книга Бытия, гл. 35.

[3] Фамна же бяше наложница Елифаса, сына Исавля, и роди Елифасу Амалика. Кн. Бытия, гл. 36; впрочем, в Священном Писании говорится также об Амаликитах, современных уже Аврааму. См. гл. 14, ст. 4.

Давидъ

Эпическое стихотвореніе взятое изъ Священнаго Писанія..

Книга 1. Предверіе. Сочинено въ 1826 году

~~Въ бездонный мракъ не простирало она~~
Въ бездонный мракъ сердечной глубины;
Не васъ хочу прославить, жертвы Рока;
Огромные [illegible] тьмы. #1
Не обновляйтесь, дикія волненья!
Моей не возмущайте тишины,
Создатели ночи, скорбныя видѣнья!
И ты, мой [illegible] не касайся, хладъ,
Хладъ мертвецкихъ изветшихъ погребовъ!
И [illegible] пожарищъ безпромышленный адъ,
Вопли, стенанья, угасанье,
Бездушныхъ тѣлъ, безжизненный взглядъ, #2
~~Отжившихъ по ...~~ Теперь мои мечты по странамъ блуждать.
Завѣшенъ тучами весь мой обзоръ,
Перуны смерти надо мной сверкаютъ:
За тучи устремивъ молящій взоръ
Спаситель мой ко мнѣ приникнетъ оттолѣ,
Богъ умиритъ души моей раздоръ,
Судьба моя въ святой Господней волѣ:
Заступникъ мой, надежда и покровъ,
Сидящій на блещущемъ престолѣ,
Превыше звѣздъ и солнцевъ и міровъ,
Къ Нему мой гласъ, къ Нему моленье подъемлю!
Такъ! безъ Него главы моей власовъ
Ниже единый не падетъ на землю. #
Не безъ Него начну я пѣснь сію;
Опасный, трудный подвигъ предпріемлю:
Царь, пѣвецъ, воитель, пророкъ великой онъ,
Всѣ три вѣнца — Давидъ наслѣдилъ справедливо
Стяжалъ и собралъ на главу свою.
И былъ въ Ефрафѣ #3 мужъ благочестивый
Десницей Бога Вышняго хранимъ:
Струились шумныя подъ вѣтромъ нивы
Злачныя, необъятныя предъ нимъ;
Пасомыя его стада въ лугахъ цвѣтущихъ,
Онъ былъ украшенъ Господомъ благимъ,
Проклинаемымъ всѣхъ враговъ его клянущихъ,
Благословляемымъ всѣхъ его друзей.

#1. Сетую здѣсь говорить о Гаурѣ, Ларѣ, ~~Манфредѣ~~ Мазепѣ, и другихъ подобныхъ характерахъ, встрѣчаемыхъ въ Байроновыхъ и его послѣдователей —

#3. Виѳлеемъ называлось также Ефрафою.

Он нападал, безжалостен и дик,
Еще в исход наш, средь степи безводной,
Вздымая средь пустыни шумный крик,
На нас, покрытых пылию походной.
Каратель Амалика помянул:
Кровавое настало воздаянье —
И посланы Исраиль и Саул
И с ними страх, и гибель, и попранье!
Пройдет весь мир ужасной мести гул;
Обымет нечестивых содроганье!
Победой наш венчался каждый шаг;
Летал пред нами Ангел-Истребитель:
В десницу храбрых впал свирепый враг,
Его ж обрек на кару вседержитель,
Убийца жен, убийца чад Агаг,
Неистовый разбойников властитель.
Но изверга сын Кисов пощадил:
Он в свой шатер приял его, как брата,
Приник на стан Исраиля бог Сил
И гневом воскипел на сопостата.
«Восстань! — он мне поведал. — Самуил,
Предай Агага лезвию булата!
Саула же от моего лица
Хощу отринуть я за ослушанье», —
Живет и падший сын в душе отца:
Ночь слышала мое о нем стенанье.
Но возвестил ему я гнев творца;
Врага же взял и вывел на закланье!» —
В устах пророчих замерли слова;
Он весь являлся жертвою страданий;
На грудь склонилась белая глава;
Дрожа, сжимались жилистые длани.
«Дошла и к нам, — рек Иессей, — молва
О сей благословенной богом брани.
А ныне да познаю, муж святый, —
Мое же да отпустишь дерзновенье
(Суровый я питомец простоты,
И всякое мне чуждо ухищренье), —
Как обличил в грехах Саула ты?
Дозволь твое услышать извещенье!»
— «О род Адамов! — возопил пророк. —
Адамов род и Евы любопытной!

Безумен ты, безумен и жесток,
Почто предпочитаешь в злобе скрытной
Блаженству скорбь и доблести порок,
Ловец вестей и слухов ненасытный!»
От оных слов смутился Иессей;
Но муж, носящий жезл Мельхиседеков,
И жрец и некогда пастух людей,
Провидец душ и мыслей человеков,
Всесожигающий огонь очей
Смягчил и не продлил своих упреков.
«Саулу нес я вышнего глагол;
К нему, — он молвил, — шел путем Кармила,
Предтеча горестный грядущих зол;
Евреев же ликующая сила
Покрыла тяжестью и холм и дол,
Окрестность всю, всю область наводнила.
И победитель мчался в Гаваон[1]
В сверкающей булатом колеснице,
Одеянный во злато и виссон,
С огромным копием своим в деснице.
Что я к нему гряду, услышал он
И обратиться повелел вознице.
Он от меня в Галгалы[2] путь склонил,
Средь торжества смущен и беспокоен;
Страшит владыку ветхий Самуил,
Притворствует пред дряхлым старцем воин!
И я притек — и вижу: богу Сил
Уже всем воинством принос устроен.
«Отец, благословляю твой приход! —
С холма меня приветствует коварный. —
Господь твой бог воспомнил свой народ:
Града врагов поял огонь пожарный;
Их расточил, развеял наш поход...
И се — ты зришь — исраиль благодарный
Возносит жертву песней и похвал».
Я рек: «Не с дола ль слышится мычанье?
Не глас ли стад несется от Галгал?»
— «То наше богу твоему даянье:

[1] Гаваон, или Гавая, главный город племени веньяминитов.

[2] Галгала — место, где Иисус Навин обрезал евреев, перешед через Иордан. См.: Книга Иисуса Навина, гл. 5.

От Амалика их народ пригнал,
Юниц и буйвол лучших, на закланье.
Остаток же — так завещал ты нам, —
Он продолжал лукавыми устами, —
На яству вранам, на снеденье псам
В степи повергся нашими руками».
— «Искоренить злодеев предал вам
Господь с женами, чадами, скотами.
Сразить не повелел ли вышний всех? —
Но презрел ты его святую волю;
Но ты подъял глагол его на смех,
Добычи лучшую сберег ты долю!
Стада те проповедуют твой грех,
Которые рассыпал ты по полю.
Слаб, древен я и пред тобой молчу:
Ты вождь и царь, ты славный победитель;
Но воззывал я за тебя к творцу;
Что в нощь ко мне глаголил вседержитель,
Тебе, когда потерпишь, возвещу!»
— «Вещай!» — смущенный говорит властитель.
Воздвигся я и продолжал вещать:
«Не скудная дана тебе судьбина;
Не ты ль предводишь ныне нашу рать?
От рода малого Вениямина
Благоволил господь тебя избрать,
Малейшего, в царя и властелина.
Он водворил тебя в дому своем;
Тебя воздвиг на высоту из дола...
Почто же ты не сохранил во всем
Святого бога вышнего глагола?
Не быть тебе в Исраиле царем,
И чадам не оставишь ты престола!
Да не речешь, Саул: стада сии
Не богу ли соблюл я на закланье?
Что богу жертвы грешные твои?
Не паче ль всякой жертвы послушанье?
Сын Кисов, помянешь слова мои.
Но се я совершил мое посланье».
И он ответствует: «Я согрешил:
Я, убояся ратного смятенья,
Забыл твои вещанья, Самуил,
Забыл господни строгие веленья;

Ты помолися, старец, богу Сил:
Услышит гневный бог твои моленья!»
Но я: «Не на тебя ли он излил
Своих щедрот и благости обилье?
А ты, Саул, его уничижил:
И ныне он в бесславье и бессилье
И в пагубу твой жребий положил!»
Иду; но царь за риз моих воскрилье
Рукою ялся и раздрал хитон.
«Так бог, — я рек, — раздрал твою державу.
Вовек неколебим его закон:
Стезю возненавидел он неправу,
Нет, не изменится, не смертный он!
Он дал иному власть твою и славу».
Властитель же не съял с меня руки:
«Я согрешил и грех мой разумею;
Но ты отселе, старец, не теки:
Почти меня пред ратию моею;
На нас князья взирают и полки;
Грядем, мольбу соединю с твоею».
— «Предай же мне, — к нему я речь простер, —
Упитанного нашей кровью змея!»
Сын Кисов отрока послал в шатер:
Агаг предстал, дрожа и цепенея;
Багровым блеском озарил костер
Ужасный образ бледного злодея.
«Ужели смерть, — он молвил, — так горька?»
— «Тебе ли будет, — я вопил, — пощада?
Как жен твоя бесчадила рука,
Так матери Агага быть без чада!»
И черной крови пролилась река,
Душа же низлетела в бездну ада!
Воссел я с той поры в дому моем
И там во тьме оплакивал Саула.
И сетовал во вретище по нем.
Внемли! вчера вселенная заснула,
Но не́ спал я; вдруг трепетным огнем,
Раздравши небо, молния блеснула;
Я вспрянул, ослеплен; гром заревел,
Перуны зазмеились за горами.
Вся твердь исполнилась кровавых стрел,
И глас послышал я над небесами:

«Твоей печали положи предел!
Доколе разливаешься слезами?
Не обратится к сыну Киса бог:
Пред волею его благоговея
(Свят, свят закон его, но вкупе строг),
Исполни рог священного елея,
Восстань и понеси в Эфрафу рог:
Царя там вижу в чадах Иессея!»
— «Царя бог и́збрал из моих детей! —
Незапным хладным ужасом объятый,
Бледнеющий воскликнул Иессей. —
Злосчастный день, день горестный трикраты!
Ты много мне пророчишь скорбных дней:
Падет мой сын, в весне своей пожатый!»
— «Смирись пред богом трепетной душой! —
Вещает Иессею прорицатель. —
Или не властен вышний над тобой?
Или не он господь твой и создатель?
Он вводит кротких в сладостный покой;
Но он же грозный дерзостных каратель! —
Не Авраам ли был заклать готов,
Не пожалел единственного чада,
Отца ему обещанных родов?
И не взялася верного награда!
А сколько пред тобой цветет сынов,
Твоих очей веселье и отрада? —
Благоволил единого из них
Господь почтить своим святым избраньем, —
И ты не заграждаешь уст твоих!
Едва ли ты не возроптал роптаньем!
Умолкни же и, радостен и тих,
Благоговей пред божиим посланьем.
Он над рабом своим простер свой щит;
Избраннику он станет одесную;
Царя под сенью смерти сохранит;
Расширит над владыкой длань благую!
Но что? не царь ли под твой кров спешит?
Грядем! я приближенье духа чую!»
И было так: провидел Самуил,
Прозрел, но не телесными очами,
Как сын от стада в дом отца спешил.
Повеяв чудотворными крылами,

Святой восторг на старца находил:
Он над грядущими парил летами! —
Но идут и пришли, и се — у врат
Семь красных, мощных юношей стоят.
Когда увидел, в древний дом вступая,
Вещатель Элиава пред собой,[1]
Тогда он молвил, бога вопрошая:
«Не доблестный ли сей избранник твой?»
И был ответ: «Познай, — душа благая
Единая угодна предо мной;
На мощь вы зрите и на стан высокий,
Но мой ли взор есть взор очей твоих?»
Аминадав явился черноокий,
Самай, мудрейший в братиях своих;
Но тот, кто мерит мрак сердец глубокий,
Всевидящий, отверг и презрел их.
И не взыскал бог никого из прочих,
Нет, никого из всех могущих сих,
И не вещал глаголом уст пророчих
Ни одному: паси людей моих!
Все семеро веселье мыслей отчих,
Но выше их кто кроток, благ и тих.
И жрец гостеприимца вопрошает:
«Или я видел всех твоих детей?»
— «Еще есть отрок, — старец возвещает, —
Залог последний матери своей;
Но мал; лета не многие считает:
Поставлен он над паствою моей».
— «Пошли ж по нем, не отложа, ко стаду:
Ты всуе ставишь яствы предо мной;
Пока мне не предстанет, не воссяду!»
Домостроитель подал знак рукой —
И потекла к возлюбленному чаду
Седая Валла, поюнев душой,
Но с отроком сошлася под вратами.
«Ты где же медлил? — старица гласит. —
Добры вы! не управишь ныне вами!
Без агнца вечерять ему, Давид!»
Но хитрыми приправлено руками,

[1] **Элиав** — старший брат Давида; **Аминадав** — второй; **Самай, Сама или Самаай** — третий.

Пред гостем брашно вкусное стоит.
«Иди же: близок час и сна и ночи;
А тщетно к яствам нудит твой отец:
Пока тебя его не узрят очи,
Укрухи хлеба не коснется жрец.
Что знаменует, сын мой, зов пророчий?
Что ныне о тебе решил творец?»
Предстал Давид пред взоры Самуила,
Пес верный отрока сопровождал;
В широких раменах являлась сила,
Румянец на щеках его играл,
Сверкали очи, будто два светила,
Но ростом был прекрасный пастырь мал.
И старцу был призыв от пресвятого.
«Не сей ли упасет моих людей?
Помажь на царство юношу благого:
Восстань и миро на него излей!»
Тогда излил на пастыря младого
Господень раб таинственный елей,
И над Давидом божий дух с того дня
Во всех делах и подвигах парил;
Его крепила благодать господня,
Держал и защищал его бог Сил;
Изнемогла, смирилась преисподня:
На выю он противных наступил.

Итак, мое построено преддверье!
Но совершу ли здание когда?
Быть может, подвиг мой — высокомерье,
Огонь и дар мой, может быть, — мечта!
Паду — и посмеется мне безверье,
Посвищут мне надменные уста...
Кто, кто тогда подаст мне утешенье?
И сам себе прощу ли дерзновенье?

Но и тогда благословенно будь,
Души моей невинное прельщенье!
Я пел — и мир в мою вливался грудь...
Меня тягчили, как свинец, печали:
За миг не мог под ними я вздохнуть;
Вдруг окрылялися, вдруг отлетали —
И что же? — светлым мне мой зрелся путь!

Где, где же те, кого любил я в свете?
Кому мое преддверье посвящу?
Ужели все забыли о поэте?
Ужели я один по них грущу?
Их жизнь роскошствует в прекрасном свете,
А я... но сетовать я не хочу:
Отрадно мне воспомнить дружбу нашу;
Мой труд любезным именем украшу.

В науках мой наставник и пример,
Ты услаждал моей судьбины чашу!
Ты ныне где, мой верный Исандер? [1]
Еще ли ты средь камней Гурджистана, [2]
В отчизне гор, потоков и пещер?
В Москве ли ты, в столице Иоанна?
Во граде ли Петра, в стране тумана,
Где неба свод бессолнечен и сер,
Где вяну я?..

Увы! вотще страданья
В моих я персях силюсь одолеть:
Проснулись все на зов воспоминанья,
Дрожит мой голос, я не в силах петь!
О славе ли, безумец, я мечтаю?
В глухих стенах, в темнице умираю!

И песнь моя не излетит вовек
Из скорбного, немого заточенья!
Мой боже! я ничтожный человек,
Дитя мимолетящего мгновенья, —
Смягчиться повели моей судьбе...
Или пусть час ударит разрешенья:
И полечу, создатель мой, к тебе!

Туда зовет меня мой искупитель:
Там радость вечная, там вечный свет,
Оттоле я, полей эдемских житель,
Взгляну на прежнюю мою обитель,
На область испытания и бед;
Не ищет муж младенческой забавы,

[1] По-персидски Александр.
[2] Грузия.

Равно земной не пожелаю славы...
Но жить я буду для любви одной!
Небесный светоч, сладостную веру,
Друг, ты возжег впервые предо мной:
И здесь и там должник я Исандеру!

II

КНИГА «ПРИЗВАНИЯ»

Вновь я один: тяжелые затворы
Меня от жизни отделяют вновь.
Подъемлю к небу страждущие взоры, —
Со мной простились дружба и любовь:
Не мне было, родимые, жить с вами!
Неистово моя кипела кровь;
Был в даль влеком я шумными мечтами,
В седую даль рвалась душа моя,
Рвалась за бурями, за облаками;
Сердечных гроз игралищем был я, —
И грозы те любезных мне терзали,
И в скорбь и в кару был я вам, друзья!
И что ж? — изгладьте счет с своей скрыжали:
Долг кровью искупить бы я готов;
Но ах! меня не стены ли объяли?
Вы мне не внемлете из-под оков!

Рукою легкой сеешь оскорбленье,
Ничтожный раб изменников-часов;
А царь твой — непреклонное мгновенье;
А дастся ли, слепец! твоим мольбам
По самый гроб с тем братом примиренье,
Который взор возвел к твоим очам,
Стоит и ждет из уст твоих привета
И медлит отступить к твоим врагам?
Спеши! — не купишь и ценою света
Того, что ныне отвергаешь ты...

Душа моя безбрежной тьмой одета;
Меня стесняют черные мечты,
Огромные меня призрáки борют;
Спрошу ли? — но здесь область немоты,

Здесь мне одни глухие камни вторят,
Здесь шепчется лишь с ночью хладный страх...
«Не будет, — шепчет, — дня, и не отворят,
И вот в родных дубравах и лугах
Спасительницу божию десницу
Ввек не прославит на святых струнах...»

О! да узрю хоть раз еще денницу!
Душа моя, к нему, к нему взывай!
Так, превратить он силен и темницу
В исполненный духов небесных рай, —
Воспрянь, бодрись, исполнись упованья;
В отчизну дум свободных возлетай!

Завесою сребристого мерцанья
Луна покрыла спящий Гаваон;
Но не́ спал царь, исполненный страданья,
Бежал его смиритель скорби сон;
Его давил лукавый дух от бога;
Из тьмы унылый износился стон.
И, бодрствуя у царского чертога,
Так рек Йоанафану Авенир:
«Царя мучитель наказует строго:
Могущую покинул душу мир;
И се подъялись снова филистимы:
Без пестуна Исраиль, слаб и сир...
Что ж? крыться будем ли, врагом гонимы,
В горах, в скалах, среди лесов и рощ?
Или восстанем мы неколебимы
И воскресим царя былую мощь!
Какой, Йоанафан, какой цельбою
Прогоним грозную, глухую нощь,
Объявшую царя евреев тьмою?»
— «Врачует песнь болящие сердца, —
Ответствует Йоанафан герою. —
Ты мудрого не знаешь ли певца?
В руке певца священные перуны:
Нам возвратят владыку и отца
Златые, чар напитанные струны».
Умолк и к сыну Нира взор подъял;
Но в речь тогда вступил воитель юный,
(Он стражем пред ложницею стоял):

«Ко мне склоните слух, вожди евреев!
В Эфрафе песнопевцу я внимал:
Давид по имени — сын Иессеев;
Саула чистый отрок исцелит —
Так поразит еще Саул злодеев,
Простdет над нами неприступный щит,
Надейтесь, князи: рань иноплеменных
Еще пред нашей ратью побежит».
Как вешний луч с полей, красы лишенных,
Снимает зимний, тягостный туман,
Так с слов отрадных, свыше вдохновенных,
Воспрянул доблестный Иоанафан;
Взял воина поспешно за десницу,
Сказал: «Благий совет тобою дан!» —
И в отчую ведет его ложницу.
Стоял в ночи средь храмины Саул
И в прах поверг венец и багряницу;
И в прахе меч лежал и лук и тул,
Был бледен царь и дик и без одежды.
Вошли; на сына страждущий взглянул,
Очнулся; мрак его покинул вежды;
Вздохнул он, по челу повел рукой;
Воссел; «Ужели нет, — сказал, — надежды?
Ужель не возвратится мне покой?»
К Саулу сын глагол свой обращает:
«Бог вёдро посылает за грозой:
На помощь бога царь да уповает!
Да взыщет жертвой гневного творца!
Вещать же раб твой пред тобой дерзает:
Испало здравье твоего лица;
Но в песнях дивная душам отрада;
Пошли в Эфрафу быстрого гонца
(Фаресовы искусны в песнях чада),
Пусть вещий предстоит тебе певец!
Владыку осенит ли облак ада?
Впадет ли в бездну скорби мой отец?
Пусть на струнах раздастся глас могущий:
И дух уступит властелю сердец!
Есть в Вифлееме юноша цветущий
(Ему родитель старец Иессей),
Разумный отрок, сладостно поющий,
И вещего мне славит воин сей.

Он сам ему внимал душою жадной,
И знает дом его и всех друзей. . .»
И царь утешен речию отрадной;
Так зноем изнуренная земля
Вкушает дождь обильный и прохладный,
И блещут новой роскошью поля.
«О свет надежды! — он простер вещанья. —
Ты, тьму души унылой разделя,
Смирил мои мятежные стенанья!
В Эфрафу, бодрый витязь, потеки;
Поведай старцу: ждет Саул даянья,
Драгого дара от его руки;
Муж древний! так скажи ему, о сыне
Не сетуй, в радость сердце облеки:
Нет! не овец ему пасти в пустыне;
Твой отрок будет приближён к царю,
Царю он будет предстоять отныне. —
Спеши ж, уходом упреди зарю:
Да не промедлишь где в дороге, воин!
Пусть скоро твой приход счастливый зрю!
Великого возмездия достоин,
Не всуе будет тягостный твой путь. —
А ты, — тобой я в скорби упокоен;
Прийди, да припаду тебе на грудь,
Сын, друг мой, всех забот моих делитель;
Счастливее Саула, сын мой, будь! —
Будь мощный, радостный по мне властитель;
Возвысь избранный господом народ!
Но что я рек? — Отринул вседержитель,
Отвергнул бог мой злополучный род,
Увы! вотще мое благословенье!
Ему подобен шум бессильных вод;
Но как утес небес определенье:
Подвигнет ли скалу ревущий вал?
Глухой судьбы не победит моленье:
Тебе в наследство клятву я стяжал!»
И снова скорбь Саула одолела;
Он, обнимая сына, возрыдал;
Расслабли члены крепосного тела;
На одр страдалец пал, лишенный сил.
«На мне рука господня тяготела, —
Так он, подъемлясь, с страхом возгласил. —

Был в исступленьи я — и дух виденье,
Ужасное виденье мне явил!
Казалось мне, меня объяло тленье,
Лежал я средь белеющих костей,
По полю разметало их сраженье;
Моих я зрел растерзанных детей,
Я зрел тебя: пронзенный и безглавый,
Ты был завален грудою мечей.
И вдруг явился отрок величавый
И молча ходит между мертвых тел,
Стал надо мной, взял мой венец кровавый,
Мою порфиру дерзостный надел,
И я... Но с тверди, мглою покровенной,
Могущий глас над полем возгремел:
«Сей прах да свеется с лица вселенной!» —
Тогда сокрылись холм, и дол, и лес;
С земли дхновеньем бурным восхищенный,
Ношуся шумен под шатром небес...
Но ты вошел — и отступил мучитель,
И призрак в синем воздухе исчез» —
Так горестный беседовал властитель.
При блеске же полуночных светил
В Эфрафу, в Иессееву обитель,
Саулов вестник доблестный спешил...
...И на холме цветущий град Халева,[1]
Младого солнца блеском озарен,
Явился зренью вестника царева.
Он в граде сем, он в сих стенах рожден.
Взглянул: не дол ли, где под кровом древа
Он отдыхал, ловитвой утомлен?

Меня же не увидишь, Авинора,
Журчащий в сладком сумраке ручей!
Мне не бродить в тени родного бора;
Не зреть, отец, могилы мне твоей:
Вы умерли для узничьего взора,
Свидетели моих счастливых дней!

---

[1] Град Халева — Вифлеем. Сей Халев не есть известный Иефониин, посланный Моисеем из Кадиса — Варни соглядать с одиннадцатью другими обетованную землю и получивший от Иисуса Навина в удел Хеврон или Арво; но Халев или Халови, Есромов. См.: Кн. Паралипоменон 1, гл. 2.

Как часто на брегу реки родимой,
Видений, снов, надежд, восторга полн,
Безбрежными желаньями томимый,
Прислушивался я ко стону волн!
Туда рвалося сердце, в край незримый,
Куда из глаз моих скрывался челн.
И что же, что обрел в стране чудесной,
В которую стремился я тогда?
Ее, во блеск одетую небесный,
Являла мне обманщица мечта...
Объемлет мрак меня; в темнице тесной
Уединенные влачу лета!
Но вы слетите, дум моих созданья!
Поведайте святые были мне;
Меня не допускайте до роптанья:
Жив бог мой, жив в надзвездной вышине!
Сбирает ангел слезы и стенанья;
Судьба в безмолвной зреет тишине!

Уже приняли Асаила стены;
Шагают медленно его стопы:
Везде ему встречаются премены,
Везде превратности земной судьбы!
Где дом Арама, древностью почтенный?
Остались только падшие столпы!
Здесь Иофор, Исма́ила потомок [1]
(Но возрастил отца его Вооз),
В сад обратил седой скалы обломок;
Утес оделся тканью нежных лоз...
Раздался голос сладостен и громок:
То соловей поет, любовник роз.
Там дале, мудрой хитростию строя,
Жилище зиждет новое Додой; [2]
Но юноше мил прежний дом Додоя,
Тот ветхий дом, смиренный и простой,
Где возрастал клеврет и друг героя,
Додоев сын, Элеана́ младой.
И вот исходят красные девицы,

---

[1] В книге Паралипоменон 1 в гл. 2 муж Авигеи, сестры Давида, исмаилитянин, называется сим именем.
[2] Также исторические лица.

Износят водонос на раменах:
На лицах цвет алеющей денницы,
Любви улыбки на живых устах;
На шуйцу съемля водонос с десницы,
С вопросом испытующим в очах
На путника взирают... вдруг узнали.
«Ужели ты в Эфрафе, Асаил?
Да здравствуешь, Саруин сын!» — вещали.
Посол пред красными чело склонил,
Им усмехается, но, к их печали,
Вдруг в Иессеевы врата вступил.
Он входит... Добрый пес, его почуя,
Подъял оградой повторéнный лай.
И к сыну вдруг бросается Саруя.
«Господь тебе веселья, счастья дай!» —
Так вопиет она, его целуя.
Воздвигся звать родителя Самай;
Пришельца радостны обстали братья;
Но сам поспешно Иессей притек,
Младого воина прияв в объятья,
«Будь здрав, возлюбленный! — питомцу рек. —
С весельем ли тебя могу прият я?
Царь не разгневан, юный человек?»
И был ответ: «И царь, и воевода,
И сын царев ко мне благоволят;
Вину ж познайте моего прихода!»
И, вмиг умолкнув, все кругом стоят.
«Царь твоего желает ветви рода!» —
Он рек и поднял на Давида взгляд.
Потом о царских говорит страданьях
(Их только песни могут усладить),
Давида хвалит в хитростных вещаньях,
Отца боязни тщится устранить:
На пышных долго медлит воздаяньях.
Ему подобно, пагубную нить
Обводит кровопийца сокровенный,
Паук, алчбой наставленный ловец,
Вокруг добычи, бдительно плененной.
Уже без страха слушает отец;
Но в думы о грядущем погруженный,
Стоит пред ними сумрачен певец.
Когда же вестник, далее глаголя,

Пред старцем повторил цареву речь,
Тогда отец вещал: «Господня воля!
Не ныне ли година битв и сеч?
Без пестуна печальна наша доля:
Да укрепится в царской длани меч!»
Умолк; но в тихих персях мыслью тайной
Давида чудный жребий обращал:
«Нет! сын Саруин вестник не случайный;
К помазаннику бог его послал:
Се первый шаг к судьбе необычайной,
К которой он смиренного избрал!»
Крылами старца осеняет дума.
Он к сыну воздвигает долгий взор;
Но сей уже от суеты и шума
В священный, древний устранился бор.
Тянулся за полночными вратами,
Глубокой тьмою кроя темя гор,
Отец лесов, воспитанный веками.
Там песнопевец в тишине святой
Бывал пленяем дивными мечтами;
Там он сложил псалтири звучный строй.
Летали по струнам живые персты,
И к небесам он воспарял душой
И видел пред собой эдем отверстый.
Послыша песнь его, смирялся лев,
Кровавый барс, медведь обильношерстый
Стихали, прекращали дикий рев,
Не ужасали боязливой лани,
Внимали молча из-под сени древ.
Давид, подъемля бремя испытаний,
Прощаясь с воздухом родной страны,
Простер благоговеющие длани —
Вознесся звук с трепещущей струны;
Подъялся глас, как пар благоуханий:

«Среди братьев юн и мал,
По следам ходил я стада;
Песни были мне отрада:
Звуки сердца бог мне дал.

Царь ко мне склоняет слух,
Вдаль зовет меня могущий:

Из моей изыду кущи,
Взятый от овец пастух.

Как же глас мой за предел
Скал седых, равнин обширных,
Гор отчизны, долов мирных
Так нежданно излетел?

Пел не для владык земли
Отрок темный и беспечный;
Пред тобою пел я, вечный!
Ты, всевышний, мне внемли!

Да яснеет мне твой день!
Облачи меня в надежду;
В упованье, как в одежду,
Душу сирую одень!

С колыбели ты мой бог;
Я к тебе подъемлю руки:
Кто ж моей псалтири звуки
Взвеет в твой святый чертог?»

Сам он услышал, сам повсюдусущий;
Он возглаголил манием очес:
Воздвигся Гавриил быстротекущий
И в миг единый с высоты небес,
Быстрее смертных помыслов полета,
Спарил в объемлющий Давида лес;
И лес чудесного исполнен света,
И се увидел юноша святой
Во ткань, белее снега гор, одета
Архангела господня пред собой.
Во прах простерся отрок устрашенный;
Но ангел рек: «Восстань, господь с тобой!
Им послан я к тебе, благословенный!
Да и́дешь без боязни в Гаваон!
Еще Саул восстанет сокрушенный,
Еще вождем евреев будет он;
И победит Азот, и Геф, и Газу,

И одолеет гордый Аккарон: [1]
Щадит господь благой, казнит не сразу!
Но сирого свирепый оскорбит;
Тогда, как струп, Саула, как проказу,
Саулов род каратель истребит, —
И ты воссядешь на его престоле.
Господень будет над тобою щит.
Вверяйся ж бодро благостного воле:
Твоих злодеев изнеможет гнев;
Весну твою взлелеявшее поле
Без страха променяй на дом царев!»
Умолк и как мерцание зарницы
Исчез. Давид один во мраке древ.
Но, покровенный блеском багряницы,
К покою клонится усталый день;
Отрадный вечер возвещают птицы;
С дубов огромная простерлась тень;
Душистая повеяла прохлада.
Спешит избранник под родную сень.
Кормилица возлюбленного чада
Печальная готовит одр ему;
Впоследнее златого сна услада
Сойдет к Давиду в отческом дому!
И се, прияв отца благословенье,
Отшелец уклоняется ко сну...
. . . .

III

КНИГА «АФЕСДАММИН»

При бледном свете западной Авроры
Достигнул путник высоты крутой,
К которой устремлял из дола взоры;
Цветущий луг оставил за собой,
Покинул злачные холмы и горы,
Эдем роскошный, созданный весной;
Стал и глядит с вершины безотрадной...
Лежит пред ним седая глубина,

---

[1] Филистимская пентархия состояла из следующих пяти городов: Азота, Аккарона, Аскалона, Гефа и Газы.

Подернутая мглой густой и смрадной;
Туманы подымаются со дна;
Горе́ их возвевает ветер хладный,
Но не расторгнется им пелена, —
Так я стою на жизненной вершине,
Так вижу пред собой могильный мрак;
К нему, к нему мне близиться отныне,
Пока мне не предстанет смерти зрак,
Не поглощусь в отверстой всем пучине,
Не скроюсь, как полуночный призрак.
Огромный сын безоблачной Тосканы, [1]
При жизни злобой яростных врагов
В чужбину из отечества изгнанный,
По смерти удивление веков,
Нетленных лавров ветвями венчанный
Творец неувядаемых стихов!
И ты шагнул за жизни половину,
Тяжелый полдень над тобой горел;
Когда, в земную ниспустясь средину,
Ты царство плача страшное узрел,
Рыданий, слез и скрежета долину,
Лишенный упования предел. . .
Не силою чудесной дарованья —
Злосчастием равняюсь я с тобой.
Но смолкните, бесплодные стенанья!
Да преклонюсь смиренною главой
Под быстрые, земные испытанья,
Мне данные всевышнего рукой!
Ужели милость бога позабуду?
Ужели не был в жизни счастлив я?
К отцу вселенной благодарен буду:
Он, моего создатель бытия,
Он охранял меня всегда и всюду;
И юность улыбалась и моя!
Еще младенец, пил я вдохновенье;
Умру, но, может быть, умру не весь;
Печальный, горький жребий — заточенье,
Но, счастливый дитя, пою и здесь;
Есть надо мной и ныне провиденье:
Почто же, слабый, унываю днесь?

[1] Дант.

Игрою вещих струн сын Иессеев
Не долго услаждал Саулов слух;
Не долго усмирял царя евреев
Свирепой скорбию теснимый дух:
Война! На брег ли ступит рать злодеев —
От жажды их поток мгновенно сух;
Пред ними красное подобье рая,
Но вторглись, вознесли кровавый меч, —
За ними степь простерлася глухая;
Восходит к небу средь убийств и сеч
Зловонный дым, огонь трещит, сверкая;
Прошли — замолкнула живая речь.
Как язва, как пожар, как наводненье
Или колеблющий природу трус,
Опустошал Исраиля владенье
Царь Гефа, бурный, дерзостный Анхус;
Пред грозным — страх, за ним — оцепененье!
Так некогда, любимец славы, рус,
И на тебя обрушилося море
Неистовых, бесчисленных врагов;
Земля твоя вопила: горе! горе! —
Но воскипела кровь твоих сынов,
И се летят с веселием во взоре,
Вселенна ждет; сразились — нет врагов.
Саул с утеса вострубил трубою:
На звучный глас, на дикий зов войны,
Копье хватая жилистой рукою,
Воспрянули от лона тишины,
Взвились, шумящей понеслись толпою
Исраиля могущие сыны.
Коней седлает Рувим окрыленных,
Воздвигся ярый мечебоец Дан,
Ефрем борцов сзывает дерзновенных,
Взроился шумный Галаадов стан,
Грядет Асир с пределов отдаленных,
На битву мчится Гад, как хищный вран!
Спустился Симеон с горы в долину,
Покинул челн прибрежный Завулон,
Вручили жезл начальства Веньямину;
Сошлися, притекли со всех сторон.
Иуда же всю наводнил равнину,
Всех братьев силой превосходит он. —

А юноша узрел отчизну снова.
Он вновь среди своих любезных гор,
Он вновь вступил под сень родного крова;
Вновь видит сердцу незабвенный бор,
И жадным зрением лица отцова
Роскошствует Давидов светлый взор.
Он бродит, сладостной тоской влекомый,
Лежит на нем блаженство, как недуг;
Он каждый холм приветствует знакомый,
Он каждый злачный посещает луг:
Счастливцу всё — утесы, стены, домы,
Всё, самый воздух — возвращенный друг!
Но мне не счастия писать картину,
Не радость, не смеющийся покой!
Покрытую шатрами зрю долину,
Шатры иные на горе крутой;
Зовет меня в юдоль Афесдаммину! [1]
Мечи звучат, несется бранный вой!
Из тьмы веков, из алчных уст забвенья
Мой стих вождей исторгнет имена.
Восстаньте же на голос песнопенья,
Воздвигнетесь от гробового сна,
Вы, мужи силы, князи ополченья,
Будь память ваша мощна и славна!..
...Вас в помощь я зову, певцы сражений,
Вергилий, Ариост, Боярдо, Тасс;
Отец Гомер, неистощимый гений,
Чей сладостный, высокий, чистый глас
Был чудом всех веков и поколений!
Певцы славян, или забуду вас?
Тебя, российского создатель Слова,
Великий сын полуночи седой;
Тебя, могущий, смелый бард Орлова,
Тебя, Державин, честь земли родной!
Его забуду ли, певца Петрова,
Забытого пристрастною толпой?
Бодрись, Шихматов! ждут тебя потомки;
Тебя почтит веков правдивый суд;

[1] И собираша иноплеменницы полки своя на брань и собрашася в Сокхофе Иудейском и ополчишася средь Сокхофа и средь Азека в Афесдаммине. Саул же и мужи Израилевы собрашася и ополчишася во удели Телевинфа. Книга Царств I, гл. 17, 1—2.

Преклонят внуки слух на глас твой громкий;
Увенчан будет лаврами твой труд,
А памятники ложной славы ломки,
Как созданный скудельником сосуд...
Певцы! даруйте звучность и паренье,
И мощь, и быстроту стихам моим:
И возвещу кровавое смятенье,
Твою свирепость, ярый филистим,
Евреев вопль и дивное спасенье,
От господа ниспосланное им!..
...Пусть будет прежний бой поток свирепый,
Который, воздымая звучный рев,
Наполня громким грохотом вертепы,
Кипит, валит обломки скал и древ,
Клокочет, рвет препоны и заклепы,
Летит и падает в бездонный зев, —
Но океан, до облак восходящий
Безбрежным гневом скачущих зыбей,
Трубою страшного суда гремящий,
Несытый пожиратель кораблей —
Бой новый, с воплем бешенства летящий
По грудам тел Иаковлих детей!
Вотще Халев, Йоанафан, Ванея,
Вотще мужей властитель Авенир
Зовут, бодрят бегущего еврея:
Он покидает алчной брани пир;
Бежит, но не спасется, цепенея,
От маха грозных Хамовых секир.
Свирепый гнев тогда схватил Саула;
Тяжелое колебля копие,
Он возопил в услышание гула:
«Отныне срам наследие мое!
Увы! Исраиль, мощь твоя заснула;
Но вероломство накажу твое!»
И мчится он, страшнее филистима,
Каратель грозный бледных беглецов,
И рать, неистовым вождем гонима,
Вновь хлынула на дерзостных врагов;
Но царь вонзил железо в Людиима
И гнусный труп метнул до облаков.
И вот лицо к лицу с Ионафаном
Сошелся Хус; но, преклоняя меч;

«Делами славен ты и славен саном! —
Так обратил герой к герою речь. —
Тебя давно ищу я в поле бранном,
Тебя ищу среди кровавых сеч.
Тебя ли встретил ныне... Час блаженный!
О сын Саула! Я прославлюсь днесь;
Воитель, средь евреев вознесенный!
Могущий витязь, силу Хуса взвесь:
Один из нас, железом пораженный,
Один из нас падет без жизни здесь!»
Так Хус вещал... И с быстротой чудесной,
Как ярый вихорь, сжатый между гор,
Свистящий, воющий в юдоли тесной,
Как вод, гонимых бурею, напор,
Как в ночь ненастную перун небесный,
Слепящий блеском устрашенный взор, —
Так, славы пламенной алчбой объятый,
Нагрянул, вмиг и здесь, и тут, и там,
Вращая быстрый меч рукой крылатой,
На внука Киса твой потомок, Хам!
Разит то твердый щит, то шлем косматый:
Не слабым следовать за ним очам!
Чудесная, единственная встреча
Двух равных силой, доблестных бойцов
Сзывает зрителей сблизи, сдалеча,
Влечет с противных воинства концов;
И се, холмом хребет свой обеспеча,
Приилал к земле муж славный меж стрельцов,
Князь Элисам, сражающий стрелою
В парении надоблачном орла;
Он ждет, — но не дивится праздный бою,
Нет! взором ищет Хусова чела,
И вдруг за свистнувшею тетивою
Завыла меткая его стрела!
Стрелу отвеял ветер; ниже рама,
На гибель Хусову окрылена
Неотразимым луком Элисама,
В десной сосец вонзилася она.
«Кто ты? [Гнуснее, чем грабитель храма],
Нет, не отвагой грудь твоя полна», —
Саулов сын воскликнул, раздраженный.
Но гневных слов воитель не скончал:

Глубокой язвой прежде пораженный
(Пылающий ее не ощущал),
Незапно хладным мраком покровенный,
Колеблется и возле Хуса пал;
Жестокой жаждой мщения боримы,
Вождя подъемлют с воплем на щиты,
Несут его младые филистимы
На грозные, седые высоты.
Но что? Ионафан неустрашимый!
Какой судьбою был постигнут ты?
От ярости противников безмерной
Тебя, сражаясь, отстоял Эман,
Оруженосец доблестный и верный;
Сквозь пожираемый пожаром стан
Изнес тебя, сокрыл во тьме пещерной,
Сам пал и умер от несчетных ран. . .
. . . .

ВСТРЕЧА ДАЛИДЫ И АМИНАДАВА

Воителей жестоких и надменных,
Ниспавших на Исраиль с высоты,
Не много здравых, целых и спасенных.
Далида, дева битв! едва и ты
Избегла рук евреев разъяренных
Под ризой распростертой темноты.
Аминадав, Саулов сын могущий,
Настиг тебя и, вознеся булат:
«Стой, филистим, беглец быстротекущий!
Настал твой час: погибни, сопостат!» —
Но шлем твой пал, он видит лик цветущий:
Окован, удивлением объят!
«Рази, еврей! — вещает дева брани. —
Нет, нашего стыда не преживу!
Жду смерти, как отрадной, сладкой дани;
Ее, как избавителя, зову.
Сама я под навес враждебной длани
Склоняю, радостна, свою главу!» —
Но витязь страстные подъемлет очи
К очам прелестным девы молодой;
Забыто всё: мятеж ужасной ночи,
Погибших стоны, кровожадный бой,

За братьев месть, суровый образ отчий, —
Всё, — он живет, он дышит в ней одной!
«О дева! ты свежее роз Сарона,
Кропимых чистой влагою росы,
Стройнее пальмы гордых рощ Эрмона,
Светлее звезд полуночных красы,
Твой голос соловья нежнее стона
В златые, предрассветные часы!
Сойди с коня, волшебница младая!
Царица! властвуй над моей душой;
Безбрежною любовию сгорая,
Счастливец, я невольник буду твой;
Вокруг тебя дыханье веет рая:
Пленен я, очарован я тобой!» —
Так говорит воитель исступленный;
Она ему внимает — и молчит.
Вдруг острыми бодцами окрыленный,
Содрогся конь и как перун летит:
Исчезла дева, как призрáк мгновенный;
Вослед он смотрит, он тоской убит!
И се чудесный муж, седой и строгий,
Предстал незапно юноши очам:
«Почто стоишь? почто коснеют ноги?
Почто не мчишься по ее следам?
Зовут тебя ее златые боги!
Спеши! к господним отложись врагам!
Не медли: ты Саулово рожденье,
Достойный сын отступника-отца!
Отвергнул бог всё ваше поколенье;
Не обратит вовеки к вам лица:
Его судеб услышь определенье,
Внемли глаголу гневного творца!
Бог предал в грешную твою десницу,
Надежду гордых Хамовых детей,
Евреев бич, друзей твоих убийцу;
Но ты не опустил руки твоей,
Ты пощадил рыкáющую львицу:
Бог предает тебя на жертву ей!
Холмы Гельвуи! вас ли вижу ныне?
Ответствуйте: кто витязь сей младой?
Как кедр, он высился в своей гордыне!
Но пал, пожатый женскою рукой!

Не ветер, слышу, воющий в пустыне,
Исраиля несется плач и вой!»
Умолк. Но воин томными очами,
Как ото сна испугом пробужден,
Над долом, над утесом, над шатрами
Блуждает долго, в думы погружен.
Светило дня восходит за скалами;
Он и́дет в стан уныл и возмущен.

Очищен стан от пришлецов строптивых;
Огонь чудесно сам собой потух:
Восходит глас молитв благочестивых,
Младых евреев ликовствует дух,
Гул песней их, согласных и счастливых,
Живит и напояет жадный слух.
Саул в шатре, в главах Ионафана:
Воскормленный концом копья боец
Сложил величье и суровость сана,
Сложил и шлем, и грозный свой венец,
Ему нанесена любимца рана;
Не победитель он, он весь отец.
Он только сына чувствует страданье:
Сидит во тьме над отроком своим,
Сидит; хранит тяжелое молчанье,
То страхом, то надеждою борим,
Считает каждое его дыханье,
Дрожит... услышал: дышит вместе с ним!
В противном стане ужас и смятенье:
Воздвигнуться и обратить хребет
Готово филистимов ополченье,
И под Анхусов сумрачный намет
(Обуревает их недоуменье)
Стеклися воеводы на совет.
Вдруг раздались восторженные гласы;
Не престает всё войско восклицать:
Как в летний день под быстрым ветром класы,
Так возроилась радостная рать!
Адер, царев советник сребровласый,
Вступил в шатер и начал так вещать:
«Анхус и вы, князья и воеводы!
Отриньте тяготу печальных дум.
Бывает вёдро после непогоды;

Восстаньте, проясните скорбный ум!
Грядут от Гефа новые народы...
Встречающих вы слышите ли шум?
Их вождь подобится сынам Энака, [1]
Исчадиям младой еще земли,
Которые в глухую бездну мрака,
Огромные, на вечный сон легли;
Муж грозный, страшного лица и зрака!
Две тьмы за исполином притекли».
— «Друзья! — властитель прервал речь Адера. —
Друзья, насытить поспешите взор:
Страшилищу шесть локтей с пядью мера;
Власы его — густой, заглохший бор,
Врата градские — щит, шелом — пещера,
Глас — гром, ревущий средь дрожащих гор!»
Веселием лицо вождей суровых,
Веселием их сердце процвело;
Встают, текут из-под завес шелковых,
Возносят гордо ясное чело;
Ведут беседу о сраженьях новых,
Готовят новое евреям зло.
Уже никто не помнит пораженья,
Всех упояет будущий успех;
На бога сыплют грешники хуленья,
Подъемлют рать Исраиля на смех;
Все требуют, все жаждут нападенья:
Исполнило слепое буйство всех.
Но Фуд, вперяя в Голиафа взоры,
Шепнул Анхусу: «Светлый властелин!
В чужбине без довольства, без опоры
Мы гибнем меж утесов и стремнин;
Намокли нашей кровью дол и горы, —
Да прекратит войну удар один! —
Пусть Голиаф, оружьем покровенный,
Блестящий в злате солнечных лучей,
Сойдет во стан Саулов устрашенный
И так речет: «Найдется ли еврей,
Найдется ли меж вами дерзновенный
Изведать тяготу десницы сей?

[1] Энакимляне, племя исполинов, обитавших в Палестине. О них говорится во многих местах Исторических книг Священного Писания.

Померимся! — и, если одолеет,
Покорствуя велению судьбы,
Никто противустать вам не посмеет,
И будем вам всегдашние рабы;
Но если предо мной не уцелеет,
Да будете рабами Хаму вы!»
Оставят ли наш вызов без ответа —
Мы победили: тот уж поражен,
Чья кровь огнем отваги не согрета,
Кто может быть угрозой устрашен;
Впадут ли в сети нашего навета —
Уже заране, мыслю, бой решен!»...

...Доселе я, могущие терцины![1]
На ваших звучных прилетел крылах.
Разнообразно-быстрые картины
Живописалися в моих очах:
В мечтах я почерпал цельбу кручины,
Веселье даже обретал в мечтах.
Не погасай во мне до совершенья,
Небесный, чистый пламень вдохновенья!

Пусть моего земного бытия
Оставлю некий памятник в грядущем!
Пусть оживу в потомстве дальном я,
Восстав от гроба, в образе цветущем!
Всплыви, не погружайся, песнь моя,

---

[1] Терцины — rime terze, строфа, которою Дант написал свою «Divina Comœdia»; она состоит из двух три раза крест-накрест повторенных рифм. Автор ее в своей поэме разнообразил следующим образом: во 1-х, он иногда начинал строфу с женского, иногда же с мужского стиха; во 2-х, в той строфе, по которой образовывал прочие, употреблял инда два только женских стиха одинакового окончания, третий же рифмовал с первым женским следующей строфы (см. начало 1-й Книги и многие места 2-й). Сие последнее переплетение рифм труднее первых двух; но имеет то преимущество, что рассказ не распадается на лирические куплеты. Терцинами написаны существующие доселе три книги Давида (кроме эпизода: *Руфь* в четырехстопных ямбах в 1-й книге, эпизода, оканчивающего вторую книгу, и двух лирических Эпилогов); но, быть может, автор употребит впоследствии и другие сочетания. Где рассказ переходит от одного рода терцин к другому, иногда снова выбрасывается женский стих, а иногда прибавляется еще четвертый мужеский.

В потоке том, без устали текущем,
Которого огромный, вечный шум
Глотает отзыв дел, и слов, и дум.

Тогда, сойдя к брегам реки молчанья,
К тебе приближусь робко, дивный Тасс!
Услышу мудрые твои вещанья,
Услышу твой сладчайший меда глас.
На тех брегах, исполнен трепетанья,
Поэты всех веков, увижу вас,
Сыны разноязычных поколений,
Но всех вас обессмертил тот же Гений!

На локоть опершись, среди цветов,
Не угрожаемых зимою хладной,
Гомер, священный праотец певцов,
Улыбкой озаряяся отрадной,
На сладость Ариостовых стихов
Склоняет слух внимательный и жадный;
Близ них стоит величествен, один,
Прославивший Каялу славянин.[1]

Но Дант и Байрон, чада грозной славы,
Под сумрачным навесом древ густых
Обители безмолвия — дубравы
Беседуют о горестях земных;
Мечтою шествуют вослед отравы,
Отравы, изливающей в живых
Весь холод тления, весь ужас гроба;
Главу склоняют, — умолкают оба.

Среди роскошных вас узрю равнин,
Вас, чистые и сходные светила,
Софокл, Вергилий, Еврипид, Расин!
Но близ Аристофана, близ Эсхила
Предстанет мне чудесный исполин:
Тебе подобен он, певец Ахилла!
Едва ли не достиг той высоты,
Которой обладал единый ты.[2]

---

[1] Творец «Слова о полку Игореве».
[2] Нужно ли сказать, что здесь говорится о Шекспире?

Подъемля взор с поэта на поэта,
Влекомый душу высказать мою,
Сиянием их сладостного света
И взор и душу жадно упою.
Но Тасса тень, в тончайший блеск одета,
Меня усмотрит нового в раю;
Ко мне направит шаг свой бестелесный.
«Кто ты?» — речет с улыбкою небесной.

Уведает и кроткою рукой
Введет, введет меня в их круг священный,
Их окружусь блаженною толпой,
Восторгом непостижным упоенной,
И о певцах земли моей родной,
О вас, певцы отчизны незабвенной,
Услыша их приветливый вопрос, —
И там, и между ними буду росс! —

О Грибоедове скажу Мольеру,
И Байрону о Пушкине реку;
Поэт, воспевший в провиденье веру,
Воспевший сердца страстного тоску,
Жуковский! к барду, твоему примеру,
Любимцу твоему,[1] я притеку
И назову тебя... и тень святая
Былые звуки вспомнит среди рая.

IV

КНИГА «УПОВАНИЯ»

Златое лето быстро протекло;
Провеяло над желтыми лесами
Холодной, влажной осени крыло;
Покрылась твердь густыми облаками;
Гусей станицу к югу повлекло:
С ружьем охотник бродит над холмами.
Дряхлеет мраком покровенный год:

[1] К Шиллеру.

Борей, исторгшись из глухой пещеры,
Браздит прозрачную равнину вод;
Пал на поля туман тяжелый, серый,
Зимы жестокой недалек приход:
Но близок день Любви, Надежды, Веры.

Святые сестры, дивная семья!
Небесная Премудрость вас родила:
Вас, чистые, вас призываю я!
Пусть надо мной почиет ваша сила,
Пусть озарится вами жизнь моя!
Вы будете души моей светила:
Когда неизреченная тоска
На стонущее сердце мне наляжет,
Когда иссякнет слез моих река,
Когда болезнь мое дыханье свяжет, —
Надежда! кроткая твоя рука
Мне вдруг безоблачную даль укажет.
И вслед за нею тихая Любовь:
Уже спокоился мятеж сердечный,
Спокоилась неистовая кровь;
В ее ногах я сплю, дитя беспечный;
Всех тех, кого любил я, вижу вновь,
Мне возвратил их всех отец мой вечный.
Явилась Вера радостным очам,
Уста раскрыла вестница господня, —
Склоняю слух к ее златым устам.
Нет! создан я не только для сегó дня;
Подъемлю взоры смело к небесам;
Редеет тьма, замолкла преисподня.
С таинственной, надзвездной высоты,
Где созерцаешь образ всеблагого,
По их следам да притечешь и ты,
София! в область сумрака земного;
И пусть мои все мысли, все мечты
Проникнет ток сияния святого!
Возьму псалтирь я, вдохновен тобой,
Тобой единою руководимый;
Над тлением, и скорбию, и тьмой,
Как лебедь, блеском солнечным златимый,
Так воспарю и глас воздвигну мой,
В безбрежном море радости носимый.

Несозданным сияет светом ключ,
Которым ангелов поишь небесных.
Из-за печальных и ненастных туч,
В глухую ночь пределов мира тесных
Простри ко мне хотя последний луч,
Последний луч твоих лучей чудесных:
Да обличу кичливых слепоту,
Да мощь поведаю души смиренной;
Да воспою достойно битву ту,
В которой пал, Давидом пораженный,
Пал и покрыл всю поля широту
Живого бога хульник дерзновенный!

Но прежде успокою слух и взор:
Исчезни блеск и звон войны кровавой,
И ты сокройся, витязей собор,
Воспитанных и воспоенных славой!
Взошел я на вершину злачных гор,
Вступил в беседу с шепчущей дубравой;
Брожу вослед сребристого ручья,
Журчащего средь камышей шумливых;
В твоей тени возлягу, древ семья,
Приют прохла́дный пастырей счастливых! —
Светает день. . . Кого же вижу я?
Кто юный пестун оных стад игривых?
Он на скале высокой воссидит,
Ее же вожделенными лучами
Воскресшее светило дня златит;
Дыханье утра тешится власами,
Глава подъята, лик его горит,
И по струна́м он бегает перстами:

«Благослови, душа моя! [1]
Воспой создателя вселенной;
Владыку мира славлю я:
Велик, велик неизреченный!

В сиянье славы бог одет;
Воздушною повитый бездной,

[1] См. Псалом 103.

Как в ризу, облаченный в свет,
Он рек безмерной тверди звездной —

И се раскинулась в шатер!
Грядет: из выспренних селений
На крыльях ветра ход простер,
И тучи — ног его ступени,

Рабы его — полки духов;
Его слуга — крылатый пламень:
Велит — и на лице лугов
Струит потоки твердый камень;

Велит — и, восстонав, назад
Стремятся трепетные воды;
Велит — и вздрогнет бледный ад,
И двигнутся столпы природы!

О боже! Землю создал ты,
И не разрушится твердыня;
И ты ж послал от высоты
Шумящий дождь — и пьет пустыня:

Онагры ждали в тяжкий день,
Послышали — бегут с утеса;
Примчался пес, притек елень,
Волк жаждой привлечен из леса, —

Всех утоляет щедрый бог.
На крутизне ж витают птицы,
Смеется вихрям их чертог;
Средь скал поют восход денницы.

Господь траву дает стадам.
Он землю всю питает с неба;
Растит вино на радость нам,
Растит златые класы хлеба;

Пшеница сердце подкрепит,
Багрец блестящий лозной влаги,
Сверкая, взоры веселит,
В душах возжжет огонь отваги.

Не ты ли, боже! насадил,
Вспоил дождем, питал туманом,
Грел теплотой благих светил,
Воздвигнул кедры над Ливаном?

Их ветви клонятся от гнезд:
В них шум и свист и щекот слышен;
Но дом орла в соседстве звезд
Над всех жилищами возвышен.

Обитель серны высота;
Под камнем дремлет заяц скорый;
Не жизнь ли полнит все места,
Поля, холмы, долины, горы?

Всем основал всевышний грань,
Связует всё предел священный,
И не воздвигнутся на брань,
Не истребят красы вселенной.

Быть мерою времен луну
Творец повесил средь эфира;
Возводит солнце в вышину,
Не солнце ли зеница мира?

Оно познало свой восток,
Познало бега и покоя
Положенный из века срок
И в час свой гасит пламень зноя.

Господь подернет небо тьмой:
Тогда наступит время нощи
И звери выступят толпой
Из тишины дремучей рощи.

Но что? подобный грому рев!
Свирепым ошиба размахом
Разит бока крутые лев:
Все кроются, объяты страхом.

Встает обильной гривы влас,
Горящий взгляд во тьме сверкает;

Он к господу подъемлет глас:
Его утробу глад терзает.

Проснется вновь веселый день,
И сонм отступит кровожадный;
Подастся вспять в лесную тень,
Возляжет в темноте прохладной.

С одра воздвигся человек
И бодро, радостно и смело
На деланье свое потек,
До вечера исшел на дело.

Сколь всё велико, боже Сил,
Всё сотворенное тобою.
Ты всё премудро совершил
Могущей, щедрою рукою.

Созданий тьма за родом род
Здесь, на лице пространной суши;
Но и в обширном поле вод
Живут бесчисленные души.

Сонм кораблей в волнах бежит;
В сиянии полудня блещет
Ругающийся морю кит
И столп воды до облак мещет.

Всех ты хранишь, властитель всех,
Все от тебя приемлют дани:
Отваги, здравья, яств, утех
Твои их исполняют длани.

От них ты отвратишь ли лик —
Они трепещут, жертвы страха,
Незапный трепет их проник;
Речешь — исчезли, нет и праха...

Пошлешь ли духа твоего?
Он распрострет над бездной крилы,
Под дивным веяньем его
Вселенна встанет из могилы.

К хребтам ли прикоснешься гор —
И воздымились во мгновенье!
На мир ли бросишь гневный взор —
Колеблет мир твое воззренье!

Возвеселится о делах
Своей десницы благ податель:
Он славится во всех веках,
Да хвалится вовек создатель!

Пока не пала жизнь моя,
Пока дышу и существую,
Пою господню милость я,
Горé подъемлю песнь святую!

О, да преклонит кроткий слух
Всевышний на мой глас смиренный!
В груди моей взыграет дух,
Святым восторгом упоенный!

А вы исчезните с земли,
Толпы хулителей строптивых!
Чтобы, как не были, прошли
Дела и память нечестивых!

Благослови, душа моя!
Благослови творца вселенной!
Владыку мира славлю я:
Велик, велик неизреченный!»

Так пел Давид всевышнего дела,
Так возносил к благому глас хвалений;
Так жизнь Давида, как ручей светла,
Текущий вдаль из-под древесной сени,
В драгой отчизне, мирная, текла
Средь сладостных о стаде попечений.
Но катится свирепый гром войны:
Уже под ним стонает Иудея;
В Сокхофе варвары ополчены,
В юдоли Телевинфа рать еврея.
Исшли на брань из лона тишины
Старейшие три сына Иессея.

Однажды (созданный Воозом кров
Был озарен вечерними лучами;
В огне златых и чермных облаков
Светило дня тонуло за горами)
Давид с покрытых сумраком лугов
За стадом шел нескорыми шагами,
И ждал Давида во вратах отец:
«Заутра в путь отыдешь без медленья;
Рабыням же предашь своих овец.
В сию годину скорбей и смятенья
Могу ли знать, что мне послал творец?
О чадах сердце жаждет извещенья!
В долину Телевинфа потеки:
Там узришь стан евреев укрепленный;
Там братья примут от твоей руки
Дар, среди нужд военных вожделенный!
Хлеб... десять их, и вретище муки,
И весть подашь им с родины священной»...
...Но что? не стая ль вольных лебедей
Воссела там под черными скалами?
Не снег ли вдруг от солнечных лучей
С вершин отторгся, пал и над долами
Раскинул скатерть белизны своей?
Или жена прилежными руками
Блестящий холст простерла по лугам?
Евреев стан, врагами утесненный,
Вдали предстал Давидовым очам:
Шаги удвоил путник ободренный,
Достигнул рати, стал и по шатрам
Душою долго бродит изумленной.
Потом он ношу стражу поручил,
А сам, о братьях всюду вопрошая,
В могущий полк Иуды поспешил;
С улыбкою вослед ему взирая,
Склоняются на копья мужи сил.
Обрел же вскоре юноша Самая.[1]
Притек и доблестный Аминадав,
И Асаил явился без медленья,
И с ним Авесса, в длань иную сдав
О ратниках подручных попеченья;

[1] Сын Иессея, а не Саула.

Коснеет лишь суровый Элиав:
Он на противном крае ополченья.
И братьев обнял пастырь молодой
И вопросил о здравьи, о печали,
О радости их жизни боевой;
С весельем братья брата извещали
И речь простерли о стране родной, —
Но вдруг их крики дикие прервали!
С утеса, мнится, двигнулся утес:
С горы ступает Голиаф надменный;
Грядет, главу вздымает до небес,
Поно́жами голени покровенны;
Пять тысяч сикль его кольчуги вес,
В железо весь одет, но не стягченный.
Широкий щит висит с его плеча,
Огромный меч опоясует бедра;
Он стал, в броне блистая и звуча,
И, водрузив копье в земные недра,
Подобное орудию ткача,
Потряс пернатый шлем, как ветви кедра.
Младой оруженосец с ним притек,
И сам боец, противникам опасный;
Но Голиаф уста разверз и рек
(Смущает души глас его ужасный!):
«Меж вами есть ли смелый человек,
Найдется ли меж вами витязь красный,
Который бы померился со мной?
Почто исшли вы? мне вы возвестите!
Почто восстали шумною толпой?
Сражаться с филистимами хотите. . .
Не филистим ли вас зовет на бой?
Зову и жду вас и готов к защите:
К вам исхожу четыредесять дней,
И в день двукраты. . . исходить доколе?
Что медлите? Пусть доблестный еврей,
Боец, избранный по всеобщей воле,
Испытанный средь вражеских мечей,
Меня единый встретит в ратном поле!
И буде в битве превозможет он,
Пред вами мы преклонимся главами,
Признаем вашу власть и ваш закон,
И будем вам безмолвными рабами!

Но ваш ли витязь понесет урон —
Да властвуем, евреи, мы над вами!»
Умолк. Никто ему не отвечал;
Он покивал строптивою главою,
Подвигся вспять, но возопил со скал:
«Уничижен Исраиль в день сей мною!»
Но на чудовище Давид взирал
И воскипел могущею душою...
...«Врагу ли нет противника меж вами?» —
Отважный отрок робостным мужам
Вещал нетерпеливыми устами.
«Маное пал, Халев и Фагаил;
С последней битвы тягостная рана, —
Ответствует Давиду Асаил, —
Повергнула на одр Ионафана;
Привесть же к войску толпы новых сил
Царь возложил на храброго Масмана».

Давид

Но вождь Иуды здесь и, слышу, здрав!

Асаил

Хулы бесстрашный брат мой недостоин;
Саулова глагола ждет Иоав,
Готов, но в крепости своей спокоен.
Владычное ж вещание прияв,
Без трепета изыдет смелый воин.
В объятьях нежных сладостной рабы,
Из области Анхуса увлеченной,
Не помнит славы, позабыл борьбы
Авиезер, когда-то дерзновенный;
Сын Нира[1] не избегнул бы судьбы,
Но цел, отказом царским сохраненный;
В Гавае защищает дом царев
Могущий витязь, доблестный Ванея;
Другие ж, на ужасного воззрев,
Отходят все, дрожа и цепенея;
Но сам его ты слышал грозный рев,
Но сам ты видел страшный зрак злодея!»

---

[1] Сын Нира — Авенир.

— «Что сотворите мужу, — рек пришлец, —
Который варвара убить успеет?
И кто сей необрезанный боец,
Что поносить наш полк священный смеет?
Господь противник дерзостных сердец:
Пред богом ли надменный уцелеет?»...
...С весельем внял Саул его словам,
«Стыдом не будем более теснимы! —
Вещал. — Пусть смелый муж предстанет нам!»
Желаньем зреть бесстрашного томимы,
Все ожидают мощного борца....
Какое ж их объяло изумленье,
Когда узрели образ пришлеца:
Склоненный взор, и кротость, и стыденье,
Румянец сладостный его лица
И нежных, шелковых власов волненье!
Но пребывают в мраке слепоты:
Из памяти вождей и властелина
Господь изгладил юноши черты.

Давид

О Царь! не ужасайся исполина!
К нему твой раб изыдет...

Саул

Детищ ты,
Избрала же не детища чужбина!

Давид

Когда твой раб овец отцовских пас,
Медведица на стадо нападала;
Во тьме ночной подъемля грозный глас,
Лев прядал чрез ограды и забрала,
Но бог тогда был мой покров и спас,
В груди моей душа не унывала!
Вставал я, к зверю поспешал на брань,
Добычу исторгал ему из зева...
Противится? простру без страха длань,
Не убоюся яростного рева,
Давлю его, тесню его гортань
И череп сокрушу о корень древа.
Притек безумец из среды врагов,
На полк живого бога рек хуленье:

Но тот, который от свирепых львов
Не раз являл мне дивное спасенье,
Предаст мне гордость Хамовых сынов;
С Исраиля сниму я поношенье.
Стяжал твой раб медведицу и льва:
Строптивый будет, как от них единый!
Не он ли буйные подъял слова
На бога, пестуна моей судьбины?
В защите господа моя глава:
Погибнет нечестивый сын чужбины!

Еврейские безмолвные князья
К устам его склоняются главою;
Умолк и ждет. «Отважна речь твоя! —
Саул промолвил. — Но господь с тобою!
Иди! смиренный, преклоняюсь я
Пред волею всевышнего святою».
И повелел рабам, и принесли
Меч, медный шлем и медную кольчугу,
И юношу в оружье облекли. . .
. . .И не вступал Давид с князьями в речь:
Безмолвствуя, цветущий ратоборец
Съял бремя меди с необыкших плеч,
Блях хитростную связь, цепей и колец;
Вручил рабам и шлем, и щит, и меч
И снова пастырский взложил тоболец;
В него пять гладких камней погрузил,
Избранных им со тщаньем у потока,
И се почиет, полн надежд и сил;
И в тихом сердце не страшится рока.
Еще же мирный блеск ночных светил
Не померкал пред пламенем востока,
Не процвели зарей вершины скал,
Когда с одра, бестрепетный душою,
Боец для битвы роковой восстал
И господа усердною мольбою,
Молитвой сердца чистого взыскал;
Снабдил же пращу новой тетивою. . .

. . .Один, в темнице, узник безнадежный,
Воздвигся я и начал песнь сию,
Усладу сердца в горести безбрежной;

О радость! ныне оживлен пою:
Давида я поведал упованья,
И что ж? мои смягчилися страданья!

Кто скажет, где те струны мне обресть,
Которые б восторг мой прозвучали?
Ко мне ль домчалась от родимых весть?
Меж нами не пространство темной дали?
С Днепра их гласы долетят ко мне;
Летите, гласы! жду вас на Двине!

Бывало, с ужасом несутся думы
В суровую и мразную страну,
Несутся в край изгнания угрюмый.
«В пустыне буду вянуть и засну;
Исчезну, как мгновенный блеск зарницы,
Никто не посетит моей гробницы!» —

Так я вещал в убийственной тоске,
Вещал; но царь ко мне приник с престола:
Царево сердце в божией руке —
Уж тает от владычного глагола
Седая мгла моих печальных туч:
Сияет из-за них надежды луч!

Сияй, не погасай, о луч прекрасный!
Меня для жизни новой воззови,
Для жизни тихой, сладостной и ясной,
Для новой жизни мира и любви!
С младенчества я окружен был мраком;
Но счастья не хочу назвать призра́ком.

Пусть отлетит губитель сердца — страх!
Желаю верить в счастие земное:
Или оно не в радостных трудах,
В восторгах чистых, в дружбе и покое?
Есть счастье... рано ль? поздно ли? оно
И мне, быть может, будет же дано!

Не так ли после полудневной бури
Небес вечерних улыбнется свод?
Смеется лик безоблачной лазури,

Трепещет и блестит равнина вод,
Цветы подъемлются в юдоли злачной,
Сверкает на древах жемчу́г прозрачный?

Но ты, о боже! слабого прости:
Сколь часто я под бременем страданья,
Не постигая твоего пути,
И унывал, и воздвигал стенанья,
И, трепетен, в тебе искал отца!
И ты, отец! ты миловал слепца!

Да помню же под игом испытаний,
Когда пошлешь и новые борьбы,
Да не забуду всех твоих даяний!
Благ, вечно благ закон твоей Судьбы.
О! просвети мои слепые вежды
Любви сияньем, Веры и Надежды!

V

КНИГА «ГОЛИАФ»

Сыны земли прикованы к мгновенью,
Для смертных темен и грядущий час;
Но ангелов таинственному зренью
Является сокрытое для нас:
Они свидетели времен рожденью,
Веков-младенцев слышат слабый глас;
Сидят, приемлют их из колыбели,
Качают и над спящими поют.
Событья под рукой духов созрели,
Судеб святую нить они прядут;
Всевышний возглаголил — полетели,
Вселенной, что предвидели, несут!
Спадет ли с человека в зев могилы
От праха взятый, временный покров? —
Тогда дремавшие проснутся силы,
Растает мгла тяжелых облаков,
Душа расширит радужные крилы
Над бездной лет, над ночию миров.

И пленники глухих пещер геенны[1]
Предвидят образ будущей судьбы,
Но образ их паденьем искаженный;
Вотще их знанье! буйные рабы
Подъемлют брань на промысл неизменный,
На грозный рок безумныя борьбы.

Есть в аде беспредельная пучина:
Стоит над нею недвижимый мрак,
Клокочут там огонь, смола и тина;
Туда повергся дерзостный Энак,
Туда поверглось племя исполина,
С лугов нечестия пожатый злак.
Пред шумным Голиафовым паденьем
Был слышен долгий, долгий, дикий вой
Над безобразным яростным волненьем,
Над пламенным лицом пучины той:
«Восплачь, тягчимый скорбью и мученьем
Энак! погибнет внук последний твой».
И се из бездн пылающего мрака
Воздвиглась богоборная глава
Огромного, ужасного Энака.
«До звезд вздымались мощные древа;
Но бытия их не найдут и знака,
Их след поглотит жадная трава;
Над кедром сверженным восстали трости,
Главой кивая, легкие, звучат.

---

[1] «Слово *Геенна* изъясняют так: близ города Иерусалима есть долина, названная по имени первого ее владельца *долиною Еннона* (См. Книгу Иис. Нав., гл. 15, ст. 8); в оной сначала иевуссеи,* а потом и идолопоклонствовавшие из евреев поклонялись Молоху и в честь его сожигали детей; благочестивые цари, особенно Иосия, желая последних отвратить от этого ужасного суеверия и самое место сделать гнусным, приказали кидать туда всякую мертвечину и падаль; но чтобы смрад не заражал воздуха, непрестанно там держали огонь, которым сожигали оные; мало-помалу сия долина соделалась для всех отвратительною: на языке греков из *долины Еннон* она изменилась в *Геенну* и в переносном смысле означает ад. См.: «О вере и нравственности христианина», Соч. Отца Малова, стр. 72, и «Рассуждения о молитвах за умерших», стр. 28.

---

* Иевуссеи — племя Хамова поколения, обитавшее в Иерусалиме. При Иисусе Навине царем их был Адонивезек. Прочие шесть племен, обретенные евреями в Палестине, следующие: хеттеи, аморреи, гергесеи, хананеи, ферезеи, евеи.

Моих потомков крепостные кости
В глубоких, темных пропастях лежат.
Приидет час: из стран далеких гости, [1]
Которых бледный воспитал Закат,
Изроют их; и что ж? полны сомненья,
Сраженные страшливой слепотой,
Бессильные, ничтожные творенья
На остовы воздвигнут взор тупой,
Пройдут и не признают поколенья
Сынов великих матери младой! [2]
Гонитель чад моих, ты, рок свирепый,
Тебе ли покорюсь без бою я:
Не полночь ли? отдвигнуты заклепы;
Над миром, ад! простерлась тьма твоя;
Душа покинет страшные вертепы,
Изыдет из геенны тень моя».
Воспрянул — и пучина воскипела:
О дно уперщись, подняли чело
Все узники плачевного предела;
Страшилище к исходу потекло, —
От стоп его геенна зазвенела,
Вослед завыло адово жерло.
Лежал, обремененный сном свинцовым,
Энака правнук, грозный филистим
(Он был румянцем покровен багровым,
Зловещим был видением томим);
С челом, объятым тьмой, с лицом суровым,
Исшлец из гроба, предок стал над ним.
«Дрожи, — вещал, — потомок злополучный!
Погибелен тебе грядущий день.
Заутра битв раздастся голос звучный...
О сын мой! душу в глухоту одень
Или падешь, подобно жертве тучной,
Падешь — и в ад твоя низыдет тень»...
...«Отец! — вещает Голиаф печальный. —
Знай, не изыду я до утра в бой;
Поныне слышу голос погребальный,
Которому я внял во тьме ночной:

---

[1] Эти гости из стран далеких (фраза не закончена). — *Ред.*

[2] Здесь говорится о так называемых *мамонтовых костях,* о которых некогда предполагалось, что они остовы великанов.

"Тебя не увидим!" [illegible]

[illegible] Анакреон,

[illegible]

Державин [illegible]

[illegible]

Энак (не я ль его потомок дальний?)
Предстал мне, проклял день сей роковой».
— «О нас ли, смертных, в небе лучезарном,
О нас ли кто радеет в царстве тьмы? —[1]
Фуд молвил по молчании коварном. —
Мой сын! творцы судьбины нашей — мы!
Что пользы в идоле неблагодарном?
Кого спасли дубравы, капища, холмы?
Мечтанья, сны, предчувствия ничтожны:
Творцы их — чрево, кровь, сердечный жар.
Полночный призрак, суетный и ложный, —
Души отягощенной дым и пар.
Грядущего предвестья невозможны.
Не счастлив ли последний твой удар?
А ты тогда не презрел ли виденья?
И в час благий: погибнул Галаад!
Какие ныне поздние сомненья
Тебя, бойца бесстрашного, страшат?
Тебе ли, сильный, ведать опасенья?
Верь, ты и днесь прославишь свой булат!
К тому же Хус восстал с одра недуга;
Он всем твоим завидует делам;
Отказ твой будет гордому услуга,
Он полетит к исраильским шатрам...
Внемли словам заботливого друга:
Стяжи вернейшую победу сам!
И вот и Галаад, тобой убитый,
Сам пал за вольность родины своей,
Не вверил темному своей защиты
(Я мню: ты не забыл его речей):
Врагов избранник муж не знаменитый,
Боец, не искушенный средь мечей».
И се, вещаньем старца распаленный,
По-прежнему мечтами обуян,
По-прежнему свирепый и надменный,
Течет к шатрам Саула великан.
Иди на гибель, хульник дерзновенный!

---

[1] Что философия 18-го столетия в устах Давидова современника не есть анахронизм в нравах, тому может служить доказательством Псалом 13 и многие места в Экклесиасте и Премудрости Соломоновой, где подобные лжеумствования выставлены для опровержения.

Насытится твоею плотью вран!
С крутых холмов, с утесов возвышенных,
Глаголам хитрым Фудовым внемля,
Воздвиглись сонмы сил иноплеменных;
Под их стопами вздрогнула земля:
Но близок час могиле обреченных;
Их примет гроб, пожрет и червь, и тля.
Сидели по склонению забрала
Ряды еврейских доблестных вождей.
Вся рать единоборства ожидала;
Легло молчанье на уста мужей,
И каждая тяжеле грудь дышала,
И каждый был боязни полн еврей.
Со скал спустились филистимы тьмами,
Сошли с утесов шумные бойцы,
Полмесяцем восстали над холмами.
По их следам явились пришлецы
С обремененными сребром руками —
На куплю пленных тирские купцы;
Рекли: «На кораблях быстротекущих
В страну чужую, в землю Хеттиим,[1]
Прелестных дев и юношей цветущих,
Мы их в Египет, в Ливию умчим;
Рабами будут эллинов могущих,
Арабам, эламитам[2] продадим».
Но посмеялся бог их помышленью:
Кровавая постигнет их корысть;
Строптивые прострутся в жертву тленью.
«В сей день нечестью длань свою изгрызть,
В сей день погибнуть злобе и киченью:
Их ад поглотит!» — рек господь, — и бысть!
С надеждой твердой, с верою горящей,
С безоблачным, сияющим челом,
С душою чистой, над землей парящей,
Приосеняем божиим крылом,
Грядет Давид, вооруженный пращей,
Вооруженный пастырским жезлом.
На отрока взирает воин каждый.
«Взгляните! — мужи говорят мужам. —

---

[1] Земля Хеттиим — страна Запада — Европа.
[2] Эламиты — персы.

Боец, как он, является однажды;
Красы подобной не видать векам!»
Полны все очи одинакой жажды,
Он дорог всем исраильским сердцам.
Но царь вещал: «Евреев предводитель!
Поведай мне, кто юноши отец?»
Сын Ниров отвечал: «Живи, властитель!
Но нет! не знаю, кем рожден боец».
Сокрыл от них Давида вседержитель:
Не познан был в воителе певец.
А Голиаф, вздымаясь как бойница,
С презреньем на противника воззрел:
«Кто ты? — он рек, — дитя или девица?
От матери ли ты бежать успел?
Но не лозу несет моя десница:
Птенец безумный! дерзок ты и смел.
Ты не надейся от меня пощады,
Нет! вкусишь жало моего копья!
Не ты ли защищаешь ваши грады?
Бойца евреев пощажу ли я?
Под странничьей ногою гибнут гады:
Тебя ли не попрет нога моя?
Но как в душе не ощущать смущенья?
Не смертная ли надо мной гроза?
Так, мнится, я погибнул без спасенья!
Очам ли верить? Ад и небеса!
Его оружье — палица, каменья!
Ужели ты исшел противу пса?»
— «Нет! ты и пса презреннее и злее!» —
Ответствует язычнику Давид.
Немая ярость вспыхнула в злодее,
Лицо чернеет, дикий взор горит:
Столь гибельно в питомце блата, змее,
Подъявшемся на ошиб, яд шипит.
«Чтоб пали на тебя, — вопил, — все кары!
Чтоб ты в мученьях медленных издох!
Да устремит в тебя Дагон удары!
Да сокрушит ничтожного Молох
В объятьях рдяных, пламенный и ярый! [1]

---

[1] Медный истукан Молоха разжигался, и жертва (часто человеческая, преимущественно младенцы) клалась живая в его страшные объятия.

Гряди: услышу твой стенящий вздох!
Прикрыт не будешь погребеньем честным:
Так, если мой булатный меч не туп,
По темным дебрям, по степям безвестным
Разброшу твой лишенный вида труп;
Зверям земным и птицам поднебесным
На снедь извергнешься, одетый в струп!
В песках пустыни грозной и плачевной,
В жилище гладных львов и смрадных змей,
Тебя рассыплет в пепел луч полдневный:
Не соберут друзья твоих костей.
Тебя ли от моей десницы гневной
Укроет бог Иаковлих детей?»
Ответ же был воителя младого:
«В железо ты и медь закован весь,
Ты щит несешь, висит с бедра крутого
Блестящий меч; без них стою я здесь;
Но знай: стою во имя пресвятого,
Которого уничижил ты днесь!
Хранит всевышний наше ополченье:
Он ныне руку укрепит мою,
Тебя предаст мне в смерть и посрамленье;
Тебя, иноплеменник! убию,
Волкам и вранам брошу на съеденье,
Сниму строптивую главу твою!
Внемли: степным гиенам пир устрою,
Орлы пресытятся от ваших тел:
Падут! твои друзья падут с тобою!
Дрожите, варвары, ваш час приспел!»
И мир речет, испуганный молвою:
«Не от мечей спасенье, не от стрел.
Но всемогущ евреев защититель,
Иаков, преткновенье гордых ног,
В Иуде есть владыка и спаситель,
Покров Исраиля господь и бог!
Их бог велик: он злобных сокрушитель!
И кто ему противустать возмог?»
Исчадье вод, и вихрей, и тумана, [1]

[1] Здесь описывается известное морское явление — смерч (trombe); есть и земные смерчи, состоящие из подъятых вихрем праха, камней, деревьев, соломы и пр.

Сгущенный в воздухе кипящий ключ,
Несется столп над бездной океана;
Главой касается громовых туч;
Над ним тяжелым мраком твердь заткана.
Средь тьмы суровой умер дневный луч.
Грядет, шагает, страшный и высокий,
Перунов, ужаса и смерти полн;
Падет, изрыгнет шумные потоки
В отверстый зев ревущих, ярых волн:
Молися, мореходец одинокий!
Дрожи, дрожи: погибнет утлый челн!
Ему подобен, шумный и огромной,
Для зрения гора, не человек,
Повит грозой, сверкающей и темной,
К бойцу младому Голиаф потек:
Объял сердца евреев трепет томной,
Их лица в бледность мертвую облек.
Спешит Давид к неистовому внуку
Энаковых огромных, шумных чад;
За камнем опустил в тоболец руку,
Взвил пращу и, подавшися назад,
Метнул... Свистящему внимают звуку;
Дол застонал, стенанью вторит ад:
Пал Голиаф! Прах помрачил равнину.
Могущей, быстрой окрылен рукой,
Под шлем вонзился камень исполину.
Но укрепился витязь молодой:
Метнул, еще, — и молвил: «Не покину!»
И враг лежит недвижный и немой.
Тогда Давид, исполнен силы новой,
К нему стремится жизнь его пресечь:
Уж не восстанет исполин суровой!
С его бедра Давид отторгнул меч,
Занесся над главой его багровой,
Взмахнул и отделил главу от плеч.
В тот миг земля почула содроганье,
Издал глухие гласы мира свод,
Послышалось как бури завыванье,
Как жалоба пустынных, диких вод:
О сыне то Энаково рыданье;
Стонает исполинов древний род.
Побед Давида славное начало

На громоносных, радостных крилах
В страны, в века, в языки прозвучало;
Живет из рода в род во всех устах;
И не оно ль тогда пред ним сияло,
Когда воспел он на златых струнах:
«Злодея зрел я; яко кедр Ливана,
Он, гордый, воздвигался до небес,
Челом разрезывал валы тумана
И осенял и холм, и дол, и лес,
И руки простирал до океана;
Но мимо я протек, и се — исчез!» [1]
Враги же, сражены борца паденьем,
Не верят долго собственным очам,
Взирают, скованы оцепененьем,
Но вдруг возникли вопли по холмам:
Все свеялися, будто дуновеньем,
Все вверилися трепетным ногам.
Слух, душу оглушал побег мятежный
Дрожащих, бледных Хамовых сынов;
Подобилось равнине вод безбрежной,
Где вал ударит о хребет валов,
Взревет и распадется пылью снежной,
Смятенье их испуганных полков.
Исчезло всякое меж них различье,
Все ужасом одним увлечены;
Не так ли нападение лисичье
Услышится средь темной тишины —
Воскрикнет, вострепещет стадо птичье
И разлетится врознь во все страны?
Потряс Исраиль шумные знамена,
Иуда грозную хоругвь развил;
Вослед врагам вопили все колена,
Весь сонм еврейских браноносных сил.
Летят: коней их покрывает пена;
Прах от копыт сиянье дня затмил.
Мечи, свистя, исторглись из влагалищ,
В хребет бегущих тучи стрел визжат,
Раздался копий стук и звон чингалищ,
Теснину полнит рокотом булат.
Проснулись враны средь своих виталищ,

[1] См. Псалом 36. Стих. 35, 36.

Взвилися, небо крыльями мрачат.
Здесь всадников убитых топчут кони,
Там с мертвыми живой повергся ниц:
Бесстрашный гибнет в тщетной обороне
От ослепленных ужасом убийц;
Повсюду брошены щиты и брони,
Повсюду груды сбруй и колесниц.
Как в веяньи падут из плевел зерны,
Как крупный град падет от облаков,
Так падают враги в поток подгорный;
Не в холм ли обратился каждый ров?
От крови их поля и долы черны,
Одето трупами лицо лугов.
Саул зовет, зовет по колесницу,
Нетерпеливый в быструю воссесть,
Нагнать бегущих бледную станицу,
Разлить кровавую меж ними месть.
Давид же рек, прияв главу в десницу:
«Царю да будет торжество и честь!»
Идет; увидел очи властелина —
И в прах повергся, и глагол подъял:
«Будь счастлива вовек твоя судьбина!
Чтобы подобно каждый враг твой пал!
И се, я обезглавил исполина».
— «Чей сын ты, юноша?» — Саул вещал.

Давид

Твой раб последний в чадах Иессея.

Тогда незапно слепоты покров
Упал с очей венчанного еврея;
Он молвил: «Сладостных певец стихов!
Не ты ли, звуками небес владея,
Сражал смущающих меня духов?»
Но в оный час с Давидовой душою
Душа царева сына сопряглась;
Любовью чистой, твердой, роковою
Их души сочетались в оный час. . .
[В] . . . . ! Не любовью ли такою
Связали наши ангелы и нас?
Увы, мой брат! навеки ли разлука?
Или́ уж не узрю твоих очей?

Уж не услышу сладостного звука
Мне снами вторимых твоих речей?
Почто не одному мне скорбь и мука?
Почто участник ты судьбы моей?
Без друга сиро сердце во вселенной,
Без друга мир одеян хладной тьмой;
Не дорог дар, никем не разделенный;
Не в дружбе ли блаженство и покой?
И что сравнится с радостью священной
Души любимцу жертвовать собой? . . .
. . . .

VI

КНИГА «НАВЕТОВ»

Пронесся испытания и плена
Суровый, памятный для сердца год.
Пред господом я преклоню колена:
Пред ним, как ток ревущих, многих вод,
Как листвия, падущие с дубравы,
Проходит век за веком, род и род;
Пред ним язы́ки, лета и державы
Бегут, как прах от путниковых ног,
На них взирает из жилища славы
Объятый неприступным светом бог!
Но промысла, судеб его священных
Постичь никто из смертных не возмог:
Не слушает желаний дерзновенных,
Слепым не внемлет благостный мольбам;
На голос вздохов тихих и смиренных
Он в самом зле готовит благо нам:
Не сбудутся надежды и мечтанья,
Но радость дастся страждущим сердцам.

Боязни полн, исполнен ожиданья,
Тебя, год новый! вижу пред собой:
Скажи, мои свершатся ль упованья?
Созреет ли растущий подвиг мой,
Мой труд, который мыслями лелею,
Который грею любящей душой?

Разгадывать грядущее не смею:
Со скал срывает кедры и дубы,
Сорвет, быть может, и мою лилею
Полет всесокрушающей судьбы!
Быть может, скоро я в гробнице жадной
До воскрешающей засну трубы;
И вновь наступит год; но ветер хладный
Промчится бурный над моим холмом;
С креста воскрикнет ворон плотоядный,
Слетит; восстанет снег густым столпом,
Взыграет, шумен, и мою могилу
Завеет белым, воющим крылом.
Что будет — будет: но доколе силу,
Доколе жизнь дарует мне творец
И взор подъемлю к днéвному светилу,
Да буду благости его певец!
Бессмертен боле самого поэта
Рукой поэта сорванный венец!

Была пустыня сумраком одета,
Саул дремал в кругу мужей своих;
А ненавистник истины и света,
Внимателен, и молчалив, и тих,
Как ястреб, плаватель страны воздушной,
С громовой тучи взор простер на них,
Простер и с высоты спустился душной;
Повел рукой, и призрак стад возник,
И следует за ним, ему послушный.
И человеческий приемлет лик,
Оделся в образ Сирина лукавый.
Явился старец в демоне — Доик,
Доик, жилец бессолнечной дубравы,
Суровый мсков Сауловых пастух,
Муж, для кого и скорбь, и смерть забавы:
Для гласа жалобы и нем, и глух,
Пролитье крови зверский Сирин любит,
В груди его бесчеловечный дух.
Исшлец из ада в рог пастуший трубит,
Равнину оглашает дикий гул...
Не пробуждайся! он тебя погубит:
Спи крепким сном, несчастливый Саул!
Но зов в седой степи завыл трикраты;

Саул чело подъемлет и вздохнул;
Воспрянул, хладным ужасом объятый:
«Кто ты? почто тревожишь сон царев?
Ответствуй, скрылись ли где супостаты?
Ужели мало их карал мой гнев!»
— «Доика ли не познаешь, властитель? —
Вещал, на жертву скорбную воззрев,
Убийца душ, коварный искуситель. —
Опасны. . . нет! не чуждые враги,
Но некто, хлеба твоего делитель,
Сопровождающий твои шаги:
Его могущим превозносят всюду,
От рук его главу твою береги!
И я ль его помазанье забуду?
Помазан втайне дерзостным жрецом,
Уже он обольстить успел Иуду,
Он уловил отеческий твой дом;
Колеблются Рахилины колена...
Мне молвить ли? с возвышенным челом
Восстанет вскоре явная измена, —
Или я не слыхал: «Не царь, нет, он
Исраиль спас от пагубы и плена».
Властитель, стадо соберу в загон;
Я пастырь: предлагать советы мне ли?
Безмолвье мне положенный закон».
Умолк. Саула члены цепенели,
Рука, дрожа, хваталась за кинжал,
Ланиты мрачным багрецом горели,
Огнем перуна грозный взор сверкал.
Но занялось мерцание рассвета —
Лукавый из очей его пропал.
Заутра глас веселого привета,
И струн бряцанье, и кимвалов звон;
Юдоль пред градом тканями одета,
Народ стекается со всех сторон:
В руках их веют ветви древ душистых,
Воителей встречает Гаваон.
На крыльях ветра, мощных и гласистых,
Летит безбрежный, благозвучный крик,
И с гор цветущих и долин лесистых
Дух песней громкий, радостный возник;
Под сению небес златых и ясных

Предстал очам Саула стройный лик;
На песнь еврейских дщерей сладкогласных
Властитель чад Иаковлих приник.

«Лес и горы, торжествуйте!
Смейтесь, долы и холмы!
Села и града, ликуйте!
Мощь Саула славим мы:
Мощь царя, владыки сила
Тысячи врагов сразила,
А рука Давида тьмы!» —

Так сонм воспел и жен и дев прекрасных,
Скакал и громко ударял в тимпан;
Им вторил звучный строй цевниц согласных.
Меж тем унылый, тягостный туман
Подернул взоры правнука Рахили;
Он в дом вступает, гневом обуян.
«Какою славой отрока почтили! —
Воскликнул, в думы скорби погружен. —
Мне тысячи, ему же тьмы дарили:
Он гордость всех исраильских знамен;
Недостает счастливцу только мало,
И был бы он на царство вознесен!»
Вдруг исступленье на царя напало,
В чертоге начал, дикий, прорицать,
Его наитье духа колебало;
Взываньям охраняющая рать
Вняла: рекли Давиду без медленья,
Давид спешит цельбу ему подать.
Но всуе глас святого вдохновенья
Воздвигся со златых, могущих струн:
Не ныне им уступит Дух Затменья!
Изгна́нный из Саула много лун,
Скитался много лун в глухой пустыне,
Но прилетел быстрее, чем перун
И семерых привел с собою ныне;
Узрели: наметен и убран дом,
И в дом вступили в радостной гордыне. [1]
Сидел страдалец с яростным челом,

[1] См. Евангелие от св. Матфея, гл. 12, ст. 43 до 46.

Копье вращала гневная десница,
В нем добрый ангел спал глубоким сном.
Звучит псалтирь, небесная певица,
В тяжелой, полной страха тишине.
Но вдруг вскочил безумный кровопийца,
Вопил: «Давида поражу к стене!» —
И копие метнул в певца младого,
Но уклонился юноша к стране.
Повергся после покушенья злого
На ложе обессиленный злодей.
Был скорбен образ витязя святого,
Печален взор божественных очей:
Он сетовал о недуге царевом,
Он сетовал о немощи своей. . .
. . .Огонь издали темные домы́.
Близ твердокаменных палат Саула
Воитель мчался под завесой тьмы.
Чья ж сладостная песнь тогда вздохнула
Нежнее, чем вздохнул бы соловей,
Чем под зефиром арфа бы шепнула?
Сокрыт наметом сумрачных ветвей,
Близ твердокаменных палат Саула
Давид остановил своих мужей.

«С девой, мучимой любовию,
С дщерью грозного царя,
С безутешною Меровию,
Померкай, темней, заря!

Я вняла из уст властителя:
«Соблюди мои слова:
Будешь даром победителя:
Свята мне твоя глава.

Тот получит дщерь любимую,
Кто Исраиль защитит,
Кто спасет страну родимую,
Кто злодея поразит!»

Я узрела победителя,
Я воспела в сонме дев

Гор отчизны избавителя;
Но возник в Сауле гнев.

Он мне молвил, негодующий:
«Дщерь, Давид нам изменил;
Ясен будь твой взор тоскующий,
Знай, жених твой Адриил».

С той поры тоска мятежная
День и ночь кипит во мне,
Борет скорбь меня безбрежная,
Я рыдаю в самом сне.

С безутешною Меровию,
С дщерью грозного царя,
С девой, мучимой любовию,
Померкай, темней, заря!»

Она умолкла и, подобно тени,
Подобно легким, предрассветным снам,
Толпе ночных, таинственных видений,
Сокрылася. Но кто ж иная там
Сошла с вершины сумрачной бойницы,
В раздумье ходит по седым стенам?
Подобно играм и лучам зарницы,
Лиющимся по тверди голубой,
Струя огня вослед ее десницы
Стремится по псалтири золотой;
Подъялся голос сладостной певицы,
Напитанный любовью и тоской:

«Мрачный, дикий, одинокий,
Мой властительный отец
Скорбью был гнетóм жестокой;
Но младой и светлоокой
Вдруг предстал ему певец.

Был нежнее отрок юный
Нежных дев моей страны;
Грянул в радостные струны —
Сладкозвучные перуны
С каждой вспыхнули струны.

С ним на крылиях денницы
Божий ангел возлетел,
Духа тьмы с его десницы
Одождил огонь зарницы,
Звучный дождь блестящих стрел.

Голос мощный, вдохновенный
Исцелил владыку сил;
Но в груди моей смущенной,
Дивной песнью пораженной,
Страстный пламень воспалил.

Был лучом зари отрадной
Блеск пришельцовых очей;
Я пила душою жадной,
Будто мед росы прохладной,
Милый звук его речей.

В брань грядет Саул-властитель;
От врагов исшел боец,
Муж, бесстрашных устрашитель;
Но явился избавитель, —
Кто ж? Смиренный мой певец!

У родимого предела
Мы встречали ратный строй...
Снова я его узрела...
Как дрожала я и млела!
Что сбылось с моей душой!

Ах! и ныне в поле брани
С верной ратью он летит:
К небу я воздвигну длани;
Принесу в святыню дани:
Будь над ним господень щит!»

«Слова любви, слова моей Мельхолы! —
Давид воскликнул. — Я ль забуду вас?
Вас, сладкие и нежные глаголы,
Отныне буду слышать в вещий час,
Когда душа в объятьях усыпленья
Господних чад небесный ловит глас».
Но Асаил исполнен огорченья:

«Ужель, Давид, и ты познал любовь?
Друг, бойся, трепещи ее прельщенья,
Бороться с нею сердце уготовь:
Увы! любовь лукавый обольститель,
Любовь и мощных проливала кровь!»
— «Вверяюсь богу, — отвечал воитель, —
Устроит в благо он судьбу мою:
Не он ли был и есть мой защититель?
Ему свои все чувства предаю!
Господь меня на путь наставит правый:
Господню я десницу воспою!»
Давид потек на поле битв и славы.
Мельхола же в отеческом дому
Отстала от трудов и от забавы;
Стремится думою вослед ему.
Сомкнет ли очи? в пыл и гром сраженья
Летит на помощь к другу своему.
Забыты все девичьи наслажденья:
Не снится ей подруг веселый смех,
В мечтаньях замер гул их песнопенья,
Растаял призрак резвых их утех;
Но слышит вой и видит с содроганьем
Давидов окровавленный доспех.
Томится дева скорбным ожиданьем;
На каждый слух, на каждую молву
Склоняется со страхом и вниманьем.
«Спаситель боже! Я тебя зову:
Прими глагол молитв моих смиренных!
Хранитель, сохрани его главу!»
Из весей и градов иноплеменных
Меж тем за вестию приходит весть:
«Он ободрил евреев утесненных,
Он вновь влиял в ослабших гнев и месть».
И, наконец: «Ему под Аккароном
Судилось славой меч свой превознесть,
Врагов кровавым поразить уроном
И самому побить двухсот мужей;
Он землю чуждую наполнил стоном
И всю усеял грудами костей».
Гонцы из войска притекли в Гаваю
И подтверждают истину вестей.
«Мельхолу я с Давидом сопрягаю, —

Сказал Саул, — исполню мой обет:
Он зять мой! Да приидет! — я вещаю».
Давиду царский возвещен привет.
Летит обратно радостный воитель
Стяжать награду браней и побед...
Привел к невесте жениха властитель...
...Шипя, шумело пенное вино.
Казалось, все веселие делили;
Всех сердце радостью оживлено;
Но было сумрачно чело Саула,
И гневом и тоской помрачено:
В нем ненависть к Давиду не уснула,
Нет! к витязю всеобщая любовь
Сильнее в нем свирепый пламень вздула, —
На очи свисла яростная бровь,
Таятся замыслы в груди жестокой,
Бунтует в напряженных жилах кровь.
Вдруг шум возникнул в храмине высокой;
С главы до ног бронею покровен,
В чертог вступает витязь светлоокой,
Молвой о браке друга привлечен.
Притек герой из радостного стана,
От торжествующих, родных знамен;
Сияет тихий взор Ионафана,
Своих любезных к сердцу он прижал.
Но вопль «Увы!» сменяет клич «Осанна!».
За ним трепещущий гонец предстал.
«Саул, Анхусом рать твоя разбита,
Погибло много храбрых!» — он вещал.
Другой гонец: «В сетях Аскалонита
В глухую ночь пленен Аминадав,
Твой храбрый сын, Исраиля защита».
Был третий вестник бледен и кровав:
«Я зрел, — он рек, — сожженье Вефсамиса!»
Тогда с трапезы, ризы разодрав,
Воспрянул горестный потомок Киса,
И раздался в златом чертоге вой,
И все незапно с шумом поднялися...
...Давид приял евреев ополченье
Из Авенировых ослабших рук.
Сошлися вскоре, — страшное виденье!
Мечи сверкают, вопль, и крик, и стук,

Ярится над потоком Ксуров битва,
И стонет ненасытной смерти лук,
Но господом услышалась молитва
Покрытых пеплом божиих жрецов.
Враги погибли, началась ловитва
Гонимых грозным ангелом полков;
Притек Давид, увенчан славой новой:
И что ж? Ему готовят новый ков:
Терзаем жалом зависти суровой,
В Саула шепотом вливает яд
Сын Ниров, Авенир высокобровый, —
Злодею с смехом рукоплещет ад.
Смирися, ад! Над праведной главою
Щиты хранителей, господних чад.
И се однажды позднею порою
В слезах Давида встретила жена;
Ужасной вестью, вестью роковою
Ее душа, как язвой, сражена:
Саулом жизнь Давида мраку гроба,
Ножу губителей обречена.
«Не долго мы блаженствовали оба,
Не долго упояла нас любовь!
Беги, сокройся! Совершилась злоба:
Излить стремятся праведную кровь;
Готовит грозный царь тебе могилу...
Увы! Всё мне поведала Меровь!
Не ты ль избил иноплеменных силу?
И ныне не услышится твой глас!
Ты предан в длань злодею Адриилу...
Беги, Давид! Спасайся! Близок час!
Когда же вознесешься над врагами,
Тогда да не помянешь в гневе нас!»
Давид безмолвный смутными очами,
Казалось, небо вопросить хотел,
Но черными, свинцовыми крылами
Всё небо безотрадный мрак одел,
И лишь гроза из края в край летала,
Сверканьем огненных, крылатых стрел
Ночную бездну с треском освещала,
Рокоча, прерывала немоту,
Срывала тьму густого покрывала
И колебала дол и высоту.

Потухнет блеск кровавый и мгновенный —
Всё снова погружалось в темноту.
«Супруг, на час со мною сопряженный,
Властитель, жизнь души моей, прости!
Прости: покинутой, уединенной,
Мельхоле без Давида не цвести!
Но да не у́зришься убийц очами:
Уже спешат по темному пути!»
Рекла, и вдруг сверкнули меж древами
Перуны блещущих средь ночи лат,
Смутилось ухо звучными шагами:
Идут убийцы; их мечи стучат!
Оставлен путь к потоку, путь опасный,
Но к граду дом злодеями объят.
В глухую тьму полуночи ненастной
Из черных уст высокого окна
Рукой дрожащей, в горести безгласной,
Любви, страданий, ужаса полна,
Того, кто самой жизни ей дороже,
Вниз свесила по поясу она.
И се из риз Давидовых на ложе
Она Давидов создала призра́к;
Недужный, мнилось, на звериной коже
Простерт; кругом его печальный мрак;
Едва мерцает тусклая лампада,
Как бы унылый, гаснущий маяк, —
Далекий вождь, последняя отрада
В свирепом мраке, в роковой глуши
Для тонущей в немую бездну ада,
Боримой смертью, страждущей души!
Мельхола ждет: обманчив вид ложницы. . .
Но вдруг раздался шум в немой тиши! —
Уже вошли в преддверие убийцы.
Мельхола к ним навстречу потекла,
Претя, к устам прижала перст десницы
И так с подъятьем скорбного чела:
«Друзья и братья, тишину храните,
Давид недугом одержим! — рекла. —
Цареву волю мне вы возвестите,
Ее заутра мужу возвещу».
Саул же повелел: «Ее щадите,
Предайте мужа не при ней мечу;

Я в сердце положил сгубить злодея,
Но окровавить дома не хочу».
Вступает Адриил, недоумея,
В Давидов тьмой одеянный чертог
И зрит больного сына Иессея;
Сразил убийцу слепотою бог:
Он, мрачным взором храмину измеря,
Рукой одра коснуться не возмог;
Идет, очам обманутым поверя,
И, что видал, Саулу возвестил.
Но тот с неистовством лесного зверя:
«Сюда его несите! — возопил. —
Нет! не избегнет он моей десницы».
И вновь спешит к Давиду Адриил,
Но страх и гнев исполнил грудь убийцы,
Когда, весь изумленьем обуян,
При блеске возникающей денницы
Святой познал Мельхолы он обман.
Из уст его уведал без медленья
Побег Давида трепетный тиран.
Давид же. . . обрету ли выраженья
Для чувств, с какими шумный Гаваон,
Любовь и славу, блеск и наслажденья,
Минувшие, как быстрый, смутный сон,
Всё, что ему грядущее сулило,
Чего надеялся, — покинул он?
Всё, что ему когда-то было мило,
С чем разлучил его прощальный час,
В нем вдруг воспоминанье воскресило:
Ему отраден был свирепый глас,
Отрадны бури грозные глаголы.
«Иду, — воскликнул, — покидаю вас,
Вас, Веньяминовы холмы и долы!
Простите, рощи, шумные древа,
Тенистый вертоград моей Мельхолы!
Мельхола, скорбная моя вдова!
Вчера вливал в твой слух отзыв болтливый,
Давида песнь, любви моей слова;
А ныне я изгнанник несчастливый!
Далеко от очей друзей моих
Увижу чуждые луга и нивы,
Скитаться буду средь степей глухих».

Умолк; древа перуном озарило,
Ударом вихря всколебало их.
И что в душе его происходило,
Когда с холма озрелся он назад,
Когда ночное, бледное светило
Ему в последний раз явило град,
Где и восторг изведал и страданья,
Град, где обрел эдем и вместе ад!
Суров и горек черствый хлеб изгнанья;
Наводит скорбь чужой страны река,
Душа рыдает от ее журчанья,
И брег уныл, и влага не сладка;
В изгнаннике безмолвном и печальном
Туземцу непостижная тоска.
Он там оставил сердце, в крае дальном,
Там для него всё живо, всё цветет;
А здесь — не всё ли в крове погребальном,
Не всё ли вянет здесь, не всё ли мрет?
Суров и горек черствый хлеб изгнанья,
Изгнанник иго тяжкое несет!

Не так ли я?.. но прочь воспоминанья!
Почто невозвратимого искать?
Или мне не осталися мечтанья?
Вновь воздухом живым могу дышать,
Вновь отдана моим очам Природа,
Вновь солнце может на меня сиять!
На землю вновь с лазоревого свода
Сошла, очарования полна,
Вселенной роскошь, юношество года —
Могущая, прекрасная весна:
Воскреснул мир, любовь свою встречая;
Душа моя, еще раз молодая,
Как будто чем былым упоена,
И, в миг один все раны забывая,
В объятья к ней бросается она!

Красна, велика божия вселенна...
Увы! единый я несовершен:
Под тяжким я ярмом земного плена;
Расторгну ли когда поносный плен?

Я рвуся из оков страстей и тлена,
Но мною властвуют и прах и тлен;
Что человек? слиянье тьмы и света,
Высоких мыслей и преступных дел:
Любовью к благу грудь моя согрета,
А грех и заблужденья мой удел;
Проходят дни мои, проходят лета,
Мой влас под зноем бедствий поседел...
И что же? тот же я! тружуся годы —
И разрушает день мои труды;
Дыханье быстрой, ярой непогоды
Срывает с древа все мои плоды,
И рвут оплот неистовые воды,
И гаснет свет спасительной звезды!
Души моей, волнуемой и страстной,
Подобье — бледный житель тьмы глухой,
Вовеки безутешный и злосчастный,
Катящий камень на утес крутой:
Не победит Сизиф судьбы всевластной;
Верх близок — ялся за него рукой, —
Вдруг камень вниз из-под руки рокочет,
Сизиф глядит изнеможенный вслед,
Паденью бездна вторит, ад хохочет;
Но он, — он выше и трудов, и бед;
Нет, он покинуть подвига не хочет.
«Сорву же, — говорит, — венец побед!»
Да будет мне в пример и подкрепленье!
Как он, стократы обновлю борьбу:
Я пал, — но ненавистно мне паденье!
К тебе подъемлю, господи, мольбу:
Будь ты моя защита и спасенье;
Благий, приникни к твоему рабу!
О боже! велики твои даянья:
Ты в душу мне влиял священный жар,
Ты удостоил твоего избранья
Мой немощный и нецветущий дар,
Да возвещу руки твоей деянья,
Смиренные тобой раздор и свар,
По бедствии евреев благоденство
И твой святый и непостижный суд.
Но мне ль стяжать и славу и блаженство,
Когда нечистый буду я сосуд?

Сердец нечистых чуждо совершенство...
Погибнет мой противный богу труд!
Спаситель мой, прими мои моленья:
Что без тебя я? преклонись ко мне!
Утишь, смири души моей волненья!
Речешь — и вмиг уляжутся оне:
Изыду из купели возрожденья,
Оставлю скорбь и грех на темном дне
И в слух веков воздвигну песнопенья.

VII

КНИГА «ПРОРОКОВ»

...Померкло солнце; в землю положен
Пророк великий, древний сын Эльканы;
Усталый мир в дремоту погружен;
Кругом холма расстлалися туманы;
Но некто, на холме уединен,
Сидит и взор вперяет в мрак пространный.
И се Саулов сын Ионафан, —
Он отгонял злодеев алчных стаю,
Он грани охранял еврейских стран, —
Обратно с ратью мимо тек в Гаваю
И стал, и молвил: «Здесь раскину стан».
И к древнему подходит гаю.
Событий горестных не знает он,
Не знает друга бедственной судьбины;
Спешит обнять Давида в Гаваон;
И видит мужа, полного кручины,
На гробовом холме и слышит стон,
И, быстрый, отделился от дружины.

Ионафан

Кто ты, рыдающий над гробом сим?
Вещай: кого прияла здесь могила?

Давид

Кто я? — Еврей, и скорбен и гоним,
И здесь земля сокрыла Самуила.

Знакомый глас; но нет, ушам своим
Не верит витязь; весть его сразила.
«Итак, — он возопил, — почил пророк,
Муж, горем и летами утружденный!
Был дому моего отца жесток
Его глагол, ужасный и священный,
Но мир ему! Не может же поток
Не воскипеть, водами пресыщенный;
Освободите пламень от оков,
Ему ли не пожрать сухого древа?
Достигнув пышных зрелости годов,
Ужель любви не пожелает дева?
Не может умолчать господних слов
Избранный господом вещатель гнева.
Почту твой прах, пророк, евреев честь!
Благословлю твое воспоминанье:
Чужда души моей вражда и месть.
Мир! Ты исполнил грозное призванье;
И будет имя Самуила цвесть
И в даль веков прострет благоуханье».
Но юноша лицо разоблачил
И пал к ногам испуганного брата.
«Давид я! — он рыдая возгласил. —
И смерть сия мне горькая утрата:
Покров, хранитель мой был Самуил;
Отныне тьмой моя вся жизнь объята.
И в чем я винен пред твоим отцом?
Моей души он ищет». — «Царь жестокий!
Я о тебе скорблю, скорблю о нем! —
Так рек Ионафан голубоокий. —
Но ныне же к нему, к отцу, идем:
Суров, но благ Саул к тебе высокий.
Идем: велик ли подвиг или мал,
Не я ль участник всех его советов?
И я сего бы умысла не знал?
Так страшен плод наушничьих наветов!»
Но тот цареву сыну отвечал:
«Князь, благодать средь всех твоих клевретов
Обрел пред взорами твоими я;
И знает царь и сам в себе глаголит:
«Будь тайною для сына мысль моя;
Узнав, Ионафан меня умолит».

Но жив господь, жива душа твоя:
Идти меня мой брат да не неволит!
До смерти возросла ко мне вражда,
Исполнился до смерти гнев Саула».
Умолк Давид. Ионафан тогда
(Под тяжким гнетом грудь его вздохнула)
Вещал: «Твой брат я, друг везде, всегда.
О! Дабы так меня беда минула,
Как буду от беды тебя хранить!
Готов я сердца твоего желанье,
Готов твое веленье сотворить, —
Ужель в земле твое всё упованье?
Ужели он лишь мог тебя любить?
Нет, с мертвым сим вступлю я в состязанье!»
И был Давидов витязю ответ:
«Пусть не мала моих страданий мера:
Но я тобой воздвигнут и согрет.
Любви *твоей* подобной нет примера:
Не ты ль в господень ввел меня завет?
К тебе моя не оскудеет вера.
И вот о чем молю: царю рекут,
Что я с тобой, и будет ждать властитель,
И в новолунье всех нас созовут
На трапезу в Саулову обитель.
Все при́дут, пусть один не буду тут,
Но скроюсь в поле; узрит повелитель,
Вопросит: «Где Давид?» — ты ж отвечай:
«В Эфрафе ныне пир и приношенье;
В Эфрафу мной отпущен», — и внимай,
Саул во благо ль примет извещенье?
Или, как чаша, полная чрез край,
Прольет незапно ярость и хуленье?
Усмотришь, он ли злобою объят?
Или ж я в ложный страх вдался, поспешен?
Но, если я, властитель мой и брат,
Но если раб твой пред тобою грешен,
Пусть здесь паду, рукой твоей пожат;
Здесь буду в смерти смертию утешен!»
— «Господь свидетель, — говорит герой, —
Заутра испытаю властелина:
Услышишь всё и сохранишься мной;
Твоя, я знаю, высока судьбина;

Как был с Саулом, ныне бог с тобой,
И заступил Иуда Веньямина. . .
. . .И се тебе я знаменье даю:
По нем узнаешь помыслы Саула
И от крамол спасешь главу свою;
Мне знаменье любовь к тебе вдохнула:
Тебя во рву за градом утаю;
По ястве ж три стрелы возьму из тула,
Изыду, напрягу трикраты лук,
Пущу их, отрока пошлю за ними;
Когда услышишь их свистящий звук,
Сопровождаемый словами сими:
«Здесь стрелы, здесь!» — бог вместо всех порук:
Останься в граде с братьями своими.
Когда же возглашу: «Там стрелы, там!» —
Тогда тебя всевышний отсылает,
Тогда страшись предстать твоим врагам».
Умолк и друга к персям прижимает,
И волю дал исхлынувшим слезам,
Ему Давид слезами ж отвечает.
Потом рука в руке с холма сошли
И, грустные, приближились к дружине.
Безмолвье было на лице земли,
Был мрак безгласный в дремлющей долине;
Но звезды неизменные текли
В небесной, необъемлемой пучине. . .
. . .Несется бурею к мете незримой
В начале поприща могущий конь,
Дым из ноздрей, из-под копыт огонь,
И путь, ногами звонкими разимый,
Стонает, и бодцем его не тронь;
И все гласят: «Он вихрь неукротимый!»
Но срок его крылатой силы мал;
На полдороге пылкий конь устал.
Как он, или же как пловец отважный,
Что, прянув в лоно шумных вод морских,
Вперед стремится по равнине влажной
И зыби делит взмахом рук своих,
И брег уже приветствует очами,
Но, утомленный, поглощен волнами, —
Так начал свой тяжелый подвиг я,
Надежды полн, исполнен дерзновенья;

И вот, в средине моего теченья
Больная устает душа моя,
И оскудел источник вдохновенья!
Ты ль от меня, светило всех светил,
Лицо свое, мой боже! отвратил?
Когда впервые мне в стенах темницы
Давид, любимец господа, предстал
И голос пробудил моей цевницы, —
Сколь много с той поры я испытал!
Чудесным блеском неземной денницы
В тот час померкший дух мой просиял...
Забыть могу ль блаженное мгновенье?
Восторженный с одра воспрянул я
И скорбь, и страх забыл, и заточенье,
И жадно обняла душа моя
Блеснувшее пред нею вдруг виденье!
Давно, казалось, глас свой притая,
В груди моей святые звуки спали;
Проснулися, наполнили уста
И с сердца свеяли туман печали:
Воскреснули умершие лета,
Из гроба чада древних дней восстали,
Оделась в тело легкая мечта.
Твоя разлука с другом, сын Саула!
Сверкнула первая моим очам:
Не как пустой призрáк она мелькнула;
Нет: мнилось, вас обоих вижу сам,
И ваша речь устам моим шепнула,
И сострадал я страждущим друзьям!
Трикраты с той поры лицо земное
И блекло и цвело; судилось мне
Петь ныне их прощание святое!
Обрел ли я в душевной глубине
Жар прежний, умиление былое
И дал ли жизнь ослабнувшей струне?

И се вступает в первый день луны
Ионафан в отцовскую обитель.
К трапéзе приступил Саул властитель
И с ним князья и храбрые сыны.
Спустился грозный, мрачный повелитель,
Безмолвный, на престол свой близ стены;

Махмасского героя упреждая,
Воссел при властелине Авенир.
Невесела трапеза их немая,
Но каждый гость средь многолюдства сир.
Вещает царь, притекших озирая:
«Не прибыл Иессея сын на пир».
Смолчал в то время: «Ради очищенья, [1]
Быть может, ныне не притек, — шепнул, —
Заутра жду его!» — и пламень мщенья
В очах царя свирепого сверкнул.
Сошлись заутра, — полный нетерпенья,
Давида ищет взорами Саул:
Что ж? Место праздно! С гнева цепенея,
Но сердце обуздав, он сыну рек:
«С тобою зрели сына Иессея;
Почто же на трапе́зу не притек?»
От оных слов, как от дыханья змея,
Ланит царева сына цвет поблек.
«В Эфрафе ныне пир и приношенье, —
Вещал он, оживив остаток сил, —
И предо мной Давид поверг моленье,
И я его в Эфрафу отпустил».
— «Не сын ты мой, ты блудницы рожденье! —
Так яростный властитель возопил. —
Ему сообщник ты — ужель не знаю?
Не обмануть очей Саула вам;
Да ведаешь, и я тебе вещаю:
Ты мне, и матери своей ты срам!
Не верю: не покинул он Гаваю,
Но в день сей мертв падет к твоим стопам!
Доколе будет жив Давид, дотоле
Не думай, что допущен будешь ты
Воссесть спокойно на моем престоле,
И ты ж, мой сын, в оковах слепоты,

[1] Оскверниться у древних евреев можно было от прикосновения к чему-нибудь нечистому, от вкушения запрещенных яств, от сообщения с иноплеменниками, от пролития крови и проч. Осквернившийся более или менее времени должен был воздержаться от общей трапезы, смотря по тому, каково было осквернение, должен был исправлять более или менее строгие очистительные обряды и только по окончании их мог уже участвовать в общественных трудах и удовольствиях. См. Книгу Левит.

Безумец, о его печешься доле?!
Нет! Не достигнет же своей меты!
Он ныне раб могилы безнадежной,
Теперь же да велишь его привлечь!
Настал конец злодею неизбежный;
Днесь умертвит предателя мой меч!»
— «За что умрет? — так, горестный и нежный,
Ионафан прервал отцову речь. —
Что сотворил?» Но, над собой без власти,
Копье метнул неистовый в него;
Вскочил Ионафан, избег напасти,
Но во второй день месяца сего
Не ел, не пил и сетовал о части,
О скорбной части друга своего.
И ждет Давид, за градом утаенный.
Находит вечер, стал гореть закат;
Ионафан, печалью утесненный,
Безмолвный, с отроком исшел из врат,
Звенящим луком, тулом воруженный.
Он лук напряг и упразднил трикрат.
И отрок за стрелами устремился.
«Там стрелы», — князь вослед ему воззвал.
Когда ж подъял их — чтобы возвратился
В Гаваю, властелин рабу вещал,
И се с оружьем отрок удалился.
Исшел Давид и ниц пред князем пал,
Ионафан простер к нему объятья
И возрыдал, и, другу повторя
Любви обеты, верности заклятья,
Изгнанника лобзает сын царя.
Скорбели долго и расстались братья,
И тьмой пожралась бледная заря.

VIII

КНИГА «ПРИШЕЛЬСТВИЯ»

Суровый, но и нежный воспитатель,
Отец всевышний, милосердый бог,
Души хранитель, сердца испытатель,
Очей светило, вождь ослабших ног —

Нет, он не гневный мститель, не каратель,
Он благ и нам во благо, если строг.
Властитель! и печаль твое даянье;
Надежды полн, вверяюся судьбе:
Хвала тебе! Ты мне послал страданье,
Да вновь меня усыновишь себе;
Меня воспомнишь, — я твое созданье,
И мне ли днесь отчаяться в тебе?
Как часто я тонул в бездонном море,
Не обретал спасения нигде;
Звезды искал в померкнувшем обзоре;
Но мрак глубокий распростерт везде;
Ты ж зрел меня и рек: «Исчезни, горе!»
И: «Воссияй!» — велел моей звезде.
И ныне так, я твердо уповаю!
И ныне я из бездны бед и зол
К тебе, благому, не вотще взываю;
Ты преклоняешь слух на мой глагол,
Ты скорбью душу приближаешь к раю;
Рассадник неба слез и скорби дол,
О близкий! внял ты моему стенанью:
Едва вздохнул я, трепетен, уныл, —
И ты уже благотворящей дланью
И сенью миротворных, дивных крыл
Покрыл меня и воспятил терзанью, —
И зной моих тяжелых дум остыл.
Проходят дни: Саул Давида ищет,
За ним из града в град, из веси в весь,
Как гладный волк за быстрой ланью, рыщет.
«Нет, не спасусь, когда пребуду здесь:
За мною смерть, как вихрь пустынный, свищет;
В страну чужую удалюся днесь!» —
Так наконец изгнанник утомленный
В своем промолвил сердце и потек
В край, солнцем неродимым освещенный,
Росимый влагой неродимых рек,
В ту землю, где Аминадав плененный
Отчизну, мнилось, позабыл навек.
У ног Далиды юный сын Саула
Не помнит бога праотцев своих;
Средь игр и нег душа его заснула,
И, жизни уподобясь стран чужих,

Вся жизнь героя в роскоши тонула,
И сердца глас в груди его затих.
Пришельцам всем Анхусов дом высокой
Незагражденный, радостный приют:
Из всех земель, из близкой, из далекой,
К нему послы и странники текут;
Верблюды, кони кроют путь широкий,
С утра до ночи гости в Геф идут.
Когда же песнопевец вдохновенный
Приступит, лиры властелин, к вратам,
Покинет царь престол свой возвышенный,
Восстав, спешит к нему навстречу сам:
«Благословен приход твой, муж священный!
Мы жаждем внять твоим златым устам...»
Так говорит и собственной рукою
Ковры и ризы стелет для певца
И нудит утомленного к покою;
И се главу и ноги пришлеца
Омоет дева светлою водою,
Младая дщерь носителя венца.
И гостем был Анхуса честь Эллады,
Седой Гомер, божественный певец,
Который проходил вселенной грады;
Но не обрел пристанища слепец,
От рока в жизни не обрел пощады
Грядущих бардов дивный образец.
Был пир в дому Анхуса, и внимали
Медоточивым старцевым устам;
И пел он, как Патрокл и Гектор пали
И как, склонясь к Ахилловым ногам
И в беспредельной возрыдав печали,
Молил о теле Гектора Приам.
Он пел, — и не было очей бесслезных:
Влиялась жалость в перси нежных жен,
Объяла горесть души дев любезных,
Тоскою пылкий юноша пленен,
И воздохнула грудь мужей железных,
И хладный старец скорбью поражен.
И все еще ловили глас небесный.
Но звук замолкнул ионийских струн,
Иной раздался сладостный, чудесный,
И некто входит, и могущ, и юн;

Одеян в рубище пришлец безвестный,
Но в повелительных очах — перун.
«Воссядь! Кто ты, не вопрошаю, странник, —
Ему Анхус вещает, — гостем будь.
Дагон свидетель, может здесь изгнанник,
Здесь жертва рока может отдохнуть;
Анхус богов странноприимных данник:
В приют надежный ввел тебя твой путь.
Тебя златые струны возвестили
Любимцем неба, радостным певцом;
Но не желаю тягостных усилий:
Ты истощен и зноем и трудом,
И глад и жажда сил тебя лишили;
Благоуханным укрепись вином.
Когда ж от яств, прохлады и покоя
В воскресшем сердце дух твой оживет,
Тогда, на бурный лад псалтирь настроя
Или ж устами проливая мед,
Прославь, сын песней, чад мечей и боя,
Прославь их грозный над землей полет;
Или́ да возвестит святая лира
Заботы пахарей и пастухов,
Веселье земледельческого пира
По сборе златом блещущих снопов,
Да возвестит плоды и счастье мира —
И мы почтим в тебе посла богов».
Тогда пришлец владыке поклонился,
Псалтирь поставил молча ко стене
И на ковер разостланный спустился.
Но будто муж, испуганный во сне,
Аминадав, узнав его, смутился,
Вздохнул и вспомнил о родной стране.
Окончен пир; сосуд неоцененный
Подъял Анхус и говорит певцам:
«Ты с ним померься, старец вдохновенный!
Сосуд сей победителю я дам,
Златую цепь получит побежденный:
Влекуся сердцем внять обоим вам».
Услышали певцы царя воззванье
И в сладостный, душе отрадный бой
Воздвиглися; простерлося молчанье:
Не так ли пред живительной грозой

Объемлется усталое созданье
Предузнающей громы тишиной?
Гомеру подал звучную цевницу
Самосский отрок, слабый вождь слепца;
Пришлец к псалтири сам простер десницу.
Излив в ланиты каждого певца
Румянца светозарную денницу,
Огонь исполнил вещие сердца;
Сын Мелеса, восторгом упоенный,
Так начал гимн, отчизне посвященный:

«Прославлю людей и бессмертных отраду,
Любимицу неба, святую Элладу;
Эллада богатства и славы полна;
В отечестве жен, красотою цветущих,
И мудрых судей и героев могущих,
В Элладе бессмертная дышит весна.
Там кони морей, крутобокие челны,
Из пристаней реются в шумные волны;
На север и юг, на восток и закат,
Гонимые ветром, живые спешат;
И вот — с золотыми дарами чужбины
Обратно прорезали лоно пучины.
У прага же светлых и тихих домов
Владыки сидят на престолах высоких,
Приветно приемлют гостей и послов
И судят Ахеи сынов чернооких.
Труды и заботы, веселье и торг
Гражда́н оживляют на стогнах обширных;
На игрищах радостных, шумных и мирных
Всех зрителей души объемлет восторг.
Но в сладкой тиши теремов безмятежных
Взращает питомиц Афина прилежных
И учит их ткани прелестные ткать,
И муз к ним приводит и важных и нежных,
И с ними возносит бесстрашную рать,
Сразившую праведной, грозной волною
Надменную хищницу, древнюю Трою».

Умолк; но каждый слух еще ловил
Харитой окрыленные глаголы;
Казалось, их очам слепец явил

Холмы Тайгета и Темпеи долы,
Счастливый край, где сладок блеск светил,
Где живо всё, где даже камень голый,
С него ж ярится дикий водопад, —
Приют священный резвых ореад.
«Опасен с старцем бой, младой пришелец!» —
Промолвил с хитрою улыбкой Фуд,
Высоких аскалонских стен владелец;
Но без ответа тот исшел на суд:

1

«Псалтирь, господень дар, приемлю!
Да помяну святую землю,
Ее же и́збрал бог богов,
Тебя, страну моих отцов!
Холмы Эфрафы, бор Эрмона,
Поток священный, Иордан, —
Вы мне предмет и слез и стона:
Среди чужих блуждаю стран!
О! если вас когда забуду,
Пусть господом отвержен буду!
Единый день в его стране
Отраднее и слаще мне
И тысячи вдали от бога;
Так, приметусь в его дому,
Себе ж в обитель не возьму
Златого грешников чертога.
Пусть Манасси́я нищ и сир,
И Рувим бедный пастырь стада,
И пахарь скудных нив Асир;
Но бог веселье и отрада,
И свет и крепость их сердец.

2

Бессмертный рек: «Я их отец;
Иуда и Ефрем мне чада!»
Чудесен, вечен твой закон,
И злато что́ пред ним, о боже?
Он камня честного дороже,
Душе же меда слаще он.

Лета и веки пред тобою
Ничтожны, как вчерашний день,
И с стражею равны ночною,
Растут и тают, будто тень.
И ты не славных, не надменных,
Не крепких силою владык,
Нет, слабый ты избрал язык,
Сынов Исраиля смиренных.
Вефиль, Силом ты возлюбил
И брег утесистый Кедрона,
И рощи тихие Сарона,
И в лес одеянный Кармил.
Внемли, внемли мне, боже Сил!
О если их когда забуду,
Тобою пусть отвержен буду!» —

Так пел пришелец. Что ж сбылось с душой,
С твоей душой, Аминадав могущий?
Незапною объялся ты тоской:
Ты, мнилось, видишь вновь луга и кущи,
Холмы и долы, рощу над рекой,
Где некогда, веселый и цветущий
И чуждый упоения страстей,
Ты возрастал, краса родных полей.
Чело склонил ты; на тебя Далида
Взглянула, и, дрожаща и бледна,
Тогда ж свой жребий узнает она;
Но вот раздался голос Меонида:

1

«Тот блажен, кто муз и Феба,
Кто харит избранный жрец:
Тайны мира, тайны неба,
Тайны мыслей и сердец,
Ход светил и мрак Эреба
Зрит восторженный певец.

2

Он в небесные пределы
Выше счастья и судеб

Разделить с богами хлеб
В дом Кронида входит смелый.
«Гостю чашу, Ганимед!» —
Зевс вещал; забвенье бед,
Чашу, полную отрады,
Гость испил из рук Паллады.

3

Но если от кого при самой колыбели
Киприда отвратила взор,
О ком Афина, Феб и Гермес не радели,
Ни сладостных камен собор, —
Тот раб земных страстей: свирепой жаждой злата
В нем сердце буйное горит;
Темна его душа, суровым хладом сжата,
Он хульник Зевса и харит.
Не так ли, Этною лесистою тягчимый,
Скрежещет лютый Энкалад?
Из уст исходит смерть, огонь неугасимый:
Но что противу неба — ад?»

И древнего певца соперник юный
Ударил снова в ропщущие струны:

1

«Блажен, кто на грешный не ходит совет, [1]
Блажен на пути нечестивца не ждущий;
Речет ли ему угнетатель могущий:
«Воссядь между нами», — ответ его: «Нет».

2

Закону господню покорный во всем,
Во всем житии благодатном и строгом,
Закону Исраиля, данному богом,
Он учится ночию, учится днем.

3

И мощному древу при зеркале вод
Подобится: красным одетое цветом

[1] См. Псалом 7.

То древо, могущим согретое летом,
Приносит румяный и сладостный плод.

4

И лист его, вечно и зелен и млад,
С ветвей не сорвется дыханием бури;
Но роскошью блещет при свете лазури,
В сени его веет живительный хлад.

5

Не так, нечестивые! злые, не так!
Как трость, от удара падут рокового,
Как прах, от лица возметутся земного,
Как духом пустыни исторженный злак.

6

Не вступят вовеки в священный собор,
В то сонмище, где восседают святые,
Не вступят туда нечестивцы и злые,
И мира не узрит лукавого взор.

7

Так! правого путь с непостижных небес
Блюдет милосердый и дивный хранитель;
Но бог повелел — и погибнул губитель,
Вещал всемогущий — строптивый исчез».

Что наш восторг, что наше вдохновенье,
Когда не озарит их горний свет?
Безумца сон, слепое упоенье,
Движенье трупа, в коем жизни нет!
К глухим вознес кумирам песнопенье
Объятый мраком сладостный поэт:

«Сколько земля над полями Эреба,
Столько лазурь лучезарного неба

Выше обители смертных — земли;
Так и богов Кронион превосходит!
Брови могущий на очи низводит —
Крылья затмения свет облекли.
Гневный тряхнет чернокудрой главою —
Ад, небеса и земля задрожат;
Ужасом царь преисподни объят —
Бледные души толпа за толпою
В воющий Стикс погрузиться спешат.
Гера жена и сестра Крониона:
Власть над аэром царице дана;
В ночь же немую приемлет она
Зевса на пух белоснежного лона.
Хитростный сын ее, властель огня,
Стрелы кует громовержцу Крониду,
Стрелы, казнящие грех и обиду.
О Поссидон! ты создатель коня;
Ты укрощаешь ревущие волны,
Алчные ты ж созываешь на брань;
Яростным им вожделенная дань
Легкие, ветром гонимые челны.
Тучную маслину ты нам дала,
Дщерь и любимица Дия, Паллада!
Светлая дева, ты мудрых ограда,
Ты ненавистница мрака и зла.
В сердце вонзится без боли стрела
Феба, мужей бытие расторгая,
Жен — Артемиды стрела роковая:
Феб-Аполлон, Артемида святая,
Дети прекрасной Латоны, — хвала!
Вас, молчаливые, хладные тени,
Гермес влечет в Элизийские сени,
Тихий, таинственным махом жезла.
Слава, хвала вам, бессмертные боги!
Я ж бесприютный и дряхлый слепец:
Были ко мне при рождении строги
Керы [1] и Крон, олимпийцев отец;
Вы же, всезрящие сестры, камены,
Благословили мою колыбель.

[1] *Керы,* Κῆρες — от Κήρ ρόσ, богиня Судеб, смерти, горя, почти то же, что у римлян Парки. Не от этого ли слова происходит наше *кара?*

Нощью по небу драконы Селены
Мчатся; но Панову слышу свирель:
В сердце лиется тогда упоенье,
Волю даю вдохновенным устам;
Фебу и вам, о камены, хваленье!
Гимн я воспел жизнедавцам богам!»

Мгновение молчал еврей; но струны
Перебирал восторженной рукой;
Сверкали взоры, быстрые перуны,
Чело покрылось блеском и грозой,
Лицо же рдело, облак златорунный, —
И вдруг глаголы хлынули рекой:

1

«Ведет господь из уз и заточения[1]
Возлюбленный, избранный свой народ:
Узрело море, полное смятения, —
Побегла вспять равнина шумных вод,
Река разверзлась, ризою затмения
Оделся неба лучезарный свод,
Гора взыграла, как овен могущий,
А холм, как агнец, к матери текущий...

2

Река и море, страхом потрясенные!
Поведайте: почто побегли вы?
Промолвьтесь, холмы, горы возвыше́нные,
Почто колеблете свои главы?
И вы почто, утесы дерзновенные,
С корней отторгшись, сверглися во рвы?
Земля содроглась от лица господня;
Трепещет пред бессмертным преисподня.

[1] См. Псалом 113.

8

Речет всесильный — и скалы бесплодные
Растают в сладостный, живой поток,
И превратится степь в озера водные:
Велик господь; он паче мер высок:
Он ваш хранитель, сирые, безродные!
Ему подвластен запад и восток,
Но мы его стяжанье и держава:
Не нам, не нам — ему, благому, слава!

4

Умолкните ж, язы́ки нечестивые!
Умолкните и не вещайте нам:
«Где бог ваш?» — ведайте, сердца строптивые:
Господь наш бог повсюду, здесь и там;
И степь седая, и луга счастливые,
И небо, и земля — его же храм;
Всесилен он и благ и во мгновенье
Возможет рушить и создать творенье.

5

А ваши боги, ваши изваяния, —
Сребро ли, злато, мрамор или бук,
Ничтожные и бренные создания,
Не дело ли бессильных, смертных рук?
Что ваши сны, мечты и прорицания?
Виденья ваши что? — Кимвала звук!
Уста кумиров немы, и их очи
Покрыты мраком безрассветной ночи.

6

У них есть уши: вашим же молениям
Не могут внять; и руки есть у них:
Когда ж простерли руку к приношениям,
К дарам неистовых жрецов своих?
И вы, вы молитесь своим творениям!
Пред ними тщетный глас ваш не затих!
Увы! язык отверженный и злобный,
Ты глух и слеп, богам твоим подобный!»

Еще пришлец не кончил, а чертог
Содрогся сонма воющего гневом
И застонал от топота их ног;
Толпа безумцев возопила с ревом:
«Велик Дагон, хранитель нам и бог!
Его ли ты нарек бездушным древом?»
И Месраин уже булат извлек,
И возжигает хитрый Фуд злодея;
Но царь Анхус подъялся вдруг и рек:
«Не в мире, в битвах поражай еврея! —
Тебя ж узнал я, смелый человек:
Певец и воин, сын ты Иессея.
Но не страшись: ты под моим крылом,
И да падут неистовых десницы!
Чист будет мой гостеприимный дом:
Здесь не прольется кровь рукой убийцы».
Пред грозным мощного царя челом,
Трепеща, вспять подались кровопийцы.
Так лютый волк, на стадо тучных крав
Ненасытимым, яростным наскоком
Из лона бора мрачного напав,
Вдруг видит пастыря пугливым оком,
И стал, и вспять побег, вострепетав,
И скрылся в лесе темном и глубоком.
А старец, устрашенный той порой,
Незамечаемый и без награды,
Ушел, ведом самосским сиротой,
Великий, злополучный сын Эллады.
И с лирою и нищенской клюкой
Вновь начал проходить вселенной грады.
Ему подобно звучный соловей
В прохладной неге внемлющей дубравы
Поет под сению густых ветвей;
Кругом его благоухают травы;
Улегся ветер; с долов и полей
Восходит пар; жуют, возлегши, кравы:
Но вдруг, разноглаголен, шумен, дик,
Подъялся в стае вранов глас раздора;
Меж ними за добычу свар возник;
Взвилися, туча черная для взора,
Помчались, бьются; на их буйный крик,
Дрожа, подъялся соловей из бора.

Узнали филистимы, кто пришлец,
И с смешанным со страхом удивленьем
Был ими озираем тот боец,
Который славен стал их пораженьем,
Давид, злодеев ужас, рай сердец
Небесным, чудотворным песнопеньем.
Из них иные с шепотом рекли:
«Не сей ли Голиафа победитель?»
Не жены ль в сретенье ему текли
И пели: «Тем врагов ты истребитель,
Саул же тысяч!» Царь он их земли;
Он, не Саул, евреев повелитель»,
Но за руку Давида властелин
Увел поспешно в терем сокровенный.
Не смеет за Анхусом ни один
Туда проникнуть, им не приглашенный:
Таков в дому царевом строгий чин,
Закон, издревле в Гефе утвержденный...
...И гость тогда владыке возвестил
Саула гнев, и месть, и подозренья,
И как едва Давида не сразил;
Поведал лютого царя гоненья
И как Ионафан от бога Сил
Был дан Давиду в ангела спасенья.
«Свидетель бог мне! — так Давид вещал. —
Вовеки не коснусь главы священной
Того, его же сам господь избрал,
Главы, святым елеем омовенной,
И злобы я вовеки не питал
В душе, вражды и мести отчужденной.
Двукраты предавал руке моей
Лукавый беззащитного Саула
И мне шептал: «Срази! Он твой злодей».
Но чаша искушения минула,
И жадных, адских я избег сетей,
И на убийство мысль не посягнула.
Скитался я среди глухих степей,
Ко мне пристал Йоав и с ним дружина,
Изгнанники, четыреста мужей,
Потом, страшася гнева властелина,
И дряхлый мой родитель Иессей,
И род мой весь. Но сын Вениямина

Из дола в горы, из пустыни в лес
Меня преследовал, неутомимый;
Сойду ль в пещеру, взыду ль на утес —
За мною он: неистовым гонимый,
Я только дивной благостью небес
Избег руки его неумолимой. . .
. . .И было то в пустыне Энгадди́,[1]
И горсть моя с алчбы и жажды млела,
И вот евреи, царь сам впереди,
Подъялись с филистимского предела.
«Властитель, в дебрь Энгаддскую гряди:
Там враг твой; ныне смерть его приспела», —
Рекли льстецы Саулу. В оный час
Он взял три тысячи мужей избранных
И стал искать в Энгаддской дебри нас;
Но бог, хранитель сирых, щит избранных,
Бог нас не раз спасал и в день сей спас,
И всех в вертепах утаил пространных.
Что ж? в тот из сих вертепов, где я сам
Сокрылся, тьмой прохладной окруженный,
Саул, рассеяв ратных по скалам,
Пришел один и, зноем утомленный,
Воссел и тылом обратился к нам,
И рек мне некто воин дерзновенный:
«Не день ли тот желанный ты узрел,
В который твоего злодея долю
Господь предать твоей руке хотел?
И ныне я, Давид, тебе глаголю:
Воздвигнись и да будешь бодр и смел!
Не на твою ли враг повержен волю?»
Но, приступив, отрезал я мечом
Воскрилье риз незрящего Саула;
Во мне зажглося сердце, как огнем,
От ужаса душа моя дрогнула,
И сострадал я и скорбел о нем,
И грудь моя подъялась и вздохнула. . .
. . .И се Саул пошел к своим мужам,
И я, покинув темную обитель,
Потек поспешно по его следам
И глас возвысил: «Царь мой и властитель!»

---

[1] См. Книгу Царств 1, гл. 24.

Сраженный зовом, обратился к нам,
Душой смутясь, озрелся повелитель!
И поклоняся до земли царю:
«Почто, владыка, слушаешь неправых?
Почто словам их веришь? — говорю. —
Глаголы ведаю их уст лукавых;
Вещают, я против тебя горю
Свирепой жаждой помыслов кровавых.
Да узришь ныне сам: в пещере той —
Там был я; где же ты обрел убийцу? —
Я молвил. — Я ль, объятый слепотой,
Простру на божия Христа десницу!
Сам бог его над нашею страной
В правителя поставил и в возницу.
И се воскрилье риз твоих мечом
Отрезал я, а ты, о царь, не видел!
Уразумей же о рабе твоем,
Что всуе ты Давида ненавидел»...
...Из бездны сердца властель возрыдал.
«Увы! Мои дела неправы были;
А ты, страдалец, праведен, — вещал, —
Ты мне воздал за злобу мздой спасенья.
Мог умертвить меня и пощадил:
Блажен тот, кто врага без оскорбленья,
Лишенного защиты, отпустил!
И ныне воссылаю я моленья,
Да наградит тебя владыка Сил!»...
...В пустыне Зиф [1] блуждал я, и пришли
От стад в Гаваю пастыри Зифеи.
«Давида зрели мы, — они рекли, —
С ним многие могущие евреи
И среди нашей кроются земли».
И воскресили гнев царя злодеи.
Восстал Саул и с ним, как прежде, рать.
И снова, ярой лютостью палимый,
Он устремился в степь меня искать,
Убийством дышащий, неумолимый;
И снова должен от него бежать
Я в дебрь из дебри, в дол с холма
теснимый.

[1] См. Книгу Царств 1, гл. 23, начиная с стиха 19.

Однажды (ночь была, и на холме
Саул усталый в лоне колесницы
Заснул, и в общей и глубокой тьме
Расслабли всех друзей его десницы,
И страха не было ни в чьем уме,
И всех сомкнулись томные зеницы)
Узнал я и к клевретам возгласил:
«И кто из вас, покрытый мглой ночною,
Со мною вступит в стан царевых сил?»
И рек Авесса: «Я гряду с тобою».
Оружие схватил и поспешил
На мрачный Эхелафский холм за мною.
Пришли мы: в колеснице царь лежал.
И у возглавия копье стояло,
Копье, пред коим филистим дрожал
И воинство Амона трепетало.
Кровавый, тусклый месяц освещал
Огромное сверкающее жало.
Вблизи же спал беспечный Авенир,
И до единого все стражи спали.
И мнилось, о́крест их покой и мир,
Им не грозят ни страхи, ни печали.
Мы видим, беззащитен царь и сир,
И, приступив, над колесницей стали.
Авесса рек мне: «Час настал, властитель:
Ужель еще увидит сей зарю?
Злодея предал нам небесный мститель:
В него ударю и не повторю
Его ж копьем: не он ли наш гонитель?»
— «Не убивай его, — был мой ответ, —
Пред богом грех царево убиенье.
Сыны Саруины, вы мне в навет,
В укор вы мне, в соблазн и в искушенье.
Знай! Буде на войне десницы нет,
Избранной на Саулово паденье,
И буде не постигнется судьбой;
Жив бог! Я воздержу и руку вашу,
И не погибнет он моей рукой.
Днесь с копием возьмем златую чашу,
Что у возглавья налита водой,
И возвратимся вспять в дружину нашу».
С холма мы сходим: всюду тишина;

Никто не слышал нашего прихода,
Никто не вспрянет с прерванного сна,
Услышав шорох нашего исхода;
Их усыпил господь: глядит луна
На лица неподвижного народа.
И мы взошли на темя высоты,
От стана властелина удаленной,
И стали средь прозрачной темноты,
И так воззвал я, свыше укрепленный:
«Меня ли слышишь, беззаботный, ты?
Ответствуй, спишь ли, Авенир надменный?»
И Авенир ответствовал и рек:
«Чей зов восстал, из мрака вопиющий?
Вещай, кто ты, отважный человек?»
— «Вождь, об руку властителя грядущий!
Тебя, — я молвил, — в славу царь облек:
Кто муж, как ты, в Исраиле могущий?
Почто же господина своего
Не охраняешь? Ночию губитель
Проник до самого одра его.
Сын смерти ты (свидетель вседержитель!),
Ты сам и каждый сонма твоего
Небрежный, сну предавшийся воитель.
Зри: копие и чашу кто отъял,
Что при возглавии царевом были?»
И ветер до царя мой глас домчал.
«Давид, мой сын! — Саул глаголил. — Ты ли?»
— «Твой раб Давид, — ему я отвечал, —
Но се твои дружины степь покрыли,
И средь пустынь следишь меня ты вновь,
Подобен в алчности ночному врану,
Удара, царь, мне ныне не готовь:
Саул, противиться тебе не стану,
Но бог увидит пролитую кровь. . .
. . .Отселе сына Киса я не зрел:
Он возвратился в гордую Гаваю,
А я потек, властитель, в твой удел.
Во мне к нему нет злобы, но страдаю
Живее, чем от ядовитых стрел,
Лишь падших за меня воспоминаю.
Увы! Их много. . . всех же паче вы
Смущаете Давидовы виденья,

Когда иных беспечные главы
Объемлет сон в часы успокоенья,
Жрецы господни, жители Номвы́,
Вы, триста жертв ужасного сгубленья!
По смерти Самуила от лица
Моих врагов с дружиной братий малой
Однажды в дом маститого жреца
Авимелеха я прибег усталый;[1]
Приял меня с любовию отца
Мирских событий ведец запоздалый:
Не знал он, ни его клевретов лик
Моей судьбины; хлебом и дарами
Меня снабдили; но в их град проник,
Воспоен не евреянки слезами,
Жестокосердый муж, пастух Доик,
Прославленный кровавыми делами;
Сей зрел меня. Сидел Саул потом
На холмной высоте близ Рамы-града,
Копье в деснице, на главе шелом;
Двудесноручные Рахили чада
Стояли воруженные кругом;
Меж них Доик, пастух царева стада. . .
. . .И се из сонма их исшел злодей,
Доик свирепый, Сирин злочестивый.
«В Номве приял Давида иерей
Авимелех мятежный и строптивый,
И хлебом одарил его мужей,
И прорекал Давиду путь счастливый».
Так он вещал, и царь послал в Номву:
Авимелех, маститый сын Ахита,
По первому явился в Раму зву
И триста и четыре с ним левита,
В эфуд одетых. Преклонив главу,
«Что повелишь, Исраиля защита?» —
Священник вопросил. «Лукавый жрец!
Ты совещался с сыном Иессея:
Коварство ваших ведаю сердец;
Эльканы сына, моего злодея
Питомцы вы; вы жезл мой и венец
Хотите дать деснице Иудея!» —

[1] См. гл. 22.

В ответ властитель. «Царь, почто твой гнев? —
Была к Саулу речь Авимелеха. —
Или Давид не друг, не зять царев?
Твоей души отрада и утеха
Святыми песнями, в войне же лев,
Раб верный, муж победы и успеха?
О нем я вопрошал отца судеб,
Но много раз и ныне не впервые;
И меч ему я дал, и рати хлеб.
Жрецы мы мирные, умы простые:
Что дали, дали для твоих потреб.
Да посрамятся злых язы́ки злые!»
— «Ты смертию умрешь, — Саул вещал, —
И твоего отца весь дом с тобою.
Избейте сих жрецов! — он глас подал. —
Горят с Давидом общею враждою
Против меня». Но ни один кинжал
Ничьею не был обнажен рукою.
Тогда Саул рассвирепел, узрев
Сопротивленье всех мужей-евреев,
И рек: «Воспомните мой царский гнев!
Восстань, Доик, побей жрецов-злодеев!»
И Сирин, будто тигр, подъявший рев,
Ударил в безоружных иереев;
И в оный день проклятого рукой
Злосчастных триста и четыре пало
Жрецов, одеянных в эфуд святой,
Но было трупов их Саулу мало:
Он жен и чад их предал на убой,
И пламя стены их домов пожрало.
Погибли все: и слабая жена,
И отрок, свежею красой цветущий,
И с женихом невеста сражена,
И мать, и первенец ее сосущий,
И пастырю, и стаду смерть одна,
И старец пал, и пал с ним муж могущий.
Вдруг на заре я увидал пожар
В степи далеко от Номвы священной,
И что ж? Ко мне прибег Авиафар,
Ахитов внук, единственный спасенный,
Не древний муж, — но тяжек был удар, —
С главой чрез ночь прибег он посребренной.

И ныне что я молвлю о себе
И как поведаю свои страданья,
Анхус, гостеприимный царь, тебе?
И ныне средь полночного молчанья
Рыдаю о постигшей их судьбе,
И их погибель зрят мои мечтанья!
Но бесконечно бог, господь мой, благ:
Когда меня безжалостный *родитель*
Преследовал, мой кровожадный враг,
Когда, пустынь немых и знойных житель,
Скитался изнурен я, гладен, наг, —
Тогда являлся *сын,* мой утешитель.
И в день тот я, бессилен и уныл,
Растерзанной стенящею душою,
Уже и в вере к господу остыл,
Но взор воздвигнул: брат мой предо мною,
Припал, меня лобзаньями покрыл
И долго плакал над моей главою.
Тогда в последний раз его я зрел, —
Его любил я — бог-всевидец знает!
И что ж! Погибнет он от ваших стрел,
Погибнет вскоре — сердце мне вещает. . .»
И се Давид от скорби онемел,
И руку царь страдальцову сжимает.

Без радости перебираю вас,
Глухие струны! робкая десница
Боится пробудить ваш вещий глас;
Моя псалтирь унылая вдовица;
Душа моя печальна, как темница:
Упал ее светильник и погас!
Когда на быстрых крыльях вображенья,
Бывало, забывая тяжкий плен,
Несуся я из гроба заточенья,
Из мрачных, душных, безответных стен,
Как мотылек, подобье воскресенья,
Из разрешенных жизнию пелен, —
Тогда Надежда и Любовь и Вера
Мне в близкой сердцу моему дали
Являли светлый образ Исандера;
Не раз они с улыбкой мне рекли:
«Всему — и радостям и скорбям мера;

Тягчайшие страданья уж прошли.
Настанет день, счастливый день свиданья:
Твоим услышишь песням приговор;
Оценит друг души твоей созданья. . .»
И за хребтом Кавказских, грозных гор
Я увлекаюсь бурею мечтанья
И слышу глас его и вижу взор!
Ах! и в часы, когда в земное счастье
Страшливым сердцем верить устаю,
Я друга помнил нежное участье,
Крепился и сносил судьбу свою:
«Пусть разнесет мой хладный прах ненастье!
Он память сохранит мою».
Так я вещал; но он, увы! руками
Убийц свирепых пораженный, пал!
Не возмутились зверскими сердцами,
Не пощадил груди певца кинжал;
Он пал! — а я отвержен небесами:
Каратель и в слезах мне отказал!
В слезах бесплодных, бедных! — боже, боже! —
Я жизнию готов бы их купить;
Но холоден, окаменел. . . Почто же
Мне доле клятву бытия влачить?
Почто не я простерт на смертном ложе
И что еще велишь мне пережить?
О, жажду, жажду с ним соединенья!
Приял в Эдем свой милосердый бог,
Приял его в небесные селенья!
От тщетных битв устал я, от боренья,
Завяло сердце, дух мой изнемог.
В житейских бурях ты был мне хранитель,
Мой Исандер! и ныне, возлетев
В надзвездную, незримую обитель,
Молися за меня: смягчится гнев,
Помянет и меня мой искупитель;
Мы свидимся под сенью райских древ!
Тогда кора растает ледяная
И с обновленного меня спадет,
В слезах желанных, сладких утопая,
К тебе направлю радостный полет,
Обнимемся — и песнь моя святая
В живых восторгах бога воспоет!

IX

КНИГА «ПУСТЫНИ ХАНААНСКОЙ»

Другое лето жил в чужой стране
Вифлеемит и с ним сыны изгнанья,
Его клевреты в мире и войне,
Участники и счастья и страданья:
Им были дни те, как в тяжелом сне
Недужному несвязные метанья.
И дал Анхус Давидовым друзьям
Высокий Секелаг, питомцы ж брани,
Стремяся к Амаликовым сынам,
Степные часто прелетали грани
И были страшны древним тем врагам,
Карали их и собирали дани. . .
. . .Но се, когда Сауловой судьбой
Чревоболело время роковое,
И покрывалось небо тяжкой тьмой,
И ждало в грозном и немом покое,
Да разразится гибельной грозой, —
Не спало провидение святое;
Давид хранился ангелом своим
Исраилю в цельбу и в утешенье.
Возникла брань, и, скорбию тягчим,
Такое богу он принес моленье:
«Да внемлет бог богов мольбам моим,
Меня да не введет во искушенье!
Был я бездомен, страха полн, уныл,
В горах скитальца, беглеца в пустыне,
Анхус меня с клевретами прикрыл,
Меня утешил; с дня того поныне
Не во властителя, в отца мне был,
О мне труждался, как о кровном сыне.
Но се свирепую сзывает рать
Моей отчизны враг неукротимый,
Анхус спешит Исраиль воевать,
И в день сей мне вещают филистимы:
«Восстань, иди за хлеб наш нам воздать!»
Что сотворю, их воплями теснимый?»
Тогда боязнь к Давиду бог вселил
В сердца князей градов иноплеменных,
И совещались воеводы сил.

И Фуд царю предстал от устрашенных:
«Да устранишь Давида, — возгласил, —
И с ним его клевретов дерзновенных,
Да не исходят с нами на войну!
Не от пришельца ли нам ждать навета,
Когда течем карать его ж страну?
Она ему при колыбели пета,
В ней встретил жизни сладкую весну,
В ней протекли его златые лета.
С Саулом примирится, и (дрожи!)
С ним примирится нашими главами.
Полны сердца людские тайн и лжи;
Друзей страшися наравне с врагами;
Пусть ныне друг тебе Давид, — скажи,
Или обманут не был ты друзьями?
Его евреи любят: в кущах их
Глас, наше поражение поющий
И торжество Давида, — не затих;
Он их надежда, он их царь грядущий;
Речет — покинув жен и чад своих,
Сбегутся все на зов его могущий.
А мужи те, что делят хлеб его,
Что с ним исшли в чужбину и в изгнанье,
Не пощадят под небом ничего,
С весельем примут гибель и страданье,
Но в блеск и славу облекут того,
Кто гордость их, и честь, и упованье.
Многоречивы старцы искони:
Да буду же в сей день, Анхус державный,
И я многоречив, как все они,
Тебе напомню, властель, подвиг славный,
В Эфрафе подвиг совершен во дни
Битв наших в оной области дубравной:
Мы град заяли; а Давид засел
В твердыне крепкой с братьями своими,
Но там от солнцевых изныли стрел,
Палящих, расточаемых над ними;
Томились жаждой, лишь один светлел
Источник под забралами седыми.
И рек тогда Давид мужам своим:
«Кто, други, напоит меня водою
Из хладного ручья, который зрим?»

Вдруг со скалы с орлиной быстротою
Их трое ринулось; стремимся к ним,
Грозим им вопиющею толпою. . .
Вотще! Три мужа расторгают всех:
Не видят тучи стрел, ни копий леса,
Боязнь себе вменяют в срам и грех, —
К источнику, назад и уж с утеса
Взирают и подъемлют нас на смех!
Властитель, таковы сыны Фареса.
Но муж и вождь их, он вещал: «Друзья!
Клянуся, недостойными устами
Священной влаги не коснуся я,
Приобретенной вашими душами;
Пить вашу кровь — не мне: вода сия
Пред господом да возлиется нами!» —
Такого мужа, грозного в войне,
Подъятого из праха дивным роком,
Героя и вождя в своей весне,
Нам страшного в волнении жестоком,
Опасного и в мирной тишине,
Не наблюдал я неусыпным оком!
И раз еще владыке и царю
От сонма всех князей соединенных
Желанье всех скажу и повторю:
Нет, не зови пришельцев дерзновенных
На брань с евреями, на нашу прю
С хоругвями врагов, им соплеменных!»
Тогда: «Давид, да идешь в Секелаг, —
Анхус вещал. — Поныне и сначала
Ты предо мною был и будешь благ;
Но зависть сердце сильных обуяла,
Князья рекли: «Не сей ли был нам враг?» —
И робкая душа их встрепетала.
Мой сын, не преходи ж за нашу грань;
Но будь Анхуса жен и чад хранитель,
Над домом нашим да расширишь длань —
И не дерзнет к нам вторгнуться грабитель,
Без нас в отчизне не возжжется брань
И не восстанет буйный возмутитель.
Друг, не вдавайся в мысли: жив господь!
Как ангел божий благ ты предо мною;
Но страха сих вождей не побороть!

Шатания умов их не спокою;
Пусть я — душа, но воеводы — плоть:
Что предприму без них и что устрою?»
Так бог, властитель чувств, и дум, и сил,
От укоризны, и греха, и скверны
Смиренного Давида сохранил;
Но в тот же день непостижимый терны
В терзающий венец Давиду свил,
Да будет до конца испытан верный.
Он возвращался в Секелаг, в свой дом,
С дружиною, ведомою Йоавом:
Вдруг им с обезображенным челом,
Покрытый пеплом, в рубище кровавом,
Предстал, конем измученным несом,
Давида раб, трепещущий Соáвом.
«В пустыню обратися! — раб гласит. —
Теки, спеши настигнуть Амалика;
Твой град сожжен, наместник твой убит,
Уведены от мала до велика
Младенцы, жены... Поспеши, Давид!»
Смутился вождь от рокового крика,
Но други окрылили бурный шаг,
Приходят, видят: где их были кровы,
Где на холмах вздымался Секелаг
В венце роскошном сумрачной дубровы,
Лишь угль, и пепл, и прах оставил враг,
И смрадный дым, и взрытые основы.
И се послышался великий глас.
Воссев на землю, воины рыдали:
«Господь наш бог забыл в чужбине нас!»
Сражая перси, плача воззывали,
Доколе вопль в устах их не погас,
Избытком залит гнева и печали.
Вдруг от земли воспрянул Ровоам,
Неистовый потомок Симеона,
Ужасный в гневе не одним врагам,
Не знающий святыни, ни закона,
И возопил к рыдающим мужам:
«Бог женам дал оружье слез и стона;
Мы ж станем мстить, и первому — ему! —
Вещал и перст, исполнен дерзновенья,
Простер к Давиду, к князю своему. —

Его на Амалика нападенья,
Его безумия вина всему;
Но в день сей воздадут за нас каменья!»
И люди, от страданий обуяв,
Каменья уж исторгнуть наклонились;
Но Асаил, Авесса и Йоав,
Как львы, на Ровоама устремились:
Он пал и смерть приял, заскрежетав;
Другие же содроглись и смирились.
И се Давид Авиафару рек:
«Мы в силах ли ударить за врагами?
Настигнем ли их, божий человек?
Вспять возвратимся ль с чадами, с женами?»
И сам жреца в святой эфуд облек.
И распростерся жрец пред небесами,
И так поведал, свыше вдохновен:
«Дерзай и узришь стан Амаликита,
Настижен будет хищник и сражен;
Се вижу: рать его тобой побита,
И плен плененных ваших разрешен!
Господь глаголил: „Я твоя защита!“»
В тот час Давид избрал шестьсот мужей
И с ними к знойному потек востоку,
Туда, где необъемлемость степей
Безводный океан являет оку,
Ужасный варом пламенных зыбей.
Они пришли к восорскому потоку,
И возвестил Давид двумстам из них:
«Вождя даю вам в доблестном Орее.
Здесь стан храните братиев своих».
А прочим рек: «За мной, друзья, смелее!»
И в волны ринулся морей сухих.
Что шаг, то зной растет и степь мертвее;
С высокой тверди солнце льет пожар,
И солнцеву огню навстречу пышет
С песков пылающих огонь и вар;
Тяжеле конь, тяжеле всадник дышит,
И свод лазури ясен, чист и яр,
И ухо ждет чего-то и не слышит. . .
. . .Деля добычу, ликовали тати,
Вещали о набегах, о войне,
Хвалили шумный мир по щедрой рати

И, утопая в брашнах и вине,
Погибших песней поминали братий.
Вдруг на обзоре малое пятно
Растет, растет, и се уж стало тучей,
И ближе, ближе, грозно и черно,
И впереди несется прах летучий,
И миг еще — пятно превращено
В полк всадников крылатый и могучий.
Вотще созвать рассеянных коней
От пира вспрянули амаликиты;
Уже в их сонм врубается еврей,
Злодеям нет спасенья, нет защиты:
Те пали жатвой мстительных мечей,
Те стоптаны, те камнями побиты;
Едва спаслось четыреста из них,
От гибели унес их бег верблюжий.
Когда же вопль побоища затих,
Когда замолкнул звон и стук оружий,
С каким восторгом жен и чад своих
Тогда лобзали радостные мужи!
И победителей корысть была
Превыше ожидания богата:
Стадам отъятым не было числа,
Все вретища полны сребра и злата;
Прославив бога брани, потекла
Обратно рать, веселием объята.
И вот уже повеял ветерок
От запада незнойный и душистый,
И вот уже прохладен и глубок
Пред ними засинел струей сребристый
Восорский, чистый, как сребро, поток,
И зрят их братья с высоты кремнистой;
Спустились, возгласили им привет.
Но лета нет без гроз, без бури моря,
Без терния цветов шипковых нет;
С начала дней со тьмой о власти споря,
Не одолеет тьмы отрадный свет;
И на земле нет радости без горя.
«Чего? — рекли оставшимся двумстам
Лукавые из исходивших в битву. —
Чего вам? Или вы клевреты нам?
Что? Вы за нас творили здесь молитву!

Жен, детищ ваших возвращаем вам,
Но прочую удержим мы ловитву».
Тут из среды поруганных мужей
Возник предтеча вопля, гневный шепот;
Бледнеет с ярости их вождь Орей:
Миг — и в мятеж преобразится ропот,
И уж десницы рукоять мечей
Хватают, уж раздался стук и топот.
Но разделил враждующих Давид
И к ним простер взывающие длани
И рек: «Ужели бог вас не страшит?
Его ли вы не помните даяний?
Нет, други! Братья братьям без обид
Отдайте долю от прибытков брани.
Покиньте буйство, ненависть и спесь!
Господь нам дал победу и спасенье,
И вы ли кровных оскорбите днесь?
Они же были в щит нам и храненье
И не по воле пребывали здесь,
Но от меня прияли повеленье».
Бог укрепил Давидовы уста,
Пред ним смирились воины сердцами,
Потухли в них и зависть и вражда,
И разделили взятое с друзьями.
Отныне сей обычай навсегда
Вселился меж еврейскими сынами:
Кто стан хранил или отчизны грань,
Приобретал корыстей бранных долю
С тем наравне, кто исходил на брань:
Зане творит не собственную волю,
Но что укажет воеводы длань,
Муж, посвященный боевому полю.
И в Секелаг обратно притекли
Давид и мужи с бременем стяжаний,
И к старшинам Исраильской земли
Послал гонцов и от корыстей дани,
И так гонцы Давидовы рекли:
«Да примете свое из нашей длани,
Вефсурские и рамские князья
И сущие в пределах Вирсавеи,
Вы также — с вами мы одна семья, —
Хевронские и номвские евреи,

И вы, изгнанных братиев друзья,
Жильцы высот Кармильских, иудеи!»
И приобрел Давид людей сердца,
Все видят в нем Иакова спасенье,
И возымели все его в отца.
Меж тем судеб Сауловых решенье
Настало; меркнет блеск его венца,
Господь подъялся на его паденье.

1

Возводит взор, подернутый тоской,
На друга друг, предвидящий разлуку;
Вздохнет, поникнет тяжкой головой
И молча жмет любимцу сердца руку:
Так я гляжу на труд отрадный мой;
При нем я забывал и скорбь и скуку,
Им был от жадной гибели храним;
Но близок час — и я расстанусь с ним.

2

И глас мой излетит ли из забвенья?
И напоит ли, шумен и глубок
И сладостен, иные поколенья
Моих мечтаний, дум моих поток?
Или в бесплодных камнях заточенья
Ему иссякнуть? о, промолвься, рок!
Ответствуй мне, покрытый мраком грозным:
Глагол мой к племенам дойдет ли поздним?

3

И если нет, и ты уж так судил,
Чтобы мой самый след исчез в вселенной...
Да будет! — нет во мне, нет прежних сил;
К земле рукой страданья наклоненный,
Я не расширю дерзновенных крил,
Не воспарю, сияньем покровенный,
Из душных стен, из тягостных оков,
В собор неумирающих певцов!

4

Приму мой жребий из твоей десницы,
Слуга господень, и смирюсь душой;
Не мне роптать: как вихорь, сын денницы,
Влекущий море праха за собой,
Семум, гроза кочующей станницы, —
Так страсти дикие играли мной;
А твой пророк быть должен тверд, как камень,
Величествен, как небо, чист, как пламень.

5

Хвала щедроте бога! всё же был
В отраду мне тот дивный посетитель,
С чьих проливался сладкозвучных крыл
Восторг в мою унылую обитель.
Кто от отчаянья меня укрыл?
Единый он, мой ангел, мой хранитель!
Пусть был лишь обольщенье, лишь обман;
Но с ним душевных я не помнил ран.

6

Когда же есть где юноша счастливый,
В очах кого святый огонь горит,
Кто сердцем чист, смиренный и стыдливый
И девственный, как мой вифлеемит:
Он, избранный судьбою справедливой,
Меня, погибшего, да заменит!
В нем да пошлет Пророка и Поэта
Земле Начальник истины и света!

7

А я? мой темный путь лежит туда,
Где не умножится страданий мера,
Где скорби мира дым и суета!
Там моего увижу Исандера;
Туда, как непостижная звезда,
Усталых манит сладостная вера.
Иду вперед; тяжел мой темный путь;
Нет, не ропщу, но жажду отдохнуть.

X

КНИГА «ВОЦАРЕНИЯ»

От утра раннего до ночи поздней
С Гельвуйских гор был слышен стук и вой,
Был слышен гул глаголов брани грозной;
О трупах совещалась Смерть с войной,
И Смерть алчбу и жажду утолила
И, утомясь, простерлась на покой.
Увы! Гельвуя, скорбная могила
Исраильских, белеющих костей!
Не здесь ли пала слава их и сила?
Не здесь ли сонм могущих их князей,
Овнов и пастырей святого стада —
Был снедью гладных, Хамовых мечей?
И первый ты, средь бранных будь ограда,
Надежда братий, щит против врагов,
Злосчастных ангел, плачущих отрада,
Ты, лучший из Сауловых сынов,
Ты пал, Ионафан, стрелой пронзенный;
Твой дух вознесся в край благих духов.
Но чьею ж славною рукой сраженный
Погибнул витязь, честь страны родной?
Князь, воевода ли иноплеменный
Решил одною смертью грозный бой?
Нет, не похвалится в градах Дагона
Победой скорбной ни един герой!
Не скажет чадам, женам Аскалона,
Ни девам Гефа и пяти градов:
«Я день тот обратил в день слез и стона
Для храбрых Венониных сынов;
Вождя их я убил». Стрелой безвестной
Пожат воитель, страх чужих полков.
Он пал — и что ж? улыбкою прелестной
Его уста, зардевшись, процвели;
Не смел его коснуться тать бесчестный,
Когда по полю битвы потекли,
Да снимут с тел оружье, ризы, брони
Сыны неверной Хамовой земли;
Так, наступить боялись даже кони
На витязя, — их горний дух страшил:
Одел туманом дивных благовоний

Бойца святое тело Рафаил,
И зрел, вещали, гор Гельвуйских житель,
Как ангел вновь на небо воспарил;
Как возносил в надзвездную обитель
Какую-то таинственную тень,
Сверкал, как пламень, дух-путеводитель,
Сопутник же сиял, как тихий день,
Лиющийся от тверди позлащенной
В немую бора дремлющего сень!
И Хуса Мельхисуя дерзновенный,
В плечах широкий, станом исполин,
Вдруг сóрвал с колесницы окрыленной,
И в прах поверглись пред лицом дружин,
И их борьба всех трепетом объяла,
И вторил их стенаньям глас теснин.
Душа в потомке Хама замирала,
Давил Саулов сын его гортань;
Едва короткий меч еще держала
Страдальцова мертвеющая длань;
Погиб воитель, — нет ему спасенья,
Но и еврей не выдет вновь на брань:
Хус в судоргах последнего мученья
Скрежещет и десницу свободил,
И, уж почти лишенный ощущенья,
Герою в сердце жадный нож вонзил;
Персты героя сжались, деревенея,
Он, умирая, Хуса задушил.
Что ж? не могли, дивясь и цепенея,
Отъять от выи князя своего
Хамиты руку мощного еврея
И вместе с нею труп сожгли его.
Певцы же долго в песнях воскрешали
Весь ужас состязания того.
Саул, исполнен яростной печали,
Своих сынов падение узрел,
Узрел, как рати колебаться стали,
Затрепетал и молвил: «Здесь предел,
Здесь положен конец моей державы!»
Копье подъял и к смерти полетел.
Когда ж густеть стал мрак седой дубравы
И блеск последний на скалах погас,
Тогда и властелина бой кровавый

Пожал, — он срезан был, как зрелый клас. . .
. . .Давид же в Секелаге в оно время
Друзьям корысти бранные делил.
Заря златила скал высоких темя,
Но был еще под кровом ночи бор;
Лежало на душе Давида бремя
Тяжелых дум; с твердыни скорбный взор
Он по пути, одеянному тьмою,
Стремил за цепь седых восточных гор.
«Я ими разделен с землей родною!
Что с нею сбудется?» — печальный рек
И вдруг пришельца видит пред собою: [1]
Обрызган кровью, смутный человек,
Перст на главе, раздранно одеянье,
Он быстрый вопль из уст рабов извлек.
Свирепый странник пал, храня молчанье,
К ногам Давида; но Давид сказал:
«Кто ты? Откуда? Что твое желанье?»
— «С побоища евреев я бежал,
С Гельвуйских гор, костьми их убеленных».
Так витязю пришелец отвечал,
И среди сонма воинов смятенных
При сем глаголе роковом возник,
Свидетельство сердец их сокрушенных,
Терзающий и слух и душу крик;
Властитель вспрянул и всплеснул руками
И ризою завесил бледный лик.
Потом вещал дрожащими устами:
«Поведай всё нам!» И пришлец гласит:
«Саула рать истреблена врагами,
Ионафан погибнул, царь убит».
— «Ты сам ли зрел Саулово паденье?» —
Удерживая душу, рек Давид.
И муж восстал и начал извещенье:
«Был вечер; нас враги подъялись гнать —
Вдруг я увидел грозное волненье:
На холм единый стала напирать,
Подъемля вой убийственный и дикий,
Анхусова избраннейшая рать.
Их неумолчные послыша крики,

[1] См. Книгу Царств 2, гл. 1.

Упорство яростного боя зря,
Я молвил: «Осажден там муж великий;
Не всуе столь неистовая пря!»
И от бегущей я отстал дружины,
Притек на холм и узнаю — царя.
Он, уязвленный, близок был кончины.
Пред ним лежал пронзенный в грудь еврей;
А под холмом, как ярый рев пучины,
Как бешенство бунтующих зыбей,
Так необрезанных полки кипели,
Так рвались на Сауловых друзей.
Уж их последние ряды редели;
Я слышал, царь болезненно вопил:
«Злодеям в руки впасть живому мне ли?»
Взглянул на тело: «Старец Фалиил,
Полвека ты мне верен был и боле;
Но наконец и ты мне изменил!
Не покорился срамной ты неволе,
Освободил тебя твой бодрый меч:
Почто ж меня покинул в страшной доле?
И жизни не хотел моей пресечь?»
Он простонал и покивал главою,
И замерла в устах страдальца речь.
Но вот он тень увидел за собою,
И вспять озрелся, и меня позвал
И молвил: «Лютою объят я тьмою;
Но дух во мне, страдать я не престал:
Убей меня!» Взглянул я: нет надежды,
Не встанет! — и вонзил в него кинжал.
Тогда навек его закрылись вежды.
Я ж царский съял венец с главы его,
И с трупа царские совлек одежды,
И с ними поспешил с холма того;
Всю ночь я шел, и се их повергает
Твой раб к ногам владыки своего!»
Давид, восплакав, ризу раздирает
И трепетный на странника глядит.
«Кто ты? Какого дому?» — вопрошает.
Но, не смутясь, убийца говорит:
«Родился я в Гавае возвышенной,
Отец же мой Эфар — амаликит».
— «Да истребится весь ваш род презренный!

Увы! Погибнул грозный царь Саул,
Рукою рабской, подлой умерщвленный!
Дух ада на тебя, злодей, дохнул:
Как ты подъять проклятую десницу
На божия избранника дерзнул?
Йоав! Каменьями побить убийцу!
Не будет кровь его вопить на нас:
Сам он осиротил свою вдовицу,
Сам чад своих лишил отца в тот час,
Когда изречь свирепое деянье
Его уста издали хульный глас!»
Весь углубленный в мертвое молчанье,
Один с своей великою душой,
Лелея безутешное страданье,
О падших три дня сетовал герой.
В четвертый мужи пред него предстали,
Посланники к нему земли родной.
Еще подавлен бременем печали,
Он им внимал в кругу своих друзей,
И старшины Иуды так вещали:
«Не мы ли кости от твоих костей?
Не мы ли плоть твоя? Давид, не ты ли
Хранил нас крепостью руки своей?
С тобою мы цветущи, крепки были,
Дрожал пред нами в бранях сопостат;
Мы без тебя лишились сил, уныли,
Пожрать нас без тебя враги спешат:
Ты данный нам от господа хранитель;
Приди, над братьями восцарствуй, брат!
Царю да будет град Хеврон в обитель;
Царя зовут Иуда и Фарес:
И вновь к нам обратится вседержитель,
И нас оставит ярый гнев небес;
Нам снова воссияют дни покоя,
Могущества, и славы, и чудес!»
Умолкли. Был туманен лик героя;
Как скорбный странник средь степей сухих,
Весь изнуренный лютым варом зноя,
Так он под гнетом тяжких дум своих
Изнемогал — и долго без ответа
С болезненной тоской взирал на них.
«Душа моя, — он молвил, — тьмой одета!

О боже! Мир исчезнул бы, когда б
Угас над ним твой взор, источник света:
А я что без тебя? — Я слеп и слаб
И кораблю подобен без кормила:
Тебя зовет, к тебе прибег твой раб!
От детства длань твоя меня хранила,
От детства мне светил твой дивный свет,
И мощь твоя бессильного крепила:
Моим моленьям, боже, дай ответ!» —
И рек жрецу: «Провидец вдохновенный,
В Хеврон за ними вниду ль или нет?»
Тогда склонил колена муж священный,
И просиял его могущий лик,
Молился он, эфудом облеченный, —
И се к нему господень дух приник.
«Да внидешь!» — так воскликнул прорицатель.
«Да внидешь!» — повторил евреев крик.
«Тебе я покоряюсь, мой создатель! —
Вещал, главу смиренную склоня,
Сынов Иуды новый обладатель. —
Но тяжкое взложил ты на меня».
И вот воздвигся, взял псалтирь златую
И рек друзьям, исполненный огня:
«Помянем падших в битву роковую.
Ужели предадим забвенью мы
Бойцов, погибших за страну родную?
Или вотще Гельвуйские холмы
Испили кровь моих владык святую?
Исторгну память их из бездны тьмы!»
К струнам склонился, глас подъял печальный,
И струны стон подъяли погребальный:

1

Столп возвысь над падшими сынами,[1]
О Исраиль! — свят бессмертный прах.
Как же так увяли под мечами
Мужи силы на твоих холмах?

[1] См. Книгу Царств 2, гл. 1.

2

Не беседуй в Гефе о сраженных;
Пусть не внемлет плачу Аскалон:
Да не дмится дщерь иноплеменных,
Да не будет в радость ей твой стон!

3

Вы, холмы Гельвуи, пусть отныне
Не кропит вас дождь, ниже́ роса!
Уподобьтесь вы сухой пустыне;
Пусть вас позабудут небеса!

4

Обратитесь в поле слез и глада:
Пусть вовеки не созреет клас,
Пусть вовеки кисти винограда
В блеске солнца не горят на вас!

5

Ах! на ваших высотах могильных
(Не елеем, кровию облит)
Щит Саула, мощь и слава сильных,
Сыном Хама вдребезги разбит.

6

Меч царя был страшен чадам брани,
Пил врагов отчизны кровь и тук,
Собирал их души, вместо дани,
Лук Ионафана, грозный лук.

7

Царь Саул, Ионафан! прекрасны,
Благолепны были в жизни вы;
Восставали мощны и согласны:
Вместе положили ж и главы!

8

Были крепки вы, сыны Рахили,
Паче ярых чад полудня — львов;
Гордо вверх над тучами парили,
Легче вольных, радостных орлов!

9

Плачьте, плачьте, дщери Авраамли,
По Сауле, воеводе сил!
По Сауле сетовать не вам ли?
Вас он украшал, он вас хранил;

10

Разверзал вам щедрую десницу,
Облачал вас в злато и виссон;
Одевал в жемчуг и червленицу:
Воздвигайте по Сауле стон!

11

Столп возвысь над падшими сынами,
О Израиль! свят бессмертный прах.
Как же так увяли под мечами
Мужи силы на твоих холмах?

12

Все! — и ты, Ионафан! ужели?
Брат души моей, Ионафан!
Стрелы Хама мимо не летели:
[Не избег и ты смертельных ран!]

13

Слез душа моя, о брат мой, жаждет;
По тебе скорбит душа моя,
По тебе болезнует и страждет:
Одинок отныне в мире я.

14

Любит друга дева молодая,
Драгоценна юноше жена;
Но к тебе любовь моя святая
Паче их любви была сильна.

15

Столп возвысь над падшими сынами,
О Исраиль! свят бессмертный прах;
Как же так увяли под мечами
Мужи силы на твоих холмах?

О власть святая вдохновенных песен,
Неодолимая! сколь ты сильна!
Наш скорбный, бедный мир как мал и тесен!
Но ты, отваги радостной полна,
Дохнешь, расширишь вдруг его пределы
И новый мир пробудишь ото сна;
Летишь и сеешь громовые стрелы
И растопляешь твердые сердца —
Сердца людей бесчувственны, дебелы;
Но глас могущий вещего певца
В них жизнь вольет — и, будто воск, растают
Пред дивным пламенем его лица!..
...И пировал, князьями окруженный,
В Хевроне светлом царь вифлеемит:
Он мир торжествовал благословенный.
Но что? Какое облако мрачит
Его чело? Почто главу на руку
Склонил он и, задумчивый, молчит?

Какую ощутил тоску и муку,
Какое горе в сей блаженный час?
Воспомнил ли с любезным с кем разлуку,
Чей светоч жизни до поры погас? —
Средь гласов торжества того святого
Не слышится Ионафанов глас!
Далеко время торжества иного,
Когда, свой первый подвиг совершив,

Он близ него, счастливого, младого,
Его одной любовью был счастлив!
Давид главу подъял и вопрошает: [1]
«Остался ль кто из внуков царских жив?»
И Сива, раб Саулов, отвечает,
Пред властелем повергшись в прах челом:
«С Махиром Лодеварским обитает
Младенец; но он немощен и хром;
Спасен рабыней сын Ионафана,
Когда враги сожгли Саулов дом!»
Что средь унылого, степного стана
В земле бесплодных и сухих песков
Была для странников-евреев манна,
То для Давида сладость оных слов;
К Махиру он послал нетерпеливый
Привет благой и множество даров:
Младенец приведен рукою Сивы.
«Твое всё, чем родитель твой владел,
И все Сауловы стада и нивы,
И всех погибших братиев удел;
И от моей трапезы да вкушаешь!
И не страшись, но весел будь и смел!
А ты, слуга Саула, да питаешь
Потомка господина своего,
Да пестуешь его и сберегаешь!
Ты и весь дом твой — вы рабы его.
И вы, друзья, младенца возлюбите
За кровь мою, за сына моего,
Его вы вознесите и почтите», —
Так царь поведал, и младенца вид
Стал радостен: в Давидовой защите
Ни бед не знал страдалец, ни обид,
И чадо сирое потомка Киса
С детьми своими возрастил Давид.
И он послал и к старцам Иависа, [2]
Которые, отринув низкий страх,
Под сенью схоронили кипариса
Ионафанов и Саулов прах,
И рек им: «Вас благословляю, други!

[1] См. Книгу Царств 2, гл. 9.
[2] См. Книгу Царств 2, гл. 2.

Вы мужи силы в мыслях и делах.
Вы верные и праведные слуги
Саулу, властелину своему;
Его почтили память и заслуги
И оказали милость вы ему:
И окажу и я вам всё благое,
И вы любезны сердцу моему!»

Так царь Давид в блаженстве и покое
И в славе правил областью своей.
В то время провидение святое
Среди роскошных пастбищ и полей,
В тени наследственного вертограда
Беспечный в песнях возносил еврей.
И родились царю в Хевроне чада:
Над праведным царем господен щит;
Давид всего Исраиля ограда;
Амон страшится, филистим дрожит,
Душа Эдома трепетом объята —
И царь уже себе врагов не зрит:
От брега моря до брегов Евфрата
И до Ливанских дерзновенных гор
Нигде уже не видит сопостата
Потомков Авраама смелый взор;
Ни Геф не вышлет рати, ни пустыня,
И умер и в отечестве раздор.
Блажен Исраиль, божия святыня, —
Но царь смирился благостной душой;
Ему чужда строптивая гордыня.
«Бог, — он гласит, — покров и пестун мой;
Он, всемогущий, он моя твердыня!»
И господу воспел псалом святой:

Господь мой бог — мое спасенье; [1]
Он вместо стен мне и забрал,
Мой спас, заступник и храненье!
Меня противник лютый гнал:
Но к богу я воздвиг моленье, —
Он от врагов меня изъял;

[1] См. Псалом 17.

Уж мне отверзся ров могильный,
Но в гроб мне не дал пасть всесильный!

Как шумных, бурных вод потоки,
Так беззакония текли;
Мне сеть расставил муж жестокий,
Злодеи: «Гибни!» — мне рекли;
Я был оставлен, одинокий,
Меня совсюду обошли;
Как жадные ловцы, печали,
Меня страдания обстали.

Взглянул — исчезнула дорога,
Клокочет бездна предо мной:
Тогда призвал я в скорби бога,
Вознесся вопль стенящий мой;
Приник от своего чертога,
Подвигся робкою мольбой
Господь, мой пестун, мой спаситель,
На землю сходит вседержитель:

И возмутилася вдруг, и трепещет она,
И подвиглися гор členования;
Вселенна боязни полна,
Полна ожиданья.
Господь и праведен и строг,
Прогневался на грешных бог!
Восходит дым от яростного гнева,
Возжглися угли от его лица:
Пожрет, как ветвь сухого древа,
Кичливых пламень уст творца!
И небеса склонил неизбежимый,
Сошел, и под его ногами нощь и страх;
Он полетел: летит на ветровых крылах,
Его несут, как буря, херувимы.

Тьму сгустил себе в шатер,
Темноту избрал в обитель;
В тучах мчится вседержитель,
В блесках дивный хор простер.
От лучей и от блистанья
Тают мрак и облака,

В мраке звезды и сиянье
Сеет божия рука.
И возгремел господь с пылающей лазури,
Всевышний глас издал,
И стрелы, молний дождь послал,
Объяли грешных огненные бури,
Нечестия строптивых чад
Погнал, сожег палящий град.

Бледнеет ад: он свет увидел звездный,
Разоблачились те таинственные бездны,
Из них же льется ток морских, безмерных вод,
И тверди пошатнулся свод,
И основания вселенны,
Десницей бога потрясенны,
Смущенны духом уст его,
Явились взору откровенны!

Хвалю и славлю бога моего:
Могущий с высоты небесной
Ко мне склонился помощью чудесной;
Господь мой бог, мой властелин
Изъял меня из яростных пучин.
Он от врагов меня неистовых избавил;
Я погибал, я звал, рыдая и стеня,
Одолевали грозные меня,
На широту меня защитник мой поставил.

Бренный, я не заслужил,
Чадо праха и бессилья,
Благ щедрот твоих обилья,
Боже дивный, боже Сил!
«С мужем правды прав пребудешь,
С мужем лжи меня забудешь» —
Так мне сам поведал ты.
Ты мне не дал пасть, святый!

Так! Богом я спасусь от преисподни
И стогны сокрушу, им укреплен,
Надежны, верны все пути господни,
И чист глагол господень, — и блажен,

Кто верит в мощь и слово пресвятого:
Господь наш бог, и бога нет иного.

Он научил мою десницу брани,
Он силою меня препоясал,
И ноги легкие, как ноги лани,
Он утвердил на вечной тверди скал.
Как медный лук, Давида мышцы стали, —
И се, дрожа, злодеи побежали.

Прославьте бога, струны вы и песни,
Господь мне дал хребет врагов моих —
Я их погнал, — не утомлялись плесни
Доколе не настиг, карая, их,
Доколе гордых не было и следа
И не пожрала их моя победа!

Спаситель не внимал, когда взывали,
Вопили к богу — и ответа нет!
Я свеял, стер их, как письмо с скрыжали,
Как память прошлых, позабытых лет.
Как прах пустыни, ветром разносимый,
Всех смял их под меня неотразимый!

Бессмертный возвеличил и прославил,
Он в мощь меня и радость облачил,
Язы́кам во главу меня поставил
И в князя и вождя еврейских сил.
И люди (их имен не знал я даже)
Прибегли к моему щиту и страже.

Владыки слову моему покорны,
Мне поклоняются племен отцы,
Крамольники познали срам позорный,
И оскудели в замыслах льстецы.
О боже! сколь твои дары велики;
Да вознесут тебя псалмы и лики!

Жив мой господь, мой бог, мой избавитель,
Из рода в поздний род благословен:
Им сокрушен могущий мой гонитель,
Им алчущий души моей сражен;

В услышанье народов всей вселенной
Я воспою тебя, благословенный!

Креплюсь и процвету, тобой хранимый.
Неизреченным светом озаря
И благодатию непостижимой,
Ты из рабов избрал меня в царя,
И чад моих покров ты и спаситель:
Жив мой господь, мой бог, мой избавитель!

ЭПИЛОГ

Так возносил Давид, восторженный душой,
Хвалебный, звучный глас, мой боже, пред тобой!
А я — я ныне что? — Тобою укрепленный,
Благий! я совершил мой подвиг дерзновенный,
Он кончен; но еще недоумею я,
Но зыблется еще в сомненьях мысль моя;
Взгляну ли на мой труд, столь тягостный и смелый,
Сравню ли с ним моих бессильных дум пределы,
И скудость данных мне животворящих снов,
И бремя на меня наложенных оков, —
Тогда вещаю я в душе моей: «Ужели
Я, слабый, *я* достиг незримой, дальней цели?»
Так боязливый муж, преследуем врагом,
Чрез бездну прядает, отчаяньем влеком,
И стал, и весь дрожит, и бездну взором мерит,
И шепчет: «Здесь я, здесь!» — и всё еще не верит.
Нет, нет! мой господи, мой боже, боже Сил!
Единый ты меня, слепого, озарил,
Единый, дивный, ты мне был путеводитель:
Тебе единому хвала, о вседержитель!
И что я? сын грехов. Но с тайной высоты,
Всесильный, вечный бог, ко мне склонился ты.
Не ты ли мне явил источник вдохновений
В священном свитке тех бессмертных песнопений,
Которые поет народов мира слух,
В которых излиял твой чудотворный дух
В стране Исраиля, в младенческие веки
Златые, полные глаголов жизни реки?
Душою к ним стремлюсь; так жаждущий олень,

Послыша говор вод в степи в палящий день,
Преклонит чуткий слух, встрепещет, встрепенется
И к хладному ручью, как буря, понесется.
Нет, пламень не земной горит в святых певцах;
Живет господень дух в могущих их струнах;
Не отцветет вовек сионских песней младость:
В них ужас и восторг, и сила в них и сладость.
Отверзет ли уста провидец зол, пророк, —[1]
Всесокрушающий, дымящийся поток,
Он проповедует вселенной гнев владыки,
Смывает грешные с лица земли языки,
Клокочет и гремит ревущий водопад,
Восходит в небеса и раскрывает ад —
И ад исполнился и хохота и стона;
Тебя приветствуют, властитель Вавилона.
«Могущий, ты ль сошел в жилище темноты?
И ты, как мы, пленен, сравнился с нами ты!
Зловоние и смрад постелят под тобою,
Тебя покроет червь. Поведай, чьей рукою,
Денница светлая, ты сорван был с небес?
Поведай, как ты пал, как с тверди ты исчез?
«Подобен вышнему престол над тьмою звездной
Поставлю» — ты ль вещал? — и поглотился бездной!» —
Так страшному в царях со скрежетом рекли,
Подъемлясь из гробов, мучители земли.
Но что? глагол суда рыданья заменили:
От Рамы слышен вопль; то стон и плач Рахили:
«Нет, нет их! — вопиет. — Я всех их лишена!»
И не утешится над чадами она.
Сколь беспредельна скорбь твоя, Иеремия!
Кровавы слезы те священные, драгие,
Те слезы горькие, роса твоих очей,
Которые струишь по родине своей!
Господню ангелу подобен, стражу рая,
Сверкающий мечом над грешником Исая, —
Но с кем *тебя* сравню? мед льют твои уста
И вместе смерть — и кто, как ты, рыдал когда?
А разве тот отец, тот праведник злосчастный,
Который под топор закона беспристрастный,

[1] См. Пророка Исаию, гл. 14, стих. 9 и проч.

Сам умирающий, растерзан, но суров,
Обоих осудил души своей сынов.
На вещий глас сердца снедающей печали
Страданья и мои проснулись и восстали:
Меня господь мой бог во гневе помянул,
Каратель на меня иссыпал весь свой тул,
Тул ярости своей, стрел смертоносных полный.
О грозный! надо мной прошли твои все волны, —
И руку, господи, благословлю твою:
Испив вино греха, из чаши скорби пью.
Но ты ли примирен? Каким вещаньям внемлю?
И кто чудесный сей? почто сошел на землю?
Так, узнаю! — Давид с превыспренних светил
В волнуемую грудь мне мир и веру влил.
Когда он возгремит, его златые струны
Сжигают, как огонь, сверкают, как перуны.
Но слаще меда мне в унылый, темный час
Смиренный, тихий вздох, души Давида глас.
Всё, всё он испытал: паденье, покаянье,
Разлуку и любовь, и радость и страданье,
Наказан господом и вновь утешен им,
Он пел, и ликовал, и плакал пред благим.
К его глаголам я язык мой приучаю, —
«Почто прискорбна ты? — и я, как он, вещаю, —
И почему меня мутишь, душа моя?
На бога уповай: его прославлю я.
Неизреченный! ты мой щит, мое спасенье,
О боже! сколь твое возлюблено селенье!
В селении твоем в день зол меня покрыл
Не ты ли сению твоих незримых крыл?»

1826—1829

201. ЗОРОВАВЕЛЬ

I ЧАСТЬ

Над войском русского царя
В стенах Тавриза покоренных
Бледнеет поздняя заря;
На минаретах позлащенных,
Дрожа, последний луч сверкнул;
Умолк вечерней пушки гул,
Умолк протяжный глас имана,
Зовущий верных чад Курана
Окончить знойный день мольбой.
Но в сизом дыме калиана, [1]
Безмолвной окружен толпой,
Сидит рассказчик под стеной
Полуразрушенного хана [2]
И говорит: «Да даст Алла [3]
Устам моим благословенье!
Да будет речь моя светла
И стройно слов моих теченье!
О чем же возвещу, друзья?
Нет, Рустма, Зама, Феридуна [4]
Не славлю: слаб, бессилен я;
Их славить нужны блеск перуна,
Морей обилье, глас громов. . .
А всё ж мое повествованье
Прольется по земле отцов:
Пред вами повторю сказанье
Заката хладного сынов
О Даре, прежних дней светиле, [5]
И юных трех его рабах.

В хранимой ангелом могиле
Да спит их безмятежный прах!

Над миром воцарился Дара:
Он тень руки своей благой
Простер над широтой земной, —
И Милосердие и Кара,
Его крылатые рабы,
Стоят пред ним и ждут глагола,
Да сотворят его судьбы;
И се — едва кивнет с престола
Челом могущим пади-ша, [6]
Летят быстрей, чем блеск зарницы,
И по делам из их десницы
Приемлет всякая душа,
Безмолвной полная боязни,
То воздаяния, то казни.

Был пир в дому царя царей,
И в дом его благословенный
Толпа сатрапов и вождей
Стеклась со всех концов вселенной.
С пределов Синдовых пришли: [7]
Там Митры колыбель святая; [8]
Оттоле по лицу земли,
Потоки света изливая,
Он шествует по небесам
И раздирает ткань тумана
И принимает от Ирана
Благоуханный фимиам.
И с фараоновой могилы,
Где, жизнь Месрема, тучный Нил [9]
Меж пирамидами почил,
Явились в Сузу мужи силы.
Явился и ливийский вождь:
Там по годам не капнет дождь,
Но страшны там иные тучи,
Но в бурю океан сыпучий
Кружится, катит страх и смерть
И тьмит песка волнами твердь; [10]
Там слепы умственные очи,
И, духом дремля, человек

Без дум начнет и кончит век,
И в черный кров угрюмой ночи
Не Аримана ли рука [11]
И образ смертных облекла?
Примчался парфский воевода,
Носящий за плечами лук;
Из Балка, жительства наук,
Предстали пастыри народа:
С полудня, севера, восхода,
Из Скифии, страны снегов,
С утесов Фракии холодной,
Из Сард, из Сирии безводной,
С Эллинских тучных островов,
Из Лидии, из дому Креза. . .
На памятный вовеки пир
Мужей, держащих в длани мир,
Созвала царская трапе́за.

И два дня верных слуг своих,
Князей войны, князей совета,
Честит властитель Царства света.
На третий, уклонясь от них,
Встает, идет в свою ложницу,
Сложил венец и багряницу
И, мощной утомлен душой,
На одр простерся на покой.
Ложницу Дары ночь одела
И днем прохладной темнотой;
И трое страж царева тела,
Да не проникнет тайный враг,
Хранят его священный праг.

И кто же юные герои?
Родились где? их первый шаг
На поле славы и отваг
Какие увенчали бои?

Что с виду старший из троих,
Румяный, полный и высокий,
Власами русый, светлоокий,
Покинул там богов своих,
Где отразились башни Смирны

В зерцале Средиземных вод,
Гостей сзывает торг всемирный
И в неге ослабел народ.
В садах Ионии цветущих
От братьев и отцов могущих
Наследье греков — лишь язык.
Роскошствуют в златой неволе
Под грозным скипетром владык,
Сидящих на святом престоле,
Который основал Джемшид,[12]
С которого, гроза гордыне,
Великий сын Густаспа ныне [13]
Хранит бессильных от обид.
Так! упоительной отравы,
Опасной сладости полна
Младого витязя страна;
Но бодрого любимца славы
Отторгла от зараз война.
Его товарищ ниже: жилы,
И грудь, и мышцы кажут в нем
Избыток нерастленной силы;
Он важен и суров лицом,
Владеет легкостию барса;
Как смоль, черна густая бровь;
Питомца гор, прямого парса
В нем неподмешанная кровь.
Отцы и братия героя
Мечтают об одних боях;
Им в неприступных их скалах
Ловитва тень и образ боя.
Им любо с дикого коня
(Конь весь из ветра и огня,
И шумный бег быстрее бури),
Пуская меткую стрелу
За тучи прямо в грудь орлу,
Орла сразить среди лазури.
Сверкнет ли в солнечных лучах
Их легкий дротик — хладный страх
Объемлет серн роговетвистых:
Кидаются с стремнин кремнистых,
Летят — исчезли в облаках.
Их грозного копья в лесах

Зоровавель.

1. Часть.

Надъ столицей Русскаго Царя
Въ степяхъ Таврида покоренныхъ
Блистаетъ поздняя заря;
На минаретахъ позлащенныхъ,
Дрожа, последній лучъ сверкнулъ,
Умолкъ вечерній пушки гулъ,
Умолкъ протяжный гласъ Имама,
Зовущій верныхъ чадъ Курана
Свершить земный усердъ молебъ.
Но въ сводахъ древнихъ Калиана, *1
Безмолвной окруженъ толпой,
Сидитъ разсказчикъ подъ стеной
Полуразрушеннаго Хана *2
И говоритъ: "Да здравствуетъ Алла *3
И пламень мощи благословенье!
Да будетъ рать моя скоро
И странно слово моихъ печально!
О чемъ же повѣствую, друзья?
Нѣтъ, Рустема, Зама, Фердуси *4
Не славны: слава, обзеленѣ;
Ихъ повести кругъ блескъ пыли,
Мадрид обилье, и гласъ тропъ...
А все же мое повѣствованье
Промчится по земле отъ годовъ:
Предъ вами повторю сказанье
Забытаго хладнаго сынове
О Дарій, о прошлыхъ дней свободныхъ, *5
И славу предъ его рабовъ
Въ храбрый Александро мечатъ
Да миръ мой благородный храбро!

Надъ міромъ величавой Дарій:
Сей мечъ руки своей могучей
Простеръ надъ широкой землей,—
И Милосердіе и Правда
Его крепкіе раба,
Стоятъ предъ нимъ и подле трона
Да исполняютъ его суды;

Трепещут яростные тигры.
Всё в них отвага; даже игры
И в лоне мирной тишины
Являют парсу вид войны;
И тот же конь, участник в битве,
Участник в дерзкой их ловитве,
И тут участник: то на нем,
То вдруг под ним, в весельи диком,
Несутся друг за другом с гиком,
Несутся и тупым копьем
Чалму сбивают с непроворных.
Не сходны камни парсов горных
С холмами Греции златой.
И оба стража меж собой,
Эллады сын красноязычный
И парс, едва ли не немой,
Душой и образом различны.

Но третий, младший их клеврет,
Как дева нежный, ростом малый;
Его уста, как роза, алы,
Цветов царица, райский цвет,
Которым до земли одет
Эдема Тузского шиповник,
К которому летит любовник,
Весенний страстный соловей [14]
И, сокровен от всех очей,
В душистой тьме поет и стонет
И в море сладкозвучья тонет.
Как дева нежен, ростом мал
Юнейший страж из стражей Дары;
Но отроку Бессмертный дал
Тот взор, пред коим буйство свары
Дрогнёт, и вспять за свой рубеж
Подастся трепетный мятеж.
Откуда витязь величавый?
Совета муж или боец,
Сатрап, ревнитель бранной славы,
Счастливца сча́стливый отец?
Неведомо героя племя;
Склонил же витязь на себя
Цареву благость в оно время,

Когда, карая и губя,
Неукротимый в гневе Дара,
Свергая души гордых в ад,
Брал на копье крамольный град
Раба Персиды, Валтасара:
В тот день неистовый халдей,
Царевых поразив коней,
На самого занес десницу;
Но вдруг с чудесной быстротой
Пронзил крылатою стрелой
Безвестный юноша убийцу.
И Дара юношу того
Взял в стражи тела своего.
Кто он? — не знают. Верить слуху?
И родом не уступит духу,
Живущему в груди его.
«Не у него ль и взор владычный? —
Так шепчет шепот стоязычный. —
Нет, дед его или отец
Носил порфиру и венец».

Почиет в сладостном покое
Властитель Дара; всё молчит —
Не брякнет меч, не звукнет щит;
Младые витязи — все трое,
Недвижные средь тишины,
Дыханья, скажешь, лишены;
Узнаешь только из сиянья
Их взоров, что не изваянья,
Что был у них живой отец
И в свет их вызвал не резец,
И в день господня правосудья
Не позовут того на суд,
Чей дерзостный, безумный труд
И богохульные орудья
Им образ дали, но в их грудь
Не возмогли души вдохнуть».

Один из слушателей

Уста кумиров в день конечный,
Когда разгонит ложь и тьму
Святое солнце правды вечной,

Творцу промолвят своему:
«Твои мы, Аллы подражатель!
Твои мы: узнаешь ли? зри!
Ты дал нам тело, наш создатель,
Нам ныне душу сотвори!»

Другой

И грешник от лица господня
Тогда, трепéща, побежит:
Но гром суда его сразит
И с смехом примет преисподня.

Рассказчик

«Подобно истуканам сим,
О коих на вопрос пророка
(Да будет слава Аллы с ним!)
Принес благим сынам востока
Седьмую суру Серафим, [15]
Стояли стражи. Хуже казни
Для грека тишину хранить:
Вся жизнь их разговоров нить;
Так наконец же, полн боязни,
Прервал безмолвье юный грек
И с шепотом клевретам рек:
«Напишем, други, каждый слово,
И сердце каждого в своем
Да будет смело и готово
Пред царским устоять лицом;
И на того, кто превозможет,
Чей мощный, веса полный стих
Стихи клевретов уничтожит,
Властитель Дара сам возложит
Единую из риз своих. . .
Так! верьте мне: щедротой дивной
Великий царь почтит его;
Счастливцу дастся торжество;
Украшен многоценной гривной,
Виссонный вознося кидар,
Блестя, сияя, словно жар,
Он в колеснице златовидной
Народным явится очам;
В устах и зависти постыдной

Конца не будет похвалам;
Блажимый севером и югом,
В градах, в чужбине, средь степей
Он ради мудрости своей
Царевым наречется другом
И сродником царя царей». [16]
И вняли юноши клеврету,
И молча каждый из троих,
Благому следуя совету,
На свитке написал свой стих;
И свиток запечатан ими,
И, чуть дыша, один из них,
Избранный братьями своими,
Как дух бесплотный скор и тих,
В ложницу входит. Сном же здравья,
Усталости отрадным сном,
Парящим редко над челом,
Одетым в блеск самодержавья,
Спал царь; и под парчу возглавья
Посол клевретов свиток их
Кладет — и вышел из ложницы,
Быстрее поднебесной птицы
И как весны дыханье тих.
«Увидит царь царей писанье —
И возгорится в нем желанье
Нас искусить в словесной пре,
И мы сразимся при царе,
И в силу оного устава,
Которым искони была
Иранских властелей держава
Во всей подсолнечной светла,
Тот в битве сей увенчан будет,
Победу стяжет тот из нас,
Кому ее сам царь и глас
Трех избранных вельмож присудит». —
Так юноши между собой
Вещают, к сладостной победе
Летят кипящею душой
И ставят грань своей беседе», —

II ЧАСТЬ

Рассказывал в кругу друзей
Рассказчик, старец беловласый;
А серп чудесный, жнущий класы
Тех горних, тех немых полей,
В которых не бывал из века
Внимаем голос человека, —
Ладья надоблачных зыбей,
Орел эфира среброкрылый,
Могущий вождь небесной силы,
Пастух бессмертный стад ночных —
Луна, царица звезд златых,
Блеснула сквозь покров тумана
И в сладостный блестящий свет
Одела темный минарет,
Наш стан, Тавриз, поля Ирана
И дальных снежных гор хребет;
И старец к ней, лампаде ночи,
Безмолвствуя, подъемлет очи.
Но вот он вновь возвысил глас
И продолжает свой рассказ:

«Великолепен, светел, страшен,
Тиарой блещущей украшен,
Подобье, образ и посол
Могущества и славы бога,
Среди советного чертога
Восходит Дара на престол;
Воссел — и радостный глагол
Медяных труб устами грома
Колеблет свод царева дома;
И пали на помост челом
Князья войны, князья совета,
Сатрапы, слуги Царства света;
Но царь повел златым жезлом —
И глас торжественного шума
И треск стенящих труб утих;
«Восстаньте!» — молвил сонму их,
И светлая восстала дума:
Так ветер, сын кавказских гор,
Преклонит в тучном поле класы;

Но ветра миновал напор —
Подъемлют верх свой златовласый.

Вещает царь своим рабам:
«Спустился ангел в море мрака,
Дал сладкий сон моим очам —
Глухой, глубокий, без призра́ка,
Без дикой, суетной мечты,
Исчадья Царства темноты;
И, сном тем дивно укрепленный,
Душою мощен, смел и бодр,
Я на заре покинул одр
И, пламень воспалив священный,
Почтил создателя вселенной;
Но, данный матерью моей,
С пелен служащий мне служитель,
Муж, ложа моего хранитель,
Обрел в покровах свиток сей.
И ныне, други, мне внемлите:
Снимите с хартии печать,
Прочтите вслух при всем синклите;
А кто писал, тому дадите,
Что повелел ему воздать
Наш богом посланный учитель...
(Благословен во всех веках
Да будет, божий муж, твой прах,
Зердужт, Ирана просветитель!)»

И рек советнику: «Возьми!»
А тот советник из семи,
Что день и ночь лицу владыки
Без усыпленья предстоят,
И зрят князей и их языки,
И растворяют крылья врат,
Из коих истина царева
Исходит, праведная дева,
Земле износит чашу гнева
Или же благости сосуд
И возглашает правый суд.
Им имя: царской власти уши
И очеса царя царей;
Орлиных взоров тех судей

В дубравах и в пустынях суши
И на скалах среди зыбей
Дальнейших яростных морей
Виновные страшатся души.
Подобны судьи семерым
Первейшим из небесной рати,
Затмившим блеск бессмертных братий
Сияньем чудным и святым,
Звездам незаходимой славы,
Одетым в пламень, мощь и страх,
Столпам Ормуздовой державы,
Участникам в его делах.
Трикраты преклонясь во прах
Златого дивного подножья
Царя царей, подобья божья,
Светлейший князь в земных князьях,
Ему же мудрость — одеянье,
Щедрота — пояс, честь — кидар,
А в длани жезл суда и кар,
Приял из рук царя писанье.
Он снял с писания печать —
Объяло души ожиданье, —
И муж совета стал вещать:

«Трояко знаков начертанье,
И смысл и вес трояки в них;
«Нет силы, — учит первый стих, —
Вину могущственному равной».
«Сильнее мощь руки державной», —
Так утверждает стих второй;
А третий: «Пред своей рабой
Смирится и людей властитель;
Но всякой силы победитель —
Священный, чистый правды свет,
Сильнее правды — силы нет».

И Дара вновь приемлет слово:
«Различен смысл и вес стихов;
Да узрю хитрых их писцов,
Да будет сердце их готово
Писание десницы их
При мне и всем моем синклите

В разумной отстоять защите
Противу спорников своих!»

Из стражи царской, в то же время
Являя в пламенных очах
И дерзновение и страх
(Тягчит их дум противных бремя),
Три стража юные исшли
И поклонились до земли.
И молвил царь: «Увенчан будет,
Победу стяжет тот из вас,
Кому ее правдивый глас
Трех избранных вельмож присудит», —

И раз еще царя почтив,
Младой боец, рожденный Смирной,
Где даже пахарь, взятый с нив,
С юнейших дней красноречив,
Отверз уста для битвы мирной
И рек: «Война ли не страшна?
Не бич ли и не ужас мира?
И, непостижных чар полна,
Святая не сильна ли лира?
Но их сильнее власть вина.
Не много душ, избранных богом;
Разит и сладостный перун,
Катящийся с священных струн,
Немногих только в сонме многом.
Колеблет землю гул побед,
Весь ад в свирепом зраке боя;
И что же? минул срок героя, —
Он пал, исчез и самый след.
Но кто ж цельбой сердечной жажды,
Вином, гонителем скорбей,
Кто жизни горестной своей
Не услаждал хотя однажды?
Отцы, скажите: кто из вас
В венке из роз, с фиалом в длани,
Под гром веселья, в светлый час
Не испытал тех волхований,
Ничем не одолимых чар,
Каких исполнен дивный пар,

Который льется в души наши
С широкой, напененной чаши?
Мы узники тяжелых уз,
Когда гортани наши сухи:
Но кубка и свободы духи
Бессмертный празднуют союз;
А смех и духи песнопенья
Пируют с духом упоенья.
Вино всесильно, как судьба:
Сравнив владыку и раба,
Срывает цепи с заключенных,
Врачует боль больных сердец,
Восторг вливает в огорченных,
Дарует нищему венец.
В вине любовь, в вине отвага:
Друзей и братий из врагов,
Из агнцев же бесстрашных львов
Творит божественная влага.
Кто пьет, тому что до князей,
Что до вельмож и сильных мира?
На нем и на самом порфира:
Все земли под рукой своей
И все сокровища вселенной
Он видит, щедрый и блаженный.
Когда ж восстанет от вина —
Всё, как обман пустого сна,
Исчезло: прежний, бедный нищий,
Он прежнюю влачит судьбу,
Идет без крова и без пищи,
Идет — и рабствует рабу.
Так, други, не на дне ли чаши
Богатство, счастие и честь?
Но тут же дремлют гнев и месть.
Проснутся ли — и руки наши
К кровавым устремят мечам;
Свирепым преданы мечтам,
Мы в брате видим сопостата —
И зверски растерзаем брата, —
И вот очнулись: воскресить
Не можем бледного призра́ка;
Всё плавает в тумане мрака;
Разорвана видений нить...

Когда ж неистовое дело
Нам возвестят уста других,
Тогда, дрожа от слова их,
Мы осязаем руки, тело, —
И что ж? в оковах! и у тьмы
Ответа просим: мы ли мы?
Ужасна грозная война,
Не слабый дух витает в лире;
Так! — но всего сильнее в мире,
Всё побеждает власть вина».

Тут грек умолк, и парс угрюмый
Предстал пред суд правдивой думы,
Почтил царя царей и рек:
«Землею правит человек,
И море, чуд и рыб обитель,
Ему ж рекло: «Ты мой властитель!»
И вся пред ним трепещет тварь.
Но над людьми поставлен царь —
И все без спору, без медленья
Свершают уст его веленья:
На сонмы яростных врагов
Пошлет ли их, своих рабов, —
Пусть видят гибель пред очами,
Но йдут шумными толпами,
Их не страшат ни смерть, ни ад;
Бросают огнь в дрожащий град,
Свергают в прах богов святыни,
Стирают скалы и твердыни, —
И превращают рай отрад
В прибежище зверей пустыни.
И что ж? — усердные рабы
Летят с полей свирепой брани
И пред владычные стопы
Кладут сокровища и дани.
А там в отчизне братья их
В кровавом поте лиц своих
Земное лоно ралом роют,
Сады сажают, домы строят,
Сбирают тучный виноград,
В сосуды ж льют златые вина;
Но прежде жен своих и чад

По жатве вспомнят властелина.
С стяжанья тягостных трудов,
С благих даров щедроты неба,
С ловитвы, стад, вина и хлеба,
С начатков всех земных плодов
Царю приносят приношенья;
К приносам нудят сами всех,
И не принесть татьба и грех,
И не потерпят утаенья.
Тьма тем их; он же — он один;
Но те рабы — он властелин.
Речет: «Убейте!» — убивают;
Речет: «Щадите!» — и щадят;
Речет: «Разрушьте!» — разрушают;
«Создайте!» — зиждут и творят.
И жизнь и смерть — царевы очи;
В устах его и срам и честь;
Улыбка — свет, гонитель ночи;
Насупит брови — грянет месть,
Падут к ногам его владыки
И душ своих слепую лесть
Оплачут падшие язы́ки.
Он видит под рукой своей
Все мысли, все сердца людей;
А сам, над всеми возвышенный,
Сатрапов сонмом окруженный,
Как ясный месяц сонмом звезд,
Блажен! — почиет, пьет и ест
И мышцы не трудит священной.
Те ж не дерзнут в свои пути,
К своим делам и начинаньям,
От властелина отойти.
Благих отрада, злых смиритель,
Всемощен смертных повелитель,
И на земле нет никого,
Под солнцем нет сильней его!»

И витязь младшему клеврету,
Преклоншись, место уступил,
И юноша предстал совету,
Синклиту царских дум и сил,
Почтил царя и возгласил:

«В начале мира, в утро века,
Когда творить престал творец,
Он взял сияющий венец
И возложил на человека;
Всех птиц, и рыб всех, и зверей
Бог покорил руке людей.
Велик, велик, кто их властитель,
Властителей вселенной всей;
И паче всех земных сластей
Вино — могущий обольститель...
Но кто ж быстрее и вина
И с властью, большей царской власти,
В нас воспаляет пламя страсти?
Ужель не та, что создана
На радость нам и на страданье,
Господне лучшее созданье,
Ужель, — скажите, — не жена?
Скажите, не жена ль родила
Всех вас и самого царя?
Так ранняя родит заря
Жар жизнедатного светила.
Почто твои безмолвны стены,
Почто из камня ты и нем?
Но всё ж поведай мне, харем,
Как день свой совершают жены?
Их вертено прядет волну;
Игла пленяющие взоры
Выводит по ковру узоры;
А челн несется по стану
Туда, сюда, живой и шумный,
И мудро начатую ткань
Кончает знающая длань;
В то ж время речию разумной
Их изобилуют уста:
Венчает силу красота,
Приемлет злоба посрамленье;
Не жен ли песнь и прославленье
Всех смелых подвигов мета?
Они молве, своей рабыне,
Вещают: «Доблестным бойцам
Ты место дай в своей святыне,
О них поведай всем ушам!»

Пред пламенем лучей рассветных
Что сумрак пасмурных ночей?
Что пред сияньем *их очей*
Сиянье камней самоцветных?
Не предпочтет богатств несметных,
Ни царской власти высоты
Улыбке юной красоты
Тот, кто волшебной, тайной силой
В златых оковах девы милой.
Мелькнет ли меж домов градских,
Как в тихий вечер лебедь стройный
Мелькает по реке спокойной,
Царица из сестер своих,
Одна из тех, которых брови,
Уста, чело — престол любви,
Которых кудри — сеть сердец,
А звук златых речей — певец,
Создатель и смиритель муки,
За грудь же, рамена и руки
И царь бы отдал свой венец —
Мелькнет ли? — даже чернь тупая,
Трудящийся в пыли народ,
Секиру, заступ покидая,
Расступится, как волны вод,
И взор поднимет изумленный
На плавный, величавый ход
Мужей владычицы смиренной.
Бросаем мы домашний кров,
Отца и мать, друзей и братий,
Идем из верных их объятий, —
И что влечет нас в край врагов?
Мы прилепилися любовью
К жене, и племенем, и кровью,
И даже речью нам чужой,
В чужбине ж о стране родной
Уже не помним и не тужим...
Жена ли не владеет мужем,
Когда, труждаясь для нее,
Ей посвящает все заботы,
Мечты, страдания, работы,
Дыханье, мысли, бытие? —
Берет оружие свое,

Восстал — и для жены любезной
Течет в свой путь во тьме ночей
Исторгший из груди железной
И страх и жалость, муж кровей,
Не дрогнув, жизнь людскую косит,
Как жнец прилежный злак полей;
И что ж? добычу *ей* приносит!
Не убоится человек
Ни льва, страшилища дубравы,
Ни змей, ни яростной отравы,
Ни бурь морских, ни шумных рек, —
Для той, которую полюбит,
Дерзнет в убийственную брань,
Желанную похитит дань —
Или же жизнь свою погубит.
И возмогу ль исчислить всех,
Сотворших неискупный грех
Для женских перелетных взоров,
Забывших бога средь утех,
Погибших жертвою раздоров?
Иные ж, став в позор и смех,
Рабы безумья и печали,
Мечом руки своей же пали.
О старцы! мне откройте вы:
Кто боле властелина Дары?
Пред ним дрожат мятеж и свары,
И, как пред солнцем цвет травы,
Так вянет пред царем гордыня:
Венец его ли не святыня?
Коснется ли его главы,
Над всей землею вознесенной,
Из смертных самый дерзновенный?
Но одесную же царя
Я зрел наложницу цареву,
Красу харема, чудо деву,
И гасла светлая заря
Пред светом сладостного зрака
Прекрасной дочери Вартака;
И зрел я (возвещу ли вам,
Когда не верил и очам?),
Я зрел: рукой неустрашимой
Она играла диадимой,

Снимала с царского чела,
Свое чело венчала ею
И левой дланию своею
(Как первый снег, та длань бела)
Владыку била по ланите!
Вы зрелой мудрости полны,
Мне, отроку, вы возвестите,
Что на земле сильней жены?»

Так юноша, восторга полный,
Вещал о силе жен и дев;
Речей его златые волны
Вливались в жадный слух царев;
С улыбкою едва приметной
Властитель взор менял на взор
Сатрапов храмины советной,
И весь безмолвствовал собор».

III ЧАСТЬ

Своим устам седой вещатель
В то время краткий отдых дал;
Всё было тихо, мир молчал,
И лишь иной повествователь —
Поток, падущий с диких скал, —
Высказывал безмолвной ночи
Те тайны, коих смертны очи
Еще не зрели, коих слух
Питомцев мудрости надменной
Не уловил из уст вселенной.
Парил под небом темный дух,
Призра́ков бледных повелитель,
И мертвых отпирал обитель,
И отворял подземный дом
Немых страшилищ и видений.
Под сумрачным его крылом
Сидели персы, словно тени;
Лишь в руки из ближайших рук
Передаваем был чубук.
Сверкали трубки; дым же сизый,
Вияся над главами их,
Развалину одел, как ризой.

Всё спало: ветер даже стих;
Лишь изредка чуть слышный шепот
Вливался в беспрерывный ропот,
В глухие стоны волн живых,
И только отзыв часовых
Впервые в сем раю Ирана
Из Русского носился стана;
И древний днями человек,
Вития старины священной,
Перстами по браде почтенной
Повел, чело подъял — и рек:

«Среди богатств земных несметных
Есть много жемчугов драгих,
Есть много камней самоцветных;
Но кто же уподобит их
Жемчужине неоцененной,
Которой за града вселенной,
За царства мира не хотел
Отдать халифу царь Цейлона? [17]
Дубравный ли медведь не смел?
Не смел ли тигр, виновник стона,
Смятенья, вопля пастухов?
Но страшен тигру голос львов;
От взора льва медведь косматый,
Незапным ужасом объятый,
Спешит сокрыться в глушь лесов.
Цветов весенних много, други;
Но что они? рабы и слуги
Царицы всех земных цветов,
Улыбки радостного мира,
Роскошной розы Кашемира.
Не так ли точно? слышишь речь:
Громка, сдается, и умильна,
Как шумный водопад, обильна,
Разит и режет, словно меч;
Но если высших вдохновений
Чудесный, животворный гений
Издаст могущий свой глагол
И, вихрем яростным гонимый,
Как океан необозримый,
Покроет вышину и дол, —

Тогда от слова, коим прежде,
Пленяясь, услаждали дух,
Усталый отвращаем слух.
Подобно в сребряной одежде
Сияет ночию луна;
Но мир златое дня светило
Слепящим блеском озарило —
Лишается красы она,
И вот, как серый дым, бледна,
И носится в полях лазури,
Как туча, легкий мячик бури.

О братья! древен я и слаб
И вижу пред собой могилу:
Кто даст мне и огонь, и силу,
С какою юный мудрый раб
Царя, светильника вселенной,
Вещал об истине священной?
Ирана царь и мужи сил
Безмолвны отроку внимали.
Пред ними отрок возгласил:
«Цариц веселья и печали,
Жен, ясных наших дней светил, —
Их власть уста мои вещали.
Скажу об истине... Пловец
Отважный муж, питомец Тира,
Не ведает пределов мира,
Не знает, где земле конец;
А небо, други? — Сколь высоко!
Чье возмогло исчерпать око
Сей кладезь тьмы и глубины,
Сей океан лучей и света?
Лампады ж горнего намета
Ужели были сочтены?
Направил царь пучин воздушных
Вдаль, в глубину безбрежных волн
Свой золотой, блестящий челн
Средь туч огня, ему послушных.
В неизмеримое течет,
Путям его нет исчисленья;
Но быстрый суточный полет
Его туда же принесет,

Где был восток его теченья.
Велики божие дела,
Велики рук творца созданья,
Но Истина их превзошла,
И вечен блеск ее сиянья:
Из-под ярма неправд и зол,
Земля в цепях, во тьме обманов,
Зовет, подъемлет свой глагол;
И будто солнце из туманов,
Так Истина пошлет свой луч
И от ее живого зрака,
Как пар седых, ничтожных туч,
Так вмиг растает царство мрака.
Поют и славят небеса
И ей гласят: «Сияй, святая!»
Пред ней душа трепещет злая
И вянет ложная краса.
Суды ее непостижимы,
И в них господни чудеса:
Их слышит праведник гонимый
И на стезе своей прямой
Крепится радостной душой.
Обидеть может всё земное:
Вино, и властель, и жена;
Лукавых дел земля полна;
Людское племя — племя злое.
Пусть дело самое благое
Покажет лучший человек, —
Но всё он персти сын ничтожный;
Не смертным устоять вовек
Пред взором правды непреложной.
Стремишься к грозной высоте,
Достигнуть горней мнишь святыни,
Но недоступна для гордыни,
И тщетно жертвуешь мечте.
Игра страстей, и снов, и счастья,
В густой, суровой тьме ненастья
Ты ждешь, не рассветет ли твердь.
Ты ждешь — и что ж? как тать, приходит
Нежданная, глухая смерть
И в темный дом тебя уводит.
Но вечна Истина, и власть

И свет ее живут вовеки;
Не гасят их ни рок, ни страсть,
Ни духи тьмы, ни человеки.
И царь и раб равны пред ней;
Всегда ее отверсты очи;
Врагов не знает, ни друзей,
Не ведает ни сна, ни ночи.
И тверд ее надежный щит,
И все ее обеты верны,
И всякой лжи, и всякой скверны,
Обмана всякого бежит.
Даны ей мощь, и страх, и царство;
Пред нею млеет и дрожит
И гибнет всякое коварство».

И отрок, свыше вдохновен,
Как молнией, сверкая взором:
«Бог истины благословен!» —
Воскликнул громко пред собором.
«Во всех веках от всех племен!» —
Воскликнул Дара, царь Ирана,
И мужи думы, мужи стана
Воскликнули: «Благословен!»

«Ты победил, — сказал властитель. —
Дерзай же ныне, победитель, —
Проси; тебе я дать готов
Не в силу нашего обета,
Но высше, больше наших слов:
Да наречешься другом Дары
И сродником царя царей...
Так! ради мудрости своей
Ты сядешь близ меня и свары,
Раздоры и вражду людей
Рассудишь, судия судей!»

Но юноша простер вещанья:
«Да буду без язы́ка я
И в божий день без оправданья,
Да снидет в мрак душа моя,
В обитель вечной укоризны,

Когда не воззову к тебе
И позабуду о судьбе
Своей рыдающей отчизны!
О Дара! помяни, что рек
В тот день, в который в багряницу
Впервые плечи ты облек, —
В тот день ты к господу десницу
Воздвиг и обещал: «Внемли,
Верховный царь царей земли!
Внемли мне, давший диадиму
И жезл державства сим рукам!
Опустошенному Салиму
Я вновь и жизнь и силу дам,
И разоренный Вавилоном
Вновь над святой горой Сионом
Восцарствует твой светлый храм».
Да сотворишь по тем словам:
Вот всё величие и слава,
О коих я молю царя!
Твоя ж священная держава
Создавшим землю и моря
И власть и мудрость человека
Да сохранится в век из века!»

Царь средь вельмож своих молчал
И без ответа, без глагола
С златого поднялся престола —
И юношу облобызал.
Потом немедля шлет посланье
Ко всем наместникам своим:
«Евреев кончилось изгнанье,
Их возвращаю в град Салим.
Их провожайте, их храните
И хлебы в путь давайте им, —
В моей, царевой все защите.
А вы, рабы мои, внемлите,
Вы все, сирийские цари,
И князи Тира и Сидона, —
Обид никто им не твори!
Да рубят кедры с Ливанона
И восстановят божий храм,

И по словам живут закона,
Который дан был их отцам.
Сосуды ж — медь, сребро и злато,
Из храма взятые когда-то
Алчбою буйственной войны, —
Из-под заклепов Валтасара
Пусть будут им возвращены».
Еще же тем не кончил Дара,
Рек пестуну своей казны,
Сбирателю народной дани:
«Да не затворишь ныне длани!
С избытков и богатств моих
На построенье храма их,
Пока не узрит совершенья,
Ты двадесять талантов в год
Им отпускай из рода в род.
Назначу же и приношенья,
Почту дарами оный храм,
И воскурится фимиам,
И будут в нем за нас моленья».

И се — как пчел жужжащий рой,
Как вихровым крылом гонимый
Прах по степи необозримой,
Летящий к небу пред грозой,
Как пруги из страны полдневной,
Мрачащие лазурный свод,
Которых зря, дрожит народ
И вопль подъемлет к тверди гневной, —
Так в путь евреи потекли
К холмам, к долинам той земли,
По коей, сирой и плененной,
Вдовице, чад своих лишенной,
Под стоны струн, в святых псалмах
При шумных плакали реках
Земли чужой и отдаленной.
Тогда и юношу не мог
Владыки удержать чертог:
Он стряс с себя златые узы
Честей и славы, скор и смел,
Покинул блеск и роскошь Сузы
И вдаль, в отчизну полетел.

Как при улыбке сладкой здравья,
Забыв страданья, свеж и бодр,
Постылый покидаешь одр,
Покровов негу, пух возглавья,
На сладостный взираешь свет,
Лесам, холмам несешь привет
И хочешь мир обнять руками, —
Так он, когда исшел из врат,
Парил душой над облаками,
Безбрежной радостью объят.
Но стал и, взор туда бросая,
Куда стремился, на закат
(Там прадедов земля святая,
Там прах и кости их лежат!),
Подъял трепещущие длани
И глас возвысил к небесам;
Так дивный пар благоуханий
Летит горé в предвечный храм:
«Всё дар твой, господи мой боже!
Твое и от тебя; и чтó же
Когда творилось от себя
И без твоей живящей силы?
Я тлен, и персть, и снедь могилы,
Но мощь и крепость от тебя,
Ты умудрил меня; тобою
Я взял венец и торжество. . .
И ныне песнию святою
Прославлю бога моего:
Благословен мой бог вовеки!
И да услышат человеки:
Господь мой бог, я раб его!»

Так некогда веленьем Дары
Восстал из пепла падший храм;
Но храм сей лет позднейших кары
Вновь грозным предали рукам,
И руки те за злодеянья,
За грех Эверовых сынов, [18]
Огнем сожгли священный кров
И разметали основанья.
А злополучный оный род,
Отверженное богом племя,

Как плевы, разнеслось в то время
На север, юг, закат, восход,
По всем ветрам, во все языки;
И тяжко бремя их судьбы:
Всех стран народы их владыки,
Они же всюду всем рабы».

И кончил. — Засверкал тот свет,
Тот блеск обманчивый, который,
Как ясный, ласковый привет,
В Иране ночью манит взоры
И солнце им сулит, а вдруг,
Скрываясь, как неверный друг,
Прельщенные призра́ком очи
В холодной покидает ночи. [19]
Восстал, потек, во тьме глухой
Исчез рассказчик, муж седой,
Который, летопись живая,
Столь много лет и зим шагая
Со временем рука с рукой,
Стал другом старины святой.
За ним и вся толпа немая
Подъялась со сырой земли,
Пошла и скрылася в дали.
Но некий воин недвижимый
Смотрел за ними долго вслед;
Он долго, юный сын побед,
Мечтами, думами боримый,
Восторга полною душой
Парил над древнею страной, —
И вот воскликнул: «Как же мало
Здесь изменился мир и век!
Здесь тот же, скажешь, человек,
Здесь всё поныне, как бывало;
Узнал бы Дара свой Иран..»

Еще лежал в полях туман;
Но уж зари неложной пламя
Развилось в небе, словно знамя, —
И пробуждался Русский стан.

Замечания

[1] Калиан — особенного роду табачная трубка, устроенная так, что дым проходит через воду.

[2] Хан — караван-сарай, гостиница.

[3] Алла́ — Аллах, бог. Персияне в просторечии вовсе не выговаривают сильного придыхательного звука некоторых арабских слов, напр. Алла́, Маомет.

[4] Рустм, Зам, Феридун — баснословные герои Ирана. См. «Ша-намэ» Фирдуси.

[5] Дария персияне называют Дара. Кир, скажу мимоходом, им вовсе не известен. Самое слово Кир на нынешнем персидском языке имеет очень непристойное значение и, верно, не было собственным именем царя, основателя могущества племени Фарс.

[6] Пади-ша, что по-турецки Пади-шах, — царь царей. См. зам. 3.

[7] Синд — река Инд.

[8] Митра — солнце, один из главнейших эонов персидской мифологии, под особенным покровом Митры находился Иран, Персия, Царство света, противоположное Турану, Туранстану, Царству тьмы.

[9] Месрем, Месраим — Египет.

[10] Здесь говорится об ужасном сеймуме. Этот ураган свирепствует не только в Африке, но и в Аравии.

[11] Ариман — злое начало по учению Зердужта, или Зороастра. Всемогущий создал его равным Ормузду, благому началу; но он пал, и ныне враждуют оба начала. В конце веков Ормузд останется победителем и сам со всею вселенною покорится своему создателю. Каждому из них служат семь великих ангелов, которые передают их волю прочим духам и силам. Это верное изображение древней персидской гиэрархии.

[12] Джемшид — основатель иранской державы, по иранским преданиям.

[13] Густасп, по-гречески Γύστασπ — отец Дария, имя, чуть ли не родное скандинавскому Густав.

[14] Туз славился еще при Фирдуси своими садами; сам Фирдуси был сын садовника. Любовь соловья и розы (бульбуля и гуля) — известный миф персидской поэзии.

[15] Сура — глава Курана. Точно ли *седьмая* сура запрещает изображать ваятелям и живописцам человека, — не могу сказать, но для впечатления, предполагаемого всяким поэтическим созданием, вовсе не нужна дипломатическая точность. — Пусть будет то хоть пятая, хоть шестая, хоть двадцатая: читателю некогда и не для чего наводить справки; ему довольно вообразить себе мусульманина, твердо помнящего свой Куран, — и продолжать чтение творения, которое желает перенесть его фантазию на восток, а не щеголять цитатами. Ни у кого нет более анахронизмов, анатопизмов, неисправностей и неточностей, как у Шекспира: между тем его старинная Англия, баснословная Британия (в «Лире» и «Симбелине»), столь же баснословные Шотландия и Дания (в «Макбете» и «Гамлете»), его Греция, его Рим, в особенности его Италия 15 и 16 веков очаровательно живо и верно говорят воображению. Еще за-

метим, что персияне, несмотря на эту суру, вовсе не такие иконоборцы, как турки.

[16] Все это взято из 2 книги Эздры, откуда заимствован и весь предмет поэмы. Вообще евреи гораздо точнее изображали нравы других народов, нежели греки.

[17] Об этой жемчужине пусть прочтут хоть в замечаниях к Муровой поэме «Lalla — Roukk». Нарочно ссылаемся на книгу, доступную всякому несколько образованному читателю, потому что смешно в цитатах щеголять видом учености, почти всегда очень дешево купленной.

[18] Эвер, Heber — один из предков Авраама.

[19] Об этом явлении, называемом по-персидски *зарей-обманицей,* см. хоть замечания к той же поэме Томесона Мура.

1831

202. СИРОТА

А. С. Пушкину

1

Из тишины уединенья
Туда несется мой привет,
Туда, в обитель наслажденья,
Под кров, где ты, не раб сует,
Любовь и мир и вдохновенья
Из жизни черпаешь, поэт, —
Там ты на якоре, и бури
Уж не мрачат твоей лазури.

2

За друга и мои мольбы
Горé парили к пресвятому —
И внял отец, господь судьбы:
Будь слава промыслу благому!
Из грозной, тягостной борьбы
С венком ты вышел... Что и грому
Греметь отныне? был свиреп;
Но ты под рев его окреп.

3

Тот, на кого я уповаю,
Меня услышит. — Дан ты в честь,
В утеху дан родному краю;
Подругу-ангела обресть
Умел ты, — и, подобно раю,
Отныне дням поэта цвесть.

Расторг ты козни вероломства, —
Итак — вперед, и в слух потомства

4

Пролейся в песнях вековых!
Талант, любимцу небом данный,
В унылой ночи недр земных
Да не сокроется. — Избранный!
Пример и вождь певцов младых!
В эфир свободный и пространный
Полет тебе ли не знаком? —
Вперед же доблестным орлом!

5

А я? — надеждою одною
На мощь и силу друга смел,
Страшусь стремиться за тобою;
Не светлый выпал мне удел, —
Но, брат, и я храним судьбою,
Вотще я трепетал и млел;
Целебна чаша испытанья,
Восторга не зальют страданья.

6

Еще не вовсе я погас,
Не вовсе песни мне постыли,
И арфу я беру подчас,
Из гроба вызываю были,
И тело им дает мой глас;
Мечты меня не позабыли, —
Но не огонь мой малый дар,
Он под золою тихий жар.

7

Что нужды? — Жар сей благодатен:
Я им питаем и живим;
И дружбе будет же приятен
Смиренный цвет, рожденный им!

Пусть будет голос мой невнятен
Сердцам, с рождения глухим!
Не посвящаю песни свету,
Но сердцу друга, но поэту.

Вы знаете, любезные друзья,
Владею шапкой-невидимкой я:
На край моей безмолвной колыбели
Однажды возле лиры и свирели
Младенцу мне в гостинец положил
Ту шапку ангел песней — Исфраил.
Подарком дивным поделюся с вами:
Пойдемте! — Окруженный деревами,
Вы видите ли скромный и простой,
Красивый домик? — Пыли городской,
И духоты, и суеты, и зноя
Нет в околотке: здесь приют покоя,
Прибежище отрадной тишины,
Предместье; здесь, с полями сближены,
В соседстве царства матери Природы,
Живут счастливцы! — Месяцы и годы
Текут для них без тех незапных бурь,
Которые так часто тьмят лазурь
Там, где дворцы вздымаются до неба.
Так, — горе есть и здесь; но лишь бы хлеба
Довольно было, лишь бы ремесло
Без остановки, без помехи шло, —
Жилец предместья весел и доволен.
Он не бывает честолюбьем болен;
Священ ему прапрадедов закон;
Коварства и пронырств не знает он,
Не терпит новизны, не любит шуму;
Повинности спокойно вносит в думу
И, будни посвятив благим трудам,
Надев кафтан получше, в божий храм,
С благоговейной ясною душою,
По дням воскресным ходит всей семьею.

Здесь всех знатнее старый протопоп;
По нем аптекарь Яков Карлыч Оп,
Почтенный муж, осанистый и важный,

Богат: над всем кварталом двухэтажный,
Украшенный сияющим орлом,
Возносится его надменный дом.
Над всеми возвышается челом,
Огромный ростом, сам аптекарь тучный.
Но петь его потребен голос звучный,
А в лавреаты не гожуся я.
Не лучше ль познакомить вас, друзья,
С владетелем смиренного жилья,
Перед которым мы сначала стали?
Минувшие страданья и печали,
Блаженство настоящее его
Вам расскажу я... впрочем, для чего?
У вас же шапка! так покройтесь ею,
Войдите... Поручиться вам не смею,
Но примете и вы участье в том,
Быть может, что там, сидя вечерком
С своей хозяюшкой за самоваром,
Ей повествует с непритворным жаром
Без пышных слов и вычур наш герой.
По крайней мере вижу, как слезой
Глаза ее лазоревые блещут,
Как вздохом перси верные трепещут,
И с мужа взоров не сведет она.
Вы скажете: «Не мудрено: жена!» —
Положим; всё ж послушайте. А прежде
Узнать нельзя ли по его одежде,
Или по обращению с женой,
Или по утвари, — кто наш герой?
Софа, в углу комод, а над софой
Не ты ль гордишься рамкой золотою,
Не ты ль летишь на ухарском коне,
В косматой бурке, в боевом огне,
Летишь и сыплешь на врагов перуны,
Поэт-наездник, ты, кому и струны
Волшебные и меткий гром войны
Равно любезны и равно даны?
С тобою рядом, ужас сопостатов,
Наш чудо-богатырь, бесстрашный Платов.
Потом для пользы боле, чем красы,
Простой работы стéнные часы;
Над полкой с книгами против портретов

Кинжал и шашка с парой пистолетов;
Прибавьте образ девы пресвятой
И стол и стулья. — «Кто же он?» — «Постой!
Чубук черешневый, халат бухарский,
Оружье, феска, генерал гусарский
И атаман казачий... Об заклад...»
Кто спорит? я догадке вашей рад:
Да! он в наряде стройном и красивом
Еще недавно на коне ретивом
Пред грозным взводом храбрых усачей
Скакал, но, видно, суженой своей
Не обскакал: в отставке. — До сих пор
Введение; теперь же разговор,
Который бы остался вечной тайной,
Но мужа и жену за чашкой чайной
Подслушаем. Спасибо! шапка нам
Сослужит службу... Тише! по местам!

РАЗГОВОР ПЕРВЫЙ

Муж

Не знал я без тебя прямого счастья,
Однако от трудов и от ненастья,
От хлóпот нашей жизни кочевой
Не унывал: без страха мчался в бой;
В манеж же, в караул и на ученье
Ходил без ропота на провиденье
И всеми был любим. — Короче, мне
(Тебя еще не встретил) и во сне
Желанье благ иных не приходило.
Итак, давно уже мое светило
Без облак катится. Но был же рок
Когда-то, Саша! и ко мне жесток:
Любезных мне забвение и холод,
Печаль и рабство, стыд и боль, и голод,
И бешенство бессилья, и тоска
О днях минувших, лучших — в новичка
На поприще земного испытанья,
В ребенка, друг мой, пролили страданья
Такие, от которых наконец,

Когда бы не помог мне сам творец,
Когда бы видимой не спас десницей
Безумца, — я бы стал самоубийцей.

Саша

Меня приводишь в ужас... бог с тобой!
С твоей ли было твердою душой...

Муж

Я был тогда ребенком, друг любезный,
Лет девяти. — Суровый, но полезный,
Судьбою данный мальчику урок
Был мне, быть может, в самом деле впрок.
Но расскажу без предисловий дальных
Тебе я повесть этих дней печальных,
А впрочем, благотворных. Только мне
Сперва недурно о моей родне
Упомянуть немногими словами.
С рубцом над бровью и двумя крестами,
Сухой, высокий, бледный мой отец
Был, говорят, когда-то молодец,
Суворовский, старинный, храбрый воин.
Но, ранами в здоровии расстроен,
Дожив в походах славных до седин,
Он вышел, взяв полковнический чин,
В такую должность, где и средь покоя
Усердье престарелого героя
Могло еще служить родной стране.
В Ж<итомире> (как это слово мне
И ныне сладостно и ныне свято!
Там тело старика землей прията,
Там некогда старик любил меня!)
Он там женился: позднего огня
Не избежал и напоследок власти
Всесильной, целый год таимой страсти
Был должен уступить: «Жених-то сед, —
Так рассуждал расчетливый мой дед, —
Да бодр еще, а главное полковник».
Его согласье получил любовник,
И невзирая на различье лет,
И матушка не отвечала «нет».
Но мил же Десдемоне был Отелло?

Саша

Итак, любезный, сбыточное дело...

Муж

Увидим, Саша. Стали под венец
Она в шестнадцать, в шестьдесят — отец.
Вот я родился. Время шло, и вскоре
И я уже в его унылом взоре
Любовь ко мне — и горесть мог читать.
«Дитя мое, да будет благодать
И милость божия всегда с тобою!» —
Так, над моей склоняся головою,
Шептал нередко добрый мой старик;
И в сердце, в душу голос мне проник,
С которым он слова благословенья
Произносил; тот голос и в сраженья,
И в бури жизни провожал меня.
Однажды (помню) он, почти стеня,
Прибавил: «Тяжело, Егор, с тобою
Расстаться! без меня ты сиротою
Останешься. Жаль мне тебя; но мать
Обязан ты любить и почитать». —
Младенец, я не понимал причины
Живой, страдающей его кручины,
Да знаю, что слезами залился.

Саша

А матушка?

Муж

И на нее нельзя
Пенять мне: и она порой мне ласки
Оказывала, выхваляла глазки,
Расчесывала локоны сынка;
Случалось даже, купит мне конька,
Ружье, картинку, саблю жестяную.
Ее, прекрасную и молодую,
Веселую, любил сердечно я.
Но только редко маменька моя
Решалась с нами оставаться дома:
Была со всеми в городе знакома,
У ней в поветах было тьма родни,

Вот почему отец и я одни
Не час, не день, а целые недели
В тоске, случалось, без нее сидели.

Саша

Души в ней не было.

Муж

Не говори:
Не полночи подругой быть зари;
Не может быть товарищем мороза
Зефирами лелеянная роза...
Признаться, сам старик был виноват.
Однако же клонилось на закат
В туманах скорби дней его светило:
И вот его бессилье победило,
И уж ему навряд ли встать с одра.
А матушку какая-то сестра
Двоюродная (правда, что некстати)
Почти насильно от его кровати
Отторгла и в деревню увезла.
Когда ж назад их осень привела,
Тогда нашла беспечная супруга
Свободного от горя и недуга,
Забот и жизни — мужа своего.
Дворецкий, бывший денщиком его,
Дрожащею от дряхлости рукою
Закрыл ему глаза; один со мною
Почтил слезами барина Андрей...
Но нет! домой приехав из гостей
И батюшку увидев без дыханья,
На тело с воплем громкого рыданья
И матушка повerглась. Друг, — не зла,
А только легкомысленна была
Сердечная: да будет мир и с нею!
Я жизнию тебе ручаться смею,
Что, непритворной горести полна,
Тужила по покойнике она.

Саша

Охотно верю; люди близоруки:
Сопутникам наносят часто муки,

Нередко желчью упояют их;
Но голос тружеников вдруг затих:
Они спаслись под землю от терзанья
И, в очередь свою, полны страданья,
Раскаянья бесплодного полны
Мучители. — Тяжелый долг вины
Неискупимой искупить любовью,
Уже ненужной, — счастьем, плачем, кровью
Желали бы; да опоздал платеж;
А совесть вопиет и на правеж
Зовет и всё зовет, не умолкая;
Не вняли ей, а вот сама глухая,
И ей невнятен бесполезный стон.

Муж

Ты, Саша, мой домашний Масильон.
Но продолжаю. О своей печали
Скажу, что наши родственники стали
Твердить мне: «Всем нам должно умирать;
Ну, полно хныкать! убиваешь мать
Такою безрассудною тоскою».
Их я пугался; да мне всей душою
Хотелось кинуться в объятья к ней
И вместе выплакаться; от людей,
От ней я между тем свое страданье
Скрывать был должен, словно злодеянье.
Один меня не мучил мой Андрей:
От наших рассудительных друзей
В каморочку под крышею к Андрею
Бегу, бывало, и к нему на шею,
Рыдая, брошусь. Он меня возьмет,
Посадит на колена, мне утрет
Цветным платком глазенки, лоб малютки
Сквозь слезы перекрéстит. Прибаутки,
Пословицы его хотя просты,
А были вдохновеньем доброты,
Душевной теплоты плодом отрадным;
И мне ль забыть, с каким участьем жадным
Я слушал усача, когда он мне
Повествовал о русской старине,
Когда мне исчислял свои походы?
Я с ним в былые уносился годы:

С Суворовым и батюшкой и с ним
Сражал врагов и был неустрашим.
Разбиты все: французы, турки, шведы...
Как часто после радостной победы,
Утешенный, я погружался в сон!
Тут на руках снесет, бывало, он
И бережно меня с крыльца крутого,
Так, чтоб отнюдь дитяти дорогого
Не разбудить, меня уложит сам
И на чердак воротится к мышам
И к одиноким, пасмурным мечтаньям.
Но, друг, предался я воспоминаньям,
А повесть главную забыл совсем.

Он продолжать хотел, но между тем
Раздался с громким кашлем голос звучный, —
И Яков Карлыч, наш знакомец тучный,
С любезной дочкою ввалился в дверь.
Здесь, братцы, делать нечего теперь:
В осаде держит нашего героя
Почтенный Оп и нам уже покоя
Не даст сегодня; Саше за визит
Он отплатить пришел и просидит
До полночи; газеты мы услышим,
Политику... Нет, лучше мы подышим,
Тихонько пробираяся домой,
Под вольной твердью, покровенной тьмой,
Прохладой сладостной и животворной!
Лазурь подернута завесой черной;
Но стройный, молчаливый сонм светил
Из-за нее окрестность осребрил;
Глядят на нас бесчисленные очи
Таинственной и необъятной ночи;
Меж искрами, которым нет числа,
Сияет, величава и светла,
Лампада божия, луна златая;
Вблизи, вдали, приветливо мерцая
И словно с звездами вступая в спор, —
Иные звезды... Сколько дум неясных!
Сдается мне, язык огней безгласных
Я слушаю; тот шепчет: «Бури нет
Здесь, где трепещет мой отрадный свет,

Здесь радость, и любовь, и мир душевный»;
Другой: «Мой блеск и тусклый и плачевный
Больного озаряет скорбный одр»;
А третий: «Здесь, трудолюбив и бодр,
Питомец мудрости, любимец славы
Читает блага вечные уставы
И созерцает образ красоты,
Витающей там выше суеты».
Всё под навесом мирового свода
Кругом умолкло: стихнул шум народа,
И шум дерев, и шум уснувших вод;
Лишь инде запоздалый пешеход
(По твоему, Жуковский, выраженью)
Идет, своей сопутствуемый тенью.

В такую ночь ужель не вспомню я
Вас, братья, юности моей друзья.
Плетнев! внимая песням музы нашей,
Твои пенаты нас за полной чашей
Любили видеть... Были ночи те
Подобны этой: в общей темноте,
Немой, глубокой, от тебя, приятель,
Как часто я, неопытный мечтатель,
По улицам, давно уснувшим, брел...
А дух мой там ширялся, как орел,
За оными блестящими мирами,
Летал за нерожденными летами
И силился сорвать завесу с них...
Но тщетно; радостей и снов моих
Судьба жалела: свяли б от дыханья
Тлетворного, убийственного знанья,
Как от сеймума бархат вешних трав.
Увы! унылый жребий свой узнав,
Я не сберег бы тишины сердечной,
Уже не мог бы и тогда, беспечный,
Играть с суровой жизнью. Будь хвала
Тебе, благая! в мрак ты облекла
Грядущее; посол твой — заблужденье
И мне же уделило наслажденье;
Пусть срок блаженства краток был и мал,
Но всё ж и я в Аркадии живал.

РАЗГОВОР ВТОРОЙ

Сегодня обойдемся без введенья...
Прекрасный сын живого воображенья,
Мой Ариель! ковер твой самолет
В два мига нас в предместье унесет...
Вот мы уселись; обнялись руками,
Взвилися; а народ кипит под нами
И нас не замечает средь хлопот;
Иной и взглянет мельком, но и тот
Не удивится, искренно жалея
Изрезанной бумаги, скажет: «Зме́я
Опять пускают чьи-то шалуны»;
И мимо. — Между тем, привезены
В повозке чудной к самому порогу
Гусара нашего, мы понемногу
Спускаемся, спустились. Вот и в дом
Уже прокрались, как вчера, тайком,
И вот же насладимся на досуге
Тем, что насмешливый супруг супруге
Об их вчерашнем госте говорит:

Муж

Сказать, что Яков Карлыч наш сердит:
Немилосердно бедных турок губит,
В самом Стамбуле режет их и рубит,
Пардона не дает им. — Право, жаль,
Что тяжело ему подняться в даль,
Что богатырь он слишком полновесный;
А то бы...

Саша

Добрый человек и честный...

Муж

Кто спорит? — да и тактик он чудесный,
Политик редкий!

Саша

Друг ты мой, Егор!
Послушай: если б отложил ты вздор
И досказал мне начатую повесть!..

Муж

Спасибо: вспомнила! Признаться, совесть
Тихонько шепчет мне, что и домой
Я, повести рассказчик и герой,
Затем единственно пришел поране;
Но только думал я в почтенном сане
И эпика и витязя: «Пускай
Сперва меня попросят!» — Впрочем, знай,
Был несколько похож я на поэта,
Который, автор нового сонета,
Войдет в собранье, детищем тягчим,
Вот сел с улыбкой... (Примечай за ним!)
Вдруг будто невзначай словцо уронит:
«Был занят я...» О модах речь; он клонит,
Но хитро, неприметно, разговор
К словесности, — виляет до тех пор,
Пока не спросишь: «Есть ли, друг сердечный,
У вас новинка?» — Что же? тут, беспечный,
Рассеянный, он пробормочет: «Нет;
А ежели б и было, — так, сонет
Или баллада, — пустяки, безделки!..
В них надлежащей нет еще отделки, —
Один эскиз, набросанный слегка.
Однако ж!» — И злодейская рука
Уже в кармане шарит.

Саша

Эпизоды,
Мой друг, и даже лучшие, — уроды,
Когда некстати.

Муж

Воздержусь от них.
С приютом дней младенческих моих
В своем рассказе я расстанусь вскоре:
Из пристани мой челн отвалит в море,
Из родины помчуся в град Петра.
«В кадетский корпус молодцу пора!» —
Так, на меня преравнодушно глядя,
Однажды объявил какой-то дядя,
Который прежде в дом наш не езжал.
«Помилуйте! ребенок слишком мал!» —

Сказала матушка, меня лаская.
Но вот прошла неделя и другая, —
И уступила матушка родне:
И вдруг дорогу объявили мне.

Самой ей ехать было невозможно:
Как тайну ни хранили осторожно,
Проговорился кто-то из людей,
И я узнал, что маменьке моей
Земляк-помещик предлагает руку,
Что потому она и на разлуку
Со мной решилась. Горько плакал я,
Скорбела детская душа моя
Недетской скорбью. Я молчал, но взоры
Ребенка выражали же укоры;
А иначе зачем бы на меня
Взглянуть было нельзя ей без огня
Румянца быстрого и без смущенья?
Сдавалось, что пощады и прощенья,
Раскаянья и горести полна,
У сына просит с робостью она.

Саша

Несчастная! о ней почти жалею,
Но с кем же ты поехал?

Муж

Казначею
Стоявшего в Ж<итомире>полка,
Поручику, который сдалека
В родстве с роднею нашею считался
И по делам в столицу отправлялся,
Ему, чужому, на руки отдать
Дитя свое уговорили мать,
Любившую меня, но молодую.
Она вдалась в доверенность слепую
Не стоившим доверенности.

Саша

Да!
Но как, пускай была и молода,
Ей заповеди не понять священной,

Всем матерям понятной, непременной,
Вложимой богом в сердце, в душу, в кровь
Всех матерей? — Не годы, а любовь,
Не мудрость и не опытность, а чувство
Вдыхает в нас нехитрое искусство,
Однако недоступное уму:
Всем жертвовать дитяти своему.

Муж

Поручик мой был, впрочем, славный малый:
Пехотный франт, развязный и удалый,
С размашкой и поднявши плечи, он
Умел отвесить барышням поклон;
«Я всё сидел-с», — умел сказать с улыбкой,
Когда попросят сесть; жилет ошибкой,
Случалось, расстегнуть, но не затем,
Чтоб выказать, как уверяли, всем
Узорчатый платочек под жилетом.
Обласканный большим и малым светом
Ж<итомир>ским, любезен был, речист,
Играл в бостон, а иногда и в вист
С товарищами, даже в банк грошовый.
Майора-банкомета лоб суровый
За картами смутить его не мог;
Он полагал: «Владеет смелым бог!» —
«Ата́нде и плюэ!» — кричит, бывало.
И не робеет. — Этого всё мало:
Бренчал и на гитаре молодец;
И должен же сказать я наконец,
Что он, хотя и сам не сочинитель
И не знаток, а был стишков любитель
И толстую для них тетрадь завел.
Он, я, денщик и пудель их Орел
Уселись в старой дедушкиной брычке.
Не подарил (у дедушки в привычке
Дарить что не было), но, чтоб свое
Явить усердье, наш старик ее
За что купил, за то и продал дочке.
Простились, тронулись. При каждой кочке
Я охал; но смеялся ментор мой;
Я охать перестал. Тебе иной
Весь описал бы путь свой до столицы:

Поэт приплел бы к былям небылицы;
Смотрителей станцьонных юморист
На сцену вывел бы; статистик лист
Итогами наполнил бы. Но мне ли
Бороться с ними? — Скоро долетели
До Петербурга мы, — и ничего
Достойного вниманья твоего
Со мною не случилося дорогой.
Зато по истине, и самой строгой,
Вдруг закружилась голова моя,
Когда увидел напоследок я
Тот город величавый и огромный,
Перед которым наш Ж<итомир> скромный
Явился мене деревушки мне.
Не знал я: наяву ль или во сне
Смотрю на эти пышные громады?
По ним мои восторженные взгляды
Носились и терялись; мне дворцом
Едва ли не казался каждый дом,
Все улицы казались площадями,
Портные и сапожники князьями
И генералом каждый офицер.
Я рад, что не писатель; например:
Мой первый въезд мне не прошел бы даром,
Блеснуть умом и новизной и жаром
Тут непременно был бы должен я.
Но, к счастью, ты вся публика моя:
От вычур описательных уволишь.

Саша

Охотно! и напомнить мне позволишь:
Быть может, остроумны и красны,
Да, признаюсь, не слишком мне нужны,
Не по нутру мне эти отступленья.

Муж

Друг, не моя вина, а просвещенья
Всеобщего. — В Гомеров грубый век
Ребенком был и — глупым человек:
Ребенку нянюшка-Гомер без шуток,
Без едких выходок и прибауток
Рассказывает дело. — Но теперь,

Когда для всех раскрыта настежь дверь,
Ведущая в святыню умозрений,
Когда где только школа, там и гений,
Где клоб, там Аристарх или Лонгин,
Когда от слишком мудрого народу
Нигде нет места, нет нигде проходу, —
Теперь...

Саша

Остриться авторы должны?
Да ты не автор.

Муж

Все увлечены
Потоком общим: я — за авторами!
Однако только дай проститься с нами
Поручику, и мне не до острот,
Конечно, будет. — Бремя всех забот,
С моим определеньем неразлучных,
Он принял на себя; но своеручных
В том не́ дал обязательств; сверх того
Хлопот довольно было у него
И собственных, довольно и по службе, —
Итак, о том, что обещал по дружбе,
Где ж было вспомнить? — впрочем, и меня
Он вспомнил же. Последнего коня
Уж на дворе впрягали в брычку нашу:
Он собрался в обратный путь, и чашу
С ним разделял, прощаясь, аудито́р...
Гость был ему приятель с давних пор,
Ученый муж, краса всем аудиторам,
Но отставной: в полку по наговорам
Не мог остаться умный сей юрист;
Злодеи, будто на руку не чист
И пьет запоем, на него всклепали;
И что же? — к сокрушенью и печали
Ж<итомир>ских шинкарок, приказали
Ему подать в отставку. Он, подав,
Твердил жидовкам: «Видите, я прав;
Меня не замарали в аттестате».
— «Полковник пожалеет об утрате
Дельца такого!» — молвили оне,

Но вдруг не стало в нашей стороне
Питомца Вакха, Марса и Фемиды:
Фортуны легкомысленной обиды
Его не испугали; бодр и смел,
За нею он в Петрополь полетел, —
Вот почему с ним встретился случайно
Поручик мой и рад был чрезвычайно.
Не менее был и приятель рад;
Он думал так: «Мне настоящий клад
Судьбою послан в этом казначее!
Пока меня не выгонит по шее
(Ходить и в дождь и в слякоть мне не лень),
К нему являться стану каждый день.
Он малый глупый, добрый, не сердитый;
Но если бы и вздумал, даже битый
Решился я не покидать его».
Не отступил от слова своего
Философ, в правилах неколебимый:
Узнал поручик, им руководимый,
В столице каждый темный уголок,
Узнал окрестность: Красный кабачок,
Гутуев, Три Руки; не без познаний
И подвигов, не без воспоминаний
О битвах, в коих кий служил копьем,
Он воротился; да в кругу своем
Теперь и он сказать словечко может
Про Петербург! — Но что его тревожит?
О чем задумался? — Что значит стон,
С каким чубук поставил в угол он?
Вошел его Иван, а за Иваном
Ямщик. «Зачем вы?» — «А за чемоданом
Егора Львовича». — «Повремени».
И стали среди комнаты они;
В другую вышел барин с аудитóром.
Тут важным занялись переговором,
Шептались. Возвратяся, казначей
Сказал мне: «Фрол Михеич Чудодей,
Мой друг давнишний, человек почтенный
(Тут аудитóр потупил взор смиренный),
За благонравье полюбил тебя.
Ты будешь у него, как у себя. . .»
— «То есть, пока не выйдет разрешенье, —

Тот перебил, — на ваше помещенье
В кадетский корпус: просьба подана,
Или по крайней мере мной она
Немедленно подастся». — «Сам ты, милый, —
Так вновь поручик начал, — видишь: силой
Здесь не возьмешь; не глуп ты, хоть и мал.
А хлопотать, кажись, я хлопотал,
И дома быть случалось мне не много».
Тут усмехнулся аудитор, но строго
Зато взглянул поручик на него
И продолжал: «Егорушка, всего
Не сделаешь на свете по желанью;
Но ты свидетель моему старанью,
Ты, знаю, лихом не помянешь нас. . .
Я маменьке поклон свезу от вас.
Прощай, любезнейший!» — От удивленья
Без языка, без мыслей, без движенья
Поручика глазами мерил я;
Поцеловались между тем друзья:
Наш сел с Орлом в повозку и с Иваном,
И был таков! Меня же с чемоданом
В свое храненье принял Чудодей.

Саша

Бедняжка!

Муж

В доме матери моей
Не слишком были велики покои,
Но всё красивы: утварь и обои
В них заказал покойный мой отец.
Андрей сказал мне, что и образец
Сам он нарисовал, сам за работой
Смотрел и этой нежною заботой
Он счастлив был, когда был женихом.
«Кто барина бы на́звал стариком
В то время? — восклицал седой дворецкий. —
И прежний вид воскреснул молодецкий,
И вспыхнул прежний блеск в его глазах,
Тот блеск, который был злодеям страх,
А в подчиненных проливал отвагу.

Жениться и с полком прорваться в Прагу,
Конечно, разница, да дело в том:
Покойник был и храбрым женихом,
И храбрым воином в пылу сраженья».
Прав был Андрей, а молвил, без сомненья,
Совсем не то, что думал.

Саша

Отступленья!

Муж

Не дальные. — В родительском дому,
Скажу короче, взору моему
Всё представлялось в благородном, стройном,
Изящном виде; в скудном, всё ж пристойном
Был домик, где в столице на постой
Расположился казначей со мной.
Но то, что называл своей квартерой
Мой новый ментор, аудитóр, пещерой,
Конюшней, хлевом назвал бы иной.
Мы взобрались по лестнице крутой
В его жилище: там и смрад, и холод,
И беспорядок, и разврат, и голод,
Казалось, обитали с давних пор.
Сухие корки хлеба, грязь и сор,
В бутылке свечка и бутыль другая,
Огромная, с настойкой, черновая
Какая-то бумага под столом,
Стул, опрокинутый перед окном,
В углу кровать о трех ногах, которой
Сундук служил четвертою опорой,
А на полу запачканный кафтан,
Чернильница и склеенный стакан.
Всё это под завесой мглы и пыли:
Вот чем приведены в смущенье были
Глаза мои, когда мне Чудодей
Впервые дверь обители своей
С улыбкой отпер вежливой и сладкой.
«Где мне присесть в берлоге этой гадкой?
Неужто здесь мне жить?» — подумал я
И был готов заплакать. Мысль моя
Не скрылась от догадливого взора

Второго Диогена — аудито́ра,
И он мне первый преподал урок:
«Я беден — так! но бедность не порок».

Сплошь всё портреты Нидерландской школы!
И быть поэтом хочешь? — Где ж глаголы,
Падущие из вещих уст певца,
Как меч небесный, как перун, — в сердца?
Ребенок плакса, да негодный нищий —
Чудесные предметы! — сколько пищи
Воображенью! — Стало, без ходуль
Уж ни на шаг? детей ли, нищету ль
Уж ни в какую не вмещать картину?
Но часто пьет и горе и кручину
И кормится страданьем целый век
Отчизны честь, великий человек. . .
Чернят живого, ненавидят, гонят,
Терзают, мучат; умер — и хоронят
Его по-царски; все враги в друзей
Мгновенно превратились; мавзолей
Над ним возносят, — очень бесполезный;
О нем скорбят и тужат в песни слезной
И ставят всем дела его в пример.
Питался подаянием Гомер,
Слепой бродяга, а ему потомство
Воздвигло храмы. . . Лесть и вероломство
И зависть Фокиона извели:
«Он украшенье греческой земли!» —
Потом убийцы восклицали сами.
Так было в древности. А между нами?
Что говорит Сади (не помню где)
Об оной глупой, пышной бороде,
О бороде безумца Фараона?
«Стоял пророк бессмертного закона,
Избранник божий, дивный Моисей,
Потупив взор, в смирении пред ней;
Она же величалась пред пророком».
Пред подлостью, безумьем и пороком
Ужели не случается подчас
Стоять так точно гению у нас?
Велики, славны Минин и Державин.
Но рядовой Державин был ли славен,

И был ли Минин, мещанин, мясник,
На родине чиновен и велик?
Вы скажете: «Тогда еще и славы
Им рано было требовать!» — Вы правы;
Однако согласитеся со мной:
Всё можно с помянутой бородой
Сравнить глупцов, которые пред ними
Гордилися и связями своими,
И деньгами. — Любезные друзья,
Взгляну ли на толпу народа я,
А на детей особенно, невольно
Во мне родится нечто, что довольно
Похоже на почтенье. — Слова нет:
И дети большей частью пустоцвет;
Но всё же цвет, и цвет, скажу, прелестный.
Когда ж помыслишь: будущий, безвестный
Тут резвится Платон или Шекспир,
Один из тех, быть может, коих мир
Считает неба мощными послами;
Быть может, этот, с черными глазами
И поступью отважной, удивит
Вселенную, в годину скорби щит
Отечества, грядущий наш Суворов, —
Тогда... Но нитью наших разговоров
Мы чуть ли не домой приведены?
Простите ж, и да будут ваши сны,
Как дети, так беспечны и прекрасны,
Как души их, так сладостны и ясны!

РАЗГОВОР ТРЕТИЙ

«Нет дома наших, — на ухо шепнул
Мизинец мне, — их взял под караул
Почтенный Оп и удержал к обеду». —
Нам всё равно: к нему мы, к их соседу
Отправимся. И кстати! право, мне
Уж стало совестно так в тишине,
Подобно духу, гостю из могилы,
Под покровительством волшебной силы
Подкрадываться к ним. К тому ж они
Вам менее наскучат не одни.

Мы, впрочем, шапку всё ж возьмем с собою...
«Возьми, пожалуй! — тут с усмешкой злою
Мне говорит сердитый журналист, —
За бред твой ты заслуживаешь свист, —
Ведь шапка-то одна; а вас же много». —
Ученый физик судит очень строго;
Но вот ответ мой: «Шапочка моя
Сестрица электризму; нам, друзья,
Составить только цепь руками стоит,
И пусть она и одного прикроет,
А всё равно незримы будем мы». —
Не слишком же догадливы умы
Издателей Риторик и Пиитик!
Напишешь: *и* — тебя ругает критик,
Зачем над *и* нет точки. Мы пешком
Пойдем сегодня: гения с ковром
Не для чего трудить. За пирогом
Словечко уронить случилось Саше
Про повесть мужа. Тут собранье наше,
А именно: сам Яков Карлыч Оп,
Супруга, дочь и Власий-протопоп,
Которого евангельское сердце
Любило брата даже в иноверце,
Который к ним с каких-то похорон
Заехал, — все они, со всех сторон
К рассказчику: «Рассказывай» — и только!
Отказом огорчишь их, а нисколько
Их огорчить мой витязь не хотел.
Он благороден, щекотлив и смел,
Да здесь у места было снисхожденье:
Гусар наш согласился. — Нам бы продолженье
Повествования его застать!
Начало знаете; зады ж, на стать
Божественного болтуна Гомера,
Велеть вновь слушать — нет еще примера
В твореньях не классических певцов.
Однако близко, из среды домов
Уже, я вижу, поднялась аптека, —
Так высится огромный верх Казбека
Над цепью сумрачных Кавказских гор;
Гигант, разрезав вечным льдом обзор,
Чело купает в девственной лазури,

На чресла вяжет пояс мглы и бури,
С лежащих на коленях вещих струн
Перстами сыплет громы и перун,
Стопой же давит дерзновенный Терек,
Который, бешен, рвет и роет берег, —
И прочее. . . Поберегу запас;
Вот сад, войдем; метафор будет с нас.

Егор Львович

Был Фрол Михеич первые недели
Со мною ласков: мы изрядно ели;
Он не́ пил, и явился у него
Порядок, не бывавший до того.
Объедки, корки выброшены были
И смыл слои тяжелой, черной пыли
Со стен, окошек полуинвалид,
Жилец того же дома; новый вид
Всё приняло в чертогах аудито́ра.
Я был: «Мой друг, мой милый, вы», — Егора
Без Львовича не говорили мне.
Меня расспрашивал он о родне,
О наших связях, об отце покойном,
И в языке его благопристойном
Я даже грубых не слыхал речей.

Священник

Конечно, полагал ваш Чудодей,
Что выгодны ему такие меры;
Он ждал награды.

Егор Львович

Я не этой веры;
Не из большого бился он: был сдан
Ему, да без ключей, мой чемодан;
А сверх того, отец мне в именины
(Весною, в самый год своей кончины,
Уже больной, уже лишаясь сил)
Часы — и золотые — подарил.
Жена бранит меня за отступленья;
Однако про часы те, с позволенья
Ее и вашего, мои друзья,
Поговорить считаю нужным я:

«Храни их и носить их будь достоин, —
Мне дар вручая, молвил дряхлый воин, —
Мой сын, и тяжелы и без красы,
Но верны эти древние часы.
Случалось, дни страданья и печали
Угрюмые они мне измеряли;
Не утаю, бывал и слаб я, — да!
Мгновенья же злодейства и стыда,
Бесчестного мгновенья — никогда
На память стрелка мне не приводила.
Часы — наследство: приняла могила
Того, кто умирающей рукой
Мне дал их... дядя твой, мой брат, герой,
Зарытый под стенами Измаила...
С ним смерть меня на время разлучила,
Но скоро смерть соединит же нас;
Мой друг, мне скоро знать, который час,
Не нужно будет. — Ты же, верный чести,
Служи отчизне и царю без лести;
Часы свои все освящай добром,
Все чистой совестью». — Меня потом
Покойник, как завесть часы, наставил,
Поцеловал, поднялся и прибавил:
«Не забывай, Егор, отцовских правил».
Как я берег часы те, что мне вам
И сказывать? — А их прибрать к рукам
С ключами был мой Чудодей намерен.
Но даже он (я в том почти уверен)
Меня бы пожалел, когда бы мог
Вообразить, сколь был мне сей залог
Любви отца бесценен.

Саша

Друг, не знаю;
А мне сдается, будто негодяю
Ты лишнюю оказываешь честь.

Егор Львович

Быть может; приговор же произнесть
Над ним другие могут: оскорбленный,
И о вине забытой и прощенной, —
Судья пристрастный. Взять часы хотел,

Для явного ж разбоя был несмел
Мой Фрол Михеич. Может быть, сначала
И думал: «Мать кому ж нибудь писала
Из здешних их знакомых о сынке.
Найти его у нас на чердаке,
Конечно, нелегко, но всё возможно;
Итак, примусь за дело осторожно. . .»
Я был ребенок, слаб, в его руках,
Доверчив, совестлив; но о часах
Всё долго спорил, только из терпенья
Его не вывел, впрочем, подозренья
И тени не было в душе моей.
Когда бы было, я, кажись, скорей
Расстался бы и с жизнью, чем с часами.

Священник

По крайней мере в обхожденьи с вами
Не вдруг же он переменился.

Егор Львович

Вдруг,
В тот самый день. «Мой милый» и «мой друг»
Еще с неделю слышать мне случалось;
Но *вы* — то и в помине не осталось:
Егора Львовича сменил *Егор,*
Увы! сменил (и скоро) до тех пор
Никем не говоренный мне *Егорка.*
Объедки редьки, лук, селедка, корка
Опять везде явились; грязь и пыль
Берлогу вновь одели, вновь бутыль
На волю вызвана из-под постели.
Михеич думал: «Ведь достиг я цели;
Комедии конец!» Он встал, в карман —
Часы и деньги, и ушел, и, пьян,
В свой терем воротился ночью поздно.
Уж спал я: но злодей завопил грозно:
«Вставай, щенок!» — Я вздрогнул, но ушам
Не мог поверить: не к таким словам
Меня в дому отцовском приучили.
Он повторил: «Вставай, негодный! — или» —
И о пол — хлоп! Подняться сам собой
Не в силах был неистовый герой;

Однако, лежа, расточал угрозы.
Меня пустое приводило в слезы,
Я мягок был, и слишком.

Саша

Бедный друг!
Могу вообразить я твой испуг. . .

Шарлотта

Ваш ужас в это горькое мгновенье!

Егор Львович

В груди моей и гнев и омерзенье
Всё заглушили: в сердце их тая,
Я мучился, но мог ли плакать я?
Во мне и страх подавлен был презреньем.
Скажу еще: недаром провиденьем
Мне послан был столь тягостный искус.
Быть может, без него я был бы трус
И неженка; но тут, как от закала,
Во мне душа незапно твердой стала.
Вы усмехнулись.

Священник

Да, мой друг: меня
Вы извините; стар я, без огня,
Без смелости мое воображенье. . .
В такое веровать перерожденье
Мне что-то трудно. Брошенный посев
Не вдруг дает колосья; скорбь и гнев
Я взвешивал, исследовал я страсти,
Вникал в могущество их грозной власти
(По должности обязан я к тому);
Но ваш скачок и моему уму
И опыту, скажу вам откровенно,
Противоречит. В мире постепенно
Всё происходит: точно так и в нас.
Что не был без последствий оный час,
Как в пору павшее на ниву семя,
Я в том уверен; даже что на время
Самим себе казались вы другим;
Но напряженье минуло, и с ним

Обманчивое ваше превращенье, —
Вы стали вновь ребенком.

Егор Львович

Ваше мненье
Согласно с истиной, согласно с тем,
Что досказать я должен; не совсем
Я выразился точно: но — примеры!
Нанизывать гиперболы без меры
Теперь в обычае.

Аптекарша

Да что же он?

Егор Львович

Ворча, ругаясь, впал в мертвецкий сон.

Шарлотта

Стыдился поутру?

Егор Львович

Кто? он? нимало!
Стыдиться тут другому бы пристало;
Но не ему. Он мне сказал: «Егор,
С тобой чинился я; всё это вздор:
Хочу я жить, как жил всегда дотоле;
А, братец, ты одобришь поневоле
Мое житье».

Саша

Что ж ты?

Егор Львович

Остолбенел;
Но был уже я менее несмел,
Чем накануне: мне негодованье
Не вдруг позволило прервать молчанье,
А не боязнь. Хотя и в ночь одну
Не мог шагнуть я за мою весну,
За первый цвет беспомощного детства,
Всё не нашел он и в бесстыдстве средства
Избегнуть униженья своего.
Я молвил: «Вас, сударь, прошу покорно

Отдать часы мне». — «Что ты так задорно
Их требуешь? — смутясь, он отвечал. —
Часы носить еще ты слишком мал».
— «Они мои», — я пре́рвал. «Целы! целы!
Но берегись, но, братец, есть пределы
И моему терпенью: ты из них
Меня не выводи». Потом притих
Философ мой: в последний раз со мною
Он в этот день был ласков; лишь порою
С немым вопросом на меня глядел,
Шептал порою: «Ххмм! какой пострел!»
Крепился я, но имя же урода
Заслуживал бы, если бы природа
Во мне ребенка не взяла свое.
Тоска моя, отчаянье мое,
Хотя при нем и хладны, и безгласны,
А, верьте, стали наконец ужасны:
Он со двора, и я, я зарыдал. . .
Вдруг музыка. «В соседстве, верно, бал», —
Подумал я, и что же? из пучины
Минувшего прелестные картины,
Мучительные, всплыли предо мной.
«Ах! — говорил я, — и меня зимой
Отец и мать возили же на балы. . .
Как *там* всё хорошо! все залы
Полнехоньки; не сосчитаешь дам;
В пух все разряжены; но по глазам
Прекрасным и живым и вместе нежным
Всех лучше маменька. «Ты будь прилежным,
Егор, — учись! возьму тебя на бал. . .» —
Так батюшка, когда еще езжал
И сам в собранья, скажет мне, бывало, —
И я учусь! — Случалось, на день мало,
Что зададут дня на три. Вот мы там. . .
Как весело! хозяйка рада нам;
Хозяин батюшку за вист посадит,
Меня же поцелует и погладит
И — детям сдаст; они меня в буфет,
Мне нададут бисквитов и конфет,
Потом подальше от больших составим
И мы кадриль свой или где добавим
И в их кадрили пару. . . А теперь?

Один я здесь, не человек, а зверь,
Нет, хуже зверя... гадкий, неопрятный,
Бессовестный, бесчестный и развратный,
Безжалостный располагает мной!
Злодей! — но как он хочет, а с часами
(Тут сызнова я залился слезами)
Никак, никак я не расстанусь, — нет!»

Аптекарша

Der arme Junge! [1]

Священник

Горесть первых лет
Живее всякой горести, — но, к счастью,
Быть долго под ее суровой властью
Нельзя ребенку: сон, отрадный сон,
Слетев, как ангел божий, плач и стон
В устах еще дрожащих прерывает;
Очей младенцу он не отирает;
Еще струятся слезы, бурно грудь
Еще вздымается, а уж заснуть
Успел малютка, уж куда-нибудь,
Сердечный, как цветок, росой смоченный,
Головкой прикорнул отягощенной.
И вы заснули? так ли?

Егор Львович

Точно так:
В немой, бездонный, благотворный мрак
Унылая душа моя нырнула,
В тот тихий край спаслась, где из-за гула
Земного страха и земных страстей
Эдема песни отозвались ей.
Друзья, дивитесь? вы таких речей
Высокопарных от меня не ждали?
Но раз и навсегда: язык печали
И вдохновения, язык тех дум
Таинственных, которых полон ум,
Мне кажется, от посторонней силы
Заемлет на мгновенье мощь и крилы,

---

[1] Бедный юноша! (нем.). — *Ред.*

Чтобы постичь и высказать предмет,
Для коего названья в прозе нет,
Язык тех дум не есть язык газет...
Вам расскажу мой сон: нависли тучи,
Катился гром, забрел я в лес дремучий;
Нет выходу. — Из лона тьмы ночной
Волков несется кровожадный вой;
Во мне, тоской неизреченной сжато,
Замлело сердце: тут одежда чья-то
Мелькнула белая из-за ветвей, —
И тише стал и гром и рев зверей.
Вдруг звон послышался мне погребальный,
А после голос слабый и печальный,
То голос матушки, и вот слова:
«Прости мне грех мой — ах! твоя вдова
Тебя, блаженный, молит о прощеньи...»
Я ждать: ответа нет; а в отдаленьи
Не умолкает стон... Как ей помочь?
Как до нее дойти в такую ночь
В бору дремучем? — Рвуся в дичь густую;
Во что бы ни было спасу родную;
Вперед — и вот упал я в страшный ров;
Гляжу — и стая яростных волков
Передо мною, а вблизи могила;
Скрежещут звери; — что же? завопила
И жалостнее прежнего она.
Всё забываю, ею мысль полна.
«Прости, отец!» — взываю. «Прощена!» —
Вдруг раздалось, — и где же лес и логов?
Где гроб и мрак? — Средь радужных чертогов
Стоят передо мной отец и мать;
Смеясь и плача, их стремлюсь обнять...
Но вот они при чьем-то дивном пеньи
Всё выше в плавном, сладостном пареньи —
И вдруг в дыму исчезли золотом.

Аптекарша

Пречудный сон, пречудный! — а потом?

Егор Львович

Очнулся я в конýре Чудодея...
Но потемнела ближняя аллея;

Не рано — мне же за перо пора:
Я много писем получил вчера...

Аптекарша

А продолженье вашего рассказа?

Егор Львович

Сударыня, уж до другого раза.

Аптекарша

По крайней мере просим закусить.

Рассказа снова разорвалась нить:
Но раму ли оставлю без вниманья?
Пресходные между собой созданья —
Аптекарь-немец, отставной гусар
И старый поп! — Да! к ним еще татар
Или китайцев примешать бы можно!
«Послушай, — говорят мне, — ведь безбожно
Выдумывать знакомство меж людьми,
Которые (такими их возьми,
Какими в свете видишь их) по чести
Не сблизились бы лет и в двести!»
Положим; только почему же сам
На промахи указываю вам?
В своих ошибках первый я уверен;
Однако подражать же не намерен
Почтенному Капнисту. Старичок,
Бывало, вздор напишет в десять строк:
«О дивной мудрости Гипербореев»,
Пошлет в журнал и, чтоб своих злодеев
Потешить, эпиграмму на свой вздор.
Переменилось кое-что с тех пор;
Уж эпиграмм мы на себя не пишем,
Уж мы не той невинностию дышим,
Не тою прямо детской простотой,
Какую в старину являл иной
Писатель даже с истинным талантом.
Так! простяком пред умником и франтом
Холодным, бледным, томным наших дней
Стоял бы даже северный Орфей —

Державин, грубый, нежный, грозный, дикий,
Могущий, полуварвар, но великий.
Привел бы лепет их его в тупик;
А между тем мне и его парик
Порою кажется дельнее многих
Голов судей взыскательных и строгих,
Которые в нас сыплют градом слов
В крикливых перепалках тех листков,
И книжек, и тетрадей разноцветных,
Где среди фраз учтивых и приветных
И гения, и вкуса, и ума,
И остроты, и беспристрастья тьма,
Где уж Ла-Арпу и Баттё не верят,
И весят Байрона, и Гете мерят,
Толкуют про водвиль и про сонет,
И даже знают, что Шекспир — поэт.

РАЗГОВОР ЧЕТВЕРТЫЙ

Куда перенесемся мы сегодня?
Не в дом ли скромного слуги господня,
Священника? семейный быт его
Рудой богатой был бы для того,
Кто обладал бы даром Вальтер Скотта,
Но не порука за талант — охота;
Да и таланта мало: должно знать
То, что желаешь верно описать,
А то плохая на успех надежда.
Священника наружность и одежда
Еще, быть может, и дались бы мне:
Я мог бы говорить о седине
Волос его, о бороде почтенной,
Летами, будто снегом, убеленной,
О взоре ясном, об улыбке той,
С какою смотрит он на мир земной,
На призрак наслажденья и печали
(С такой улыбкой мы смотреть бы стали
На игры детства). Так, мои друзья,
В его чертах представить мог бы я
Подобье, тень святого Иоанна,
Но не того, который, в глубь тумана

Судеб вселенной простирая взор,
Небесный гром, разящий темя гор,
Таинственный, и блещет и грохочет
И день суда и гибель злых пророчит;
Нет, старца кроткого, — его ж уста
Исполнены единого Христа,
Напитаны любовью совершенной. . .
В весне своей, почти уже забвенной,
Священника знавал я: соименный
Апостолу, смиренный Иоанн
Был в пастыря невинным девам дан,
Которые цвели в сени десницы
Всем русским общей матери, царицы
Марии, благодетельницы всех.
Сколь живо помню старца! — Наглый грех
Без внутреннего горького укора
Не выдержал бы пламенного взора,
Дарованного господом ему.
Но, следуя владыке своему,
Он и врагам же простирал объятья;
Им взор его вещал: «И вы мне братья!»
Он другом был растерзанных сердец,
А девы, говоря ему «отец»,
В нем нежного отца встречали чувства.
Ему науки, письмена, искусства
Отрадой были: в слове россиян
И греков, римлян и зарейнских стран
Знаток глубокий, он читал Платона,
Сенеку, Гердера и Фенелона
Не в переводах. К старцу на совет
Придти бы мог прозаик и поэт, —
И приходили: яркий, быстрый свет
Он часто проливал на их сомненья;
А простоты младенческой, смиренья
Евангельского, знанья у него
Не отнимали. — Пастыря сего
За выдумку не принимайте, други!
Вам скажут сестры, матери, супруги —
Я лишнюю прибавил ли черту?
Конечно, редко, но подчас мечту
И правда пристыжает. — Здесь картиной
Мне довершить позвольте: пред кончиной

В последний раз благий господень раб
Приехал к девам, телом только слаб,
Но верой крепок; вот в их круг вступает,
И что же? (Как случилось, кто то знает?)
Все вдруг, как тут стояли, в тот же миг
Упали на колена... Знать, постиг
Их вещий дух, что близко час разлуки;
Смутился старец, стал, подъемлет руки
И плачущих благословил детей.
Довольно; только в памяти моей
(Надеюсь, согласитесь) кисть поэта
Найти могла бы краски для портрета
Священника. — Ввести ж в его семью
Вас всё нельзя: представить попадью
Мне должно бы; а как? — вот затрудненье!
Роняет кисть в испуге вображенье!
Едва я помню попадью одну!
Да признаюсь, как на нее взгляну,
В ней, женщине, быть может превосходной,
Черты не вижу ни одной мне годной:
Раз ехал я на долгих и зимой;
В село въезжаем; нужен был покой
И мне, и людям, и коня́м усталым;
Вот к двум дворам послал я постоялым,
Но были оба на́биты битком.
Что делать? — Смотрим, а на горке дом
Нас словно манит, светлый и красивый;
Ямщик мой был оратор, и счастливый;
Пошел и просит, — выбился из сил,
Да наконец принять нас убедил;
Шажком встащили кони нас на гору;
Тут жил священник, но на эту пору
Сам был в отлучке, и — ко мне, друзья,
Навстречу вышла попадья *моя*.
У ней я напился плохого чаю
И — отдохнул. Прибавить что? — Не знаю,
А высказал бы всё вам не тая...
Да! шила тут же платьице швея
Из тех, которым в округе знакомы
Все несколько зажиточные домы,
Которых жалуют не все мужья,
Но жены любят; с нею попадья

Вела довольно пошлую беседу;
Икалось дворянину, их соседу,
Так должно думать, от беседы той:
Ему досталось с дочерьми, с женой,
Со всей его роднею и друзьями.
Что тут занять мне? рассудите сами!
Пускаться в описанья наугад? —
Избави, боже! рад или не рад,
К аптекарю переберуся в сад!

«Егору Львовичу мы обещанье
Напомним, — молвил он, — повествованье
Начатое. . .»

Аптекарша

Так точно: вам от нас
Не отыграться! — Сядьте, просим вас.

Егор Львович

Я. . .

Аптекарша

Сядьте!

Егор Львович

Если должно непременно,
Но <я>. . .

Аптекарша

Без отговорок.

Егор Львович

Откровенно:
Я сомневаюсь, чтобы, не шутя,
С своими похожденьями дитя
Могло занять вас. . .

Священник

Очень вы не правы.
Что до меня, не для одной забавы
Желал бы я дослушать ваш рассказ:
Разгадывали дети мне не раз,
Что в взрослых мне осталось бы загадкой;

Из горьких слез, из их улыбки сладкой
Уроки важные я почерпнул;
В сердцах их чище и слышнее гул
Святого голоса самой природы.
Мы все младенцы: бог судеб народы
Воспитывает опытом веков,
И всякий, кто бы ни был он таков,
Воспитывается до врат могилы.
В малютках ум незрел, незрелы силы;
Мы думаем, что образуем их;
Однако и наставников других
Должны признать мы: жизнь и впечатленья;
Вдобавок нам за наши наставленья
Ребенок платит: пусть берет от нас,
Берем и мы; пусть каждый день и час
Его мы учим, — он и нас же учит.
Поверьте: никогда мне не наскучит
Изображенье чувств и дум, забот, утех
И горестей существ невинных тех,
В которых вижу образ человека
Без искаженья и пороков века.
Итак...

Егор Львович

Сдаюсь. Но не в отраду вам
Рассказ мой будет: вас не по цветам
Водить мне. Вы смеялися доселе?
Забудьте смех. Чем дале, тем тяжеле
Становится мой жребий. «О часах
Не поминай!» — твердил мне тайный страх;
Но им ли попуститься? их, робея,
В руках оставить подлого злодея?
Заговорил я о часах! — Бледнея
От бешенства, он поднял тусклый взор,
Но сел и удержался. «Что за вздор? —
Спросил он. — О каких часах болтаешь?»
Меня бесстыдство взорвало: «Ты знаешь, —
Я прервал, — знаешь, о каких!» — Едва
Успел я эти выронить слова,
Как на меня он бросился...

Аптекарша

Бездушный!

Егор Львович

Всегда я дома мальчик был послушный,
Отец не вспыльчив был, хотя и строг;
Не знал побоев я, — и что же? — с ног
Тут сбил меня чужой и оземь ринул;
Я вскрикнул, — Чудодей меня покинул...

Шарлотта

Из жалости?

Егор Львович

Нет, чтобы розги взять:
Уж прежде их он бросил под кровать;
Их я заметил, но мне в ум в ту пору
Не приходило, чтоб тогда же ссору
Хитрец замыслил.

Священник

Видно по всему,
Что даже угодили вы ему
Вопросом о часах.

Саша

Но польза ссоры?

Егор Львович

А вот какая: с нею все те вздоры,
И разом, сбрасывал с себя злодей,
Которые по глупости людей
Слывут приличьями. — От вас я скрою,
Как тешился палач мой надо мною.
Он рот мне зажимал, а всё мой крик
За стены нашей комнаты проник,
И вдруг вошел нежданный избавитель.

Саша

Кто?

Егор Львович

Инвалид, того же дому житель
(О нем и прежде помянул я вам).
«Побойтесь бога, сударь! стыд и срам!

Да полно ж! изувечите ребенка!»
— «Вступаешься напрасно за бесенка, —
Оторопев, промолвил аудитор: —
Он, брат, шалун, повеса, лгун и вор.
Сам рассуди: уж я ль не благодетель
Безродному щенку? ты сам свидетель,
Как принял я его, как обласкал!
Змея, змея, Степаныч, как ни мал!
В нем чувства вовсе нет: меня, негодный,
Ограбил, обобрал!» — Тут пот холодный
Покрыл лицо мне; позабыта боль:
«Лжешь!» — я заво́пил. «Ну, теперь изволь
Вступаться за него! — сказал разбойник. —
Избаловал его отец-покойник;
Так докажу же я ему любовь!»
И вот опять схватил меня, а кровь
И без того текла с меня ручьями;
Но, к счастию, обеими руками
Отвел безжалостного инвалид.
«Нет, ваше благородье, вы обид
Сиротке не чините! Тут не кража;
Случилась, может быть, у вас пропажа,
Хотя (прибавил шепотом старик
И усмехнулся) будет не велик
Прибыток и с находки; да вы сами
Не обронили ли?» — Потом: «За вами
Прислал тот офицер». — «А! знаю: тот,
Который на меня хлопот, хлопот
Навьючил, братец, целое беремя.
А ты, голубчик! мне теперь не время:
Да мы с тобой ужо поговорим!» —
И вышел он с заступником моим.

Шарлотта

С какими чувствами, воображаю,
Остались вы!

Егор Львович

Врагу их не желаю;
Но трудно описать их. У окна
Сидел я, словно в грозной власти сна
Мучительного, ясных дум лишенный.

«Проснусь ли?» — думал, болью пробужденный,
Вдруг вздрагивал, — и мой же горький стон
Мне отвечал: «Нет, не мечта, не сон
Тебя терзает!» — Бог весть, до чего бы
Дошел я наконец; но жертвам злобы,
Страдальцам (уж замечено давно),
Когда их ноша особливо тяжка,
И утешенье близко.

Священник

Не натяжка,
Так полагаю, если указать
На перст господень здесь, на ту печать,
Которую святое провиденье
На дивное житейских дел теченье
Порой взлагает, да уверит нас,
Что до него доходит скорби глас,
Что не в подъем не шлет нам испытаний.
Но продолжайте.

Егор Львович

Цепь глухих мечтаний,
Давивших мой унынья полный дух,
Расторг, — когда хотите, вздор! — В мой слух
Вдруг голубка влетело воркованье;
Не мудрено, что я, дитя, вниманье,
Хотя страдал, на гостя обратил.
Скажу вдобавок: в самом деле мил
Был мой крылатый, пестрый посетитель;
Он словно в скучную мою обитель
Просился, и кружился на окне,
И кланялся, иной сказал бы, мне,
Меня прельщал всех красок переливом
И будто что-то в рокоте игривом
Высказывал. — Взглянул я на него
И предо мною детства моего,
Минувших дней беспечных, мирных, ясных
Воскреснул образ; голубков прекрасных
Своих я вспомнил. Их моя рука
Кормила, на мой зов издалека
Летят, бывало. Мне была вся стая
Любезна; да от прочих отличая,

Особенно я выбрал одного
И птичке имя друга своего
Андрея дал.

Аптекарь

Андрея? это ново!

Егор Львович

Не слишком: о предметах разных слово
Нередко в языке и не ребят
Одно употребляют.

Саша

Но хотят
Тогда сказать, что сходны те предметы.

Егор Львович

Так, только в чем? Для сердца есть приметы,
Как для ума, и слуха, и очей:
С Андреем-голубком усач Андрей
С нависшей на глаза густою бровью
Не видом сходствовал, а той любовью,
Какую находил в обоих я.
«Что вы творите, милые друзья?» —
Увидев гостя, я шепнул, вздыхая,
А посетитель, будто отвечая,
Заворковав, отвесил мне поклон.
«От них привета не принес ли он?
Напоминает моего Андрея:
Такие точно крылья, грудь и шея!»
Сквозь слезы продолжал я и окно
Открыл, — и что ж? казалось, мы давно
Знакомы с ним, — не дрогнул он нисколько;
Я крошек нáбрал, бросил: «На! изволь-ко! —
Промолвил, — чем богат я, тем и рад».
Он стал клевать, и — я забыл свой ад,
Забыл и боль, и грусть, и стыд, и скуку.
Когда же протянул к нему я руку
И нá руку он сел, в тот миг я мог
За дом родительский принять свой лог.
«Ты будешь мне Андреем! — в восхищеньи
Воскликнул я. — В своем уединеньи
Отныне есть же мне кого любить!»

Но сих отрадных ощущений нить
Прервалась вскоре. «Голубок мой несравненный,
Где спрятать мне тебя?» — и, удрученный
Боязнию, тоскою, — что бы тут
Придумать, я не знал; и вдруг — идут!
Душа во мне застыла: от испуга
Платок насилу я успел на друга
Накинуть; но вошел не Чудодей,
Вошел Степаныч. «Барин, не робей! —
Сказал он. — Я пришел тебя проведать.
Да есть ли у тебя что пообедать?
Заторопился что-то мой сосед,
Забыл про вас... бог с ним! вот вам обед».
Потом старик на стол поставил чашу
Превкусных щей, в горшке крутую кашу
Да с добрым квасом небольшой кувшин.
«Прошу не брезгать! — не велик мой чин,
Но сердце бьется под моей медалью».
Дотоле занятый: сперва печалью,
А после радостью нежданной, я
Не думал об еде; тогда ж, друзья,
Почувствовал, что голоден; да голод,
Сколь ни был я еще и прост и молод,
С стыдом и гордостью в груди моей
Мгновенья два боролись. — «Чудодей
Воротится; не мешкай, кушай, барин!» —
Степаныч молвил. «Очень благодарен, —
Я отвечал, лепеча, покраснев: —
Мне совестно». — «Ну, барин, не во гнев,
О, просто совеститесь по-пустому! —
Он проворчал. — Служивому седому
Обиду захотите ли нанесть?
Извольте кушать: перед вами честь;
Ее не трону».

Священник

Что же вы?

Егор Львович

Рыдая,
Сжимал руками руку старика я.
«Не плачьте! — добрый говорил солдат. —

Пусть бабы плачут; молодец и хват
За срам считает слезы, за бесславье!»
И ложку дал мне: «Кушайте во здравье».
Я начал есть; но гостя голубка
Всё помнил, — между тем из-под платка
Он вздумал выглянуть. — «Смотри, Степаныч,
Какой хорошенький! <но> только на́ ночь
Куда его девать мне? — Был бы мне
Он истинной отрадой! .. На окне
Он в руки попадется Чудодею;
Злодей ему свернет наверно шею. . .
Степаныч, друг мой! я почти жалею,
Что прилетел несчастный голубок».
— «Ххмм! для него нашелся б уголок
И у меня, — сказал солдат с улыбкой. —
Но берегитесь: дядюшке ошибкой
Проговоритесь сами ж». — «Ничего
Не опасайся, — прервал я его, —
Как рыба буду нем! и сизокрылый
Тебя же просит: видишь ли, мой милый?
Он так и кланяется». — «Вечерком, —
Старик промолвил тут, — за голубком
Я стану приходить, или вы сами».
— «Да, друг мой, да! Своими я руками
Сам буду относить его к тебе!» —
Так я воскликнул. О своей судьбе,
Тяжелой, горькой, с радости тогда я
Совсем забыл; Степаныча лаская,
Лаская голубка, смеясь, шутя,
Я счастлив был, как может лишь дитя
Быть счастливым.

С в я щ е н н и к

Заметить здесь не кстати ль,
С какой премудростью благий создатель
Устроил наше сердце, как и среди тьмы
Свой свет нам посылает? Рвемся мы
В отчаяньи, из бед не зрим исхода;
Всё полагаем: жизнь, судьба, природа
В коварном заговоре против нас.
Посмотришь: мы ж смеемся через час!
Вселенна вдруг стала иной? Нимало!

Спасенья ли светило просияло,
Расторгся ли покров ненастных туч?
И то бывает; чаще же тот луч
Не солнечный, — светляк блеснул смиренный,
Но блеск и червя — блеск нам вожделенный.

Егор Львович

Я был ребенком.

Священник

Повторяю вам:
Доколе жертвуем еще мечтам,
Доколе в мире, — все мы дети те же.

Егор Львович

Есть исключенья.

Священник

Может быть; но реже
И Феникса. Кто хладен ко всему,
Кто под луной ни сердцу, ни уму
Уже сыскать не в силах пищи здравой,
Кто не прельщен ни счастием, ни славой,
Ни теплотой от алтаря наук,
Тот — срезанный от древа жизни сук:
Он в персях носит семя разрушенья
И на земле не более мгновенья
Останется. — Но даже он, пока
Могильщика отрадная рука
В безмолвном граде мирного кладбища
Не отворила мертвецу жилища
Единого приличного ему, —
Пусть он, слепец, и к богу своему
Не прибегает, пусть и в самой вере
Не видит ничего, — по крайней мере
Хотя на миг среди скотских сластей
Забвенье он встречает.

Егор Львович

Да! людей
Знавал и я: Манфреды в разговорах,
Конрады, Лары; в их потухших взорах
Читал я неоспóримый довóд,

Что неохота обмануть народ
На них надела страшную личину...
А подадут шампанское, дичину,
Уху, душистый страсбургский пирог, —
И тот, кого, казалось бы, не мог
И сам Орфей привесть в движенье, — чудо!
Расцвел незапно: озирает блюдо,
И взор немой совсем уже не нем;
Хватает нож, однако же не с тем,
Чтобы зарезаться с хандры и скуки;
Мертвец мой ожил: щеки, брови, руки —
Всё движется, — и доказал пирог,
Что нашим братом человеком бог
И Лару создал. — Но витийства жару
Мне ль предаваться? оставляю Лару.
Бывал не часто дома аудитóр:
Вот почему Степаныча с тех пор
Я навещал прилежно; мой приятель
Метлáми торговал; его создатель
Невысоко поставил в жизни сей,
Да душу дал ему. — Старик Андрей
Нежнее в обращеньи был со мною
И баловал меня, при мне порою
Андрей ребенком становился сам;
Степаныч же не потакал слезам,
Был малодушья всякого гонитель
И боле воспитатель и учитель,
Чем снисходительный товарищ; мне
Почти не говорил о старине,
Почти не поминал о приключеньях,
Какие испытал, — о тех сраженьях,
В каких бывал; зато нередко стих
Из Библии, когда из глаз моих
Увидит, что мне нужно подкрепленье,
Натверживал, — и в грудь мне утешенье
И вера проливалась. Сверх того,
Уроки эти в дар мне от него
Остались на всю жизнь; их на скрижали
Младенческого сердца в дни печали
Он врезал глубоко: затем черты
И не изгладились. Их ни мечты
Отважной юности, ни те обманы,

В которые вдавался, ни туманы
Холодной светской мудрости стереть
Не в силах были. Если ж и бледнеть
Случалось им, их оживляла снова,
То ласкова, то в пользу мне сурова,
Нежданным чудным случаем судьба.
Сурова, тягостна была борьба,
Которой я подвержен был в то время, —
И я погибнул бы, когда бы бремя,
Тягчившее меня, ничем, ничем
Не облегчалось. Позабыт совсем
Родными, в полной власти Чудодея,
И голодом томясь и грустью млея,
Ограбленный (всё лишнее мое
Истратив, уж и платье и белье
Бесстыдный отнял), часто даже битый,
Я только и держался не защитой,
По крайней мере дружбой старика.

Саша

А защитить?

Егор Львович

Могла ль его рука
Бессильная? — Однако, если строго
Судить хотите, много, слишком много
Я говорил о разных стариках,
Тем боле, что в младенческих летах
Необходимы ж сверстники. Их дома
В семьях, с которыми была знакома
Любившая знакомства мать моя,
И равных мне, встречал довольно я;
Но вдруг — Степаныч, голубок — и только.
Тот птица, а с другим шутить изволь-ко, —
Не улыбнется! Наконец и здесь
Товарища нашел я; правда, спесь
Моих жеманных тетушек с испуга
Содроглась бы, когда б увидеть друга
Им удалось, какого я избрал:
Отец Петруши был не генерал,
Не прокурор, не предводитель,
Хотя бы и уездный, — нет, родитель

Клеврета, друга моего Петра
Был просто дворник нашего двора.
Сначала я и чванился, но вскоре
Мы сблизились; делили смех и горе
И часто забывали за игрой
Весь мир со всей житейской суетой.

Остановился тут рассказчик юный.
На землю сходит вечер златорунный,
Уходит за обзор природы царь;
Кругом опал и яхонт и янтарь,
Пылают облака; дерев вершины
Дрожат и рдеют; медленно с долины,
Белея, катит к городу туман;
Вдали на взморьи мрачный великан,
Чернеет башня древнего собора...
И вдруг в беседе живость разговора
Торжественным молчаньем сменена:
В их души льется с неба тишина,
В очах их вижу я благоговенье;
Объяло всех священное забвенье
Пустых приличий. — Головой поник
Седой слуга господень... Что, старик?
О чем мечтаешь? — Глядя на пучину
Багряной бездны, не свою ль кончину
Воображаешь? Мирной быть и ей,
И ей сияньем сладостных лучей
Тех озарить, которым в час разлуки
Прострешь благословляющие руки!
Безмолвны женщины, шитье сложив,
Блуждают взором средь воздушных нив,
Где в глубине востока в тверди чистой
Прорезал сумрак серп луны сребристой.
Со стула встал хозяин: даже в нем
Зажглося что-то неземным огнем;
Громаду и аптекарева тела
Душа в мгновенье это одолела.
Исчезло солнце; стал тускнеть закат;
С ночных цветов струится аромат;
На дол и холм роса обильно пала.
«Боюсь, — хозяйка наконец сказала, —
За Александру Глебовну... пойдем».

Идут, — аптека манит их лучом
Последним, догорающим на крыше;
А позади темнее всё и тише,
И тише и темнее жизнь земли;
И вот в гостеприимный дом вошли.

РАЗГОВОР ПЯТЫЙ

Осенний вечер; блещет камелек,
Перебегает алый огонек
С полена на полено. Стулья слуги
Поставили; уселись наши други:
Огромные их тени по стене
Рисуются. — Но между тем вы мне
Позвольте помянуть о старине,
На миг из гроба вызвать дни былые.
Страну я помню: там валы седые
Дробятся, пенясь, у подножья скал;
А скалы мирт кудрявый увенчал,
Им кипарис возвышенный и стройный
Дарует хлад и сумрак в полдень знойный,
И зонтик пиния над их главой
Раскинула; в стране волшебной той
В зеленой тьме горит лимон златой,
И померанец багрецом Авроры
Зовет и манит длань, гортань и взоры,
И под навесом виноградных лоз
Восходит фимиам гвоздик и роз, —
Пришлец идет, дыханьем их обвеян.
Там, в древнем граде доблестных фокеян,
И болен и один в те дни я жил.
При блеске сладостных ночных светил
(Когда, сдается, на крылах зефира
Привет несется из иного мира;
Когда по лону молчаливых волн,
Как привиденье, запоздалый челн,
Таинственный, скользит из темной дали;
Когда с гитарой песнь из уст печали,
Из уст любви раздастся под окном
Прекрасной провансалки) редко сном
Я забывался, а мой врач жестокий

Бродить мне запретил. — Что ж, одинокий,
Я делывал? Сижу у камелька,
Гляжу на пламя; душу же тоска
Влечет туда, где не смеялись розы
В то время — нет! крещенские морозы
Неву одели в саван ледяной.
Кто променяет и на рай земной
Тот край, который дорог нам с рожденья?
Однако мы оставим рассужденья...
Несвязный, своенравный, пестрый вздор
Мелькал передо мной; и слух и взор
Непраздны были; чей-то резвый спор
Мне в треске слышался, и вертограды,
Дворцы, дубравы, горы, водопады
В струях огня живого видел я, —
И что же? вдруг замлела грудь моя;
Из тишины пронесся звук чудесный, —
Не струн ли дух коснулся бестелесный?
Ничуть: сосед на флейте заиграл,
Но огонек мой трепетен и мал,
Но в комнате глубокое молчанье;
Вот отчего кругом очарованье,
Вот отчего протяжной песни гул
Стон сладкогласный мне о том шепнул,
Чему названья нет, чего словами
Не выразить. — «Всё это сны, и снами
В спокойный сон ты погрузишь и нас!»
Итак, короче: в тихий, темный час
Сидеть перед камином мне отрадно.
Затем и благо, что, когда прохладно
В беседке стало и завеса тьмы
Простерлась, можем перебраться мы
В гостиную к аптекарю, к камину;
Здесь мы дослушаем, что про судьбину
Нерадостного детства своего
Рассказывает юный гость его.

Егор Львович

Вот так-то я, философ поневоле,
У Чудодея прожил с год. — Доколе
Был жив сосед, бывал тяжел порой,
Бывал порой и сносен жребий мой;

Но смерть нежданно без угроз недуга
Последнего меня лишила друга;
К Степанычу однажды прихожу,
И что же? — труп холодный нахожу:
Вдруг умер, как от пули, старый воин.
И тут-то, признаюсь, я стал достоин
Прямого сожаленья. Чудодей
Отвык страшиться бога, да людей
Еще боялся: мой же благодетель
Сосед Степаныч был живой свидетель,
Как обходился он сперва со мной;
Старик слыхал не раз, что сиротой
Я по отце, полковнике, остался;
Итак, при нем Михеич опасался
Сказать мне: «Ты холоп, я барин твой».
Когда ж скончался покровитель мой,
Тогда я из питомцев стал слугой,
Да и каким оборванным, несытым,
Замученным, тогда лишь незабытым,
Как вздумает мучитель вымещать
На мне досаду.

Аптекарша

Как? а ваша мать
Неужто в год не вспомнила о сыне?

Егор Львович

Ее (потом узнал я) о кончине
Любезнейшего сына Чудодей
Уведомил.

Аптекарша

Но для каких затей
Он сплел такую ложь?

Егор Львович

Не знаю, право;
Да только неспроста же так лукаво:
Какие у меня бумаги есть,
Сначала спрашивал. Добро, что честь
И честность молодца уже в ту пору
Сомнительны мне были. Аудитору
Я отвечал: «Теперь нет никаких,

Но, буде нужно, тотчас при́шлют их».
А сам на чердаке зарыл бумаги.
Поверил он: и трус не без отваги,
Когда бояться нечего, — итак...

Аптекарша

Закрепостить хотел вас? Вот дурак!
Вот глупо!

Священник

Точно; но судить построже:
Не всякий ли, кто долг нарушит, то же?
Платить за что бы ни было душой
(А ею ж грешник платит) — счет плохой.

Егор Львович

Не видя боле никакой причины,
Чтобы скрываться, вовсе без личины
Михеич обойтися положил
И молвил: «Нет охоты, нет и сил
Тебя кормить мне даром. Если хочешь
Не голодать — пускай себя и прочишь
В фельдмаршалы — служи мне. Без слуги
Зачем мне быть?» — И тут же сапоги
Мне отдал чистить.

Саша

Что ж ты, друг мой бедный?

Егор Львович

Сперва я вспыхнул весь, а после, бледный,
Трепещущий от гнева и стыда,
Спросил злодея: «В корпус же когда
Меня вы отдадите?» — «Мне нужда,
Мне выгода большая, мой любезный,
Стараться о тебе! Совет полезный:
То делай, что велят; не то — так вон!» —
С усмешкой отвечал нахальной он
И шляпу взял и вышел. «В самом деле,
Чего мне ждать? — подумал я. — Доселе
Была еще надежда, а теперь...» —
И в дверь; но, несмотря на речи, дверь
Мучитель запер. Что мне делать было?
Бегу к окну и — отошел уныло:

Наш терем был под самым чердаком, —
Пускай бы был немного ниже дом,
Я чисто выпрыгнул бы из окошка,
Да где тут? А к тому ж, хотя и крошка,
Я рассудил, что худо без бумаг:
«Их должно вырыть. Между тем мой враг
Воротится!» — Был труден первый шаг,
Но наконец за рабскую работу
Я принялся. Вот он пришел: заботу,
С какой исполнил я его приказ,
Лукаво похвалил; потом, пролаз,
Про корпус помянул и дал мне слово,
Что станет хлопотать. — Дитя готово
Надеяться и верить; в грудь детей
Не может вкрасться ядовитый змей
Ничем не одолимых подозрений.
Так мудрено ль, что сетью ухищрений
Он вновь меня опутал? — С сего дня
Холопом быть он приучал меня.
Уже и чувств и мыслей униженье
Грозило мне. Когда бы провиденье
Не пробудило духа моего,
Быть может, я дошел бы до того,
Что лучшей и не стоил бы судьбины.
Так мошка рвется вон из паутины,
Но глубже вязнет в гибельной сети:
Пусть даже выбьется, уж и нести
Ее не могут сломанные крылья;
И вот, недвижна, бросила усилья,
Избавиться уж и желанья нет.
Уж без участья я смотрел на свет
И на свободу. Падая, слабея,
Порой я думал: «Кинуть Чудодея?
Но что в огромном городе найду?
К кому прибегну? — Горшую беду,
Наверно, встречу! — Мне ль бродить с сумою?
Чем нищим, всё же лучше быть слугою».
И я — но что с тобою, Саша?

Саша

Вздор!
Грусть на меня навел ты, друг Егор.

Егор Львович

Охотно верю; да почти иначе
И быть не может: твердость в неудаче,
В страданьи крепость, мужество в бедах
Для слушателя пир: восторг и страх,
И радость, и печаль, и удивленье
В таком рассказе ускоря́т биенье
Сердец нечерствых. Но бессилье грех,
Который производит или смех,
Когда не важен случай, или скуку,
Уныние и грусть, когда про муку
Мы слышим и не слышим ничего,
Что бы для нас возвысило того,
Кто мучится.

Саша

А твой Пилад? твой Петя?

Егор Львович

Переменился. Вскорости заметя,
Что совершенно я сравнился с ним,
Он счел ненужным прихотям моим
Так угождать, как угождал дотоле:
«Да чем меня знатнее ты и боле?
По крайней мере не лакей же я».
Он даже раз мне молвил не тая,
Что все рассказы про мое семейство
Считает сказкой. Кажется, злодейство
Ему скорей простил бы я тогда,
Чем эту выходку. С тех пор вражда
Едва ль не заменила между нами
Бывалой дружбы. Между тем за днями
Тянулись дни; я стал угрюм и тих;
Последний блеск погас в глазах моих;
Как груз меня давила жизнь. — Однажды
(К развязке приближаюсь) бесу жажды
Неистовый Михеич приносил
Усердно жертвы и тем боле сил
Ей придавал, чем боле в горло лил;
Он обо мне в подобном исступленьи
Не помышлял, а в важном размышленьи
Просиживал по суткам где-нибудь,

Вздыхал и облегчал икотой грудь
И с видом совершенного незлобья
На небо очи перил исподлобья. —
Вот третий день почтенный ментор мой
Не мыслит даже приходить домой.
Когда бы мне хоть хлеб сухой оставил,
Я не роптал бы, что меня избавил
От сладостной своей беседы. — Но...

Аптекарша

От сладостной своей беседы!

Егор Львович

Вам смешно?
Клянуся: вовсе не смешно мне было.
Я голодал, а на меня уныло
Глядел мой голубок: уж и его
Я не кормил. С неделю до того
Меня спросил Петруша: голубочка
Я не продам ли? Если бы не бочка
Большая на дворе (за нею плут
Успел укрыться), я Петрушу тут
Прибил бы за такое предложенье.
Свое единственное наслажденье,
Свою отраду мне ему продать!
И это смеет он мне предлагать,
Он, сын мужицкий, уличный мальчишка!
То было спеси умиравшей вспышка,
Ее живой, да и последний свет;
Но он потух, но уж и дыму нет:
Не свой брат голод. — Грустью отягченный,
Свирепою нуждою побежденный,
По тягостной борьбе схожу с крыльца
И — к Пете. Бледность моего лица
Петрушу поразила: «Да что с вами? —
Сказал он мне и на меня глазами
Взглянул, в которых не было следа,
Что помнит нашу ссору. — Мне беда,
Когда увижу в ком-нибудь кручину!
Егорушка, нельзя ль узнать причину
Печали вашей? Не больны ли вы?»
— «Нет, Петя! Только от своей совы,

От филина лихого, Чудодея,
Мне голубка не спрятать... — так, робея,
Промолвил я. — Возьми его себе:
Уж лучше друга уступлю тебе,
Чем...» — досказать хотел я; сил не стало.
Обрадовался Петенька немало
И мне полтину отсчитал тотчас.
Напрасно останавливать мне вас
На том, что ощущал я при разлуке
С любимцем; верьте, даже и о муке
Голодного желудка я совсем
Было забыл. — «На, Петя! только с тем,
Чтоб ты любил его, берег и холил!
Да чтоб и мне хоть изредка позволил
Кормить его!» — шепнул я наконец.
«Пожалуй! — да не бойтесь: молодец
Сыт будет и у нас». «Так, так! сытее,
Чем у меня!» — я думал, и скорее
Отворотился, чтоб тоски моей
Не видел мальчик: слезы из очей
Уж брызнули. Но, голодом томимый,
Я вновь услышал вопль неумолимый,
Который стоны скорби заглушил:
Я со двора за хлебом поспешил,
И вот купил на всю полтину хлеба
И возвращался. Блеск и ясность неба,
Рабочих песни, над Фонтанкой шум
И крик веселый бремя мрачных дум
С души моей снимали; на ходу я
И голод утолил. Грустя, тоскуя,
Но мене, медленно я шел домой:
Всё радостно светлело надо мной,
Кругом меня всё двигалось, всё жило,
Всё было счастливо. Я о перило
Оперся, стал и в зеркало воды
Глядеться начал. «Горя и нужды
Мне долго ль жертвой быть?» — я мыслил; что же?
Вдруг хлеб мой бух в Фонтанку! «Боже! боже!» —
Я вскрикнул и — за ним! Схватить ли мне
Хотелось или... Как о страшном сне,
Так чуть мне помнится о том мгновеньи;
Но предо мною и в глухом забвеньи

Какие-то ужасные мечты
Мелькали, будто в бездне темноты,
В ненастной ночи частые перуны;
И, мне сдавалось, лопнули все струны
Растерзанного сердца моего...
Потом уж я не взвидел ничего.
«Что? жив ли?» — вдруг в ушах моих раздалось,
И — холодно мне стало: возвращалось
Мое дыханье; я открыл глаза...
Сперва (и смутно) только небеса
Увидел, узнавал я над собою;
Но вот заметил, что народ толпою
Стоит кругом, что где-то я лежу
На камнях. Поднимаюсь и гляжу,
Но всё еще каким-то плеском шумным
Я оглушен и с взором полоумным
Без мыслей спрашиваю: «Где я?» — «Где?
На набережной ты, а был в воде», —
Так голос тот, который и сначала
Мне слышался. Смотрю — и генерала
Какого-то я вижу: весь седой,
Однако бодрый, с Аннинской звездой,
С Георгием, старик передо мной,
Исполненный участья и заботы,
Стоял и напоследок молвил: «Кто ты?» —
«Егор Е....вич». — «Ты Е....вич? нет?
Неужто!» — «Точно так» — был мой ответ.
«Сын Льва Егорыча?» — «Его». И, бледный,
Он отошел со мною. «Мальчик бедный!
Не бойся, говори! с отцом твоим
Служил я; правда, мы расстались с ним
Давненько, братец, да во время службы
Друзьями были; не забыл я дружбы,
Услуг, прямого нрава старика!»
Рассказывать я начал; он слегка
Покачивал в раздумьи головою
И пожимал плечами, а порою
И взглядывал на небо. Кончил я;
Он молвил мне: «Егор, судьба твоя
Должна перемениться; свел с тобою
Меня недаром бог: тебя пристрою,
Определю тебя. Мне недосуг,

Но по тебя сегодня же, мой друг,
Заеду я, а между тем покушай.
(И втер мне в руку деньги.) Да послушай,
Благодари небесного отца:
От грешного, ужасного конца,
От гибели господь тебя избавил.
Прощай! — садясь на дрожки, он прибавил, —
И жди меня».

Саша

Ну, слава богу, — ты,
Я думаю, теперь из темноты
На свет же выдешь, и, признаться, — время.
Меня давил рассказ твой, словно бремя:
Бедняжка, сколько ж ты перетерпел!

Егор Львович

Довольно; но страдания удел
Не всех ли здесь в подлунной?

Саша

Мене, боле,
По мере нужд и сил, а вышней воле
Угодно так из века, чтобы мы
Все пили чашу горя. После тьмы
И солнце кажется на небе краше,
И только после скорби сердце наше
Всю благость бога чувствует вполне.

Егор Львович

Немного досказать осталось мне.
Приехал вечером мой избавитель
И взял меня. Он, сча́стливый родитель
Детей прекрасных, счастливый супруг,
Меня, одев получше, ввел в их круг.
«Вот братец вам», — промолвил он, и братья
С младенческою радостью в объятья
Пришельца приняли; его жена
Мне стала матерью: добра, нежна,
Заботлива, меня ни в чем она
От собственных детей не отличала.
Вот так-то жил я в доме генерала,
Пока меня не отдал в корпус он.

Но до того еще однажды стон
И слезы мне послало провиденье:
Мы скоро получили извещенье,
Что матушка скончалась, и по ней
Я долго плакал.

Аптекарша

А ваш Чудодей?

Егор Львович

Про Чудодея ничего не знаю,
Да виделся же с ним, так полагаю,
Второй отец мой, добрый генерал:
Был именинник я, и он позвал
Меня в свой кабинет; иду — и что же?
Там ждал меня подарок — боже! боже!
Мои часы, часы, по коим я
Тужил и в счастьи! — вот они, друзья.

Он снял часы; рассматривать их стали,
И кончил про минувшие печали
Наш юный витязь длинный свой рассказ.

Совсем ли потеряю я из глаз
Егора Львовича? Еще ли раз
С ним встретимся? — А ныне надо мною
Мечты иные резвою толпою
Поют и вьются: к ним склоняю слух...
Над древней Русью носится мой дух...
Не улетай же, легкий рой видений,
Народ воздушный, племя вдохновений!
Пусть в тело вас оденет звучный стих,
Раздался гром над морем нив сухих;
Так! собирается гроза в лазури...
Но не расторгло бы дыханье бури
Напитанных обильем облаков!
Но не развеяло бы вещих снов
Дыханье жизни хладной и суровой!
О! если бы желанною обновой
Обрадовал меня и оживил
Мой верный пестун, ангел Исфраил!

1833—1834

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

2. ПЕСНЬ ЛАПЛАНДЦА

А[1] Возвратись скорее, Зами!
Где возлюбленны красы?
Хладно Севера дыханье,
Грозно моря колыханье,
Лед сковал мои власы.

Ты напрасно убегаешь:
Я любовью окрылен!
Быстрый ток шумит с утеса,
Воет волк во мраке леса,
Путь метелью занесен, —

Не страшусь! мой лук натянут,
Чуток верный мой олень,
Волны разделю рукою;
Зами образ предо мною;
Я любовью оживлен!

С высоты угрюмой сосны
На долину брошу взор:
Не узрю ль тебя в долине? —
Пронесуся по пустыне,
Протеку вершины гор;

Хрупкий лист стряхну с березы,
И тростник ногой стопчу:
Он не скроет милой Зами!
И за бурными морями
Всюду Зами я сыщу.

Ночь приблизилась с зимою.[2]
Уж под снегом спит медведь;[3]

---

[1] Список сокращений и условных обозначений см. в примечаниях, с. 606. — *Ред.*

[2] Известно, что в Лапландии и в других полярных землях ночь продолжается во всю зиму.

[3] Медведь, сурок и некоторые другие животные проводят всю зиму в берлогах под снегом, по большей части спят и не употребляют никакой пищи.

Вкруг огней все улеглися,
И рассказы началися,
И плетут дружнее сеть.

Возвратись и ты, о Зами,
Где возлюбленны красы? —
Хладно Севера дыханье,
Грозно моря колыханье,
Лед сковал мои власы.

А 4. МЕРТВЫЙ К ЖИВОМУ

Сажень земли — мое стяжанье,
И тесен молчаливый дом,
И ненасытное желанье
Усыплено под сим холмом;
И спит страданье и веселье,
И тихо всё в угрюмой келье.

Прохожий! жизни сей стезями,
Как ты, и я подобно тек,
И я кропил свой путь слезами,
И я в мечтах провел свой век,
И для меня с улыбкой счастье
Сменяло изредка ненастье.

Я тек — и цель перед очами
Еще мелькала вдалеке;
Я быстрыми спешил стопами;
Но смерти в гибельной руке
Коса сверкнула — и могила
Мое стремленье прекратила!

Герой, победой вознесенный,
Чье имя, как небесный гром,
И бог земной, и раб презренный —
Все лягут в молчаливый дом;
Исчезнет блеск, как свет зарницы,
И гордые падут гробницы.

Конец могущества и славы,
Последний пышности предел!
Что здесь венец, что меч кровавый
И что здесь отклик громких дел?
Хвала не тронет спящих слуха,
И гимн до их не до́йдет уха.

Дитя забудется игрою,
Примчится вслед за мотыльком,
И с камня слабою рукою
Гордящийся столкнет шелом,

Покатит, взглянет и оставит,
И резво вдаль шаги направит.

О вы, хвалящиесь познаньем,
Умом, искусством, остротой!
Не увлекайтеся мечтаньем,
Не ослепляйтесь суетой!
Я мыслил, рассуждал, трудился, —
Но ах! сырою мглой покрылся.

И мой смущали взор печали;
Восторга пламень в нем светлел,
Любовью перси трепетали,
И в сердце дружбы огнь горел;
Оне погасли, охладели;
Над ними тень надгробной ели!

Взирай на сей, прохожий, камень,
Под ним мой мирный тлеет прах, —
Взирай! — и твой потухнет пламень:
Тебе ко мне единый шаг;
Вот гроб, изрытый под ногою, —
Он ждет сомкнуться над тобою.

О пилигрим! Здесь край отчизны;
Учись, учися умирать!
Блажен, кто, путь свершая жизни,
Не престает на смерть взирать:
Он тленье сотрясет могилы,
Как юный феникс златокрылый!

1815

Автограф ПД

6. УТРО 26-го СЕНТЯБРЯ

Хладное веянье струи на зеркало вод нагоняло.
Звезды с небес укатились; в неизмеримом аэре
Призрак — луна, потухая, блуждала; утренний петел
Громко воскликнул.

И заря занялась, и мрак облаков загорелся;
Край небосклона златой полосой от земли оттенялся —
Ярче и ярче алелся румянец; на соснах пустынных
Иней дробился.

Колокол тихо пронесся и умолк в отдаленьи;
Богомолец из одинокой обители вышел;
В храме моленье. Оратай коней запрягает, и солнце
Медля восходит.

Вот взошло; но бледное и покрова не сняло
С погруженной в туманы природы, в тучах сокрылось.
И надо мною солнце всходило — ах, оно скоро
В тучах сокрылось!

ТМ **7. ДИФИРАМБ**

Сладкая сила,
В чаше сокрытая,
Дух увлекает;
В кубок украдкою
Вливши желания,
Пафия греет
Сердце надеждою;
Царь Дионисий
Ум усыпляет,
Гонит печаль!
Так! упоенному
Грады покорствуют;
Он над народами
Многими властвует;
Златом, резьбою,
Мрамором светится
Дом беззаботного!
Лишь пожелает он
В радостном сердце:
Вот из Египта
По морю синему,
Всеми богатствами
Обремененные,
Мчатся суда!

1816

ИГ, т. I **9. ВИНО**

Что мне до стихов любовных,
Что до вздохов и до слез?
Я смеюсь над дураками
И с веселыми друзьями
Пью в тени берез.

Нам вино дано на радость;
Богом щедрым создано,
Гонит мрачные мечтанья,
Гонит скуку и страданье
Светлое вино.

Много, много винограду
Ел в раю отец Адам,
Грусти он и слез не ведал;
А как яблока отведал,
Отпер дверь бедам.

Друг воды на мир прекрасный
Смотрит в черные очки:

Мало трезвых Демокритов,
А спьяна митрополитов
Счастливей дьячки!

О вино, краса вселенной!
Всем сокровищам венец!
Кто заботы и печали
Топит в пенистом фиале,
Тот прямой мудрец.

ПД2

9. ВИНО

Что мне до стишков любовных,
Что до вздохов и до слез?
Я смеюсь над дураками
И с веселыми друзьями
Пью в тени берез!

Друг воды на мир прекрасный
Смотрит в черные очки!
Трезвых мало Демокритов:
А спьяна митрополитов
Счастливей дьячки!

О вино! краса вселенной,
Всем сокровищам венец! —
Кто заботы и печали
Топит в пенистом фияле,
Тот прямой мудрец!

Что мне честь и что богатство?
Часть благую я избрал:
Будь ты другом мне и милой;
Над моей поплачь могилой,
Верный мой фиял!

16

СО

8—16 С благоговеньем узришь суд всемогущих богов!
Ты с изумлением взгляд на грозном хребте остановишь
К небу стремящихся гор; пояс земли преплывешь:
Но не забудешь друзей! Пусть бури твой челн окружают,
Поллукс и Кастор тебя нашей мольбой охранят!
Нет! не нарушишь святых ты обетов, Матюшкин, в отчизну
С прежними чувствами ты ту же любовь принесешь!

СО **18. МОЙ СОКРАТИЗМ**

Престаньте, Гераклиты, плакать
И мудрствовать против небес:
Ваш плач есть тщетный плач младенца,
И ваша мудрость — слепота!

Ленкевич. «Феодицея»

Всё есть вместе и цель во вселенной, и к высшему средство.
Верьте, друзья: нам жизнь для наслаждений дана!
Нет! Страданьем моим, терзаньями скорбного сердца
Бог мой, мудрый, благий, счастья продать не хотел
Избранным чадам своим. Не во гневе создатель вселенной —
Верьте души своей тайному голосу, — был
Для земнородных творцом: он равной любовию любит
Вас, рождение дня, жизни минутных гостей,
Равной любовью священных духов, чьим взорам являет
Разоблаченный свой лик, пламенных быстрых послов
Вечныя воли своей. — Насекомого счастье Егове,
Счастье твое, человек, счастье Элои [1] равны.
В каждой былинке живет и дышит создатель. Он слышит
Глас херувима и зрит слезы младенца: любовь
Бога богом творит! Престаньте же плакать, страдальцы,
Жизнь для счастия нам, для наслаждений дана!
Каждый считан наш вздох, святым воздаянием веют,
Будто дыхание струн, пальмы над нашей главой!

2 ноября 1817

ПД1 **24. [ПЕВЕЦ ТОСКИ]**

Заглавие [Пустынный певец], [Певец тоски]

После 44

[Знакомы мне твои черты,
Пришлец страны небесной!
Мне на земле явился ты
В час дивный и прелестный,
Когда я и дрожал и млел,
Когда Элизу я узрел!

Я для тебя был сотворен,
Твоею половиной;
С тобою в жизни разлучен
Суровою судьбиной, —
Мне вечности отверзлась дверь, —
С тобой я съединен теперь!]

[1] Первый из ангелов назван в Мессияде: Элоа.

24. ТОСКА

Alles, was erschaffen ward,
Ist von Ewigkeit gepaart:
Jedes sucht im Lebenslauf
Das für ihn Erschaffne auf!
Ob die Form es gleich beengt:
Wenn es reif ist, dann zersprengt
Es des Körpers enges Band
Und umschlingt, was ihm verwandt!

Werner[1]

В полночной темноте, в безмолвии природы,
Друзья, певца тоски я видел над рекой.
Дремали перед ним задумчивые воды;
И наклоненный вяз и явор вековой
Унылую главу в прохладе их купали.
Я слышал песнь тоски, глас сумрачной печали;
Лесистый холм темнел; в глубокой тишине,
При потухающей во облаках луне,
Пустынные древа вершиной помавали.
Заискрилась во тьме жемчужная струя
И быстро потекла в безвестность отдаленья,
И зе́фир пробежал по зеркалу ручья,
И к песни преклонен был слух уединенья!
Я ей внимал; она —
Уныла, сладостна, мрачна —
Неслась над тленом жизни
И мне шептала об отчизне! —
Прийми, земля, усталых нас,
Детей прийми, родная!
Ударь скорей, желанный час!
О тишина святая,
Ты уготовь свой мирный дом,
Ты нас покрой своим крылом!

Остыла пламенная кровь;
Мечты от нас сокрылись;
Для нас уж отцвела любовь;
Мы с радостью простились!
Насытились тоской сердца:
Прийми ты нас! мы ждем конца!

Прийми ты нас, подземный мрак!
Прийми, покой могилы!
Всё вянет здесь, как вешний злак:
Увяли наши силы!
Что, что нам здесь, в стране чужой?
Сыны к отцу летят душой! —

[1] Все, что было создано, было едино в вечности: каждое существо отыскивает на протяжение жизни то, что создано для него! Пусть даже форма сковывает его, — когда приходит пора, оно разрывает тесные путы тела и соединяется с тем, что ему родственно! *Вернер* (нем.). — *Ред*.

Как умирающей волны
    В скалах унылый ропот, —
Средь беспредельной тишины
    Я слышу сладкий шепот;
Мне говорит знакомый глас:
Желанный близок, близок час!

Зовут, зовут меня в страну
    Безвестную, родную!
В другом себе я жизнь начну, —
    Я не один тоскую:
Отзыв моих желаний там,
Там сбыться всем моим мечтам!

На скорбь мою мне был ответ
    Из-за пределов мира!
И что? Чей вижу я полет
    Из тайных бездн эфира,
В преображенной высоте,
В небесной, чистой красоте?

Не ты ли, чей я образ зрел,
    Когда любил я Лизу,
Когда я трепетал и млел,
    Когда глядел на Лизу? —
Я для тебя был сотворен,
    Твоею половиной:
Я вновь с тобою съединен
    Священною судьбиной!

28

Б

После 8

Там ждет меня призрак
Ничтожный, но милый;
Там ждут меня тени
Минувших времен.

После 20

Не то ли мечтанья,
Которым я верил,
Всё, чем согревалась
Холодная жизнь?

14 февраля 1818

33

ПД 1

Строфа 1, 3—4
Строфа 8, 3—4

Хранитель мой в пути мучений,
Мой друг, мой пестун, ангел мой!

Строфа 5

Не ожидаю я участья
От юных, радостных друзей.
Увы, зачем тоски и счастья
Я не берег от их очей!

37

Автограф ПД (черновой набросок)

В блестящей в суетной столице
Вдали от милых земляков
. . . .
Мой брат мне молча пожал руку...
Туда, где дышит вечный хлад,
Где позабыли литься воды,
В отчизну мразов, непогоды, —
Туда мечты мои летят!
[На ужас здесь щедра Природа]
Здесь всё мертвит зима немая
. . . .
Главы до неба воздымая,
Теряясь в пасмурной дали,
Из бездны ада возросли
. . . .
За исполином исполин
Со дна морского горы льдин
. . . .
[Священ сей дикий брег для Россов]
На них, быть может,
Дитя восторженный взирал
. . . . скал
В нем призраки их начертались
И вдохновенному потом
Не раз воскресшие являлись
В краю далеком и чужом! —
. . . .
Тундры...

42

Черновой автограф ПД 1

Вместо 2—6 [Дети страданий дневных, созданья таинственной ночи,
Всюду обстали меня, мертвые, суетный сонм;
Перст положа на уста, призраки кивали главою,
Вдруг взвивались толпой, вдруг, ниспустясь, на меня
Долго смотрели глазами впалыми, долго шептали]

Вместо 15—18 [Час полуночный пробил, бой умолкает, — но гул
Стонет в обширной тиши, один среди спящего града.
Светел мой тихий приют; что ж ты один, о мой Лар,
Мой утешительный друг, слепой, но всевидящий старец,
В пасмурном мраке стоишь, добрый, священный Гомер?]

Вместо 21—22 [В даль я на небо гляжу — сколь небо мне сделалось чуждым!
Некогда был его свод для моих детских очей
Полным волшебной красы — родным и священным для сердца:
Многое жизнь у меня, хладная жизнь отняла!]

Вместо 23—26 [Вы, прорицатели мне слепоты, вещуны отверженья —
Нет! — поклонение ей, строгой судьбе, но благой. —
Страшно для вас восхищение, страшен восторг Песнопевца,
Будто для сов Аполлон, для обитателей мглы! —
Но я страдал, а вы и живо страдать не достойны!
Ваша и злоба мертва: нет, не паду я до вас! —
О, и без вас, злополучный, узнал я, что значат утраты!
Многое я пережил — счастье, мечтания, грусть,
Многое милое мне, здесь трепетавшее — в сердце!
Где ты, святая любовь, чистый, небесный огонь! —
Им преисполненный весь, я бессмертью небесного верил!
Что же ныне в моей осиротевшей груди
Не назову временным? Какому чувству отныне:
«Ты не погаснешь!» — скажу? — или единой тоске
Сумрачный жребий велел меня не покинуть до гроба? —
Из колыбели меня на руки скорбь приняла;
В детстве веселья не зная, я знал уже слезы;
Жадно, боязненно пил юноша полную жизнь —
Что ж на дне он нашел? — не смерть — убийственный холод!
Ныне же утро мое скрылося! — полдень исчез!
Солнце не столько палит; мой вечер уже наступает;
Тянется тьма и зовет раннюю вечную ночь!]

Последняя строка — конец стихотворения.
Далее — новые варианты середины и конца:

[Вы, прорицатели мне слепоты, вещуны отверженья,
Слышу, безумцы, ваш смех, темные, злые сердца! —

Но я страдал, — а вы и живо страдать не достойны,
и т. д. как в предыдущем отрывке.

Между 23—24 [Ах, уж мне не любить: всё опустело; тоске,
Пасмурной только тоске меня не покинуть до гроба —
Из колыбели меня на руки скорбь приняла.
Нет, я не радость познал на заре — одинокие слезы —]

43

ПД 1

Вместо 26—49 Казалось мне, таинственный старик
[На них смотрел, и что ж? его морозный лик,]
Как прежде, бледен был, безмолвный и суровый,
И мглой подернутый, и тишиной гробовой.
Так мертвой высоты недвижимый жилец
(Его толпе на страх образовал резец)
Стоит и одинок, средь ужасов молчанья
На ловчего в горах льет стужу содроганья —
С лица пришельца вдруг посыплет хладный пот,
Он остановится над вечным шумом вод,

Он взглянет: на него сын дикого искусства
Глядит с немой скалы без жизни и без чувства! —

Но что — не арфу ли с земли берет старик?
Он головой задумчивой поник;
И персты по струнам рассеял.
Встал ветер и власы его развеял. —

«Отлетающая младость
Убивающей рукой
Вырывает за собой
Всё живое: скорбь и радость!

Мне сказало сердце: «Нет,
Ты для чувств не будешь камень!»
Но пустеет скоро свет,
В сердце скоро гаснет пламень!

Всё проходит, стынет кровь,
И падет туман на вежды!
И умчатся все надежды,
Слава, счастье и любовь!»

Проснулся я. Гляжу: огни уже горели
По своду вспыхнувших небес.
Я слышу тихий зов пастушеской свирели —
Тут сон мой пасмурный исчез —
Но дух мой возмущен угрюмыми мечтами
И изголовие омочено слезами —
С подобным трепетом на старца я смотрел,
И близкое меня не радовало счастье;
Казалось, вижу я, сбирается ненастье
И свод небесный почернел.
Я вижу: грозный рок берет свои перуны.
Но не падет страдалец юный,
И ждет его другой, ужаснейший удел.
Он в хладных бурях каменеет,
И быстро для него пустеет жизнь и свет.
Гляжу — уж для него любви и славы нет;
Огонь погаснул в нем, в нем даже скорбь немеет;
Надеждам и мечтам и горестям конец,
До смерти бродит он над гробом, он мертвец —
И я рыдал: восторги сладострастья
Я находил в моих слезах —
И гром стонал в тяжелых облаках,
И старец на меня ужасный, без участья,
[Как будто бы утес возвышенный, глядел;
Взвились власы его и мрак его одел —
Но воздух между тем, казалось, отягчел,
Казалось, вижу я, сбирается ненастье,
Глядел без сердца, как утес]

Тогда я с трепетом постиг его удел —
Мне страшные уста ни слова не сказали,

Гроза, рокоча, протекла,
Но весь я полон был несказанной печали,
И мертвая душа душе моей рекла!

54. РОМАНС

НЗ

Теперь узнала я, о чем,
Когда зефиры сладко дуют,
В лесу прохладном и густом
Так томно голубки воркуют.

Теперь я поняла тебя,
Певица неги — Филомела!
Увы! я и самой себя
До сей поры не разумела!

Не спалось вешней ночью мне;
Цветы не мне благоухали;
Я днем ходила как во сне;
Я вяла в сладостной печали.

Глядя на небо, на луну,
Сквозь ветви сумрачной березы,
На осребренную волну,
Я часто проливала слезы!

И красный мир мне скучен был,
Весна меня не веселила;
Но сколько свет с тех пор мне мил,
Как я Эраста полюбила!

С тех пор, как знаю я, о чем,
Когда зефиры сладко дуют,
В лесу прохладном и густом
Так нежно голубки воркуют!

57

ПД1
13—16

[Он знал одни ласки, одни поцелуи...
Блажен! он до жизни, до мук не дожил;
И здесь он спокоен! — здесь шепчутся струи,
Здесь сладостен сон молчаливых могил.]

64

ПД1
31—36

[Не в храм ли тех ужасных сил,
Судьбами правящих вселенны?
Для коих тайные измены
И сокровенности сердец —
Для коих ясно всё земное:

И провидение святое,
И злых и добрых дел конец?
Прелестно страшные картины!]

68

ЛБ1
Вместо 43—48

Нет в мире ничего отечества святей!
И меж сугробами полуночных степей
Я обретаю наслажденье
В святом кругу и кровных и друзей!
Когда утихнет шум, и замолчит волненье,
И от таинственных светил
На землю упадет немое усыпленье, —
Тогда под веяньем бесплотных вещих сил
Парят и плавают их души надо мною
И шепотом с моей беседуют душою.
В прекрасных, благодатных снах

АВ

72. К ТУМАНСКОМУ

Туманский, Туманский! ты слышишь ли глас,
Зовущий на битву, на подвиги нас?
Мой пламенный юноша, вспрянь!
О друг, полетим на священную брань!

Кипит в наших жилах веселая кровь;
К Свободе, к бессмертью горит в нас любовь;
Мы Россы, мы юноши: нам
Лететь к Марафонским, к святым знаменам!

Нет, нет! — не останусь в бесчестном я сне;
Прости! — я сказал гробовой тишине:
Уж ждет меня сладостный бой;
И пусть я паду, я паду, как герой! —

И в вольность, и в славу, как я, ты влюблен;
Навек ты со мною душой сопряжен:
О друг, полетим же туда,
Туда, где восходит Свободы звезда!

Огонь запылал в возвышенных сердцах:
Эллада бросает оковы во прах;
Туманский, Туманский, зовут!
Так, мы потечем на божественный труд.

Мы презрим и роскошь, и негу, и лень:
Настанет для нас тот торжественный день,
Когда за Элладу наш меч
Впервые возблещет средь радостных сеч! —

Тогда, как раздастся громов перекат,
Свинец зашипит, загорится булат
В тот сумрачный, пламенный пир,
«Что любим свободу!» — поверит нам мир.

Апрель 1821
Париж

71

ПД1
После 36

[Но прежде, друг, желал бы я малюток
Твоих лелеять и любить,
Товарищ быть их радостей и шуток
И лакомства им тайно приносить.]

80

ПД1
Заглавие

[Диагор]

Вместо 1

Один я наконец на камне одиноком.
Какой прелестный, дивный вид!
Там под утесом Кур шумит,
Я виноградники хватаю жадным оком,
Внизу кипящий город зрю.
То вдаль меня манит огромный верьх Казбека,
Ввек не униженный ногою человека,
То в древний Персеполь парю!
Но что — какой восторг меня объемлет?

После 16

На царских не вели пирах
Мне славить гибель и сраженье! —
Потухнет пламень вдохновенья
В их ослепительных лучах,
В златых цепях порабощенья!

После 51

Младым соперникам с престолов раздают
Седые старцы беспристрастный суд!
Но что — какое новое сраженье?
Я чувства все, всю жизнь в одно вмещаю зренье!

Вместо 101—102

Но ныне наша жизнь без радостей влачится
И состарел жить свет!

81

ПД1
Вместо 1—4

[Глагол господен был ко мне
За цепью гор на Курском бреге:
«Ты дни влачишь в ленивом сне,
В мертвящей душу, вялой неге!]

83

ЛБ1
Вместо строф 8—9

[И будет память тех священна,
Кто был покорное дитя!
Она, из мрака излетя,
Бессмертным блеском покровенна:
Над Антигоною сбылись
Слепого старца предреканья;
Ее и нежность и страданья
В пример потомству сбереглись!

И если я ценой блаженства
Купил высоких песней дар,
Во мне горит не тщетный жар,
Но тщетно жажду совершенства:
О Юлия! я воспою
Твою младую добродетель,
В веках я буду твой свидетель
И кротость вознесу твою!

Ты прогоняешь грусть и скуку
С любезной матери чела!
Но жизнь моя не раз лила
В ее святые перси муку!
Тебе, друг нежный, я тебе
Отныне дни ее вручаю:
И пусть забудет — умоляю
О горестной моей судьбе!]

91

Список ЛБ

Строфы 11, 12, 13 отсутствуют.

Строфа 16

Потомок Ванды! возвратися с бою:
В глухую ночь с ножем
Твой друг и сын восстанет над тобою, —
Иди, воюй по нем!

После строфы 20

Бог за грехи тирана посылает
Бичом на свой народ;
Тирана ж имя в мерзость пребывает
Из рода в поздний род.

Строфа 28

За Доном кочевал в лугах шелковых
Злодей наш, печенег;
Послышал свар врагов своих суровых
И радостен прибег.

Строфа 30

И ты ли не притек за Болеславом,
Надменный, шумный лях?
Ты ль не упьешься на пиру кровавом
В Черниговских полях?

Строфа 31 Или десницы не прострет к булату
За зятя храбрый тесть?
Нет! он изведал Святополка плату —
Предательство и лесть.

Строфа 35 «Побегнем, — возопил, — побегнем, други!
Увы! настал мой суд!
Не зрите ли? Живого бога слуги
Несутся, нас женут!»

Строфа 36 И се орел над Ярославом взвился,
Шатнулся печенег:
Железный рус в ряды его врубился
И расточил их в бег.

Вместо строфы 42 Кто там покрыт остатками доспехов,
Там бродит между скал?
Отчизна гор, страна отважных чехов,
Тебя мой взор узнал!

Не здесь ли в камнях средь лесов дремучих
Ждет путника разбой:
Здесь удальцов бездомных и могучих
Витает дерзкий рой.

Глухая ночь во глубине пещерной
Приемлет их стада.
Над тучами возносят свод безмерный
Огромные врата.

Строфы 44—46 отсутствуют

Строфа 47 Ты зрел ли пса, который, изнуренный,
В зной тяжкий одичал? —
Воспрянул, зев покрылся смрадной пеной,
Затрясся, побежал?

ЛБ1
Строфа 1 Горит и блещет солнце в полдень ясный,
Ликует средь небес.
Но близок вечер — лик его прекрасный
В густых парах исчез.

Строфа 3 Великий закатился средь печали,
Восплакал верный полк.
[Народ] бояре, Киев, витязи взрыдали.
Восходит Святополк.

92

ПД2
После 7 [Но тебе посвящу первый мой, лучший восторг,
Роща святая, спокойный приют, где муж прямодушный

Праведный спит, где он в хладных объятьях земли
Отдых находит от жизненных гроз, от тяжкого зноя!]

После 13 [Он воскресает в слезах, в поздних рассказах родных,
В персях могучих сынов, в помышлениях сладостных дщерей!
Но одинокий — увы! в самых веселиях сир.
Ныне же ты не рыдай, не сетуй, унылая лира!
Гость безотрадный, не раз бурями дикой души
Кровных моих я смущал, не смущу их суровою песнью!
Да прояснюся на миг, в круг их священный вступлю!
Юная мать в тишине, посреди семьи домовитой,
Мудрой рукою блюдет чистых, прелестных детей:
В звуках, достойных ее, ее золотые заботы,
Буйная жертва страстей, я ли прославить могу? —
Но еще раз тебя воззову, усопший счастливец:
Имя твое для нее, память живая свята!
Все ее мысли стремятся к тебе, и ты соприсутствен
Чувствам ее и делам; с неба низзри — и поднесь
Навыкам всем, желаньям твоим она угождает;]
В доме вдовицы твоей дух твой поныне парит!
[Всё, что в жизни любил, малейшее друга желанье
Усыновила она! утвари, книги твои
В тех же кивотах стоят; записки руки драгоценной
С тщаньем верным она, лучшее благо, хранит,
Все свои дни посвящает тебе, на служение тени,
Благословляющей путь нежной, примерной жены.
Я же, ваш брат, преклоняю колена пред зрелищем сладким:
Верь, я до слез умилен, я постигаю ее!]

После 39 [Други! зовут: мне пора броситься снова в борьбу
Ярых страстей, в сражения вихрей, громов и гонений!]

После 40 [Гений, слетавший ко мне в приют, осеняемый миром,
Радостный житель небес, сын непостижных богов, —
Закупский тихий предел передай рассказам столетий!
Имя родимых моих да сохранится в душах,
В мире нетекших со мной, быть может, когда-то согретых
Жадным, снедавшим меня, но благотворным огнем!]

99

ЛБ1
Вместо 9—10 Мне в сердце вдруг прольется сладость,
И, вспомнив счастие и младость,
Гляжу: невинности святой
Прелестный ангел предо мной!

100

ЛБ1
После строфы 5 А ты — подобно Антигоне,
Подруге скорбного слепца,

На чистом, безмятежном лоне
Лелеявшая грусть певца, —
Ты, ты ему была отрада;
Как зову милого Пилада
Злосчастный мститель за отца
Внимал и в самом исступленьи,
Так ты несла мне утешенье;
И я — не жаждал я конца!

[Дойдет до неба крик молений,
Молитва сердца моего!
Ты будешь брату добрый гений;
И с жизнью примиришь его!
Так! надо мной пройдет несчастье,
Так! я еще познаю счастье
В избытке счастья твоего —
И при тебе в объятьях мира
Я встречу, позабыт от мира,
Предел теченья своего!]

106

Список рукой К. Ф. Рылеева (ПД)

1—4 *зачеркнуты*

3 Царя трепещущим рабам

5 [Не суть отечества сыны]

9 Так, говорят не Русским словом

12 Клянуся честью и Черновым

14 Дерзнешь ли вновь, любимец счастья,

16 Падешь, перуном поражен.

21 А ты, брат наш <их> ты сердец

26 Нам всем в священный образец.

28 Ты чести будешь нам залогом.

115

Список ЛБ
Строфы 6—7

Облетел бы круг вселенны,
Только там бы отдохнул,
Где родимых глаз бесценный
Повторяет сладкий гул;

Среди светлой летней нощи
Я мелькнул бы в их очах

Между древ той тайной рощи,
Где отца их тлеет прах.

Автограф в письме Ю. К. Глинке (ПД)

119

Между строфами 5—6

На небо выплыла луна,
Померкло мирное селенье;
Но он поздвигся ото сна,
Он чадам шлет благословенье!

Строфа 6

Услышь, о друг! мою мольбу:
В обители твоей спокойной,
Когда свершу свою судьбу,
Пусть отдохну от жизни знойной!

Дневник (ГИМ)

127. НА 16-й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ САШЕНЬКИ

Строфа 1

Не удержишь! мчится время,
Снег бросает мне на темя,
Всё уносит за собой
В ночь глухую тайной дали,
Всё уносит в мрак немой —
Жизнь, и радость, и печали!

Между строфами 1 и 2

Между тем как я седею,
Как над головой моею
Дни за днями протекли,
Как того, другого брата,
Роком сорванных с земли,
Душу растерзала трата, —

Там уж жатвы, где посевы.
Там уж с юношами девы,
Где я зрел детей вчера!
Так! промчалось наше время,
Наша минула пора:
Входит в мир иное племя.

Между строфами 4 и 5

Мне велишь ли? бодро очи
Устремлю я в недра ночи,
В лоно нерожденных лет:
То, что вещим взором вижу,
Прорицающий поэт,
Из грядущего приближу...

Между строфами 8 и 9

Если воля Провиденья
После долгого теченья
Только поздний мне покой

В глубине земной судила,
Если поздно надо мной
Вечных дней взойдут светила:

Строфа 9

Ах! мечтою благосклонной
Ты почто не Антигоной
Мне явилась? Нет, судьбы
Не страшись моей плачевной:
Верь мне, сильны тех мольбы,
Что испили Жребий гневный! —

16 апреля 1832

130

Дневник от 10 июня 1832 г. (ПД) и список ЛБ4

Строфа 1

Так! в этот день открыл я вежды
Для чувств, для страха, для скорбей,
Для радостей и для надежды,
Для испытаний жизни сей;
Отверзлися уста немые,
И голос я издал впервые. —
Печальный крик был тот привет,
С которым я взглянул на свет.

Строфа 5

Нет! не ропщу — и пред тобою
Смиряюсь, боже, боже Сил!
Ты будь за всё прославлен мною,
Что мне послать благоволил.
Ты ведаешь и срок и время;
Так не молю ж: ослаби бремя!
Велел ты — я носить готов.
Но мне внемли, отец духов!

Строфа 6

Внемли мне, не отринь молений,
Взывания моей души:
Избавь меня от преткновений
И от падения спаси.
Своею чудотворной силой
Крепи, воздвигни дух мой хилой,
Пошли мне свет твоей Любви
И сердце в персях обнови!

Строфа 7

Да устремляюсь к совершенству!
Да поищу с сего же дня
Стези к надзвездному блаженству,
Пока не вознесешь меня
С земли сей, края искушенья,
В небесный край успокоенья,
В отечество твоих духов,
Где буду чист и без грехов.

133

Дневник от 4 сентября 1832 г. (ПД)

Строфа 5

Не те ли то, коих я в жизни любил? —
И коих одели покровы могил,
И с коими — рок ли, людей ли вражда
Меня разлучили, — сошлися сюда?

136

Дневник от 15 декабря 1832 г. (ПД)

Вместо 28

Не зная ни оков, ни граней тесных,
Ношусь, ширяюсь в областях небесных
И выше звезд и солнцев узнаю
Не грозного для смертных судию,

Вместо 39—41

Но слез не лей: нет, не без бога мы!
Не сетуй! — наше солнце среди тьмы,
Наш пестун и покров и защититель,
Наш бог, надежда наша — вседержитель,
И много от его руки благой
Прияли мы — не ясной ли душой,
И радостной и мощной даже в горе

Вместо 48—49

[Так, не таю: я мене тверд, чем он;
Так, исторгался малодушный стон
Из этих персей. Ныне ж со слезами
Пою и славлю господа: дарами,]
Бесценными дарами датель сил,
Господь мой, и меня благословил;

Вместо 64—68

Я верую, я знаю: не умрут
Крылатые души моей созданья.
Так! чувствую: на мне печать избранья.
Пусть свеется с лица земли мой прах —
Но я — счастливец — буду жить в веках.

Вместо 98—101

Которых имена вовеки громки,
Те, что стоят времен на высоте,
Поэты, к коим поздние потомки
Подъемлют блеском ослепленный взор, —
Светил вселенной вдохновенный хор?

137

Дневник от 16 февраля 1833 г. (ПД)

12—16

Так! мы в стране и песней и отваги,
В стране Одена, Бальдера и Браги;
В стране, куда летал и дивный дух

Царя сердец, британского поэта,
Парил и преклонял к преданьям слух...

Вместо 23—24

Любви залог руки моей черты!
Любви отшельника тебе родного:
Внимая притче пастыря святого,
На коем почивала благодать,
Тебе ее желал он передать;
Прими ж ее: я в ней обрел отраду...

167

СС1 (по автографу дневника 1840 г.)

Вместо 60—61

И только что-то мне шепнуло:
«Мужайся, взоры к небесам!
Горька твоя земная чаша,
Но верь, товарищ: есть свиданье там.
А здесь поэзия и дружба наша
Вильгельма память передаст векам!»

182

СС1 (по автографу дневника 1845 г.)

Строфа 1

[Горька судьба поэтов всех земель,
Но горше всех певцов моей России:
Заменит ли трубою кто свирель —
И петля ждет его мятежной выи!]

198

Автограф ПД
Черновой набросок

Зевс

Но, милосерд и в самой казни,
Их неготовых не сражу,
Их сонм заране устрашу
Перуном благостной боязни, —
Да в искупленье воскурят
Стотельчные пред мною жертвы,
Да будет горький им возврат.
Но славный вождь простреется мертвый
У прага дома своего,
И псы полижут кровь его. —
Их бедствиям предидут знаки;
Прерву зарей ночные мраки,
Чудесное предвестье кар,
На Иде засвещу пожар.
Окрестность воплем оглашая,
На холм Ахиллов гробовой
Оплакать прах земли родной
Придет пророчица святая.

Кассандру схватит исступленье,
Как ястреб жадными кохтьми,
И ясно зрящими очьми
Она увидит истребленье.
И пусть ужасный, грозный глас,
Печальной девы вдохновенье,
Предаст ахеянам Калхас.

Немезида

Я облекуся в образ Одиссея,
Сойду под сень Калхантова шатра.
Там в мраке стану близ его одра
И, гласом мудрого вождя владея,
Рукой касаясь старчего бедра,
Реку ему: проснись, воспрянь, вещатель,
Кассандру Аполлон, твой обладатель,
Восторгом буйным ныне посетит.
Гряди за нею вслед, и пусть Атрид
Из уст твоих ее слова познает,
Какой аргивян жребий ожидает.
Царю поведай, знаменитый жрец,
Заутра ж за твои златые речи
Он взложит новый плащ тебе на плечи
И на главу блистательный венец.

201

Автограф ЛБ

I ЧАСТЬ

Вместо 132—137

В нем неподмешанная кровь
Питомца гор, прямого Парса —
Тех гор, где возращен Хозрой,
На западе превознесенный,
Владевший Азией герой,
И что же? Азией забвенный!
Но мудрый эллин, искушенный
В писаниях земли родной,
Хозроя именует Киром —
И пишет: «Деду Кира сон
Был послан и уведал он,
Что руку внук простреет над миром;
А Кира дед был царь мужей
И жил в твердыне Экватаны,
Мид племенем, отец Манданы.
В виденьи ж вещих трех ночей
Царю являлась дщерь царева,
Не знавшая супруга дева,
И зрел он: древо возросло
Из лона девы нерастленной,
Одело тению надменной
Все царства, все страны вселенной —
И скрыло в небесах чело.

И сим виденьем возмущенный,
Камбизу, парскому ловцу,
Нестрашному его венцу
Дрожащий властель Экватаны
Велел супругом быть Манданы.
Но что же смертный пред судьбой?
Манданой был рожден герой
И се — возрос на ужас деда,
И скликал с парских гор ловцов,
И рек: «Мне будет псом победа;
Народы ж Азии мой лов!» —
Поднесь соотчичи Хозроя
Мечтают об одних боях
И в неприступных их скалах
Для них ловитва образ боя.

Вместо 143—153

Сражать его среди лазури.
Сверкнет ли в солнечных лучах
Их дрот в утесах их кремнистых,
И вмиг объемлет серну страх;
Над безднами в туманах мглистых
Летит... исчезла в облаках.
Когда ж во мраке древ тенистых,
В дремучих, вековых лесах
Завóпят: затрепещут тигры.
Но яда неги в тех горах
Еще не знают: им их игры
И в лоне мирной тишины
Являют грозный вид войны;

Между 158—159

Не крылья ль им даны огнем
Очей, как тьма ночная, черных?

Между 195—196

Тогда сошел до срока в ад
Останок горестный от рода
Земли мучителя Неврода:
Тьма душ мужей, и жен, и чад;
И в казнь безумной их измены
Распались Вавилона стены.

Вместо 217—220

Дает безмолвие святое
Расслышать самый бой сердец.
Узнаешь в сем едином бое,
Что сотворил их не резец,

Вместо 240—249

О конях в суре оной грозной
Пророк, противник влаги лозной
(Да будет слава Аллы с ним!),
Вещает чтителям своим,
Стояли юноши. — Но младость

Таит ли долго при друзьях
Желанья, и печаль, и радость,
Надежду, и мечты, и страх?
И долго ль тихий, молчаливый,
С перстом на запертых устах
Пребудет грек велеречивый?
Прервал безмолвье юный грек
И, шепча, так клевретам рек:

Вместо 291—293

«Восстанет Дара, и писанье
Ему постельничий подаст
И, как от стрел перуна хвраст,
Так возгорится в нем желанье:
«Их искушу в словесной пре»;

II часть

Вместо 104—113

Трояка сила смысла их,
Так возвещает первый стих:
«Вино всего сильнее в мире». —
«Сильнее царь», — гласит второй;
Писец же третий на папире
Искусной написал рукой:
«Обоих их сильнее жены,
Но истины глагол священный
Всё побеждает под луной». —

Между 131—132

Так молвил отрокам своим
Отец их, щит и покровитель,
Благой, любивший их властитель, —
И трех судей назначил им.
«Вино всего сильнее в мире? —
Он вопрошает наконец: —
Вино любви, войне и лире,
Владычице земных сердец,
Ты предпочел, младой мудрец?
И что же? Грек! питомец края,
Где ангел песней, Исфраил,
Покинув лик и песни рая,
Гомера перси оживил!
Умолкну — ты же без боязни
Отважно защищай, что рек;
Мы слухом благостной приязни,
Но, — ведай, юный человек,
И слухом беспристрастья будем
Внимать — и речь твою рассудим».

Вместо 158—161

Неодолимых, чудных чар,
Которых полн эфирный пар,
С широкой, напененной чаши
Вливающийся в души наши?

Вместо 197—201

Как звери, растерзаем брата —
Очнемся, — всё, как дым, прошло,
Всё плавает в тумане мрака;
Наш гнев потух, пропало зло,
В душе следа нет, нет и знака;
Разорвана видений нить:
Мы образ бледного призрака
Уже не в силах воскресить.

Вместо 206—208

Мы вопрошаем: «Мы ли мы?»
У безотрадной, грозной тьмы,
У стен, в которых близость плахи
Пророчат ночь, оковы, страхи —
Ужасна грозная война,

Вместо 258—264

В очах его и жизнь и плаха,
В устах его и срам и честь,
В улыбке свет, смиритель страха;
А бровь насупит? грянет месть,
И душ своих слепую лесть
Оплачут падшие языки.
Всесилен светлый взор владыки:

Вместо 301—309

Скажите, не жена ль родила,
Как ранняя родит заря
Лучи полдневного светила,
Всех вас и самого царя?
Пусть мужи смелою рукою
Смиряют землю и моря,
Но каждый же рожден женою;
И не женою ли вскормлен
И добыватель лозной влаги,
И ратоборец, сын отваги,
И вождь воинственных знамен?
Не ею ль ловчий, страх дубравы,
И муж совета величавый,
Судья бестрепетный душой,
И песнопевец, жадный славы,
Искатель звучной славы той,
Которую сбирает с мира
Сердец пленительница лира?
Почто из камня ты и нем?
Почто твои безмолвны стены?
Но всё ж, поведай мне, харем,
Что в тех стенах свершают жены!
Там вертено прядет волну;

Вместо 322—328

Они, сражая спесь и гордость,
Смеясь злодеям и глупцам,
За мощь и доблесть, честь и твердость
Дают бессмертье именам;
Они молве, своей рабыне,

Вещают: «Место сим мужам
Ты укажи в своей святыне;
О них поведай всем ушам,
И здесь прославь их и в чужбине!» —
Что мужи на земле без жен?
Весь мир, их взором побежденный,
Не рек ли: «Сладок женский плен?»
И воли пожелал ли пленный?
Что сумрак пасмурных ночей
Пред пламенем лучей рассветных,
То пред сияньем их очей

Вместо 353—357

Так! первенство и силу жен,
Владычество их над мужами
Познает всякий, вразумлен
Былых и наших дней делами.
Не покидаем ли отцов
И матерей своих и братий,
Идем из верных их объятий,
Бросаем свой домашний кров —
И прилепляемся любовью

III ЧАСТЬ

Вместо 20—24

Над ними дым стоял, как знамя,
А из-под пепла трубок их
Багровым блеском рдело пламя.
Всё спало, ветер даже стих;
И только их чуть слышный шепот

Вместо 72—74

И носится в полях лазури,
Как туча, легкий мячик бури,
И, как бесцветный дым, бледна.
Услышал слово силы Дара,
Глагол могущий, глас святой;
Все прежние пред речью той,
Как облака седого пара
Пред ярким пламенем пожара.

Вместо 81—88

Тяжел, опасен подвиг мой:
Дерзну же, тем лишь ободренный,
Что дорог для жены младой,
С младым супругом разлученной,
И вестник из страны чужой,
Любезным ликом озаренной.
Да будет так и речь моя,
Отзыв бессильный речи дивной,
Друзьям и братьям не противной:
Но вы ж мне братья и друзья. . .

Сатрапы отроку внимали,
Пред ними отрок возгласил:
«Не власть ли жен я вам явил?

Цариц веселья и печали,
Их, ясных в нашей тьме светил,
Их власть уста мои вещали.
Но не широк ли и велик
Земного круга чудный лик?
Отважный сын седого Тира,

Вместо 95—100

Лампады ж оного намета
Ужели были сочтены?
Златой же царь полей воздушных,
Жених Природы, рдяный челн,
Плывущий средь безбрежных волн,

Вместо 208

И как среди безмолвных скал
Утес, над всеми возвышенный,
Так царь, движения лишенный,
Среди вельмож своих молчал;

Вместо 266—271

Как при златой улыбке здравья
Встаешь с недужного возглавья,
На сладостный взираешь свет,
Пируешь жадными очами,
Лесам, горам несешь привет

Вместо 282—290

Как сладкий пар благоуханий,
Несущийся в предвечный храм:
«Всё дар твой, господи, мой боже!
Твое и от тебя! — И что же
Когда творилось без тебя?
Что без твоей живящей силы?
Я тлен, и персть, и снедь могилы,
Но я тебе вручил себя, —
И ты мне мудрость дал; тобою

Вместо 295—296

И да познают человеки
Величье царства твоего!
Господь мой бог — я раб его;
Склоню, восторгом упоенный,
Во прах смиренную главу,
И гласом сердца воззову:
«Благословен неизреченный!»

Между 312—313

Что очи старца почерпнули
Из красных, хитростных письмен
Далеких, западных племен, —
Тому вы вняли... Отдохну ли?
Но имя юноши того,
Который взор царя Персиды
Склонил во благость на обиды,
На скорбь народа своего?
Он — Зоровавель: други, знайте,
Так звался светлый отрок сей

И от колена был царей,
От крови был, — не забывайте! —
Которой сам господь вручил
Державный жезл еврейских сил,
От той священной царской крови,
Ее ж всевышний, полн любови,
В Давиде кротком тьмой чудес
Прославил под шатром небес,
Прославил в мощи Солимана,
Мудрейшего из чад земли,
Кому и гении рекли:
«Тебе послужим без обмана,
Без ослушания и лжи;
Чего желаешь? прикажи! —
И, сколь вселенна ни пространна,
Речешь — и вмиг наш сонм достиг
Конца — и возвратился вмиг». —
Так помните ж, сыны Ирана,
И да уведают от вас,
Когда низиду в гроб, потомки,
Что предал вам мой слабый глас,
Мой глас смиренный и негромкий!»

Вместо 333—339

Душою, думами боримой,
Парил по древней *их* стране,
Где мир так изменился мало,
Где те же нравы, тот же век,
И тот же, мнится, человек,
И всё поныне, как бывало.

202

Автограф из письма К. к Б. Г. Глинке от 21 декабря 1833 г. ПД

Заглавие

Вместо письма Борису Григорьевичу Глинке.
Сирота.
Роман в стихах.

На полях

Приложенное при сем письмо мое к Брату прошу прочесть, потому что в нем несколько стихов из 2 и 3 главы.

<Вступление>
Перед 1

(Шапка невидимка. Предместие. Жители предместия: мещане; аптекарь-немец; домик небогатого чиновника. Кто этот чиновник? Изображение его комнаты. Семейственная картина. Обращение к Августу Лафонтену. Первый разговор. Слепец. Сомнения Саши. Егор рассказывает ей о летах

своего детства. Суворовский воин. Женитьба старика. Матушка нашего героя. Смерть его отца. Андрей. — Посещением аптекаря прерывается рассказ. — Эпилог первой главы).

Вместо 40—44

Огромный ростом, сам толстяк аптекарь:
Он только протопопу, — а и лекарь
Согласен первый кланяться ему.
Спесив, но добр: в его большом дому
Охотно нищему дадут копейку;
Он пользовал на счет свой златошвейку,
Давал лекарства даром кузнецу.
Он любит ребятишек: леденцу
Ячменного или «девичьей кожи», —
Лишь были бы учтивы и пригожи, —
Не пожалеет для детей подчас.
Однако не займет же ныне нас
Предместья Матадор, аптекарь тучный!
Не в громкой песни, не трубою звучной, —
В рассказе скромном, милые друзья,
Желаю с вами познакомить я

После 60

[Итак, — ему не друг, не брат я; много
И я терпел; со мной довольно строго
Судьба, — вы согласитесь, — обошлась:
А сердце-то заныло, потряслась
Во мне душа, когда я внял впервые,
Что испытал мой витязь в те златые,
В те сладкие лета, когда шутя,
Играючи вступает в жизнь дитя.]

Вместо 80

И стол и стулья. А каков собой
Сам он? Хозяин? — что сказать: молодчик!
Вам от него беречь бы должно дочек,
Вам, матушки: хорош, да не богат;
Однако не тревожьтесь: он женат.

Вместо 89

Скакавши, не объехал, и за статский
Степенный фрак вдруг отдал ментик хватский,
С прекрасною невестой по рукам,
Снял саблю, — прыг с коня — и в божий храм;
Мой витязь по *гражданской* ныне служит. . .
Любовью осчастливанный, не тужит;
Но прежний быт свой отставной гусар
Забыл не вовсе: благородный жар
Горит и ныне в сердце благородном,
И часто в излияньи чувств свободном
И нрав, и лица всех своих друзей,
Товарищей былых, разгульных дней,
Жене рисует. Изредка ошибкой
И вздор помянет: но она с улыбкой
Поднимет очи ясные с шитья

И погрозит, — а муж: «Душа моя!
Прости! не буду! — я опять чиновник;
И твой и навсегда: ты мой полковник,
Мой командир!
[Ты командир мой! Ангела в тебе
Нашел я, Саша! будь хвала судьбе:
Ты чистоту души мне возвратила.
Не бойся: блажь прошла; одна могила
Нас разлучит;]
бесчестным назови
Меня, когда я. . .» Поцелуй любви
И сладкого без ссоры примиренья
Не даст ему окончить уверенья,
Но в описании подобных сцен
С тобой сравнюсь ли, Август Лафонтен,
Наперсник *бывший* наших барынь томных,
Романов нежных, чинных, многотомных
Чувствительный и ревностный писец?
А ведь увял же, друг, и твой венец!
У всех отпала *к сладкому* охота:
Дай чудаков им, горцев, Вальтер Скотта,
Историю — в романе! — мне ль пойти
По твоему забытому пути?
Увы! . . с тобой я не избегну свиста
Любого сметливого журналиста.
Быть может, прежде он, что было сил
Пред публикой тебя и возносил;
Но ныне блещут новые светила, —
Но публика тогда еще любила
И без него рассказ твой! — До сих пор

Там же и автограф ЛБ Разговор первый Вместо 1

М у ж

Хорош твой чай — но, Саша! примечаю:
Ты что-то да не весела.

Ж е н а

Не знаю.
Задумчива, быть может.

М у ж

Да о чем
Задумываться нам? С тобой живем
Не в роскоши, но роскошь нам нужна ли?
Поныне мы на бога уповали,
И бог хранил нас.

Ж е н а

Благостной рукой
Он охранял нас. Я же мишурой
Не обольщаюсь. Буду справедлива,
Мой друг, не по заслугам я счастлива;
С тобой, мой добрый, верный мой Егор.

Муж

Не грустно? Рад! Всё остальное — вздор!
Нашла кого превозносить хвалами!
Спасибо, впрочем! долг теперь за нами.
Но знать бы я желал...

Жена

И без того
Я от тебя сомненья своего
Не скрыла бы. Сегодня до обеда
(Ты был у должности) я у соседа
Аптекаря сидела: уж давно
У них я не была, а дочь в окно
Увидела меня, когда с запасом
Я возвращалась с рынку. Правда, часом
Скучна Шарлотта; да зато добра...

Муж

Положим; к делу приступить пора;
Надеюсь, не о том твоя забота:
Добра ли или нет мамзель Шарлотта?

Жена

Как ты нетерпелив! — вот дело в чем:
Когда сидели с нею мы вдвоем...

Муж

И разбирали качества соседок...

Жена

Добро, шалун! бывает столь же едок
Язык ваш, как и наш. — Но, друг, теперь
Мне не до шуток, верь или не верь,
А случай нынешний всегда и всюду,
До гроба, кажется, я помнить буду...
Слепой прошел, старик, как лунь седой,
В лохмотьях весь и трясся над клюкой;
Он не просил, но вид изнеможенный,
И стан высокий, дряхлостью согбенный,
И все черты почтенного лица
Без просьбы умоляли за слепца.
Едва взглянула на него Шарлотта, —
И выпала из рук у ней работа
(Я говорю тебе, она добра),
И вот хотела гривну серебра
Слепому выслать, вынула, — со стула,
Сказав мне: «Тотчас ворочусь», — спрыгнула,
Но не успела, — вдруг упал старик,
Упал и чувств лишился. На наш крик
Сбежались и внесли его в аптеку
И стали оттирать; да, видно, веку
Страдальца тут назначен был предел:
Очнулся он, но угасал, слабел...

Однако вдруг, за миг перед кончиной,
Поднялся, словно двинутый пружиной,
И выпрямился весь; его чело
Незапно стало ясно и светло.
Как луч блеснула по лицу улыбка.
Казалось даже (может быть, ошибка,
Но всем казалось так): прозрел слепец.
«Прими свое творенье, мой творец!
Свершилось вековое испытанье;
Окончен путь, и, спутник мой, страданье
Покинуло, и навсегда, меня!» —
Так старец, полный мощного огня
И сверхъестественной чудесной силы,
Уже ступая за рубеж могилы,
Воскликнул, медный крест прижал к устам
И — отошел.

Муж

Друг, по его словам,
По бедности, которой был подавлен,
По слепоте, — я вижу, что избавлен
От тяжкой ноши горемыка твой;
И, что господь послал ему покой,
(Я так сужу) ты рада быть должна бы.

Жена

Не спорю, но я женщина: мы слабы,
И чувства сильно действуют на нас.
[Я думаю, когда бы через час]
О смерти старца от других узнала,
Тогда, как ты, о ней бы рассуждала;
Но [я] — я видела ее сама...
А главное, Егор! нейдут с ума
Слова его: «Страданье вековое»!
Конечно, провидение святое
Ему за всё заплатит в жизни той...

Муж

Раз! сверх того...

Жена

Нет, милый друг! постой:
Всё выскажу. — О счастьи злых ни слова:
Давно на это отповедь готова;
Да вообще скажи мне, почему
Здесь всё тужить и плакать одному,
Другому ж пить всегдашнее блаженство?
Ответ твой: *там* и свет и совершенство,
Там разрешенье тайн узнаем мы;
Но (бог прости мне) ужас здешней тьмы...

Муж

Тебя пугает? — или скажешь, Саша,
Что на земле темна дорога наша,
Что ты?..

Жена

Какой ты, право! О себе
Не мыслю; благодарна я судьбе:
Мне много дал всевышний, слишком много!
Ах, друг сердечный, разбирая строго,
Я ль не признаюсь? — счастья своего
Не стою! — только старика того,
Его мне жаль, — страдальца векового!
Он почему рукою всеблагого
Был обделен? Мы лучше ли его?

Муж

Да ты на шею мужа своего
Из состраданья к старику готова
Беду накликать! — Но в порок Свистова,
Порок опасный, не хочу я впасть:
Он был гусар отличный, только страсть
Остриться невпопад его губила.
Старик твой умер, ждет его могила:
На наш вопрос ответа он не даст...
Но там, где в зиму безотрадный наст,
И снег, и лед, и мертво всё и бело,
Неужто летом там не зеленело?

Жена

И с ним знакомо было счастье?

Муж

Да!
По крайней мере *прежде*, иногда
(Не сомневаюсь в этом я нимало)
Веселье и его же посещало.
Не одинаков, Саша, жребий всех,
Но что участок горя и утех,
Хотя не равный, всем дарован богом.
Не говорю уже, что не с чертогом,
Не с титлами, не с полною казной
Бывает сопряжен души покой.
Но рок и тех нередко испытует,
Которых даже мудрый именует
Счастливцами...

Жена

А мы, любезный друг?

Муж

Не знаем гроз, не слышим бурь и вьюг;
Да жизнь не настоящее мгновенье!
Испытывалось и твое терпенье
(Я это знаю), — мачеха твоя...

Жена

Всё позабыла, всё простила я!

Муж

Похвально; между тем и ты страдала,
И, кажется, довольно! — Без кинжала
И без отравы можно убивать...

Жена

Ах! перестань, прошу: она мне мать!

Муж

И нежная вдобавок. — Но не смея
Тебя сердить, уж, видно, о себе я
Сегодня должен буду говорить. —
Мне наслаждений золотая нить
Прядется, друг, теперь твоей любовью.
Красней: но защищать своею кровью
Готов я эту правду. Без тебя
Я, с праздною душой и не любя,
Не ведал высшего, конечно, счастья;

Автограф ЛБ Разговор второй Вместо 1—4

Поэт (и чуть ли не персидский) где-то
Преподает поэтам: «Будь одето
В кафтан отборных и приличных слов
Творенье ваше! вымыслов и снов
Нагих, лишенных ризы испещренной,
Не выводите напоказ вселенной:
В оправе золотой блестит алмаз;
В оправе должен быть и ваш рассказ.
Душе облечься подобает в тело.
Пусть вами повествуемое дело
Не явится нежданно, словно дух,
Пришлец полуночный! — Нет, прежде слух
Друзей своих елеем предисловья
Вам умастить потребно...» Вот условья!
Да мне ли слушаться бородача?
К тому же написал я сгоряча
Уже сначала длинное вступленье...
Итак, я ваше пощажу терпенье:
Не сомневаюсь, мне простите вы,
Когда вам разговор второй главы
Здесь предложу без лишних рассуждений.
Сойди ж ко мне, мой доброхотный гений,

Вместо 17—18

Мы, как вчера, незримы; не встревожим
Приходом никого и слушать можем,
Чем кончится, что слышали вчера.
Шехерезады умная сестра!
Нам нынче был бы истинной находкой
Твой скромный, рассудительный, короткой
Вопрос: «Сестрица, ежели не спишь?..» Как раз
Он вновь связал бы прерванный рассказ! —

Теперь же насладимся на досуге
Тем, что супруг насмешливый — супруге

Список ЛБ4
Разговор третий
Вместо 60—63

Сначала Фрол Михеич Чудодей учтив и ласков с Егорушкою и даже воздержан; ему хочется без насилья обобрать его. — Посему

И был он так учтив и поведенья,
Какого не бывал с того мгновенья,
Как первый раз, лишаясь чувств и сил,
Трясяся весь, седьмой стакан схватил
И простонал: «Не нектар ли твой пенник,
О русский Бакхус? — я твой вечный пленник!»

Разговор четвертый
Вместо 48—51

Любезны были: в слове россиян
И в языках иных племен и стран
Знаток глубокий, он читал Платона,
Сенеку, Боссюэта, Фенелона

Вместо 59—61

За идеал не принимайте, други!
Нет; ваших старших братиев супруги,
Когда, быть может, возросли оне
В священной, благодатной тишине;
Хранимые Марииной рукою, —
Вам скажут: я увлекся ли мечтою,
Я лишнего прибавил ли черту?

Разговор пятый
Вместо 214—215

И с видом умиленного незлобья
Вперял на небо взоры исподлобья.
Но не за взорами его душа
Тогда стремилась — нет, на дне ковша
Она лежала, потонув, как муха.

ПРИМЕЧАНИЯ

Судьба литературного наследия В. К. Кюхельбекера сложилась не совсем обычно. Огромный архив, оставшийся после его смерти, попал в руки его родных и друзей (прежде всего — И. И. Пущина, сестер Юстины и Ульяны, брата Михаила и племянника Бориса Григорьевича Глинки) и был ими тщательно собран и сохранен. Состав этого архива довольно полно перечислен в так называемом «Литературном завещании», записанном под диктовку больного и слепого поэта И. И. Пущиным [1].

20 марта 1847 г. Михаил Карлович сообщает И. И. Пущину о своем письме к В. А. Жуковскому, которого он просит принять участие в судьбе наследия поэта, и просит Пущина: «Я твердо на тебя надеюсь, что ты сохранишь рукопись...» 25 сентября он пишет вновь о необходимости собрать и сберечь «манускрипты покойного». К 1860 г. относится первое дело Главного Управления цензуры по прошению Юстины Карловны Глинки о дозволении издать сочинения брата (Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР). В 1875 г. подобное же ходатайство возбуждает его дочь Юстина Вильгельмовна (в замужестве Косова). Она же пишет первую, еще очень неточную, биографию поэта («Русская старина», 1875, № 7, с. 333—382), являющуюся введением к обширной публикации извлечений из его дневников.

В 1862 г. стихотворения Кюхельбекера появились в виде большого цикла в «Собрании стихотворений декабристов» (Лейпциг, 1862, т. 2) со вступительной заметкой Н. И. Греча «Из записок не декабриста». Стихи этого издания были взяты Н. В. Гербелем из тетради автографов поэта, известной под названием «Песни отшельника», заполнявшейся во второй половине 1830-х годов и включающей 91 стихотворение. От сына поэта тетрадь досталась В. П. Гаевскому и была подарена им П. А. Ефремову. В настоящее время как сама тетрадь, так и копия, снятая с нее Ефремовым,

---

[1] Опубликовано Ю. Н. Тыняновым во вступительной статье к изданию «Б-ки поэта» — т. 1, «Лирика и поэмы», Л., 1939, с. XXVII—XXVIII. Кроме того, списки сочинений Кюхельбекера имеются в письмах к Н. И. Гречу от 13 апреля 1836 г. («Литературное наследство», т. 59, М., 1954, с. 459) и к В. А. Жуковскому в 1845 г. («Дневник В. К. Кюхельбекера», Л., 1929, с. 313).

хранятся в Рукописном отделе Пушкинского Дома. В 1869 г. несколько стихотворений Кюхельбекера появилось в сборнике «Лютня. Собрание свободных русских песен и стихотворений», Лейпциг, 1869. В 1880 г. в Веймаре вышли «Избранные стихотворения Вильгельма Карловича Кюхельбекера», по составу точно повторяющие цикл стихотворений, опубликованных в 1862 г. Гербелем. Первыми русскими предреволюционными изданиями были: «Собрание стихотворений декабристов», т. 2, М., изд. Фомина, 1907, и В. Кюхельбекер, Полное собрание стихотворений, М., 1908 («Б-ка декабристов», в. 11, кн. 3). В последнем опубликовано довольно много новых текстов по сравнению с изданием 1862 г. Новые публикации появились также в 1911 г. в статье С. Н. Брайловского «По поводу одной рукописи с стихотворениями Кюхельбекера» («Филологические записки», Воронеж, 1911) и в книге К. Я. Грота «Пушкинский лицей (1811—1817). Бумаги I курса» (СПб., 1911). Однако эти публикации далеко не охватывали и половины творческого наследия поэта.

В 1930-е годы огромный архив Кюхельбекера был собран и впервые опубликован Ю. Н. Тыняновым в двухтомном издании сочинений Кюхельбекера в Большой серии «Библиотеки поэта» (т. 1— Лирика и поэмы, т. 2 — Драматические произведения, Л, 1939). Почти все крупные произведения и значительная часть лирических стихотворений публиковались в этом издании впервые. Однако это издание не вполне соответствует принятым в настоящее время текстологическим принципам. Произведения поэта печатались здесь по ранним автографам дневника, несмотря на наличие поздних автографов и прижизненных публикаций; в ряде случаев в виде отдельных стихотворений печатались отрывки из поэм, иногда таким образом опубликованные в одном и том же издании дважды, и т. д. Есть ошибки в датировке произведений и в комментариях, подготовленных Б. И. Копланом.

В 1937 г. отдельным изданием вышла повесть Кюхельбекера «Последний Колонна», в 1938 г. — трагедия «Прокофий Ляпунов».

Со времени этих изданий советскими литературоведами были осуществлены многие новые публикации текстов поэта (забытые отрывки драм, письма). Выявлено большое количество новых биографических данных.

Однако при подготовке нового издания возникли и новые трудности: огромный архив поэта, собранный к 1939 г. Ю. Н. Тыняновым, сильно пострадал в годы войны 1941—1945 гг. Оставленный на хранение в блокированном Ленинграде у ныне покойного Б. В. Казанского, архив Кюхельбекера был возвращен после войны дочери покойного Ю. Н. Тынянова И. Ю. Тыняновой и сдан ею в Государственную библиотеку им. Ленина. При этом местонахождение целого ряда рукописей поэта оказалось неизвестным. Публикуя в издании 1939 г. «Литературное завещание» Кюхельбекера, Ю. Н. Тынянов сопроводил его замечаниями: «Кроме «Шуйского»... и произведения «Смерть», рукописи уцелели» [1]. В настоящее время не найдены прежде всего ценнейшие тетради (автограф) дневника:

---

[1] В. К. Кюхельбекер, Лирика и поэмы, «Б-ка поэта» (Б. с.), т. I, Л., 1939, с. XXVIII.

из девяти обнаружены лишь две ранних тетради, хранящиеся в Рукописном отделе Пушкинского Дома и в Государственном Историческом музее. Остальные тетради известны в настоящее время лишь по копии, снятой с них при публикации дневника в журнале «Русская старина». Копия эта очень неполна, в частности в ней выброшено почти все, что относилось к собственному творчеству поэта[1]. По-видимому, утрачена рукопись «Путешествия» 1820—1821 гг. по Европе — путевой дневник со включенными в него стихотворениями; автографы драм «Ижорский» и «Иван, купецкий сын», ряда лирических стихотворений последних лет и т. д. Однако большая часть архива Кюхельбекера сохранилась. Это рукописи (автографы и списки) большинства поэм, некоторых оригинальных и большинства переводных драм («Давид», «Кассандра», «Зоровавель», «Агасвер», «Любовь до гроба, или Гренадские мавры», «Аргивяне» и т. д.), а также целый ряд тетрадей и альбомов со списками и автографами стихотворений и поэм Кюхельбекера.

Настоящее издание включает в себя наиболее художественно ценные произведения поэта. Сюда включены не входившие в двухтомник 1939 г. многочисленные лирические стихотворения конца 1810-х — 1820-х годов, поэмы «Давид» (в отрывках) и «Агасвер», комедия «Шекспировы духи», первая полная редакция трагедии «Аргивяне», последняя редакция поэмы «Зоровавель», многочисленные ранние редакции и варианты. Не вошли в издание отдельные мелкие стихотворения на случай, молитвы и переложения Библии, не представляющие самостоятельной художественной ценности (см. их в изданиях 1862 и 1908 гг. и в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР); либретто опер «Любовь до гроба, или Гренадские мавры» (Пушкинский Дом) и «Возвращение Товия» (отрывок, Рукописный отдел Библиотеки им. Ленина), отрывок незаконченной драмы «Архилох» (см. В. К. Кюхельбекер, Драматические произведения, Л., 1939, т. 2) и поэма 1833—1835 гг. «Семь спящих отроков» (см. В. К. Кюхельбекер, Лирика и поэмы, Л., 1939, т. 1). Не вошли также переводы Шекспира («Нашла коса на камень», «Ричард II», «Ричард III», «Генрих IV», «Макбет») и Шиллера («Григорий Отрепьев», отрывок). Произведения публикуются в последней авторской редакции, — по тому изданию или тому автографу (реже — списку), где эта редакция окончательно установилась.

---

[1] Из этой неполной копии была опубликована в «Русской старине» также часть; кое-что из опущенного восстановлено в издании дневника 1929 г. При этом стихи, вписанные Кюхельбекером в дневник, были опубликованы в «Русской старине» следующим образом: «При печатании «Дневника», — пишет М. И. Семевский, — мы разделили его на главы, и так как стихотворения, набросанные в дневнике, составляют лишь первичные, черновые наброски автора, притом крайне перечеркнутые, то мы списали лучшие из них с беловой, особой тетради собрания стихотворений Кюхельбекера, им самим составленной и сохранившейся в его бумагах; слабых стихов у нас приведено только начало» («Русская старина», 1875, т. 13, июль, с. 357).

Так как Кюхельбекер активно печатался в журналах лишь в начале своей жизни, то поздние редакции и варианты большинства произведений остались неопубликованными и печатаются по автографам или по изданиям, вышедшим уже после смерти поэта, если поздние автографы были впервые опубликованы там (последнее — только в том случае, если в публикации не было ошибок; в противном случае произведение печатается непосредственно по автографу). Поэтому примечание типа: «НЗ, 1820, ч. 1, март, с. 60. Печ. по автографу ПД1» означает, что при жизни автора стихотворение было опубликовано один раз в журнале «Невский зритель», но что хранящийся в Пушкинском Доме автограф является более поздней редакцией, чем печатный текст. А примечание типа: «СО, 1817, № 27, с. 26. Печ. по СС1. Автограф — ПД1» — означает, что по автографу, более позднему, чем текст «Сына отечества», стихотворение уже было опубликовано в собрании сочинений Кюхельбекера 1939 г.

В библиографической части примечаний приводится не вся печатная история произведения: указываются лишь последовательные ступени изменения текста, простые перепечатки опускаются. В примечаниях сразу же после номера произведения указывается первая публикация, затем (после точки с запятой) ступени изменения текста и, наконец, источник, по которому печатается произведение. Ссылка только на первую публикацию без указания на источник, по которому печатается текст, означает, что произведение печатается по первой публикации, так как текст его не перепечатывался более или перепечатывался без изменений.

Произведения расположены в хронологическом порядке. В первом томе помещены лирические стихотворения и поэмы, во втором — поэмы и драмы.

Датировки пересмотрены и уточнены по дневникам и письмам поэта, найденным первым публикациям и др. источникам. Даты предположительные отмечаются вопросительным знаком; даты, заключенные в угловые скобки, означают дату первой публикации (или год, не позднее которого написано произведение). Двойные даты (отделенные запятой) указывают время написания и *существенной* (иногда *коренной*) переработки текста произведения.

Орфография и пунктуация текстов приближены к современным. Сохранены только те индивидуальные и исторические особенности правописания Кюхельбекера, устранение которых может сказаться на произнесении стиха.

Ко второму тому приложен словарь, куда вынесено объяснение мифологических имен и названий, устаревших и малоупотребительных слов.

Условные сокращения, принятые в примечаниях

А — «Амфион».

АВ — Альбом князя П. А. Вяземского 1820-х годов, открывающийся циклом из семи стихотворений Кюхельбекера (автограф) 1820—1822 гг. Хранится в ЦГАЛИ (см.).

Б — «Благонамеренный».

БдЧ — «Библиотека для чтения».
ВВ — «Всемирный вестник».
ВГ — «Венок граций», М., 1838.
ВЕ — «Вестник Европы».
Г — К. Я. Грот, «Пушкинский лицей (1811—1817). Бумаги I курса», СПб., 1911.
ГИМ — Государственный Исторический музей. Москва.
ГПБ — Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина.
Дек. и их вр. — «Декабристы и их время», М.—Л., 1951.
ИГ — «Извлечения из Собрания лицейских стихотворений 1-го курса, сделанные Гротом Яковом Карловичем в трех тетрадях», 1833. Содержит восемь лицейских стихотворений Кюхельбекера. Хранится в Пушкинском Доме. Здесь же — рукопись: «Собрание напечатанных лицейских стихотворений разных лиц», где имеются четыре стихотворения Кюхельбекера из «извлеченных» Я. К. Гротом.
К. — Кюхельбекер В. К.
КМ — «Календарь муз на 1826-й год», СПб., 1826. Цензурное разрешение 15 октября 1825 г.
ЛБ — Рукописный отдел Государственной библиотеки им. Ленина.
ЛБ1 — Тетрадь автографов стихотворений второй половины 1810-х — начала 1820-х годов. Заполнялась, по-видимому, не ранее 1823 г., судя по тому, что вторым в тетради записано стихотворение «Упование» («Пусть земля не поймет...»), переведенное с немецкого по просьбе Энгельгардта, высказанной в письме от 5 марта 1823 г. Содержит 16 стихотворений, в ряде случаев записанных в черновых вариантах с последующей правкой. Хранится в ЛБ.
ЛБ2 — Тетрадь автографов стихотворений и поэм 1831—1833 гг. Содержит стихотворения периода заточения, ряд которых объединен в цикл «Лирические стихотворения духовного содержания», и ранние варианты поэм «Семь спящих отроков» и «Сирота». Хранится в ЛБ.
ЛБ3 — Тетрадь автографов стихотворений 1817—1840-х годов под заглавием «Первое продолжение „Песней отшельника“». В эту тетрадь вписаны в 1844—1845 гг. стихотворения разных лет, не в хронологической последовательности, и отрывки из поэмы «Давид», под номерами с 86 по 137. Тетрадь является непосредственным продолжением тетради ПД3 (см. ниже), где нумерация стихотворений заканчивается № 85. Хранится в ЛБ.
ЛБ4 — Тетрадь списков стихотворений Кюхельбекера 1820—1830-х годов. Выполнены в 1830-е годы рукой неустановленного лица. 53 стихотворения. Хранится в ЛБ.
ЛБ5 — Тетрадь списков (записей под диктовку?) стихотворений 1846 г. (март — апрель) и отрывков из поэмы «Агасвер». Рукою разных лиц. Хранится в ЛБ.
ЛВ — «Литературный вестник».
ЛЛ — «Литературный Ленинград», 1936, 8 февр., № 7.
ЛН — «Литературное наследство», т. 59, М., 1954.
ЛОИИ — Ленинградское отделение Института истории АН СССР.

М — «Мнемозина».
МТ — «Московский телеграф».
НЗ — «Невский зритель».
ОЗ — «Отечественные записки».
Ост. арх. — «Остафьевский архив князей Вяземских», т. 2, Пб., 1899.
П — «Подснежник», СПб., 1829, цензурное разрешение 9 февраля 1829 г.
ПД — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР.
ПД1 — Тетрадь автографов стихотворений 1810-х — 1822 гг. Заполнялась в 1820-м и после 1820 г. Первые листы вырваны. Стихотворения вписаны в ранних вариантах с последующей правкой, которая для стихов, опубликованных в 1820 г. и ранее, — всегда более поздняя, чем журнальная публикация. Хранится в ПД.
ПД2 — Тетрадь автографов стихотворений начала 1820-х годов. Бумага с водяным знаком «1821». Заполнялась по возвращении из-за границы; вписаны отдельные более ранние стихотворения. Содержит 20 стихотворений. Хранится в ПД.
ПД3 — Тетрадь автографов стихотворений 1820—1830-х годов, известная под названием «Песни отшельника». Содержит стихотворения периода заточения и ссылки; по-видимому, начала заполняться после 1831 г., так как до этого стихотворения вписаны набело не в хронологической последовательности. Содержит 90 лирических стихотворений (№№ 1—85), в том числе отрывки из поэм «Юрий и Ксения» и «Агасвер» в виде самостоятельных стихотворений. Хранится в ПД. Здесь же — копия этой тетради.
ПД4 — Тетрадь автографов конца 1830-х — начала 1840-х годов под заглавием «Духовные стихотворения». На бумаге 1835 г. Хранится в ПД.
ПЗ — «Полярная звезда».
ПСС — В. К. Кюхельбекер, Полное собрание стихотворений, «Библиотека декабристов», в. 11, М., 1908.
Р — «Радуга на 1833 г.», СПб., 1832.
РА — «Русский архив».
РС — «Русская старина».
С — В. К. Кюхельбекер, Стихотворения, «Б-ка поэта» (М. с.), 1939.
СА — «Северный архив».
СО — «Сын отечества».
СОС — «Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах».
СП — «Соревнователь просвещения и благотворения».
СС1, СС2 — В. К. Кюхельбекер [Собрание сочинений в двух томах], т. 1 — Лирика и поэмы; т. 2 — Драматические произведения, «Б-ка поэта» (Б. с.), 1939.
ССД — Собрание стихотворений декабристов, Лейпциг, 1862.
СЦ — «Северные цветы».
ТМ — Тетрадь Ф. Ф. Матюшкина «Стихотворения воспитанников Императорского лицея I выпуска 1811—1817». Чч. I—II. Содержит списки нескольких лицейских стихотворений Кюхельбекера. Хранится в ПД.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства. Москва.
ЦГАОРСС — Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства. Москва.
ЦГИАЛ — Центральный государственный исторический архив. Ленинград.

СТИХОТВОРЕНИЯ

1814—1825

1. Г, с. 136 (отрывок). Печ. по автографу в бумагах Г. Р. Державина (ГПБ). По-видимому, было поднесено Державину во время лицейского экзамена 8 января 1815 г. Написано не позднее октября 1814 г., когда должен был состояться экзамен. *Венцов и скипетров на груду* и т. д. Здесь, как и в последней строфе, речь идет о Наполеоне. *Меня, как первенца цветами* и т. д. Возможно, намек на библейскую легенду о праотце еврейского народа Аврааме, решившемся принести в жертву богу своего сына Исаака.

2. А, 1815, сентябрь, с. 34, под загл. «Песнь лапландца», подпись: Вильгельм, ц. р. 25 октября 1815 г.; СО, 1819, № 9. Печ. по автографу ПД1. В 1833 г. в дневнике поэт оценил это стихотворение как «ученическое» (запись от 28 августа).

3. СО, 1817, № 42, с. 152, подпись: Вильгельм, ц. р. 16 октября. Список первоначальной редакции — ТМ (опубл. Г, с. 162). Перевод стихотворения Шиллера «Dithyrambe». В 1833 г., перечитывая СО, поэт писал о своем раннем произведении: «„Дифирамб“ (из Шиллера) слишком небрежен в своем механизме; на другого же рода достоинства он не может иметь никакого притязания». *Гевеена чаша* — ча́ша Гебы.

4. А, 1815, сентябрь, с. 25, под загл. «Мертвый к живому», подпись: Вильгельм, ц. р. 25 октября 1815 г.; КМ. Печ. по автографу ПД3. Ранние ред.: список — ИГ, т. 2, автограф — ПД1; в дневнике от 14 августа 1832 г. со словами: «На днях я припомнил стихи, которые написал еще в 1815 году в Лицее. Вношу их в дневник, для того чтоб не пропали, если и изгладятся из памяти; мой покойный друг (Дельвиг? — *Н. К.*) их любил»; к строке *«Столкнет мой каменный шелом»* примечание: «Разумеется, с надгробного памятника».

5. Б, 1818, № 1, с. 13, подпись: Вильгельм, с датой — 1816. Список ранней ред. — ТМ (опубл. Г, с. 148), автограф — ПД, с датой: 23 сентября.

6. Г, с. 208 (4 строфы). Печ. по автографу ЛБ1. Автограф ранней ред. — ПД. Датируется по расположению в автографе ПД, где под заглавием «Утро 26 сентяб<ря>» следует за стих. «Осень» (см. № 5), имеющим дату 23 сентября. В Б «Осень» датирована 1816 г.

7. СП, 1820, № 7, с. 94; подпись: Вильгельм Кюхельбекер, ц. р. 15 июля 1820 г. Печ. по СС1, с. 28. Автограф — ПД1, список — ТМ

(ранняя ред., опубл. Г, с. 149). Перевод отрывка одной из «сколий» (застольных песен) древнегреческого поэта Бакхилида (V в. до н. э.). К., в юности плохо знавший греческий язык, пользовался, по-видимому, одним из немецких переложений текста Бакхилида. 5 января 1820 г. читалось в заседании Вольного общества любителей российской словесности.

8. СО, 1817, № 37, с. 187, подпись: Вильгельм. *Чаша Атреева* — здесь: трагическая судьба Атрея (см. Словарь).

9. Б, 1819, № 7, с. 11, подпись: Вильгельм К., ц. р. 28 марта 1819 г. Автограф ранней ред. — ПД2; список — ИГ, т. 1 (опубл. Г, с. 160). По мысли близко к стихотворениям Шиллера «Punschlied» и Гете «Erschaffen und Beleben» (переложение 18-й газеллы Гафизова «Дивана»).

10. КМ, с. 92, подпись: К—ъ. Ранние ред.: список — ИГ, т. 1 (опубл. Г, с. 161), автограф — ПД1.

11. НЗ, 1820, ч. I, февраль, с. 91, подпись: Вильгельм Кюхельбекер. Ранние ред.: список — ИГ, т. 3 (опубл. Г, с. 176), автограф — ПД1.

12. НЗ, 1820, ч. I, март, с. 60, подпись: Вильгельм Кюхельбекер. Печ. по автографу ПД1. В списке ИГ (ранняя ред., опубл. Г, с. 175) дата: 1816, в НЗ дата: 1817. 1 марта 1820 г. читалось в Вольном обществе любителей российской словесности.

13. СО, 1817, № 27, с. 26, под загл. «Моим сарско-сельским друзьям», подпись: Вильгельм, ц. р. 3 июля 1817 г. Печ. по СС1. Автограф — ПД1. Написано незадолго до окончания Лицея (выпускной акт — 9 июня 1817 г.).

14. Г, с. 169. В ИГ, т. 2, следует под № 2 после стих. «В альбом Илличевскому» А. С. Пушкина (1817), имеющему № 1. Написано в связи с окончанием Лицея. *Илличевский* Алексей Демьянович (1798—1837) — товарищ К. по Лицею, поэт; в Лицее был создателем ряда рукописных журналов. *Марон* — Вергилий Публий Марон (70—19 до н. э.), римский поэт.

15. СО, 1817, № 31, с. 183, под загл. «И. П. Шульгину», подпись: Вильгельм, ц. р. 31 июля 1817 г. Печ. по КМ, с. 125. Обращено к Ивану Петровичу Шульгину (1797—1869), гувернеру, преподавателю географии, с 1817 г. — адъюнкту Лицея.

16. СО, 1817, № 32, с. 228, подпись: Вильгельм, ц. р. 7 августа 1817 г. Печ. по СС1, с. 7. Автограф ПД1. В СО — примечание к заглавию: «Воспитаннику императорского Царскосельского Лицея, отправляющемуся ныне в путешествие кругом света с знаменитым мореплавателем нашим *Васильем Михайловичем Головиным* на корабле *Камчатке*. Прим<ечание> редактора». 5 августа 1833 г., в Свеаборгской крепости, К. записал в дневнике: «Лучшая из четы-

рех пиес моих, какие попались мне в Сыне отечества на 1817 год, — *К Матюшкину*. Ее одну, быть может, я не выбросил бы, если бы должен был составить собрание мелких своих стихотворений. Жаль, что переправки, какие я в ней сделал, утрачены». Переправки — это и есть автограф ПД1, опубликованный в СС1 и в настоящем издании. *Матюшкин* Федор Федорович (1799—1872) — лицейский товарищ К., ученый-мореплаватель, в дальнейшем адмирал. *Мир Иапета* — здесь: мир древней цивилизации, Европа.

17. СО, 1817, № 41, с. 105, под загл. «Элегия к Дельвигу», подпись: Вильгельм, с эпиграфом из стих. В. А. Жуковского «Мечты»:

Почто так рано изменила?
С мечтами, радостью, тоской
Куда полет свой устремила?
Неумолимая, постой!
О дней моих весна златая,
Постой! .. тебе возврата нет...
Летит, молитве не внимая,
И всё за ней помчалось вслед!

Печ. по автографу ЛБ1. 9 августа 1833 г., в Свеаборгской крепости, перечитывая СО, К. записал в дневнике: «Стыдно и смешно мне было, когда прочел я в «Сыне отечества» свою пиесу: «Элегия к Дельвигу». Мне было *с небольшим двадцать лет,* когда я написал ее, вышел только что из Лицея, еще не жил, а приготавливался жить; между тем тема этой рапсодии — *отцветшая молодость,* разочарование etc».

18. СО, 1817, № 45, с. 278, под загл. «Мой сократизм», подпись: Вильгельм, с эпиграфом из произв. Ф. И. Ленкевича «Феодицея». Печ. по автографу ПД1. 8 июня 1820 г. под загл. «Сократизм» читалось в Обществе любителей российской словесности. *Сократизм* — здесь: идеалистическое мировоззрение, вера в бога. Сократ (469—399 до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист. *Элоа* — первый из ангелов, герой «Мессиады», поэмы немецкого поэта Фридриха Готлиба Клопштока (1724—1803), творчеством которого К. увлекался в лицейские годы.

19. СО, 1817, № 49, с. 161, подпись: Вильгельм. Перечитывая СО, К. записал в дневнике 9 августа 1833 г. после отрицательной оценки «Элегии»: «„Отчизна" гораздо лучше. В собрании мелких моих стихотворений она получила бы место». 21 августа: «До сих пор в числе грехов моей юности нашел я только две пиесы, которые читал, не краснея: „К Матюшкину" и „Отчизна"».

20. М, ч. 4, с. 92, подпись: В. Кюхельбекер. Печ. по автографу ЛБ3. Перевод гимна «Дионис и разбойники», приписываемого Гомеру, известного К. по немецкому переложению Штольберга (1748—1821) в книге «Gedichte aus dem Griechischen übersetzt von Christian Graf zu Stolberg» *Тирренские... мужи* — здесь: мореплаватели Тирренского моря.

21. СО, 1819, № 18, с. 273, подпись: Вильгельм Кюхельбекер. Перевод «Гимна к Аполлону» греческого поэта Каллимаха (III в. до н. э.). Перечитывая СО со своими ранними стихами («Песнь Лопаря», «Элегический отрывок», «Гимн Аполлону»), К. записал в дневнике 28 августа 1833 г.: «Перевод из Каллимаха лучше и Отрывка и Песни, однако же поэтическая совесть моя мне говорит, что он не может быть близким, ибо я в то время слишком худо знал по-гречески и переводил, имея более в виду немецкое переложение Штольберга, нежели подлинник» (см. примеч. 20). *Деревья Дафнеи* — лавры, священные деревья Аполлона. В лавр была превращена преследуемая Аполлоном дочь аркадского речного бога Дафна (Дафнея). *Пальма делосская.* Остров Делос — одно из главных мест культа Аполлона в Греции; здесь находился храм Аполлона, где проводились общеионийские состязания певцов в честь Аполлона; здесь же росла пальма, за которую якобы ухватилась рожавшая Аполлона Лето. *Вечноюный* — Аполлон. *Феб на Амфризском брегу водил Адметово стадо.* Аполлон (Феб) в наказание за убийство Циклопа должен был девять лет пасти стада царя Адмета на берегу реки Амфриз в Фессалии. *Баттосу Феб указал Киренские тучные паствы.* Баттос или Батт — основатель Киренского царства; Кирена — древнегреческая колония в Сев. Африке. *Дельфы* — древнегреческий город, знаменитый своим храмом Аполлона и оракулом. *Поток Ассирийский* — Тигр или Евфрат, крупнейшие реки Месопотамии.

22. СО, 1819, № 44, с. 173, подпись: Вильгельм Кюхельбекер. Печ. по автографу ПД1.

23. С, с. 44. Печ. по СС1. Автограф — ПД2. Перевод гимна «К Гее, Матери Всех», приписываемого Гомеру. По-видимому, писалось одновременно с гимнами к Бакхусу и Аполлону с использованием немецкого переложения в книге «Gedichte aus dem Griechischen übersetzt von Christian Graf zu Stolberg» («Hymnus an die Mutter Aller»).

24. СО, 1818, № 5, с. 205, под загл. «Тоска», подпись: Вильгельм, ц. р. 29 января 1818 г.; СП, 1820, № 9 (друг ред.). Печ. по автографу ПД1. В СО эпиграф из романтической трагедии немецкого драматурга Захарии Вернера (1768—1823) «Wanda Königinn der Sarmaten», IV д., слова духа королевы Либуссы. 9 августа 1820 г. читалось в Вольном обществе любителей российской словесности.

25. СО, 1818, № 43, с. 225, подпись: Вильгельм, ц. р. 22 октября 1818 г. Перечитывая СО в Свеаборгской крепости, К. писал: «Стихи «К самому себе» в отношении к механизму хороши, но по содержанию никуда не годятся. . .»

26. Б, 1818, № 11, с. 158, подпись: Вильгельм К., ц. р. 4 октября 1818 г. Эпиграф взят из романа Жан-Жака Руссо (1712—1778) «Эмиль, или О воспитании» (1762). *«Геркулес отомщен».* В «Эмиле» Руссо имеются строки: «Тот самый Геракл, который, как ему каза-

лось, учинил насилие над пятьюдесятью дочерьми Феспия, впоследствии был вынужден прясть, сидя у ног Омфалы, а могучий Самсон оказался слабее Далилы». Слова «Геркулес отомщен» означают, что Софья, героиня романа Руссо, побеждена Эмилем. *Сын Цитереи* — Эрот. Цитерея — Афродита. *Он Фебову гордость смирил.* Имеются в виду, по-видимому, многочисленные неудачи Аполлона в любви (он был отвергнут Дафной и Кассандрой, его возлюбленная Коронида изменила ему и т. д.). *Наполнил Аресу мучением грудь за презренье.* Арес, бог войны и сражений, полюбил Афродиту, что принесло ему много страданий; в частности, Нептуном оспаривались права Ареса на сына Афродиты Галлиротия, погибшего в ранней юности. *Царь пятиречного ада* — Плутон.

27. Б, 1818, № 2, с. 197, подпись: Вильгельм.

28. Б, 1818, № 4, с. 8, в составе 9 строф, подпись: Вильгельм. Печ. по автографу ПД1.

29. Б, 1818, № 6, с. 269, подпись: Вильгельм.

30. СО, 1818, № 35, с. 129, под загл. «К Пушкину и Дельвигу (из Царского Села)», подпись: Вильгельм Кбръ, ц. р. 27 августа 1818 г.; Б, 1818, № 8, с. 133, под загл. «Послание к Д... и П», подпись: Вильгельм, ц. р. 2 июля 1818 г. Печ. по автографу ЛБ1. В 1833 г. К. записал в дневнике о своем раннем произведении, что это «послание, comme il y en a tant <каких так много. — *франц.*>, сверх того написано очень небрежно...» *Тройственный союз* — дружба Пушкина, Дельвига и К. *Тебя, мой огненный, чувствительный певец* и т. д. Речь идет об А. С. Пушкине. *Арьост* — Ариосто Лудовико (1474—1533), итальянский поэт. *Парни* Эварист Дезире де Форж (1753—1814) — французский поэт. *Петрарка* Франческо (1304—1374) — итальянский поэт. *Баян* — легендарный древнерусский поэт, упоминаемый в «Слове о полку Игореве».

31. Б, 1818, № 8, с. 136, подпись: Вильгельм. Печ. по автографу ПД1.

32. СО, 1819, № 13, с. 37, подпись: Вильгельм Кюхельбекер. По-видимому, об этом стихотворении пишет К. в дневнике 28 августа 1833 г.: «Мало утешительного в моих произведениях, напечатанных в «Сыне отечества»! Из них в номерах, присланных мне сегодня, попались мне — *Элегический отрывок, Песнь Лопаря,* сокращенный перевод Каллимахова *Гимна Аполлону.* — Отрывок изрядно написан; но содержание его — отцветшая молодость, по коей тосковать мне в 1819 году было слишком рано...»

33. НЗ, 1820, ч. I, январь, с. 96, подпись: Вильгельм Кюхельбекер. Автограф ПД1 имеет незавершенную правку (вычеркнуты строфы 2 и 4; а 1, 5 и 8 значительно изменены). Построение стихотворения — беседа поэта с «гением», т. е. духом стихотворства, фантазией, — очень характерно в конце 1810-х — начале 1820-х годов не только для К., но и для его друга Дельвига (см. «Разговор с Гением», «Видение», «Гений-хранитель» Дельвига).

34. Б, 1819, № 4, с. 209, подпись: В.И.Ъ.Л.М. 5 января 1819 г. было прочитано в заседании Вольного общества любителей российской словесности.

35. СП, 1819, № 1, с. 62, подпись: Вильгельм Крф.

36. СО, 1819, № 3, с. 131, подпись: Вильгельм К., ц. р. 14 января 1819 г. Перевод стихотворения немецкого поэта Виланда из прозаической статьи «Письмо к молодому поэту», где следует после слов: «...посвятив большую часть своей жизни служению Аполлону, я думал более о самом себе, нежели о других, и говорил одну правду, когда за сим уже 15 лет в совершенном удалении от германского Парнаса, обращался к Музе своей» (перевод К., СО, 1819, № 46, с. 268—269).

37. СП, 1819, № 10, с. 72, подпись: В. Кюхельбекер, ц. р. 14 ноября 1819 г. Черновой автограф — ПД. *Брат* — Михаил Карлович Кюхельбекер (1799—1859), морской офицер, декабрист, в 1819 г. совершивший плавание от Архангельска к берегам Новой Земли на бриге под командованием лейтенанта Лазарева 1-го. *Ингорские ручьи* — Ингрия, Ижора, местность по берегу Невы и Финского залива. *Он видит труп оледенелый!* В статье К. Н. Батюшкова «Характер Ломоносова» (ВЕ, 1816, сентябрь) приводится рассказ Я. Штелина о вещем сне, виденном Ломоносовым на корабле при возвращении из Марбурга в Россию: поэту приснился его отец, лежащий мертвым на необитаемом острове Белого моря. По возвращении в Петербург Ломоносов узнал о гибели отца, тело которого действительно нашли на острове в Белом море. *Авинора* — река в Авинорме, имении родителей К. в Эстляндии, где прошло детство поэта.

38. СО, 1819, № 32, с. 274, под загл. «Баллада», подпись: Вильгельм Кюхельбекер. Печ. по автографу ПД3, где приведено в примечании к стихотворению «Клен». В 1840 г. К. пишет племянницам Н. Г. и А. Г. Глинкам: «Часто, друзья мои, и я вспоминаю то счастливое время, когда жил в вашем Закупе ... когда заставлял вас вытерживать свой *Ручей* и полагал, что он, если и не маленький chef-d'œuvre, по крайней мере все-таки очень недурен. С тех пор много воды протекло, — больше, чем ее было в моем *Ручье,* и *Ручей* почти сделался пророчеством». («Декабристы. Летописи Гос. лит. музея», М., 1938, с. 183). 6 сентября 1833 г. поэт писал в дневнике: «В «Сыне отечества» нашел я еще две старинные свои пиесы: «Memento mori» и «Ручей»; последний я впоследствии переделал — и он точно стоил переделки; жаль только, что напечатан первый начерк этой пиесы».

39. ЛН, т. 16—18, М., 1934, с. 342, в статье Ю. Н. Тынянова «Пушкин и Кюхельбекер». Печ. по СС1. Автографы — ЛБ3, ЛБ1, под загл. «К П... Из его нетопленой комнаты».

40. СП, 1820, № 10, с. 96, подпись: В. Кюхельбекер. Печ. по СС1. Автограф — ПД1. 16 августа 1820 г. читалось в заседании Вольного общества любителей российской словесности. Датируется по нахождению в тетради автографов ПД1.

41. КМ, с. 117, без подписи. Автограф — ПД1, с первоначальным зачеркнутым заглавием «К другу». По-видимому, обращено к А. С. Пушкину, с которым в это время К. по какому-то незначительному поводу дрался на дуэли. Его ученик по Благородному пансиону Н. А. Маркевич вспоминал об этой дуэли: «Они явились на Волково поле и затеяли стреляться в каком-то недостроенном фамильном склепе. Пушкин очень не хотел этой глупой дуэли, но отказаться было нельзя. Дельвиг был секундантом Кюхельбекера, он стоял налево от Кюхельбекера. Решили, что Пушкин будет стрелять после. Когда Кюхельбекер начал целиться, Пушкин закричал: «Дельвиг! Стань на мое место, здесь безопаснее». Кюхельбекер взбесился, рука дрогнула, он сделал пол-оборота и пробил фуражку на голове Дельвига. «Послушай, товарищ, — сказал Пушкин, — без лести — ты стоишь дружбы; без эпиграммы — пороху не стоишь. . .» — и бросил пистолет» (ЛН, с. 508).

42. СС1, с. 35. Черновой автограф — ПД1. *Что же во тьме ты стоишь, слепой, но всевидящий старец* и т. д. Поэт обращается к Гомеру, уподобляя его своему Лару, т. е. божеству домашнего очага.

43. М, 1824, ч. 2, с. 47, без подписи, ц. р. 14 апреля 1824 г. Автограф ранней ред. — ПД1 (отрывок). При переработке ранней ред. песня старика (см. др. ред.) была выделена К. в отдельное стихотворение (см. № 44), опубликованное в М вслед за стих. «Видение».

44. М, 1824, ч. 2, с. 50, без подписи. В качестве песни старика входило в текст черновой редакции стих. «Видение» (№ 43, др. ред.)

45. КМ, с. 48, подпись: К — ъ; в оглавлении помещено в разделе «Отрывки из поэм». Автограф — ПД1, первоначальные варианты заглавия — «Аббадона» и «Первая минута раскаяния». Переложение 2-й песни «Мессиады» Клопштока (см. примеч. 18). *Аббадона* — падший ангел.

46. М, 1825, ч. 4, с. 63, подпись: В. Кюхельбекер. Печ. по автографу ЛБ3. Автограф отрывка от ст. 61 («Вдруг пошла и близится к утесу») — ЛБ1. Подражание стихотворению Гете «Amor als Landschaftsmaler».

47. Печ. впервые по автографу ЛБ1 (первонач. заглавие — «Человек. Счастье в трех возрастах»). Датируется по наличию в тетради ЛБ1.

48. Печ. впервые по автографу ПД2. Датируется по наличию автографа в тетради ПД2. *Велю я оду спиндарить*. Пиндар (522 или 518 — ок. 442 до н. э.) — древнегреческий поэт, автор торжественных од.

49. КМ, 1826, с. 75, подпись: К. Автограф — ПД2. Датируется по наличию в этой тетради. Вольный перевод стих. Шиллера «Nadowessiers Todtenlied».

50. С, с. 40. Печ. по СС1. Автограф — ПД2. Датируется по наличию в этой тетради.

51. С, с. 42. Автограф — ПД2. Датируется по наличию в этой тетради.

52. СС1, с. 32. Автограф — ПД2. Датируется по наличию в этой тетради. Восходит к стих. Гете «Лесной царь».

53. КМ, с. 78, подпись: К. Автограф — ПД2. Датируется по наличию в этой тетради. Перевод первых трех строф стих. немецкого поэта Теодора Кернера (1791—1813) «Gebet während der Schlacht».

54. НЗ, 1820, ч. 1, январь, с. 95, подпись: Вильгельм Кюхельбекер, ц. р. 6 января 1820; «Эвтерпа» на 1830 г.; сб. «Песни, романсы и куплеты из водевилей. . .», М., 1833. Печ. по автографу ПД1.

55. СП, 1820, № 2, с. 197, подпись: В. Кюхельбекер, ц. р. март 1820 г. Автограф — ПД1.

56. СП, 1820, № 3, с. 331, подпись: В. Кюхельбекер. Печ. по автографу ПД1. 22 марта 1820 г. читалось в заседании Вольного общества любителей российской словесности.

57. Б, 1820, № 14, с. 114, подпись: В. Кюхельбекер, ц. р. 31 июля 1820 г. Печ. по автографу ПД1. Автограф первой строфы под загл. «Моему пятнадцатимесячному сыну Ивану» — ЛБЗ.

58. СП, 1820, № 11, с. 209, подпись: В. Кюхельбекер. 16 августа 1820 г. читалось в заседании Вольного общества любителей российской словесности.

59. НЗ, 1820, ч. 2, апрель, с. 58, подпись: Вильгельм Кюхельбекер. Автограф — ПД с датой «1 фев.»; автограф отрывка (ст. 13—40) — ПД1. Написано на смерть невесты брата поэта, Михаила Карловича. Ученик К., Маркевич, вспоминает о появлении этого послания: «Около того времени его <Михаила. — *Н. К.*> невеста умерла; Вильг. Карл. написал к нему на этот счет послание, довольно немецкое, которое мне подарил для альбома на прощание, оно и теперь в альбоме у меня». *Психея* — здесь: душа.

60. НЗ, 1820, ч. 1, март, с. 52, под загл. «К моему питомцу», подпись: Вильгельм Кюхельбекер. Печ. по СС1. Автограф — ПД1. По-видимому, обращено к одному из учеников К. в Благородном пансионе (в числе его любимых учеников в это время были М. И. Глинка, Л. С. Пушкин, Н. А. Маркевич, С. А. Соболевский, Н. Г. Вилламов и др.).

61. СП, 1820, № 4, с. 72, подпись: В. Кюхельбекер. Эпиграф из послания В. А. Жуковского «К кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину» (1814—1815). Читалось в собрании Вольного общества любителей

российской словесности 22 марта 1820 г. и послужило поводом доноса В. Каразина на К. (см. вступительную статью; с. 11). *Мильтон* Джон (1608—1674) — английский поэт, публицист, политический деятель. Был слеп и терпел крайнюю нужду. *Озеров* Владислав Александрович (1769—1816) — русский драматург, вводивший в классическую трагедию элементы сентиментализма. Прославленный в 1800-е годы, к концу жизни он был оттеснен на второй план Шаховским и его сторонниками, впал в нищету и сошел с ума. *Тасс* — Тассо Торквато (1544—1595), итальянский поэт, живший в нищете, объявленный безумным и заточенный в тюрьму герцогом Феррарским, в сестру которого был влюблен, и лишь перед смертью признанный и увенчанный лавровым венком. *Анакреон* (ок. 570—478 до н. э.) — древнегреческий поэт, воспевавший любовь и вино. *Эсхил* (525—456 до н. э.) — древнегреческий поэт-трагик. *О жрец ужасных оных сил.* Имеются в виду богини мщения эриннии, которые действуют в ряде произведений Эсхила (трилогия «Орестея»). *Ювенал* Децим Юний (60-е гг. — 127) — римский поэт-сатирик. *Оссиан* — легендарный певец, герой кельтского народного эпоса. «Поэмы Оссиана» (1762—1765) созданы Дж. Макферсоном (1736—1796) на основе кельтских сказаний и являются крупнейшим произведением предромантизма. *Святые барды Туискона.* Здесь: поэты Германии. Туискон — мифический родоначальник германских племен. *Евгений* — Е. А. Баратынский. *Юный Корифей* — А. С. Пушкин.

62. С, с. 49. Печ. по СС1. Автограф — ПД1, первонач. заглавие: «Е......». Обращено к поэту Евгению Абрамовичу Баратынскому (1800—1844), с которым в эти годы К. был очень дружен. Эпиграф — из «Биографии Фемистокла» Корнелия Непота, гл. 1, § 3. *Зенон* — здесь, по-видимому, древнегреческий философ (ок. 336—264 до н. э.), основатель стоической школы. *А я пою тебя, страдалец возвышённый* и т. д. В 1816 г. Баратынский за мальчишеский проступок был исключен из Пажеского корпуса, в 1819 г. зачислен рядовым в один из петербургских полков; 4 января 1820 г. произведен в унтер-офицеры и переведен в Нейшлотский полк, стоящий в Финляндии. Самим Баратынским и его друзьями, Дельвигом, Пушкиным, К., этот перевод рассматривался как род ссылки. *Я сам, незапно Зевсом пораженный* и т. д. Речь идет, возможно, о неприятностях в связи со стих. «Поэты».

63. Печ. впервые по автографу ПД1. Датируется по расположению в тетради.

64. С, с. 58. Печ. по СС1. Автограф — ПД1. Написано перед отъездом К. 8 сентября 1820 г. за границу. В статьях о своем путешествии К. так рассказывал о прощании с родиной: «Как описать вам, друзья, чувства, с коими оставил я Россию? Я плакал как ребенок, и эти слезы, которые удержать был не в состоянии, живо заставили меня чувствовать, что я русский и что вне России нет для меня счастия. У вас, мои милые, у вас мое сердце, у вас мое все. Природа, моя давнишняя утешительница, приняла меня в свои объятия» (СП, 1824, № 12, с. 255—256). *Тевтонов древние дубравы* —

Германия. *Галлия* — здесь: Франция. *Альбион* — здесь: Англия. *Вооруженная свобода* и т. д. Имеются в виду революции 1820 г. в Испании и Неаполе.

65. СП, 1824, № 12, с. 256 (в статье «Отрывки из Путешествия...», подпись: В. Кюхельбекер.) Автограф — ЛБ1. В СП текст стихотворения включен в отрывок 3 с датой: «15 (27) сент. Мемель», до него следует прозаический текст: «Мы въехали в прусские пески и шажком тащились вдоль моря: вечер был самый поэтический; облака, от вечерней зари,

Летя, сияли
И сияя улетали

за далекий, величественный, ясный небосклон, — море кипело и колыхалось. Какая противоположность!»

66. СП, 1821, № 1, с. 94, подпись: В. Кюхельбекер. 10 января 1821 г. читалось в заседании Вольного общества любителей российской словесности, после чего там же, в заседании от 17 января, было прочитано стих. А. А. Крылова «К Кюхельбекеру». Обращено к Гете, с которым К. беседовал в Веймаре, о чем рассказывает в «Письме XXI» от 10 (22) ноября 1820 г.: «Вчера вечером приехали мы в Веймар, в Веймар, где некогда жили великие: Гете, Шиллер, Гердер, Виланд; один Гете пережил друзей своих. Я видел бессмертного; я принес ему поклон от Клингера. Гете росту среднего, его черные глаза живы, пламенны, исполнены вдохновения. Я его себе представлял исполином даже по наружности, но ошибся. Он в разговоре своем медлен: голос тих и приятен; долго я не мог вообразить, что предо мною гигант Гете; говоря с ним об его творениях, я однажды даже просто его назвал в третьем лице по имени. Гете знает нашего Толстого из работ его и любит в нем великого художника. Казалось, ему было приятно, что Жуковский познакомил русских с некоторыми его мелкими стихотворениями. О нашем разговоре не много могу сказать вам, друзья мои: я был у него недолго; надеюсь, что он завтра несколько будет доступнее, а я смелее» (М, 1824, ч. 1, стр. 89). *Туискон* — см. примеч. 61. *Гердер* Иоганн Готфрид (1744—1803) — немецкий поэт и теоретик литературы.

67. СА, 1825, № 12, с. 426 (в статье «Отрывки из путешествия по Южной Франции»). В СА стихотворению предшествует следующее описание пути из Авиньона к Марселю (Массилии): «Мы поворачиваем, и глазам моим вдруг открывается слева цепь приморских Альпов, возвышающихся за облака четырьмя уступами; справа прелестное полуденное море. — Вы знаете, друзья, наше северное Балтийское, оно зеленовато: Средиземное цвета синего... Теперь я часто смотрю на эту необозримую равнину вод; радуюсь, что вновь ее вижу, и воображаю: она меня сближает с вами! и вы ее видите, и вы, глядя на нее, впадаете, может быть, в ту неизъяснимую, сладостную задумчивость, которая не останавливается на

одном предмете, но, сближая нас со всеми, проливает в душу бóльшую способность любить, тосковать и быть счастливым» (письмо от 31 декабря (12 января) 1821 г.) *Древний град фокеян* — Марсель (Массилия, греческая колония в Галлии, основанная фокеянами в VI в.).

68. СО, 1825, № 13, с. 101, подпись: В. Кюхельбекер. Автограф — ЛБ1. 8 августа 1821 г. читалось в заседании Вольного общества любителей российской словесности. В Марселе *(Массилии)* К. был в январе 1821 г. «Марсель прекрасный, великолепный город ... я живу окнами на гавань: люблю глядеть на жизнь, на неусыпную деятельность, которая здесь кипит до захождения солнца», — писал поэт в «Отрывках из путешествия по Южной Франции» (СА, 1825, № 12, с. 431). Перечитывая СО со своими старыми стихами, К. записал в дневнике 4 декабря 1833 г.: «„Массилия“ по механизму и отделке принадлежит к лучшим из напечатанных моих стихотворений; но она в пошлом описательно-элегическом роде, слишком широковещательна, слишком лишена именно той поэзии, которой в разборе переводов фон дер Борга требую от других». *Феб* — здесь: солнце. *И здесь — увы! — неслись из дома в дом убийцы* и т. д. Речь идет о французской революции 1792—1793 гг., когда в Марселе был организован батальон национальной гвардии, направившийся в Париж и принявший участие в народном восстании. К. писал в «Отрывках из путешествия...»: «Не хочу возмущать вас описанием ужасов; итак, только упомяну о неистовой когорте марсельских патриотов и об их подвигах в Марселе, Э, Авиньоне, во всех почти городах Прованса и, наконец, в Париже. — С первого возвращения Бурбонов здешние Демокриты, по примеру многих Катонов и Гракхов покойной Французской республики, вдруг сделались приверженцами древнего королевского поколения. Им в особенности дано было название *белых якобинцев;* но бедные марсельские носильщики, полудикие, были честнее многих богатых, умных, образованных маршалов, пэров и герцогов» (СА, 1825, № 12, с. 434). *Лютеция* — главный город галлов на реке Сене, на месте современного Парижа; здесь: Париж. *Странни́ца* — здесь: бродячая стая псов.

69. МТ, 1826, № 17, с. 3, под загл. «К Гете», без подписи, с ценз. искажениями и купюрами. Печ. по СС1, где воспроизведен текст несохранившегося дневника путешествия. Автограф — ПД1 (без 7—8-й строф), опубл. ЛН, т. 4—6, М., 1932, с. 660. В автографе ПД1 и в МТ эпиграф из песни Миньоны в «Ученических годах Вильгельма Мейстера» Гете: «Kennst du das Land wo die Zitronen blühn?» К. был в Ницце в марте 1821 г., в дни подавления Пьемонтской революции австрийцами. *Полион* — река в Италии, на которой расположена Ницца. *Из страны, казалось, дальной* и т. д. Речь идет о *Миньоне,* героине произведения Гете, тоскующей в Германии по своей родине Италии. *Но встает раздор кровавый* и т. д. Речь идет о Пьемонтской революции. *Ненавистные тудески* и т. д. Пьемонтская революция была подавлена с помощью австрийского войска; после битвы 8 апреля 1821 г. при Новаре была восстановлена абсолютная монархия.

70. С, с. 64. Печ. по автографу ПД1. Написано в Италии во время путешествия; было включено в дневник путешествия (ныне не сохранившийся) — см. СС1, с. 455.

71. С, с. 73, под загл. «Греческая песнь». Печ. по автографу АВ. Автограф, соответствующий С, — ПД1. 9 августа 1821 г. под загл. «Греческая песнь» читалось в Вольном обществе любителей российской словесности В. И. Туманским. Написано под впечатлением восстания греков против турецкого ига (началось в марте 1821 г.). *Ничто, ничто не утопает В реке катящихся веков.* Эти два стиха 14 августа 1821 г. в Петербурге были вписаны К. в альбом П. И. Кеппена со словами: «Эта мысль одна может подкрепить истинного друга человечества, когда глядит он на временный неуспех, на временную гибель всего высокого и прекрасного!»

72. С, с. 74. Автографы — АВ, под загл. «К Туманскому»; ПД2. Поэт Василий Иванович Туманский (1800—1860), к которому обращено стихотворение, был вместе с К. в Париже и вместе с ним же через Варшаву вернулся в Петербург. О близости К. и Туманского в это время сохранилось несколько свидетельств. Так, Н. И. Греч писал, что после лекции о русской литературе и языке, прочитанной в «Афинее», К. «... пропал бы в Париже без помощи благородного Василия Ивановича Туманского ... ; он же помог К. пробраться в Россию». Стихотворения К., посвященные Греции, были высоко оценены в России. «Талант его подвинулся, — писал в 1823 г. Вяземский А. И. Тургеневу. — Пришлю тебе его стихотворения о греческих событиях, исполненные мыслей и чувства» (Ост. арх., с. 342). В. И. Туманский также посвятил греческому восстанию ряд стихотворений («Греческая ода», 1823, «Греции. Два сонета», 1825). *Ахатес* — герой «Энеиды» Вергилия, верный друг Энея. *Лететь к Марафонским святым знаменам* — здесь: в Грецию. 13 сентября 490 г. в битве при Марафоне греки разгромили персидское войско.

73. С, с. 67. Печ. по автографу АВ. Автограф — ПД1 под загл. [«К друзьям на Рейне»] и «1813-й год». Под загл. «Песнь на Рейне» 12 сентября 1821 г. читалось в Вольном обществе любителей российской словесности. На Рейне К. был в декабре 1820 г. и весной 1821 г. *Да паду же за свободу.* По-видимому, отражает неосуществившееся намерение К. принять участие в революционном движении в Греции.

74. С, с. 69. Автограф — ПД1. Обращено, возможно, к Евгению Осиповичу Криштофовичу, соседу К. по Закупу, имению его сестры Ю. К. Глинки, смоленскому помещику и поэту-дилетанту. Написано, по-видимому, во время краткого посещения К. Закупа после возвращения из заграничного путешествия (август 1821) и перед отъездом на Кавказ (сентябрь 1821).

75. М, 1824, ч. 3, с. 93, без подписи; в оглавлении — В. Кюхельбекер. Автограф — ПД1. *Розен* Михаил (Мартын) Карлович (1796—1873) — приятель К.; в 1814 г. участвовал во взятии русской

армией Парижа, в 1817 г. разжалован в рядовые Нижегородского драгунского полка, в 1820-е годы служил на Кавказе. К. встретился с ним в начале своей службы у Ермолова, по пути в Тифлис, в Георгиевске, где задержался по болезни. *Рощи Морфонтена* — замок Морфонтена конца XVIII в. в департаменте Уазы (Франция). *Сенклуские леса.* Сен-Клу — предместье Парижа. *Луга Эстонии и мирной и счастливой.* В Эстонии (Эстляндской губернии) было имение отца К. Авинорм, где прошло детство поэта. По-видимому, барон Розен также был родом из этих мест.

76. ЛВ, 1902, кн. 2, с. 173. Печ. по автографу АВ. Автограф ранней ред. — ПД1. *Ермолов* Алексей Петрович (1777—1861) — генерал, участник войн с Наполеоном, в 1816—1827 гг. главноуправляющий Грузии и командир отдельного Кавказского корпуса; был очень популярен в среде декабристов. В 1821 г. предполагалось, что Ермолов возглавит русскую армию, посылаемую в помощь восставшей Греции. *В потомстве Нерона клеймит бесстрашный стих!* Нерон (37—68 н. э.) — римский император, известный своей жестокостью. Его обличали Ювенал, Марциал, Лукан и др. поэты. *Поет Гомер, к Ахиллу страстный.* Ахилл — легендарный герой «Илиады» Гомера, сын морской богини Фетиды. *Так пел, в Суворова влюблен* и т. д. Г. Р. Державин воспел Суворова в одах «На взятие Измаила» (1791), «На победы в Италии» (1799) и др. Над этой неуклюжей строкой смеялся А. С. Пушкин в письмах Л. С. Пушкину и П. А. Вяземскому. *Сципион,* с которым сравнивается Суворов, — римский полководец Публий Корнелий Сципион (ок. 235—183 до н. э.), герой Пунической войны; о нем писал в «Анналах» Энний Квинтий (239—169 до н. э.), древнеримский поэт. *Когда я своему герою* — Ермолову.

77. МТ, 1825, ч. 1, с. 118, подпись: В. Кюхельбекер. Печ. по автографу ПД1. В 1821 г. Грибоедов и К. встретились и подружились в Тифлисе, где Грибоедов лечил сломанную в Персии руку и служил в ставке Ермолова. *И резво-скачущая кровь!* А. С. Пушкин в «Оде его сиятельству гр. Хвостову» (1825) пародировал эту строку К.: «Султан ярится. Кровь Эллады И резвоскачет и кипит», сопроводив примечанием слово «резвоскачет»: «Слово, употребленное весьма счастливо Вильгельмом Карловичем Кюхельбекером в стихотворном его письме к г. Грибоедову».

78. А. Н. Павлищев, Воспоминания об А. С. Пушкине, М., 1890, с. 31. Печ. по СС1. Автограф — ПД1. *Ни любовницы, ни друга* и т. д. Воспоминание о ссоре с А. С. Пушкиным в лицейские годы, отразившейся в стих. Пушкина «Тошней идиллии и холодней, чем ода. . .»: «Утешься, злой глупец! иметь не будешь ты Ввек ни любовницы, ни друга». *Что же роковая пуля* и т. д. Возможно, имеется в виду дуэль К. с А. С. Пушкиным в 1818 г.

79. РА, 1871, № 2, с. 171. Написано под непосредственным впечатлением чтения поэмы А. С. Пушкина «Кавказский пленник» (в рукописи, весной 1822 г.), о чем позже К. писал Жуковскому (17 февраля 1823 г.): «Прилагаю при сем безделку, которую напи-

сал к Пушкину, прочитав его Кавказского пленника. . .» (в конце письма — текст стихотворения «К Пушкину»). — РА, 1871, № 2, с. 171. По-видимому, сразу же по написании было послано Пушкину, который писал Гнедичу 13 мая 1822 г.: «Кюхельбекер пишет мне четырехстопными стихами, что он был в Германии, в Париже, на Кавказе и что он падал с лошади. Все это кстати о Кавказском пленнике». *Одной постигнуты судьбою* и т. д. Пушкин весной 1822 г. был в ссылке в Бессарабии; К. свою службу на Кавказе под начальством Ермолова воспринимал также как род ссылки. *Вотще на поединках бурных* и т. д. К. дрался на дуэли с Н. Н. Похвисневым на Кавказе в начале 1822 г.; кроме того, известен случай дуэли К. с Пушкиным в 1818 г. *На рейнских пышных берегах* и т. д. Воспоминание о путешествии за границей 1820—1821 гг. *Лютеция* — Париж. *Гесперские сады* — здесь: Италия. *На смежных небесам горах* — на Кавказе.

80. М, 1825, ч. 4, с. 96, подпись: В. Кюхельбекер. Печ. по автографу ЛБЗ. Автографы также: ЛБ, ПД1 (ранняя ред.). *Пиндар* — см. примеч. 48. *Родос* — остров в Эгейском море. *Диагор* (V в. до н. э.) — житель острова Родос, победитель во всех кулачных боях на олимпийских играх. По легенде, когда оба сына Диагора одержали победы на Олимпийских играх, они пронесли отца на плечах через все собрание, что считалось величайшей честью. При этом один из лакедемонян сказал: «Умри, Диагор, потому что на небо ты взойти не можешь». *Пелажские сыны* — жители города Пелла, столицы Македонии; здесь — греки.

81. РС, 1891, октябрь, с. 109 (в отрывках); ЛВ, 1902, кн. 2. Печ. по автографу АВ. Автографы ранних ред.: ПД1 (вариант загл. — «Песнь грека в чужбине»), ГПБ. 25 мая 1845 г. К. записал в дневнике: «Третьего дня я совершенно нечаянно вспомнил несколько стихов пиесы, которую я написал 24 года тому назад в Грузии, — на взятие греками Триполиццы: я тогда только что начал знакомиться с книгами Ветхого завета, которые покойный Грибоедов заставил меня прочесть». Стихотворение вызвало резкий отзыв А. С. Пушкина (письмо брату Льву 4 сентября 1822 г.), почувствовавшего в нем переход поэта на новые литературные позиции — «славян», «архаистов» (см. вступит. статью, с. 39). *Костьми усеялося море.* «Разбитие турецкого флота возле Ионических островов» (примеч. К. в автографе ГПБ). *Триполицца* — главный город Мореи; во время войны греков с турками переходил из рук в руки. 5(12) октября 1821 г. был взят штурмом греками во главе с Колокотронисом. *Осман* — здесь: турок. *Воспрянул старец вдохновенный.* Старец-монах, герой греческого войска. *Но ты, коварный Альбион* и т. д. Обращение к Англии, поддерживавшей в войне «законное» правительство Турции против революционной Греции; К. выступает здесь против политики держав Священного союза Австрии и России, — последняя в это время, уступив настояниям Меттерниха, отказалась от поддержки Греции.

82. М, 1824, ч. 2, с. 72, подпись: Кюхельбекер. Печ. по автографу ЛБЗ. Автографы также: АВ, ПД1 (строфы 1—3).

83. Печ. впервые по автографу ЛБ3. Автограф ранней ред. — ЛБ1. Датируется по наличию в тетради ЛБ1. *Пятую заповедь*, которую перелагает К., см. в Библии, кн. Исход, гл. 20, ст. 12. *Тот дух, который к Моисею* и т. д. По библейской легенде, бог сходил к пророку Моисею в огне, которым горел, не сгорая, терновый куст (купина).

84. С, с. 101. Автограф под загл. «К Ев. Ос. Кр.» — ЛБ3; под загл. «К Евмению» (ранняя ред.) — ЛБ1. О Криштофовиче см. примеч. 74. Датируется по времени пребывания К. в Закупе, где поэт общался с Криштофовичем.

85. М, 1824, ч. 3, с. 84, подпись: В. Кюхельбекер. Печ. по автографу ЛБ3. Ранняя ред. — автограф ЛБ1 (1 и 2 строфы первоначально — из пяти стихов). Датируется по наличию в тетради ЛБ1.

86. М, 1824, ч. 1, с. 126,129, 150, 154, 164, ц. р. 17 января 1824 г. *«Адо (Эстонская повесть)»* написана К. после возвращения с Кавказа на материале впечатлений детства, проведенного в имении родителей Авинорм в Эстонии. Она открывается обращением к собственному прошлому: «Воскресните в моей памяти, леса дикие, угрюмые! Вы, ели, до небес восходящие, сосны темно-зеленые, вековые дщери Естонии; тундры, блата непроходимые — ныне вспоминаю вас! Тебя, мрачное Ульви; тебя, холм Авинормский, перепоясанный извилистым ручьем; тебя, песчаный Неналь, тебя, Чудское бурное озеро! — С берегов Невы из пышных стен Петрополя, перенесенный младенцем на берега Пейпуса, вовеки не забуду градищ твоих, земля моих предков! твоего первобытного племени, обычаев, нравов, преданий твоих! Ни Рейн и скаты его, покрытые развалинами замков рыцарских, виноградниками, многолюдными градами и селениями, ни Кавказ, превосходящий Альпы высотою, убеленный вечными снегами, простирающий на юг Арагвский водопад и на север водопад Терекский, ни сладостный Гурджистан; ни Прованс столь же сладостный — не могли изгладить из моего воображения картин, поразивших меня в те лета, когда начинаешь чувствовать, но еще не понимаешь ни себя, ни мира, тебя окружающего». Повесть «Адо» рассказывает о борьбе эстонцев с немецкими рыцарями ордена Меченосцев в XIII в. *Адо* — один из эстонских старшин («еманд») племени Пейпуского.

1 — песня Маи, дочери Адо. В тексте повести ей предшествуют слова: «Простые напевы дев Естонии, почто ныне, чрез двадцать почти лет бурной жизни, отзываетесь в слухе моем? почто тревожите душу мою, смутные отголоски зимних посиделок их? — Быть может, никогда уже не услышу языка чудского; но да сохраню здесь одну из песней Маиных». *Не открой пришельцу нас!* Мая с отцом Адо и женихом Нором после поражения эстонцев скрывались в лесах на Авинормском холме. *Голос твой, железный муж* — голос немецкого рыцаря. *Майцм* — по повести, селение, где жили Адо и Мая, на северо-западном берегу Чудского озера (Пейпуса).

2 — песня русских рыбаков на Чудском озере.

3 — ответная песня эстонца Нора, спетая по просьбе русских рыбаков на Чудском озере.

4 — вторая песня Нора (Юрия) на берегу Волхова в Новгороде, куда он прибыл просить новгородцев о помощи в борьбе с немецкими рыцарями и поддерживающей их Ригой. Последние две строфы — ответ Маи, бежавшей из плена на берега Волхова.

5 — пророческая песнь странника-певца с берегов Некара в замке рыцаря Убальда, собирающегося казнить плененного Адо.

6 и 7 — свадебные песни: девушек и ответная — молодых женщин на свадьбе Маи (Марии) и Нора (Юрия). *Вы зачем сами льете олово* и т. д. Речь идет о различных русских гаданиях.

87. СО, 1823, № 10, с. 128, без подписи, с ценз. искажениями. Печ. по автографу в письме к сестре, Ульяне Карловне Кюхельбекер (ПД), где текст предварен фразой: «Pièce de vers pour faire imprimer dans le Сын отечества» (Стихотворение для публикации в «Сыне отечества». — *франц.*). В письме К. просит родных и друзей позаботиться о возможной постановке «Аргивян» и переслать список трагедии Грибоедову. *Саади* (1184—1291) — персидский поэт, автор обширных поэм «Бустан» (1257) и «Голестан» («Гулистан», 1258). Строки о Грибоедове, который «вбирает жадною душой» запах Гулистана, видимо, содержат намек на работу Грибоедова над поэмой, «схожей по форме своей с «Чайльд-Гарольдом». В ней превосходно изображена Персия» (примечание К. к стих. «Памяти Грибоедова»).

88. С, с. 100. Автограф — ПД2. Написано незадолго до отъезда К. из Закупа Смоленской губернии в Москву в июле 1823 г. О Криштофовиче см. примеч. 74.

89. Печ. впервые по автографу ПД2. *17 сентября* по церковному календарю праздновался день Веры, Надежды, Любви.

90. Печ. впервые по автографу ПД2. Датируется по наличию в тетради, где следует непосредственно за стихотворением «17 сентября (1823)» и связано с ним тематически. *Шульцова* (Шульц) Надежда Павловна — классная дама Екатерининского института, друг сестер Брейткопф и Юлии (Ульяны) Карловны Кюхельбекер.

91. ПЗ, 1824, с. 266, подпись: В. Кюхельбекер, ц. р. 20 декабря 1823 г.; М, 1824, ч. 1; Р под загл. «Святополк окаянный»; ВГ под загл. «Святополк окаянный». Печ. по автографу ЛБ3. Датируется по расположению чернового автографа в тетради ЛБ1. По количеству имеющихся вариантов «Святополк» в ряду сочинений К. занимает одно из первых мест. Сам автор писал об этом в дневнике 3 сентября 1834 г.: «Есть у меня некоторые сочинения, от которых, так сказать, не могу отстать, которые то и дело выправляю. Когда-то я каждый год или через год переделывал «Святополка»...» До К. на ту же тему были созданы думы К. Ф. Рылеева («Святополк», 1821) и П. Шкляревского («Святополк», 1823). *Святополк* — древнерусский князь Туровский (ок. 980—1019), получивший прозвище Окаянного за убийство в борьбе за власть своих братьев: князей Бориса Ростовского, Глеба Муромского и Святослава Древлянского.

Часть I. Строфа 2. *Был славен на Руси Владимир старый.*

Владимир — князь Киевский (980—1015), приемный отец Святополка. *Мятежный сын* — новгородский князь Ярослав, будущий Ярослав Мудрый, князь Киевский. Строфы 5—7. *Подъялся Святополк* и т. д. После смерти отца, киевского князя Владимира, Святополк претендовал на киевский великокняжеский престол, доставшийся, однако, после битвы 1019 г. на реке Альте победившему князю Ярославу. Строфы 9—10. *Не клятвой ли отца* и т. д. После ссоры с Владимиром Ярослав находился в Скандинавии, откуда вернулся вместе с варяжской дружиной для борьбы за отцовский престол. Святополка поддерживало польское войско Болеслава, польского князя (992—1025), на дочери которого был женат Святополк. Строфа 16. *Потомок Ванды* — здесь: поляки, Болеслав. Строфа 19. *Каин* — убийца своего брата Авеля (библ.), здесь — Святополк, убийца братьев. Строфа 20. *Денница* — падший ангел.

Часть II. Строфа 21. *Князь Ярослав со князем Святополком* и т. д. Имеется в виду битва 1019 г. на реке Альте. Строфа 30. *Ты только не пришел за Болеславом* и т. д. Польша не поддержала Святополка в решительной битве. Строфа 31. *Уж он изведал Святополка плату*. Речь идет о тесте Святополка, Болеславе Храбром, которого предал Святополк.

92. СС1, с. 69. Автограф — ПД2. *Закуп* — имение Ю. К. Глинки, где жил поэт в 1822—1823 гг. *Ты, о Тибуллов размер*. Тибулл Альбий (I в. до н. э.) — римский поэт. Тибуллов размер — элегический дистих. *Зов Мельпомены познав, ямбом себя воружил!* Ямбом написана трагедия К. «Аргивяне». *Благословляю тебя, тихий, возлюбленный прах!* Имеется в виду прах Г. А. Глинки, мужа сестры поэта Юстины, умершего в 1818 г. *Праматерь детей твоих милых* и т. д. — мать К., Юстина Яковлевна. Немка по национальности, она приехала в Россию с отцом поэта. Далее речь идет о рассказах из времен немецкого рыцарства, слышанных поэтом от матери. *Юлия* — сестра поэта, Ульяна.

93. СЦ, 1826, с. 35, без подписи. Автограф — ПД2. В автографе обращено к «Дуненьке» — Авдотье Тимофеевне Пушкиной, невесте поэта; первоначальное загл. «Кубарово».

94. С, с. 103. Автограф — ПД2. *Того в пути безумие схватило.* Возможно, речь идет о Батюшкове, Озерове, Тассо или др. поэтах, сошедших с ума под конец жизни. *Томит другого дикое изгнанье.* Возможно, К. имеет в виду Пушкина, бывшего в начале 1820-х годов в ссылке. *Камоенс* Луис (1524—1580) — португальский поэт, автор эпической поэмы «Лузиады» (1572), живший в нищете. *Костров* Ермил Иванович (1750—1796) — поэт, первый переводчик «Илиады», по происхождению государственный крестьянин; терпел крайнюю нужду. *Ш<ихматова> бесчестит осмеянье* и т. д. Ширинский-Шихматов Сергей Александрович (1783—1837) — поэт круга «Беседы любителей русского слова», автор поэмы «Петр Великий», высоко ценимый К. вопреки мнению и насмешкам Пушкина, Дельвига и др. В одной из тетрадей К. (ПД) сохранились многочисленные выписки из «Петрияды» Шихматова, ей же посвящена статья К. «Разбор поэмы князя Шихматова „Петр Великий“».

95. СС1, с. 73. Автограф — ПД2. *Дмитриев* Иван Иванович (1760—1837) — поэт и баснописец, творчеством которого увлекались К. и Дельвиг в первые годы после Лицея (см. Дневник, запись от 26 сентября 1840 г.). В 1823 г. Дмитриев принимал участие в судьбе К., в частности в осуществлении его замысла издать журнал, 26 августа К. писал об этом матери: «Сергей Михайлович Голицын обещал мне поговорить обо мне с князем, своим однофамильцем, и я надеюсь получить таким образом, хоть вначале и бесплатную, казенную должность. Дмитриев мною очень интересуется; также и князь Вяземский, уже мой старый знакомый... может быть, с помощью двух этих господ я смогу осуществить мой журнал» («Декабристы. Летописи Гос. лит. музея», М., 1938, с. 165). *«Прощание с Италиею»* — стих. 1821 г. «Ницца» (первоначально оно так и было названо в тетради ПД2). *Миньона* — см. примеч. 69. *Там на голос Корифея* и т. д. Речь идет о Гете. *Германа сыны* — германцы. *Патриарх певцов родных* — И. И. Дмитриев.

96. С, с. 104. Печ. по автографу АВ, где открывает альбом князя Вяземского под загл. «Вяземскому вместо предисловия» и является первым в цикле из семи стихотворений, проникнутых вольнолюбивыми настроениями и отражающих впечатления заграничных путешествий и пребывания поэта на Кавказе («Вяземскому вместо предисловия», «К Туманскому», «На Рейне», «К Румью», «Пророчество», «Ермолову», «Проклятие»). В ранней ред. под загл. «К Вяземскому» — ПД2. *Вяземский* Петр Андреевич (1792—1878) — поэт и критик, принимавший горячее участие в судьбе опального К. после его высылки из Парижа. *И вспыхла чудная война.* Борьба греков за независимость против турецкого владычества, начавшаяся в 1821 г. *Отоманы* — турки. *Толпу союзных им тиранов.* К. имеет в виду государства Священного союза. *Секвана* — река Сена. *Мой стих, гремевший из изгнанья* и т. д. Поэт имеет в виду свои строки из стих. «Упование на бога»: «Летите, звучные перуны, Разите гордые сердца». *Тиртей* (VII—VI в. до н. э.) — греческий поэт, автор элегий, воспевающих воинские доблести. В России начала XIX в. воспринимался как поэт, воспламенявший воинов на подвиги. Здесь Тиртеем назван, по-видимому, В. А. Жуковский, автор «Певца во стане русских воинов».

97. КМ, с. 97, без подписи. Автограф — ПД2. Перевод хора охотников из оперы Вебера «Волшебный стрелок», слова Ф. Кинда. «Волшебный стрелок» впервые был поставлен в Берлине 18 июня 1821 г., в Петербурге — в 1824 г.

98. С, с. 89. В автографе ПД после стихотворения следуют строки: «Пожелайте, чтоб не обманулся я в своем уповании, и, читая этот нескладный экспромт, вспоминайте иногда душевно Вам преданного В. К.». Копия стихотворения рукой В. С. Глинки сопровождается следующим его примечанием: «Стихи, написанные Вильгельмом Кюхельбекером Н. В. Глинке в 1824 году, по возвращении его из-за границы». Возможно, что В. А. Глинка допускает здесь неточность: Кюхельбекер вернулся из-за границы в 1822 г., а из содержания стихотворения ясно, что он писал его вскоре после возвращения.

Град фокеян — Марсель (Массилия). *Столица западного мира* — Париж. *Кир* — Кура.

99. С, с. 108. Автографы — ЛБ3 (дважды: № 129 и 133) и под загл. «К Дунечке» — ЛБ1. Авдотья Тимофеевна *Пушкина* — невеста поэта. Датируется по времени романа К. с А. Т. Пушкиной.

100. ССД, с. 161. Автографы — ЛБ3; ранняя ред. под загл. «К сестре» — ЛБ1. По-видимому, первоначально было посвящено сестре поэта, Ульяне (Юлии) Карловне.

101. М, 1824, ч. 1, с. 51, подпись: В. Кюхельбекер, ц. р. 17 января 1824 г. Печ. по СС1. Автографы: ЛБ3, ПД2 (ранняя ред.), на одном из листов рукописи повести «Адо» — ЛБ.

102. М, 1824, ч. 3, с. 13, подпись: В. Кюхельбекер. Автограф отрывков (строфы 6 и 22—23) — ЛБ1. 9 июня 1824 г., готовя М, В. Ф. Одоевский писал К.: «Напрасно ты бранил своего «Рогдая»: он молодец преизрядный, и ты хорошо сделал, что подписал свое имя». *Александр* — князь Новгородский Александр Невский (1220—1263), в 1240 г. разбивший шведов у Невы и в 1242 г. — немецких рыцарей Ливонского ордена на льду Чудского озера. *Город великий* — Новгород. *Святая София* — Софийский собор XI в. в Новгороде. *Сейм* — здесь: новгородское вече. *Земли кавалерские* — Ливония.

103. СС1, с. 67. Автограф — ЛБ3. По-видимому, 1 марта — день рождения невесты поэта, Авдотьи Тимофеевны Пушкиной.

104. М, 1824, ч. 3, с. 192, подпись: В. Кюхельбекер, ц. р. 16 октября 1824 г. Печ. по отдельному изданию 1824 г. Автограф — ПД2, под загл. «Ода на смерть Байрона». Могло быть написано не ранее июня 1824 г., т. к. известие о смерти Байрона (в Греции, 19 апреля 1824 г.) появилось в России в «Московских ведомостях» лишь 4 июня 1824 г. и было сообщено К. в Закуп В. Ф. Одоевским в письме от 9 июня 1824 г.: «Хочешь ли слышать новости: одна — ужасна, может быть, ты слышал о ней: лорд Байрон. . . умер» (РС, 1875, июль, с. 369). В ГПБ хранится черновой набросок начала предисловия к стих. рукой В. Ф. Одоевского. *Гяур, Манфред, Мазепа* — герои одноименных произведений Байрона. *«Дож»* — трагедия Байрона «Марино Фальери, дож Венеции». *Казимир Делавинь* (1793—1843) — французский поэт и драматург, написавший стихотворение на смерть Байрона в 1824 г. *И кто же в сей священный час* и т. д. Речь идет о Пушкине, находившемся до осени 1824 г. в Одессе, на берегу Черного моря *(Евксин). В стране Назонова изгнанья.* Публий Овидий Назон (43—17 до н. э.), древнеримский поэт, был сослан императором Октавианом Августом на берега Черного моря (ныне Констанца). *Не ты, Британия, — вселенна!* и т. д. Отрицательное отношение К. к Англии в 1820-е годы объяснялось ее поддержкой Турции против борющихся за независимость греков (см. примеч. 81). Имеется в виду также преследование Байрона английским светским обществом, в результате разрыва с которым Байрон был вынужден покинуть Англию. *Тиртей* — см. примеч. 96.

105. «Звезда», 1941, № 5, с. 165, в статье В. Н. Орлова «Вокруг Грибоедова». Автограф — ГПБ. Эпиграмма обращена против Ф. В. Булгарина, под именем *Талантина* восторженно приветствовавшего в 1824 г. приехавшего в Петербург из Ирана А. С. Грибоедова, а под именем Лентяева и Неученского высмеивавшего Дельвига и Баратынского (фельетон «Литературные призраки» — «Литературные листки», 1824, ч. 3, № 16). Эти похвалы были причиной ссоры Булгарина и Грибоедова, отвечавшего на фельетон резким письмом: «Лично не имею против вас ничего, знаю, что намерение ваше было чисто, когда вы меня под именем Талантина хвалили печатно и, конечно, не думали тем оскорбить. Но мои правила благопристойности и собственное к себе уважение не дозволяют мне быть предметом похвалы незаслуженной или во всяком случае слишком предускоренной». Имя *«пан Тадеуш»,* данное в эпиграмме Булгарину, содержит намек на его польское происхождение. Эпиграмма не была пропущена в печать цензором Бируковым, — об этом 16 ноября 1825 г. писал А. Е. Измайлов П. Л. Яковлеву: «Не пропустил он (Бируков. — *Н. К.*) еще одной полемической пьесы Кюхельбекера против Булгарина» (по-видимому, в журнале «Благонамеренный») — ЛН, с. 535.

106. ПЗ, 1859, кн. 5, с. 13. Печ. по списку в бумагах А. Е. Измайлова (ПД), где озаглавлено «Чернов». Другой список этого стихотворения — в записной книжке А. Сулакадзева (ЛОИИ), с пометой вместо заглавия: «Соч<инение> Кюхельбекера». Разночтения с публикуемым текстом — в пунктуации, а также в стихе: «Мы чужды из семейств надменных», позже исправленном Сулакадзевым на тождественный списку Измайлова. Об этой записной книжке и списке стихотворения см. статью Ю. М. Лотмана «Кто был автором стихотворения «На смерть К. П. Чернова» — «Русская литература», 1961, № 3, с. 153—159 — и в сообщении А. Н. Неустроева «Дуэль Чернова с Новосильцевым, 1825 г. Из записок Сулакадзева» — ПД, архив «Русской старины» (в последнем сообщении много неточностей, т. к. пересказ записок Сулакадзева, представленный в редакцию «Русской старины» А. Н. Неустроевым, подвергся правке и «дополнениям» М. И. Семевского согласно имевшимся у последнего неточным, а зачастую и ошибочным сведениям. В частности, рукой Семевского вписана фамилия Рылеева в качестве автора стихотворения «Клянемся честью и Черновым. . .»). Версия о принадлежности стихотворения К. Ф. Рылееву была выдвинута в 1872 г. П. А. Ефремовым в «Сочинениях и переписке К. Ф. Рылеева» (СПб., 1872, с. 348) и впоследствии обрела многих сторонников (Ю. Г. Оксман в редактируемых им изданиях сочинений Рылеева, А. Г. Цейтлин, М. К. Азадовский и др.). Аргументом сторонников «рылеевской» версии является существование в бумагах Рылеева списка стихотворения без даты и подписи, рукой К. Ф. Рылеева (ПД). Сторонниками «кюхельбекеровской» версии являются Н. И. Мордовченко, Б. С. Мейлах, В. Н. Орлов, Ю. М. Лотман и др. В пользу авторства К. говорят свидетельства современников: прежде всего А. Е. Измайлова, очень близко знавшего К. в 1825 г., еще с лицейских лет печатавшего его стихи в своих журналах и альманахах, а в 1825 г. издававшего совместно с К. журнал «Благонамеренный» и готовив-

шего с ним же альманах «Календарь муз». А. Е. Измайлов писал П. Л. Яковлеву: «Знаешь ли, где я теперь? — В кабинете Я. К. Кайданова. Сейчас списал для тебя стихи Кюхельбекера на смерть Чернова. Стихи не так-то хороши, но писаны от [сердца] всей души» (16 ноября 1825 г., ПД). Из этого письма следует, что по крайней мере еще двое современников событий, П. Л. Яковлев и Я. К. Кайданов, знали об авторстве К. Письмо Измайлова было отправлено не сразу, в течение нескольких дней он вносил в текст письма поправки относительно судеб участников дуэли, Чернова и Новосильцева. Авторство же К. не было поставлено под сомнение, хотя в эти дни Измайлов и К. должны были общаться ежедневно по делам журнала, и Измайлов мог уточнить имя автора. Четвертый современник, Сулакадзев, хорошо осведомленный о подробностях семейной драмы Черновых и о дуэли, также называет автором стихотворения К. (см. выше). Пятый — декабрист Д. И. Завалишин, который, подобно Измайлову, не только называет К. автором стихотворения, но сообщает ряд сведений в связи с историей стихотворения («Древняя и новая Россия», 1878, № 1, с. 364). 19 сентября 1825 г. К. писал матери о дуэли Чернова с Новосильцевым, происшедшей 10 сентября 1825 г.: у Рылеева «на руках его кузен, бедный молодой Чернов, который был смертельно ранен Новосильцевым, защищая честь своей сестры, которую Новосильцев и его семейство оскорбили самым низким образом»; 17 октября поэт сообщал матери же: «Чернов также умер: вот уже три недели, как его похоронили; похороны были одновременно и великолепные и трогательные». На этих похоронах и должно было прозвучать стихотворение К. Ю. М. Лотман убедительно доказывает, что К. не мог стремиться читать на могиле Чернова чужое стихотворение, так же как и Рылеев не мог побуждать его к этому. *Чернов* Константин Пахомович (1803—1825) — подпоручик лейб-гвардии Семеновского полка, двоюродный брат Рылеева, член Северного общества.

107. Печ. впервые по автографу ПД. Посвящено племяннице поэта, Наталии Григорьевне Глинке (ум. 1864), впоследствии вышедшей замуж за генерала Одынца.

108. С, с. 66. В СС1 указывается, что стихотворение было включено в рукопись «Путешествия» (отрывок «Полковник де Лер», гл. 1). Близко к стихотворению Шубарта «Форель» (романс Ф. Шуберта).

109. СС1, с. 181. Автограф — ЛБЗ. Датируется предположительно по содержанию и стилю произведения.

1826—1835

110. ССД, с. 170. Печ. по автографу ПД. Кондратий Федорович *Рылеев* был казнен 13 июля 1826 г. *Муханов* Петр Александрович (1799—1854) — штабс-капитан лейб-гвардии Измайловского полка, член Союза Благоденствия, журналист, переводчик. В 1824—1825 гг. был другом Рылеева и выполнял ряд его поручений по изданию «Дум» и «Полярной звезды». В одном из писем, 16 февраля 1825 г.,

П. А. Муханов писал о К.: «Кюхельбекер человек благородный, с душой, с странностями и с горем... вот заслуги и право на уважение» (РС, 1888, № 12, с. 591). *В ужасных тех стенах, где Иоанн* и т. д. В Шлиссельбургской крепости был заключен царь Иоанн Антонович, свергнутый с престола во младенчестве и убитый в 1764 г. *Певец, поклонник пламенной свободы.* К. говорит о себе.

111. СЦ на 1829, СПб., 1828, с. 60, подпись: К., ц. р. 27 декабря 1828 г. Печ. по СС1. Автограф — ЛБЗ.

112. СЦ на 1829, СПб., 1828, с. 61, подпись: К., ц. р. 27 декабря 1828 г. Печ. по автографу ЛБЗ.

113. СЦ на 1829, СПб., 1828, с. 62, подпись: К., ц. р. 27 декабря 1828 г. Печ. по автографу ЛБЗ.

114. П, с. 236, без подписи. *19 октября* — традиционная «Лицейская годовщина», день основания Лицея 19 октября 1811 г.

115. П, с. 227, без подписи. Печ. по автографу ЛБЗ, список — ЛБ. *Где семьи, мне незабвенной.* Семья сестры поэта, Юстины Карловны, живущая в Закупе. *У часовни той простой.* Часовня над гробом покойного мужа, Г. А. Глинки, была поставлена вдовой в 1829 г. В письме от 1829 г. она просила заточенного в Динабургскую крепость К. написать стихи на построение часовни (см. «Закупская часовня»). В варианте П упоминание о часовне отсутствует.

116. П, с. 229, под загл. «Любовь узника», без подписи. Печ. по автографу ЛБЗ. Обращено, по-видимому, к кому-то из лиц, с которыми общался поэт в Динабургской крепости, где условия его заключения были довольно мягкими.

117. П, с. 182 — №№ 9, 15, 17, 20 и 23, под загл. «Притчи», без подписи. СС1, с. 191, 195 — в виде двух циклов: «Гномы» и «Притчи из Св. Писания», и отдельно — самостоятельного стихотворения «Сказка, похожая на быль». Печ. по авторизованному списку ЛБ. *Психея* — здесь: бабочка. *Экклезиаст* (Экклесиаст) — по Библии, сын Давида Соломон, царь в Иерусалиме. Книга Экклесиаста (часть Библии) содержит учение о смысле земного счастья человека и о невозможности полного счастья. *Дом плача, — говорит Экклезиаст* и т. д. Слова из гл. 7, ст. 2 книги Экклесиаста: «Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира; ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу». *Хлопочет муравей трудолюбивый* и т. д. См. Притчи Соломоновы, гл. VI, 6—11: «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым... или пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива... Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь: и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник...» *Лев при пути* и т. д. См. Притчи Соломоновы, гл. XXV, 1—13. *Сóздала дом, на семи столпах сорудила Премудрость* и т. д. Переложение гл. IX Притчей Соломоновых.

118. ССД, с. 95. Печ. по автографу ПДЗ. Написано, по-видимому, вскоре после получения К. известия о смерти Александра Сергеевича Грибоедова, который погиб в Персии 30 января 1829 г. *В отрадном, благодатном сне.* В дневнике К. постоянно встречаются записи «живых снов», когда он видит во сне своих прежних друзей — Пушкина, Дельвига, декабристов, Гете. 28 июня 1832 г. он записывает в дневнике: «Во сне я опять видел Грибоедова и других милых мне» (ср. строки «Ты что-то часто, брат и друг. . .» и т. д.). Имя покойного друга часто встречается в дневнике К. *Певца, воспевшего Иран.* В СС1, с. 461, приводится иное примечание К. к этой строке: «Ce rapporte à un charmant poëme; *Путник* ou *Странник,* dans le genre de Child-Harold (mais sans la morgue et la misanthrophie de Byron) dans lequel il avoit peint la Perse; ce poëme n'a jamais été imprimé» (Относится к прелестной поэме *Путник* или *Странник,* вроде Чайльд-Гарольда (но без надменности и мизантропии Байрона), в которой он изобразил Персию; эта поэма никогда не была напечатана. — *франц.). Ты был в кругу моих родимых* и т. д. Грибоедов был заочно знаком и дружен с семейством К. (см., например, письмо Грибоедова к сестре К., Юстине Карловне).

119. СС1, с. 68. Автограф — ЛБЗ, ранняя ред. — в письме Ю. К. Глинке (ПД), в ответ на ее просьбу написать стихи на построение часовни в память ее покойного мужа, Г. А. Глинки. Поэт отвечает сестре: «Исполняя твое желание насчет стихов о твоей каплице, прошу тебя покорно извинить, что они не лучше: я долго откладывал; хотелось прислать нечто хорошее: не удалось; чем богат, тем и рад!» (Дек. и их вр., с. 36).

120. ССД, с. 169. Печ. по автографу ЛБЗ. Датируется по содержанию стихотворения: часовня над могилой Г. А. Глинки, мужа сестры поэта, была поставлена в 1829 г. («И мирный гроб, и над часовней крест. . .»); по смыслу примыкает к стихотворению 1829—1830 гг. «Закупская часовня». По-видимому, обращено к одному из племянников, сыновей Юстины Карловны Глинки, возвратившихся в Закуп, скорее всего — к Николаю, офицеру, в 1829—1830 г. жившему в Закупе, — о нем поэт писал, посылая стихотворение «Закупская часовня»: «Я бы желал для Николеньки создать, выдумать как можно более занятий, чтоб он не скучал в деревне: скука — злейший враг пылких душ. Большую часть моих проступков я должен приписать скуке» (Дек. и их вр., с. 37).

121. БдЧ, 1834, т. 7, с. 8, подпись: В. Гарпенко. Печ. по автографу ПДЗ.

122. РС, 1875, август, с. 492. Печ. по СС1. Список — ЛБ4. Ранние редакции — дневник от 30 декабря 1831 г. (ГИМ), ПДЗ. В дневнике стихотворению предшествует ряд записей: 24 декабря 1831 г.: «Хотел бы сочинить что-нибудь для завтрашнего праздника, — но не мог». 29 декабря: «Все ближе и ближе конец этого рокового года: что-то будет в следующем? — Я, который теперь отмечаю чувства свои, перечту ли эту отметку через год? — При наступлении нового года у всех сердце бьется сильнее, все ожидают

чего-то лучшего, нового: мне чего ожидать? — Но в сытость мне этот 1831-й год, в сытость и в тягость так, как давно ни один не был; между тем сколько я от судьбы получил благодеяний и в этот даже тяжелый год. . .» 30 декабря, после записи о получении писем и книг от родных: «Никогда, заметил кто-то, радость не приходит одна; так-то и со мною сегодня случилось; после довольно продолжительной умственной засухи разрешился я стихами на Новый год. Вот они». *Итак, протек и он, сей год, событий полный!* В 1831 г. произошло польское восстание, жестоко разгромленное царскими войсками, в этом же году в России была эпидемия холеры. *Промчалось лето слез, и стона, и печали.* Варшава была взята войсками генерала Паскевича 26 августа 1831 г. *Венца и доблести Петра наследник юный* — Николай I, которого К. славит как восстановителя мира в стране в 1825 и 1831 гг. Ср. отношение к польскому восстанию 1831 г. А. С. Пушкина («Бородинская годовщина», «Клеветникам России»), Ф. И. Тютчева («Как дочь родную на закланье. . .»). *Бледный мор* — эпидемия холеры 1831 г.

123. Печ. впервые по списку ЛБ4. Является откликом на польское восстание 1831 г. (см. примеч. 122). *Родился в мир младенец, внук Петров.* 27 июля 1831 г. родился великий князь Николай Николаевич. *Младенец сей, отцу-герою соименный.* Отец-герой — Николай I; см. о нем в примеч. 122.

124. ССД, с. 89. Печ. по автографу ПД3. *Брат* — Михаил Карлович Кюхельбекер; после отбытия пятилетних каторжных работ в Петровском заводе был поселен в г. Баргузине (см. также примеч. 37).

125. ССД, с. 132. Автограф — ПД3. Автографы также: ЛБ2 (в цикле «Лирические стихотворения духовного содержания»), ПД4, дневник от 1 января 1832 г. (ГИМ), куда вписано после слов: «Благодаря господа, с новым годом моя тоска прошла, обыкновенное мое лекарство — поэзия — наконец подействовала». 2 января К. «переправлял вчерашний псалом» (ГИМ). Эпиграф взят из Библии, псалом 89.

126. ПСС, с. 125. Автограф — ПД3. 2 января 1832 г., после первого сонета «Рождество», К. записал в дневнике: «Если бы мне удалось составить с десяток подобных сонетов на Рождество и с десяток на Пасху, — не худо бы было: картины и мысли такие, какие греки вливали в форму своих гномов и эпиграмм (греческие эпиграммы совсем не то, что наши), у нас, так мне кажется, удачно бы могли быть одетыми в форму сонетов». Во время работы над сонетом «Магдалина у гроба господня» 5 марта 1832 г. появляется еще одна запись: «Целый день бился над сонетом и — по пустякам. Сонет не безделица: рифмовать на одни глаголы не хочется, а прибрать четыре стиха на одну рифму неглагольную на русском языке не слишком легко. Мне в этом случае поверить можно, потому что я написал около 8 тысяч стихов rime terze <терцинами>, что также не шутка, но все же rime terze не сонет». Сюжеты сонетов — биб-

лейская история рождения Иисуса Христа от жены Иосифа, Марии, и его распятия в дни праздника пасхи. *И дух на древе срама испустил.* Христос был распят на кресте вместе с двумя разбойниками. *Мария Магдалина* — грешница, возрожденная Христом к новой духовной жизни и ставшая преданной сторонницей Христа. Сюжет 4-го сонета — Еванг. от Матфея, гл. XXVIII.

127. ПСС, с. 151. Автограф — ПДЗ, ранняя ред. (13 строф) — дневник от 16 апреля 1832 г. (ГИМ). *Саша* — Александра Григорьевна Глинка (род. 1816), племянница поэта. *Предо мной жена младая* и т. д. Поэт говорит о будущем своей племянницы, А. Г. Глинки. *Ах! почто же дух мой жадный* и т. д. Поэт говорит о себе. *Прежде, чем ты Антигоной.* Антигона — героиня трагедий Софокла (ок. 497—406 до н. э.) «Антигона» и др. Уподобление себя слепому старцу Эдипу, а сестры или племянницы — преданной отцу Антигоне встречается в вариантах ранних стихотворений К. («Жребий поэта»).

128. ССД, с. 77. Автограф — ПДЗ. В дневнике 1 июня 1832 г. со словами: «Приближается день, в который мне минет 35 лет. Этот год, хотя в некоторых отношениях для меня и лучше прошлого, однако же чрезвычайно беден вдохновениями: на сей счет я был счастливее даже в минувший 1831 год: три довольно значительные сочинения я в течение его написал и кончил одно (может быть, лучшее из всех моих произведений); с 1-го января 1832-го года я ничего, ровно ничего не сделал, хотя и многое начинал».

129. ССД, с. 103. Печ. по автографу ПДЗ. Списки под загл. «Прекрасный клен» — ЛБ4 и собрание П. Я. Дашкова, ПД. 2 июня 1832 г. записано в дневник со словами: «Дай бог, чтоб мои прогулки по плац-форме были часто так вдохновительны, как вчерашняя и сегодняшняя: стихи, какими я им обязан, без сомнения — вздор, но они меня тешат, но они мне ручаются, что огонь мой еще не вовсе выгорел, — и этого для меня пока довольно. Мысль для куплетов, которые здесь следуют, подал мне прекрасный клен, растущий в виду гауптвахты». *Авинора* — см. примеч. 37.

130. ССД, с. 135. Автографы — ПДЗ и ПД4 ; черновой автограф — в дневнике от 10 июня 1832 г. (ПД) после слов: «Сегодня мне минуло 35 лет: итак, я уже ближе к старости, чем к молодости. — После завтрака я прочел в молитвеннике три гимна на день рождения, — второй: «Schon wieder ist von meinem Leben» — превосходен и как будто нарочно для меня сочинен; я намерен его перевесть; между тем вот стихи, которые мне самому дались на этот день»; список — ЛБ4.

131. ССД, с. 101. Печ. по автографу ПДЗ. 18 июня 1832 г. было записано в дневник со словами: «Нынешний месяц для меня довольно счастлив на счет мелких пиес: та, которую сегодня внесу в дневник, — четвертая. Между тем ее содержание именно сожаление о том, что прежнее вдохновение меня покинуло, и это сожаление не есть просто поэтический вымысл: чтó в самом деле две недели, не

вовсе лишенные проблесков восторга (и то элегического), в сравнении с целыми месяцами полной мощной жизни в областях фантазии, какою я наслаждался в прошлом году? — Это с одной стороны. С другой, скажу без всякого лицемерия, что я сегодняшнее стихотворение охотно бы отдал за самый скудный сонет, вроде таких, каков, напр., сонет от 19 мая» (19 мая был написан сонет «Вознесение» — «Божественный на божием престоле. . .»). *Меонид* — Гомер. *Камоенс, Тасс* — см. примеч. 94 и 61.

132. ПСС, с. 156. Печ. по автографу ПДЗ. В дневнике 15 июня 1832 г. записано после слов: «Сестра в своем письме говорит, что не может смотреть без примеси печали на дочерей своих, воображая, что они, ныне столь цветущие, когда-нибудь увянут же. Это подало мне мысль для следующих стихов. . .»

133. ССД, с. 78. Печ. по автографу ПДЗ. Списки — ЛБ4 и ПД. Черновой автограф в дневнике от 4 сентября 1832 г. после слов: «Давно я, некогда любитель размеров малоупотребительных в русской поэзии, ничего не писал ни дактилями, ни анапестами, ни амфибрахиями. Для пиесы, которую здесь помещаю, я нарочно выбрал последние, чтобы узнать, совершенно ли я отвык от стоп в три склада, коими (исключая Гнедича) я когда-то более писал, чем кто-нибудь из русских поэтов моего времени» (ПД). Исправления чернового текста — в дневнике от 5 сентября 1832 г.

134. ПСС, с. 149. Автограф — ПДЗ, список под загл. «Исфраил» — ЛБ4. По-видимому, замысел стихотворения связан с чтением К. в 1832 г. Вальтера Скотта. 7 августа 1832 г. он записал в дневнике: «Вчера прочел я маленькую лирическую пиесу Скотта — Прощание с Музою. Некоторые стихи тут как будто от моего лица; если не переведу ее, так по крайней мере напишу ей подражание». Связано с этим и является как бы ответом на него стихотворение «Возврат вдохновения» (11 ноября 1832 г.), см. № 135.

135. ПСС, с. 150. Печ. по автографу ПДЗ. Автограф ранней ред. — дневник от 11 ноября 1832 г. (ПД). *А ныне... не Исраилю ли манну* и т. д. По библейской легенде, бог послал манну небесную измученным голодом евреям при переходе их из Египта через пустыню Ханаанскую. Исраиль — здесь: еврейский народ. *Геспетия* — здесь: земной рай.

136. ССД, с. 110. Автографы: ПДЗ; ранняя ред. — дневник от 15 декабря 1832 г. (ПД); список под загл. «Послание» — ЛБ4. 15 декабря 1832 г. в дневнике К. писал: «Моим вдохновителем с понедельника было ненастье, от которого в моей конуре так было темно, что я не мог внесть с доски в тетрадь окончания второй песни поэмы моей («Юрий и Ксения». — *Н. К.*), а потому поневоле должен был выхаживать новые стихи; мыслей для третьей песни не было, — итак, плодом комнатного моего путешествия оказалось следующее послание к матушке. . .» Понедельник, с которого началось ненастье, — 12 декабря, следовательно, стихотворение написано между 12 и 15 декабря. Обращено к матери поэта, Юстине Яковлевне Кю-

хельбекер (урожденной фон Ломен). *Так некогда по вертограду рая* и т. д. Река, текущая в раю, — некий поток, являющийся истоком четырех рек — Фисона, Геона, Тигра и Евфрата (Библия, 2-я книга Бытия). *Не весь истлею я: с очей потомства* и т. д. Ср. стих. «Памятник» Державина и Пушкина. *Тасс* — см. примеч. 61. *Лузитании Гомер* — Камоэнс, см. примеч. 94.

137. РС, 1875, сентябрь, с. 86. Печ. по автографу ПДЗ. 16 февраля 1833 г. вписано в дневник со словами: «Хочу послать племяннику Дмитрию свое переложение притчи св. Димитрия. Вот несколько стихов, которые, так сказать, должны служить введением к оному...» (ПД). *Глинка* Дмитрий Григорьевич (1808—1883) в 1833 г. служил в русской дипломатической миссии в Дании. *Притча св. Димитрия* Ростовского (1651—1709) — переложенная К. в январе 1833 г. притча «Нищий». Димитрий Ростовский — святой Димитрий Туптало, митрополит Ростовский, проповедник и духовный писатель. *Кони пучины* (о кораблях) — подражание поэтическому языку скальдов. *Певцы священные* — скальды. *Великого очаровал поэта* — Шекспира; действие его трагедии «Гамлет» развертывается в Дании. *Нет! праведника мудрое сказанье.* Праведник — Димитрий Ростовский.

138. ПСС, с. 160. Автограф — ПДЗ. 18 июля 1833 г. вписано в дневник со словами: «Писал к матушке, Юстине Карловне и Наташе. Вот стихи, которые посылаю последней». *Племянницы* — Наталия, Александра и Юстина Григорьевны Глинки; их мать — сестра поэта Юстина Карловна. *Хмость* — река в Духовщинском уезде Смоленской губернии, где было расположено имение Глинок Закуп.

139. ПСС, с. 128. Печ. по автографу ПД4. 22 июля 1833 г. вписано в дневник. Перевод стихотворения Христиана Вильгельма Шпикера (1780—1858) из сборника «Andachtsbuch für die gebildete Christen».

140. БдЧ, 1835, т. 12, с. 95, с подзаголовком «Рязанское предание», подпись: В. Гарпенко. Печ. по автографу ПДЗ. Черновой автограф ЛБ2. Список ЛБ содержит авторское предисловие: «Историческое основание этой баллады заимствовано из письма М. Макарова к Воздвиженскому, напечатанного в «Вестнике Европы», кажется, на 1828-й год. Кудеяр был опричником царя Иоанна Васильевича Грозного, изменил государю, бежал в Крым и служил там хану, потом принужден был за новое преступление бежать и оттуда в Рязанскую область, где набрал шайку и начал разбойничать. В то время в сей области в Запронских степях кочевала Печора, племя, родственное финнам и эстам, зашедши туда с севера. В отсутствие по делам службы тиуна Печорского (в старину тиун был почти то же, что ныне исправник), Кудеяр похитил его дочь. — Старику дали тотчас знать, он собрал свою Печору, погнался за Кудеяром и настиг злодея на берегу Истьи. Разбойника окружили на холме над самою рекою. Отчаясь спастись иначе, бесчеловечный при приближении тиуна с дружиною сбросил свою добычу в воду: ужас окаменил всех, — а преступник между тем скрылся. — Прочие обстоятельства мною прибавлены. В одном из них считаю обязанно-

стию извиниться, а именно, что мой тиун будто бы служил еще при великом князе Иоанне, деде Грозного: происшествие перенес я в последнюю половину царствования Грозного, а именно по взятии Баторием Полоцка: итак, тиуну моему во время похищения его дочери должно было быть около ста лет... Но поэт не хронолог». Замысел баллады возник у К. в марте 1833 г. 9 марта он записывает в дневнике: «В письме Макарова к Воздвиженскому запечатлен анекдот об известном опричнике, потом изменнике и разбойнике Кудеяре... Из этого надо попытаться сделать балладу, а не роман, как советует Макаров». Работа над балладой была начата по окончании второй части поэмы «Семь спящих отроков». 28 июля 1833 г. К. записал: «С третьего дня бьюсь над балладой: Кудеяр. Не знаю, будет ли в ней прок? До сих пор еще очень затрудняюсь размером, от которого я в течение последних девяти лет совсем отвык: я выбрал амфибрахий, стих, которым написаны мои Рогдаевы псы; но куплет будет короче, чем в этой последней балладе. Сверх того, со дня на день уверяюсь более и более в том, что писать рассказы куплетами — дело очень щекотливое». 5 августа 1833 г.: «Надеюсь в понедельник 7-го числа кончить свою балладу». 7 августа 1833 г.: «Баллады своей я не кончил». 8 августа 1833 г.: «Напоследок кончил я свою балладу. Она занимала меня довольно долго. В слоге старался я, сколько позволял новейший размер, держаться оборотов и речений наших старинных народных сказок». Наконец 17 августа: «Брату посылаю Кудеяра: переписывая, я сделал в этой балладе несколько удачных перемен». *Истья* — река в Рязанской области. *Запронская страна* — земли за рекой Проныо, притоком Оки. *Но бился и он под неверной Казанью.* Иван Грозный (1530—1584) покорил Казанское ханство в 1552 г. *Все семеро вместе под Полоцком пали.* Длительная осада и битва под Полоцком 1563 г., во время Ливонской войны 1558—1583 гг. *Те дни, когда, Грозного славному деду* и т. д. Дед Ивана Грозного — Иван III Васильевич (1440—1505), великий князь Московский и всея Руси. Завершил объединение русских земель вокруг Москвы; вел успешные войны с Ливонией, Польшей, Литвой. В 1480 г. при Иване III было окончательно свергнуто татаро-монгольское иго.

141. ССД, с. 125. Автографы: ПДЗ; под загл. «Тленность», дата: 1 сентября 1833 — ЛБ2; под загл. «На новый год» — ПД4. Подражание 1—9 строфам немецкой духовной лютеранской песни.

142. ССД, с. 98. Печ. по автографу ПДЗ. Черновой автограф под загл. «Послание к брату» — ЛБ2. *Брат* — Кюхельбекер Михаил Карлович (см. примеч. 37 и 124). В 1833 г. находился на поселении в Баргузине. Об этом стихотворении поэт будет вспоминать в дневнике много лет спустя, 29 сентября 1840 г., когда его отношения с братом из заочных дружеских превратятся в холодные и натянутые: «Сегодня именины брата. — Итак, я опять с ним розно, как в тот год моего заточения, когда я ему написал те стихи, в которых я так желал этот день проводить с ним вместе. — Желание мое сбылось; но — » (фраза обрывается. — *Н. К.*). 26 мая 1840 г. поэт пересчитывает оставшихся близких: «Брат, — мы друг друга не понимаем...» *Клен* — см. примеч. 129 *Авинора* — см. примеч. 37. *Наш*

старик — отец К., Карл Иванович Кюхельбекер (1748—1809), похороненный в имении Авинорм.

143. БдЧ, 1834, т. 5, с. 221, подпись: В. Гарпенко. Печ. по автографу ПДЗ. Прочтя публикацию стихотворения в БдЧ, К. остался недоволен рядом искажений текста. 15 октября 1834 г. он писал из Свеаборгской крепости Б. Г. и Ник. Г. Глинкам: «Гречу ничего не стоит превратить любой стих (если этот стих только не Пушкина или Жуковского) в совершенную бессмыслицу, что он, между прочим, и очень ревностно, успел совершить над двумя стихами сказки бедняка Гарпенка; а именно про темную дорогу напечатано:

Пусть темна не для Пахома!

Cela ne veut absolument rien dire <это ровно ничего не значит. — *франц.*>; я уверен, что у хохла-стиходея было:

Пусть темна!..
Не для Пахома

Далее:

Мрак из-за сосновых древ
Разевает черный зев!

Буде только Гарпенко не гр. Дмитрий Иванович Хвостов, надевший на себя для курьезу малороссийский жупан, — не постигаю, как он мог написать: «Сосновых древ!» — Cela me passe! <Это выше моего понимания! — *франц.*> Тут чуть ли не благонамеренная поправка мудрого редактора». Строка «Мрак из-за сосновых древ» — в первоначальной редакции: «Мрак из-за носастых древ». *Мрак угрюмый и глухой* и т. д. Образ навеян стихотворением Гете «Willkommen und Abschied» («Wo Finsterniss aus dem Gestrauche mit Hundert schwarzen Augen sah»), — ср. соотв. строки стихотворения Ф. И. Тютчева «Песок сыпучий по колени...» («Ночь черная, как зверь стоокий...») и поэмы М. Ю. Лермонтова «Мцыри» («И миллионом черных глаз Смотрела ночи темнота...»).

144. РС, 1884, январь, с. 77 и 78. Печ. по автографу ПДЗ. В дневнике 1 сентября 1834 г. К. записал: «Следующею небольшою пиесою обязан я чтению 3-й книги Чайльда-Гарольда, которая обворожительна даже в прозе французского перевода». 22 сентября 1834 г. в дневнике записано окончание стихотворения от строки: «Туман бы распутать мне в длинную нить».

145. РС, 1884, январь, с. 79 (строфы 1—3). Печ. по списку ЛБ4. Стихи 13—20 первоначально составляли отдельное стихотворение под заглавием «Наука и жизнь» (ПДЗ). Начальные три строфы вписаны в дневник 23 сентября 1834 г. со словами: «Давно я не сочинял; сегодня выходил я следующие куплеты, которым, однако, нужно продолжение». *Три именинницы* — Юстины, мать, сестра и племянница поэта, именины которых по лютеранскому календарю праздновались 23 сентября.

146. РС, 1884, февраль, с. 343. Автограф — ПД3. 1 января 1835 г. вписано в дневник. 31 декабря 1834 г., к новому году, послано племянникам Б. Г. и Ник. Г. Глинкам со словами: «Вот вам подарок к новому году — прочтите эти стихи и Наташе и скажите ей, что в них мистика точно почти религия; но что это не всегда бывает с мистикою, что есть мистика вовсе не религиозная. Я для вас переписал эту пьесу прямо с аспидной доски, то есть я ее только сегодня кончил: вот почему полагаю, что еще многое в ней переменю; между тем prenez ce premier jet, comme il est» <примите этот первый опыт, каков он есть. — *франц.*>. После текста стихотворения в письме приписка: «Еще замечание: у меня два раза употреблено слово *могущий,* а не *могучий;* так и должно быть. Напрасно некоторые новейшие поэты сбивают эти два прилагательные: могучий богатырь — тут речь идет о телесной силе, могущий Исфраил — тут говорится о силе духовной» (ЛН, с. 451—452).

147. ССД, с. 85, под загл. «Я есмь — конечно есть и ты». Печ. по автографу ПД4. Автографы под загл. «Я есмь, конечно есть и ты!» — ПД3 и дневник от 6 января 1835 г. Стихотворение написано как ответ К. немецкому философу Шеллингу (1775—1854) на его ошибочную, по мнению поэта, теорию «обескачествования» бога. К. читал Шеллинга в первые дни января 1835 г. 3 января он записал в дневнике: «8-м письмом Шеллинга я попеременно то восхищался, то приводим был в недоумение: все, что он говорит о счастии и блаженстве... превосходно: я совершенно согласен с ним и Спинозою, что блаженство не есть награда за добродетель, но сама добродетель. — Напротив, его обескачествование самобыта мне кажется совершенным уничтожением оного, следовательно... По всему приметно, что он опасается антропоморфизма. Но ужели, приписывая божеству до идеала возвышенные свойства и принадлежности человека, мы поступаем совершенно безрассудно, совершенно не философически?» 4 января: «Поутру я сочинял (по-видимому, стихотворение «Он есть». — *Н. К.*); потом читал Державина и прочел девятое письмо Шеллинга, потом опять сочинял, наконец вечером прочел последнее письмо Шеллинга, кажется я теперь понял, чего хочет немецкий философ». 6 января: «Спасибо старику Державину! Он подействовал на меня вдохновительно; тремя лирическими стихотворениями я ему обязан: переписанным в самом начале нынешнего дневника (1 января 1835 г. переписано «Мое предназначение». — *Н. К.*), конченным вчера («Он есть». — *Н. К.*) и начатым и конченным сегодня («Оссиан». — *Н. К.*). У Державина инде встречаются мысли столь глубокие, что приходишь в искушение спросить: понял (в списке, по-видимому, ошибочное прочтение: «кончил». — *Н. К.*) ли сам он вполне то, что сказал. Таков, например, стих в оде Бог: «Я есмь, — конечно есть и ты!» — в этом одном стихе опровержение и догматизма и критицизма (или реализма и идеализма). Обе системы в том согласны, что крайний итог их... 0. Но пусть соберутся все мудрецы мира и доказывают мне, что я не существую, не есмь, — я, быть может, стану в тупик от их диалектики, — да все же им не поверю. То же самое скажу им, когда они, обескачествуя высочайшее существо, приведут и его к нулю. Вера в премудрую, преблагую, всемогущую, самобытную причину вселенной столь же необходима

мне, сколь необходима мне вера в собственное существование. — Без той и другой я совершенно теряюсь в хаосе; без них единственным моим спасением из бездны отчаяния может быть только смерть или безумие. Однако оставим метафизиков: вот мой ответ г—м поклонникам самобытного я». Далее следует текст настоящего стихотворения, после которого фраза: «В этой пьесе довольно заметно влияние Державина...» *Могущий, вечный, — но о нем!* — т. е. для него, во имя его.

148. РС, 1884, февраль, с. 348. Печ. по автографу ПДЗ. Вписано в дневник 6 января 1835 г. после стих. «Я есмь, конечно есть и ты!» (см. № 147) со словами: «В этой пьесе («Он есть». — *Н. К.*) довольно заметно влияние Державина; в следующей («Оссиан». — *Н. К.*) менее, но все же я ему ею обязан». В дневнике (копия РС, ПД) имеется подзаголовок: «Памяти Дельвига и Гнедича». По свидетельству Ю. Н. Тынянова (возможно, ошибочному), в СС1, сс. 161 и 464, стих. имело эпиграф из «Илиады» Гомера (в автографе дневника, ныне утраченном?): — — ἠ ῥά τιζ ἐστι λαι ἐίζ Αιδαο δομοισίν ψνχή χαὶ ἐίδωλον !.. — Iliados, Car. XXIII, vers 103 et 104. («...так подлинно есть и в Аидовом доме подземном дух человека и образ!..» — Перевод Н. И. Гнедича, 1829). В тетради «Песни отшельника» (ПДЗ) этот эпиграф относится к стих. «Три тени» — см. № 167. *Картину Жироде* («Оссиан») К. видел в Лувре во время пребывания в Париже в 1821 г. Его друг по жизни в Париже, поэт В. И. Туманский, также писал об этом художнике (стих. «Картина Жиродета», Париж, 1820). Жироде (Жиродье-Тризон, 1767—1824) — французский художник. Стихотворение посвящено друзьям юности К., Антону Антоновичу Дельвигу и Николаю Ивановичу Гнедичу, умершим в начале 1830-х годов (1831 и 1833). *Оссиан* — см. примеч. 61. В ст. 13—42 и 90—97 К. перечисляет ряд действующих лиц и названий местностей из «Песен Оссиана». *Улин* — Уллин, герой и певец войска Фингала. *Гал* — Голь, герой войска Фингала. *Фингал* — герой и полководец. *Рино* — младший сын Фингала, погибший в битве. *Минона* — героиня поэмы Оссиана «Песни в Сельме». *Оскар* — Оскур, герой войска Фингала. *Сельма* — замок Фингала, место действия поэм Оссиана. *Морвен* — скалистая местность, покрытая лесами, где происходит действие поэм Оссиана. *Лора* — река, протекающая вокруг замка Сельмы. *Мальвина* — героиня поэм Оссиана; Оссиан и Мальвина — последние, оставшиеся в живых в роде Фингала.

149. ПСС, с. 178, под загл. «Цвет померанца, сорванный с могилы Корсакова — поэта», СС1 под загл. «Второй разговор с Исфраилом». Печ. по автографу ПДЗ. Список под загл. «Второй разговор с Исфраилом» — ЛБ4. *Корсаков* Николай Андреевич (1800—1820) — лицейский товарищ К., поэт и музыкант, умерший от чахотки во Флоренции. Его памяти посвящены также стихи А. С. Пушкина «Гроб юноши» (1821) и строки в «19 октября 1825 года». *Что ж? — не ты ли вдруг, сестра* и т. д. Сестра поэта, Юлия (Ульяна) Карловна, путешествовала по Европе в июне 1833 г. в качестве компаньонки графини В. П. Полье (урожд. кн. Шаховской). *Для меня с могилы друга* и т. д. 10 ноября 1840 г. К. писал В. А. Жуковскому:

«Ваше письмо стану хранить вместе ... с померанцевым листком, сорванным для меня сестрицей Julie во Флоренции с гроба Корсакова...»

150. РС, 1884, № 2, с. 352. Автограф — ПДЗ. *Кульман* Елизавета Борисовна (1808—1825) — поэтесса, автор сборников «Венок» и «Стихотворения Коринны». В 1833 г. посмертно вышло собрание ее стихотворений в трех частях «Пиитические опыты Елисаветы Кульман», рецензии и отзывы о нем печатались в БдЧ (1834—1835), которую в январе 1835 г. читал К., в «Дамском журнале», «Северной пчеле» и т. д. «Елисавета Кульман, — что за необыкновенное восхитительное существо! — Стихи ее лучше всех дамских стихов, какие мне случалось читать на русском языке, но сама она еще не в пример лучше своих стихов... Статью о ней написал некто Никитенко, он сам человек с душою, с мыслями и дарованием. — Не оставлю и я без приношения священной, девственной тени Элизы! как жаль, что я ее не знал! Нет сомнения, что я в нее бы влюбился, но эта любовь была бы мне столь же благотворна, сколь были мне вредны страстишки к мелким суетным созданиям, в которых не было ничего изо всего того, что дарило им слишком щедрое воображение», — записал К. в дневнике 28 января 1835 г. Статья А. Никитенко — «Пиитические опыты Е. Кульман», Сев. пчела, 1833, № 239, 21 окт., стр. 953—955, или «Жизнеописание девицы Кульман», БдЧ, 1835, т. 8, с. 39—85. Стихотворением «Елисавета Кульман» заканчивается ряд стихотворений, написанных К. в январе 1835 г., — этот месяц поэт считал одним из самых творчески плодотворных в своей жизни. 30 января он записал в дневнике: «Вообще благодарю милосердного бога, — этот первый месяц 1835 года принадлежит к самым счастливым в моей жизни: я в нем не просто дышал, а мыслил, чувствовал, жил полною, богатою жизнию». 31 января: «Кончился для меня этот поэтический месяц! Благодарным, из глубины души благодарным должен я быть моему господу за все, что он даровал мне с нового года! Молю его, да пошлет он мне и еще благодеяние величайшее из всех, — мир внутренний!» *Камоенс* — см. примеч. 94; *Марон* — Вергилий. *Тасс* — см. примеч. 61. *Кальдерон* де ла Барка Педро (1660—1681) — испанский драматург. *Эсхил* — см. примеч. 61. *Бард Фелицы* — Г. Р. Державин. *Леонора* — возлюбленная Тассо, сестра Феррарского герцога, любовь к которой послужила причиной заточения Тассо.

151. ССД, с. 107, под загл. «Росинки». Печ. по автографу ПД4. 16 февраля 1835 г. вписано в дневник (см. СС1) со словами: «Наконец, бившись три дня, я переупрямил упорную державинскую строфу, которая особенно трудна по расположению рифм и по краткости стихов; не знаю, какова пьеса, только знаю, что она обошлась мне не дешево». В списке ЛБ4 стихотворение открывается авторским вступлением: «В 3 Книге Царств есть место, которое всегда меня поражало необыкновенно сильно, вот оно: господь идет мимо Илии: «И се мимо пройдет господь и дух (т. е. ветер) велик и крепок, разоряя горы и сокрушая каменья пред господом, — но не в дусе господь; и по дусе трус (т. е. землетрясение), и не в трусе господь; и по трусе огнь, и не в огне господь; и по огне глас хлъда тон-

ка ... — и тамо господь». (Книга Царств 3, гл. 19, ст. 11 и 12). Это место и изречение нашего спасителя: «Блажени чистые сердцем: яко тии бога узрят» — послужили мне поводом написать притчу „Росинка“». Позже, 24 марта 1835 г., К. пишет стих. «И тамо господь», непосредственно перелагающее поразившие его строки Библии.

152. ССД, с. 87. Автограф — ПДЗ.

153. ССД, с. 164. Печ. по автографу ЛБЗ.

154. ССД, с. 165. Печ. по автографу ЛБЗ.

155. С, с. 166. Автограф — ЛБЗ.

1835—1846

156. ОЗ, 1861, № 11, с. 38, в статье В. П. Гаевского «Празднование лицейских годовщин в пушкинское время». Печ. по автографу ПДЗ. Это первое из дошедших до нас лирических стихотворений К., написанных после освобождения из Свеаборгской крепости и поселения в семье брата, Михаила Карловича, в Баргузине. Послано в письме А. С. Пушкину 18 октября 1836 г. со словами: «Завтра 19 октября. — Вот тебе, друг, мое приношение. Чувствую, что оно недостойно тебя, — но, право, мне теперь не до стихов». *Пейпус* — см. примеч. 86. *Что, если в осень дней столкнусь с любовью?* «Размысли, друг, этот последний вопрос — и не смейся, — писал К. Пушкину, — потому что человек, который десять лет сидел в четырех стенах и способен еще любить довольно горячо и молодо, — ей-богу! достоин некоторого уважения».

157. ЛВ, 1902, кн. 2, с. 169. Печ. по автографу ПДЗ. Автографы также: под загл. «Исфраилу» — дневник от 22 мая 1837 г., (опубл. СС1); ГПБ. Написано под впечатлением крайне тяжелых условий жизни в семье брата Михаила Карловича, брак которого в 1837 г. был расторгнут по постановлению Синода (он был женат на куме, т. е. до брака крестил незаконного ребенка своей жены); Михаил Карлович был выслан из Баргузина; заботы о его семье (жене и двоих детях) пали на долю Вильгельма.

158. ЛВ, 1902, кн. 2, с. 168. Печ. по СС1. Автограф ГПБ. Написано под впечатлением известия о гибели А. С. Пушкина (29 января 1837 г.), полученного К. накануне дня рождения Пушкина (26 мая).

159. ССД, с. 147. Печ. по автографу ПДЗ. Автограф ранней ред. под загл. «Послание к брату» — дневник от 3 сентября 1837 г., опубл. — СС1. *Минули же и годы заточенья.* К. был освобожден из Свеаборгской крепости в декабре 1835 г. и прибыл на поселение в Сибирь в январе 1836 г. *Не для него я создан: только шаг* и т. д. Дневник К. первых лет по освобождении наполнен записями о тяжелом физическом труде и материальных заботах, нахлынувших на нового поселенца. Вот некоторые из них. 11 сентября 1837 г.: «Ездил

по мох, физических сил, кажется, у меня больше, чем когда приехал. Теперь я гребу довольно исправно». 22 октября 1837 г.: «Сегодня я был на горе довольно высоко; искал своего быка. . . Устал я, между прочим, как собака, и потерял свой кушак». В начале 1837 г. К. женился, что также прибавило хозяйственных забот. Отношения поэта с братом складываются тяжело, — брат был занят хозяйством и не обладал поэтическим складом души: «Им совершенно овладел тот дух отрицания, который издевается надо всем, что греет сердце: для него нет ни праздников, ни поэзии, ничего того, что необходимо для меня, чтобы жизнь мне не казалась бездушным прозябанием» (Дек. и их вр., с. 76).

160. ОЗ, 1861, т. 139, с. 40. Печ. по автографу ПДЗ. 19 октября 1838 г. вписано в дневник, 20 октября того же года послано Наталии Григорьевне Глинке: «С кем же, как не с тобою, поговорить мне про день, который по привычке многих лет стал для меня днем сожалений, воспоминаний и умиления (recueillement), хотя и не совсем религиозного, но тем не менее теплого и благотворного для сердца? Вчера была наша Лицейская годовщина. Я праздновал ее совершенно один: делиться было не с кем. Однако мне удалось придать этому дню собственно для себя некоторый отлив торжественности, и вот как это случилось. В этот самый день одно здешнее купеческое семейство служит каждый год обедню и панихиду по умершем своем родоначальнике; я надел черный чекмень и отправился в церковь, где, кроме старшего из братьев того семейства и двух маленьких его племянниц, никого не было. Ich bin kein sehr fleissiger Kirchengänger <я не очень прилежный посетитель церкви. — *нем.*> и очень заметил, что купцу показалось несколько странным видеть меня в церкви не в праздник. Однако перед начатием панихиды он подошел ко мне и стал просить пожаловать к нему «откушать чаю». Разумеется, что я не пошел и даже не дождался панихиды. Зато отправился я на кладбище и над могилой сына отслужил, так сказать, свою панихиду по всем умершим родителям своим. Возвратясь домой, я принялся сочинять, если только можно назвать сочинением стихи, в которых вылились чувства, давно уже просившиеся на простор. . . Мне бы было очень больно, если бы мне в этот день не удалось ничего написать: много, может быть, между пишущею молодежью людей с бóльшим талантом, чем я; но по крайней мере в этот день я преемник лиры Пушкина, и я хотел оправдать в своих глазах покойного поэта, хотел доказать хоть не другому кому, так самому себе, что он не совсем же даром сказал о Вильгельме: «Мой брат родной по музе, по судьбам». Судьбы-то мне, правда, выпали потом несколько суровее пушкинских; но и он, бедняжка, настрадался же на свой пай». Приведя полный текст стихотворения, К. добавляет: «Недостаток этой пиесы тот, что слишком много говорю о самом себе, но в моем положении почти нельзя иначе» (РА, 1901, № 2, с. 239—240). *Он ныне с нашим Дельвигом пирует* и т. д. Дельвиг умер в 1831 г., Грибоедов — в 1829 г. *Она того меня лишает дара* и т. д. Постоянное в 1830-е годы опасение К. лишиться поэтического дара под бременем нахлынувших на него по выходе из тюрьмы материальных забот (см. стих. «Измена вдохновения», «Разочарование» и др.).

161. ССД, с. 149. Автографы: ПДЗ; дневник от 15 января 1839 г. (опубл. — СС1).

162. ПСС, с. 180. Автографы: ПДЗ; дневник от 23 января 1839 г. (опубл. — СС1).

163. СС1, с. 182. Печ. по автографу ПДЗ. Вписано в дневник 26 февраля 1839 г. Обращено к *Эмилии* Федоровне Брейткопф (1790—1851) по случаю смерти ее сестры, Наталии Федоровны Дириной (ум. в 1838 г.). *Там, где отец, и мать, и братья.* Имеются в виду умершие к 1839 г. родные Эмилии Федоровны (отец — Бернгард Теодор (Федор Иванович) Брейткопф (1749—1820), композитор-дилетант, друг отца Вильгельма, переселившийся в Россию из Германии, учредивший в Петербурге типографию и преподававший в Екатерининском институте; мать — Анна Ивановна, урожд. Парис, начальница Екатерининского института).

164. PC, 1891, октябрь, с. 68 (отрывок). Печ. по автографу ПДЗ. 12 февраля 1840 г. вписано в дневник с указанием, что написано в сентябре 1839 г. — «в Уринском селении, когда молотили мой хлеб... на смерть моего незабвенного Николая...». *Глинка* Николай Григорьевич (см. примеч. 120) в 1839 г. умер на Кавказе от боевых ран. *Оскар* — см. примеч. 148.

165. PC, 1891, октябрь, с. 67 (отрывок). Печ. по автографу ПДЗ. 9 февраля 1840 г. вписано в дневник (опубл. — СС1) со словами: «Вот стихи, которые пошлю Орлову». *Орлов* Александр Иванович — городской лекарь в Верхнеудинске, в 1830-е годы живший в Кяхте и издававший рукописную газету «Стрекоза», где помещал стихи декабристов, находящихся в местных казематах. По-видимому, писал стихи. *Селенга, Уда* — сибирские реки, на которых жил К. до отъезда в Акшу.

166. PC, 1891, октябрь, с. 68, под загл. «Аннушке в альбом». Печ. по автографу ПДЗ. *Разгильдеева* Анна Александровна (р. 1825) — дочь майора А. И. Разгильдеева, ученица К. в Акше. 12 декабря 1840 г. поэт записал в дневнике: «Сегодня 15 лет тому назад родилась Аннушка: итак, когда 14 декабря 1825 г. меня постигло мое огромное несчастье, существовал уже двухдневный младенец, которому суждено было быть моим утешением чрез 15 лет здесь, в краю моего изгнания». 14 сентября 1840 г. поэт писал племянницам: «У меня есть здесь с кем побеседовать о своих любимых занятиях и — о вас. Старшая дочь здешнего командира Анна Александровна — милое, превосходное создание по уму и сердцу; она еще очень молода, ей нет и 15 лет. Но она мне истинный товарищ, несмотря на мои седые волоса: странно, что я, несмотря на все, мною перетерпенное, никак не могу постареть душою» (Дек. и их вр., с. 84).

167. ССД, с. 137. Автограф — ПДЗ. 13—14 июня 1840 г. было вписано в дневник (опубл. — СС1). Задумано, по-видимому, вскоре после 26 мая 1840 г., дня рождения А. С. Пушкина, когда К. записал

в своем дневнике: «Сегодня день рождения покойного Пушкина. Сколько тех, которых я любил, теперь покойны!

В душе моей всплывает образ тех,
Которых я любил, к которым ныне
Уж не дойдет ни скорбь моя, ни смех.

Пережить всех — не слишком ли страшный жребий! Высчитать ли мои утраты? — Гениальный, набожный, благородный, единственный мой Грибоедов; Дельвиг умный, веселый, рожденный, кажется, для счастья, а между тем несчастливый; бедный мой Пушкин, страдалец среди всех обольщений славы и лести, которою упояли и отравляли его сердце; прекрасный мой юноша, Николай Глинка, который был бы великим человеком, если бы не роковая пуля, он, в котором было более глубины, чем в Дельвиге и Пушкине и даже Грибоедове, хотя имя его и останется неизвестным! И почти все они погибли насильственною смертью; а смерть Дельвига, смерть от тоски и грусти, чуть ли не хуже!» Эпиграф — строки из «Илиады» Гомера, гл. 23, ст. 103—104 (ср. примеч. 148). *Онон* — река в Забайкалье. *Ижора* — приток Невы. *Кому рукоплескал когда-то град надменный.* Париж, где К. с огромным успехом читал лекции о русской литературе в 1821 г. *Массилия* — Марсель, см. примеч. 67. *Свинцовых десять лет* — 1826—1835, годы заточения поэта.

168. РС, 1891, октябрь, с. 75. Печ. по автографу ПДЗ. 22 июня 1840 г. вписано в дневник со словами: «Провел неделю, в которую отстал от всех своих занятий; зато познакомился с очень милым человеком М. А. Дохтуровым. — Это тот самый маленький русский доктор, the little russian doctor, о котором говорит Байрон, знакомец милорда стихотворца, Травельнея и теперь мой; он перебывал в университетах Дерптском, Берлинском, Гейдельбергском, в плену в Истамбуле, лекарем в Одессе, в Петербурге, наконец в Нерчинских заводах, — сын он графини Толстой, племянник известного генерала, был когда-то адъютантом Закревского, знает по-немецки, итальянски, французски, восточные языки, латинский, новогреческий, пишет стихи, рисует, стреляет метко из пистолета, фигурка маленькая, черномазенькая, — сыплет анекдотами, либеральничает немножечко и философствует, умен, любезен, вспыльчив, благороден, скуп — словом, европеец. Лицом он немножечко похож на покойного А. А. Шишкова. Вот стихи, которые написал я ему на память». 26 июня 1840 г., после отъезда Дохтурова с Разгильдеевым, К. записывает в дневник стихи, которые Дохтуров посвятил ему на прощание, — особенно нравились в них К. две последние строфы: «одна истинно прекрасная, другая, которая, если она внушена только искренностью, должна меня очень и очень утешать:

Минута жизни, но удалой,
Отрадней многих тяжких лет;
И лучше гибнуть, но со славой,
Чем прозябать без бурь и бед.

О, не жалей же о свободе,
Ни о былом, знакомец мой,

Ты вечен в памяти народа,
А я все в гроб возьму с собой».

Михаил Афанасьевич *Дохтуров* приезжал в Акшу в 1840 г. на несколько дней, причины поездки не установлены.

169. ПСС, с. 184. Автограф — ПДЗ. 22 июня 1841 г. вписано в дневник со словами: «Васиньке я написал сегодня на прощание стихи, которые здесь следуют». *Васинька* — Васса Александровна Разгильдеева, младшая сестра Анны Разгильдеевой, ученица К. в Акше. По-видимому, написано в связи с предполагаемым переездом семейства Разгильдеевых из Акши в Кяхту.

170. ССД, с. 153. Печ. по автографу ЛБЗ. 14 декабря 1841 г. вписано в дневник со словами: «Бедный ты мой Суслов! на прошедшей неделе он схоронил одного сына, сегодня другого. — Не должен ли стыдиться после того, что меня малейшее выводит из терпения и заставляет роптать на свою судьбу, что я в состоянии был излить свое уныние в стихах таких, какие я вчера выходил у Наталии Алексеевны в ожидании бани». Суслов — по-видимому, акшинский (?) знакомый К. Наталия Алексеевна — Разгильдеева, мать учениц К.

171. СС1, с. 184. Автограф — ЛБЗ. *Мордвинов* Александр Александрович (1813—1872) — сибирский литератор, этнограф и путешественник, с которым К. сблизился в 1840—1841 гг., после переселения в Акшу. Судя по дошедшему до нас письму Мордвинова к К. от 23 февраля 1841 г., их знакомство началось около этого времени присылкою Мордвиновым К. книг (ЛН, с. 487).

172. ССД, с. 154. Автограф — ЛБЗ. 22 февраля 1842 г. было вписано в дневник (опубл. — СС1). Адресат стихотворения не установлен, т. к. автограф дневника за 1842 г. не сохранился. Из сокращенной копии дневника в архиве «Русской старины» очевидно общее угнетенное моральное состояние поэта, задавленного материальными лишениями и участившимися ссорами с окружающими близкими людьми. Вот несколько дневниковых записей начала 1842 г. 9 января: «Ни один год моей жизни не начинался так тяжело, как нынешний, а заметить должно, что это пишу я, просидевший десять лет в каземате. Как я дневник свой пишу для тебя, мой сын, не хочу обвинять никого, кроме себя. — Только скажу одно: научись из моего примера, не женись никогда на девушке, как бы ее ни любил, которая не в состоянии будет понимать тебя». 26 марта: «...было у меня объяснение с Савичевским <Константином Осиповичем, приятелем К.>, о котором, право, не знаю, что думать. Заносчивость его и пр. можно бы было еще перенести, — но боюсь открыть в нем кое-что похуже; впрочем, я уже столько испытал от людей, которых когда-то любил, что, кажется, и это перенесу». 25 мая: «С Натальей Алексеевной у меня совершенный и конечный разрыв». 16 сентября: «Если человек был когда несчастлив, так это я: нет вокруг меня ни одного сердца, к которому я мог бы прижаться с доверенностью. — Все они теперь от меня отступили, а между

тем я бы мог, я бы умел их любить! — Бог с ними». 6 ноября: «Простился я с Разгильдеевыми ... Бог с тобою, Анна Александровна! — Ты была моею последнею любовью, и как это все кончилось глупо и гадко! а я тебя любил со всем безумием последней страсти: в твоем лице я любил еще людей — теперь прилечь бы и заснуть!» *Но сына Лаия почтил Фезей* (греч. миф.). Сын царя Фив Лайя — Эдип; в трагедии Софокла «Эдип в Колоне» рассказывается об изгнании царя Эдипа, во время которого его приютил легендарный царь древних Афин Тесей (Фесей). *Тасс* — см. примеч. 61.

173. ССД, с. 158. Автограф ЛБЗ. Записано в дневник 30 ноября 1842 г. после слов: «Я воротился из Цурухаита, расстался я с своим милым Константином, и с ним, может быть, на всю жизнь. — Уж эти мне расставания! сколько я их пережил!» *Увы! с последним другом расставанье!* По-видимому, с Константином Осиповичем Савичевским, приятелем К., о котором идет речь в дневнике. *Ты лучше для меня, чем пасмурный Онон* и т. д. Речь идет о расставании с Разгильдеевыми. Онон — см. примеч. 167.

174. С, с. 176. Автограф — ЛБЗ.

175. В повести «Последний Колонна». Л., 1937, с. 58. Песня героини романа, безумной крепостной девушки Насти, возлюбленный которой был сослан в Нерчинские рудники за убийство. Песня в романе является пророчеством судьбы главного героя, итальянского художника Колонна, которому безумная предсказывает наказание (каторгу) за еще не совершенное убийство.

176. ССД, с. 159. Печ. по автографу ЛБЗ; в дневнике от 20 января 1844 г. Дочь французского писателя Виктора *Гюго* (1802—1885) утонула 4 сентября 1843 г. Ее смерти посвящен цикл стихотворений Гюго в сборнике «Les contemplations». 20 января 1844 г. стих. записано в дневнике К. со словами: «У Виктора Ӱго потонула дочь, только что вышедшая замуж». Французское написание фамилии Гюго К. передает с помощью русской буквы «у» с немецким Umlaut: Ӱго. *Запад* — здесь: закат. *Божественный старик* — Шатобриан Франсуа-Рене (1768—1848), французский писатель. *«Гигант — дитя!»* — отзыв Шатобриана о ранних поэтических опытах Гюго. *С могилы сына моего.* Речь идет об умершем во младенчестве сыне К. Иване.

177. С, с. 180. Обращено к Марии Николаевне Волконской (1805—1863), жене декабриста кн. С. Г. Волконского. В дневнике сопровождалось словами: «Не скрою от вас, что *гордое терпенье* раздалось и в самую ту минуту, когда я прибрал этот стих, как фальшивая нота. Même alors, celà me paroissoit ampoulé <Уже тогда это показалось мне напыщенным. — *франц.*>». К. заезжает к Волконским в Красноярск в 1845 г. по пути из Акши в Курган (см. «Архив декабриста С. Г. Волконского», Пг., 1918, т. 1, стр. XXXI). Стих *И силу мне подаст, и гордое терпенье,* смутивший К., — реминисценция из стих. А. С. Пушкина «Послание в Сибирь»: «Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье. . .».

178. РС, 1891, октябрь, с. 111. Список — в копии дневника от 10 июня 1845 г. (ПД), после слов: «Минуло мне сегодня 48 лет. Печально я встретил день своего рождения, пока не сошлись гости. Я стал выхаживать стихи, да не удалось составить более того, что следует» (далее текст «Еще прибавился мне год. . .»).

179. ЛЛ. *Да! недалек тот день, который был когда-то.* Лицейская годовщина 19 октября. *И сколько и еще друзей пожато.* К 1845 г. в живых оставались немногие лицеисты. Еще в 1841 г. 19 октября К. записал в дневнике: «Сегодня 30 лет со дня открытия Лицея. Теперь всем моим товарищам (оставшимся в живых) за сорок лет. Из тридцати тогда поступивших в Лицей умерли, сколько знаю: Ржевский, Корсаков, Дельвиг, Пушкин и, кажется, еще Костенский, Есаков застрелился, Тырков сошел с ума, — а я и Пущин? Осталось, если не считать Гурьева, выключенного еще в 13 году, всего двадцать. Итак, целой трети уже нет. Да я вспомнил, что и Илличевский чуть ли не умер; стало быть, вот уж и перешло за треть».

180. РС, 1891, октябрь, с. 112 (отрывок). Печ. по СС1. Автографы: в письме к родным от 11 октября 1845 г. (ЛН, с. 477); в дневнике от 9 октября 1845 г. после слов: «Кельбедин получил письмо от Белкина, в котором пишут, будто бы скончалась Э. Ф. Брейткопф. Еще один ангел возвратился в свою отчизну небесную!» Это известие оказалось ложным. Брейткопф Эмилия Федоровна — см. примеч. 163. В одном из писем к матери К. пишет о сестрах Брейткопф: «Я считаю Эмилию и Натали такими же сестрами, как Юстину и Юлию» (нем.).

181. ЛЛ. 25—26 октября 1845 г. было записано в дневник. *Оссиан* — см. примеч. 61. *Вот первый: он насмешливый, угрюмый* — А. С. Грибоедов. *Закат* — здесь: запад. *И с ним отчизну примирил свою.* С помощью А. С. Грибоедова, русского посла в Персии, в 1828 г. был заключен Туркманчайский мир с Персией. *И вот другой: волшебно-сладкогласный* — А. С. Пушкин. *Еще две тени: бедный Дельвиг, ты.* Дельвиг умер в 1831 г. *И ты, его товарищ, Баратынский!* Е. А. Баратынский умер в 1844 г.

182. ЛЛ. *Для славы и Рылеев был рожден.* К. Ф. Рылеев повешен 13 июля 1826 г. *Не он один; другие вслед ему* и т. д. По-видимому, К. имеет в виду себя и других сосланных поэтов-декабристов. *Или болезнь наводит ночь и мглу.* В 1845 г. К. ослеп. *Или рука любовников презренных* и т. д. Речь идет о гибели Пушкина. *Или же бунт поднимет чернь глухую.* Имеется в виду А. С. Грибоедов, трагически убитый в 1829 г. в Тегеране разъяренной толпой, исполненной ненависти к России.

183. СС1, с. 207. Печ. по списку в письме Д. А. Щепина-Ростовского к Н. Д. Фонвизиной от 23 ноября 1845 г. из Кургана: «Василий Карлович Кюхельбекер в эти несколько недель подвержен жестокой глазной боли, до такой степени усилившейся, что до двадцатого числа этого месяца ничего не мог различать — гной истекал

из них. Но в этот день несколько прозрел и мог осмотреть, хотя с трудом, окружающие предметы. Исполненный священного и поэтического энтузиазма к Святителю Димитрию Ростовскому чудотворцу со времени явления его святого лика во сне жены, Василий Карлович сочинил молитву в стихах — памяти Предстателя у Всевышнего, которая при этом письме прилагается». Василием Карловичем, на русский лад, поэта называла его жена и некоторые знакомые в последние годы его жизни. *Димитрий Ростовский* — см. примеч. 137.

184. СС1, с. 208. 2 декабря 1845 г. было вписано в дневник. Список стихотворения 23 ноября 1845 г. послан Д. А. Щепиным-Ростовским к Н. Д. Фонвизиной из Кургана в Тобольск. *Узнал слепоты нерассветную тьму.* Поэт ослеп в 1845 г.

185. С, с. 186. 25 января 1846 г. было вписано в дневник. *Якубович* Александр Иванович (1792—1845) — декабрист, умер в ссылке в Енисейске. Знаком К. еще по времени пребывания на Кавказе, где Якубович был во враждебных отношениях с Грибоедовым и К. (Грибоедов и Якубович были секундантами враждебных сторон в дуэли 1817 г. В. В. Шереметева и А. П. Завадского, позже, как «участники интриги», дрались между собой). *Ермоловцы.* Под начальством генерала А. П. Ермолова (см. примеч. 76) служили многие будущие декабристы, друзья К.

186. СС1, с. 209. 25 января 1846 г. было вписано в дневник. *Рихтер* Николай Павлович (?) — горный инженер, приятель К. и переписчик рукописей декабристов-литераторов (см. письмо М. А. Фонвизина к К. от 8 сентября 1845 г. — ЛН, с. 494).

187. СС1, с. 210. 3 февраля 1846 г. было вписано в дневник.

188. СС1, с. 211. 3 и 18 февраля было вписано в дневник. Список с несохранившегося автографа — ЦГАЛИ, ф. Каверина. Речь идет о Фридрихе I Барбароссе (1123—1190), императоре Священной Римской империи, участнике 3-го крестового похода, по преданию не умершем, но спящем в пещере. *Только раз... Не в ту годину* и т. д. — т. е. не в 1812 г., во время войны Наполеона с Россией. *На скале средь океана.* Имеется в виду заточение Наполеона на о. св. Елены. *Три полудня, три зари.* Вероятно, битва при Ватерлоо после возвращения Наполеона к власти на 100 дней, во время которой Наполеон потерпел поражение. *Не при взятьи гордой Вены.* Вена была взята Наполеоном дважды: 13 ноября 1805 и в мае 1809 г. *Или как в Париж вошли* и т. д. Союзники вошли в Париж в 1814 г. в результате договора о сдаче города, подписанного маршалом Наполеона Мармоном (1774—1852). *Сульт* (1769—1851) — маршал Наполеона. *Комброн* Пьер — генерал Наполеона, начальник корсиканского батальона. *Корс* — корсиканец; здесь: Наполеон, уроженец о. Корсика.

189. СС1, с. 212. 22 февраля 1846 г. было вписано в дневник.

190. СС1, с. 212. Печ. по списку ЛБ5. Адресат стихотворения не установлен.

191. С, с. 188. 5 марта 1846 г. было вписано в дневник. Обращено к Ивану Ивановичу Пущину (1798—1859), с которым поэт встретился в марте 1845 г. в Ялуторовске при переезде с семьей в Курган. В марте 1846 г. слепой и больной туберкулезом К. вновь останавливается в Ялуторовске у Пущина при переезде из Смолинской слободы близ Кургана в Тобольск.

192. СС1, с. 213. 14 марта 1846 г. было вписано в дневник. Список с несохранившегося автографа — ЦГАЛИ, ф. Каверина. По-видимому, написано на смерть Марии Елисеевны Басаргиной (урожд. Мавриной), жены декабриста Н. В. Басаргина. В письмах к родным К. сообщал о преследованиях, которым М. Е. Басаргина подвергалась со стороны обывателей.

193. СС1, с. 214. 29 марта 1846 г. было вписано в дневник. Список с несохранившегося автографа — ЦГАЛИ, ф. Каверина. Возможно, речь идет о Сергее Сергеевиче Оболенском, князе, штабс-ротмистре гусарского полка, заключенном в Свеаборгскую крепость за дерзкое поведение. Оболенский пытался передать Грибоедову письмо узника К., за что был лишен дворянства и сослан на поселение в Сибирь, где сильно опустился. Однако это лишь предположение, т. к. год смерти С. С. Оболенского установить не удалось.

194. СС1, с. 215. Список — ЛБ5. 13 апреля 1846 г. вписано в дневник.

195. СС1, с. 214. Список — ЛБ5. 13 апреля 1846 г. было вписано в дневник. *Басаргин* Николай Васильевич (1799—1861) — декабрист, товарищ К., с которым он сблизился, вероятно, в Кургане. *Подобной той смоковнице бесплодной.* См. Еванг. от Матфея, гл. XXI, 18—21: голодный Иисус Христос подошел к смоковнице, на которой не было плодов, и проклял ее за это. *Дочери Софии* — Вера, Надежда, Любовь.

196. СС1, с. 215. Печ. по списку ЛБ5. 29 апреля 1846 г. было вписано в дневник. Строфы 5 и 6 написаны в ЛБ5 одна между строк другой — возможно, как вариант одной строфы.

197. С, с. 189. По свидетельству Ю. Н. Тынянова, начальные и средние строки в рукописи дневника вырваны. В ЦГАЛИ (ф. Каверина) сохранилась заметка Ю. Н. Тынянова (?), что стихотворение начато 25 января, окончено 5 марта 1846 г. Основания датировки не приводятся. По-видимому, обращено к шефу жандармов и главному начальнику III Отделения Алексею Федоровичу Орлову (1787—1862), усилившему тайный надзор за декабристами и поощрявшему доносы. Орлов отказал К. в просьбе помочь ему получить разрешение печататься (1840 г.). *Преторияне* — лейб-гвардия римских цезарей. А. Ф. Орлов в 1813 г. был полковником, а в 1825 г. генерал-

адъютантом лейб-гвардии, участником расправы над декабристами. *Какодемон* — злой дух. *Русский Фальстаф.* Именем Фальстафа, героя произведений Шекспира («Генрих IV», «Виндзорские проказницы»), обжоры, пьяницы, развратника и труса, К. обычно называл Булгарина.

ПОЭМЫ

198. С, с. 90, 91 (отрывки); СС1 (с погрешностями). Печ. по авторизованной копии ГПБ. Автограф ранней ред. без эпиграфа и посвящения Жуковскому — ПД; там же — отдельные черновые наброски. Работа над поэмой была начата, по-видимому, не ранее лета 1822 г., после переезда К. с Кавказа в Закуп, так как никаких упоминаний о ней до этого времени в рукописях К. и его переписке нет. Поэма закончена не позднее начала февраля 1823 г.; 17 февраля список ее К. посылает из Закупа В. А. Жуковскому одновременно с письмом, в котором говорит о посвящении поэмы Жуковскому и Байрону и просит похлопотать об издании поэмы. Эпиграф из «Энеиды» Вергилия, книга II, ст. 558. По сюжету поэма ближе всего к драме Эсхила «Агамемнон» (1-я часть трилогии «Орестея»). Образ Кассандры встречается также в трагедии Эврипида «Троянки», в переводной трагедии Мерзлякова «Кассандра в чертогах Агамемнона» (отрывок из «Агамемнона» Эсхила), в одноименных балладах Шиллера и Жуковского («Кассандра» К. как бы продолжает по сюжету одноименную балладу Жуковского) и т. д. К. рисует дочь троянского царя Приама, вещую Кассандру, после падения Трои, в момент, когда она должна отправиться в Микены в качестве добычи микенского царя Агамемнона. В Микенах и Агамемнону, и Кассандре суждено погибнуть от руки жены Агамемнона Клитемнестры.

В. А. Жуковскому. *Ст. 1—4. В уединеньи сладком возрастая* и т. д. К. впервые познакомился с поэзией Жуковского и увлекся ею в лицейские годы. *Ст. 12. О веры! — мне лавром будет тот терновник.* Поэма писалась в тяжелый для К. период вынужденного пребывания в Закупе после высылки из Парижа в 1821 г. и неприятностей на Кавказе (дуэль с Похвисневым, отставка) в 1822 г.

К ангелу вдохновения. *Ст. 57. Тебе тот чуждый ум причастен.* Речь идет о Байроне. *Ст. 63. Гаур и Манфред* — см. примеч. 104. *Ст. 68. Ночной бард* — здесь: северный бард (речь идет о Жуковском).

Ст. 39. Диана — здесь: луна. *Ст. 48. Илион* — название Трои по имени ее основателя Ила, праправнука Зевса. *Ст. 63. Не увидят уж Ахилла* и т. д. Ахилл, герой Троянской войны, жаловался своей матери Фетиде на обиды со стороны Агамемнона, отнявшего у него пленницу Брисеиду. Ахилл погиб по воле Аполлона, направившего стрелу Париса в пятку, единственное уязвимое место на теле героя. Над могилой, в которой была похоронена урна с прахом Патрокла, Ахилла и Антилоха, греки насыпали высокий курган, свидетельствующий о славе погребенных. *Ст. 69. Аргивяне* — здесь: войско Агамемнона. *Ст. 85. Скамандр* — река, на которой стоит Троя. *Ст. 159. Симоис* — река близ Трои. *Ст. 175. Ксанф* — река близ Трои. *Ст. 272. Длань предателя Парида.* Парид (Парис), по версии

одной из «малых» поэм «троянского цикла», убил Ахилла во время перемирия троян с греками, когда в знак мира Ахилл сочетался браком с дочерью троянского царя Приама Поликсеной. Эта версия легла в основу баллад Шиллера и Жуковского. *Ст. 284—301. Познала тебя, любовь* и т. д. Любовь к *Хоребу,* жениху Кассандры, фригийскому царю, которому она предсказала смерть. *Ст. 308. Гелены* — здесь: жрецы. *Ст. 312. Там, в Персефонином дому* — в Аиде. *Ст. 318—319. Их божественные тени* и т. д. Калхас предрекает прославление Трои в «Илиаде» Гомера. *Ст. 336. Зверство бешеного Пирра.* Пирр — прозвище сына Ахилла Неоптолема, убившего старого Приама у алтарей богов. *Ст. 340. Из пыли воздвиг Приама.* Речь идет об Ахилле, который с состраданием отнесся к горю отца Гектора Приама, пришедшего умолять о выдаче тела мертвого сына. *Ст. 351. Дщерь могущего Тиндара* — Елена, дочь жены Тиндара (Тиндарея) Леды и Зевса; из-за похищения Елены Парисом началась Троянская война. *Ст. 365—370. Гляжу — трезубец Посейдона* и т. д. В Троянской войне Посейдон был на стороне троян, а Афина-*Паллада* и *Юнона* (Гера) — на стороне греков. *Ст. 373. Данаи* — здесь: греки. *Ст. 399—400. Се за власы меня из храма* и т. д. В момент падения Трои Кассандра искала спасения в храме Афины, припав к ее изображению. Аякс с такой силой оторвал Кассандру от статуи, что последняя разбилась, за что Афина жестоко отомстила Аяксу. *Ст. 414. Приди, раздели мое ложе!* Речь идет об Агамемноне, сыне Атрея, пленницей которого стала Кассандра и с которым вместе погибла от руки Клитемнестры в Микенах.

<Примечания> *8.* К. цитирует слова Кассандры (антистрофа 5) из трагедии Эсхила «Агамемнон».

199. СС1, с. 237. Черновой автограф на бумаге с водяным знаком 1822 г. — ПД. Замысел поэмы и, возможно, первые наброски относятся ко времени тесного общения К. с Грибоедовым на Кавказе в 1822 г.; замысел К. возник под влиянием поэмы Грибоедова «Путник» (или «Странник»), текст которой не сохранился. Не позднее 1823 г. в Закупе был написан публикуемый отрывок, и работа над поэмой была прекращена. Начало поэмы построено как рассказ об А. С. Грибоедове некоего ученого Абаза, — существует предположение, что здесь имеется в виду конкретное лицо — общий знакомый К. и Грибоедова Бакиханов Аббас-Кули-Ага (1794—1847), азербайджанский поэт и историк, знаток восточных литератур. *Дара* — Дарий I Гистасп, древнеперсидский царь (522—486 до н. э.). *Хожрой* — Хозрой I Великий (531—579), *Шапур* — Сапор II Великий (310—380) — древнеперсидские цари. *Кур* — река Кура. *Урус* — русские войска. *Зулейка, Мириямь, Ширинь.* Героини поэм таджикского поэта Джами Нуриддина Адуррахмона бин Ахмада (1414—1492) «Юсуф и Зулейка» и Низами Гянджеви (1141—1203), азербайджанского поэта, «Хосров и Ширин». В 1824 г. К. писал в статье «О направлении нашей поэзии...»: «При основательнейших познаниях и большем, нежели теперь, трудолюбии наших писателей Россия по самому своему географическому расположению могла бы присвоить себе все сокровища ума Европы и Азии. Фирдоуси, Гафис, Саади, Джами ждут русских читателей». *Кашаур* — долина на Кавказе. *Но что — кто сей младой гаур* и т. д. Речь идет о Грибоедове. *Таеран* —

Тегеран. *Баба-Хан* — Фетх-Али-Шах (1762—1834), персидский шах. *Сардарь* — губернатор. *Гурджистан* — Грузия. *Исандер* — Александр Грибоедов. *Шираз* — область в Персии.

200. С, с. 200 (отрывки); СС1, с. 104, 105, 107, 117, 240, 262 (отрывки под загл. «Герой и певец», «Плач Давида над Саулом и Ионафаном», «Единоборство Гомера и Давида», «Ветхозаветные песнопевцы», «Отрывки из поэмы Давид»). Печ. со значительными сокращениями по автографу ПД, выправленному рукой И. И. Пущина (?) по несохранившемуся беловому автографу (вписаны отдельные строфы и авторские комментарии). Опущены: в книге 1 — рассказ Давида о своих предках, Ноэмини, Руфи и Воозе; во 2-й — родословная воина Асаила, эпизод встречи Асаила с пророком Самуилом; в 3-й — возвращение Асаила и Давида на родину, рассказ Асаила об избрании на царство Саула, описание героев войск евреев и филистимлян, подвиги Далиды, Хуса, Саула, ранение Ионафана, молитва пророка Самуила; в 4-й — описание пути Давида к войску Саула, псалом «на помазание», рассказ Авиезера о спасении им Саула, пророчество Саула, эпизод «Авиезер и Насива»; в 5-й — битва Голиафа с Авиезером, описание битвы и победы евреев, псалом Давида, две песни Асафа, в которых тот славит Давида; в 6-й — любовь Давида и Мельхолы, описание их свадьбы; в 7-й — пророчество Саула, история пророка Самуила, смерть Самуила, попытка воинов Давида убить Ионафана; в 8-й — разговор Давида и Анхуса, история Далиды и Аминадава; в 9-й — волхование Саула, история египтянина — раба амаликитян; в 10-й — битва евреев и филистимлян, убийство Далидой Аминадава, смерть Саула и его сыновей, возвращение Давида на родину. Автограф отдельных отрывков — ЛБЗ. Поэма была написана в 1826—1829 гг.: 1-я книга в 1826, 2-я — в 1827, 7-я — в сентябре 1829 г. 13 декабря 1829 г. поэма была окончена. Замысел подсказан К. Грибоедовым (ср. стих. Грибоедова «Давид»).

I. Книга «Преддверие». *Ст. 17. Все три венца Давид, пастух счастливый* и т. д. Давид — полулегендарный библейский царь XI—X в. до н. э.; будучи в юности простым пастухом, он прославился своими псалмами и военными подвигами, после чего стал царем израильским, преемником Саула. *Ст. 19. И был в Эфрафе муж благочестивый.* Эфрафа (Вифлеем) — город в Палестине. Муж благочестивый — Иессей, внук Вооза, отец Давида. *Ст. 36. Израиль* — здесь: еврейский народ. *Ст. 37. Молва несется: «Прозорливец здесь!»* Пророка Самуила, по Библии, бог послал в дом старца Иессея «помазать на царство» одного из его сыновей. *Ст. 51. И руку на главу тельца взложил* и т. д. По Библии, Самуил, чтобы избежать гнева царя Саула, должен был прийти в Эфрафу под предлогом жертвоприношения, приведя с собой «телицу». *Ст. 56. Ефремли паства* — пастбища горы Ефремовой, откуда родом был пророк Самуил. *Ст. 64. Аарон* — брат Моисея, один из праотцев еврейского народа, выведший евреев из Египта, первосвященник. О порядке жертвоприношения в пользу Аарона (грудь и бедро тельца) см. кн. Исход, гл. 29, ст. 26—27. *Ст. 68. Иуда* — здесь: одно из колен израильского народа. *Ст. 73. Овидов сын* — Иессей. *Ст. 79. На полночь* — на север. *Ст. 80. К полудню зрелся тихий гроб Рахили.* Рахиль, по Библии, жена Иакова, похоронена на дороге в Эфрафу из земли

Ханаанской. К полудню — к югу. *Ст. 91. Отвержен царь от божиих очей* и т. д. Речь идет о царе Сауле, который должен был истребить племя Амалика, не взяв себе ничего из их богатств, и нарушил этот завет бога, за что был им отвергнут. (Амаликитяне воевали с народом израильским при выходе того из Египта, за что были осуждены богом на истребление.) *Ст. 113. Агаг* — царь амаликитян, которого пощадил Саул *(сын Кисов). Ст. 146. Жезл Мельхиседеков.* Мельхиседек, по Библии, — царь Салимский, священник. *Ст. 152. Кармил* — город в Иудее. *Ст. 283. Не Авраам ли был заклать готов* и т. д. В кн. Бытия рассказывается об испытании, посланном богом Аврааму: ему было приказано принести в жертву своего сына Исаака. Но когда Авраам уже готов был принести эту жертву, бог не допустил ее. *Ст. 392. В науках мой наставник и пример.* Речь идет о Грибоедове. *Ст. 405. В глухих стенах, в темнице умираю!* Первая книга поэмы писалась К. в Шлиссельбургской крепости.

II. Книга «Призвания». *Ст. 20. А дастся ли, слепец! твоим мольбам* и т. д. Возможно, что в этих неясных строках об оскорблении, нанесенном брату, речь идет о многолетнем раскаянии К. по поводу показания, данного им на следствии против «брата» по Лицею и по тайному обществу И. И. Пущина: К. заявил на следствии, что именно Пущин побуждал его стрелять в великого князя Михаила. На очной ставке с К. Пущин отверг это тяжелое обвинение; это был единственный случай в показаниях К., когда он своими словами значительно отягощал вину другого и многократно и настойчиво упорствовал в них, призывая в свидетели даже бога. Уже во время следствия К. овладели сомнения в своей правоте, он пытался новыми и новыми формулировками смягчить свое первое показание, и это ему удалось: в обвинении против Пущина этот пункт отсутствует. Но мучения совести продолжались, и 15 апреля 1832 г. комендант Свеаборгской крепости пишет рапорт Бенкендорфу: «Государственный преступник Кюхельбекер, имея высочайшее дозволение заниматься письмом и чтением, ныне пред исполнением по обряду лютеранской религии исповеди и святого причастия хочет успокоить свою совесть добровольным признанием на счет обвиненного им в 826-м году преступника же Ивана Пущина будто бы безвинно». Далее следует текст заявления К. от 2 апреля 1832 г.: «Я назвал Пущина: и тогда я точно уверен был, что говорю истину... Едва я возвратился в свою комнату, как начали мучить меня угрызения, которые с той поры никогда меня совершенно не покидали... Моя обязанность, невзирая ни на что, чему бы я сам через то мог подвергнуться, стараться уничтожить сие подозрение». Далее по пунктам следует изложение, почему надо верить показаниям «благородного, правдивого и бесстрашного, не способного отклонить от себя ложью какую-нибудь ответственность» Пущина. 22 апреля на это трагичное, продиктованное больной совестью письмо был отправлен резкий ответ Бенкендорфа: «При сем долгом поставлю сообщить, что, поелику известно, что Кюхельбекер несколько расстроен в уме, то и следует на будущее время из принимаемых от него бумаг присылать сюда те только, которые вы, м. г., по рассмотрении найдете заслуживающими некоторого уважения». *Ст. 45. Но нé спал царь, исполненный страданья* — царь Саул, которого мучил злой дух. *Ст. 50. Йоанафан, Ионафан* — сын Саула. *Авенир* — сын Нира, на-

чальник войска Саула. *Ст. 53. Филистимы* — филистимляне, враги иудеев. *Ст. 69. Воитель юный* — Асаил, родственник Давида (сын его сестры Саруи). *Ст. 103. Фаресовы... чада.* «Племя Фареса знатнейшее в Иудином колене» (примеч. К.). Фарес — сын Иуды. *Ст. 163. Отрок величавый.* Речь идет о Давиде; видение царя Саула является пророческим. *Ст. 185. Авинора* — см. примеч. 37. *Ст. 215, 222, 226. Иофор, Додой, Авигея, Элёана* — библейские имена древних жителей Эфрафы. *Ст. 330. Гавриил* — архангел.

III. Книга «Афесдаммин». *Афесдаммин* (Эфес-Даммин) — долина между двумя горами, на склонах которых расположились, по Библии, два враждующих войска — израильтян и филистимлян. Расположение войск было таково, что любая нападающая сторона должна была потерпеть поражение. Поэтому битва была решена поединком двух сильнейших борцов — Голиафа из города Гефа от филистимлян и пятнадцатилетнего Давида от израильтян. К. в описании битвы отступает от Библии. *Ст. 25. И ты шагнул за жизни половину.* Перифраз начала «Ада» Данте. *Ст. 44. Умру, но, может быть, умру не весь.* Ср. «Памятник» А. С. Пушкина: «Нет, весь я не умру...». *Ст. 66. Так некогда любимец славы, рус* и т. д. Речь идет о нашествии на Русь татаро-монголов в XIII и XIV вв. и свержении татаро-монгольского ига. *Ст. 79—89. Рувим, Дан, Ефрем, Галаад, Асир, Гад, Симеон, Завулон, Веньямин, Иуда* — по Библии, сыновья Иакова, родоначальники «колен» рода израилева. *Ст. 116. Ариост* — см. примеч. 30. *Боярдо* Маттео (1434—1494) — итальянский поэт, автор поэмы «Влюбленный Орланд». *Тасс* — см. примеч. 61. *Ст. 121. Российского создатель Слова* — автор «Слова о полку Игореве». *Ст. 123. Бард Орлова* — Державин. *Ст. 125. Певец Петров* — Шихматов, см. примеч. 94. *Ст. 150. Иаковли дети* — здесь: евреи. Иаков — один из праотцев еврейского народа. *Ст. 151. Халев* — по Библии, сын Иефонниина, соратник Иисуса Навина; происходил из Иудина колена израильского народа; при разделе «земли обетованной» получил в удел Хеврон. У К. — вождь еврейского войска, сподвижник царя Саула. *Ванея* — вождь еврейского войска, глава телохранителей Саула (по Библии — глава телохранителей Давида, воевода Соломона). *Ст. 167. Людиим* — у К. вождь филистимлян. *Ст. 170. Хус* — молодой воин, вождь филистимлян. *Ст. 190. Внук Киса* — Ионафан. *Твой потомок, Хам.* Речь идет о Хусе. *Ст. 207. Элисам* — вождь еврейского войска, предводитель ефремлян. *После ст. 228. Далида* — женщина-воительница, вождь филистимлян. *Аминадав* — сын царя Саула. *Ст. 253. Сарон* — равнина на берегу Средиземного моря, самая плодородная в Палестине; здесь помещались царские сады. *Ст. 255. Эрмон* — местность в Палестине. *Ст. 271. И се чудесный муж, седой и строгий* — пророк Самуил, предсказавший Аминадаву смерть от руки Далиды. *Ст. 322. Анхус* — главный вождь филистимлян. *Ст. 337. Их вождь* — Голиаф. *Ст. 361. Фуд* — вождь филистимлян. *Сноска к ст. 385. «Divina Comœdia»* — «Божественная комедия», поэма Данте. *Ст. 416. Каяла* — река, на которой происходила битва русских с половцами в 1185 г., описанная в «Слове о полку Игореве». *Ст. 427. Софокл* — см. примеч. 129. *Еврипид* (ок. 480—406 до н. э.) — древнегреческий драматург. *Ст. 428. Аристофан* (ок. 446—385 до н. э.) — древнегреческий драматург. *Эсхил* — см. примеч. 61.

IV. Книга «Упования». *Ст. 12. Но близок день Любви, Надежды, Веры.* По церковному календарю этот день празднуется 17 сентября. *Ст. 122. Ливан* — горный массив на побережье Средиземного моря, где находилась Иудея. *Ст. 139. Восток* — здесь: восход. *Ст. 178. Ругающийся морю* — презирающий море. *Ст. 191—192. Возвеселится о делах своей десницы* — обрадуется делам своих рук. *Ст. 219—220. В Сокхофе варвары ополчены* и т. д. Речь идет о расположении сил евреев и филистимлян в битве при Афесдаммине (см. Книгу 3). *Ст. 275. Пять тысяч сикль его кольчуги вес.* Сикль как мера веса равен трем золотникам или 12,8 грамма, — т. е. кольчуга Голиафа весит примерно 64 килограмма. *Ст. 316, 321. Маное, Халев, Фагаил, Масман* — вожди евреев. *Ст. 324. Йоав* — сын Саруи, брат Асаила (племянник Давида). *Ст. 423. С Днепра их гласы долетят ко мне.* Речь идет о родных К., живущих в Закупе. *Ст. 424. На Двине* — в Динабургской крепости, где К. находился с 1827 по 1831 г.

V. Книга «Голиаф». *Ст. 28. Энак* — см. примеч. К. на с. 379. *Ст. 48. Закат* — здесь: запад. *Ст. 68. Энака правнук* — Голиаф. *Ст. 79. Отец* — Фуд. *Ст. 98. Галаад* — Авиезер, убитый Голиафом. *Ст. 195. Дагон* — главный идол филистимлян. *Ст. 283—288. Злодея зрел я; яко кедр Ливана.* По Библии, кедр Ливана — символ высокомерия и гордыни, за которые бог сокрушил его. *Ст. 353.* [*В*] — вероятно, Иван Григорьевич Вилламов, литератор, сотрудник СО 1820-х гг. Вилламов был учеником К., горячо преданным своему учителю. 1 мая 1832 г. К. писал в дневнике, вспоминая его: «День рождения моего В... Сколько сладостных и горьких минут воспоминаний весь нынешний день наполняло мою душу! Так, я был когда-то счастлив; меня горячо и с самоотвержением любили! Не забуду никогда его последних слов: «Je prie Dieu qu'il vous accorde le bonheur qu'il m'a refusé» <Я молю бога, чтобы он даровал вам счастье, в котором отказал мне. — *франц.*>. В «Сборнике старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина» (М., 1901, с. 350—354) опубликованы письма И. Вилламова к К., относящиеся к 1819—1820 гг., — они исполнены глубокого дружеского чувства и признательности ученика учителю: «Время, проведенное с вами, — писал Вилламов 17 апреля 1820 г., — никогда не изгладится ни из памяти, ни из сердца моего. Забывайте меня сто раз, но я вас не забуду: все, что я знаю по словесности, ваше добро».

VI. Книга «Наветов». *Ст. 171. Меровь* — старшая дочь царя Саула. *Ст. 200. Иная* — Мельхола, дочь царя Саула, возлюбленная и первая жена Давида. *Ст. 325. Саул, Анхусом рать твоя разбита* и т. д. Этой сцены — известия о многочисленных нападениях врагов в день свадьбы Давида — в Библии нет. *Ст. 327. Аскалониты* — жители филистимского города Аскалон. *Ст. 331. Вефсамис* — город израильтян.

VII. Книга «Пророков». *Ст. 2. Пророк великий* — Самуил. *Ст. 5. Некто* — Давид, бежавший от преследований царя Саула. *Ст. 87. И в новолунье всех нас созовут* и т. д. Праздник новолуния, в который по древнееврейскому обряду должны были трубить трубы и приноситься жертвы. *Ст. 108. И заступил Иуда Веньямина* — т. е. колено Иудино, из которого происходил Давид, сменило у власти прежнее колено Вениамина, из которого происходил Саул. *Ст. 190.*

Махмасский герой — Ионафан, разгромивший филистимлян в Махмасской битве.

VIII. Книга «Пришельствия». *Ст. 41. Аминадав плененный.* «Сын Саула, взятый в плен филистимами и влюбленный в Далиду, иноверческую княжну» (примеч. К. в автографе ЛБ). *Ст. 68. Гомер.* «Надеемся, что нам простят анахронизм, в силу которого у нас Гомер является современником Давиду. Да оправдает нас перед строгими судьями Вергилий, сблизивший Энея и Дидону, хотя последняя и жила двести лет после первого» (примеч. К.). *Ст. 75—78. И пел он, как Патрокл и Гектор пали* и т. д. Речь идет о героях «Илиады» Гомера. *Ст. 86. Но звук замолкнул ионийских струн* — намек на происхождение Гомера, по одной из версий — ионийца. *Ст. 134. Самосский отрок.* Уроженец острова Самос, поводырь Гомера. *Ст. 139. Сын Мелеса* — Гомер. *Ст. 156. Ахея* — здесь: Греция. *Ст. 171. Тайгет* — гора между Спартой и Мессенией. *Темпей* (Темпея) — долина в Фессалии (Греция). *Ст. 185. Иордан* — река в Палестине. *Ст. 215—218. Вефиль, Силом, Кедрон, Кармил* — названия городов и рек Палестины. *Ст. 233. Меонид* — Гомер. *Ст. 487. Энгадди́* (Эн-Гадди) — дикая гористая местность к западу от Мертвого моря. *Ст. 575. Амон* — племя аммонитян. *Ст. 646. Номва́* — город к северо-востоку от Иерусалима; священник Номвы Авимелех снабдил Давида священным хлебом и мечом Голиафа, за что он и еще 85 священников были умерщвлены по приказанию Саула пастухом Доиком, а город Номва со всеми жителями уничтожен. *Ст. 798. Мой Исандер! и ныне, возлетев* и т. д. 8-я книга писалась К. уже после получения им известия о гибели А. С. Грибоедова 30 января 1829 г.

IX. Книга «Пустыни Ханаанской». *Пустыня Ханаанская* — земля племени амаликитян. *Ст. 8. Секелаг* — местность на южной окраине филистимской земли, удаленная от столицы Геф царя Анхуса. *Ст. 157—158. Ровоам, потомок Симеона.* Очевидно, К. называет библейским именем Ровоам (Рувим) вымышленное лицо. По Библии Рувим и Симеон были сыновьями патриарха Иакова и Лии. *Ст. 193. И возвестил Давид двумстам из них* и т. д. По Библии, двести воинов остались с обозом у потока Восор, т. к. были не в силах перейти через него. *Ст. 194. Орей* — библейское имя: по Библии Ор был соратником Моисея.

X. Книга «Воцарения». *Ст. 19. Но чьею ж славною рукой сраженный.* По Библии, Ионафан был убит филистимлянами, а не ангелом. *Ст. 40. Рафаил* — ангел. *Ст. 192. Приди, над братьями восцарствуй, брат!* По Библии, Давид царствовал первоначально в Хевроне (одно из колен израильских), а потом надо всем израильским народом. *Ст. 329. С Махиром Лодеварским обитает* и т. д. Сын Ионафана Мемфивосфей, хромой на обе ноги, воспитывался тайно в доме Махира в Лодеваре за Иорданом.

Эпилог. *Ст. 35. Сионские песни* — здесь: Библия. *Ст. 37—44. Отверзет ли уста провидец зол, пророк.* К. имеет в виду пророка Исайю, предсказавшего падение Вавилона, угнетавшего народ Израиля. *Ст. 45. «Могущий, ты ль сошел в жилище темноты?..»* и т. д. Переложение строк из Книги пророка Исайи, гл. 14, ст. 10—15. *Ст. 59. Иеремия* — древнееврейский пророк, в Библию входят Книга пророка Иеремии и Плач Иеремии — о падении Иерусалима, в 588 г. до н. э. разрушенного вавилонским царем Навуходоносором. Сам

Иеремия во время осады Иерусалима был обвинен врагами в предательстве и посажен в темницу, а потом в грязный колодец, где должен был умереть голодной смертью.

201. СПб., 1836, с указанием фамилии издателя — И. Иванов, с цензурными купюрами, в качестве вставной поэмы в прозаическом произведении «Русский Декамерон 1831 года». Печ. по автографу ГИМ. Автограф ранней ред. — ЛБ. Поэма была написана К. в 1831 г., прозаическое обрамление — по-видимому, несколько позже, в 1832—1836 гг. Впервые о замысле многочастного произведения — «Декамерона» — К. пишет в письме к Ю. Г. Глинке от 21 марта 1833 г. — о комедии «Нашла коса на камень», составляющей его вторую часть, и о поэме «Семь спящих отроков», составляющей третью часть. Для «Декамерона» первоначально (1832) писался и «Агасвер». Через год после окончания поэмы «Зоровавель» К. принимается за ее переделку. 10 сентября 1832 г. он записывает в дневнике: «Вынул я из чемодана прежние свои работы: хочется их перечесть; сегодня я начал с «Зоровавеля». Эпизод о рождении Кира показался мне не у места». Еще через год, 2 сентября 1833 г.: «В «Зоровавеле» нашел я важный недостаток: эпизоды, например, о Кире, о войне Дария с Вавилоном, некоторые довольно пространные уподобления и аллегории затмевают главный рассказ. Сверх того, есть и такие стихи, которые решительно не в тоне, решительно разочаровывают, напр. «Пророк, противник влаги лозной» — эти пятна не худо стереть; итак, займусь выправкой моего любимца, — если только не найду другого нужнейшего занятия». Наконец, 27 апреля 1834 г. К. пишет племянницам: «Скажи, любезная Наташа, Борису, что я выправил «Зоровавеля» и, когда то нужно будет, тотчас могу переслать ему варианты». Однако когда в 1836 г., при деятельной помощи А. С. Пушкина, «Русский Декамерон» был издан, то в руках издателей, по-видимому, не было последнего, исправленного текста поэмы, и она вышла в варианте 1831 г. Действие «Русского Декамерона» происходит осенью 1830 г., во время эпидемии холеры в России; несколько молодых людей, спасаясь от холеры, поселяются в имении графини Ладовой и, чтобы скоротать время, решают читать друг другу вслух свои произведения. «Так то судьбе угодно было, чтоб в конце 1830 года, во время свирепствовавшей в России болезни, называемой cholera morbus, К. . .ской губернии М. . .ского уезда в селе Дворцове составилось общество, подобное тому, которое за 500 лет назад, по свидетельству знаменитого Бокаччио, когда чума опустошала Италию, существовало близ города Неаполя. Первому и чуме обязана Италия славным по всей Европе Декамероном, второму и холере Россия — сею книжицею, которую я, издатель, дерзаю назвать Российским или Русским Декамероном, сиречь Десятиглавом, не ради того, что равняю себя с известным в целом мире божественным Бокаччио (il divino Bocaccio), издателем итальянского Декамерона, но единственно ради того, что и в моем Русском Декамероне десять глав», — писал К. во вступлении. Сюжет поэмы К. является пересказом 3-й и 4-й глав 2-й книги Ездры. *Зоровавель,* по Библии, — вождь евреев, выведший их из персидского плена; он был одним из трех юношей, принявших участие в поэтическом состязании при дворе царя Дария.

I часть. *Ст. 1. Над войском русского царя.* Речь идет о русско-персидской войне 1829 г. *Ст. 2. Тавриз* — город в Персии. *Ст. 19. Рустм* (Рустам) — главный герой «Шах-наме» Фирдоуси, богатырь. *Зам* — отец Рустма. *Феридун* (Фаридун) — царь, герой мифологической части «Шах-наме»; его правление было воплощением добра (после царя зла Заххака). *Ст. 26. Закат* — здесь: запад. *Ст. 27. Дара* — Дарий I Истасп, царь Ирана (522—486 до н. э.), при нем начались греко-персидские войны. В прозаической части «Русского Декамерона» поэт Чинарский, автор поэмы «Зоровавель», заявляет: «Большей частию я следовал источникам не греческим и посему и Дарию, и Персии возвратил их настоящие, народные имена: первый у меня везде Дара, сын Густаспов, вторую почти везде называю Ираном». *Ст. 60. Суза* — Сузы, город в Персии. *Ст. 75. Из Балка, жительства наук.* «Балк, город в северо-восточной Персии, славился в Азии своим училищем, как впоследствии Самарканд». (Примеч. К. в автографе ЛБ). *Ст. 77. С полудня* — здесь: с юга. *Восход* — восток. *Ст. 78. Скифия* — Причерноморье. *Ст. 79. Фракия* — область в восточной части Балканского полуострова. *Ст. 80. Сарды* — столица Лидии. *Ст. 82. Из Лидии, из дому Креза.* Лидия — государство в Малой Азии. Крез — царь Лидии (ок. 560—546 до н. э.), по преданию обладавший несметными богатствами. *Ст. 107. Смирна* — торговый порт на Эгейском море, в Малой Азии. *Ст. 111. Иония* — область Древней Греции. *Ст. 194. Крамольный град* — Вавилон. *Ст. 195. Валтасар* — последний вавилонский царь. *Ст. 210. Носил порфиру и венец.* «Зоровавель был от племени Давида, сын Салафиила, сына Иохании, предпоследнего царя Иудейского» (примеч. К. в автографе ЛБ). *Ст. 263. Виссонный... кидар.* «Чалма, а у жрецов род митры. Висс или висон — каменный лен» (примеч. К. в автографе ЛБ).

II часть. *Ст. 65. Зердужт* или Зороастр — пророк, основатель восточной религии, представляющий мир как борьбу злого и доброго начал (Ормузд — божество добра и света; Ахриман — божество мрака и зла). *Ст. 90. Ормуздова держава* — Иран, «Царство света», т. е. страна, находящаяся под покровительством бога добра и света Ормузда. *Ст. 405. Прекрасная дочь Вартака* — одна из наложниц Дария.

III часть. *Ст. 38—41. Жемчужине неоцененной* и т. д. Эпизод из вставной поэмы «Свет гарема», входящей в «Лаллу Рук» Томаса Мура (1779—1852). *Ст. 88. Тир* — древнефиникийский торговый порт на Средиземном море. *Ст. 196. Салим* — Иерусалим. По Библии, принимая царство, Дарий обещал отстроить Иерусалим и храм, разрушенный вавилонянами. *Ст. 221. Сидон* — торговый порт на Средиземном море. *Ст. 223. Ливанон* — Ливан. *Ст. 299. Но храм сей лет позднейших кары* и т. д. Иерусалим был вновь разрушен в 70 г. н. э. римским императором Титом в ходе Иудейской войны 66—73 гг.

202. ССД, с. 151 (отрывки); С, с. 267 (отрывки). Печ. по СС1, с. 358. Посвящение А. С. Пушкину и глава I — ЛБ, ПД. Отрывок под загл. «Посвящение поэмы «Сирота» А. С. Пушкину» — ПД3; черновой набросок — ЛБ. Копии: посвящения и главы I — ЦГАОРСС; отрывков «Но то, что называл своей квартирой...»,

«И был он так учтив и поведенья. . .», «В весне моей, почти уже забвенной. . .», «Цепь глухих мечтаний. . .», «Страну я помню; там валы седые. . .» — ЛБ. Поэма была начата 16 октября 1833 г.: «Начал я сегодня своего «Сироту»: размер — пятистопные ямбы, расположение рифм такое же, как в «Юрии и Ксении», а образцом, как кажется, будет служить мне — Краббе». Посвящение и глава I были посланы К. племяннику Б. Г. Глинке в письме от 21 декабря 1833 г. для напечатания (ПД). В ЦГАОРСС на сопровождающем письме свеаборгского коменданта к Бенкендорфу — резолюция карандашом: «Велено сочинений не отсылать, а письмо прочитать и отправить. Николай». Поэма закончена весной 1834 г.

<Посвящение>. *Строфа 3. Подругу-ангела обресть* и т. д. Речь идет о женитьбе А. С. Пушкина на Н. Н. Гончаровой.

<Введение>. *Ст. 70. Поэт-наездник* — Денис Васильевич Давыдов (1784—1839). *Ст. 74. Платов* Матвей Иванович (1751—1818) — генерал, казачий атаман, герой войны 1812 г.

Разговор первый. *Ст. 140. Масильон* Жан-Батист (1663—1742) — французский проповедник. *Ст. 221. Своей сопутствуемый тенью* — цитата из стихотворения В. А. Жуковского «Подробный отчет о луне» (1820). *Ст. 224. Плетнев* Петр Александрович (1792—1862) — поэт, приятель К. по Петербургу. *Ст. 247. Но всё ж и я в Аркадии живал.* Ср. у Шиллера: «И я в Аркадии родился» из стих. «Resignation».

Разговор второй. *Ст. 3. Ариель* — дух, герой драмы Шекспира «Буря». *Ст. 180. Аристарх* (ок. 217—145 до н. э.) — александрийский филолог; имя стало нарицательным для обозначения критика-педанта. *Лонгин* (III в.) — философ, теоретик красноречия. *Ст. 233—234. Красный кабачок, Гутуев, Три Руки* — названия петербургских кабаков. *Ст. 291. С полком прорваться в Прагу.* Речь идет о штурме Варшавы (Прага — предместье Варшавы) войсками Суворова в 1794 г. *Ст. 328. Диоген* (ок. 404—323 до н. э.) — философ, основатель школы киников. *Ст. 331. Сплошь всё портреты Нидерландской школы!* Нидерландская школа XVII в. в живописи прославлена реалистическими портретами и жанровыми картинами. *Ст. 353. Фокион* (ок. 402—318 до н. э.) — афинский полководец, противник Александра Македонского, осужденный на смерть за то, что допустил захват македонцами Пирея. *Ст. 357. Сади* (Саади) Мушрифаддин (1184—1291) — персидский поэт. *Ст. 367. Минин Козьма* (ум. 1616) — нижегородский мещанин, организатор народного ополчения 1611—1612 гг., освободившего Москву от польских интервентов. *Г. Р. Державин* (1743—1816) в молодости был солдатом. *Ст. 385. Платон* (427—347 до н. э.) — древнегреческий философ.

Разговор третий. *Ст. 101. Зарытый под стенами Измаила* — т. е. павший при осаде турецкой крепости Измаил в 1790 г. *Ст. 350.* В. В. *Капнист* (1757—1823) — поэт и драматург. *Ст. 352. «О дивной мудрости Гипербореев».* У Капниста есть статья «Краткое изыскание о гипербореанах». *Ст. 376. Ла-Арп* (Лагарп) Франсуа (1739—1803) — французский писатель, теоретик классицизма. *Баттё* Шарль (1713—1780) — французский теоретик классицизма.

Разговор четвертый. *Ст. 21—29. Подобье, тень святого Иоанна* и т. д. Речь идет не о грозном библейском пророке, Иоанне

Предтече, а об апостоле Иоанне, которого К. сравнивает со священником. *Ст. 33—36. Был в пастыря невинным девам дан* и т. д. Речь идет, возможно, о священнике Института благородных девиц, где учились сестра поэта Юлия и сестры Брейткопф. *Мария* — императрица Мария Федоровна (1759—1828), жена Павла I. *Ст. 51. Сенека* Луций Анней (3 до н. э. — 65) — римский философ. *Гердер* Иоганн Готфрид (1744—1803) — немецкий поэт и философ-моралист. *Фенелон* Франсуа (1651—1715) — французский писатель-моралист. *Ст. 397—398. Манфред, Конрад, Лара* — герои поэм Байрона.

Разговор пятый. *Ст. 22. Град... фокеян* — Марсель. *Ст. 313—314. Аннинская звезда, Георгий* — ордена св. Анны и св. Георгия, введенные в России с 1797 и 1769 гг.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис.* В. К. Кюхельбекер. Гравюра И. И. Матюшина. 1880-е годы.

2. *С. 145.* Автограф ранней редакции стих. «К Ахатесу» («К Туманскому») из альбома П. А. Вяземского 1820-х годов. ЦГАЛИ.

3. *С. 155.* В. К. Кюхельбекер. Рисунок А. С. Пушкина в черновике 5-й главы «Евгения Онегина». 1826. ПД.

4. *Между с. 176 и 177.* Иллюстрация к стих. «Святополк» в «Мнемозине» (ч. 1, 1824). Автолитография В. Лангера. 1824.

5. *На обороте:* Автограф стих. «Рогдаевы псы». ЛБ.

6. *С. 228—229.* Черновой автограф стих. «На новый год». Запись в дневнике Кюхельбекера от 30 декабря 1831 г. ГИМ.

7. *С. 321.* Рисунки Кюхельбекера на рукописи ранней редакции стих. «Семья». ЛБ.

8. *С. 353.* Автограф начала поэмы «Давид». ПД.

9. *С. 399.* Рисунки Кюхельбекера на полях рукописи поэмы «Давид». ПД.

10. *С. 479.* Автограф начала поэмы «Зоровавель».

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

1814—1825

1826—1835

1836 — 1846

ПОЭМЫ

Кюхельбекер Вильгельм Карлович
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ДВУХ ТОМАХ
ТОМ ПЕРВЫЙ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1967, 668 стр. Тем. план вып. 1966, № 413

Редактор *К. К. Бухмейер*
Художник *И. С. Серов*
Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*
Техн. редактор *В. Г. Комм*
Корректор *Ф. С. Флейтман*

Сдано в набор 9/VIII 1966 г. Подписано в печать 17/I 1967 г. Бумага $84 \times 108^1/_{32}$, № 1 Печ. л. $20^7/_8 + 2$ вкл. (35,28). Уч.-изд. л. 36,69. Тираж 25 000. Заказ № 1166.
Цена 1 р. 31 к.

Издательство «Советский писатель»
Ленинградское отделение. Ленинград
Невский пр., 28

Ленинградская типография № 5 Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР. Красная ул., 1/3

